

Кэтрин Энн Портер

КОРАБЛЬ

дураков




Кэтрин Энн Портер

Katherine Anne Porter

Ship of Fools

New York, 1962



Кэтрин Энн Портер

КОРАБЛЬ ДУРАКОВ

роман

Перевод с английского
Н. ГАЛЬ

Москва «Радуга» 1989

ББК 84.7США
П59

Предисловие А. Мулярчика
Редактор И. Архангельская

П59 Портер К. Э. Корабль дураков: Роман / Пер. с англ. Н. Галь; Предисл. А. Мулярчика. — М.: Радуга, 1989. — 638 с.

Роман крупнейшей американской писательницы Кэтрин Энн Портер, вышедший в свет в 1962 году, остается одним из самых сложных, насыщенных философской символикой, многомерных реалистических произведений мировой литературы последних десятилетий. Судьбы, характеры, взаимоотношения, верования, предрассудки, любовь — кажется, все стороны человеческой природы и сама жизнь, время становятся объектами внимания и исследования писательницы. Отчетливо звучит в романе резкое осуждение психологии фашизма, тема губительного, разрушающего действия национальных предрассудков. Роман воспринимается как призыв к добру, терпимости, разуму, к нравственному очищению человечества.

П $\frac{4703000000-496}{030(01)-89}$ 67-89

ISBN 5-05-002409-9

© Предисловие и перевод на русский язык издательство «Радуга», 1989

НА БОРТУ СОВРЕМЕННОГО КОВЧЕГА

«Корабль дураков» Кэтрин Энн Портер (1890—1980) — одно из тех произведений, слухи и легенды о котором намного обогнали дату его публикации. Еще с середины 40-х годов в печати США начали появляться сообщения о работе известной писательницы над «большой книгой», которой суждено было стать ее первым и единственным романом. К тому времени у Портер сложилась прочная репутация незаурядного мастера американской прозы, превосходного стилиста, автора рассказов и повестей, объединенных в сборниках «Цветущее Иудино дерево», «Бледный конь, бледный всадник», «Падающая башня». Переступив порог своего пятидесятилетия, писательница отважилась на длительный и нелегкий труд, и влиятельный критик Марк Шорер не преувеличивал, когда утверждал, что «роман Портер ожидали в Соединенных Штатах на протяжении жизни целого поколения».

Сопровождавший выход книги в свет весной 1962 г. шквал восторженных оценок в прессе (не говоря уже о чрезвычайной активности покупателей) сменился вскоре, как это нередко случается, сравнительно сдержанными суждениями. Похвалы, собственно, не смолкали, но более явно выступили претензии к чрезмерной «дистиллированности» слога и неопределенности авторской точки зрения, упреки в философском релятивизме и пессимизме. Дискуссия о романе Портер продолжается и сейчас. В ней теперь смогут принять участие и наши читатели, ибо спустя

свыше четверти века после публикации «Корабль дураков» остается одним из самых сложных, насыщенных философской символикой, многомерных реалистических произведений мировой литературы последних десятилетий.

Некоторые аспекты общей концепции и само название романа были заимствованы К. Э. Портер у Себастьяна Бранта — европейского писателя и философа конца XV столетия. Подобно яркой сатире раннего немецкого Ренессанса, брантовскому «Кораблю дураков», ее книга тоже написана «ради пользы и благого поучения, для увещевания и поощрения мудрости, здравомыслия и добрых нравов, а также ради искоренения глупости, слепоты и дурацких предрассудков и во имя исправления рода человеческого...». Американская писательница заимствовала у своего далекого предшественника центральную метафору, но она, конечно же, не собиралась следовать в русле свойственного его манере прямолинейного дидактического гротеска. Вряд ли можно утверждать, что население современного ковчега у Портер состоит исключительно из образчиков человеческой тупости и производных от нее пороков. Характерологический ряд романа широк и неоднозначен, а в обрисовке персонажей в полной мере сказались многие новейшие открытия психологической прозы XX века.

Стремление к всеохватности и универсализации всегда пристает у художника из вполне конкретных жизненных импульсов. Вынашивая замысел своей книги, Портер могла опереться на богатый, как лично, так и опосредованно воспринятый опыт. Растянувшиеся на несколько десятилетий революционные события в Мексике, ставшей для писательницы вторым домом; положение в России, о которой она много узнала от труппы советских кинематографистов во главе с С. Эйзенштейном; первая мировая война, совпавшая с молодостью Портер и отозвавшаяся в ее творчестве; победа фашизма в Германии и развязанная им новая кровавая бойня — все это пополняло запас наблюдений и образов, запечатленных впоследствии на страницах произведения.

Рейс парохода «Вера» (от латинского «*veritas*» — истина) из Мексики в Северную Германию датирован в романе августом—сентябрем 1931 года, то есть чуть ли не самой выс-

шей точкой всемирного экономического кризиса. Мир взбаламучен, и люди снимаются с мест — кто в поисках лучшей доли, а кто и движимый инстинктом самосохранения. Состоятельные немцы, для которых Латинская Америка издавна служила надежной сферой приложения капитала, в страхе перед мексиканской революцией спешат вернуться домой. Другие же, напротив, чувствуют прилив шовинистических настроений в родном «фатерланде» и опасаются преследований по идеологическим или расовым мотивам. И хотя имя Гитлера и название его национал-социалистической партии не упоминаются в романе ни разу, по многим косвенным приметам можно понять, что «тридцатые годы», эта эпоха произвола и террора, уже начались и лишь короткий миг отделяет человечество от самой трагичной фазы его современной истории.

Эти социально-исторические и политические предпосылки важны для уяснения некоторых общих контуров произведения, хотя они еще не образуют всей его «подпочвы». Люди везде прежде всего люди, считает автор, — что на борту корабля «Вера», что на твердой земле портового города Веракруса. Переключка двух названий не случайна. «В их жизни постоянно перемежаются полосы бурной деятельности и сонного затишья, они не мыслят себе иного существования и, в уверенности, что их нравы и обычаи выше всякой критики, с удовольствием пренебрегают мнением людей сторонних» — такой аттестации уже на первых страницах удостоены горожане переживающей бурную трансформацию Мексики, но она во многом приложима и к разноплеменному составу пассажиров судна, готовящегося сняться с якоря.

Какая смесь племен, наречий, лиц! — так, вслед за поэтом, можно воскликнуть, читая предпосланный тексту книги список ее персонажей, а затем все ближе и ближе знакомясь почти с каждым. Неотесанный и невежественный, находящийся в полном рабстве у своих инстинктов инженер-нефтяник из Техаса; отставная гувернантка-немка, не расстающаяся с записной книжкой, которая выдает всю пустоту и мелкость интересов ее владелицы; пылкие и впечатлительные, более других склонные к рефлексии художники-американцы; семейство уравновешенных и бесконечно тусклых швейцарцев, мечтающих о покойной жизни на

родине, — вот лишь некоторые из фигур переднего плана, и для каждой из них у писательницы находятся наиболее подходящие конкретному случаю тона и краски.

Скупые на движения души люди соседствуют в каютах пархода с тонко чувствующими натурами, с теми, для кого возникающие по необходимости «человеческие контакты» оборачиваются тяжелой психологической ношей. Картинный красавец мужчина Вильгельм Фрейтаг, пышный здоровьем и не страдающий от отсутствия аппетита, сдается тайной тоской и едва сохраняет внутреннее равновесие. Под стать ему и обычно внешне невозмутимая миссис Тредуэл, которой трудно припомнить место, где хоть когда-нибудь ей действительно было легко и уютно. Больше, чем кто-либо другой, эта «миловидная и с виду очень неглупая женщина» обеспокоена проблемой гармонизации существующих в мире противоречий на их «молекулярном», межличностном уровне. В глазах же ее антиподов, так сказать «стратегов-глобалистов», сочувствие чужим горестям и заблуждениям расценивается как что-то бесконечно ничтожное по сравнению с их ширококомасштабными и, в сущности, до крайности примитивными схемами. Однако писательница хорошо понимает, что даже в органично развивающемся, свободном от вездесущего административного контроля сообществе любые планы могут приводиться в движение только конкретными людьми, и если тяга к разобщенности вдруг возьмет верх, то самые громкие призывы к сотрудничеству и взаимозависимости безжизненно повиснут в воздухе.

С образом почти каждого из попутчиков миссис Тредуэл связана в романе вполне определенная, своеобразная нота. Развитие действия в «Корабле дураков» в чем-то схоже с течением шахматной партии. Его три части — «Отплытие», «В открытом море», «Причалы» — соответствуют дебюту, долгому миттельшпилю и несколько вяловатой концовке. Фигуры редко снимаются с доски, но их взаимное расположение не постоянно, и по мере продвижения «Веры» к Европе на авансцену выдвигаются все новые темы, среди которых — религия и искусство, любовь и столкновение классов, таинство смерти и тайна бессмертия.

Не так уж много внимания уделено, например, скромному горбуну Глокену, с трудом живущему на доходы от

своего «дела», но за ним стоит идея личной экономической инициативы, самостоятельного предпринимательства, сопряженного с риском, соблазняющего свободой и независимостью. Работа по найму — будь то при капитализме или социализме — сулит и некоторую обеспеченность, кое-какие гарантии на случай неожиданных осложнений. Поэтому ее предпочитают те, кто не рассчитывает твердо на свои силы в схватке с жизнью, и таких всегда было и будет большинство. Глокен же — своего рода вольный стрелок, одержимый стремлением упрочить свое положение, такой же художник в собственном деле, как и американец Дэвид Скотт, к которому он испытывает инстинктивную симпатию. «Никто не знает, какой конец его ждет, — обращается Глокен к Скотту. — Но вам не придется умирать в отчаянии, горюя о том, что у вас не хватило смелости жить! Вы хозяин своей судьбы, и никто на свете не заставит вас об этом пожалеть!»

На противоположном от Глокена конце иерархического спектра находится капитан парохода Тиле — один из тех божков местного масштаба, чей начальственный гнет ложится нестерпимым и не только психологическим бременем на впечатлительные души. Преисполненное важности луноподобное лицо Тиле, его привычка цедить полусшепотом слова в стремлении придать самым банальным высказываниям статус неземного откровения, другие аналогичные черточки создают в совокупности образ мелкого тирана, которого, как пишет Портер, «постоянные усилия поддерживать свой престиж сделали раздражительным и даже злобным». Вечно угрюмый и насупленный, поразительно похожий по удачному сравнению на разобиженного попугая, он встречает презрительным взглядом тех, кто пытается установить с этим надутым ничтожеством взаимоуважительные отношения. Безраздельная власть, безусловно четкое разделение по кастам и строгое распределение всех преимуществ по рангам — такова программа капитана Тиле, списанная с живой действительности 30—40-х годов и без каких-либо существенных корректив сохраняющаяся и поныне в реальной практике авторитарных режимов.

Ничто в открытой схватке не является столь враждебным и столь чуждым повадкам ограниченного бюрократа,

как искусство и культура. Художницу Дженни Браун Портер наделила изысканно артистической способностью интуитивно распознавать настрой чужих чувств и безотчетно сразу же соизмерять его с собственным душевным ладом. У этой изощренной восприимчивости есть, однако, и оборотная сторона — постоянный «ветер бесплодных грез наяву, горький безмолвный разговор с собой, который без конца вгрызается в мозг». Самоистязательные размышления Дженни об искусстве и собственном творчестве не имеют, похоже, четких контуров и рационального смысла, но продолжающийся на протяжении всего путешествия внутренний спор обостряет чувствительность молодой женщины и не позволяет ей — в отличие от многих других пассажиров привилегированной верхней палубы — погрузиться в состояние нравственной апатии и спасительного благодушия.

Тема трудной любви, которая вновь и вновь вторгается в сознание героини, самым непосредственным образом вырастает из более ранних произведений К. Э. Портер, в своем большинстве знакомых нашему читателю. Слова Дженни Браун о несвободе и тяготах, сопутствующих любовному союзу двух требовательных и крайне эмоциональных людей, о диалектике притяжения и отталкивания, разрешающейся почти неизбежным крахом, словно продолжают внутренний монолог героини новеллы «Кража», написанной еще в 20-е годы и ставшей с тех пор хрестоматийной. Жизненный итог обыкновенного, ничем особым не облагодетельствованного судьбой человека обычно складывается из потерь, из «краж» у самого себя, совершаемых почти автоматически, незаметно. И вот приходит пора подсчитывать утраты: «...вещи, которые она сама потеряла или разбила... слова, которых она ждала и так и не услышала, и те слова, что она хотела сказать в ответ... долгая терпеливая мука, когда отмирает дружба, и темное, необъяснимое умирание любви — все, что она имела и чего ей не досталось...»

Неуспокоенность особо близкой автору героини — Дженни Браун — ключ к уяснению важного компонента идейно-философской системы романа. Надежда на то, что весь мир может существовать упорядоченно и целеустремленно, подчиняясь какой-то определенной религиозной, со-

циально-экономической либо политической доктрине, полностью иллюзорна, полагает Портер. Движение человечества к совершенству (если мы вообще принимаем подобное допущение), по-видимому, только и возможно в рамках многообразнейшего сочетания культур, обычаев, верований. Попытки управлять этим процессом, опираясь на силу и хитроумную организацию, основаны на заблуждении. Другое дело — усилием воображения и мысли постараться войти в этот поток, изучить его многоструйность, сопоставить и сблизить различные правила навигации в его водах.

Не только от Себастьяна Бранта, но и от других упрямых мыслителей-рационалистов, вплоть до «кукловода» У. Теккерея, Портер восприняла уверенность в своем верховном праве взирать на поступки своих героев, пребывая под знаком вечности. Эту позицию, впрочем, не нужно смешивать, следуя некоторым критикам романа, с безразличием к отдельно взятой личности. Известная абстрагированность общей схемы постоянно ставится под вопрос, а то и «перекрывается» в «Корабле дураков» обостренной чуткостью гуманистического подхода. Писательница внимательна и к вечно гонимому еврею-фабриканту Левенталю, и к неосторожному в словах и поступках запойному пьянице адвокату Баумгартнеру, и к судовому врачу Шуману, на которого возложена обязанность заботиться о здоровье других, хотя сам он одной ногой уже стоит на краю могилы.

Естество почти каждого из наиболее заметных персонажей книги соткано из противоречий, как проникающих в глубь психики, так и отражающихся на социально-идеологическом «профиле» данного образа. Известная своим покровительством революционерам кубинская аристократка привыкла помыкать безропотными, принадлежащими к низшему классу слугами, да и вообще отнюдь не безупречна в нравственном измерении. С другой стороны, бурбон и невежда Уильям Дэнни оказывается чуть ли не единственным на корабле, кто проявляет непритворный, лишенный вымученной снисходительности интерес к несчастному изгою Левенталю.

Обилие и разнообразие действующих лиц позволяет автору постоянно менять ракурс изображения, переходя от сатирических зарисовок к метафизическим раздумьям, а за-

тем опять обращаясь к нравоописательным сценам. Мозаичность текста, складывающегося из отдельных фрагментов, сродни поэтике киносценария, но когда в конце 60-х годов американский режиссер Стенли Крамер взялся за экранизацию романа, он предпочел вычленить из обширного полотна важнейшую идейно-композиционную линию. Ее можно определить как решительное осуждение философии исключительности, любых претензий на превосходство, которые в случае с идеологией немецкого национал-социализма жидились прежде всего на расовых, и в частности на антисемитских, предрассудках.

Острый конфликт между Левенталем и издателем модного журнала Рибером, а также изгнание из-за стола «чистокровных арийцев» женатого на еврейке Фрейтага стягивают в тугой узел различные аспекты так называемого «еврейского вопроса». Патологическая нетерпимость профашиста Рибера находит мало поддержки в кают-компаниях «Веры», и вряд ли кто еще, кроме Лиззи Шпёкенкикер, стал бы внимать его разглагольствованиям насчет желательности уничтожения всех «неполноценных» — не только «неарийцев» или социально чуждых элементов, но и физически недоразвитых младенцев, стариков, полукровок, короче, каждого, кто по тем или иным причинам не устраивает «правительствующую элиту». Неспешный анализ обсуждаемой проблемы профессором Гуттенем претендует на непредвзятую объективность, однако и в его речах сразу же обнаруживается попытка приписать определенной национальности далеко не специфические, распространенные где угодно черты нравственной нечистоплотности. Следуя этой искривленной логике, подчиняющей себе даже, казалось бы, высокообразованных людей, под «еврейством как состоянием ума» нередко понимают склонность к необязательности, к мелкому коварству и расчетливости, дешевое фанфаронство и вьевшееся во все поры души двуличие.

Защита достоинства еврейского народа номинально доверена в романе Левенталю и Фрейтагу, но парадоксальность ситуации такова, что, исходя от них, самые резонные доводы способны вдруг обернуться своей противоположностью. Оттолкнув от себя естественного союзника, Левенталь демонстрирует узколобость и душевную скудость — те самые черты характера, на которые с особым злорадством

указывали евреям их критики. Что касается Фрейтага, то, предвидя все козни антисемитизма, он невольно потворствует человеконенавистническим предрассудкам и сам становится их выразителем. «Кровь наших детей, — мысленно взывает он к своей жене, — будет такой же чистой, как моя, в их немецких жилах она очистится от той порчи, которая таится в твоей крови...»

Опровержение расистской идеологии — задача непростая, и поэтому ее психологические корни являются предметом особого внимания со стороны автора книги. Среди тех, на кого опирается рвущийся к власти тоталитаризм, не только горластые агитаторы и забронзовевшие бонзы, но и огромная масса «людей с улицы», подобных маленькой фрау Шмитт, которая при случае не прочь пролить слезу и посочувствовать бедствиям человечества. Националистический угар заставляет миллионы таких, как она, забыть о реальной жизни, полной обид и унижений, и вместо этого отдаться наркотическому ощущению «кровного родства с великой и славной расой». «Пусть сама она лишь мельчайшая, ничтожная среди всех — но сколько у нее преимуществ!» — размышляет чувствительная фрау, будучи, конечно же, не в состоянии распознать всю фальшь причащения к завлекательным абстракциям, в изобилии выдвигавшимся XX веком, но почти неизменно заводившим в тупик своих восторженных адептов.

Самым последовательным противником антисемитизма выступает на страницах «Корабля дураков» сама К. Э. Портер. В гораздо более откровенном и субъективно окрашенном, чем обычно свойственно ее прозе, пассаже она зло высмеивает отвергших Левенталя и Фрейтага «людей высшей породы», которым вскоре суждено будет стать прямыми пособниками, а быть может, и жертвами нацистского режима. Однако в каких-то случаях определенные элементы общей концепции произведения представляются довольно сомнительными. Так, пожалуй, ничем, кроме как стойкой предубежденностью против представителей «латинской расы», нельзя объяснить черные краски, которыми рисует автор кубинских студентов и испанских танцоров. О «лукавой и злобной обезьяньей природе» в романе говорится неоднократно, а пара близнецов, Рик и Рэк, всякий раз является на сцене действия точно в отблесках адского пламени.

Их страсть к разрушению, привычка швырять за борт что ни попадя таят в себе постоянную непредсказуемую угрозу — ведь многие осложнения по ходу плавания от Мексики до бухты Виго кое-как утрясались, и только проделки близнецов почему-то неизменно сопровождались непоправимыми последствиями. И все же, чуткая к каждой фальшивой ноте, писательница вовремя подправляет положение. Комментарии относительно «метафизических миазмов зла», которые источают вокруг себя вместе со своими соплеменниками Рик и Рэк, она обычно передоверяет «даме с записной книжкой», фрау Риттерсдорф, суждениям которой явно недостает глубины и простой человечности.

Большие и малые конфликты в среде примерно пятнадцати пар «чистых» оттесняют на задний план, но не позволяют полностью исключить из поля зрения другие проблемы социально-психологического порядка. У занятых бесконечными «эстетизированными» словопрениями Дэвида и Дженни хватает такта, чтобы по крайней мере попытаться вникнуть в трагедию изгоняемых с тростниковых полей Кубы наемных рабочих. Колебания рыночной конъюнктуры вдруг делают ненужными сотни и тысячи человеческих жизней, и, покорные слепому экономическому произволу, власти не находят ничего лучшего, как прибегнуть к сугубо полицейским мерам. Соответствующие страницы «Корабля дураков» писались на рубеже 30—40-х годов, и по силе обличения социальной несправедливости они сопоставимы с рожденными той же эпохой и переполненными народным страданием «Гроздьями гнева» Дж. Стейнбека.

То, что подчас благозвучно именуется в наши дни «новой стратегией занятости», предстает здесь перед читателем в своем подлинном, свободном от лицемерного камуфляжа обличье. Фальшивые рассуждения буржуазной газетки о гуманном и вместе с тем практичном подходе к решению вопроса о «лишней» рабочей силе опровергаются плачевным видом молчаливого и забитого люда, вынужденного сниматься с насиженного места. Почти девятьсот мужчин и женщин загнаны на тесную нижнюю палубу корабля «Вера», и эта пороховая бочка так и останется на всем пути до Канарских островов впечатляющим символом неустойчивости мироустройства, базирующегося в первую очередь на грубо материалистическом расчете.

Пассажиры с нижней палубы почти не персонифицированы в романе. Агитатор в красной рубашке и резчик по дереву, выделяющий забавных зверюшек, нужны Портер больше для того, чтобы обозначить два извечных типа реакции на социальные притеснения — неуправляемый, хотя и пламенный, протест и смиренномудрое терпение. Основная же масса «нечистых» безгласна, но уже в самом описании их повседневных непритязательных забот угадывается мысль писательницы о нравственном превосходстве этих отверженных над вот уж действительно образчиками «человеческого шлага» в лице все того же неумного Рибера и его достойной партнерши фрейлейн Шпёкенкикер.

Сухопутные главы «Корабля дураков» — составная часть развертываемой в романе панорамы. Мексика, Куба, а затем Тенерифе образуют тот необходимый контекст, без которого исследование взаимодействия характеров, предпринятое Портер, могло бы показаться подчеркнуто лабораторным экспериментом. Особенно многозначительна экспозиция книги, проливающая свет на представления писательницы об историческом процессе. Еще до знакомства с основными персонажами романа имеет место эпизод, о котором жители Веракруса узнают из утренней газеты. Адская машина террористов, предназначавшаяся «некоему потерявшему совесть богачу», взорвалась почему-то во дворе шведского посольства. От взрыва погибает мальчишка-индеец, бедняк, и смущенные ультралибералы спешат извиниться перед скорбящей семьей, а заодно припугнуть тех, кто на сей раз сумел избежать «народного мщения». Случившийся конфуз, впрочем, никого особенно не настораживает, хотя символика того, что зафиксировало перо писательницы, вполне прозрачна.

«Не понимают, видно, что это палка о двух концах... Они даже не понимают, что вся их борьба только и даст им новых хозяев...» — звучат приглушенные разговоры на веранде городского кафе. К сожалению, эти опасности, угрожающие любой революции, самым непосредственным образом повлияли на ситуацию в Мексике. После осуществления некоторых позитивных мер наследники буржуазно-демократического переворота, вдохновившего Джека Лондона на рассказ «Мексиканец», а Джона Рида — на книгу репортажей «Восставшая Мексика», пошли на существенные

уступки реакции. Проведение аграрной реформы замедлилось, в 1929 году репрессии обрушились на местную компартию, а через год были порваны дипломатические отношения с Советским Союзом, которые Мексика установила раньше других латиноамериканских стран.

Другой, еще глубже проникающий в основной «корпус» романа мотив, который впервые также возникает в его экспозиции, навеян экзистенциалистской трактовкой проблемы «удела человеческого». Забота, неприкаянность, маета — этот синонимический ряд выходит на передний план уже при изображении того, что предшествует посадке пассажиров на корабль. «Кошельки и душевные силы, — пишет Портер, — неуклонно истощались... а неотложные дела, казалось, все не двигаются с места». Озабоченные, напряженные лица особо отличают американцев, но подобное состояние игнорирует национальные и даже имущественные различия. Несмотря на перемену обстановки, оно не исчезает и во время путешествия. Стиснутые условиями неуютного существования на борту старой посуды, кое-кто из пассажиров быстро опускаются и прямо-таки дичают; у других обостряются давние неврозы, выплескивается наружу неуголенное озлобление.

Как хорошо было бы поверить вместе с простодушной и доверчивой фрау Шмитт, что все люди хотят только покоя и счастья, хотят, чтобы желания одного не мешали бы желаниям другого. Откуда же берется тогда дух зла, тот самый «бес извращенности», что причиняет не меньше бед, нежели войны и стихийные бедствия? «Царят на свете три особы, / Зовут их: Зависть, Ревность, Злоба. / Нет им погибели и гроба!» — утверждал в конце XV века Себастьян Брант, и последующие столетия не поколебали оправданности этих слов. Причин тому немало, но стоило бы осознать, что особый разгул низких страстей возможен там, где человеческое бытие долгие десятилетия было стиснуто до предела, где страшно напряжен быт и где ржавчина душевной всеядности и приспособленчества к вечно «трудным временам» разъедает последние скрепы нравственности. Так, примененный даже в самом первом приближении, конкретно-исторический анализ корректирует, если не вовсе опровергает, экзистенциалистские догмы.

Тенденция к разъединенности постоянно воздвигает

перегородки между персонажами романа и служит, в глазах его автора, устойчивой характеристикой склада современной жизни. Черные тени то и дело ложатся между любовниками и супругами, ссорятся соседи по каюте, родители истязают детей, и даже два врачевателя, доктор Шуман и проповедник Графф, исполнены глухой подозрительности друг к другу. Но можно ли говорить, как это делают многие американские критики, о «безысходной мизантропичности» писательского взгляда? Следует ли соглашаться с тем, что содержание «Корабля дураков» полностью отвечает заявленному самой Портер перед началом работы над рукописью намерению «проследить драматический и в чем-то величественный процесс упадка личности в западном мире»?

Мрачные краски действительно преобладают в тексте произведения, которое, однако, не является ни философическим рассуждением, ни теологическим трактатом. Понятий «обобщенная личность» или «человек западного мира» для Портер-беллетриста не существует. Имея дело с множеством разнородных типажей, она не просто тасует эту картонную колоду, извлекая из нее все новые комбинации, а внимательно всматривается в характер и обстоятельства жизни каждого, стараясь не спешить со слишком категорическими и размахистыми суждениями.

«Корабль дураков» — это словно продуваемый ветрами эпохи идеологический перекресток, конкретное, художественно зримое воплощение плюрализма мнений, рожденных совокупностью социально-политических обстоятельств XX века. Пестрота человеческих заблуждений и упований, с которой сталкивается читатель, прямо вытекает из сути «переходного периода» между двумя историческими гомеостазами — промежутка, заполненного беспрецедентными потрясениями и конвульсиями.

Но где же и в чьих руках находится вечно ускользающая нить, ведущая к познанию истины? Чему отдать предпочтение — административному ли «орднунгу» капитана Тиле, зажигательным речам агитатора с нижней палубы и примыкающего к нему датчанина Хансена или же расплывчатому гуманизму миссис Тредуэл? Не стоит ли, однако, прислушаться к двум самым старшим по возрасту и самым опытным — судовому врачу Шуману и бывшему профессору фи-

лософии Вилибальду Граффу? Оба они люди незаурядного интеллекта, оба страдают от неизлечимых болезней, и поэтому «последнее слово» каждого приобретает дополнительную нравственную силу.

Экзальтированный пророк Графф находится уже по другую сторону земных дрязг и суеты. Он одержим извечным стремлением мыслящей субстанции «существовать и дальше, пусть в ином месте, в ином облике, в иной стихии; существовать и дальше, хотя бы до тех пор, пока не получишь ответы на все вопросы и не доверишь все, чего еще не успел сделать». Эти пылкие рассуждения умеряет как бы сплетающийся с ними голос доктора Шумана, который, как психиатр и терапевт, слишком хорошо изучил людское племя, чтобы безоглядно присоединиться к любой из широко-вещательных утопий. Шуман не менее религиозен, чем Графф, но он не верит в автоматическую готовность первого встречного откликнуться на призыв к воодушевленному альтруизму. По сути, у некоторых его подопечных за душой нет ничего, кроме слепого эгоизма да бессердечной хитрости, и этого не вытравить никакими проповедями и социальными перетрясками. И в самом деле, вряд ли можно что-то поделаться с убогим умишком, «бестолковым и беспокойным, точно мартышка в клетке», Лиззи Шпёкенкикер, равно как и внушить представление о равенстве рас и религии ее неотлучному спутнику, коротышке Риберу.

Воспринятый в первую очередь через фигуры подобного плана, «Корабль дураков» — в соответствии с буквалистски понятым названием романа — способен предстать прежде всего развернутым реестром несовершенств, недостатков, моральных пороков. Ни о ком из его персонажей нельзя сказать, что он безгрешен, а некоторые выглядят прямо-таки отталкивающе. И все же по зрелом размышлении, установив между собой и текстом известную дистанцию, убеждаешься, что едва ли не большинство из промелькнувших перед внутренним взором лиц не заслуживают читательского осуждения. «Я тоже странствую на этом корабле», — считает нужным напомнить во вступлении к роману его автор.

Смешные, странные и даже не очень симпатичные черточки, высвечиваемые со всей откровенностью, не скры-

вают основной нравственной доминанты определенной человеческой общности. Ее участники изначально исполнены доброй воли и нуждаются лишь в подходящих, то есть нормальных, условиях для реализации своих потенций. В эту группу входят немецкие супружеские пары, трио швейцарцев, Вильгельм Фрейтаг и миссис Тредуэл, Глокен и маленькая фрау Шмитт, художники-американцы, судовой врач Шуман. То, что стало о них известно, не выходит за пределы некоей «среднечеловеческой» характерологической взвеси с преобладанием, однако, таких высоко ценимых качеств, как добропорядочность, элементарная просвещенность, готовность к разумному самоограничению.

Неоснователен, думается, и нередко обращаемый к К. Э. Портер упрек в «холодном равнодушии», в нейтральности авторской позиции. Помимо прочего он опровергается и концовкой романа, которой восхищался Роберт Пенн Уоррен, выступивший в качестве составителя сборника статей о творчестве писательницы. Фигурка впервые упоминаемого в тексте юного трубача, который, «казалось, ни разу в жизни не ел досыта, ни от кого не слышал доброго слова и не знает, что станет делать дальше», возникает в остроэмоциональном контексте встречи с родиной — какой бы она ни была на самом деле — как с верным, задушевым другом. Этот мгновенный светлый блик подобен грозовому разряду, который возрождает глубоко упрятанную в недрах произведения тему неуничтожимого тяготения изначально человеческого естества через всяческие тернии к вечно сияющим звездам.

Итак, жизненный процесс, наблюдаемый «сквозь призму» романа Портер, — это пестрая круговерть, безостановочное кипение самых разнообразных страстей, воззрений, посягательств. «Чтобы их удовлетворить, — рассуждает профессор Гуттен, — люди нередко борются не на жизнь, а на смерть, и одни при этом опускаются до любой гнусности, до оскорблений, жестокости и преступления, а другие возвышаются до истинной святости и мученичества». «Плоскому» позитивизму подобных взглядов XX век неоднократно противопоставлял более одухотворенные, романтизированные концепции, настаивающие на наличии у движения истории непрерывной цели и внутренних закономерностей.

Этот спор между органическим и нормативным подхо-

дами продолжается уже давно. С новой силой он, похоже, вспыхивает в наше время — время пересмотра шаблонов и привычек, отказа от сложившихся мыслительных модусов. Несмотря на все реверансы в сторону «неоднозначности», наш практический ум, твердо приученный к жесткому противопоставлению «или—или», все еще страшится реальной сложности разнонационального и многомерного «широкого мира». Раздвижение сложившихся рамок необходимо, и воспринятый, кроме всех прочих, и в этом ракурсе полифоничный роман К. Э. Портер предоставляет всем нам обильную пищу для размышлений.

А. Мулярчик

Название этой книги — перевод с немецкого: «Das Narrenschiff» называлась нравоучительная аллегория Себастьяна Бранта (1458? — 1521), впервые напечатанная по-латыни как «Stultifera Navis» в 1494 году. Я прочитала ее в Базеле летом 1932 года, когда в памяти у меня были еще свежи впечатления от моей первой поездки в Европу. Начиная обдумывать свой роман, я выбрала для него этот простой, едва ли не всеобъемлющий образ: наш мир — корабль на пути в вечность. Образ отнюдь не новый — когда им воспользовался Брант, он был уже очень стар, прочно вошел в обиход и с ним все сроднились; и он в точности отвечает моему замыслу. Я тоже странствую на этом корабле.

К. Э. П.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

на борту северогерманского пассажирского корабля «Вера» (см. справочник Ллойда), совершающего рейс от Веракруса (Мексика) до Бремерхафена (Германия) между 2 августа — 17 сентября 1931 года.

Немцы:

Капитан корабля Тиле.

Доктор Шуман, судовой врач.

Судовой казначей и шестеро помощников капитана.

Фрау Риттерсдорф, пассажирка с записной книжкой.

Фрау Отто Шмитт, у которой недавно в Мексике умер муж.

Зигфрид Рибер, издатель рекламного журнала дамских мод.

Фрейлейн Лиззи Шпёкенкикер из Ганновера, торгует дамским платьем.

Профессор Гуттен } бывший директор немецкой школы в Мексике

Фрау Гуттен } его жена, при них белый бульдог Детка,

Карл Баумгартнер } адвокат из Мехико, безнадежный пьяница,

Фрау Баумгартнер } его жена Грета

Ганс Баумгартнер } и их восьмилетний сын.

Карл Глокен, горбун; торговал в Мексике табаком и газетами, а теперь продал свой киоск и возвращается в Германию.

Вилибальд Графф, умирающий религиозный фанатик, возмнивший себя исцелителем болящих.

Иоганн, его племянник и в то же время сиделка.

Вильгельм Фрейтаг, «связанный» с нефтяной компанией в Мексике; возвращается в Германию за женой и ее матерью.

Юлиус Левенталь, еврей, фабрикант и торговец, поставляющий католической церкви всевозможную утварь; едет в родной город Дюссельдорф навестить двоюродную сестру Сару.

Швейцарцы:

Генрих Лутц } бывший владелец отеля в Мексике, после пятнадцати лет

Фрау Лутц } отсутствия возвращается в Швейцарию; с ним жена

Эльза Лутц } и восемнадцатилетняя дочь.

Испанцы:

Бродячая труппа — певцы и танцоры, называющие себя цыганами; прогнали в Мексике и возвращаются в Испанию.

Женщины: Ампаро, Лола, Конча, Пастора.

Мужчины: Пепе, Тито, Маноло, Панчо.

Дети: Рик и Рэк, близнецы, сын и дочь Лолы, шести лет от роду.

Condesa¹, обнищавшая аристократка, много лет жила на Кубе, по политическим мотивам выслана с Кубы на Тенерифе.

Кубинцы:

Шестеро студентов-медиков, направляются в Монпелье.

Супружеская чета с двумя малышами.

Мексиканцы:

Новобрачные из Гвадалахары (Мексика), совершают свадебное путешествие в Испанию.

¹ Графиня (исп.).

Сеньора Эсперон-и-Чавес де Ортега, жена атташе Мексиканского представительства в Париже, ее новорожденный сын и няня-индианка Николаса.
Отец Гарса } служители мексиканской католической церкви,
Отец Карильо } направляются в Испанию.
Политический агитатор: толстяк в темно-красной рубашке, любитель петь.

Швед:

Арне Хансен, ярый враг Рибера.

Американцы:

Уильям Дэнни из Техаса, молодой инженер-химик, направляется в Берлин.
Мэри Тредуэл, сорока пяти лет, развелась с мужем и возвращается в Париж.

Дэвид Скотт } молодые художники, любовники,
Дженни Браун } впервые едут в Европу.

Пассажиры четвертого класса:

Восемьсот семьдесят шесть душ, испанцы — мужчины, женщины и дети, поденщики с сахарных плантаций на Кубе, высланные обратно на родину — на Канарские острова и в различные области Испании — после краха, разразившегося на сахарном рынке.

Соседи по каютам:

Фрау Риттерсдорф
Фрау Шмитт

Миссис Тредуэл
Фрейлейн Шпёкенкикер

Дженни Браун (Дженни ангел)
Эльза Лутц

Отец Гарса
Отец Карильо

Вильгельм Фрейтаг
Арне Хансен

Дэвид Скотт (Дэвид лапочка)
Уильям Дэнни
Карл Глокен

Вилибальд Графф
Иоганн, его племянник

Рибер
Левенталь

Сеньора Ортега
Младенец и кормилица

Condesa (одна)

Новобрачные

Генрих Лутц
Фрау Лутц

Профессор Гуттен
Фрау Гуттен
Бульдог Детка

Баумгартнер
Фрау Баумгартнер
Ганс Баумгартнер

Шестеро студентов-кубинцев
занимают две смежные каюты

Бродячая труппа:
Маноло и Конча

Тито и Лола с близнецами

Пепе и Ампаро

Панчо и Пастора

ОТПЛЫТИЕ

«Когда мы
к счастью
поплывём?»
(Бодлер)



Часть I

Август 1931. Для путешественников портовый город Веракрус — всего лишь чистилище между сушей и морем, но здешние жители в восторге и от себя, и от этого города, ведь они помогали его создавать. Они срослись со здешним укладом, в котором отразились их история и характер, в их жизни постоянно перемежаются полосы бурной деятельности и сонного затишья, они не мыслят себе иного существования и, в уверенности, что их нравы и обычаи выше всякой критики, с удовольствием пренебрегают мнением людей сторонних.

Когда они развлекаются на многочисленных семейных и общественных празднествах, местные газеты в самых трогательных выражениях описывают, как это было весело, сколь роскошными и аристократическими (предполагается, что это одно и то же) были убранство и угощение, и не могут нахвалиться искусством, с каким здешнее высшее общество соблюдает тонкое равновесие между светской учтивостью и непринужденным весельем — секрет столь прекрасных манер известен одному лишь высшему свету Веракруса, конечно же, ему жгуче завидуют и тщетно пытаются подражать жалкие провинциалы — жители удаленной от побережья столицы. «Никто, кроме нас, не умеет развлекаться свободно и притом культурно, — пишут в этих случаях газеты. — Мы щедры, отзывчивы, гостеприимны и чутки», — уверяют они не только самих себя, но и многоязычных варваров с верхнего плоскогорья, упорно продолжающих считать Веракрус всего лишь мерзкими задворками, через которые приходится выбираться в море.

Пожалуй, чувствуется некоторая неловкость в этом воинственном выпячивании собственного аристократизма, а также в неизменной грубости жителей Веракруса по отношению к путешественникам, которые вынуждены пройти через их руки, чтобы обрести временное прибежище на борту какого-нибудь из стоящих в здешней гавани кораблей. Путешественники хотят лишь одного — поскорей отсюда выбраться, а жители Веракруса хотят лишь одного — поскорей от них избавиться, — но не прежде, чем выжмут из них все, что только может извлечь город в целом и каждый его житель в отдельности при помощи пошлин и сборов, грабительских цен и взяток. Словом, на первый взгляд Веракрус — самый обычный портовый город, бессовестный

по природе своей, бесстыжий по укладу, преспокойно являющий взорам приезжих непригляднейшую свою изнанку: из десятка путешественников девять — бараны, которые только и ждут, чтобы с них содрали семь шкур, а каждый десятый — негодяй, которого просто грешно было бы не провести. Во всяком случае, из каждого можно выжать не более того, что есть у него в кошельке, а времени на это всегда маловато.

Ранним, но уже знойным августовским утром несколько мирных горожан из тех слоев общества, что щеголяют в белых полотняных костюмах, прошли через раскаленную, как сковорода, площадь под пыльную сень магнолий и неторопливо уселись на веранде гостиницы «Паласио». Вытянули ноги, чтобы охладить подошвы, поздоровались с размякшим от жары щуплым официантом, назвав его по имени, и спросили соку лиметты со льда. Все они были отпрысками семей, знакомых поколениями, вместе росли, женились на родных и двоюродных сестрах и тетушках друг друга, знали, кто чем занимается, пересказывали друг другу все слухи и сплетни и выслушивали их, когда эти слухи и сплетни вновь к ним возвращались; каждый, как заправская повитуха, помогал появиться на свет повести об интимной жизни остальных; и однако они чуть не каждое утро встречались по дороге в свои магазины или конторы, вместе проводили последний час досуга и обменивались новостями, прежде чем приступить к серьезным дневным делам.

Площадь была пустынна, только маленький изможденный индеец сидел на скамье под деревом — индеец откуда-то из захолустья, в потрепанных белых холщовых штанах, длинной рубахе и старой соломенной шляпе с нелепо изогнутыми полями нахлобученной на самые брови. Ноги его с обломанными ногтями и потрескавшимися пятками бесильно лежали на серой земле, кожаные ремни сандалий порвались и заново связаны были узлами. Он сидел очень прямо, скрестив руки на груди и, казалось, дремал. Потом медленно, как во сне, сдвинул шляпу на затылок, вытащил из скрученного жгутом синего холщового пояса свернутые холодные маисовые лепешки и принялся за еду; то блуждая взглядом по сторонам, то уставясь в одну точку, он решительно впивался крупными зубами в жесткое тесто, жевал и глотал без малейшего удовольствия. Компания на веранде

не обращала на него внимания, словно он был деревом или камнем, и он, видимо, тоже никого не замечал.

Из-за угла не то ковыляя, не то ползком на четырех обернутых кусками кожи и обвязанных бечевками обрубках появился нищий, он всегда подгадывал к приходу первых утренних посетителей. В раннем детстве его так хитроумно изувечил мастер этого сложного искусства, готовя к будущей профессии попрошайки, что в нем почти не осталось сходства с человеком. Немой, полуслепой, он двигался, едва не уткнувшись носом в тротуар, будто нюх вел его по следу, и порой, останавливаясь передохнуть, медленно качал безобразной косматой головой от нестерпимой боли. Сидевшие за столиком мельком глянули на него как на собаку, такую мерзкую, что ее даже ногой пнуть противно, а он терпеливо ждал подле каждого, пока не звякнет медная монетка, брошенная в раскрытую кожаную сумку, что висела у него на шее. Один протянул ему половинку выжатой лиметты, нищий приподнялся, сел, разинул страшный рот, подхватил подачку и, старательно жуя, вновь упал на четвереньки. Потом пополз через улицу и лег под деревьями позади маленького индейца, а тот даже головы не повернул.

Сидевшие на веранде следили за ним лениво, равнодушно, будто ветер гнал по площади обрывок старой газеты; потом они обратили по-прежнему ленивые, но зоркие взгляды знатоков и ценителей на девушек, что стайками шли на работу, все — в хлопчатобумажных светлых платьишках, с ярко-розовыми или голубыми целлулоидными гребенками в черных волосах, и на девиц побогаче, одетых, как подобает прихожанкам, — эти были в черных вуалевых платьях, поверх высоких черепаховых гребней наброшены тонкие черные кружевные мантильи; они медленно переходили площадь, направляясь в церковь на другой ее стороне, и уже раскрывали большие черные веера.

Но вот последняя молодая прихожанка скрылась в дверях церкви, и сидевшие на веранде от нечего делать засмотрелись на давно знакомые повадки всякой живности, населяющей балконы и подоконники по соседству. Большой серый кот сжался в окне своего дома и настороженно следил за извечным врагом — попугаем; этот самозванец с чело-вечьим голосом опять и опять обманывал его, приглашая зайти подзакусить. Попугай, склонив голову набок, одним

агато-черным, отливающим бронзой глазом косился на мартышку, которая каждое утро с восходом солнца принималась осыпать его насмешками на непонятном языке и насмеялась весь день напролет. Мартышка, сидя на перилах соседнего балкона, кидалась к попугаю, насколько позволяла цепь, а попугай, привязанный за ногу, визжал, трепыхался и рвался с привязи. Потом мартышке это надоело, она бочком отступила восвояси, а попугай сел и, потряхивая перьями, начал долго и нудно браниться. Мартышка учуяла заманчивый запах лопнувших кокосовых орехов в корзинке уличного торговца, на тротуаре. Она прыгнула вниз, повисла, обвязанная поперек туловища цепочкой, неистово забилась на весу — и по той же цепочке вскарабкалась наверх, в безопасное место.

В окне, где сидел попугай, показалась обнаженная женская рука и протянула птице переспелый банан. Попугай что-то коротко прохрипел в благодарность, ухватил банан когтистой лапой и стал есть, сверля угрожающим взглядом мартышку, а та заверещала, раздираемая жадностью и страхом. Кот презирал обоих и никого не опасался — ведь он был свободен и мог кинуться в драку или наутек, как заблагорассудится, но до него донесся запах сырого мяса, уже подгнивающие куски его развешаны были в лавчонке под окном. Кот осторожно свесился с подоконника и неслышно упал на кучу требухи у ног мясника. Тут на него, рыча, кинулся какой-то шелудивый пес — лай, шипенье, неистовая гонка до ближайшего дерева — и кот вскарабкался по стволу на безопасную высоту, а пес, ослепленный яростью, наткнулся на вытянутые усталые ноги сидевшего на скамье индейца. Индеец почти и не пошевелился, только согнул ногу в колене — молниеносное движение, меткий удар жестким краем сандалии по торчащим собачьим ребрам. С протяжным воем пес кинулся обратно к лавке мясника.

Один из сидевших на веранде зевнул во весь рот, встряхнул смятую газету, которая лежала рядом, и снова стал разглядывать огромную, во всю газетную полосу, фотографию растерзанного трупа на краю небольшой воронки, вырытой взрывом бомбы во дворе шведского консульства, с пальмами в кадках и проволочными птичьими клетками на заднем плане. Взрывом убило только одного человека — слугу, мальчишку-индейца. Лицо не пострадало, глаза широко

раскрыты и задумчиво-печальны, откинута рука прикрывает ладонью клубок вывалившихся внутренностей. Из-за соседнего столика поднялся человек, тоже посмотрел на фотографию и покачал головой. Он был уже немолод, смуглое лицо лоснилось, белый полотняный костюм и воротничок рубашки размякли от пота.

— Скверная история, — сказал он довольно громко. — Всегда так: ухлопали не того, кого надо.

— Ну, ясно, в газете так прямо и сказано, — согласился тот, что помоложе.

Они стали читать редакционную статью. Редактор утверждал, что ни один человек в целой Мексике и, уж во всяком случае, ни одна душа в Веракрусе не могли желать ни малейшего зла шведскому консулу, который всегда был верным другом этого города, благовоспитаннейшим и достойнейшим из всех проживающих здесь иностранцев. Бомба же предназначалась некоему потерявшему совесть богачу, хозяину соседнего дома; по какой-то роковой ошибке, заслуживающей самого сурового осуждения, бомба разорвалась не там, где следовало. Редактор прекрасно понимает, что подобные досадные случайности могут повлечь за собою в высшей степени серьезные международные осложнения. А потому город Веракрус спешит принести глубочайшие, сердечнейшие извинения как самому консулу, так и великому миролюбивому государству, которое он представляет, и, разумеется, готов всячески возместить нанесенный ущерб, как то принято в подобных случаях между цивилизованными правительствами. По счастью, господин консул во время взрыва отсутствовал — вместе с членами своей семьи он приглашен был к другу и коротал часы послеполуденной жары за освежительными напитками. Жители города Веракрус все как один надеются, что шведский консул согласится забыть и простить эту трагическую ошибку, ведь время сейчас суровое, опасность подстерегает каждого из нас на каждом шагу. А пока прискорбный случай этот, быть может, окажется даже полезен, пусть он послужит предостережением для бессердечных домовладельцев, которые бессовестно эксплуатируют своих жильцов — честных граждан Веракруса: пусть знают они, что революция исполнена мощи, рабочие непреклонны в своей решимости положить конец всякой социальной и экономической несправед-

ливости и отомстить полной мерой за все прежние несправедливости.

Тот, что помоложе, перевернул страницу, и оба продолжали читать. Редактор желает объяснить еще одно обстоятельство. Безусловно, никого не следует упрекать за то, что празднество, которым предполагалось отметить взрыв бомбы, состоялось, хотя цель тех, кто посвятил себя делу разрушения, по несчастной случайности не была достигнута. Все приготовления сделаны были заранее, они стоили труда и денег, фейерверк заказан и оплачен за неделю вперед, город охвачен предвкушением победы. Было бы в высшей степени неблагородно разочаровать празднично настроенных тружеников города, их прелестных супругов и их детей, растущих в новом, свободном мире. Разумеется, общество должно оплакать безвременную смерть честного юноши, скромного представителя угнетенного пролетариата. Предполагается устроить грандиозные похороны, со всеми почестями предать земле останки этой жертвы, погибшей за великое дело свободы и справедливости; а скорбящей семье предоставлено будет щедрое материальное возмещение. Уже привезены на двух грузовиках цветы, добровольно пожертвованные всеми до единого местными профсоюзами; пять оркестров будут играть похоронные марши и революционные песни на протяжении всего пути от дверей собора до могилы, и, как ожидают, все труженики и труженицы, способные ходить, примут участие в погребальном шествии.

— Уф, тут жарко становится, — сказал тот, что помоложе, и вытер шею платком.

Тот, что постарше, сказал тихо, почти шепотом и едва шевеля губами:

— Ясное дело, эти свиньи на все способны. Вот уж больше года я не получаю от них ни песо квартирной платы и, пожалуй, ничего и не получу. Засели в квартале Соледад, там тридцать пять домов, живут на мой счет, вшивые сволочи, и в ус не дуют.

С минуту они молча смотрели друг другу в глаза.

— Не понимают, видно, что это — палка о двух концах.

Младший кивнул. Они отошли подальше, чтобы их не слышали официанты.

— Мои сапожники за семь месяцев четыре раза бастова-

ли, — сказал младший. — Они чуть не в глаза мне говорят, что хотят взять предприятие в свои руки. Пускай попробуют, в тот же день фабрика сгорит дотла, уж это я вам обещаю. Все солидно застраховано.

— Чего мы только ждем? — не выдержал старший с внезапно прорвавшимся бешенством. — Надо было взять полсотни пулеметов и расстрелять вчера это их шествие. У них пока нет армии — почему мы не вызвали войска? Полсотни пулеметов? Почему не пять тысяч? Почему не полный грузовик ручных гранат? Сдурели мы, что ли? Совсем уже ничего не соображаем?

Младший устался в одну точку, словно его мысленному взору представилось некое весьма увлекательное зрелище.

— Все только начинается. — Он улыбнулся, явно предвкушая немалое удовольствие. — Пускай дозреет, тогда будет смысл этим заняться. Не беспокойтесь, мы их сотрем в порошок. Победы им не видать. Это же стадо, они даже не понимают, что вся их борьба только и даст им новых хозяев... Ну, я-то пока намерен сам оставаться хозяином.

— Не останетесь, если мы будем сидеть сложа руки; они-то на нас наседают, — возразил старший.

— Победы им не видать, — повторил младший.

Они ушли.

Понемногу и другие уходили с веранды, оставляя газеты на столиках. Им противно было смотреть, как улицы вновь наполнила толпа приезжих — это двинулись к очередному отбывающему кораблю перелетные птицы, неведомо из каких краев, болтая на своих непонятных наречиях. Даже испанский у них звучал совсем не так, как в Мексике. А уж их женщины... лишь изредка порадует тихой красотой молодая мексиканка, остальные, из какой бы чудной страны ни были родом, все одинаковы: сущие пугала огородные, размалеванные старухи, либо чересчур жирные, либо чересчур тощие, или уж молодые крикуньи, коротко стриженные, плоскогрудые, — вышагивают в туфлях без каблуков, в непомерно коротких юбчонках и выставляют напоказ такие ноги, что на них не надо бы глядеть никому, кроме разве господ бога. Если и попадались редкие исключения из этого правила, их попросту не замечали: все иностранцы отворачи-

тельны и нелепы уже по одному тому, что они иностранцы. Жители Веракруса никогда не уставали высмеивать женщин из чужих краев — их одежду, их голоса, их дикие, начисто лишённые женственности повадки, — и особенно доставалось американкам из Северных Штатов. Иногда корабли привозили и увозили какую-нибудь богатую и важную особу; но богатство и важность только и обнаруживались в том, что особы прибывали и уносились в мощных машинах или величественно молчали, стоя на пристани или на набережной, окруженные грудями роскошных чемоданов. Да и не все ли равно, каковы они там с виду; их высмеивали по другим, более веским причинам. Они — хоть они, похоже, об этом и не подозревают и чувствуют себя как нельзя лучше, воображают, будто весь мир к их услугам, и всеми командуют, а сами палец о палец не ударят, — они будут уничтожены, и уже сейчас на них можно смотреть как на диковину, как на некую вымирающую породу: так сказали своим приверженцам профсоюзные руководители. И очередная орава, заполнившая улицы Веракруса, на взгляд наблюдателей, оказалась самой обычной — не хуже и не лучше других, а впрочем, всегда попадается какая-нибудь забавная разновидность.

Из дверей гостиницы вышел поглядеть на белый свет портье, официанты в мятых и запачканных белых куртках принялись перед полуденным наплывом посетителей смахивать со скатертей пыль и крошки. С презрением смотрели они на своих клиентов, которые, пробежав все утро по городу, снова сбредались сюда отдохнуть и перекусить.

Что и говорить, путники выглядели не лучшим образом. Из поезда, который доставил их на побережье, они выгрузились одеревеневшие от напрасных попыток поспать сидя и не раздеваясь, растревоженные — ведь вся привычная оседлая жизнь перевернулась, — пожалуй, даже мрачные от какого-то непонятого чувства, словно они потерпели поражение, от вынужденного прощания с прошлым, от бездомности, хотя бы и временной. Им не удалось толком умыться, все они помятые, запыленные, под глазами от усталости и тревоги темные круги, взгляд отсутствующий, но при каждом бумаге за подписями и печатями — доказательство, что такой-то родился тогда-то и там-то, что у него есть имя, есть в этом мире некая точка опоры, есть пожитки, стоящие

того, чтобы ими поинтересовались таможенники на границе, и предстоит ему путешествие, для которого имеются достаточные и достойные основания.

Каждый надеялся, что бумаги эти хоть ненадолго оградят его в затейной поездке от опасностей и случайностей, и каждому казалось, что ужасно важно пуститься в путь сейчас же, всех опередить, первым уладить свои драгоценные дела во всяких бюро, консульствах, всевозможных канцеляриях; и все это начинало походить уже не на путешествие, а на скачки с препятствиями.

Пока что все они были одинаковы и во всех жила одна и та же надежда. Все вместе и каждый в отдельности они стремились к одному: благополучно попасть в этот день на немецкое судно, которое как раз зашло в Веракрус. Оно совершило долгий рейс и теперь из Южной Америки возвращалось в Бремерхафен. Тревожные слухи настигли путешественников еще прежде, чем они выехали из Мехико. Вдоль всего побережья бушуют ураганы. В самом Веракрусе стремительно развивается то ли всеобщая забастовка, то ли революция — время покажет, что именно. В нескольких городах на побережье вспыхнула небольшая эпидемия оспы. Заслышав эту новость, путешественники помчались делать прививки, у всех объявился жар, и каждый обнаружил у себя на локте или выше колена подозрительный прыщик с гнойной коркой. Говорили также, что корабль опоздает, он потерял три дня, застряв на песчаной отмели у Тампико; но, по самым последним сведениям, он уже в гавани и отплывет вовремя.

Похоже, что, пускаясь в это плавание, люди рисковали больше обычного, и если уж, несмотря на все эти не слишком ободряющие вести, они не передумали и очутились в Веракрусе, значит, ими движет не прихоть, не желание совершить увеселительную поездку, но необходимость. Все это были люди явно небогатые, кто довольно скромного достатка, кто попросту беден, но каждый, соответственно своему положению, мучился тем, что кошелек его чересчур тощ. Бедность распознавалась мгновенно, по тому, как скупое давались чаевые, как опасливо приоткрывались бумажники и сумочки, как тщательно, осторожными пальцами, сдвинув брови, пересчитывали сдачу, по тому, как в ужасе вздрогнул человек, когда сунул руку во внутренний

карман и на леденящий миг ему почудилось, что деньги исчезли.

Всем верилось, что они направляются туда, где им по той или иной причине будет лучше, чем там, откуда они уезжают, но притом необходимо избежать лишних проволочек и расходов. А проволочки и расходы — их общий удел, ибо ими завладела целая армия профессиональных охотников за чаевыми и подачками, сонных канцеляристов в консульствах и скучающих чиновников-паспортистов в Бюро выезда и виз, и всем этим личностям в высшей степени наплевать, попадут отъезжающие вовремя на корабль или тут же, не сходя с места, подохнут. Нагляделись они на таких — изо дня в день с утра до ночи одно и то же, одеты все как порядочные, а от самих так и разит неблагополучием, денежными заботами и семейными неурядицами. Чиновники эту породу не жаловали, таких бед им и самим хватало.

Почти двадцать четыре часа кряду безымянные, безликие путники, в которых уже мало осталось человеческого, — каждый загнав поглубже свою тайную боль, воспоминания, стремления, сломленную волю — упрямо бродили пешком (потому что бастовали шоферы такси), потные, отчаявшиеся, голодные (бастовали булочники, бастовали мороженщики), из гостиницы в Бюро выезда и виз, потом в таможенную, в консульство, в порт, где стоял на якоре корабль, и снова на вокзал, пытаясь собрать воедино свои развалившиеся на части судьбы и свои пожитки. На вокзале у каждого багаж перехватывал носильщик — и во власти этой мрачной личности каждый сразу оказывался совершенно беспомощным; а потом носильщик улетучивался вместе со всеми вещами. Куда он скрылся? Когда вернется? И тут все спохватывались — кому спешно понадобилась расческа, кому чистая сорочка, блузка, носовой платок; весь день они бегали по городу неряхи неряхами, даже умыться толком не было возможности.

И путешественники маялись; опять и опять встречались они во всех неуютных местах и заведениях, куда всех одинаково загоняла неласковая участь, и всем выпадали одни и те же мучения: нестерпимая жара, неистовая, до белого каления, ярость беспощадного солнца; мерзкая, до неправдоподобия мерзкая еда, которую швыряли на стол перед усталыми, осунувшимися посетителями нахальные официанты.

Каждый хотя бы раз отодвинул тарелку с какой-нибудь застывшей жирной размазней, в которой завязли муха и таракан, и покорно уплатил за эту гадость, и еще дал официанту на чай, потому что самый воздух насыщен был и сводящей с ума, и в то же время отупляющей угрозой насилия. Некстати сказанное слово, неловкое движение — и тебя того гляди убьют, а это был бы уж слишком бессмысленный конец. Постепенно все стали питаться лишь черным кофе, теплым пивом, отдающим химией лимонадом в бутылках, размякшими солеными галетами из жестяных банок, да еще пили прямо из скорлупы сок только что вскрытых кокосовых орехов. Внезапно, когда их никто не ждал, вновь появлялись носильщики, дергали своих подопечных, давали дуррацкие советы и требовали новых чаевых за то, что исправляли свои же ошибки. Кошельки и душевные силы неуклонно истощались, словно в тягучем дурном сне, а неотложные дела, казалось, все не двигаются с места. Женщины, не выдержав, раздражались слезами, мужчины — бранью, но толку от этого не было ни малейшего; у всех покраснели веки и ныли опухшие ноги.

Общие злоключения отнюдь не сближали товарищей по несчастью. Напротив, каждый отгораживался от всех прочих, старательно оберегая свою гордость и независимость. В первые тягостные часы они упорно не замечали друг друга, но приходилось встречаться глазами по двадцать раз на дню — и во взглядах поневоле появилось враждебное признание. «Опять ты здесь! А я тебя знать не знаю!» — скажут друг другу взгляды и поспешно метнутся в сторону, и каждый упрямо возвращается к своим заботам. Каждый путешественник становился свидетелем унижений другого, излагал при всех свои дела, опять и опять отвечал на нескромные расспросы, чтобы ответы в сотый раз могла записать какая-нибудь дотошная канцелярская крыса. Порой они останавливались кучками на тех же улицах, читали вслух одни и те же вывески, задавали вопросы тем же прохожим, но ничто их не соединяло. Казалось, в предвидении долгого пути все они твердо решили быть поосторожнее со случайными, волею судьбы навязанными знакомцами.

— Ну вот, — сказал портье тем официантам, что были поближе, — возвращаются наши ослы.

Официанты, помахивая грязными салфетками, враж-

дебно и вызывающе уставились на разношерстное собрание измученных людей, которые молча поднялись на веранду и вяло поникли за столиками, словно уже потерпев кораблекрушение. Вот опять явилась несурзная толстуха, у которой ноги как бревна, с толстопузым муженьком в пропыленном черном костюме и с жирным белым бульдогом.

— Нет, сеньора, — с достоинством сказал ей накануне портье, — у нас тут всего лишь Мексика, но собак мы в комнаты не пускаем.

И эта нескладеха поцеловала пса в мокрый нос и только тогда отдала его слуге, который отвел животное на задний двор и привязал там на ночь. Бульдог Детка перенес это испытание с молчаливой угрюмой стойкостью, присущей всему его героическому племени, и ни на кого не затаил зла. А его хозяева сразу принялись рыться в огромной корзине с провизией, которую они повсюду таскали с собой.

Широким шагом взшла на веранду высокая тощая девица — голенастая, коротко стриженная, с крохотной головой-недомерком, болтающейся на длинной тощей шее, в зеленом платье, вяло болтающемся вокруг тощих икр; она пронзительным павлиньим голосом толковала что-то по-немецки своему спутнику — румяному коротышке с поросячьей физиономией. Рослый и словно развинченный в суставах человек, на удивленье большерукий и большеногий, с белобрсым ежиком над хмурым, наморщенным лбом прошагал было мимо веранды, словно не узнав ее, но тут же вернулся, сел в стороне от всех и вновь погрузился в раздумье. Хрупкий рыжий мальчик лет восьми задыхался и потел в ярко-оранжевом кожаном костюмчике мексиканского ковбоя, на зеленовато-бледном лице его резко выделялись веснушки цвета меди. Родители-немцы, болезненного вида папаша и унылая, раздражительная мамаша, подталкивали его, а мальчик упирался, извивался всем телом и тянул на одной ноте:

— Мама, пойдем, ну мам, ну пойдем...

— Куда пойдем? — визгливо спросила мать. — Чего ты хочешь? Говори толком. Мы едем в Германию, чего тебе еще надо?

— Пап, ну пойдем! — в отчаянии взмолился мальчик.

Родители переглянулись.

— О господи, у меня голова лопается! — сказала мать.

Отец схватил мальчика за руку и потащил в глубь темного, как пещера, коридора.

— Уж эти туристы, — сказал портье официанту. — Напялили на ребенка кожаный костюм, в августе-то месяце, вырядили как чучело.

Мать услышала, отвернулась, покраснела, закусила губу, потом закрыла лицо руками и на минуту замерла.

— Кстати, насчет чучел — а это видал? — сказал официант и легонько махнул салфеткой в сторону молодой американки в темно-синих штанах и голубой рубашке сурового полотна; широкий кожаный пояс и синий узорчатый платок на шее довершали ее наряд — точную копию рабочей одежды мексиканских индейцев-горожан. Молодая женщина была без шляпы. Черные волосы ее, разделенные прямым пробором, свернуты на затылке узлом — прическа эта показалась бы старомодной в Нью-Йорке, но пока еще вполне подходила для Мексики. Спутник этой женщины, молодой американец, был в опрятном белом полотняном костюме и в самой обыкновенной панаме.

Понизив голос, но не слишком, портье отважился на убийственнойшее из всех известных ему оскорблений:

— Видно, яловая.

И отвернувшись, со злорадством заметив, что американцы понимают по-испански. Молодая женщина напряглась, как струна, тонкое лицо ее спутника побелело, злыми глазами они уставились друг на друга.

— Говорил я тебе, ходи здесь в юбке, — сказал молодой человек. — Вечно делаешь по-своему.

— Тише, — устало, ровным голосом отозвалась молодая женщина. — Пожалуйста, тише. Я не могу переодеться, пока мы не сели на пароход.

По всей площади и прилегающим проулкам, между низкими стенами, покрытыми перепачканной, исклеванной пулями известкой, сновали четыре красивые испанки, смуглые, с гордо вскинутыми головами и привычной, профессиональной дерзостью во всей повадке; из-под тонких черных платьев, которые чересчур туго обтягивали их стройные бедра, неряшливо выглядывали оборки ярких нижних юбок, развеваясь вокруг изящных ножек. Испанки носились взад и вперед, бегали по лавкам, тесным кружком усаживались на веранде и ели фрукты, разбрасывая кожуру, и

непрерывно трещали по-испански, будто ссорилась крикливая птичья стая. При них было четверо смуглых, гибких молодых людей: у всех четверых прилизанные черные волосы над узенькими лобиками, широкие плечи и тонкая талия, перехваченная широким поясом; и тут же двое детишек лет шести, мальчик и девочка, близнецы, с болезненно-желтыми, чересчур взрослыми лицами. Из всех путешественников только эта компания пошла накануне вечером на улицу поглядеть на фейерверк и принять участие в празднестве. Они криками приветствовали взлетающие ракеты, плясали друг с другом среди толпы, потом отошли немного в сторону и, шелкая кастаньетами, снова пустились плясать — хоту, маллагуэню, болеро. Вокруг собралась толпа, и под конец одна испанка стала обходить зрителей и собирать деньги, она обеими руками приподняла подол и подставляла его под монеты, громко шурша оборками нижней юбки.

Потребовался бы поистине титанический труд, чтобы навести в делах этой компании какой-то порядок. Они бродили бестолковой, полудикой ордой, кричали на детей, а дети никого не слушались и от всех получали подзатыльники, и все хватали неслухов за руку или за шиворот и волокли за собой. Испанки небрежно тащили какие-то бесформенные, разваливающиеся свертки и узлы, сверкали глазами, неистово раскачивали бедрами, их растрепанные волосы все сильнее раскосмачивались, но они ни на миг не падали духом. Наконец вся компания взбежала на веранду отеля, сгрудилась за одним из столиков — и все стали колотить по нему кулаками и кричать на официанта, наперебой заказывая каждый свое, и дети храбро присоединились к общему шуму и гаму.

Скромная худощавая женщина, еще довольно молодая, одетая очень обыкновенно — в темно-синем полотняном платье и широкополой синей шляпе, которая наполовину скрывала ее черные волосы, миловидное личико и внимательные синие глаза, — не без отвращения посмотрела в сторону испанцев; потом приподняла рукав на правой руке и еще раз оглядела то место, где ее недавно ущипнула нищенка. Повыше локтя вздулась и отвердела опухоль и уже проступали багрово-синие пятна. Женщине хотелось кому-нибудь показать этот болезненный след, сказать легким тоном, словно и не о себе: «Дикость какая-то, просто не ве-

рится — неужели так бывает?» Но рядом никого не было, и она опустила смятый рукав. С утра, приняв холодную ванну, напившись горячего, хоть и премемерзкого кофе и чувствуя себя чуть получше оттого, что удалось выспаться, она уже не в первый раз отправилась в Бюро выезда и виз. Нищенка сидела на земле, прислонясь спиной к стене, и ела горячий зеленый перец, прихватив его лепешкой; подтянутые к животу колени ее торчали под бесчисленными драными юбками. Заметив американку, она перестала есть, переложила лепешку с перцем в левую руку, неловко поднялась и, стремительно переступая тощими ногами, направилась к назначенной жертве; на темном, словно дубленом лице ее желтые глаза были точно нацеленные клинки.

— Подай поскорей Христа ради, — сказала она угрожающе и хлопнула иностранку по локтю; той и сейчас помнилась приятная дрожь справедливого негодования, с каким она, собрав все свои познания в испанском, ответила, что ничего подобного делать не намерена. И тогда нищенка, точно нападающий коршун, мигом ухватила когтистой лапой мякоть ее руки пониже плеча и ущипнула жестоко, с вывертом, впиваясь в кожу длинными, точно железными ногтями, — и тотчас кинулась наутек, только босые пятки замелькали. Да, это было как страшный сон. Такое просто не может случиться в обычной жизни, по крайней мере со мной. Она ссутулилась, отерла лицо платком и посмотрела на часы.

Толстый немец в пропыленном черном костюме и его толстуха жена о чем-то шептались, наклоняясь друг к другу и согласно кивая головами. Потом, захватив свою корзинку с провизией и собаку, перешли площадь и уселись на другом конце скамьи, на которой сидел недвижимый индеец. Они разворачивали промасленную бумагу и неторопливо поедали огромные белые бутерброды, по очереди запивая их из стаканчика-крышки большого термоса. Толстый белый пес сидел у их ног, доверчиво задрал морду, и, громко захлопывая пасть, ловил все новые куски. Они жевали и жевали важно, деловито, с достоинством, а маленький индеец на другом конце скамьи не шелохнулся, неслышное дыхание едва приподнимало его впалый живот. Немка хозяйственно завернула остатки еды и положила на скамью подле индейца. Он мельком глянул на сверток и опять отвернулся.

Немцы с бульдогом и корзинкой вернулись за свой столик на веранде и спросили бутылку пива и два стакана. Нищий калека вылез из-под дерева, принялся и пополз на запах пищи. Приподнялся, обхватил сверток обернутыми кожей культияпками и сбросил наземь. Прислонился к скамье и стал есть прямо с земли, давясь и чавкая. Индеец не шевелился, смотрел в сторону.

Девушка в синих брюках протянула руку и погладила бульдога по голове.

— Славная у вас собака, — сказала она немке.

— О да, он очень хороший, мой беденький Детка, — отозвалась та мягко, но словно бы нерешительно, не глядя в глаза незнакомке. По-английски она говорила почти без акцента. — Он такой терпеливый, я только иногда боюсь, может быть, он думает, что мы все это устроили ему в наказание.

Она смочила пивом носовой платок и ласково обтерла широкую морду пса и, почти ласково посмотрев не на неприглядную, неприлично одетую молодую американку, а сквозь нее, равнодушно отвернулась.

Тут всех переполошила коротко стриженная молодая женщина в зеленом, она вдруг вскочила на ноги и пронзительно закричала по-немецки:

— Смотрите, смотрите! Да что же это? Что они с ним делают?

Она махала длинными руками в сторону могучего дерева посреди площади.

Из-за церкви вышли человек шесть малорослых тощих индейцев с ружьями под мышкой. Не спеша, легкими мелкими шажками они направились к одинокому индейцу на скамье. Он смотрел, как они приближаются, но и бровью не повел; а у них лица были ничуть не суровые, только непроницаемые и равнодушные. Они остановились перед сидящим, окружили его; и сейчас же, без единого слова или взгляда, он поднялся и пошел с ними, все они неслышно ступали в своих драных сандалиях, белые холщовые штаны болтались вокруг тощих щиколоток.

Путешественники смотрели на все это с полнейшим безразличием, словно решили не утруждать себя вопросами, на которые все равно не получить ответа. Притом что бы не произошло в этом городишке,

даже и с кем-то из них, остальных это не касается.

— Не ломайте себе голову, — сказал немец с поросячьей физиономией женщине в зеленом. — Здесь это обычная история. В конце концов они его расстреляют, только и всего. Может, он стащил пригоршню стручкового перца. А может, у них в деревне немножко поспорили о политике.

При этих словах очнулся от задумчивости долговязый блондин с огромными ручищами и ножищами. До сих пор он сидел согнувшись в три погибели, нога на ногу, а теперь выпрямился и устремил мрачный взгляд на жирного поросенка.

— Да, — раскатисто произнес он по-немецки, но с акцентом. — Очень может быть, что дело в политике. В этой стране ничем больше не занимаются. Сплошная политика, забастовки да бомбы. Им даже понадобилось бросить бомбу в шведское консульство. Уверяют, будто по ошибке, — врут, конечно! Почему именно в шведское, хотел бы я знать?

Человек-поросенок вдруг рассвирепел.

— А почему бы для разнообразия и не в шведское? — громко и грубо спросил он. — Почему бы и иным прочим в кои веки не хлебнуть? Почему одни немцы должны терпеть всякие неприятности в этих паршивых заграницах?

Долговязый пропустил вопрос мимо ушей. Он опять сгорбился, прикрыл очень светлые глаза белесыми ресницами и принялся тянуть через соломинку стоявший перед ним фруктовый напиток. Все немцы, сколько их сидело поблизости, беспокойно зашевелились, сурово нахмурились. Лица их выразили чопорное осуждение: вот уж не к месту и не ко времени! Из-за таких-то личностей обо всех нас идет за границей дурная слава. Толстяк побагровел, надулся, казалось, он оскорблен в своих лучших чувствах. Настало долгое, пропитанное нестерпимой жарой и потом молчание; наконец все зашевелились, отодвигая стулья, собирая пакеты и свертки, и медленно двинулись к выходу. Отплытие назначено на четыре часа, пора идти.

Четким шагом старого вояки доктор Шуман пересек палубу и остановился у поручней, твердо упершись ступнями в

палубу, руки опущены, поза свободная, но не расслабленная, и стал присматриваться к веренице пассажиров, поднимавшихся по трапу. У доктора Шумана был орлиный профиль, строгая, красивой лепки голова, на левой щеке два темных, грубых шрама — следы дуэлей. Один — настоящее «украшение», как говорят немцы: всем на зависть удар рассек лицо от уха до угла губ, так что наверняка сбоку обнажились зубы. За многие годы рана затянулась, но остался узловатый неровный рубец. Благодаря ему доктор Шуман выглядел молодцом, он и вообще выглядел молодцом в свои шестьдесят лет: и шрам и возраст были ему к лицу. Светлокарие глаза его спокойно смотрели в одну точку, к которой приближались и проходили мимо все новые пассажиры, и взгляд этот не был ни оценивающим, ни любопытным, а лишь рассеянно благожелательным, почти ласковым. казалось, вот человек приветливый, воспитанный, с отменной выдержкой; он сразу выделялся среди светловолосых, очень молодых и мелкозатых помощников капитана в белых кителях и среди снующих взад и вперед рослых, крепких матросов с тупыми, лишенными всякого выражения лицами — проворных, старательных, отлично вымуштрованных служак.

Пассажиры выходили из полутемного, затхлого сарая-таможни и щурились, ослепленные ярким солнцем, все они похожи были на калек, из последних сил сползающих в больницу. Доктор Шуман заметил горбуна, каких прежде не видывал: сверху казалось, что ноги у этого карлика растут прямо из-под лопаток, грудь торчала острым углом, затылок почти касался огромного спинного горба; он ковылял, весь раскачиваясь на ходу, длинное высохшее лицо застыло в гримасе терпеливого страдания. Вслед за ним высокий юнец с великолепной гривой золотистых волос, мрачно надвиг губы, рывками и толчками катил в легком кресле на колесах маленького иссохшего полумертвеца; в обвисших усах умирающего поблескивала седина, бессильные руки простерты на коричневом плече, глаза закрыты. И никаких признаков жизни, только голова тихонько покачивается в такт движению кресла.

Опираясь на руку кормилицы-индианки, медленно прошла молодая мексиканка, смягченная и утомленная недавними родами, в изящном и строгом черном платье — веч-

ном трауре женщин ее касты; на другой руке индианка не-сла младенца, завернутого в длинное вышитое покрывало, оно струилось складками чуть не до земли. В ушах индианки сверкали камнями серьги, скромно переступали, едва видне-ясь из-под ярко расшитой сборчатой негородской юбки, ма-ленькие босые ноги. Затем поднялась по трапу ничем не примечательная чета — бесцветные родители такой высо-кой и плотной девицы, что, идя по обе стороны от дочери, они казались худыми и малорослыми; все трое тупо, расте-рянно озирались. Два священника-мексиканца, с одинако-вым угрюмым взглядом и синеватыми бритыми щеками, проворно обогнали эту медлительную процессию.

— Дурная примета, несчастливый будет рейс, — заме-тил молодой помощник капитана другому, и оба, люди вос-питанные, отвели глаза.

— Ну, это еще ничего, не то что монахини, — отозвался второй. — Вот если монахинь везти, тогда пойдешь ко дну!

Четыре хорошенькие, неряшливо одетые испанки с гладко начесанными на уши черными волосами, в черных туфлях на тонкой подошве, слишком узких и со сбитыми высокими каблуками, неторопливо целовали на прощанье подряд одного за другим полдюжины провожатых — моло-дых жителей Веракруса — и принимали от них корзины цве-тов и фруктов. Потом к испанкам присоединились четверо их спутников с осиными талиями, и они поднялись по трапу, причем красотки на ходу оценивающими взглядами окиды-вали выстроившихся в ряд светловолосых помощников ка-питана. Позади с независимым видом топали чумазые близ-нецы, неумоимо поедая сласти из неопрятных бумажных кулчков. За ними шли несколько человек, которые, на взгляд доктора Шумана, внешне ничем не выделялись, ясно было только, что они из США. Как все американцы, они были худощавей и стройней немцев, но лишены изящества, свойственного испанцам и мексиканцам. И невозможно было по виду определить, к какому слою общества они при-надлежат, хотя со всеми остальными доктору это легко уда-валось; у этих были одинаково озабоченные, странно на-пряженные лица, но по их выражению трудно было хоть как-то судить о характерах. Миловидная моложавая жен-щина в темно-синем платье выглядела весьма достойно, од-нако из-под короткого рукава виднелся огромный синяк,

скорее всего след грубой ласки, и это совсем некстати придавало ее облику некоторую непристойность. У девушки в синих брюках были очень красивые глаза, но держалась она легкомысленно до дерзости, и это разочаровало доктора Шумана, который полагал, что молодую девушку больше всего красит скромность. Подле этой девицы шагал молодой человек с упрямым римским профилем, чем-то похожий на злого норовистого коня, голубые глаза его смотрели холодно и замкнуто. Рослый смуглый молодец с неуклюжей походкой (доктор вспомнил, что он сел на пароход в одном из портов Техаса) во время стоянки гулял по Веракрусу и теперь возвращался на пароход; он лениво брел за испанками, обводя их весьма недвусмысленным плотоядным взглядом.

Пассажиры все еще поднимались по трапу, но доктору Шуману уже наскучило смотреть; офицеры тоже разошлись; портовые грузчики, которые прежде работали с прокладцей, подняли крик и забегали рысцей. На причале еще оставался кое-какой багаж, погрузились еще не все дети и взрослые, а те, кто уже поднялся на борт, бродили в растерянности с таким видом, словно забыли на берегу что-то очень важное и никак не вспомнят, что же именно. Молчаливыми разрозненными кучками они опять спускались на пристань и праздно смотрели, как портовики работают у подъемных кранов. На канатах болтались в воздухе и обрушивались в трюм бесформенные узлы и тюки, обвязанные кое-как тьюфяки и пружинные матрацы, дрянные диваны и кухонные плиты, пианино, на скорую руку обшитые досками, и старые дорожные сундуки, целый грузовик черепицы из Пуэбло и несколько тысяч слитков серебра для Англии, тонна сырого каучука, тюки пеньки, сахар для Европы. «Вера» не принадлежала к числу пароходов, предназначенных для перевозки особо редких и ценных товаров, и уж никак не напоминала нарядные, сверкающие свежей краской и изысканной отделкой суда, что доставляют из Нью-Йорка толпы благополучных разряженных туристов с туго набитыми кошельками. Это была заурядная посудина, которая перевозила и грузы, и пассажиров, — прочная, устойчивая, как все такие работяги, она круглый год шлепала от одного дальнего порта к другому, добросовестная, надежная и невзрачная, точно какая-нибудь хозяйственная немка.

Пассажиры с любопытством осматривали свой корабль,

и в них пробуждалась странная нежность, которую может внушить даже самая уродливая мореходная посудина: ощущение, что все свои дела они доверили теперь ее каютам и трюмам. И они опять направились к трапу: крикливая женщина в зеленом, толстая чета с бульдогом, маленькая пухленькая немка в трауре, с гладкими каштановыми косами вокруг головы и золотой цепочкой на шее, небольшого роста немецкий еврей с озабоченным лицом — он насилу волочил тяжелый чемодан с образцами.

В самую последнюю минуту прихлынула оживленная праздничная процессия: провожали новобрачных в свадебное путешествие, у трапа собралась толпа — на женщинах кружевные шляпы и воздушные платья нежнейших акварельных тонов, на мужчинах белоснежные полотняные костюмы, в петлицах алые гвоздики; свадьбу справляли мексиканцы, в числе подружек новобрачной — несколько девушек из Штатов. Пара была молодая, красивая, хотя сейчас оба казались усталыми и измученными, лица их осунулись от долгого испытания, да оно еще и не кончилось. Мать новобрачного прильнула к сыну и тихо, неудержимо плакала и, покрывая его щеки поцелуями, горестно ворковала:

— Ох, радость моя единственная, сыночек мой любимый, неужели я и вправду тебя потеряла?

Муж поддерживал ее. Опираясь на его руку, она снова обняла сына, а тот поцеловал ее, потрепал по сильно нарумяненным и напудренным щекам и пробормотал почтительно:

— Нет-нет, мамочка, дорогая, мы вернемся через три месяца.

При этих словах мамаша поникла, словно ее дитя нанесло ей смертельный удар, и, рыдая, упала в объятия своего супруга.

Новобрачная, одетая по-дорожному, но нарядно, как подобало случаю, стояла в кругу подруг, мать держала ее за одну руку, отец — за другую, у всех троих лица были спокойные, серьезные и отмеченные удивительным сходством. Они ждали терпеливо и чуть-чуть даже сурово, словно отбывали некий утомительный, но неизбежный ритуал; наконец подружки, вспомнив о своих обязанностях, робко достали по маленькой затейливой корзиночке и начали разбрасывать рис; при этом они натянуто улыбались одними

губами и смотрели настороженно, беспокойно, чувствуя, что самые подходящие минуты для веселья, пожалуй, уже миновали. Наконец новобрачные торопливо взошли по трапу, который тотчас начал подниматься, а родные и друзья сгрудились внизу и махали им на прощанье. Молодые обернулись, довольно небрежно махнули разок своим мучителям и, взявшись за руки, почти бегом устремились через всю палубу к противоположному борту. И остановились у поручней, словно достигли наконец надежного убежища. Замерли бок о бок, глядя в открытое море.

Корабль вздрогнул, колыхнулся, заколебался, медленно покачиваясь в такт ровному, крепнущему биению своего машинного сердца; справа и слева, ныряя носами, пыхтя и твякая гудками, тянули два буксира, и вот между бортом корабля и предохранительной обшивкой причала появилась и начала шириться полоса грязной воды. Сейчас же в едином порыве, как будто земля, которую они покидали, была им мила, все пассажиры столпились на палубе, выстроились вдоль борта, с удивлением глядя на отдаляющийся берег, и замахали руками, закричали, посылали воздушные поцелуи сиротливым горсточкам провожающих на пристани, а те кричали и махали в ответ. Все суда в порту приспустили флаги, маленький оркестр на палубе сыграл несколько тактов известной песенки «Adieu, mein kleiner Garde-Offizier, adieu, adieu...»¹, потом музыканты равнодушно собрали свои инструменты и скрылись, не удостоив больше Вера-крус ни единым взглядом.

Из корабельного буфета выбрался, размахивая огромной пивной кружкой, невообразимо толстый мексиканец в темно-красной рубахе и мешковатых синих парусиновых штанах. Протолкался через податливую толпу к поручням и не запел — взревел: «Adios, Mexico, mi tierra adorada!»² Он горланил весьма немзыкально, его распухшая физиономия была еще красней рубашки, на жирном потном затылке и на лбу вздулись толстые синие вены, на шее напряглись жилы. Он размахивал кружкой и сурово хмурился; от ворот-

¹ Прощай, прощай, мой маленький гвардеец... (нем.)

² Прощай, моя Мексика, любимый мой край! (исп.)

ничка отскочила пуговица и упала за борт, и толстяк рывком еще шире распахнул ворот: ему тесно было дышать. «Adios, adios para siempre!»¹ — неумоимо орал он, и, пролетев над маслянистой гладью воды, слабо донеслось эхо в несколько голосов: «Adios, adios». А из самых недр корабля отозвалось гулкое, низкое, протяжное мычанье, словно откликнулся какой-нибудь унылый морж. К толстяку неслышно подошел сзади один из помощников капитана и, придав мальчишескому лицу самое решительное выражение, вполголоса сказал на плохом испанском:

— Пожалуйста, идите вниз, ваше место там. Разве не видите, пароход отчалил. Пассажиры третьего класса на верхние палубы не допускаются.

Громкоголосый толстяк круто обернулся и мгновенье невидящими глазами свирепо смотрел на юнца. Молча запрокинул голову, выпил пиво до дна, размахнулся и швырнул кружку за борт.

— Пойду, когда захочу! — выкрикнул он и злобно нахмурился, однако сразу неуклюже побрел восвояси.

Молодой моряк пошел дальше, словно и не видел крикуна. Перед ним очутилась одна из испанок, поглядела в упор блестящими глазами, сверкнула ослепительной улыбкой. Он ответил смущенным взглядом, слегка покраснел и уступил ей дорогу. На левой руке у него блестело гладкое золотое кольцо — знак помолвки, и он невольно приподнял эту руку, словно обороняясь от испанки.

Пассажиры осматривались в тесных, душных каютах со старомодными койками в два яруса и узким жестким ложем у противоположной стенки для неудачника третьего, читали на дверных табличках фамилии (по большей части немецкие), подозрительно, с внезапно вспыхивающим отвращением оглядывали громоздящиеся рядом с их багажом чужие чемоданы — и каждый вновь обретал то, что на время казалось утраченным, хотя никто и не мог бы определить, что же это такое: собственную личность. Мало-помалу, при виде каких-то пожитков, какой-нибудь вещицы, которой владелец прежде гордился и которая сейчас вдруг попала в глаза в непривычном и, пожалуй, недружелюбном окружении, у человека вновь возникало выдохшееся среди до-

¹ Прощай, прощай навсегда! (исп.)

рожных испытаний, несмелое, но все еще живое сознание: я существую, не всегда же я был затюканным чужаком, ничтожеством, никому не известным именем и неузнаваемой, карикатурной фотографией в паспорте. Успокоенные оттого, что к ним вернулось чувство собственного достоинства, пассажиры смотрелись в зеркало и вновь начинали узнавать себя, умывались, причесывались, приводили себя в порядок и отправлялись на поиски уборной, либо буфета и курительной, либо парикмахерской, а иные, очень немногие, — на поиски ванной. И почти все решили, что корабль вполне соответствует ценам на билеты — в сущности, довольно жалкая дрянная посудина.

По всей палубе стюарды расставляли шезлонги, пристегивая их к брусу, идущему вдоль стены, вставляли в металлические рамки в изголовьях карточки с фамилиями пассажиров. Высокая немка в зеленом сразу нашла свою карточку и вяло откинулась в шезлонге. Рядом уже развалился хмурый костлявый верзила, который так негодовал из-за взрыва в шведском консульстве. Она покивала ему чересчур маленькой головкой, хихикнула и сказала визгливо:

— Ну, раз уж мы будем сидеть рядом, я вам представлюсь. Меня зовут фрейлейн Лиззи Шпёкенкикер, я из Ганновера. Я ездила в Мехико в гости к дяде с тетей и сейчас просто счастлива, что попала наконец на славный немецкий пароход и возвращаюсь в Ганновер!

Ее хмурый сосед не пошевелился и все же словно съехался в своем просторном светлом костюме.

— Арне Хансен, к вашим услугам, дорогая фрейлейн, — сказал он так, будто каждое слово из него вытаскивали клещами.

— О, датчанин! — восторженно взвизгнула она.

Хансен поморщился.

— Швед, — поправил он.

— А какая разница? — взвизгнула Лиззи.

Неведомо почему глаза ее увлажнились, и смех прозвучал так, словно у нее заболели зубы. Хансен, который перед тем сидел, закинув ногу на ногу, уперся подошвами в палубу, а ладонями в подлокотники, точно хотел встать, но тут же снова в отчаянии откинулся на спинку шезлонга и уж так нахмурился, что глаза окончательно скрылись под насупленными бровями.

— Этот пароход совсем не славный, — проворчал он угрюмо, точно про себя.

— Ну что вы такое говорите! — воскликнула Лиззи. — Да он просто прелесть!.. О, смотрите, вот и герр Рибер возвращается!

Она подалась вперед и усиленно замахала руками человечку с пороссячьей физиономией. Он ответил на приветствие учтивейшим поклоном, свиные глазки проказливо блеснули. Завидев Лиззи, он сразу ускорил шаг, штаны в обтяжку чуть не лопались на его тугом круглом заду и тугом выпяченном брюшке. Торжествующая походка победителя, и весь он — ни дать ни взять надутый коротконогий петух. Лучи предвечернего солнца играли в короткой рыжеватой щетине на его бритой голове, покрытой какими-то рубцами и складками. Через руку у него был перекинут давным-давно не чищенный плащ, из кармана плаща торчала сложенная газета.

Рибер явно предпочитал притвориться, будто никакой стычки на веранде в Веракрусе вовсе и не было и Хансена он видит первый раз в жизни; он остановился, прищурился на табличку в головах у Хансена и сперва по-французски, потом по-русски, по-испански и, наконец, по-немецки произнес одно и то же:

— Прошу извинить, но это мой шезлонг.

Хансен поднял одну бровь и сморщил нос, будто от герра Рибера, очень мягко говоря, дурно пахло. Распрямился, встал, сказал по-английски:

— Я — швед.

И пошел прочь.

Рибер сильно покраснел, лицо его подергивалось.

— Ах, швед? — храбро крикнул он вдогонку. — И на этом основании вы рассиживаетесь в чужом кресле? Ну, в таких делах я и сам могу быть шведом.

Лиззи склонила голову к плечу и, глядя на Рибера, сказала нараспев:

— Он совсем не хотел вас обидеть. В конце концов, вас же не было.

— Но мой шезлонг стоит рядом с вашим, а потому я желаю, чтобы он всегда был свободен для меня, — любезно возразил Рибер, кряхтя уселся, вытащил из кармана плаща старый номер «Франкфуртер цайтунг» и,

выпятив нижнюю губу, зашуршал газетными листами.

— Нехорошо начинать долгое плавание ссорой, — сказала Лиззи.

Рибер отложил газету, отбросил плащ. Проказливо и ласково оглядел соседку.

— Я ссорился с этим долговязым уродом совсем не из-за шезлонга, и вы это прекрасно знаете, — сказал он.

Лиззи мигом перешеголяла его в проказливости.

— Ох уж эти мужчины! — весело взвизгнула она. — Все вы одинаковы!

Она наклонилась и три раза шлепнула его по голове сложенным бумажным веером. Герр Рибер только и ждал случая немножко порезвиться. Его всегда восхищали высокие худошавые длинноногие девицы, которые вышагивают точно цапли, только юбки развеваются да мелькают длинные узкие ступни, именно за такими он всегда волочился. Он легонько постучал Лиззи пальцем по руке, это было приглашение к игре — и Лиззи, подхватив намек, скаля зубы от удовольствия, стала шлепать его все сильнее и проворней, пока безволосая макушка его не побагровела.

— У, какая нехорошая, — сказал он наконец и увернул-ся, но продолжал широко улыбаться ей, наказание ничуть не усмирило его, напротив, поощрило.

Лиззи поднялась и гордо двинулась по палубе. Рибер мячом выкатился из шезлонга и поскакал за ней.

— Давайте-ка пить кофе с пирожными! — влюбленно предложил он. — Буфет сейчас открыт.

И облизнулся.

Две не в меру разряженные молодые кубинки, чье ремесло не вызывало сомнений, еще за час до отплытия пристроились в баре играть в карты. Они сидели, скрестив ноги в прозрачных, подвернутых сверху чулках, выставляя напоказ напудренные коленки. С пухлых кроваво-красных губ свисали перепачканные помадой сигареты, табачный дымок поднимался к прищуренным глазам под густо накрашенными ресницами. Старшая была победительно красива, младшая — поменьше, хрупкая и, видимо, болезненная. Она не сводила глаз с партнерши и, кажется, просто не смела выигрывать. Вошел рослый неуклюжий техасец по

имени Уильям Дэнни, уселся в угол, зорко, понимающе при-сматриваясь к картежницам. Они его словно не замечали; порой, отложив карты, они потягивали ликер и обводили надменным взглядом бар, где теперь было оживленно и полно народу, но ни разу не посмотрели на Дэнни, и он почувствовал себя оскорбленным. По-прежнему глядя на кубинок, он резко постучал по стойке, словно хотел привлечь внимание буфетчика, и на лице его проступила недобрая усмешка. Кабацкие королевы. Знает он эту породу. Недалом он из Техаса, почти всю жизнь прожил в Браунсвилле. Такие ему без надобности. Он опять громко постучал по стойке.

— Пиво у вас еще не выпито, сэр, — сказал буфетчик. — Угодно чего-нибудь еще?

Тогда эти дамы посмотрели на него, да с таким презрением, будто тут расшумелся пьяный хулиган. И взгляд его стал растерянным, усмешка слиняла; он уткнулся в свою кружку, допил пиво, закурил, наклонился и стал разглядывать собственные башмаки, пошарил в кармане в поисках носового платка, которого там не оказалось, и наконец сдался и почти выбежал из бара, словно его призывали какие-то неотложные дела. А меж тем идти вроде некуда и делать нечего, разве что вернуться в каюту и распаковать кое-какие вещички. Что ж, ладно, начнем устраиваться на новом месте.

Он уже порядком устал от усилий сохранить свое «я» в чужих краях, где говорят на чужих языках. Каждая встреча казалась ему вызовом: всякий раз требовалось доказать, что он не какое-нибудь ничтожество, добиться уважения — а как добиться? Эта задача вставала перед ним не впервые, но особенно растерялся он в Веракрусе. Родом он был из маленького пограничного городка, где его отец, богатый землевладелец, личность, окруженная почетом и уважением, многие годы подряд занимал пост мэра, а где-то внизу пребывали мексиканцы и негры, то бишь мексикашки да черномазые, ну и горсточка полячишек да итальяшек, эти не в счет; и Дэнни привык полагаться на естественное свое превосходство — превосходство белого и притом богача, подкрепленное законами и обычаями. В Веракрусе, среди

задиристых желчных жителей побережья, в чьих жилах смешалась негритянская, индейская, испанская кровь и чей язык он не потрудился выучить, хоть и слышал его с колыбели, он поначалу держался, как подобает белому человеку, — и получил самый дерзкий отпор. Уж он ли не отличается широтой взглядов — в конце концов, это их родная страна, грязная, какая ни на есть, ну и пускай живут; пока он тут, он готов их терпеть. А ему мигом дали почувствовать просчет: говоришь с ними вежливо, а им кажется — свысока; законно чего-нибудь потребуешь, а они ощетинятся, будто ты их унижаешь, точно рабов каких-нибудь; а если смотришь на все сквозь пальцы, они тебя же презирают и всячески обжуливают. Так вот, черт подери, они и вправду низшая раса, это же сразу видно! И должны всегда знать свое место, церемониться с ними нечего. В Бюро выезда и виз он обратился к какому-то мелкому чиновнику и назвал его «Панчо», как дома назвал бы шофера такси «Мак» или носильщика на вокзале «Джордж» — вполне доброжелательно. А этот черномазый (кто-то объяснил Дэнни, что в каждом мексиканце на побережье есть примесь негритянской крови) надулся, будто его шелкнули по носу, стал прямо лиловый, глаза налились кровью. Уставился на Дэнни, коротко бормотнул не поймешь что на своем языке, а потом на чистом английском — будьте, мол, так любезны, посидите и обождите, пока оформят ваши документы. Дэнни как дурак сел и ждет, пот с него в три ручья, мухи липнут к лицу, а чиновничиска подписывает бумаги тем, кто после пришел, длиннейшая была очередь. Не сразу Дэнни понял, что это все ему в отместку. Тогда он встал, протолкался к чиновнику и сказал медленно, раздельно: «Дайте сейчас же мои бумаги» — и чиновник мигом достал его документы, поставил печать и протянул бумаги, и даже не взглянул на Дэнни. Вот как надо было держаться с самого начала, вперед он будет умнее.

Открывая дверь своей каюты, он увидел на ней не два, а три имени. Герр Дэвид Скотт, значилось на табличке, герр Вильгельм Дэнни и — полнейшая неожиданность — герр Карл Глокен. Он стал на пороге: в каюте не повернуться. Молодой человек среднего роста с вечно хмурым лицом (Дэнни видел его в Веракрусе, он там разгуливал с непотребной девкой в синих штанах) мыл раковину умываль-

ника чем-то едко-пахучим, наверно карболкой. На нижней койке — койке Дэнни — лежали два незнакомых чемодана и потертый кожаный саквояж. Ну нет, на билете указано, что его место нижнее, значит, будет нижнее, он своего не уступит. Хмурый вскинул глаза.

— Здравствуйте. Мы соседи.

— Рад слышать. — Дэнни шагнул в каюту.

Молодой человек продолжал протирать умывальник. На низенькой скамеечке сидел Глокен и рылся в разбухшей дорожной сумке. Никогда еще, если не считать нищего калеки на площади Веракруса, Дэнни не видал до такой степени изуродованного существа. Низко наклонясь, Глокен почти касался пола — и похоже было, если он вытянет руки, они окажутся длиннее растопыренных ног. Потом он поднялся — росту в нем было около четырех футов, печальное и словно виноватое длинное лицо запрокинуто, горб торчит чуть ли не выше головы, — и отошел назад, к концу нижней койки, свободному от чемоданов.

— Одну минутку, сейчас я выйду, — сказал он с болезненной улыбкой, опустил на краешек матраса между чемоданами и, кажется, потерял сознание.

Дэвид Скотт и Уильям Дэнни нехотя понимающе переглянулись: ну и спутник им достался и, видно, ничего с этим не поделаешь.

— Пожалуй, надо позвать стюарда, — сказал Дэвид Скотт.

Глокен открыл глаза, покачал головой, слабо махнул длинной рукой.

— Нет-нет, — сказал он еле слышно, глухим, тусклым голосом. — Не беспокойтесь. Это ничего. Просто немножко передохну.

— Ну, пока. — Дэнни попятился. — Я устроюсь попозже.

— Давайте-ка я их уберу, — сказал Дэвид и взялся за чемоданы Глокена.

Под нижней койкой для них места не осталось. Там уже лежали вещи Дэнни. В стенной шкафчик они тоже не влезали. Дэвид пока что сунул их на диван у второй стены.

— Это не мое место, — сказал Глокен, — моя койка верхняя, но как же я туда заберусь?

— Устраивайтесь на диване, — сказал Дэнни, — а я буду наверху.

— Не знаю, как я там лягу, очень узко, — сказал Глокен.

Дэвид смерил взглядом чудовищно искривленное тело и ширину дивана, с тягостным чувством понял, о чем говорит горбун, и отвел глаза.

— Лучше уж оставайтесь тут... как по-вашему? — прибавил он, обращаясь к Дэнни.

Наступило молчание, Дэвид взглядом искал стакан — куда бы положить зубную щетку.

Хотя в билете ясно было сказано — место номер один, Дэнни, к удивлению Дэвида, благородно уступил нижнюю койку Глокену, и Глокен горячо его поблагодарил.

Уснул Глокен мгновенно. Он лежал на боку лицом к свету, подобрав колени чуть не к подбородку, сдвинувшись на самый край койки, иначе не хватило бы места для горба. Сухие тонкие волосы его спутались, как выгоревшие на солнце шелковистые кукурузные метелки, крупные неправильные черты застыли скорбной маской. Носы башмаков задрались кверху, на подошвах виднелись заплаты.

Дэвид посмотрел на полку над умывальником — почти всю ее завалил всякой всячиной Дэнни. Попав на корабль, он поспешил умыться и причесаться и все оставил в совершенном беспорядке, точно у себя дома. Скотина, брезгливо подумал Дэвид, он и без того был зол и раздосадован. Когда он в Мехико брал билет, кассир заверил его, что каюта будет только на двоих. «Курит трубку и занимается самосовершенствованием». Он взял с дивана щедро иллюстрированную книгу в коленкоровом переплете под названием «Сексуальные развлечения как залог душевного здоровья» с подзаголовком: «Руководство для истинно счастливой жизни».

— Боже милостивый, — сказал Дэвид.

Запах дезинфекции не в силах был заглушить всякую другую вонь: пахло нечистым бельем, заношенными башмаками Глокена, и самый воздух в каюте был затхлый, застоявшийся. «Вера» вышла из гавани, и ее начало слегка покачивать на океанской волне, Дэвид увидел себя в зеркале:

лицо бледное до зелени. Его замутило, пол под ногами перекопился, к горлу вдруг подступила тошнота. Он бросился к двери, споткнулся о сумку Глокена, едва не упал и кинулся на верхнюю палубу. Еще одно хамство: ему обещали каюту наверху, а оказалось, она выходит на нижнюю палубу и в ней не окно, а только иллюминатор.

Лицо овеял ленивый ветерок, такой чистый, сладостный, так напоенный влагой, будто кожу омыло теплым паром. Низкое вечернее солнце бросило на воду косые лучи, длинные полосы света густо синели в глубине, ярко зеленели, перемежаясь белыми гребешками, на поверхности. Навстречу Дэвиду шла Дженни Браун — он еще не видел ее с тех пор, как они разошлись по своим каютам. Она переоделась — вместо синих брюк белое полотняное платье, белые кожаные сандалии на босу ногу; шла она с каким-то незнакомцем, Дэвид его видел впервые, а держалась она как со старым приятелем. У Дэвида сжалось сердце: незнакомец был до отвращения хорош собой, точно на рекламе виски или спортивных курток — типично немецкая самодовольная и самоуверенная физиономия. Где и как Дженни успела его подцепить? Дэвид будто и не заметил их, стал у борта, а когда они подошли ближе, словно бы случайно обернулся (хоть бы поверили, что случайно...).

— А, Дэвид... это ты? — рассеянно сказала Дженни, будто не сразу его узнала. — Все в порядке?

И не остановилась, прошла с этим красавцем дальше.

Большие светло-карие глаза ее светились так знакомым Дэвиду нерассуждающим радостным волнением; наверно, она уже говорит о глубоко личном, выкладывает все, что думает... Даже когда Дженни казалась искренней и вполне разумной, Дэвид не доверял женскому уму, по самой природе своей путаному и коварному: уж конечно, она сейчас задает вопросы, которые заставляют человека откровенничать, выманивает у него маленькие тайны и признания, а потом, если понадобится, против него же всё и обернет. Дэвид уже чувствовал, как она выстраивает обвинительный акт, чтобы потом бить этого дурака, если дело дойдет до ссоры. Он смотрел ей вслед: небольшая изящная фигурка вся — гармония, словно античная статуэтка; точеная головка, тяжелый узел черных волос; немного скованная скромная походка так хитро скрывает или представляет в ложном

свете все, что (казалось Дэвиду) он знает о Дженни. По этой походке ее можно принять за строгую школьную учительницу, которая всегда помнит, что сутулиться и покачивать на ходу бедрами ей не подобает.

Дэвид посмотрел на часы, решил, что уже пора первый раз за день выпить (в последнее время он только и жил ожиданием этой минуты), и направился в бар; внезапно он почувствовал себя раздавленным, пойманным в ловушку: со всех сторон море, он и всегда его ненавидел, а теперь ощущал перед ним безмерный тайный ужас. И негде укрыться, нигде нет спасенья.

Эта поездка в Европу — безумие, и все это затеяла Дженни; он вовсе не собирался выезжать из Мексики, но, по обыкновению, дал себя провести. Впрочем, не до конца она его провела, размышлял он (начал действовать первый глоток виски). Она-то хотела сначала поехать во Францию и не сомневалась, что он согласится; а он сразу решил — если уж ехать, так в Испанию. Они раза три отчаянно поругались — и сошлись на Германии, куда ни ей, ни ему вовсе не хотелось. Просто тянули жребий — соломинки разной длины, Дэвид зажал концы в кулаке, и Дженни вытащила самую короткую, а это означало Германию. Обоих взяла такая досада, что они опять разругались, потом выпили — и малость перебрали, а потом полночи неистово предавались любви, словно пытались отомстить тому непонятному, что их разделяло; и все равно ничего не уладилось. Оба из упрямства не отступали от навязанного случаем решения — и вот, плывут... хотя у Дженни свои планы. Однажды она превесело объявила, что, если они вдруг передумают, еще можно будет получить визу для поездки во Францию у французского консула в Виго. В Северогерманском отделении пароходного агентства Ллойда ее клятвенно заверили, что это очень легко.

— А почему бы просто не получить разрешение сойти в Виго и не остаться в Испании? — спросил Дэвид.

— Я в Испанию не собираюсь, ты что, забыл? — возразила Дженни.

Что ж, если она собирается переиграть, пусть ее. Пускай едет во Францию, если ей так хочется. А он поедет в Испанию. Она еще увидит, не станет он вечно плясать под ее дудку.

— Bitte ¹, — застенчиво сказала миссис Тредуэл, подумав, что неплохо бы заодно припомнить немецкий.

Она обращалась к маленькой полной женщине с шелковистыми косами вокруг головы и золотой цепочкой на шее; женщина в одиночестве пила чай за отдельным столиком, и напротив нее оставался единственный свободный стул. Бар был переполнен, точно в праздник, и однако стояла странная тишина. Даже люди, явно так или иначе связанные друг с другом, хранили отчужденное молчание.

Круглое и свежее лицо с расплывчатыми чертами чуть тронула приветливая, но рассеянная улыбка. Мягко приподнялась ладонью кверху пухлая уверенная рука.

— Нет-нет, не утруждайте себя, — сказала женщина. — Я уже много лет говорю по-английски. Я даже преподавала английский — да вы садитесь, пожалуйста, — в немецкой школе в Гвадалахаре. Мой муж тоже там преподавал. Только математику.

— Чаю, пожалуйста, — сказала миссис Тредуэл стюарду.

Она сменила темно-синее платье на светло-серое полотняное, у этого рукава были еще короче, и резко темнел огромный безобразный синяк.

— Меня зовут фрау Шмитт, — сказала кругленькая, помешивая чай, и подбавила в него сахару. — В юности я уехала из Нюрнберга и теперь наконец возвращаюсь на родину. Это было бы для меня огромным счастьем, муж мой так давно об этом мечтал, а теперь это не приносит мне ничего, кроме горя и разочарования. Я знаю, так думать грех, и все-таки иногда я спрашиваю себя — а что такое, в конце концов, жизнь, если не горе и разочарование?

Она говорила негромко и словно не жаловалась, а просто хотела, чтобы даже первый встречный сразу узнал о ее горе, как будто только одно это и следовало о ней знать. Но светло-голубые глаза ее откровенно молили о жалости.

Миссис Тредуэл внутренне содрогнулась, больно кольнуло дурное предчувствие. «Даже здесь, — подумала она. — Неизбежно. Все плавание мне надо будет выслушивать рассказы о чьих-то горестях, и, уж конечно, прежде чем мы доплывем, придется мне сидеть с кем-нибудь и

¹ Пожалуйста; прошу вас (нем.).

проливать слезы. Что и говорить, прекрасное начало».

— А вы куда направляетесь? — спросила фрау Шмитт, помолчав достаточно, чтобы ей успели задать вопрос, после которого она могла бы поведать о своем горе, но так его и не дождавшись.

— В Париж, — сказала миссис Тредуэл. — Я возвращаюсь в Париж.

— Так в Мексике вы только гостили?

— Да.

— У вас там друзья?

— Нет.

Водянисто-голубые глаза фрау Шмитт обратились на руку миссис Тредуэл.

— Вы сильно ушиблись, — не без интереса заметила она.

— Это поразительная история, — сказала миссис Тредуэл. — Меня ущипнула нищенка.

— Почему?

— Потому что я не подала ей милостыню, — сказала миссис Тредуэл и впервые подумала: когда говоришь вот так, напрямик, получается на редкость бессердечно и глупо. В Мексике ни один порядочный человек не отказывает нищему, и она, как все ее знакомые, привыкла всегда иметь при себе мелочь для подаяния. Та женщина была не нищенка, а нахальная цыганка — чем бы попросить, хлопнула по руке. И все же вышло унижительно; как можно было допустить, чтобы такое ничтожество лишило ее всякого соображения? Этого и себе самой не объяснишь. — Разумеется, мне никто не поверит, — договорила она и взяла к чаю сухое печенье.

— Ну почему же? — по-детски удивилась фрау Шмитт.

— Да, конечно, чего на свете не бывает, — сказала миссис Тредуэл. — Но всегда кажется, что со мной-то ничего такого просто не может случиться.

И зачем она это сказала? Теперь посыплются новые „почему" да „отчего". Миссис Тредуэл беспокойно оглянулась — в другом конце бара уже сидела американка Джени Браун с единственным приличного вида мужчиной на корабле. Миссис Тредуэл снова обернулась к маленькой скучной женщине напротив — что ж, надо примириться с ее обществом и со всей этой поездкой, еще одно долгое испытание,

скука, от которой не избавишься, не одолеешь ее и не отмахнешься, остается просто-напросто от нее бежать; мгновенья передышки от скуки даст само бегство — мимолетная иллюзия, будто становишься невидимкой.

— С каждым из нас в любую минуту все может случиться, — со спокойной уверенностью сказала фрау Шмитт. — Мой муж... давно ли мы с ним мечтали вместе вернуться в Нюрнберг? И вот я еду одна, хотя его гроб здесь, в трюме. Ох, просто сил нет об этом думать! Сегодня в семь утра исполнилось шесть недель и два дня, как муж мой умер...

Ну, конечно, смерть, подумала миссис Тредуэл, для таких вот чувствительных особ нет горя, кроме смерти. Ничто другое не проникнет сквозь слой жира и не заставит страдать. Но надо же что-то ответить.

— Да, это ужасно, — сказала она и со страхом поймала себя на подлинном сочувствии: наперекор всем недобрым мыслям ее тронуло горе этой женщины, и смерть — третья с ними за столом, смерть — вот что их соединяет.

Безвольный рот фрау Шмитт дрогнул, углы губ опустились. Она молча помешивала ложечкой чай. Веки ее покраснели. Жадно проглотив розовое пирожое сочувствия, она разом очутилась наедине со всей роскошью только ей принадлежащей скорби. Миссис Тредуэл, не допив чай, незаметно совершила свой первый за это плавание побег.

По дороге в каюту она сказала несколько слов тем же тоном и улыбнулась той же улыбкой нескольким людям: судовому врачу (причем заметила на лице его великолепный шрам — след давней дуэли); молодому моряку с волосами цвета меда — имени и звания моряка она не знала и не потрудится узнать, хотя прежде, чем окончится плавание, она будет принимать от этого молодого человека весьма пыльные поцелуи; чопорной, неулыбчивой стюардессе и запуганному мальчишке-коридорному, который в ответ только молча, обиженно уставился на нее. Имя, которое значилось на двери каюты под ее именем, изумило ее — звучит престранно и ничего хорошего не сулит: фрейлейн Лиззи Шпёкенкикер. Сплетенкрикер? И она, без особой, впрочем, опаски, подумала — которая же это из многочисленных пассажиров, чья внешность ничего хорошего не сулит?

Она принялась раскладывать свои вещи на узкой полке стенного шкафчика — прикрывала разноцветной папирос-

ной бумагой паутинно-тонкое белье, встряхивала плиссированный шелк, внизу расставила в ряд золотые, серебряные, шелковые туфли; услышала за спиной шаги, опять улыбнулась, словно бы своим нарядам, и, не оборачиваясь, поздоровалась:

— Grüss Gott¹.

Это оказалась долговязая особа с пронзительным голосом, подружка мерзкого маленького толстяка. На мгновение миссис Тредуэл бросило в дрожь, по спине пробежал холодок. Втихомолку она улыбнулась еще приветливей и вся ушла в свое занятие.

По каюте пронесся вихрь, в духоту влился мускусный запах одеколона, и фрейлейн Шпёкенкикер исчезла, оставив дверь настежь. Миссис Тредуэл затворила дверь и отгородилась от шума: громкие голоса раздавались в каюте наискосок, там на табличке стояла фамилия Баумгартнер.

Мамаша Баумгартнер сурово отчитывала мальчонку, он слабо, жалобно оправдывался. Ох уж это семейное счастье, уж эти благополучные немецкие семейства, весело подумала миссис Тредуэл. От картины, что представилась ее мысленному взору, сразу стало нечем дышать — миссис Тредуэл высунулась в иллюминатор и вздохнула полной грудью.

— Мама, — начал Ганс, когда снова набрался храбрости: он сидел на краешке дивана, стараясь не подвертываться матери под руку, — мама, можно я разденусь?

Фрау Баумгартнер стиснула кулаки и затрясла ими над головой.

— Сколько раз тебе повторять! — вновь вспыхнула она. — Нельзя раздеваться, пока я не достала тебе что-нибудь другое надеть. А мне сейчас некогда, и не приставай ко мне.

Мальчик ерзал на месте, все тело его зудело от жары и едкого пота, закованное в броню простеганной, пестро расшитой кожи: мексиканский костюм для верховой езды рассчитан на холода в горах.

— Можешь потерпеть, пока я распакую твой чемодан, — упрямо продолжала мать, роясь в багаже в поисках

¹ Букв.: да благословит вас бог (нем.).

мужниных рубашек. — У меня тысяча дел, не могу я делать все сразу! — Она вконец разъярилась: — Сиди тихо, а то получишь у меня! — И она угрожающе замахнулась.

Мальчик зарыдал в три ручья; складки его кожаных штанишек потемнели от пота.

— Я умираю, — сказал он слабым голосом, веснушки на его побледневшем лице темнели, точно брызги йода.

— Умираю! — презрительно фыркнула мать. — Такой большой мальчик и такую чушь несет. Подожди, придет отец, а ты в таком виде. — По порядку, даже в спешке и досаде, она перебирала аккуратно сложенную одежду и лишь изредка приостанавливалась, чтобы отвести со лба влажную прядь. Она тоже побледнела, спина взмокла, под мышками и по ногам струился пот, плечи влажно просвечивали сквозь тонкую ткань темного платья. — Может, по-твоему, я не устала? По-твоему, ты один мучаешься? Чем ныть и жаловаться и прибавлять мне мороки, вставай, перестань хныкать и помоги мне с чемоданами.

— Можно я хоть куртку сниму? — безнадежно взмолился мальчик, утирая нос тыльной стороной кисти; ему никак не удавалось сдержать слезы.

— Ну ладно, сними, — сказала мать. — Я вижу, ты сущий младенец, вот я стану кормить тебя из бутылочки, дам молока с сахаром из бутылочки с резиновой соской, и ничего больше ты на ужин не получишь.

Собственная жестокость уже доставляла ей удовольствие, приятно было уязвить гордость сына, хоть он и одержал победу в споре из-за куртки. А у него никакой гордости не было — он мигом скинул куртку, его обдуло ветерком из иллюминатора, и сразу все тело покрылось гусиной кожей, это было чудесно. Лицо мальчика прояснилось, он блаженно вздохнул и с благодарностью посмотрел на мать.

— Вот погоди, я скажу отцу, как ты мне надоедаешь, — пригрозила она, но уже смягчаясь. — Только начни опять хныкать, сам знаешь, что тебе будет.

Он робко ждал в углу, в изголовье дивана, — он жаждал доброты и надеялся, что его милая красивая мамочка скоро вернется. Она исчезла, ее подменила чужая женщина, нахмуренная, злая — ругается, кричит ни с того ни с сего, бьет его по рукам, грозит; похоже, она его ненавидит. Он низко опустил голову, свесил руки и смотрел из-под редень-

ких белесых бровей — не боялся, просто ждал. Женщина поднялась, отряхнула юбку, посмотрела на него проснившимися глазами — и ее захлестнули жалость и раскаяние.

— Ну вот, Ганс, мой маленький, — сказала она нежно, приложила палец к своим губам и потом ко лбу сына вместо поцелуя. — Умойся-ка хорошенько — и лицо, и руки, рукава засучи, шею вымой! — а потом наденешь короткие штанишки и джемпер и пойдем пить холодный малиновый сок. Только поторопись. Я подожду на палубе.

Она улыбнулась ему так ласково, будто никогда не злилась. В совершенном смятении Ганс чуть снова не заплакал, но плеснул холодной воды в лицо, и слез не стало.

Фрау Риттерсдорф, пассажирка первого класса, воспользовалась отсутствием соседки по каюте, чтобы расположиться поудобней и занять лучшее место. В билете указана была верхняя койка, но фрау Риттерсдорф уже успела присмотреться к фрау Шмитт и сразу поняла, что без труда станет хозяйкой положения. Она потребовала, чтобы ей принесли вазы, и заботливо поставила в них два огромных букета — она сама купила их в Веракресе и послала на свое имя, в одном были нежно-розовые розы, в другом гардении; букеты обернуты были влажной ватой, к каждому серебристой лентой привязана карточка: «Моей милой Наннерль от ее Иоганна», «Многоуважаемой фрау Риттерсдорф с наилучшими пожеланиями — Карл фон Эттлер».

Это выглядело недурно и не таким уж было обманом — вышеназванные приятели с радостью послали бы ей цветы и по случаю отъезда, и по многим другим поводам, если бы не то печальное обстоятельство, что оба уже умерли, но, опять же, отбыли они в лучший мир так недавно, что она еще не вполне освоилась с утратой и, глядя на цветы, почти верила, что оба еще живы. В былые времена они посылали ей не только цветы, будь им земля пухом. Хотя фрау Риттерсдорф была лютеранкой, она несколько раз кряду перекрестилась. Она полагала, что этот жест ей к лицу, да притом хранит от бед.

Она достала два хрустальных с серебром флакона ду-

хов — «Сады Аравии» и «Память любви» — и стеганый шелковый мешочек, где лежали серебряные щетки, зеркало, расческа, пилка для ногтей и рожок для обуви, и пристроила все это на самом удобном месте, на правой стороне умывальника. Старательно причесалась, неторопливо оделась. На корабль она явилась пораньше, не желая сталкиваться с прочими пассажирами — похоже, все это птицы невысокого полета. Взяла ручное зеркало, одобрительно поглядела на себя в профиль. Бывало, ее не раз называли красавицей — и по заслугам. Говорите что хотите, а она и сейчас очень хороша. Фрау Риттерсдорф села, открыла солидную записную книжку в красном с позолотой тисненым переплете флорентийской кожи и принялась писать:

«Итак, признаюсь, это приключение (ведь и вся наша жизнь — приключение, не правда ли?) кончилось не так, как я надеялась, но и ничего плохого из него не вышло. Я даже усматриваю в этом высшую направляющую Волю моей расы. Немецкой женщине не пристало выходить замуж за человека с темной кожей, даже если в его жилах течет кровь знатного испанского рода и он принадлежит к правящей касте и достаточно богат... Были ведь в Испании роковые времена, когда почти наверняка тайно проникла сюда примесь еврейской и мавританской крови и невесть чего еще. Если я одно время думала об этом браке, то, конечно, это была слабость с моей стороны, да будет мне стыдно. А впрочем, на меня ведь влияло иностранное окружение и уговоры друзей, настоящих немцев, к чьим советам я относилась с уважением, и притом я одна на свете и стала несколько стеснена в средствах, так что, пожалуй, не заслуживаю слишком сурового осуждения. В конце концов, я женщина и нуждаюсь в твердом, но ласковом руководителе-муже, чья власть будет мне опорой, чьи принципы станут для меня...»

Фрау Риттерсдорф остановилась. Вдохновение иссякло, нужное слово не подвертывалось. Она прекрасно знала, что к любому вопросу есть лишь один-единственный верный подход — и всегда на все смотрела в точности так, как следовало и как ее научили. Она столько раз все это говорила и думала, к чему же повторяться? Она закрыла глаза, и ей представилось продолговатое смуглое лицо дона Педро, благородные черты, выражение суровое и вместе с тем бла-

госклонное; на висках пробивается седина; от него так и веет истинно испанским богатством, испанской гордостью, их прочная основа — прежде всего большой пивоваренный завод в Мехико... ох, почему все это опять вспоминается и терзает ее? Почему одно время казалось почти несомненным, что он предложит ей руку и сердце? Так считали ее родичи в Мехико, тоже пивовары; в этом был уверен ее дорогой друг герр Штумпфен, консул, а сама она рисовала (в воображении) карточки — приглашения на помолвку... Фрау Риттерсдорф легонько стиснула зубы, открыла глаза, захлопнула записную книжку. Раздался сигнал к обеду, великолепный воинственный звук горна словно сзывал героев на битву. Фрау Риттерсдорф мигом поднялась, в глазах ее вспыхнуло девичье нетерпеливое ожидание. Уж конечно, она будет обедать за столом капитана.

— О господи, уже зовут обедать, мы опоздаем, — сказала жена профессору Гуттену, однако не выпустила из рук купальное полотенце, которое она держала под носом у Детки. Профессор довольно неумело подтирал смятыми газетами пол в ближнем углу. Белый бульдог с выражением безмерного стыда на широкой морде закатил глаза, и его опять стошнило в полотенце.

— О господи, господи, — терпеливо и горестно вздохнула фрау Гуттен. — У него уже морская болезнь, что же мы будем делать?

— Если помнишь, морская болезнь бывала у него и раньше, почти всю дорогу до Юкатана, да и с самого начала, — сказал профессор, свернул грязные газеты и остановился перед женой, величаво благосклонный, словно готов был прочесть многочисленным слушателям лекцию. — Нам не приходится ждать с годами серьезных изменений в деятельности его организма. Вспомни, он и щенком легко выходил из равновесия, чуть разволнуется — и даже соска ему не впрок, все обратно; а сейчас он тоже взволнован, и потому, без сомнения, так оно и пойдет, причем к концу симптомы, вероятно, усилятся.

От такой перспективы супруга профессора огорчилась еще больше:

— Но как же я оставлю его в таком состоянии?

Она сидела на полу горой рыхлых телес, Детка растянулся с нею рядом, оба одинаково беспомощны.

— И я не смогу встать, пока ты не вернешься, — напомнила она мужу. — Мое колено...

— Ты ни в коем случае не должна отказываться от обеда, — решительно заявил профессор. — Я посижу около него, а ты пойдешь поешь, не то вечером очень пожалеешь, что не обедала.

— Но, милый, подумай, тогда ты сам погибнешь с голоду, — сказала фрау Гуттен, снизу вверх благодарно глядя на мужа.

— Пустяки, — возразил он. — Ничего я не погибну, дорогая Кетэ; от того, что один раз не пообедаешь, нельзя умереть с голоду, можно только проголодаться, а это не так уж страшно. Человек вполне может обходиться без пищи сорок дней; современная наука подтверждает то, что сказано в Священном писании. Больше того, смею сказать, если у человека имеется избыточная полнота и у него в распоряжении вдоволь воды и, пожалуй, время от времени поток чего-нибудь подкрепляющего... Впрочем, ничего такого не понадобится. В худшем случае ты пришлешь мне что-нибудь закусить. А еще лучше подложить Детке под голову чистое полотенце, а снизу побольше газет, и он прекрасно обойдется часок без нас.

Фрау Гуттен кивнула. Приподняла голову бульдога и внимательно на него посмотрела. Казалось, он чувствует себя лучше.

— Не думай, что папочка и мамочка тебя покидают, мое сокровище, — сказала она с материнской нежностью. — Мы очень скоро вернемся.

Профессор подхватил ее сзади под мышки, с ловкостью, какая приобретается долгой практикой, помог подняться на ноги и обрести равновесие, потом сам принял меры, которые предложил для удобства Детки, а тот, похоже, очень мало интересовался и этими заботами, и всем вокруг.

— Ох, как все это трудно, — вздохнула фрау Гуттен и на миг прижалась головой к склоненному плечу мужа.

— Как-нибудь справимся, — успокоил ее профессор. Он понимал, что с Деткой, как всегда, предстоит много мороки, хуже того, будет сущее мученье. Нерадостная мысль,

профессор тут же себя за нее упрекнул, но от правды никуда не денешься. — Ну, шагом марш, а то суп простынет! — воскликнул он, напускной веселостью прикрывая угрызения совести.

Рослая девица Эльза Лутц, Генрих Лутц и фрау Лутц неторопливо совершали первую скучную прогулку по палубе. Эльза чуть не на голову возвышалась над своими коротышками родителями, но шла между ними как послушная девочка, держась за их руки. Они остановились у какой-то железной решетки, поглядели сквозь нее вниз и увидели помещение, где кормились пассажиры третьего класса. Там рядами стояли заставленные едой узкие дощатые столы на козлах, и вдоль них — скамейки. Тянуло теплом, запахом стряпни, медленно входили и рассаживались люди. Лутцы узнали толстяка в темно-красной рубашке: пригнувшись, низко наклонив голову, он сосредоточенно обедал и все подкладывал себе еды посolidнее с больших блюд, расставленных полукругом перед его тарелкой.

— Боже милостивый, — не без удивления сказал папаша Лутц и надел очки, чтобы лучше видеть. — Выставлять пассажирам такую уйму еды! Как они только не прогорят?

Он был швейцарец, его отец, дед и прадед держали гостиницы, он и сам заправлял гостиницей в Мексике и к этой расточительности отнесся с чисто профессиональным интересом.

— Жареный картофель, — пробормотал он. — У него на тарелке, наверно, целый фунт. И тушеная свиная ножка с жареным луком, с квашеной красной капустой и гороховым пюре... ну, правда, все это продукты не из дорогих, а все-таки чего-то стоят. И кофе. Да еще фрукты и Apfelstrudel¹ — нет, они не могут продолжать в таком же духе и не остаются внакладе. Вы только посмотрите, как уплетает этот малый. Я и сам есть захотел, на него глядя.

Фрау Лутц — унылая, некрасивая, бесцветные сухие волосы уложены валиком, и из него во все стороны торчат железные шпильки — смотрела на все это с привычной,

¹ Яблочный пирог (нем.).

давно уже застывшей на ее лице смесью неизменного осуждения и добродетельного негодования.

— Они только для начала пускают пыль в глаза, — сказала она. — За время плавания они еще успеют на нас нажаться. А новая метла всегда чисто метет.

— Ты хочешь сказать, новый клиент все дочиста подъедает, — засмеялся муж.

Дочь тоже покорно, хотя несколько смущенно засмеялась; фрау Лутц отнеслась к мужниной шутке с заслуженным презрением и так и застыла с презрительной миной — пускай он знает, что она думает о его дурацких островах. А муж продолжал смеяться — пускай она знает, что он может наслаждаться своими шутками и без нее.

— Смотри, папа, — сказала Эльза, снова наклоняясь к решетке, — а ведь в третьем классе пусто, всего-то десять или двенадцать пассажиров, а нам почему-то не хотели продать билеты третьего класса. Кассир в Мехико сказал, что для нас нет мест. Ведь правда, это очень нехорошо с его стороны?

— Да, отчасти, — согласился отец. — А в некотором смысле у них недурно дело поставлено. Вот мы в первом классе, куплены билеты, и вообще они уже заработали на нас триста пятьдесят долларов; переведи это в рейхсмарки — получатся солидные деньги...

— Но есть, наверно, еще какая-то причина, — сказала Эльза.

— Ну, для того, чтобы нас облапошить, всегда есть куча веских причин, и эта публика знает их все наперечет, — сказала фрау Лутц. — Не худо бы и тебе изучить эти причины и извлечь из них пользу, — заметила она мужу; в голосе ее звучало лелеемое годами, неутоленное и навек неутолимое озлобление. Семейство двинулось дальше — все трое одинаково неловкие и нескладные, не глядя друг на друга, глаза у каждого затуманены какими-то своими докучными мыслями.

— Скажи мне одно, бедная моя женушка, — заговорил глава семьи кротким, рассудительным тоном, который (он это знал) особенно бесил его супругу. — Разве в Мексике наши дела были так уж плохи? В любом смысле? Неужели ты воображаешь, что мы потеряли неудачу? Я думаю, совсем наоборот.

— А мне наплевать, что ты там думаешь, — сказала фрау Лутц.

— Ну, это уже слишком, даже для тебя, — отозвался Лутц. — Но мне-то ты все равно думать не помешаешь. А если когда-нибудь сама попробуешь пошевелить мозгами, так подумала бы: вот мы возвращаемся домой, все в добром здравии, с честно заработанными деньгами, и их хватит, чтобы открыть в Санкт-Галлене свою маленькую гостиницу.

— Да, а сколько лет прошло, — уныло сказала жена. — Теперь уже поздно, теперь все будет не так, как раньше, и Эльза уже взрослая, и она будет на родине как чужая... а какого труда стоило научить ее говорить сперва на родном языке, а не по-испански! Да, конечно, мы вернемся с шиком, и заведем свое дело, и станем важными персонами. А чего ради?

— Насчет важных персон — подожди и увидишь, — сказал Лутц.

— Мама, — робко вмешалась Эльза, пытаюсь перевести разговор на другое, — моя соседка по каюте — американка, знаешь, с ней был такой белокурый молодой человек. Я думала, они муж и жена, а ты? Но они в разных каютах.

— Очень жаль это слышать, — строго сказала мать. — Я надеялась, что ты будешь с кем-нибудь постарше, с какой-нибудь почтенной женщиной. А эта особа мне совсем не нравится — ну и вид, ну и манеры! Надо же — расхаживать по улице в штанах! И неужели этот ее спутник ей не муж?

— Да-а, мне так кажется, — неуверенно сказала Эльза, поняв, что и эта тема не удачнее прежней. — Но ведь они не в одной каюте.

— Не вижу разницы, — возразила мать. — Все это очень печально. Теперь слушай внимательно. Ты должна быть очень сдержанна с этой особой. Никогда не слушай ее советов и не подражай ей даже в мелочах. Будь с ней холодна, держись подальше. Тебя не должны видеть с нею на палубе. Не разговаривай с ней, не слушай ее. Ты попала в очень скверную компанию, и я постараюсь, чтобы тебя перевели в другую каюту.

— А там кто со мной будет? — спросила Эльза. — Тоже какая-нибудь иностранка.

— Да, правда, — вздохнула мать, оглядывая пассажи-рок, что были поблизости или шли навстречу. — Господи, как тут угадаешь? Другая может оказаться еще хуже! Ты, главное, слушайся меня!

— Хорошо, мама, — покорно сказала Эльза.

Отец улыбнулся ей:

— Дочка у нас умница. Смотри, всегда слушайся маму.

— Но знаешь, папа, когда эта женщина сменила брюки на юбку, она стала как все, она очень хорошо выглядит, ни капельки не похожа на американку.

Фрау Лутц покачала головой.

— Все равно держись от нее подальше. Она американка, не забывай. Как бы она там ни выглядела.

На палубу вышел горнист и весело затрубил, подавая сигнал к обеду. Семейство Лутц сейчас же повернуло и ускорило шаг. У трапа их нагнали и едва не опрокинули испанцы из бродячей труппы — нахлынули сзади, разделили, пробились меж ними, словно бурная волна — волна с острыми локтями. Семейство осталось далеко позади: когда официант нашел для них столик на троих — конечно, у стены, но, по счастью, возле иллюминатора, — испанцы уже уселись за большим круглым столом неподалеку от капитанского и шестилетние близнецы уже хватили с блюда сельдерей.

— Хорошо хоть лица у них умытые, — сказала фрау Лутц и, заранее изобразив всем своим видом горькое разочарование, стала просматривать меню, — но было бы куда приятней, если бы они и шею тоже вымыли. Я отсюда вижу, у всех у них шеи серые, грязной пудрой, как корой, заросли. Вот, Эльза, ты все удивляешься, когда я тебе велю мыть шею и руки до локтей. И надеюсь, у тебя хватит ума никогда не пудриться.

Эльза опустила глаза, нос у нее так лоснился, что в глазах отсвечивало. Она потерла его платком, старательно подавила вздох и промолчала.

В кают-компании чистота и образцовый порядок. На столах цветы, белые наглаженные скатерти и салфетки, приборы так и сверкают. Официанты, похоже, полны бодрости и радуются началу очередного плавания, а лица новых проголодавшихся пассажиров смягчены приятным ожиданием. Капитана не видно, за капитанским столом гостей

приветствовал доктор Шуман и объяснил им, что в первые ответственные часы плавания капитан обычно обедает прямо на мостике.

Все дружно закивали, великодушно признавая, сколь нелегка задача капитана благополучно вывести их из гавани; послышались степенные слова согласия, за столом сразу установилось взаимопонимание: среди избранных оказались профессор Гуттен с женой, Рибер, Лиззи Шпёкенкикер, фрау Риттерсдорф, фрау Шмитт и единственный «приличный молодой человек» — миссис Тредуэл недавно видела его рядом с Дженни Браун. Его зовут Вильгельм Фрейтаг, он несколько раз повторил это, пока все они знакомились и усаживались за стол. Не прошло и трех минут, как фрау Риттерсдорф установила, что он «связан» с германской компанией по добыче нефти в Мексике, женат (какая жалость!) и направляется в Мангейм за своей молодой женой и ее матерью. Она сразу решила также, что хвастливый, хихикающий Рибер — просто пошляк и недостойн сидеть с остальными за капитанским столом. Фрау Шмитт и чета Гуттен тотчас почувствовали взаимную симпатию, едва выяснилось, что все они преподавали в немецких школах, причем Гуттены — в Мехико.

Рибер, настроенный как нельзя лучше, сперва поминутно подмигивал Лиззи, но, очутившись в таком почтенном обществе, присмирел и попросил разрешения всех угостить: стаканчик вина — доброе начало знакомству. Предложение приняли единодушно и весьма благосклонно. Появилось вино — настоящий «нирштейнер домталь» лучшей марки, в Мексике его так трудно достать, а если и достанешь, оно так дорого, и все они так по нему стосковались и так его любят — доброе, прекрасное, истинно немецкое белое вино, нежное, как цветок. Они вдохнули аромат ледяного напитка в бокалах, глаза их увлажнились, они лучезарно заулыбались друг другу. И пошли легонько чокаться, обмениваться добрыми приветливыми словами, пожеланиями здоровья и счастья, и выпили.

Так все вышло правильно, так любезно, просто очаровательно, все чувствовали — это поистине прекрасная минута. И с волчьим аппетитом накинулись на отличную, солидную немецкую еду. Наконец-то, наконец-то все они возвращаются домой — и здесь, на корабле, впервые их объединило

одно и то же чувство: неким таинственным образом они уже ступили на почву Отечества. Ощущая прилив бодрости и сил, они порой отрывались от обильной еды и, утирая жующие рты, молчаливо кивали друг другу. Доктор Шуман ел немного, как человек, привыкший к умеренности, который успел уже забыть времена, когда он бывал по-настоящему голоден. Пассажиры, увлеченные едой и питьем, поглядывали на него с восхищением. Перед ними был высший образец истинно немецкой воспитанности; возвышенная, гуманная профессия еще прибавляла ему блеска, а великолепный шрам свидетельствовал, что он — питомец одного из лучших университетов, человек храбрый и хладнокровный: такой большой шрам на самом удачном месте означал, что обладатель его понимает все значение *Mensur*¹ — приметы, по которой узнается истинный германец. А если он немного рассеян и задумчиво-молчалив — что ж, у него есть на то право, ведь он важное лицо, обременен нешуточными обязанностями судебного врача.

— Тут есть свиные ножки, Дэвид, лапочка, — сказала Дженни Браун.

Впервые за три дня она так назвала Дэвида Скотта. А он был настроен не столь примирительно — он рассудил, что едва ли в ближайшие дни вернет ей имя Дженни ангел... а то и вовсе не вернет. Сколько нервоотрепки может выдержать любовь? Сколько ссор?

— Я подзубриваю немецкий по всяким надписям, по крапам с горячей и холодной водой и прочее, но тут почти все говорят по-французски или по-английски, а то и оба языка знают. Вот хотя бы тот человек, я с ним прошла по палубе. Вон тот, за капитанским столом. С такой неотразимой прической. Я даже и не думала, что он немец, пока он сам не сказал...

— С этакой рожей? — спросил Дэвид.

— А чем плохая рожа?

— Слишком явно немецкая.

— Как тебе не стыдно, Дэвид, лапочка! Ну и вот, я хо-

¹ Дуэль, фехтование; die Mensur — старый обычай, особенно распространенный среди немецких студентов-буршей.

тела с ним попрактиковаться в немецком, но с первых же слов он просто не выдержал — и надо признать, он говорит по-английски куда лучше меня, прямо как заправский англичанин. Я думала, он воспитывался в Англии — ничего подобного, это его в Берлине в школе так обучили... Ну а моя швейцарка... говорила я тебе? Я попала в одну каюту с той швейцарской дылдай... так вот, она ходит в белом полотняном корсете, обшитом кружевами. Пари держу, ты таких никогда не видал...

— Такие носила моя мать, — сказал Дэвид.

— Дэвид! Неужели ты подсматривал, когда твоя мама одевалась?

— Нет, я сидел посреди кровати и смотрел на нее.

— Ну так вот, — продолжала Дженни, — моя швейцарка, не считая немецкого, говорит по-испански, по-французски, по-английски и еще на каком-то наречии, она его называет ретороманским, а ей только-только исполнилось восемнадцать. И со мной она желает разговаривать только по-английски, хотя уж испанским-то я владею не хуже нее. Если и дальше так пойдет, никакому языку не научишься.

— Эти люди не типичны, — сказал Дэвид. — Да и мы тоже. Они просто бродяги, ездят по разным странам и на каждой границе меняют деньги и язык. И мы тоже. Посмотри на меня — я даже русский учу...

— Да, я смотрю на тебя, — с восхищением сказала Дженни. — Но ты даже изучаешь грамматику по учебнику, а мне это и в голову не приходило. Грамматика мне не по зубам, это уж точно, но она мне как-то и ни к чему.

— Слыхала б ты себя иной раз, так знала бы, что она бы тебе совсем не помешала, — заметил Дэвид. — Иногда ты такое ляпнешь — то есть когда говоришь по-испански, просто чудовищно.

— В этой голубой рубашке ты прямо красавчик, — сказала Дженни. — Надеюсь, тебя это не угнетает. Ох, я умираю с голоду! Веракрус в этот раз был невыносим. Что с ним только случилось? Я всегда вспоминала этот город с нежностью, а теперь видеть его больше не хочу.

— А по-моему, он какой был, такой и есть, — сказал Дэвид. — Жара, тараканы, и народ там все такой же.

— Ну нет, — возразила Дженни, — раньше я любила гулять там вечерами, после дождя, когда все такое чистое,

умытое, и цветут жасмин и магнолия, и дома тоже как вымытые, все краски светлые, яркие. Вдруг выйдешь на какой-то незнакомый перекресток или площадь с фонтаном — такие они спокойные, только и ждут, чтобы кто-то взялся за кисть и написал их, и все выглядит по-особенному, совсем не так, как днем. Окна все распахнуты, из них струится бледно-желтый мягкий свет, широкие постели окутаны белыми облаками кисей от москитов, люди полураздетые, полусонные и движутся уже словно во сне или сидят на маленьких балкончиках и просто наслаждаются свежим воздухом. Это было чудесно, Дэвид, и я так все это любила. И все-все здешние жители держались так просто, приветливо. А один раз была ужасная, великолепная гроза, и молния ударила в лифт моей гостиницы, в нескольких шагах от моей комнаты, меня чуть не убило. Вот было весело! По-настоящему опасно было, а все-таки я осталась жива!

Дэвид сказал холодно, недоверчиво:

— Ты никогда прежде мне об этом не рассказывала.

— Надеюсь, — сказала Дженни. — Во второй раз было бы скучно слушать. А почему ты никогда не веришь, если я вспоминаю что-нибудь хорошее? Хоть бы раз дал мне вспомнить о таком, что было прекрасно. — Она чуть помолчала и прибавила: — Уж наверно, если бы ты там был, все это выглядело бы по-другому.

Она всматривалась в Дэвида, как хирург в оперируемого, но в его сухом, непроницаемом лице по обыкновению ничто не дрогнуло от боли.

— С кем же ты тогда ездила, что все было так прекрасно?

— Ни с кем. Я ездила одна и видела все по-своему, и некому было все мне испортить.

— И не надо было спешить на пароход.

— Нет, с нью-йоркского парохода я сошла. Девять чудесных дней — на борту ни души знакомой, я только и разговаривала, что с официантом да с горничной.

— Они, наверно, были весьма польщены, — съязвил Дэвид лапочка. Но удовлетворения при этом не ощутил.

Дженни положила нож и вилку, отпила глоток воды.

— Не знаю, — сказала она серьезно, словно обдумывая вопрос первостепенной важности, — право не знаю, смогу

ли я высидеть все плавание за одним столом с тобой. Но я рада, что мы хотя бы в разных каютах.

— Я тоже рад, — мгновенно отозвался Дэвид, глаза его холодно блеснули.

И оба в унынии смолкли. Ну почему все ни с того ни с сего идет наперекос? И оба, как всегда, понимали, что не будет этому конца, потому что, в сущности, не было и начала. Они топчутся по кругу этой вечной ссоры, точно клячи на привязи: опять и опять все то же, пока не выбьются из сил или не одолеет отчаяние. Дэвид упрямо продолжал есть, и Дженни снова взялась за вилку.

— Я готова это прекратить, если и ты прекратишь, — сказала она наконец. — С чего у нас начинается? Почему? Никогда я этого не понимаю.

Дэвид знал — она уступает наполовину от усталости, наполовину от скуки, но он был благодарен за передышку. Притом она ведь нанесла меткий удар, так что ей, наверно, полегчало.

Нет, он ей этого не простил; он еще выберет минуту, станет ее врасплох и сквитается, и посмотрит, как она побледнеет, — сколько раз уже так бывало; она прекрасно понимает, когда ей достается в отместку, и признает: хоть это и варварство, а справедливо. Соображает по крайней мере, что не вся же игра в одни ворота, не надеется всякий раз ускользнуть от возмездия, и уж он позаботится, чтобы это ей не удалось. В душе-то он холоден, потому и сильнее! И, сознавая свою силу, он одарил Дженни ласковой улыбкой, перед которой она неизменно таяла, и накрыл ее руку своей.

— Дженни, ангел, — сказал он.

И вмиг она ощутила в сердце робкое, недоверчивое тепло (она ничуть не сомневалась, что ее сердце способно чувствовать). Она прекрасно знала, стоит ей «размякнуть», как выражается Дэвид, и пощады от него не жди. И все-таки не выдержала. Наклонилась к нему через столик, сказала:

— Милый ты мой! Давай постараемся быть счастливыми. Мы же первый раз путешествуем вдвоем, давай не будем все портить — и тогда будет так славно. Я постараюсь, правда же, Дэвид, лапочка, даю слово... давай оба постараемся. Ты же знаешь, я тебя люблю.

— Надеюсь, — с коварнейшей мягкостью отозвался Дэвид.

Неведомо почему, она готова была заплакать, но сдержалась: ведь для Дэвида ее слезы — просто еще одна чисто женская хитрость, которую при случае пускают в ход. А он с чуть заметной улыбочкой следил — заплачет или не заплачет? Она никогда еще не устраивала сцен на людях. Но она улыбнулась ему, подняла бокал вина и потянулась к нему чокнуться.

— Salud¹, — сказала она.

— Salud, — сказал Дэвид.

И они выпили до дна.

Обоим было совестно, что каждый пробуждает в другом все самое плохое; когда они только полюбили друг друга, каждый надеялся остаться для другого идеалом: они были отчаянные романтики — и из боязни выдать свое сокровенное, обнаружить и узнать в другом что-то дурное становились бесчестными и жестокими. В минуты перемирия оба верили, что их любовь чиста и великодушна, как им того хочется, и надо только быть... какими же нам надо быть? — втайне спрашивал себя каждый — и не находил ответа. Лишь в такие вот короткие минуты, как сейчас, когда они выпили за примирение, злая сила отпускала их, и можно было легко, спокойно вздохнуть, и они давали себе и друг другу туманные клятвы хранить верность... чему? Верность своей любви... и постараться... Но Дэвид, уж во всяком случае, понимал, что в его стараниях быть счастливым кроется, пожалуй, половина беды, причина наполовину в этом. А вторая половина?..

— Итак, за счастье, — сказал он и снова чокнулся с Дженни.

Было еще совсем светло, но августовское солнце уже клонилось к далекому горизонту, отбрасывая на воду огненную полосу, и она тянулась за кораблем, словно масляный след. Дамочки особой профессии вышли на палубу в одинаковых вечерних нарядах: платье черного шелка чуть не до пояса открывает ослепительную гладкую спину, сверкают

¹ Салют, привет; при тосте — ваше здоровье! (*исп.*)

яркими пряжками открытые туфельки. Неспешно разгуливая по палубе, они повстречались с двумя священниками, те тоже неспешно прогуливались, — недобрые губы сжаты, точно челюсти капкана, неумолимый взгляд не отрывается от молитвенника. Дамочки почтительно склонили головы, святые отцы не удостоили их ответом, а быть может, и вправду их не заметили. Уильям Дэнни прошел круг за дамочками следом, для безопасности немного поотстав, порой он приостанавливался, словно бы что-то его заинтересовало за бортом, и судорожно глотал — чуть заметно вздрагивал кадык. Новобрачные полулежали в шезлонгах и молча любовались закатом — руки сплетены, загадочно застуманные взоры устремлены вдаль.

Няня-индианка вынесла младенца и тихо вложила в не ловкие, неуверенные руки молодой матери. Фрау Риттерсдорф приостановилась возле них с непринужденностью женщины, которая хоть и не обзавелась собственными детьми и не устаёт благодарить за это судьбу, но невольно ценит возвышенные страдания материнства, коими наслаждаются другие. Сочувственно, понимающе улыбнулась матери, тихонько опустила на колени и мгновение любовалась божественным чудом жизни, восхищаясь пушистыми бровками, нежным ротиком, нежнейшим — на зависть — бело-розовым личиком. Мать отвечала вежливой, натянутой улыбкой: сын уже и так избалован, думала она, хоть бы посторонние оставили его в покое; просыпается по ночам и кричит, и тянет из нее все соки, такое свинство, а она измучена до смерти, чуть не плачет и ей хочется одного — спать.

— Какой прекрасный мальчик! — сказала фрау Риттерсдорф. — Он у вас первый?

— Да, — сказала мать, и лицо ее омрачилось тайным страхом.

— Отличное начало, — продолжала фрау Риттерсдорф. — Настоящий маленький генерал. *El generalissimo!*

Немецкие друзья говорили ей, что каждый второй мексиканец либо генерал, либо намерен стать генералом, либо хотя бы сам называет себя генералом.

Молодую мать против ее воли немного смягчила эта лесть, хоть и грубая, в истинно немецком стиле. Генералиссимус, надо же! Какая пошлость! Но, конечно, ее малыш великолепен, приятно слышать, когда его хвалят, да еще

по-испански, хоть и с таким ужасным акцентом. А фрау Риттерсдорф ухитрилась перевести разговор с младенца на мать; заговорила — и вполне прилично — по-французски, отчего мексиканка пришла в восторг, она гордилась тем, как сама владеет французским. Фрау Риттерсдорф с удовольствием узнала, что ее собеседница — супруга атташе мексиканского представительства в Париже и сейчас едет к мужу; прежде ей нельзя было — «Сами видите, почему» — к нему присоединиться. Фрау Риттерсдорф возрадовалась: ей, женщине весьма светской, так приятно встретить среди пассажиров даму из дипломатических кругов — вот и нашлось наконец подходящее общество! А сеньора Эсперон-и-Чавес де Ортега как-то помрачнела, стала несколько рассеянной — впрочем, пожалуй, это и естественно для молодой женщины, еще непривычной к материнству. Генералиссимус открыл глаза, замахал кулачками и ангельски зевнул прямо в лицо фрау Риттерсдорф. Мать едва заметно сдвинула брови:

— О, пожалуйста, пожалуйста, не будите его. Он только что заснул. Вы не представляете, как мы с ним измучились — животик и все такое!

Чувствуя, что ее отвергли, фрау Риттерсдорф тотчас поднялась и распрощалась с преувеличенной любезностью, больше похожей на грубость. Нет, эта мексиканка, видимо, не очень-то умна, а пожалуй что и не очень хорошо воспитана. Трудно разобраться, какие там мерки у этих темнокожих, хотя какие-то мерки у них, наверно, есть; даже дон Педро из Мехико — ведь он так и не попросил ее руки, хотя, казалось бы, все к этому шло... разве же не таилось в этом человеке что-то зловещее? А между тем... неужели просто потому, что он — владелец большого пивоваренного завода? Иногда ей казалось, будто он такой достойный человек, проникшийся германским духом, и она совсем размягчилась и позволила сбить себя с толку... Страшно подумать! Она вздрогнула, покачала головой и ускорила шаг.

После ужина все столики в маленьких гостиных рядом с баром были заняты: пассажиры углубленно строчили письма, последние приветы Мексике отправлены будут в Гава-

не. Одни лишь испанские танцовщицы разгуливали по палубе — они жили настоящей минутой. В Мексике у них друзей не осталось, да и в Испании нашлось бы очень немного, и это их ничуть не трогало. От них все явственней веяло неким страстным пылом. Кожа их источала запах амбры и мускуса, в волосах рдели свежие цветы, то одну, то другую можно было увидеть где-нибудь в темном уголке, в более или менее близком соседстве с кем-нибудь из светловолосых молодых моряков.

Молодые помощники капитана были все как на подбор без гроша, отлично вымуштрованы, преданы своей профессии и усердно откладывали все, что могли, из своего скудного жалованья, чтобы можно было жениться; у каждого на левой руке поблескивало гладкое кольцо дешевого золота — знак, что он уже обручен, и, прикованные к своему тесному, вечно движущемуся миру, они ни в одном порту не сходили на берег. Сойти на берег — это стоит денег и может повести к международным осложнениям, да и слишком много на свете портов. А у молодых моряков имеются очень определенные и не такие уж обременительные обязанности перед пассажирами: к примеру, танцевать по вечерам с теми дамами, которых никто другой не приглашает, ни одну не оставить без внимания, быть благоприличными и любезными кавалерами. Не то чтобы при этом разрешалось заходить слишком далеко — но, уж если тебе идут навстречу, отчего и не воспользоваться случаем, были бы только соблюдены внешние приличия. Ну а с этими испанками приличия соблюсти трудновато, дай бог, чтоб все не чересчур било в глаза.

Во многих дальних плаваниях они встречались со многими пассажирами и почти все на опыте научились некоторой осмотрительности. И вот в первый же вечер каждый из осторожных молодых моряков в белоснежных кителях с золотыми или серебряными нашивками на воротнике и на плечах по обязанности рыцаря, но и не без приятного волнения, сам не заметив, как это случилось, уже обнимает на удивление сильную, но гибкую, истинно испанскую талию, с несмелой надеждой заглядывает в огненные очи — и в глубине их читает один лишь холодный деловой расчет.

Постоянно возникают какие-то помехи, непостижимым образом пары разъединяются, создаются новые — и час

еще не поздний, а, похоже, все уже кончилось: наверняка из-за денег, решил Вильгельм Фрейтаг, который разговорился за кружкой пива с Арне Хансенем. Оба за вечер подметили кое-какие любопытные сценки.

— Из-за чего же еще, — отозвался Арне Хансен.

Он особенно внимательно следил за одной испанкой, и сердитые голубые глаза его, оттаяв, засветились простодушным восхищением. Красавица, спору нет, того же типа, что и остальные, и все же чем-то на них не похожа, хотя Хансен и не мог бы объяснить, в чем разница. У всех четырех дивные черные глаза, блестящие черные волосы гладко зачесаны на уши, у всех изящная походка, чуть покачиваются стройные бедра, узкие ножки с высоким подъемом безжалостно стиснуты узенькими черными туфлями-лодочками. Все сильно накрашены, нарумянены — тонкие недобрые губы подрисованы ярко, жирно, грубо и кажутся вдвое толще, чем на самом деле; но Хансен уже проведал: ту, что нравится ему больше других, зовут Ампаро. Мысленно он уже оценивает первое препятствие: его запас испанских слов ничтожен. Ампаро же, насколько ему удалось узнать, говорит только по-испански.

— Просто не представляю, чем они занимаются — понятно, кроме того, чем заняты сейчас, — сказал Вильгельм Фрейтаг. — Настоящий цыганский табор. В Веракрусе, я видел, они плясали прямо на улицах и собирали с прохожих деньги.

Хансен мог его несколько просветить. Это бродячие актеры из Гранады, может быть, они и цыгане, во всяком случае, выдают себя за цыган. В Мексике они совсем прогорели — обычная участь таких перелетных птиц, он слышал, что великая Пастора Империи и та осталась чуть ли не нагишом, — и мексиканское правительство, как всегда бывает, за свой счет отправило их на родину. Довольно опасная публика, заметил Фрейтаг, особенно мужчины — подозрительнейшие личности, с виду сушие разбойники: низкие лбы, свирепые глаза, какая-то смесь танцора из кабака, сводника и наемного убийцы.

Хансен внимательно посмотрел на испанцев.

— Пожалуй, не так уж они опасны, — рассудил он, — могут что-нибудь учинить, только если твердо уверены, что не попадутся.

И он непринужденно откинулся на спинку стула, расправил широкие плечи, вытянул длинные ноги далеко под стол.

Четверо танцоров сидели в баре с близнецами, явно стараясь оставаться в тени, чтобы женщины без помехи пускали в ход свои чары. Они были молчаливы, эти мужчины, в движениях крайне сдержанны и не в меру грациозны и притом настороженны, точно кошки. Пили кофе чашку за чашкой, беспрестанно курили; а дети, тихие и послушные, какими при женщинах никогда не бывали, под конец припали к столу, уронили головы на руки и уснули.

Устало подперев голову рукой, фрау Баумгартнер сидела за столиком вдвоем с мужем, который с самого начала этого долгого вечера непрерывно пил, чтобы утишить неотступную боль. Волосы его были уже влажны и прилипли к вискам. После еды боль в желудке ненадолго отпустила, но в страхе, что она вот-вот вернется, он поспешил проглотить первую порцию коньяку с водой. Боли эти начались года два назад, когда Баумгартнер проиграл одно за другим три крупных дела в мексиканском суде. Жена знала, почему он их проиграл: он беспробудно пил, а потому не мог толком подготовиться к защите, не мог произвести выгодное впечатление на суд. За всем этим стояла печальная загадка: отчего он начал пить? Он не мог этого объяснить и не мог противиться неодолимой жажде. Час за часом, весь день и до позднего вечера, он пил, не получая от этого ни удовольствия, ни радости, ни облегчения, — пил безвольно, беспомощно, терзаясь угрызениями совести, и все же снова и снова рука его тянулась к бутылке и он наливал себе коньяк со страхом и с дрожью в самом прямом смысле слова.

В те считанные дни, когда удавалось уговорить его не пить (а это случалось очень редко), он ложился в постель с отчаянными болями в желудке и корчился и стонал, пока не приходил их постоянный врач и не давал ему опий. Приглашали консультантов, и каждый высказывал свою догадку, смотря по специальности: язва, загадочный хронический заворот кишок, острая (или хроническая) инфекция того или иного свойства один как-то даже намекнул на рак; но никто не мог принести больному облегчения. Казалось, ему не становится хуже, но и улучшения никакого не было. Фрау

Баумгартнер, к своему стыду, уже не верила, что муж и вправду болен. Она и сама не знала, чему верит, а в сущности, не верила ничему; неверие это было смутное, темной тучей надвигалось подозрение, что мужнина болезнь, если когда-нибудь ее удастся распознать, обернется каким-то ужасным обвинением ей, жене. Ведь это общеизвестно: если брак несчастлив или муж — неудачник в делах, виновата жена, и никто другой. А ей кого же винить, как не себя, ведь она сама не раз повторяла, что ее муж — лучший и добрейший из мужчин. Когда-то он подарил ей любовь — то, что она считала любовью, он был верен и ласков всегда, неизменно, день за днем, год за годом, внимателен и заботлив. До тех пор пока он не начал безрассудно тратиться на выпивку, у них был славный, уютный дом, были сбережения; и деньги их, слава богу, надежно вложены в немецкие акции, ведь марка поднялась, дела процветают и все в Германии идет к лучшему. Муж прошел всю войну и возвратился без единой царапины — это уже само по себе чудо, он бы должен благодарить судьбу, но нет — о том, что он страдал в те годы, он всегда говорит с горечью. Они поженились сразу после войны и уехали в Мексику — страна эта стала для немцев новой землей обетованной... Но что же случилось, чем провинилась она, отчего их жизнь обернулась таким несчастьем? Казалось, все шло так хорошо...

— Ах, Карл, не надо больше, это уже четвертый стакан, а с обеда еще и двух часов не прошло...

— Я не могу иначе терпеть, Гретель, не могу, ты просто не понимаешь, какая это боль!

Все та же вечная жалоба. Лицо его сморщилось, губы кривятся и дрожат; пустые ярко-голубые глаза от страдания вспыхивают злобой.

— Но разве это помогает, Карл? Завтра все начнется сначала.

— Прошу тебя, Гретель, потерпи еще немного. Еще глоточек — и мне хватит на весь вечер, даю слово. — От горя, от стыда он низко опускает голову. — Прости меня, — просит он так униженно, что жена за него краснеет.

— Не надо так, дорогой, — говорит она. — Выпей, если тебе от этого легче.

Она наклоняется и пристально разглядывает скатерть, только бы не видеть, как кривится его лицо от боли, кото-

рую он и не пробует ни скрыть, ни одолеть. Врачи посоветовали ему вернуться на родину, быть может, это его вылечит. Она так надеялась, что спокойное долгое плавание, легкая, налаженная жизнь на корабле, вдали от мнимых друзей — собутыльников и от тех мест, где он потерпел неудачу, положит начало исцелению. Но ничего этого не будет. Баумгартнер осушил высокий стакан до дна.

— А теперь помоги мне, дорогая, — сказал он плаксиво.

Он поднялся, покачиваясь, она стала рядом. Муж тяжело оперся на ее руку, они пошли через переполненный бар к выходу, и фрау Баумгартнер, не глядя по сторонам, отчетливо ощущала, с каким презрением все смотрят на ее пьяницу-мужа, который прикидывается больным.

За отведенным ему отдельным маленьким столиком Юлиус Левенталь изучил меню — длинный список «нечистых» блюд — и спросил омлет с зеленым горошком. Выпил в утешение полбутылочки доброго белого вина (одно всегда затруднительно в путешествиях — найти что-то съедобное в мире, где почти безраздельно хозяйничают дикари) и съел на десерт немного фруктов. Потом отправился на поиски — беспокойно бродил по салону, по бару, затем по палубам; но никто с ним не заговорил, а стало быть, и он ни с кем не заговаривал. Бросал короткий испытующий взгляд на всех и каждого, а сам старался быть понезаметнее, но все надеялся увидеть хоть одного соплеменника. Трудно поверить. За всю жизнь с ним никогда еще такого не случилось — но вот оно, то, чего он пуще всего боялся: на пароходе нет больше ни одного еврея. Ни одного. Немецкий пароход идет обратно в Германию — и он единственный еврей на борту. До сих пор ему было как-то не по себе, теперь стало по-настоящему страшно, потом душу захлестнула неприязнь к чуждому, враждебному миру иноверцев, что всегда была у него в крови. И с этой приливной волной вернулось мужество — не совсем окрепшее, оно все же возвратило ему силу духа и здравый смысл. Он еще раз прошел по кораблю, теперь уже смелее глядя на людей, скрывая тревогу под напускным спокойствием... но нет, к чему искать дальше? Окажись тут еще один, его усадили бы за тот же столик. Два еврея всегда узнают друг друга. Что ж, не с кем будет

поговорить, но ведь ничего не стоит держаться со всеми попутчиками приветливо; пускай плавание пройдет как можно спокойнее, что за корысть напрашиваться на неприятности. Он сел в баре неподалеку от вполне достойной с виду молодой четы христиан — оба очень полные, у ног их прикорнула белая собака; если они с ним заговорят, можно провести полчаса за какой ни на есть беседой, все-таки лучше, чем ничего, а на большее рассчитывать не приходится. Но первым он никогда не заговаривал, неизвестно, на что нарвешься, а эти двое на него и не посмотрели. После двух кружек пива он решил, что устал и пора спать.

Каюта была пуста, только стояли чемоданы попутчика. Левенталь убрал подальше свой коммивояжерский чемодан с образцами, достал скромные туалетные принадлежности, устроился на нижней койке и прочитал молитвы, гадая, что за сосед ему достался. Может быть, вполне приятный человек. В конце концов, по крайней мере в делах, он встречал среди христиан очень порядочных людей. Может быть, и сосед по каюте из таких. Он лежал, не погасив свет, не в силах успокоиться, и все ждал, что же за человек войдет в каюту. Наконец дверь отворилась, он поспешно поднял голову.

— Grüss Gott, — поздоровался он, еще не разглядев вошедшего.

Зигфрид Рибер остановился как вкопанный. И тотчас его пухлая физиономия и нос пяточком выразили величайшее отвращение, он сдвинул брови и выпятил губы.

— Добрый вечер, — сказал он ледяным тоном, раз и навсегда пресекая всякие мысли о дальнейшем общении.

Левенталь откинулся на подушку, он сразу понял — положение хуже некуда, — впрочем, кажется, он с самого начала это понимал.

«Господи, ну и везенье! — горестно подумал он. — А плыть так долго. И уж конечно, этот сосед куда больше похож на свинью, чем на христианина. Надо быть поосмотрительней, надо остерегаться, нельзя дать этому типу очень уж командовать. Недурное начало, посмотрим, как он дальше себя поведет. Теперь я знаю, чего ждать, надо быть наготове. Знаю я их штучки... он не застанет меня врасплох».

Так он терзался тревожными опасениями, и все ворочался с боку на бок, и старался вздохнуть потише; под конец все же уснул, хмурясь и во сне, однако спал крепко, глубоко, несмотря на громкий храп Рибера.

К девяти часам вечера освещенные палубы опустели, в баре и гостиных почти никого не осталось. Нигде ни признака жизни, кое-какое движение заметно лишь на капитанском мостике, да немногие моряки невозмутимо занимаются своими обычными делами. В недрах корабля пекари принялись месить, мять, лепить тесто — готовили на завтра хлеб к утреннему чаю; а еще глубже, в машинном отделении, всю ночь трудились, обливаясь потом, крепкие парни, чтобы корабль шел, как ему положено, со скоростью двенадцать узлов. Когда Гольфстрим останется позади, «Вера» прибавит ходу.

Всего за два дня жизнь на корабле стала привычной, приятно размеренной, но на третий день пришли в Гавану, и пребывание в порту снова всех взбудоражило. На сей раз пассажирам не о чем было тревожиться, не о чем хлопотать, только смотреть и наслаждаться, насколько кто умеет. На палубе запестрели открытые легкие платья всех фасонов и размеров, и все кинулись к сходням еще прежде, чем матросы успели их толком спустить.

Даже Карл Глокен повязал пестрый, изрядно потертый галстук и одиноко проковылял на пристань, ухмыляясь до ушей, с привычным проворством увернулся от какой-то молодой нахалки, которая бросилась к нему, чтобы «на счастье» дотронуться до его горба.

Дамочек известной профессии возвращение на родину из вояжа по Мексике волновало ничуть не больше, чем возвращение домой после целого дня беготни по магазинам, — они надели белые полотняные платья с вырезом во всю спину и великолепные панамы с широчайшими полями и сошли с корабля. Уильям Дэнни, скромно держась поодаль, последовал за ними с твердым намерением разузнать, если удастся, под каким кровом эти неприступные особы находят

приют на родной земле. Он был зол и растерян: отчего они не желают заключить с ним сделку?

— В моих краях уж если женщина торгует собой, так нос не задирает, — сказал он Дэвиду Скотту. — У нас просто — деньги на бочку, и никто ни на кого не в обиде.

Дэвид сказал только, что все это, наверно, очень скучно. И Дэнни отправился в поход один: он пойдет за ними до самого их логова и ввалится туда без приглашения. На узкой торговой улочке одна красotka неожиданно обернулась к витрине, заметила позади Дэнни, подтолкнула локтем другую. Обе оглянулись на него, ехидно, по-девчоночьи визгливо рассмеялись, нырнули в узкую дверь лавчонки и скрылись без следа. Дэнни, жестоко уязвленный, кое-как изобразил на лице подобие презрительной усмешки в расчете на возможного свидетеля и коротко, скверно выругался в утешение самому себе; потом с видом целеустремленного туриста достал из кармана путеводитель и стал отыскивать по карте дешевую забегаловку.

Только четыре часа, но бродячие актеры оделись по-вечернему: в костюмах практичного черного цвета, но смелого покроя, на кавалерах короткие курточки, талии схвачены широкими поясами красного шелка, дамы щедро открывают всем взорам грудь и плечи. Уши Ампаро кажутся в полтора раза больше обычного — мочки оттянуты серьгами с громадными поддельными рубинами. Все слегка прихрамывают: ноги безжалостно стиснуты узкими туфлями, но наперекор всему, злые, ошетиненные, приступают они к вечерним трудам профессиональных увеселителей. Близины оставлены на корабле и мигом принялись вопить, улюлюкать и отплясывать какой-то бесовский танец вокруг маленького беспомощного человечка в инвалидном кресле; наконец золотоволосый юноша, громко ругаясь по-немецки, отогнал их и покатил кресло прочь. Тогда они бросились к борту и, перегибаясь через перила, отчаянно завизжали:

— *Jai alai, мама! Мама, jai alai!*¹

Заслышав крик, далеко внизу на пристани круто обернулась четыре женщины — одна, по имени Лола, резко крикнула:

— Заткнитесь!

¹ *Здесь, очевидно: принеси мячик.*

— Давай попробуем разок вести себя как заправские туристы, — сказала Дженни ангел Дэвиду лапочке (в эти минуты они полны были нежности друг к другу). — Я ничего не имею против туристов, по-моему, презирать их — просто жалкий снобизм. Я им дико завидую, счастливые, черти, денег достаточно, времени сколько угодно, разоденутся и катают, куда хотят! А мне всегда надо работать. Если б не это, нигде бы я и не побывала, я только и делаю, что на кого-то работаю, выполняю поручения какого-нибудь издателя... если когда-нибудь попаду в Париж, даже и там придется мазать какие-нибудь дурацкие зарисовки-иллюстрации для чьих-нибудь паршивых рассказиков. Дэвид, лапочка, только не говори, что я люблю жаловаться на судьбу...

— Никогда я этого не говорил, ты сама всегда это говоришь.

— Ладно, лгунишка, — нежно сказала Дженни. — А все-таки с самого детства за всю свою жизнь я никуда не ездила просто так, полюбоваться на новые места. Уж теперь-то я не упущу случая. Давай найдем «фордик» и поглядим на все, что тут стоит осмотреть. Я раньше бывала в Гаване проездом — это уже четвертый раз, и, может быть, последний, — а никогда не видела ни пляжа, ни знаменитой Аллеи... как бишь ее?

Дэвид погрузился в свое красноречивое молчание — так это называла Дженни; по его лицу она поняла, что ее затея ему нравится. Далеко искать не пришлось: на первом же углу им подвернулся немолодой негр с помятой машиной — «фордом». Самый настоящий «фотинго»! — с удовольствием повторила Дженни ходячее мексиканское прозвище таких вот дряхлых колымаг. А возница только и дожидался таких вот клиентов. Кожа у него была цвета жженого сахара, один глаз светло-серый, другой светло-карий, он воображал, будто умеет говорить по-английски, и зывал седоков беглой, весьма убедительной речью, загодя заученной наизусть. Они вежливо дослушали ее до конца и только потом кивнули; негр устроил их на заднем сиденье — набивка бугрилась комьями, дверца дребезжала на разболтанных петлях. Негр тотчас нажал стартер, раздался треск и грохот, драндулет неожиданно покотил с устрашающей скоростью, а водитель тут же завел новую заученную речь — машина неслась по великолепной белой ленте дороги, вью-

щейся вдоль самого моря, и до седоков долетали урывками то хриплые выкрики, то негромкое бормотанье.

— Мы проезжаем... памятник!.. — выкрикнул негр, когда они промчались мимо какой-то бронзовой громадины, — в о з д в и г н у т ы й в ч е с т ь . . . — раздельно, старательно выговорил он, потом забормотал что-то невнятное. — А это, — он опять возвысил голос, — ...войне... лета от Рождества Христова... и после, — произнес он отчетливо. — Борцы за независимость Кубы воздвигли этот благородный памятник для обозрения приезжим. — Бормотанье, бормотанье. — Теперь мы проезжаем, — (тут машина едва не опрокинулась на крутом повороте), — здание, которое называется... воздвигнутое для обозрения приезжим. С л е в о й с т о р о н ы ! . . — предостерегающе выкрикнул он, и Дженни с Дэвидом, вытянув шеи, поглядели влево, но достопримечательность уже осталась далеко позади, — вы видите трагический памятник, воздвигнутый Борцами... для обозрения приезжим!

Машина внезапно замедлила ход и резко остановилась, ошеломленных седоков порядком потрянуло. Водитель сдвинул фуражку на затылок и указал на высокое, ничем с виду не примечательное здание, окна его светились меж пальмовых стволов, над густыми лиственными кронами небольшого парка.

— А это, — сказал он с некоторой добродетельной укоризной, — знаменитое «Казино», здесь богатые американцы из Соединенных Штатов каждый вечер проигрывают сотни тысяч долларов на глазах у голодающих бедняков.

Седоки поглядели изумленно, что от них и требовалось, потом Дэвид вполголоса сказал Дженни:

— Не очень-то удачная поездка, правда? — и по-испански обратился к шоферу, который, кажется, уже считал их своей собственностью: — А теперь поедем обратно той же дорогой, только медленно.

— Я отлично понимаю английский, — сказал их гид по-испански. — Ваша поездка пока неудачная, потому что вы еще не все видели. Вдоль всей этой великолепной набережной стоят памятники, исполненные несравненного величия и прекрасных чувств, некоторые из них еще важнее и обогатились еще дороже, чем те, которые вы видели. Вы платите

за то, чтобы видеть все, — добродетельно прибавил он, — я вас обманывать не стану.

— По-моему, поездка отличная, — сказала Дженни. — Я именно этого и ждала. Давайте посмотрим все памятники!

Машина прыгнула, точно кенгуру, мимо неразличимыми пятнами замелькали памятники — и вот, обветренные, обожженные солнцем, Дэвид с Дженни сидят под пальмами на красивой, только что вымытой и еще курящейся паром веранде, вдоль стены расставлены просторные кресла с птицами, посреди внутреннего дворика растет банановое дерево. Официант принес бокалы чаю со льда, в чай подбавлено немного рома.

Дэвиду стало спокойно, славно и отраднo — такие минуты порой бывали у него рядом с Дженни: слишком краткие и слишком редкие, чтобы можно было обманываться всерьез и надолго, эти минуты покоя, доверия и понимания все равно были хороши.

— Чем дальше, — сказал он, — тем тверже и непоколебимей я убеждаюсь, какая это огромная ошибка — что-либо делать или воздвигать для обозрения приезжим.

— Давай больше не будем, — подхватила Дженни, еще полная оживления от этой их сумасбродной вылазки. — Давай вести чудесную личную жизнь, которая зарождается у нас внутри, в костях или, может быть, даже в душе и сама пробивается наружу.

Посередине она запнулась и слово «душа» выговорила несмело, на пробу: у Дэвида оно было под запретом наряду с такими, как «бог», «дух», «духовно», «целомудрие» — особенно «целомудрие!» — и «любовь». Обычно Дженни вовсе не склонна была расцвечивать свою речь подобными словами, но изредка в нежданном порыве чувств какое-нибудь из них так и просилось на язык; а Дэвид просто слышать их не мог, и сейчас тоже лицо его стесненно, чуть ли даже не оскорбленно застыло — она уже знала, что так будет, стоит ей что-нибудь такое сказать. Он умел преображать эти слова в непристойность и произносил их пылко, почти эротически наслаждаясь; и Дженни, которая могла богохульничать с безгрешностью хорошо натасканного попугая, в свой черед чувствовала себя оскорбленной тем, что она благонаравно именовала «извращенным умом» Дэвида. В этом смысле они давно зашли в тупик.

После гнетущего молчания Дэвид сказал сдержанно:

— Ну, разумеется, это же твой конек — драгоценная личная жизнь, а кончается все картинными галереями, журналами и альбомами репродукций, и то если повезет... сколько еще можно себя обманывать? Слушай, мы ведь живем подачками, верно? От одной случайной работы до другой. Так что, пожалуй, надо повнимательней смотреть на все эти дурацкие памятники — за каждый потом можно получить комиссионные, каждый — случай услужить какому-нибудь скульптору.

— Хороши скульпторы! — вскипела Дженни. — Все это такая бездарная дрянь! Нет, я согласна на любую черную работу, но есть вещи, которые не продашь, даже если бы и хотел, и слава богу! Писать картины я буду для себя.

— Знаю, знаю, — сказал Дэвид. — Надеюсь, они еще кому-нибудь понравятся — и настолько, чтобы он купил их и взял и повесил у себя дома. Просто во всем, что касается работы, наша теория личной жизни почему-то никуда не годится.

— Ты говоришь не о личной жизни, а об общественной, — возразила Дженни. — Ты говоришь о картине, которая уже на стене, а не у тебя в голове, так? А я хочу, чтобы моя работа нравилась простым добрым людям, которые совсем не разбираются в искусстве, хочу, чтоб они приходили поглядеть на мои картины за много миль, как индейцы приходят смотреть стенные росписи в Мехико.

— Недурная популярность, — сказал Дэвид. — Ах ты, святая простота. Эти простые добрые индейцы хохотали до упаду и несли шикарную похабщину; в Аламеде они намалевали волосы на лобке Полины Бонапарт — изящной мраморной мечты, творения Кановы! Может быть, ты ничего этого не заметила? Где были твои глаза?

— На месте, — беззлобно отозвалась Дженни. — Наверно, я смотрела на что-нибудь другое и слушала о другом, я еще много чего видела и слышала. И я не осуждаю этих индейцев. В конце концов, у них есть кое-что получше.

— Лучше Кановы? Допустим. А может быть, скажешь лучше Джотто? Или Леонардо? Нет, это не лучше очень многого, даже того, что они сами когда-то создали. Их искусство выродилось ко всем чертям... то, что было у них понастоящему хорошего, находят теперь при раскопках. Да,

мне это нравится, и, понятно, сами они это предпочитают чужому. Но послушай, Дженни, ангел, нам-то что это дает? У нас своя дорога; не будем подражать примитивам, этим мы и самих себя не проведем...

— Дэвид, если я не вычерчиваю истово каждую линию, это еще не значит, что я подражаю примитивам... Нет, не повторяй больше! Я люблю индейцев, это моя слабость. И я уверена, чему-то я у них научилась, хотя сама еще не знаю чему.

— Но они-то тебя никогда не любили, — сказал Дэвид. — И ты это знаешь. Мы упорно стараемся любить их по отдельности, поодиночке, как и друг друга, а они ненавидят нас всех гуртом, просто потому, что у нас кожа другого цвета и мы — раса поработителей. Мне все это осточертело. И ничего им от нас не нужно, вот только в прошлом году понадобился твой старый, разбитый «фордишка», да моя жага, да патефон. Нам нравятся их красиво сплетенные циновки, потому что мы не должны на них спать, а им нужны наши пружинные матрасы. Их не за что осуждать, но от сентиментальной болтовни о них меня тошнит.

Дженни была огорчена, озадачена — и как раз поэтому рассмеялась.

— Я ведь не ищу какой-то новой веры, — сказала она. — Должно быть, ты прав, но есть же что-то еще... Я знаю, для хорошего примитива мне не хватает сложности.

— А я не думаю, что они сложнее нас, — сказал Дэвид. — Но сложности у них другие, только и всего.

— Это далеко не все! — сказала Дженни. — Вот это уж слишком упрощенно.

Дэвид уловил звенящую нотку в ее голосе и промолчал, а про себя подумал: о чем бы ни зашла у них речь и как бы ни старался он растолковать Дженни свою точку зрения, всегда его словно заносит куда-то вбок, или он топчется по кругу, или увязает в какой-то трясине, куда и не думал забираться... как будто ум Дженни так устроен, что не вбирает, а отражает, отталкивает его мысли и даже чувства... к примеру, в отношении тех же индейцев. Впредь он не станет с ней говорить об индейцах, о ее картинах тоже: первая тема пробуждает в ней чувствительность, вторая — упрямство; ну и не будем об этом.

Молча, но мирно они выпили по второму стакану ледя-

ного чая с ромом, спохватились, что не знают, который час (пришлось спросить официанта; они усложняли себе жизнь тем, что из принципа не носили часов), и побрели обратно в порт.

Жара была невыносимая, все живое на улицах еле двигалось в каком-то сонном оцепенении, солнечные лучи едва не сбивали с ног, люди обливались потом, у собак с высунутых языков бежала слюна; к тому времени, как Дженни с Дэвидом добрались до своего причала, они совсем задохнулись и взмокли в прохладных с виду полотняных костюмах. У входа в длинейшее подобие сарая, через которое надо было проходить к кораблю, они увидели густую толпу нечесанных темноволосых оборванцев. Между ними было шагу негде ступить: в руках у них, за плечами, под ногами на земле — всюду торчали их пожитки — узлы и тюки в грубой мешковине, перевязанной веревками. Теснились вплотную мужчины и женщины всех возрастов и самого жалкого вида, с большими и малыми детьми, с грудными младенцами на руках. Все — невероятно оборванные и грязные, сгорбленные, молчаливые, несчастные. Несколько человек, заметив двоих чужестранцев, начали без слов подталкивать друг друга и вещи, и наконец между ними очистился узкий просвет.

— Проходите, пожалуйста, — бормотали они по-испански.

— Спасибо, спасибо, — повторяли Дженни и Дэвид, осторожно пробираясь в этой тесноте.

Постепенно толпа редела, но огромный сарай был еще набит битком. Люди сидели, скорчившись, на полу, стояли, бессильно сутулясь, устало подпирали стены.

И нечем было дышать — все заполнял уже не воздух, но жаркие, липкие испарения, пахло потом, грязью, несвежей пищей, отбросами, прелым тряпьем, испражнениями — смердело нищетой. А толпа не казалась безликой: все это были испанцы, у всех головы отличной лепки, выразительные, тонкие черты, глубокий, осмысленный взгляд. Но кожа землистая, как у людей, истощенных вечным недоеданием и непосильной работой, в нездоровой бледности этой медно-смуглой кожи еще и какая-то празелень, словно под нею течет кровь, которая не обновлялась много поколений. Босые загрубелые ноги — в ссадинах, ступни растреска-

лись, суставы торчат шишками, натруженные руки точно клешни. Сразу видно, эти люди пришли сюда не по своей воле и охоте — и в бессильном унижении, как бессловесные рабы, ждут: что же с ними станут делать. Матери кормили грудью тошених младенцев; мужчины, сидя на земле, рылись в своих жалких пожитках или пытались увязать их покрепче, осматривали стертые ноги, скребли нечесанные головы или просто застыли в неловком праздном оцепенении, глядя в одну точку. Бледные, испуганные, несчастные дети сидели подле матерей и тревожно заглядывали им в лица, но не жаловались и ничего не просили.

Среди этих людей ходили, судя по виду, чиновники, пересчитывали их, тыкая в каждого пальцем, о каждом что-то записывали, совещались между собой и, пробираясь между неподвижными телами, для надежности опирались на первую попавшуюся голову, точно на столбик перил или ручку двери. И престранная тишина была вокруг — странно, подумала Дженни, ведь так ужасна их нищета и что-то с ними происходит до того страшное, что, казалось бы, они должны выть, кричать, силой рваться прочь отсюда...

— Дэвид, что же это такое? — спросила она.

Но Дэвид только головой покачал. Они вышли из сарая на воздух — перед ними возвышалась «Вера», сходни были уже спущены.

Почти все на корабле забыли на время свою сдержанность, незнакомые обращались друг к другу с вопросами и слышали в ответ туманные сплетни и противоречивые домыслы. Помощники капитана будто под перекрестный огонь попали — любопытные допрашивали их, что там за нищие собрались? Их, кажется, берут на борт? Моряки только головами качали. Они просят извинить, но им ничего не известно — что за пассажиры поедут на нижней палубе, откуда их столько взялось, что это, в сущности, за народ — всякому ясно одно: это самая что ни на есть голытьба. Без сомнения, попозже все разъяснится.

От такого ответа общее любопытство только пуще разыгралось. Профессору Гуттену и его жене (не без труда они уговорили страдающего морской болезнью бульдога Детку прогуляться с ними по твердой земле) кто-то в городе сказал, что эти странные оборванцы — мятежники, замешаны в политике и высылаются из страны как опасный под-

рывной элемент. Профессор Гуттен, внимательно к ним присматриваясь, заметил вслух, что это, по-видимому, люди совершенно безобидные, хотя и несчастные. Швейцарец Лутц, владелец гостиницы, сказал профессору, что он слышал — эти люди возвращаются в Испанию, ибо там внезапно возникла нужда в рабочей силе: с тех пор как в этой стране свергли короля, она вступила на путь прогресса и стремится догнать передовые государства.

— Старая история, — прибавил Лутц. — Там хорошо, где нас нет. Первый раз в жизни слышу, что в Испании — процветание.

По палубе гордо прошествовали Зигфрид Рибер и Лиззи Шпёкенкикер, и Лиззи пронзительно закричала маленькой фрау Шмитт, чье нежное сердце тронул вид несчастных (это ясно было по выражению ее кроткого розового лица):

— Нет, как вам нравится этот ужасный человек? Угадайте, что он сейчас заявил? Я ему говорю: «Несчастливые люди, что можно для них сделать?» — и этот злодей, — она захохотала то ли истерически, то ли сердито, — ...он заявил: я, мол, знаю, что бы я для них сделал — загнал бы всех в большую печь и пустил бы газ! Ох, — простонала она, вся согнувшись от смеха, — вот оригинальная идея, слыхали вы что-нибудь подобное?

Рибер стоял и ухмылялся до ушей, очень довольный собой. Фрау Шмитт слегка побледнела.

— Иногда оригинальность переходит границы, — сказала она тоном строгой матери. — Стыд и срам. По-моему, тут нет ничего смешного!

Физиономия Рибера вытянулась, он надул губы.

— Да нет, он ничего плохого не думал, — сказала Лиззи, — он только хотел их продезинфицировать — ведь правда?

— Нет, я не дезинфекцию имел в виду, — упрямо возразил Рибер.

— Ну, тогда это очень нехорошо с вашей стороны, — сказала Лиззи, но так снисходительно, отнюдь не укоризненно, что он мигом взбодрился; Лиззи улыбнулась ему, он — ей, и, оставляя позади суровое неодобрение фрау Шмитт, они отправились в бар, где им дышалось куда свободнее.

Наконец на корабль прибыли вечерние газеты — и все разъяснилось, обычная история, ничего особенного. Это как-то связано с ценами на сахар на мировом рынке. Види-

мо, в этой области разразился крах. Из-за международной конкуренции кубинский сахар так упал в цене, что владельцам плантаций стало невыгодно собирать и продавать урожай. И, как всегда во время кризиса, пошли забастовки, беспорядки, люди стали требовать повышения платы, потому что их подстрекали иностранцы — профсоюзные агитаторы. Хозяева начали жечь урожай прямо на корню, и, понятно, тысячи поденщиков в полях и рабочих на фабриках остались без работы. А среди них было множество испанцев, главным образом с Канарских островов, из Андалусии, из Астурии, — их доставили сюда в ту пору, когда кубинский сахар пользовался огромным спросом.

Эта политика ввоза рабочей силы, которая поначалу вызывала в стране сопротивление, оказалась весьма дальновидной: будь все эти труженики коренными кубинцами, какая их ждала бы участь? Благотворительность, нищенство, кратковременное пристанище в тюрьме или в больнице? А так правительство быстро и весьма благоразумно избавилось от стеснительного присутствия столь многочисленных безработных иностранцев. Были приняты необходимые меры, чтобы отослать их обратно на родину, проезд оплачен добровольными пожертвованиями по подписке, все сделано для удобства отъезжающих — и вот первая партия, ровным счетом восемьсот семьдесят шесть душ, благополучно отправляется в путь. Таким образом, единогласно утверждали газеты в очерках и передовых статьях, Куба подает всему миру пример — как надо весьма гуманно и в то же время практически решать проблему рабочей силы.

Восемьсот семьдесят шесть душ вытянулись неровной вереницей и побрели по сходням на нижнюю палубу «Веры», а десятка полтора пассажиров первого класса стояли у борта и смотрели на них сверху. Люди шли между двумя рядами моряков и чиновников, которые их считали и пересчитывали, точно стадо, загоняемое пастухами, — беспокойная толкотня, шарканье и топот ног, порой заминка, вдруг все сбиваются в кучу, и опять выравнивается и течет послушный людской поток. А зрителей охватила новая тревога, и фрау Риттерсдорф первая высказала ее вслух.

— Но ведь это опасно, они такие грязные, еще занесут на пароход какую-нибудь заразу, — сказала она стоявшему рядом Баумгартнеру. — Может быть, нам следует пожало-

ваться капитану? В конце концов, мы же не собирались плавать на барже для перевозки скота.

На озабоченном лице Баумгартнера обозначились новые тревожные морщины.

— Боже мой, — сказал он, — меня тоже это беспокоит. Я как раз думал, от них прямо разит инфекцией. Нет, это неправильно. Нас должны были предупредить.

— Смотри, все идут и идут, — сказал жене профессор Гуттен. — А казначей мне говорил, что на нижней палубе можно более или менее сносно разместить только триста пятьдесят человек. Интересно, как же они там устроят такую уйму народа. Да еще с грудными младенцами. — Он неодобрительно пощелкал языком.

Фрау Гуттен вздохнула и покачала головой, в который раз признавая печальную истину: нет на свете лекарства от несчастий, нигде не найдешь мира и покоя. Ее уютные жирные тела поезились словно бы от намека на боль, но такие печальные мысли ей были не под силу.

— Пойдем, — сказала она. — Не будем за ними подглядывать. Вдруг кто-нибудь поднимет голову и увидит, что мы на них глазеем?

И с кротким, безучастным лицом она пошла прочь. Детка на длинном поводке последовал за нею, прогулка его немного подбодрила.

Уильям Дэнни благополучно отыскал в городе забега-ловку, проглотил там один за другим несколько коктейлей, с каждой минутой все больше впадая в мрачность, и теперь, облокотясь на перила, громко, сердито, чуть не со слезами выпалил в пространство:

— Бедняги, и за что им такое? С какой стати их вышвырнули вон, в конце-то концов? Газеты пишут, они вовсе не из этих паршивых красных.

По соседству стояла миссис Тредуэл, ей уже случалось раза два перекинуться несколькими словами с этим, на ее взгляд, препротивным молодым человеком; она прекрасно понимала, что его мысли и чувства ее совершенно не касаются, и однако невольный порыв — она столь же ясно понимала, что такие порывы ей вовсе не к лицу и ничего, кроме неприятностей, не приносят, — заставил ее заговорить.

— А почему непременно «паршивых», скажите на милость? — с непринужденной любезностью осведомилась

она. — И почему непременно «красных»? Что вы, в сущности, знаете о «красных» и какое вам до них дело?

Дэнни чуть повернул голову и уставился на нее, словно в первый раз видел.

— А вы что, красная? — спросил он.

По-прежнему опершись скрещенными руками на перила, он придвинулся ближе, слегка повернулся и сбоку оглядел ее, точно лошадь, которую собрался купить. Тяжелым взглядом, как ладонью, провел по ее ушам, по шее, груди, вниз по бедрам и при этом зло поджал губы; казалось, все, что он видит, ему сильно не нравится, но глаза его блуждают помимо его воли. Миссис Тредуэл пыталась перехватить его взгляд, но он не смотрел ей в лицо, все еще слишком по-девичьи миловидное, хотя молодость ее и миновала.

— А вы понимаете смысл этого слова? — холодно спросила она, отступая от Дэнни вдоль перил по мере того, как он к ней придвигался.

Сейчас она пожалела, что выпила в Гаване с Вильгельмом Фрейтагом три порции пунша; ведь, по правде сказать, она и сама не знала, что значит «красный», просто этот дурак Дэнни бесил ее, и она с радостью отхлестала бы его по щекам. Она в жизни не встречала ни одного «красного» и не думала когда-нибудь встретить.

— Я уж знаю, что бы я с ними сделал, будь я у власти, — упрямо и злобно сказал Дэнни, заглядывая в вырез блузки миссис Тредуэл.

И она сразу спохватилась. Вечная история — надо же, вздумала пререкаться с пьяным, совершенно чужим человеком, да притом *une espèce de type*¹, на тему, в которой оба они ничего не смыслят, и она, уж во всяком случае, вовсе не жаждет в этом разбираться. Она отвела глаза, повернулась на каблуках и пошла прочь, улыбаясь в пространство и стараясь не ускорять шаг.

Поздно вечером корабль, окутанный зловонной духотой порта и тучами moskitov, отошел от пристани. Появилось немало новых пассажиров первого класса, причем «старожилы», которые уже чувствовали себя почти хозяевами корабля, отнеслись к ним поначалу как к непрошеным гостям.

¹ Здесь: довольно сомнительным типом (франц.).

Допоздна шумели и разгуливали по палубе шестеро студентов с Кубы, по виду полукровки. Появилось несколько супружеских пар, а при них дети всех возрастов, и от всех, разумеется, не было покоя. После ужина студенты выстроились в ряд и пошли вышагивать мимо шезлонгов, где люди более степенные мечтали мирно отдохнуть, и по салонам, где пассажиры сидели за книгой или за картами; опять и опять обходили всю палубу мимо окон, за которыми люди пытались уснуть, и горланили песенку про Кукарачу, несчастную маленькую таракашку. Бедняжка таракашка больше не может бегать: во-первых, у нее не осталось марихуаны — нечего курить; во-вторых, нет на марихуану денег; в-третьих, у нее и ног-то нет, и, в-четвертых, ее никто не любит, — и студенты топали в ряд, положив друг другу руки на плечи, и снова и снова перечисляли таракашкины несчастья. Студенты были разного роста, но все одинаково крепкие, жилистые. И на всех мешковатые «оксфордские» штаны, пузырящиеся ниже колен, — одинакового покроя, но неправдоподобной расцветки и самых разнообразных узоров: в крупную и мелкую клетку, полосатые, зигзагами. На всех — теннисные туфли, рубашки с короткими рукавами и открытым воротом. Иногда эта пестрая шеренга начинала извиваться, как змея. Или они вдруг принимались размеренно, по очереди, подпрыгивать, так что шеренга колыхалась справа налево, взад и вперед, наподобие морской волны.

Вильгельм Фрейтаг некоторое время следил за этими выходками, решил, что от неугомонных студентов наверняка до конца плавания никакого житья не будет, и с недоумением спросил себя, неужели и он когда-то был таким же нелепым безмозглым щенком. Ему уже тридцать, он пять лет как женат, и жизнь становится делом очень нелегким, куда тяжелей, чем он рассчитывал; хотя на особую легкость рассчитывать, конечно, не приходилось. Но неужто и он когда-то был таким оболтусом? Да, был, он прекрасно это помнит; но он еще не достиг того возраста, когда воспоминания о дурачествах молодости настраивают на чувствительный лад — если приходилось вспоминать, его только передергивало. И сейчас тоже передернуло, и он слегка сгорбился, словно шагал навстречу снежному ветру.

Он собирался пойти спать, но на полдороге приостановился и заглянул в темный провал нижней палубы. Там, скорчившись, лежали люди — прямо на голых досках, только под головой узел с барахлом. Немногие мужчины спали в гамаках, немногие женщины со спящими младенцами на коленях откинулись в шезлонгах. А остальные спали вповалку, и все это напоминало груды выброшенного за ненадобностью старого тряпья. Фрейтаг стоял и смотрел на эту безмерную, непостижимую нищету, подобную медленному разъедающему неизлечимому недугу, — и ни в его сознании, ни в характере, ни в его прошлом не нашлось ничего, что помогло бы ему представить себе хоть какое-то лекарство от этого недуга. Он с детства жил благополучно, как все люди среднего достатка, — из этой среды выжили адвокаты и врачи, инженеры и учителя, все они очень уважали свои профессии, но самым естественным их занятием и неотъемлемым преимуществом было — делать деньги: возможно ли найти более подходящую карьеру для хорошо воспитанного и образованного молодого человека? Фрейтаг еще не был богат, но до самого последнего времени ему и в голову не приходило, будто что-либо может помешать ему разбогатеть. И, разумеется, он признателен родителям, они дали ему образование, но по справедливости — да, по справедливости надо сказать, богатством он будет обязан прежде всего самому себе; а если потерпит неудачу, то лишь из-за какой-то собственной слабости, о которой и сам не подозревал. В нем жило брезгливое отвращение к бедности, бессознательное презрение и недоверие к беднякам, которые кишат и плодятся в грязи, точно черви, и оскверняют самый воздух вокруг. А между тем, думал он с невольной жалостью, шагая дальше по палубе, они ведь необходимы, у них есть свое место в мире. Что бы мы делали без них? И вот их отсылают из страны, где они не нужны, в страну, где, уж конечно, их не ждет радушный прием; позади у них тяжелая работа и жизнь впроголодь, впереди — никакой работы и самый настоящий голод, позади страдания и впереди страдания — кто же может это вынести? Разве только животное, последняя жалкая скотина. Он стряхнул с себя это ненавистное чувство — жалость — и задумался о задаче, что стояла перед ним самим, и вдруг понял: дрожь, которая пробрала его при виде тех несчастных, рождена страхом за себя, ему

мерещатся ужасы, порожденные его тайными опасениями. Он, немец из хорошей, солидной семьи, воспитанный в лютеранской вере, истинный христианин, наперекор ожесточенным протестам обоих семейств, наперекор своему же трезвому суждению, наперекор всякому здравому смыслу и рассудку, женился на еврейке с красивым экзотическим именем — Мари Шампань. Ее прадеды были выходцами из... — откуда бишь там выходили евреи в средние века? — перестали именоваться Авраамами бен Иосифами, или как там еще их звали, назвали по имени нового края и осели в нем на несколько столетий. Иные перешли в католичество или женились на христианках, и еврейская община отвергла их, они снова изменили свои имена и стали доподлинными французами; а прямые предки Мари оказались неуступчивы — вновь начали скитаться, и через Эльзас, бог весть почему, их занесло в Германию. Чистейшее недомыслие, считал Фрейтаг. Но они сохранили выбранную прежде звучную французскую фамилию. И все они взяли себе за правило сохранять терпимость и широту взглядов и отнюдь не чуждались иноверцев, если те принадлежали к тому же кругу и сами не отворачивались от них. Но вот он и Мари полюбили друг друга, полюбили верно, крепко, — и будто разворошили осиное гнездо. Они терпеливо, упорно сражались за свою любовь и выиграли битву как с его, так и с ее родней, близкой и дальней; и в конце концов обвенчались в лютеранской церкви, под всхлипыванья, охи и ахи, раздававшиеся в одной тесной кучке по левую сторону от главного прохода... Родители Вильгельма не сумели скрыть облегчения, когда он заявил, что уедет в Мексику, их явно обрадовало, что этот запутанный узел так просто развязался. Мать Мари, вдова, вообще не признавала замужества дочери — разве что с точки зрения юридической; но она была женщина вполне от мира сего, жизнерадостная, не слишком набожная и умелая, сообразно обстоятельствам, не подчеркивать свою национальность: чего люди не знают, то мне не повредит, рассуждала она; кому какое дело, кто я есть, кроме меня самой? Замужество дочери пугало ее, она боялась скандала, беспощадного суда родных и друзей — и недаром боялась, бедная женщина. Под конец она переехала к дочери и зятю, решила разделить их судьбу, с ними жить и умереть — на редкость добрая душа, благодарно подумал

он. И вспомнил, как они все трое стали гордиться собой и друг другом, потому что сумели отбросить дурацкие пред-
рассудки и жить свободно, хорошо и открыто. «О госпо-
ди!» — чуть не в полный голос сказал Вильгельм Фрейтаг.
И хмуро улыбнулся. «Где ты, бог Израиля?» — прибавил он
и повернул в коридор, ведущий к его каюте.

В своей маленькой тесной каюте Дженни Браун и Эльза
Лутц в дружелюбном молчании расчесывали на ночь во-
лосы и готовились ко сну. Они прекрасно поладили друг с
другом, понемножку болтали обо всем, что происходит на
корабле, слегка сплетничали, безобидно обсуждали всех и
вся. Эльзу, несмотря на все предостережения матери,
быстро обезоружила спокойная приветливость и аккурат-
ность соседки, и она заворожено смотрела, как Дженни
перед сном занимается косметикой: умывается чем-то ду-
шистым, слой за слоем накладывает на лицо крем, похожий
на взбитые сливки. Уже в третий раз на палубе над самой
головой затопали и заорали студенты, этот шум и гам хлы-
нул в иллюминаторы, заглушая плеск волн и рокот машин-
ного отделения. И снова Эльза подняла голову и задумчиво
прислушалась.

— На пароходе теперь полно молодых людей, — ска-
зала она почти с надеждой.

— Да, — сказала Дженни. — И очень было бы приятно,
если бы они знали не только одну эту песню.

И тут обе вздрогнули: в коридоре, как раз за их дверью,
поднялся какой-то странный шум; они прислушались, недо-
уменно глядя друг на друга, — беготня, суматоха, словно бы
какая-то борьба, потом тяжелый, мягкий стук, точно о
стенку швырнули мешок с песком. Ожесточенно заспорили
по-испански два голоса, мужской и женский, — несомненно,
кто-нибудь из бродячих танцоров. Спорили из-за денег. Да,
яростно ругались из-за денег, кричали наперебой, причем
называли друг друга по имени — Конча и Маноло. Маноло
требовал, чтобы Конча сейчас же, сию минуту, без всяких
отговорок отдала ему семь кубинских песо — он знает, она
получила их сегодня вечером. Он своими глазами видел, как
тот тип расплатился с буфетчиком, а сдачу отдал ей. Конча,
злая, бесстрашная, дерзко отпиралась — ничего подоб-

ного не было! Следя за ходом спора, Дженни поняла: Конча ни минуты не сомневается в праве Маноло на деньги, если только они у нее есть. И она избрала словно бы легкий путь — уверять, будто никаких денег у нее нет. Но оказалось, это не так-то легко.

— Я сам видел! — бешено рявкнул Маноло. — Отдай, не то я вырву твой лживый язык!

— Хоть все кишки вырви! — завопила Конча. — Все равно денег не найдешь!

Опять оба закричали разом, голоса сшибались с треском, будто разбивалась посуда, потом раздалась громкая пощечина, и все смолкло. Короткая тишина — и Конча заплакала беспомощно, кротко, покорно, будто только того и ждала, а Маноло провоцировал так нежно, будто осыпал ее любовными ласками:

— Ну, отдашь мне деньги или хочешь, чтобы я...

Дженни смущенно взглянула на Эльзу — много ли та поняла в угрозах Маноло. Голоса удалялись, свернули в главный коридор, и стало тихо.

— Слыхали вы что-нибудь подобное? — изумленно сказала Эльза по-английски. Глаза у нее стали совсем круглые, крупный детский рот приоткрыт, ноздри раздулись. — Что же она за женщина? И как он с ней разговаривает — по-моему, совсем не как муж.

— Они ведь в одной каюте, — заметила Дженни.

— А вот вы с мужем в разных каютах, — возразила Эльза. — Разве тут поймешь?

— Мы не женаты, — сказала Дженни и принялась пилочкой подправлять ногти.

Эльза жадно ждала продолжения. Продолжения не последовало. Соседка приветливо улыбнулась ей, по-прежнему занимаясь ногтями.

— Ну, — разочарованно сказала Эльза, — я не понимаю, как женщина позволяет так с собой обращаться. Наверно, она уж совсем неотесанная. Ни одна женщина не должна мириться с такой грубостью.

— Это входит в ее ремесло, — сказала Дженни и зевнула. — Может быть, уже погасим свет?

— Ее ремесло?

Эльза явно была поражена, смущена, даже обижена. И Дженни стало неловко.

— Глупости я говорю, — сказала она. — Не обращайтесь внимания. Наверно, они муж и жена и просто ссорятся из-за денег. Это, знаете, часто бывает.

— О да, это я знаю, — сказала Эльза.

В темноте, когда Дженни уже начала дремать, Эльза, лежа на своем диване под иллюминатором, поведала о том, что лежало у нее на душе:

— Мой отец всегда мне говорит: верь в любовь, люби сама — и тогда будешь счастлива, а мама говорит, это все выдумки. Хотела бы я знать... я люблю маму, но, мне кажется, отец лучше знает.

— Очень возможно, — подтвердила Дженни сквозь сон. — Спокойной ночи.

— Спокойной ночи, — сказала Эльза. — Мой отец — человек жизнерадостный, он любит повеселиться. А мама совсем не умеет смеяться. Она говорит, смеются только дураки, в этой жизни смеяться нечему... Помню, один раз, когда я была маленькая... я вообще много всего помню, а в тот раз мы с папой и мамой были в гостях... в Швейцарии, когда живут за городом, всегда детей берут в гости, даже совсем маленьких... и мама не хотела танцевать первый танец с отцом, ну, и конечно, он не мог танцевать с кем-нибудь еще. И тогда он ей сказал: «Ладно, как хочешь, тогда я найду себе даму получше тебя» — и взял метлу и с ней танцевал, и всем, кроме мамы, это показалось очень забавно. А она потом весь вечер с ним не разговаривала. И папа выпил слишком много пива и стал очень веселый, а по дороге домой вдруг говорит маме: «Ну, теперь ты потанцуешь» — и взял ее за талию и закружил, закружил, под конец у нее даже ноги оторвались от земли и она заплакала. И я никак не могла ее понять. Ничего плохого в этом не было, было очень забавно. А мама плакала, и тогда я тоже заплакала. И тогда папа, бедный, совсем притих, шел с нами и молчал, и теперь я думаю — ему тоже хотелось плакать. Мама никогда не смеялась ни одной папиной шутке, а он все время старается шутить. Иногда его шутки просто ужасны, вы не думайте, я понимаю. Ох, — Эльза заговорила медленней, в ее голосе звучало горестное недоумение, — боюсь, я пошла в маму, я не умею быть веселой и забавлять людей, мне стыдно было бы привлекать к себе внимание, но иногда так трудно сидеть и молчать. И я думаю — может быть, я какая-

то не такая, вот молодые люди меня и не приглашают танцевать.

— Тут на пароходе и нет таких, с кем бы вам захотелось потанцевать, — заметила Дженни. — У себя дома вы бы на них и не поглядели.

— Но я не дома, — возразила Эльза, — за столько лет ни разу дома не была, а в Мехико... там были мальчики, с которыми мне позволяли водить знакомство, но я не в их вкусе. Мама говорит совсем как вы: «Не огорчайся, Эльза, в Швейцарии ты всем понравишься, ты настоящая швейцарка, там как раз такие девушки и нравятся, приедем домой, и все будет хорошо». Она думает, любовь — ерунда, но она хочет, чтобы я вышла замуж. Она говорит, все женщины должны выходить замуж. Но я пока не в Швейцарии, и я почти не помню ее, хотя один раз мама со мной туда ездила, мне тогда было девять лет. И мне там показалось так странно! По-немецки я там буду говорить как иностранка, ведь в Мексике я привыкла говорить по-французски, и по-английски, и по-испански. В Мексике я никогда не чувствовала себя дома, а теперь и в Швейцарии, наверно, не буду как дома. Ох, мне так не хочется в Швейцарию...

Тихие однообразные жалобы длились за полночь, точно затяжной дождь, и Дженни, тронутая, внимательно слушала. Она умела расслышать чужую боль.

— Мама всегда говорила, это несправедливо, Эльзу надо вовремя увезти на родину, чтобы она могла выйти замуж за швейцарца, а здесь швейцарской девушке не место. Хоть бы она была права, хоть бы мне в Швейцарии людям понравиться.

— Конечно, понравится, им будет интересно познакомиться с девушкой из такой далекой страны, — сказала Дженни.

В ней всколыхнулась тревожная нежность, словно ее просили о помощи, а она не в силах помочь. На что надеяться этой унылой девице? Двойной подбородок, на шее жирная складка, точно зоб, лоснящаяся кожа, в блеклых серых глазах — ни искорки живой, густые волосы тусклы, тяжеловесные бедра, толстые щиколотки. Хорошо очерчены нос и рот, неплохой лоб — и только; ни блеска, ни легкости в этой горе не слишком привлекательной плоти. А внутри слепо копошатся девичья наивность и тоска, ограниченный,

болезненно смятенный ум, темная путаница инстинктов.

— Мне кажется, на этот раз ваша мама права, — сказала Дженни. — Вот что я вам скажу: если девушка хочет выйти замуж, так рано или поздно наверняка выйдет, сколько живу на свете, не видала, чтоб было по-другому.

— А я видала, — с горечью, самолюбиво и честно Эльза отвергла полуправду и жалость. — Я видала. Иногда я думаю, если бы мне по-другому одеваться... или сделать перманент. Хоть что-нибудь. Но мама говорит, девушка должна быть во всех отношениях совершенно чистой и естественной. Даже завиваться нельзя. Душиться и то нельзя, пока ты не замужем... А вдруг я никогда не выйду замуж?

— Чтобы выйти замуж, как полагается, вы сначала сами должны влюбиться. Неужели вы никогда не были влюблены?

— Конечно, нет! — испуганно сказала Эльза. — Ни разу. Но мама говорит, я должна подождать, чтобы кто-то первым мною заинтересовался.

— Заинтересовался! — На минуту Дженни почти совсем проснулась. — Послушайте, — сказала она как могла твердо и рассудительно, чувствуя, что больше не в силах бороться со сном, — я ужасно устала, и вы, наверно, тоже. Совершенно неважно, кто в кого влюбится первым, но прежде всего надо влюбиться, а уж тогда все само собой придет к свадьбе.

— А если я никогда ни в кого не влюблюсь, тогда как же? — терпеливо гнула свое Эльза.

— Ну, тогда надо изо всех сил надеяться, что кто-нибудь влюбится в вас, — сказала Дженни, ей казалось, что ее кружит какая-то медлительная, безостановочная карусель. — Неужели вы не понимаете, Эльза? Ведь это так просто!

— А вдруг в меня никто не влюбится, тогда что?

— Ничего, надо полагать, — призналась Дженни, чувствуя, что ее наконец загнали в угол.

— Вот именно, — с горьким удовлетворением отозвалась Эльза и смолкла.

В ОТКРЫТОМ МОРЕ

«Ни дома, ни отчизны.»
(Песня Брамса)



Часть II

Дети Лолы, близнецы Рик и Рэк, поднялись спозаранку, пока Лола и Тито еще спали, и тихонько оделись. Пуговицы застегнуты вкривь и вкось, волосы взлохмачены, черные глаза смотрят настороженно, и от этого в резких чертах землисто-бледных лиц есть что-то жесткое, недетски искусственное; они вечно проказничали наяву и затевали всякие проказы во сне. Они тоже участвовали в представлениях труппы — пели и плясали, наряженные тореадором и Кармен, а потом в уборной, взвинченные, издерганные, ругались и дрались, поспорив, кому больше хлопали зрители. В остальном они всегда были единокорны и дружно вели яростную, необъявленную войну с миром взрослых — вернее, со всем миром, потому что они враждовали еще и с другими детьми, и со зверями тоже.

При крещении их называли Армандо и Долорес, но они переименовали себя Рик и Рэк в честь героев любимого комикса, который печатала одна мексиканская газета, двух хулиганистых жесткошерстных терьеров, и жадно, завистливо изо дня в день следили за похождениями своих любимцев. Эти терьеры — в глазах своих поклонников, разумеется, не просто собаки, а сущие дьяволы, какими они и сами мечтали заделаться, — неизменно оставляли в дураках самых умных людей, отравляли существование всем вокруг, всегда и при всех обстоятельствах с помощью какой-нибудь коварной уловки ухитрялись добиться своего и выйти сухими из воды. Короче говоря, именно такими идолами дети во все времена восхищались и мечтали стать такими. Близнецы так и считали, что они сами — Рик и Рэк, и черпали в этом некую тайную силу.

Под первыми солнечными лучами чуть курились паром еще влажные палубы, и по ним изредка неторопливо проходили матросы. Рик и Рэк заглянули в одну из гостиных, и здесь молча, словно по заранее обдуманному плану, Рик вытащил пробку из бутылки с чернилами и положил бутылку на бок. Минуту-другую они следили, как чернила льются на чистый бювар и стекают на ковер, потом так же молча вышли на палубу с противоположной стороны; тут Рэк увидела на шезлонге фрау Риттерсдорф забытую хозяйкой пуховую подушечку, схватила ее и, ни слова не говоря, кинула за борт. Оба серьезно смотрели, как подушка подпрыгивает на волнах, и удивлялись, отчего она так долго не тонет. Но

вдруг за спиной у них появился матрос, и они дали стрекача с таким вороватым видом, что матрос нахмурился и пытливо осмотрелся, стараясь понять, что они натворили; ничего не заметил, покачал головой и пошел по своим делам, а улыка осталась далеко позади и медленно погружалась в воду.

Рик и Рэк перевесились через перила на корме и завороченно уставились на нижнюю палубу. Сотни людей, мужчины и женщины, валялись там на досках, мучаясь морской болезнью, и матросы окатывали их из шланга. Люди лежали прямо в воде и лишь изредка поднимали голову или пытались отползти поближе к борту. Один человек сел, просительно протянул руку к ближайшему матросу, тот привернул шланг, тонкой струйкой обмыл лицо и голову сидящего, снова пустил воду сильной струей и, смывая грязь с одежды, окатил его самого.

Еще один человек лежал ничком и стонал, и как-то булькал, захлебываясь, словно утопающий. Два матроса подхватили его, отнесли к нижней ступеньке трапа, ведущего в темную глубину трюма, и там усадили. Он тотчас повалился на бок.

— Сейчас мы его подыдем, — сказал Рик, снял тяжелую, чересчур свободную коричневую сандалию и запустил вниз. Он промахнулся, сандалия угодила в молодую женщину с младенцем на руках, которая сидела неподалеку. Юбки женщины намокли, босые ноги почернели от грязной воды. Она подняла глаза, погрозила кулаком и разразилась великолепной бранью — почти все ругательства были знакомы близнецам, но она прибавила и несколько слов, которых они прежде не слышали, хотя поняли смысл. Впервые за это утро они обменялись улыбкой, радуясь открытию, и продолжали жадно слушать, не спуская глаз с перепачканного лица женщины, искаженного ненавистью и бессильной яростью.

Какой-то матрос на нижней палубе подобрал сандалию и кинул обратно, да так метко, что она ударила Рика в грудь, и тут же кто-то сзади крепко схватил каждого из близнецов за плечо, и властный голос спросил сурово:

— Вы что тут делаете?

Их стащили с перил и поставили на пол так внезапно, что ноги у них подкосились от толчка, но они упорно уво-

дили глаза от холодного взгляда молодого помощника капитана; тот встряхнул обоих, как щенят.

— Только попробуйте еще раз учинить такое — вас до конца плавания посадят под замок. Зарубите себе на носу!

Он легонько подтолкнул близнецов, и оба, дерзко усмехаясь, побежали прочь.

Они едва не налетели на умирающего, которого, как маленького ребенка, возил в кресле на колесах высокий юноша с очень сердитым лицом.

— Прочь с дороги! — зло крикнул он им по-испански, и оба, показав ему язык, проскочили мимо.

Умирающий сидел, обложенный подушками, и кашлял, он кашлял дни и ночи напролет, тощая бороденка его тряслась, белки глаз были совсем желтые.

— Пстой-ка, — сказал он юноше, и они остановились.

Бессильно вытягивая шею, умирающий старался разглядеть людей на нижней палубе, и при виде этой необъятной беды лицо его болезненно кривилось от жалости. К этому времени кое-кто из бедняков внизу поднялся на ноги; они кучками жались к стенам и к поручням, а матросы все еще струями из шлангов смывали в море грязь и рвоту. А потом несчастные в мокрой одежде опять укладывались вповалку прямо на палубу или на промокшие шезлонги, и в убийственной жаре от них поднимался странный, удушливый запах зверинца и гниющих овощей.

Старик Графф сказал негромко, словно про себя:

— Только об одном могу я думать — что же должна выстрадать грешная плоть, прежде чем ей позволено будет умереть. Дорогой ценой все мы должны купить благословенную смерть, Иоганн.

Губы Иоганна передернулись гримасой ярости и отвращения. Он ничего не ответил. Умирающий простер руку над нижней палубой, словно благословляя.

— Исцели их, господи, дай им здоровья, и добродетели, и радости... Если бы только я мог их коснуться. Иоганн, — прибавил он слабым голосом, обращаясь к юноше, своему племяннику, — помоги мне спуститься к ним, чтобы я мог коснуться хоть немногих больных, им надо принести облегчение, нехорошо оставлять их страдать...

Угрюмо надутые губы Иоганна досадливо скривились, он срыву толкнул кресло.

— Вы же знаете, что вас туда не пустят. И чего зря чепуху городить?

В молчании они двинулись дальше, слабо поскрипывало кресло.

— Я тебя прощаю, племянник мой Иоганн, прощаю твое жестокое сердце и недобрую волю. Ты не можешь причинить мне зла, а вот я мог бы тебе помочь, если бы ты не противился.

— Вы мне поможете, если помрете и освободите меня, — тихим дрожащим голосом сказал Иоганн и резко повернул кресло. — Умрите наконец, а я поеду домой!

Дядя несколько минут обдумывал его слова, потом сказал рассудительно, как будто разговор у них был самый обыденный:

— Я обещал оставить тебе свои деньги, Иоганн, если ты отвезешь меня в Германию, чтобы я в последний раз увидел родные края. Разве не стоит об этом поразмыслить?

— Когда же? — устало спросил Иоганн. — Когда?

Кресло дрогнуло под его руками, колеса задребезжали.

— Наверно, ждать уже недолго, Иоганн, таков естественный ход вещей. Не думаешь же ты, что я могу точно сказать день и час? Но я с самого начала тебе говорил, что если ты отвезешь...

— Хватит, — прервал Иоганн, — я сто раз все это слышал.

— И твоя матушка, моя несчастная сестра, была рада, что тебе выпал такой случай. И я повторю свое обещание, я все завещаю тебе, хотя ты этого и не стоишь, ты этого не заслуживаешь, ведь в наш уговор входили милосердие и доброта. Но, уж не говоря обо всем этом, ты теперь сможешь довершить свое образование в Германии; возможно, тебе вовсе не надо будет возвращаться в Мексику; я на это надеюсь.

— Я поеду, куда захочу, — отрезал Иоганн. — А мою мамашу очень мало трогает, что со мной будет. Ей нужны только ваши деньги.

— Может быть, ты и прав, дорогой мой племянник, — сказал Графф, поперхнулся и закашлялся. — Но деньги ведь пойдут тебе, а не ей. — Он достал из-под легкого пледа, которым был укрыт, бумажный пакетик и сплюнул в него. — Я вижу, ты поистине сын моей сестры. В нашей семье

она одна была такая. Всегда, с малых лет — черствая душа, каменное сердце.

— Мне пора идти за вашим завтраком, — сказал Иоганн. Голос его вдруг сорвался, казалось, он сейчас заплачет. — Почему мне нельзя ходить в кают-компанию, как ходят все? Мне тошно есть с вами в этой мерзкой каюте. Почему вы не посидите на палубе один и не дадите мне хоть час передышки? Вы чудовищный эгоист, дядя, прямо вам говорю. Вот.

Вилибальд Графф закрыл лицо руками.

— О боже! — простонал он. — Что ж, иди, иди, оставь меня. Да, оставь меня одного. Господь позаботится обо мне. Он не допустит, чтобы я пострадал от твоей жестокости. Можешь отлучиться на сколько угодно. Но помни, я составил завещание в твою пользу. Все достанется тебе. Можешь не сомневаться. Остальное — дело твое и твоей совести.

Иоганн шумно вздохнул и стремительно покатил кресло. Ну и голоден же он, просто как волк, сейчас он усядется в светлой, приветливой кают-компании, среди оживленной молодежи и, может быть, заведет разговор с какой-нибудь хорошенькой девушкой. Хоть на час убраться подальше от смерти, от этих запахов, и молитв, и клокотанья мокроты в глотке, от большой старости, которая гнетет тебя и душит, скулит, и жалуется, и не отпускает...

— Вам будет хорошо, — сказал он, — я все удобно устрою, и вы немного почитаете.

Он был тверд и полон решимости. Нет, ни за какие деньги он ни дня больше не выдержит без роздыха, ему нужна хоть малая толика свободы, хотя бы пройтись круг-другой по палубе одному, не то он окончательно потеряет самообладание и что-нибудь расколотит вдребезги. Нет, хватит, ни за какие деньги. С необычной бережностью он спустил кресло по трапу, ловко вкатил в каюту, открыл иллюминатор и, чувствуя на себе полуобморочный, полный безмолвной укоризны взгляд дяди, выскочил за дверь. Через десяток шагов он начал превесело насвистывать грустную песенку: «Das gibt's nur einmal, das kommt's nicht wieder»¹ — словно сердце его уже не вмещало радости.

¹ «Это раз в жизни дается, это назад не вернется» (нем.).

Дэвид Скотт спал на узкой койке у стены, и Дэнни, взбываясь наверх, на свое место, разбудил его. Дэвид на миг открыл глаза и тотчас притворился спящим. Дэнни как будто малый неплохой, но страшно надоедает. Он, кажется, только и способен без конца пережевывать одни и те же мысли: о женщинах (вернее, о сексе), о деньгах (вернее, о том, что он никому не даст себя обжудить) и о собственном здоровье.

По утрам он поднимается рано и пьет какое-то шипучее слабительное, и после каждого глотка морщится от омерзения. Потом, пока бреется, между делом успевает сжевать палочку дрожжей. Ополоснет лицо холодной водой и с тревогой смотрит в зеркало — не красны ли белки глаз. На шее и на щеке у него гнойные прыщики, точно у мальчишки-подростка. Путем сложных окольных переговоров через немецких приятелей отца ему удалось поступить в крупную химическую фирму в Берлине, и он опять и опять туманно намекает на предстоящую ему карьеру инженера-химика. Но Дэвид обнаружил полнейшее невежество в этой области и совершенное к ней равнодушие; Дэнни же, когда Дэвид назвал себя живописцем, решил, что тот красит стены или малюет вывески, а потому говорить им не о чем, разве что можно считать темой для разговора три уже упомянутых предмета, которыми неизменно заняты мысли Дэнни.

Глокен не из болтливых, но после нескольких дней отдыха уже не кажется больным, держится добродушно, порой даже весело, и прекрасно освоился с молодыми соседями по каюте, а они вполне дружелюбны и словно не замечают, что спина у него не такая прямая, как у них. Иногда все трое разговаривают по-немецки, немного сплетничают о том, что делается на корабле, и молодые спутники ни разу не дали Глокену почувствовать, что их житейский опыт не таков, как у него. Глокену спокойно и хорошо. Он крепко спит по ночам, а утром не отдергивает занавеску, пока совсем не оденется, по возможности прикрывает свое уродство, чтобы меньше резало людям глаза.

Сейчас за занавеской не замечалось ни малейшего движения. И Дэвид не пошевелился, но внутри у него все кипело: Дэнни разделся догола, налил воды в умывальник и начал обтираться. «А потом я должен тут мыть лицо!» — по-

думал Дэвид; с ужасом и отвращением он смотрел на чужое смуглое тело, поросшее редким курчавым волосом — волосы оставались на мыльной губке, прилипали вместе с пеной к краям раковины. Если он еще раз такое устроит, я его выпихну в иллюминатор, негодовал про себя Дэвид. Но вслух ничего не сказал и понял, что никогда, наверно, и не скажет. Дождется, пока этот тип выйдет из каюты, и протрет умывальник чем-нибудь дезинфицирующим. Возмущенный, еле сдерживаясь, он сел на постели и ногами нащупал свои соломенные сандалии.

— Привет, — негромко сказал Дэнни. — Сейчас кончу, черт возьми. Тут как в тисках, не повернешься.

— Не спешите, я попробую попасть в душ, — ответил Дэвид.

Сам-то он всюду как в тисках — всюду, где надо обустраиваться на глазах у чужого человека или разговаривать с кем бы то ни было, кроме, пожалуй, Дженни, — пока не выпьет утренний стакан кофе.

Меж длинными занавесками появилась голова Глокена, тонкие спутанные волосы его стояли дыбом. Длинное лицо с тяжелым «габсбургским» подбородком — в сплошной сетке морщин.

— Доброе утро, — прохрипел он, впрочем, довольно бодро. — Будьте так добры, вы не дадите мне вон тот пузырек? — (Пузырек стоял возле Глокенова стакана.) — И немножко воды, если можно.

Дэвид подал ему воду и пузырек с лекарством, заметил на пузырьке надпись: «Каждые три часа или по мере надобности» — и подумал, что Глокена, быть может, никогда не отпускает боль. Глокен потянулся за лекарством, нечаянно больше, чем надо, распахнул занавески — и Дэвид с несказанным изумлением увидел на нем ярко-красную шелковую пижаму. Слишком яркие краски всегда казались Дэвиду оскорбительными — и не только для глаз: он не доверял нравственным качествам любителей всего яркого и пестрого, и особенно в одежде. Сам он носил черные вязаные галстуки (покупал сразу полдюжину у уличных торговцев), бумажные черные носки, костюмы всегда серые — темные, светлые, в крапинку, голубовато-серые, а летом — целомудренно белые полотняные или парусиновые. Излюбленная его палитра всегда была — серые, коричневые, охристые

тона, темно-синий и в избытке — белый; а его излюбленная, хотя и не оригинальная теория гласила, что люди, которые «выставляют себя напоказ», одеваясь в яркие цвета, просто пытаются возместить внутреннюю свою бесцветность, вот и расцветивают фасад, а фасадом никого не обманешь.

Он и сам понимал, что все это в немалой мере обращено против Дженни: поначалу, когда он в нее влюбился, она была точно попугай ара — с наслаждением облачалась в густые «холодные» цвета, а на небольших полотнах щедро разбрасывала квадраты, круги, треугольники всех цветов спектра, словно осколки радуги. И, кажется, относилась к этому вполне серьезно. Мало-помалу ему удалось подорвать ее пристрастие к этой нелепой манере письма. Палитра ее стала мягче; постепенно она и одеваться начала в приглушенные тона либо в белое и черное, лишь изредка появится какой-нибудь алый или оранжевый шарф; и она теперь почти не пишет красками, больше работает углем или индийской тушью.

В глубине души он надеялся, что она вообще оставит живопись — свет еще не видал подлинно великой художницы. Из женщины может выйти недурная ученица крупного мастера, но не более того; как-то тревожно видеть женщину, которая занимается совершенно не своим делом; и он ни минуты не верил, что Дженни талантлива. В лучшем случае из нее вышел бы недурной иллюстратор, но такую работу она презирает. И однако есть что-то в Дженни, в самом ее существовании, что мешает работать ему, Дэвиду: когда она работает, ему не пишется; и точно так же, чем она нежней и ласковей, тем он становится холодней и отчужденней, невольно отстраняется и не приемлет ее любви.

Дженни точно кошка — обожает лгнуть и ластиться, ей нужны нежные прикосновения, ее чувственность настолько разлита во всем теле, что граничит с холодностью, она отнюдь не жаждет заниматься любовью так, как предпочитает он: внезапно, бурно, мрачно — налетело и схлынуло, и покончено с этим. А Дженни любит пить с ним из одного стакана, откусывать поочередно от одного и того же персика или груши; прежде она любила говорить ему о своей любви, но постепенно от этого отучается; а меж тем она никогда не была с ним по-настоящему счастлива, и, когда они

спят вместе, они непременно ссорятся. Охваченный отвращением при виде красной пижамы Глокена, Дэвид на миг ощутил дикую ненависть к Дженни — такие приступы с ним случались нередко, и чем дальше, тем чаще. А Глокен... на палубе, при свете дня, видно, что, хоть он и носит дурацкие яркие галстуки, одежда на нем тусклая и убогая, а башмаки дырявые. Почти все его избегают. Он отпугивает людей своим видом: слишком явно, слишком безысходно его несчастье, так и чудится — подойди поближе и сам его подхватишь, точно заразную болезнь. По ночам, в темноте, за этой занавеской, облаченный в красную шелковую пижаму, какие он видит сны о своей судьбе?

Дэнни с задумчивым видом натягивал брюки.

— Послушайте, — вдруг сказал он Дэвиду, — заметили вы ту девочку в юбке с красными оборками, Пастора ее зовут? Похоже, штучка с огоньком. И она давно строит мне глазки. Сколько это может стоить, по-вашему?

— Да, наверно, смотря по карману покупателя, — сказал Дэвид.

— Ну, в моем-то кармане сейчас не густо. Но я все-таки попробую разведать, как и что. Нам же почти месяц торчать тут, на пароходе. Это ж вечность. Шутка ли, столько времени поститься.

— Лучше поостыньте и потерпите до Берлина, там государство их проверяет, а то как бы вам еще до Бремерхафена не пришлось идти к доктору Шуману.

— Понимаю. — Дэнни слегка побледнел. — Я уж об этом думал. Но есть же средства... в общем, наверно, я сумею побережуся...

— Средства иногда помогают, а иногда и нет, — заметил Дэвид. — Что бы там ни говорили, а надежных способов еще не придумано.

— А, черт! — вырвалось у Дэнни поистине криком души. Он выпрямился, оглядел себя в зеркале, последний раз провел щеткой по волосам. — А с виду она что надо, здоровая и вообще.

— Внешность бывает обманчива, — съехидничал Дэвид.

— Что ж, — сказал Дэнни. — До этого еще далеко. Мне никак не удастся поймать ее одну. Они все время держатся стадом, так что и словечком не перекинешься с глазу на глаз.

Детка идет на поправку, решила фрау Гуттен. За завтраком она припасла для него еды, потом посоветовалась с мужем, накормила бульдога, и он поел с большим аппетитом. Фрау Гуттен с удовольствием на это смотрела.

— Милый Детка, — вздохнула она, — он такой чуткий, такой тонкий, а есть вынужден, уткнувшись носом в землю, как самое обыкновенное животное, — это так обидно. Он достоин лучшей участи.

— Его это ничуть не огорчает, дорогая моя Кетэ, — сказал муж. — В такой позе ему гораздо удобнее, таково строение его скелета. Было бы неестественно и неправильно для него есть сидя. Мне приходилось видеть, как дети пытались приучить своих любимцев есть за столом, они просто не понимали, что это жестоко, тратили столько труда напрасну и только мучили животных. Нет, я думаю, нашему славному Детке живется совсем неплохо и он не лишен ничего такого, что ему положено.

Фрау Гуттен, как всегда успокоенная и утешенная словами мужа, взяла Детку на поводок, и все трое пошли прогуляться. Семь кругов по палубе, рассчитал профессор Гуттен, как раз составляют моцион, необходимый для здоровья. Но бульдог, который сначала двигался довольно бойко, на третьем круге уже еле плелся, а на четвертом остановился, застигнутый очередным приступом морской болезни, и его тут же позорнейшим образом стошнило. Профессор опустился на колени и поддерживал ему голову, а фрау Гуттен пошла позвать матроса с ведром воды.

Отойдя на несколько шагов, она услышала хриплый, дружный взрыв хохота, в котором не было ни малейшей веселости, и даже вздрогнула, узнав по голосам испанских танцоров. Водилась за ними такая привычка: сидят всей компанией и вдруг, ни с того ни с сего, разражаются этим ужасным хохотом, а лица у всех мрачные, и это значит — они над кем-то насмеваются. Смотрят на тебя в упор и смеются так, будто ты самое нелепое существо на свете, а глаза у всех как лед, и ни в чем они не находят радости, даже в насмешках над тобой. Фрау Гуттен с самого начала все это заметила и побаивалась их.

Она, и не глядя, чувствовала, что испанцы смотрят на ее мужа и на злополучного Детку, — и не ошиблась. Всей оравой они двинулись навстречу, пронесли мимо двоих не-

счастливых, а ее на ходу смирли с головы до ног недружелюбными взглядами. Они скалили зубы и смеялись этим своим зловещим, невеселым смехом. И она остро ощутила, что толста и стара и ноги у нее как бревна; беглый, злой и насмешливый взгляд гибких молодых испанок яснее слов сказал, что и ее вид, и все существо заслуживают только презрения.

Она отыскала матроса, рослого славного парня с добрым честным лицом, морскую болезнь такому видеть не в новинку. Он принес воды, прибрал за Деткой и ушел. Гуттены уложили бульдога возле своих шезлонгов, подсунули ему под голову купальные полотенца и сели в каменном молчании, чувствуя себя посмешищем для этих мерзких людишек, которым совершенно напрасно позволили плыть первым классом. Фрау Гуттен не сомневалась, что внизу есть немало хороших людей, гораздо более достойных места на верхней палубе.

В Мексике Гуттены за долгие годы привыкли чувствовать себя легко и непринужденно среди солидных, образованных немцев, которые жили в достатке и к которым мексиканцы того же круга относились с величайшим уважением. Никто и не думал насмехаться над их полнотой и над их привычками. А вот с этими *gachupines*, испанцами худшего разбора, мексиканцы умели обращаться, как те того заслуживают! Гуттенам запомнилось ходячее мексиканское выражение, его постоянно повторяли немцы — жители Мехико: мексиканцы терпеть не могут американцев, презирают евреев, ненавидят испанцев, не доверяют англичанам, восхищаются французами и любят немцев. Некий умнейший мексиканец хорошего происхождения однажды на званом обеде сочинил эту поговорку, и она мгновенно привилась в их тесном кругу. Вот такое помогает примириться с жизнью в чужой стране с разношерстным населением и, в общем-то, довольно варварскими обычаями.

Профессор Гуттен долгие годы стоял во главе лучшей немецкой школы Мехико, ее маленькие ученики носили круглые форменные шапочки и ранцы за плечами, маленькие ученицы ходили в скромных неярких платьях и черных передничках, а белокурые волосы аккуратно заплетали в косы. Порой, стоя у окна своего класса, в большом, солидном доме франко-мексиканского стиля (немецкая колония

купила его и перестроила на благоприличный немецкий лад), профессор Гуттен смотрел, как степенными, но бойкими стайками расхаживают эти дети, и так безукоризненно чисты их лица и скромная одежда, так безупречны манеры и кроток облик этих юных немцев, так безупречно правильно говорят они на родном языке... минутами профессору даже чудилось, что он в Германии. О, если бы весь мир мог существовать так чинно, упорядоченно, опираясь на правила строгой добродетели! Не часто осеняла его эта надежда, но она помогала ему ощутить себя участником великого движения человечества к совершенству, без сомнения, она-то, как он однажды признался жене, и помогала ему жить. Но у Гуттенов свое тайное горе, своя беда. У них нет детей и никогда не будет.

Уже девять лет живет с ними белый бульдог Детка, он — член семьи. Ест, сидя на полу возле их стола, берет пищу у них из рук. С первого дня, беспомощным крохотным щенком, лишенный материнского молока и пугающийся темноты, он спал у них в ногах. В глубине души профессор Гуттен признавался, что очень привязан к Детке, в сущности, он, как и его жена, любил собаку горячее, нежной и верной любовью, несмотря на все хлопоты, которые доставлял им Детка. Супруги не видели в этой любви ничего смешного: Детка так благороден, так бескорыстен, он вполне заслуживает их забот и платит им глубокой преданностью. Профессор видел по лицу жены, как больно ранили ее хохот и насмешки на редкость грубых, худшего разбора испанцев — их попутчиков. Он разделял ее чувства, но к огорчению у него примешивались и досада, и, надо признаться, доля стыда. Он вовсе не считал для себя унижительным поддерживать голову Детки, однако следовало позаботиться о приличиях и не выставлять себя на посмешище перед этими неотесанными грубиянами. В утешение он напомнил себе, что Детка — английский бульдог отличных кровей, с великолепной, если и не совсем безупречной родословной; на весьма представительных выставках он получил несметное множество наград. Теперь он уже несколько состарился и давно не тренирован, но еще полон сил и готовности защищать хозяина и хозяйку, а в случае чего и себя от любого нападения. Довольно слово сказать — и он ринется на любого из этих мерзких черномазых насмешников, вцепится ему в

глотку и не выпустит, пока не прикажет хозяин. Профессор Гуттен наклонился над спящим бульдогом и негромко, настойчиво произнес:

— Куси его, Детка! Куси!

Детка поднялся на ноги, его шатало, как пьяного, он силится обрести равновесие, вращал глазами. Глухо, зловеще зарычал, покачнулся, ткнулся курносой мордой в палубу и распластался на ней.

— Что ты делаешь? — изумилась фрау Гуттен. — Ему надо дать покой, не то его опять стошнит.

— Мне хотелось проверить его выучку, — сказал профессор, явно довольный. — Он прекрасно все помнит. Да, Кетэ, хорошая кровь и выучка — вот на чем складывается и чем поддерживается характер. Пример — наш добрый пес: он никогда нас не подведет.

— Теперь, когда мы возвращаемся на родину, он так напоминает мне прошлое, нашу прежнюю жизнь, — сказала фрау Гуттен.

Она с нежностью смотрела на бульдога, и однако в мыслях ее царило смятение, тревожно было и оглядываться назад, и заглядывать вперед, словно прошлое никак не связано с будущим. Она почти боялась надеяться: ведь на родине, должно быть, все стало по-другому, и к таким переменам она едва ли готова. Она поделилась своими опасениями с мужем.

— В нашем отечестве и люди, и порядки, и обычаи меняются очень медленно, — мягко успокоил профессор. — Мы будем жить среди наших сверстников, они думают и чувствуют так же, как и мы; они были друзьями нашего детства и юности, не могли они стать нам чужими... по крайней мере надо на это надеяться, — храбро прибавил он.

Фрау Гуттен промолчала, ей вспомнилось, как вся немецкая колония в Мехико смотрела кинохронику — похороны императрицы Августы-Виктории. Когда на экране появился величественный катафалк, окруженный конными гвардейцами в касках, все молча встали. Они плакали, точно братья и сестры, что собрались у могилы матери, они поворачивались друг к другу и обнимали того, кто оказался рядом. Они всхлипывали, плакали, рыдали, вскоре весь зал переполнили горестные, но и утешительные звуки — голос скорби и тоски по родине. Все еще со слезами на глазах они

пели «Могучий оплот», и «О Tannenbaum»¹, и «Стражу на Рейне». Казалось, в эти минуты они так близки к дому — но больше никогда уже не будут так близки, слишком велика утрата: они потеряли добрую, кроткую, многострадальную императрицу, а ведь она была воплощением всего, что они читали в семье и домашнем очаге, средоточием их самых дорогих воспоминаний.

Как-то нам теперь будет дома, хотелось ей спросить, но она знала: мужу нечего ответить, он только и скажет, что надо надеяться на лучшее, так зачем его тревожить.

И профессор Гуттен тоже погрузился в раздумье: как усердно трудился он все эти годы в безрассудной надежде, что дождется дня, когда можно будет с почетом и с кое-какими сбережениями выйти на пенсию и милосердный господь позволит ему снова увидеть дом в Тодмоосе, в Шварцвальде, где он родился; и вот день этот настал, а меж тем его одолевают дурные предчувствия. Как-то оно будет? Сидя в шезлонге, он подался вперед, закрыл лицо руками, и тотчас желудок свело судорогой и порыв утешительного благочестия развеялся перед ужасающим приступом тошноты. Гуттен поднял голову, его бросило в пот.

— Кетэ, помоги, — пробормотал он с отчаянием. — Ради бога, скорее, пока никто не видит.

Один человек все же видел — это была фрау Риттерсдорф. Но она была поглощена другим: поисками своей пуховой подушечки, набитой чистейшим гусиным пухом, в чехле из розовой тафты в кремовую полоску, — это был подарок к Рождеству, он пришел к фрау Риттерсдорф в Мехико из самой Германии, от дорогой матушки ее дорогого покойного супруга. И фрау Риттерсдорф просто понять не могла, как это она хоть на минуту забыла о своей подушечке, где ее оставила. Без нее просто не обойтись, шезлонги на палубе на редкость жесткие, неудобные — по крайней мере так кажется, на этом пароходе все далеко не первого сорта. Наверно, она забыла подушечку в шезлонге, а потому кто-то — скорее всего, палубный стюард — просто обязан был подобрать ее и сейчас же вернуть по принадлежности.

¹ Немецкий рождественский гимн.

И фрау Риттерсдорф не сердито, но решительно обратилась к стюарду. Он оказался очень учтив и внимателен, говорил с австрийским акцентом... «Meine Dame»¹ — называл он ее, и это звучало гораздо приятнее обычного «Frau»².

— Потеряться ничего не могло, — заверил он, — просто попало куда-нибудь не туда, сейчас я найду и верну вам. В конце концов, пароход у нас небольшой, а за борт она сама не прыгнула. Так уж вы не беспокойтесь, сударыня, я вам ее сейчас же отыщу и принесу.

Фрау Риттерсдорф туго обернула голову зеленой вуалью и, завязывая ее над ухом, увидела — в нескольких шагах стоят эти противные маленькие испанчата и с каким-то животным любопытством тарашат на нее глаза. Она в ответ прищурилась, сделала строгое лицо — этот ледяной, с прищуром взгляд безотказно действовал на ее питомцев, когда она была гувернанткой в Англии, в одной провинциальной семье.

— Вы чего-то потеряли? — тонким голоском дерзко спросила девчонка.

— Да, а ты это украла? — сурово осведомилась фрау Риттерсдорф.

Услыхав такой вопрос, дети странно оживились — задержались всем телом, проказливо переглянулись, и мальчик спросил:

— А кто видал?

Они отрывисто, совсем не по-детски засмеялись и убежали. Отчетливо представив себе, как бы она с ними поступила, окажись маленькие негодяи в ее власти, фрау Риттерсдорф подошла к борту неподалеку от того места, где оперлась на перила молодая парочка, очевидно американцы... кстати, отчего это американцев сразу отличишь, не ошибешься? В этой несносной стране совсем не осталось людей чистой крови, столько всякого перемешалось — и подонки со всей Европы, вроде тех, на нижней палубе, и черные, вот и получилась какая-то неопишная заурядность и по внешности, и по уму. Однако любопытно, о чем постоянно толкует эта парочка, они добрую половину времени проводят вдвоем, кажется, могли уже исчерпать все темы для разго-

¹ Сударыня (нем.).

² Госпожа (нем.).

вора. Вот они стоят — непринужденно склонились друг к другу, взоры устремлены на сверкающую гладь океана — и лениво перебрываются словами.

Издали фрау Риттерсдорф не рассчитывала ни толком что-либо расслышать (она была туговата на ухо), ни разглядеть в подробностях (она была чрезвычайно близорука). Но, учитывая эти свои слабости, она подошла поближе к молодому человеку, облокотилась на перила и с одного быстрого взгляда удостоверилась, что он моложе, чем она думала. Светлые волосы премило подстрижены, красивый прямой нос, красиво очерченный рот, внешность хорошо воспитанного юноши (несомненно, обманчивая). Светло-серая рубашка на нем совершенно свежая, но белый полотняный костюм пора бы отдать в стирку.

На молодой женщине бесформенное, некрашеной рогожки платье с поясом, но без рукавов, мешок мешком. Лицо бледное и чересчур худощавое, глубоко посаженные глаза, острый подбородок — она смахивает на ведьму. Но глаза светлые, довольно красивые, черные волосы причесаны просто, на прямой пробор, — судя по всему, она из этих молодых, передовых и эмансипированных, богема. Оба умолкли, и фрау Риттерсдорф заметила, что, когда они молчат, у него лицо угрюмое, а у женщины — нетерпеливое. Но вдруг оба вскинули головы, дружно рассмеялись, и лица у обоих преобразились — веселые, добродушные, немножко шальные. Фрау Риттерсдорф невольно улыбнулась, услышав этот славный, звонкий смех, такой молодой и счастливый, — и они заметили ее улыбку. И, словно отрезвленные, равнодушно отвернулись от нее.

Но она видела достаточно, чтобы убедиться: это странная, необычная пара, что-то в них есть непонятное и очень неприятное. С такими попутчиками она отнюдь не намерена заводить знакомство. Она вернулась к своему шезлонгу, старательно расправила юбку на коленях, откинулась назад (ей очень не хватало мягкой подушечки) и достала записную книжку.

У фрау Риттерсдорф была плохая память и притом страсть записывать до малейших мелочей все, что случилось с нею за день — даже если она неосторожно проглотила ложку чересчур горячего супа или забыла наклеить марку на письмо, — перемежая такие вот подробности фи-

лософическими замечаниями, наблюдениями, воспоминаниями и размышлениями. Долгие годы она краткими заметками, выведенными мелким, четким почерком, заполняла одну записную книжку за другой, а исписанные аккуратно прятала и никогда в них больше не заглядывала. И сейчас, встряхнув самопишущую ручку с золотым ободком, она принялась писать по-английски:

«У этих молодых американцев престранная манера, они всегда называют друг друга полностью по имени и по фамилии — кажется, никаких других формальностей они между собой не соблюдают, и выходит это у них очень *gauche*¹, а может быть, это для них единственный способ обратить на себя внимание. В их поведении и одежде чувствуется какая-то нравственная неустойчивость — не могу определить и описать точнее. От них исходит некий неуловимый душок. А имена у них даже красивые, хотя звучат немного сентиментально: Дженни Ангел — на самом деле, наверно, Джейн, по-немецки, наверно, было бы куда лучше — Иоганна, — и Дэвид Лапочка. Это, по-моему, очень распространенная у американцев фамилия и в то же время ласковое обращение, среди холодных чопорных англичан оно встречается гораздо реже... по совести сказать, семь долгих лет в Англии были для меня каторгой, и я так и не привыкла к их манере разговаривать. Разумеется, английским я овладела в совершенстве, еще когда училась в Мюнхене, привыкла слышать отличное произношение, и английская небрежная речь после этого казалась мне очень грубой. Ох уж эти горькие годы изгнания! Ох уж эти ужасные, двуличные маленькие англичане! Мне так и не удалось добиться их привязанности, и они совершенно не способны выучиться немецкому... Что до американцев, они даже свой язык изучают просто фонетически, «по слуху», как они выражаются, потому что терпеть не могут читать... В какой-то мере это даже любопытно».

Перечитав написанное, фрау Риттерсдорф решила, что такие тонкие наблюдения жаль оставлять втуне — она вставит их в письмо к своей лучшей приятельнице, подруге далеких школьных лет, Софи Бисмарк — Софи из очень знатной семьи, несчастлива в замужестве, живет в Мюнхене и

¹ Неловко, неестественно (*франц.*).

поистине утопает в роскоши. У глупенькой Софи голова кругом пойдет, она-то никогда не блистала умом, нелегко ей будет уследить за блистательными рассуждениями школьной подруги. И фрау Риттерсдорф сделала на полях пометку: «Für liebe Sophie¹, перевести на случай, если она уже забыла английский», положила записную книжку в свою большую плоскую сумку и отправилась на обычную прогулку: девять кругов по палубе. Моцион предохраняет от морской болезни, полезен для печени, повышает аппетит, короче говоря — прекрасная вещь, хоть и скучная; а могучий океан, катящий из края в край свои валы, наводит на возвышенные мысли.

Всему этому научил фрау Риттерсдорф ее дорогой супруг. Он был человек необычайно деятельный и непоколебимо верил (как же он был прав!), что без прочного здоровья нет прочных нравственных устоев. Сколько раз, когда они пересекали Ла-Манш, он буквально силой таскал ее взад и вперед по палубе в самую мерзкую погоду (он даже радовался мерзкой погоде как приятнейшему испытанию бодрости и мужества), и приходилось хвататься за что попало, чтобы удержаться на ногах и не захлебнуться, и не смыло бы волной. И конечно же, сейчас ее дорогой Отто, олицетворение мужества, павший в расцвете сил и красоты в битве под Ипром, одобрительно смотрит с безмятежно синих небес, как его добродетельная, послушная Наннерль круг за кругом прогуливается по палубе — и притом одна, Отто, одна! — ради своего здоровья, как этого желал бы он.

На седьмом круге она почувствовала, что больше не в силах шагу ступить на высоченных трехдюймовых каблучках, присела на ручку своего шезлонга и опять достала записную книжку. «Если эти молодые американцы не жены, им следовало бы пожениться. Но в этой ужасной стране все отношения, особенно между мужчинами и женщинами, настолько извращены, что невозможно подходить к ним с мерками истинной цивилизации».

Фрау Риттерсдорф перечитала запись и решила, что это ее недостойно. Где же тем временем блуждали ее мысли? Она жирно зачеркнула весь абзац и написала сверху: «Божественная погода, хотя, пожалуй, чересчур жарко, чудес-

¹ Для милой Софи (нем.).

ная прогулка, свежее дыхание моря овеивает мое лицо, думаю о моем дорогом Отто и о блаженных днях нашего счастливого, но слишком недолгого супружества. R. I. P.¹, 25 августа 1931 года».

И добродетельно отправилась совершить еще два круга (не мелочь ли — боль в ногах перед блаженным сознанием, что ты верна своему Отто?), держа в руках раскрытый дневник, точно молитвенник. Навстречу ей попались новобрачные — они тоже прогуливались, взявшись за руки и слегка ими покачивая на ходу, оба во всем белом и очень красивые; и они казались на удивление свежими и беззаботными, а ведь это начало медового месяца. Но когда пара приблизилась, фрау Риттерсдорф заметила, что хоть лицо у новобрачной безмятежное, она бледновата, а под глазами темные круги — может быть, ей нездоровится? Что ж, так и надо, одобрительно подумала сия многоопытная матрона. Очень подозрительны молодые жены, чей облик и манеры после свадьбы нисколько не меняются. Как ни счастлива ты в новом своем качестве, а все-таки переход от девичества к испытаниям и тяготам брака даром не дается. Что ни говорите, а нет розы без шипов. Фрау Риттерсдорф еще поразмыслила и решила, что мысль ее сворачивает на запретный путь. «Даже в самых пылких объятиях мужа чистая женщина не позволит себе нечистых мыслей», — не раз наставлял ее покойный Отто. Сурово сказано, но, без сомнения, справедливо. И она решительно обратилась умом к предметам более возвышенным, снова отложив память об Отто в пеструю сокровищницу священного прошлого.

Ранним прохладным утром, когда между небом и океаном разлилась прозрачная голубизна, Дженни выпила на палубе кофе и принялась делать наброски пером: похожий на смиренное привидение с распростертыми руками парусиновый навес над зарешеченным люком, под которым помещается «столовая» пассажиров третьего класса; тяжело-весно разлегшийся на брюхе пес Детка — он, видимо, поправляется после морской болезни; Эльза, соседка по каюте (Дженни рисовала ее по памяти), причесывается, подняв

¹ Да почивет в мире (лат.).

большие, полные руки; матрос несет ведро с водой; украдкой огляделась и наскоро набросала силуэт Глокена — удивительное уродство, в нем даже есть своеобразная гармония. Дженни чувствовала себя свободно и легко, ее маленькое складное тело почти не доставляло ей хлопот, разве что по любви изголодалось, и она лениво подумала — каково-то существовать в таком уродливом туловище, как у Глокена. Эта мысль ужаснула ее, она вздрогнула, уронила самопишущую ручку, едва не задохнулась в безумном, слепом страхе, как когда-то ребенком, когда бабушка заперла ее в стенной шкаф, тесный, точно гроб. Крепко зажмурилась, а когда опять открыла глаза, перед нею пошли радужные круги — и из яркого радужного сияния к ней размашисто, но не без изящества шагнул Вильгельм Фрейтаг и протянул упавшую ручку.

Он остановился перед нею, с виду такой жизнерадостный и приветливый, выслушал благодарность и ждал, не предложит ли она ему сесть. Она подвинула ноги, давая ему место на подножке шезлонга.

— А я не помешаю вашим занятиям? — спросил он.

— Это так, от нечего делать, — сказала Дженни. — Вроде пасьянса. Предпочитаю немножко поболтать.

Наклонилась к нему и вновь ощутила, как вечная досада, горечь и грусть, что одолевают ее, едва она останется одна, мгновенно рассеиваются от звука голосов, от близости людей — даже если люди эти ей безразличны и слова их ничего не значат. Этого малого избаловали женщины, подумалось ей, он слишком уверен, что неотразим, — а впрочем, в обществе человека, у которого нет особых забот и неприятностей, можно бы, пожалуй, отдохнуть, уж очень тяжело даются отношения с Дэвидом.

Фрейтаг рад был посплетничать и весело рассказал ей, что на пароходе есть таинственный пассажир, самый настоящий политический изгнанник, по слухам высланный с Кубы в связи со студенческими волнениями, из-за которых закрыли тамошний университет. Этого человека держат взаперти в каюте, а потом высадят в городе Санта-Крус-де-Тенерифе.

— В цепях, надо думать, — сказала Дженни. — А что он натворил?

— Собственно говоря, это женщина.

— А не все ли равно?

— Надеюсь, что нет, — сказал Фрейтаг. — И ко всему она испанская графиня, а нашему капитану, скажу я вам, это очень даже не все равно. Он всем приказал окружить ее величайшим вниманием и всякий раз самолично посылает узнать, не надо ли ей чего. Нет, нашей узнице живется неплохо. У нее отдельная роскошная каюта на верхней палубе — я и сам хотел такую получить, да не вышло!

— На таких условиях я тоже не прочь бы стать узницей, — сказала Дженни.

— Ну еще бы. Я больше всего люблю простор, а попал в одну каюту с Хансеном — знаете, швед, детина семи футов ростом, он спит на верхней койке, ноги у него торчат наружу, не умещаются, и я каждое утро стучаюсь о них головой.

— Моя соседка тоже не маленькая, — сказала Дженни, — но она очень славная, и мы почти не мешаем друг другу.

— Как, а я думал, вы тут с мужем? — удивился Фрейтаг, и в глазах у него вспыхнуло живое, откровенное любопытство, перед которым просто невозможно было устоять.

— Мы не женаты, — сказала Дженни.

Провела еще несколько резких штрихов на рисунке с парусиновым навесом и мысленно выругала себя за то, что едва не прибавила: «Мы просто друзья и случайно оказались на одном пароходе». Неужели она может дойти до такой низости? Нет, всему есть границы, и, надо думать, она еще не все их перешла. Да и вопрос был не так уж наивен. Она внимательным, оценивающим взглядом посмотрела на Фрейтага. Может быть, вовсе он не по наивности спросил, а просто ляпнул сдуру и сам это понимает. Вправду ли он на миг смутился и помрачнел, или она приписывает ему чувствительность, которой он вовсе не страдает? Он взял ее наброски и начал перебирать, но ясно было, ничуть они ему не интересны. Задержался на профиле Глокена, сказал не сразу:

— Страшно похоже. Любопытно, как бы ему это понравилось.

— Он никогда этого не увидит, — сказала Дженни, взяла у Фрейтага рисунки и сложила в папку.

— А я и не знал, что вы художница, — заметил Фрейтаг.

И Дженни ответила, как всегда отвечала на такие слова:

— Я не художница, но, может быть, когда-нибудь стану художницей.

Темная минута прошла, но таким минутам счета не будет, они везде ее настигнут. Все ясней она понимала, на что себя обрекла, когда связалась с Дэвидом. И вдруг нахлынули сомнения: пожалуй, она обманывалась всю жизнь — с самого рождения что ни шаг, то новая ошибка... нет, это уже слишком! Не допущу, чтобы эта история вконец выбила меня из колеи! Вот Эльза думает, что она какой-то несчастный урод; знай она про меня, у нее стало бы легче на душе. Но я хочу жить ясно и просто, говорить, что думаю, если да, значит, да, а если нет — нет, и чтобы меня так и понимали, без дураков. Ненавижу половинчатость, полуправду, нелепые ложные положения, надуманные чувства, наигранную любовь, раздутую ненависть. Ненавижу самодовольных и самовлюбленных. Я хочу, чтобы все было прямо и открыто, или уж, если все запутано, все вкривь и вкось, я хочу это видеть так, как есть. А иначе все мерзко, и жизнь моя мерзкая, и мне за нее стыдно. И я хожу вся в павлиньих перьях, а ведь вовсе об этом не старалась. Даже не знаю, откуда они взялись.

Фрейтаг предложил ей сигарету.

— Погуляем немножко, хотите?

— Да, наверно, уже самое время расхаживать по палубе и всем и каждому говорить «Grüss Gott».

— А что, звучит славно, вполне христианское приветствие, — добродушно сказал Фрейтаг. — Но мне больше нравится, как индейцы говорят *Adiós*¹. Правда, боюсь, это не в их стиле, — прибавил он, кивая на испанских танцоров — те как раз проходили мимо.

— Вот кто не из мягкосердечных, правда? «С богом» — такое напутствие от них отскочит, как мяч от стены.

— А смотреть на них приятно, — заметил Фрейтаг. — Но, пожалуй, компания небезопасная.

— Они опасны потому, что мы это позволяем, — сказала Дженни. — С какой стати им потакать? В сущности, надо только смотреть, чтоб они не залезли к нам в карман. А в остальном они, по-моему, просто скучные и вся эта живописность довольно сомнительна... А какой день хороший,

¹ Прощайте, букв.: с богом (исп.).

веселый, правда? — И она грустно посмотрела в ясное небо.

Они прогуливались не спеша, кивали встречным, которых уже, на пятидесятый раз, более или менее узнавали в лицо. Обменялись смеющимися взглядами, увидав, что Арне Хансен гуляет с Эльзой, а приземистые родители роислой дочери со скромным видом деликатно следуют за ними, приотстав на несколько шагов. Эльза совсем одеревенела от робости, на макушке у нее торчал нелепый, чересчур маленький белый берет. Хансен шагал молча, устремив застывший взгляд куда-то вдаль.

У Дженни с Фрейтагом завязалась своеобразная доверительная беседа, какие легко возникают в дороге между людьми, которые рассказывают о себе, зная, что знакомство их едва ли продолжится, — это подобие откровенности возникает оттого, что затем нетрудно перейти к равнодушию. Фрейтаг рассказал, что хоть он и немец, но в нем течет также английская и шотландская кровь и даже венгерская — бабушка его была родом из Австро-Венгрии. Предки по той линии выбирали себе мужей и жен весьма легкомысленно — чем неожиданней, тем лучше. А что было до бабушки, одному богу известно, лучше в это и не углубляться. Дженни тоже — и не без гордости — пересказала свою довольно пеструю родословную.

— Настоящая западная мешанина, — сказала она. — Никаких татар, ни евреев, ни китайцев, ни африканцев, все очень обыкновенно: англо-шотландско-ирландско-валлийская смесь, выходцы из Голландии, из Франции, да одна прапрабабушка с испанским именем, но все равно наполовину ирландка... даже ни одного венгра и, главное, ни одного немца. Немецкой крови ни капли.

Фрейтаг поинтересовался, откуда у нее такая уверенность, при том что тут столько смешалось национальностей и все они, в конце концов, сродни — она что же, не любит немцев? Из-за той паршивой войны? Так ведь в войне виноваты были все и все от нее пострадали, а немцы больше всех; если бы американцы стали тогда на сторону Германии, будущее всего мира стало бы другим, куда лучше! Глаза Фрейтага загорелись, он даже стал красноречив. Дженни слегка улыбнулась: кто бы ни был виноват, а она рада, что ее страна не была заодно с немцами. Но тут ей стало совестно, и она прибавила:

— Даже не воевала заодно.

Она человек без предрассудков, говорила Дженни. Она рано лишилась матери, и ее воспитывали главным образом бабушка с дедушкой, родители отца, а это были люди старомодные, рационалисты в духе восемнадцатого века, прямые потомки Дидро и Даламбера, как говаривал дед, и они полагали, что хотя бы в малой мере осуждать кого-то или что-то по соображениям национальным или религиозным — признак величайшей пошлости и невежества. Все это касалось хороших манер, ибо они вытекают из нравственных норм.

— Негры-то, конечно, появлялись у нас только с черного хода, — говорила Дженни, — и я ни разу не видела за нашим столом краснокожего индейца или даже индуса, и еще самых разных людей в доме не принимали по той или иной причине, больше потому, что они дурно воспитанные или скучные; но дедушка с бабушкой объясняли мне — это, мол, они просто считаются с местными обычаями, или — имеют же они право выбирать себе знакомых, и то и другое неотделимо от хороших манер и воспитанности. Ну и воспитание же это было, прямо хоть в музей! — сказала Дженни. — Но мне все это ужасно нравилось, я верила каждому слову, до сих пор верю... так что я безнадежно отстала от своего поколения. Я увязла в сетях возвышенных понятий, а применить их негде! Мои друзья из радикалов смотрят на меня, как на молодого бронтозавра. В их устах слово «леди» звучит точно непристойность; а один как-то сказал: «Вы только послушайте, как она произносит «Шантильи» — сразу ясно, кто она такая!»

— Откуда у вас друзья-радикалы? — удивился Фрейтаг. — Все радикалы, каких мне случалось встречать, были нестриженные, с грязными ногтями и вечно выпрашивали сигареты, а потом гасили их в чашке из-под кофе. Ваши тоже такие?

— Есть и такие, — не очень охотно согласилась Дженни. — Но среди них есть очень умные, интересные люди.

— Что им еще остается, — заметил Фрейтаг. — А ваш друг мистер Скотт тоже отстаивает радикальные взгляды?

— Иногда, — сказала Дженни. — Чтобы поспорить. Это зависит от того, какие взгляды у противника.

Это рассмешило Фрейтага, и Дженни тоже чуть-чуть по-

смеялась. Немного помолчали, а потом, как рано или поздно получалось у него в любом разговоре, он заговорил о своей жене. Волосы у нее золотистые, точно спелая пшеница, и чудесный цвет лица — истинная дева с берегов Рейна, ему все это в ней так мило; и у нее очаровательное имя.

— Ее зовут Мари Шампань, — сказал он с нежностью. — Мне кажется, я прежде всего влюбился в ее имя.

Теперь он стал рассказывать, что жена всегда выбирала для него костюмы, да так удачно, сам он не сумел бы так одеваться, сказал он, явно довольный собой. В человеке другого склада такое самодовольство было бы отвратительно, решила Дженни. И сказала — чтобы выбирать для мужчины галстуки, женщина должна быть необыкновенно уверенной в себе. Вот она никогда бы на это не осмелилась. Фрейтаг возразил — тут все зависит от мужчины.

— Вы не поверите, как я уважаю вкус и суждения моей жены во всем... ну, почти во всем, — сказал он.

Они опять замолчали, и Дженни хмуро подумала о скучных черных вязаных галстуках Дэвида. Самомнение Дэвида в другом роде, чем у Фрейтага, — и право же, куда хуже: у этого хотя бы чувствуется душевная теплота и щедрость. А бедняга Дэвид замкнулся в себе, словно отшельник в пещере, — даже самыми жалкими крохами своего существа ни за что и ни с кем не поделится.

— Моя жена сейчас в Мангейме, у своей матери, — сказал Фрейтаг. — Я увезу их обеих в Мексику. Мы решили совсем туда переселиться.

От него все жарче веяло радостной уверенностью и довольством, так иные люди пышут здоровьем или излучают таинственное обаяние красоты. И Дженни почувствовала — это его довольство собой идет не от тщеславия, но как-то по-особенному все у него сложилось, чем-то необыкновенным он обладает, что-то такое нашел или получил в дар. В чем-то он счастливчик, и сам знает, что счастливчик. И когда они дошли до носа корабля и повернули, она слегка наклонилась к Фрейтагу: внутри все пусто и уныло, вдохнуть бы это тепло счастья и удачи, она так по нему изголодалась.

Непринужденно откинувшись в шезлонгах, сидели рядом новобрачные. Она была очень хороша собой, вся — безмолвная грация и естественность, словно прелестный роб-

кий зверек. Когда бы эти двое ни появились на люди, все окидывали их беглым взглядом и тотчас отводили глаза. Рассеянная, улыбающаяся, молодая женщина весь день сидела или прогуливалась с мужем, ее узкая ладонь бессильно лежала в его руке. А он такой нешумно веселый, подумалось Дженни; ей нравились неправильные тонкие черты его живого, подвижного лица; должно быть, он гораздо умнее жены и с самого начала стал в семье главою и наставником.

— Прелестная пара, правда? — сказала Дженни; оставалось только надеяться, что голос не выдал ее печали и зависти. — Приятно на них посмотреть, да?

— Вот бы все молодые жены были такие, — сказал Фрейтаг. — Она выглядит в точности так, как надо. Не могу толком объяснить, но уж я не ошибусь. Рай сразу после грехопадения. Те самые минуты, когда они уже согрешили, но хитрый, ревнивый и мстительный бог их еще не изгнал. Кто не испытал таких минут хоть раз в жизни — а чаще, может, и не бывает, — тот несчастный человек, пускай ему повезло во всем остальном.

— Да, возможно, — сухо отозвалась Дженни.

— Вы, наверно, назовете это немецкой чувствительностью.

И Фрейтаг улыбнулся словно про себя, словно подумал о чем-то очень хорошем, о чем никому не станет рассказывать.

— Понятия не имею, что это такое, но звучит очень мило, — сказала Дженни.

Ее тон никак не соответствовал словам, в нем послышалось что-то резкое, недоброе, и Фрейтага покорило. Опять он ощутил неприязнь, какую вызвала у него Дженни с первого взгляда, когда они еще ни словом не обменялись. Он промолчал, только ступил на шаг в сторону, и расстояние между ними стало шире.

Дженни это заметила, и ей стало зябко и неудобно. Этой болтовней про грехопадение ты, видно, стараешься меня завлечь, будто знаешь какой-то секрет, который и мне позарез нужно узнать, и готов меня в него посвятить. Может быть, мне надо в тебя влюбиться, может быть, я уже и влюбилась, как это всегда со мной бывает: увлекусь совершенно чужим человеком и тону с головой, точно в омуте, а потом все проходит — и я остаюсь на мели. Я рада, что ни-

чего о тебе не знаю, только вот по внешности ты такой, какие мне нравятся — во всяком случае, и такие тоже нравятся, — и еще знаю, ты женат и жаждешь мне втолковать, что любишь жену. Не старайся, я и так охотно верю. А если узнаю тебя поближе, ты мне, пожалуй, вовсе не понравишься... да ты мне уже и сейчас не нравишься. И я тоже никогда не понравлюсь тебе, да, конечно, ты меня просто возненавидишь. Сойдись мы ближе, в этом, наверно, оказалось бы что-то для меня невыносимое. Неважно что, да и представить не могу... Если б мы могли без больших хлопот провести вместе ночь и забыться вдвоем, мне опять стало бы легко и просто и не было бы такой путаницы в голове. Только дело в том... как же это случилось? Я просто погибаю от голода и холода; мой любовник ничем со мной не желает делиться, ему бы все только для себя. Как это говорит испанская пословица — «То ли хлеб вкусный, то ли я голодный». Или еще: «Какая собака откажется, если ей кинут мяса?» Но это уже, конечно, про тебя.

Они опять подошли к ее креслу.

— Я нагулялась, хватит, — сказала Дженни, уже не давая себе труда притворяться, будто ей с Фрейтагом интересно.

Но он вовсе не желал, чтобы от него так бесцеремонно отделились.

— Может быть, выпьем пива? — предложил он. — С утра недурно, я, например, очень не прочь.

Даже не взглянув на него, Дженни с мимолетной брезгливой гримаской покачала головой. Он тотчас повернулся и пошел прочь, через три шага к нему присоединились Гуттены со своим Деткой, все трое явно ему обрадовались. Дженни знала, сейчас эта компания рассядется за столом со своими пивными кружками, ничего им не надо друг другу объяснять и друг от друга скрывать. Все они такие упитанные, каждый сыт и доволен на свой лад, и никакой иной пищи ему не требуется. Будут лениво посиживать в свое удовольствие, и не сядешь молчаливо рядом, точно изголодавшееся животное, чья пища — ветер бесплодных грез наяву, горький безмолвный разговор с собой, который без конца вгрызается в мозг; и не станешь некстати вслух нести всякий вздор — совсем чужая, глядя на них глазами мертвеца из-под маски вполне, в общем-то, недурной плоти.

Дженни снова взялась за отложенный рисунок. Но внимание поминутно отвлекалось от того, что набрасывала на листе рука, — донимали все те же мысли: как быть, что решать с Европой, с Дэвидом... экая несообразность! Нелепо мерить той же меркой одного человека и целый континент, они не могут быть, не должны быть для тебя одинаково важны — пусть бы уж тогда по-разному, нельзя же так путать и смешивать совсем разные вещи, решила она, вечная раба своих представлений о том, как все должно быть в жизни, и желания лепить, направлять, переделывать все так, как хочется; нет, если она позволит Дэвиду испортить ей эту поездку в Европу, значит, она совсем дура, еще хуже, чем сама боялась! Дженни опустила рисунки на колени, откинулась в кресле и, уставясь сухими глазами в чистейшее голубое небо такого чудесного, для самой светлой радости созданного дня, предалась немому, беспросветному отчаянию.

Нелегко признаться себе, что ты дура, но, с какой стороны ни посмотри, так оно и выходит. Пора надеть власяницу, подсказывал Дженни ее демон-хранитель. Пора читать молитвы. Нечего каяться, точно пропащая душа, это очень глупо и скучно, возражала она себе (она всегда сходилась со своим вторым «я» лицом к лицу и подбирала в споре с ним самые убедительные слова), никакая я не пропащая, и не была пропащей, и не буду никогда, разве что вот сейчас можно считать себя пропащей. Нет, я не пропала, не так это просто и однозначно. Только не знаю, как же случилось, что я запуталась, и как мне выбраться, зато отлично знаю, куда угодила. Репетиция того, что ждет в преисподней, — варишься в кипящей смоле и каешься! Но мне здесь не место, совсем я сюда не хотела, я-то думала, что мой путь ведет совсем в другую сторону... но, может быть, такого места, куда мне хочется, и нет на свете, по крайней мере для меня. Ну, ничего, дорогая, возьмем себя в руки — мы еще выберемся.

Она пересмотрела сделанные за утро наброски — плохо, не закончено, не отделано, поверхностный взгляд и никакого чувства. Все чувства потрачены на жалость к себе и на потакание собственным слабостям, а рука выводила скучные, жесткие линии, и в них ровно ничего не вложено, пустота. Какой вздор! Лживые слова, которые она сказала

Фрейтагу, — будто для нее рисовать занятие вроде пасьянса — вдруг обрушились на нее жестокой, сокрушительной правдой.

Из самосохранения она дала волю бешенству, ненависти к Дэвиду. Яростно скомкала обеими руками рисунки — будто в каждом кулаке стиснула живое существо и оно кричит от боли, — стремительно подошла к поручням, швырнула скомканные листы за борт и отошла, не оглянувшись. Черное по белому — не для нее, довольно. Она будет писать прямо красками на холсте, как прежде, и черт возьми Дэвида с его советами. Я продалась за чечевичную похлебку — и даже похлебки не получила, сказала она себе. О господи, надо же! Позволила, чтобы этот малый учил меня, как надо рисовать. Нет, хватит, скоро я положу этому конец.

Она вытянулась в шезлонге, опустила на глаза темно-синий шарф, заслоняясь от ненавистного яркого света, но еще долго ее несчастное, виноватое раздвоившееся «я» продолжало этот внутренний спор. Она всячески пыталась объяснить и оправдать перед поселившимся в душе врагом свои промахи и безнадежные ошибки — и ответом было все то же ледяное, несокрушимое недоверие. «Нет, — слышалось ей, — это все не оправдание. Ты знаешь, что делаешь, знаешь, что происходит и чем это кончится, — давай начистоту: чего ради ты впуталась в такую скверную историю? Ну же, не молчи, давай хоть раз посмотрим правде в глаза, если ты способна наконец признать, в чем она, правда...» Докучный голос этот с тупой и вместе дьявольской настойчивостью гнул свое, и под конец, измучась этим самоистязанием, Дженни повернула голову и, припав щекой к изголовью, уснула тяжелым сном, воспаленные веки ее вздрагивали под шарфом, который чуть колыхался на ветру; тайный ужас и теперь не отпускал ее, не давал ни минуты покоя, и ничего ей не прощалось, и снились дурные сны.

Лиззи Шпёкенкикер бежала, то и дело оглядываясь, точно спасаясь от преследования, и налетела на капитана Тиле, который решил в это утро показаться на палубе. Вот в ком мгновенно, безошибочно распознал бы истинного капитана самый что ни на есть сухопутный глаз. Ослепительно белая туго накрахмаленная форма, золотые галуны

и письма — знак его высокого ранга — на воротнике, на груди и плечах, строжайшая выправка и преисполненное важности лицо мелкого божка — божка, которого постоянные усилия поддержать свой престиж сделали раздражительным и даже злобным. Недовольством дышала каждая черта его лица — узкий лоб, близко посаженные хитрые маленькие глазки, длинный острый нос, что отбрасывал тень на плотно сжатые губы и на упрямый подбородок. Казалось, самая суть этого человека вылепила ему лицо себе под стать; и вот он шагает в одиночестве и в ответ на почтительные поклоны пассажиров нехотя, чуть заметно кивает головой, которую венчает огромная белоснежная, пышно украшенная золотом фуражка.

Лиззи с разлету едва не опрокинула его, споткнулась и сама упала бы, но капитан мигом обрел устойчивость и присутствие духа. Багровый от гнева, он обхватил Лиззи за талию и удержал на ногах; а Лиззи покраснела, заахала, захихикала, затрепыхалась и отчаянно обхватила его за шею — можно было подумать, что она тонет. Потом она опустила руки, попятилась и визгливо закричала:

— Ах, капитан Тиле, какой ужас! Ради бога извините, умоляю вас! Господи, какая же я неуклюжая!

Капитан смерил ее свирепым и обиженным взглядом.

— Пустяки, дорогая фрейлейн, пустяки, — процедил он и, досадливо и сердито покусывая нижнюю губу, величественно зашагал дальше.

Ему робко, нерешительно поклонился Левенталь, но капитан посмотрел сквозь него и не ответил. Оскорбленный Левенталь был уязвлен до глубины души и совсем расстроился, даже зубы заныли, еще долгие часы он не мог оправиться от этого унижения. Прошел на корму, опустил голову на руки и молча, угрюмо смотрел на воду и рад был бы умереть — по крайней мере так ему казалось. Он укрылся в темном, душном гетто своей души и там излил свои жалобы среди других рыдающих и скорбящих — ибо здесь, в глубине своей души, он никогда не бывал одинок. Он сидел, подперев лоб рукой, и горевал вместе со своим обреченным злой судьбе народом, без слов оплакивал вечные, неизъяснимые его обиды и страдания; потом на сердце стало полегче, глубоко внутри встрепенулся неукротимый дух и начал искать извечных оправданий и мечтать об отм-

щении. Но не скоро придет и тайным будет отмщение.

На плечо его упала тень, и он отодвинулся, не оборачиваясь — не хотелось встретить еще один равнодушный и враждебный взгляд.

— Вы первый раз плывете в Европу? — спросил самый обыкновенный спокойный голос с американским акцентом.

И Левенталь сразу приободрился и нашел в себе силы ответить не без гордости:

— Вот уже десять лет я совершаю это путешествие два раза в год; я всюду разъезжаю, у меня небольшое международное предприятие.

Его собеседником оказался американец Дэнни; он удобно расположился рядом с Левенталем, вид у него был вполне дружелюбный и безобидный.

— Ого, вон как? — с живым интересом отозвался он.

— У меня дела в Южной Америке, — сказал Левенталь, — во всей Европе, особенно в Испании, и, конечно, в Мексике. В Мексике главная контора фирмы: меньше налоги, дешевле рабочая сила, ниже плата за помещение, меньше всяких накладных расходов, дешевле сырье, и эти пеоны, знаете, они, можно сказать, из ничего делают замечательные вещицы, а посмотрели бы вы, что они мастерят, когда им даешь хороший материал. У меня найдутся покупатели всюду, где есть католическая церковь, — продолжал Левенталь. — Четки, гипсовые и деревянные фигурки святых, иногда и раскрашенные, и с настоящими золотыми и серебряными украшениями; и всякая утварь для алтаря. Все это приносит деньги. Индеец может жить впроголодь, но уж фигурку святого он купит! Я бы вам показал образцы моего товара, хотя бы только четки. У меня они всех сортов — и самые простые деревянные, и серебряные ручной работы. Некоторые делаются по моим рисункам, и это уже настоящие драгоценности, скажу я вам, тут и опал, и янтарь, и даже мексиканская яшма. Я даже пробовал обсидиан, но его обрабатывать невыгодно, он слишком твердый. А спрос на такой товар всегда обеспечен.

Он осекся: на лице у Дэнни все явственней проступала хмурая враждебность. Левенталь смотрел встревоженный, озадаченный — отчего бы это?

— На мой взгляд, если есть на свете религия, достойная

презрения, так это католики, — заявил Дэнни. — Терпеть их не могу. В моих краях католической веры держатся одни подонки — мексикашки, итальяшки, полячишки всякие — ну и пусть их, они лучшего не стоят.

Левенталь улыбнулся, все лицо его, толстые, круто вырезанные губы, тяжелые веки сморщила недобрая усмешка. С облегчением он ухватился за эту объединяющую их неприязнь, и они с пользой провели несколько минут, воздавая по заслугам католической церкви. Что позволяют себе патеры, исповедуя молоденьких женщин, какие секреты таятся в монастырских стенах, как торгуют отпущением грехов и поклоняются идолам — все эти провинности они перебрали заново и осудили безоговорочно. Левенталь до того разоткровенничался, что рассказал, как его милая бабушка, уроженка города Кракова, «прекраснейшая женщина, лучше и умнее я в жизни не встречал», постоянно его предостерегала, когда он был маленький, чтобы ни в коем случае не ходил в полночь мимо католической церкви: в этот час двери распахиваются и призраки всех прихожан, которые умерли за год, во образе свиней выбегают наружу и, попадись он им, тут же на месте его сожрут. И много лет, даже средь бела дня, когда он проходил мимо католического храма, у него волосы дыбом вставали от страха. Он и сейчас в точности помнит слова своей почтеннейшей бабушки: «Эти мерзкие кровожадные иноверцы... они пожирают даже своих сородичей — свиней! А после смерти они сами обращаются в свиней и поедают маленьких еврейских мальчиков!»

Тут Дэнни нахмурился, покосился на Левенталья, будто вдруг вспомнил о чем-то, и заметил не без осуждения:

— Не понимаю, зачем было братья за это дело, раз вы так относитесь к католикам. Я считаю, верующему над верующим насмехаться не следует, даже если вера у них разная. Вот я вообще неверующий, потому и волен говорить, что хочу. Просто я терпеть не могу католиков, так и торговать бы с ними не стал.

Левенталь в волнении воздел руки к небесам:

— А я так думаю, дело есть дело. Мои чувства тут ни при чем. Я так думаю, тут можно торговать, и если я им этот товар не продам, другой продаст. Тогда почему бы мне не продавать? Вера до этого никак не касается, вот мое мне-

ние. Мое мнение такое, что вера сама по себе. Я так скажу: это просто-напросто торговля, а чувства тут ни при чем.

Дэнни повернулся, чтобы уйти.

— Ну да, понимаю, — сдержанно согласился он. — Дело есть дело. Но лично я не стал бы этим заниматься.

Левенталь посмотрел ему вслед со смутным ощущением, что беседа все-таки не удалась; может быть, он что-то сказал не так, или, может быть, этому американцу просто его физиономия не нравится... ему, Левенталю, физиономия Дэнни тоже не очень-то нравится, но это другой вопрос. Все равно он огорчился и растерялся; общество Дэнни не так уж приятно, а все-таки, может быть, пошли бы и вместе выпили по стаканчику. Пожалуй, ошибка в этом: надо было предложить американцу выпить... Ну, может, в другой раз больше повезет.

Он опять вспомнил капитана, на этот раз с гневом. Экая свинья! И в кают-компани его посадили одного, на отшибе. И есть дают всякую дрянь... он вынужден питаться только яйцами, фруктами да жареной сельдью. На многих кораблях ему удавалось получить кошерную еду. Да, надо вести себя осторожней и умней... иногда его охватывал страх: вдруг он чего-то не предусмотрит и с ним сыграют какую-нибудь злую шутку, а он это поймет, когда будет уже слишком поздно. Не раз ему приходила мысль, что живет он в мире, полном опасностей, даже непонятно, как тут осмеливаешься спать по ночам. И однако в эту самую минуту его клонило ко сну.

Покачиваясь на коротких ножках, чтобы вернее сохранить равновесие, косолапо шлепая по палубе, он подошел к своему шезлонгу, сел, тяжело вздохнул, одолеваемый смутными опасениями, пригладил ладонью густые курчавые волосы. Сейчас он уснет и позабудет обо всех своих тревогах и огорчениях. А когда проснется, можно будет поесть яиц, или рыбы, или, может быть, рыбных консервов. Хоть бы уж скорей оказаться в Дюссельдорфе, в славном уютном доме двоюродной сестры Сары, где ждет славная, сытная и дозволенная еда.

Рано поутру, до завтрака, мать Эльзы по-матерински строго и решительно поговорила с дочерью: вовсе незачем, объясняла она, держаться с мужчинами так чопорно. Разу-

меется, не следует удостаивать хотя бы взглядом этих ужасных испанцев или сумасбродных студентов с Кубы, но, в конце концов, на корабле есть и очень милые люди. Вот Фрейтаг, хоть и женатый человек, прекрасно танцует, нет ничего плохого в том, чтобы скромно потанцевать с приличным кавалером, все равно, женат он или холост; и этот Дэнни, хоть и американец, тоже может быть подходящим кавалером; во всяком случае, можно разок попробовать. И против шведа Хансена тоже возразить нечего.

— Когда я тебя учу: Эльза, будь скромна, будь сдержанна, это совсем не значит — сиди как деревянная, по сторонам не смотри и словечка не скажи, а на герра Хансена я могу положиться. Такому человеку можно доверять, он при любых обстоятельствах будет с девушкой вести себя как джентльмен.

— Мне он не нравится, у него такое угрюмое лицо, — с неожиданным жаром возразила Эльза.

— Не следует судить о мужчине по внешности, — сказала мать. — Красивые мужчины чаще всего обманщики. Когда думаешь о замужестве, ищи мужчину с твердым характером, чтобы стал настоящим хозяином в доме. Настоящего надежного мужчину. По-моему, Хансен вовсе не угрюмый, просто он серьезный. А большинство пассажиров тут сущий сброд, я, кажется, хуже не видывала... все эти франты-танцоры со своими беспутными танцорками — это же просто стыд и срам!

— Герр Хансен с одной танцовщицы глаз не сводит, — уныло сказала Эльза. — С той, которую зовут Ампаро. Ты же понимаешь, мама, если она ему нравится, так я никогда не понравлюсь. Сегодня утром я видела, они стояли совсем рядом, и он дал ей деньги; это были деньги, я уверена.

— Эльза! — возмутилась мать. — Что это значит? Ты понимаешь, что говоришь? Тебе совершенно не следует замечать такие гадости!

— Я же не слепая, — грустно сказала Эльза. — Я как раз вышла из каюты, а они стоят тут же в коридоре, в нескольких шагах, мне надо было пройти мимо них. Они на меня и не поглядели. И уж наверно, я не могу понравиться герру Хансену.

— Ничего, деточка, — сказала мать. — У тебя есть свои достоинства и добродетели, и нечего тебе опасаться дурных

женщин. В конце концов мужчины всегда возвращаются от дурных женщин к порядочным. Придет время, и у тебя будет хороший муж, а эта испанка плохо кончит. Так что не расстраивайся.

Этот разговор отнюдь не придал Эльзе бодрости, напротив, она совсем приуныла. Ей почему-то не улыбалось оказаться преемницей Ампаро в сердце господина Хансена. Она уронила руки на колени и вся поникла. Наступило короткое невеселое молчание.

— Послушай, — заговорила мать, — хочешь, когда приедем домой, я тебе куплю коробочку пудры. Пожалуй, пора уже тебе стать взрослой. Притом теперь мы опять будем среди людей своего круга. Так что ты можешь пудрить лицо, выберешь тон, какой захочешь.

— Тут на пароходе в парикмахерской продается пудра, — робко сказала Эльза. — У них есть всякая, даже надушенная, пахнет ландышем. Есть «рашель номер один», как раз тот оттенок, какой мне нужен. Я случайно заметила, когда мне там мыли голову... я... — она умолкла, мужество ей изменило.

— А сколько это стоит? — спросила мать, открывая кошелек.

— Четыре марки. — Эльза встала, от изумления и радости она даже начала заикаться. — Ой, м-мамочка, м-мне правда можно купить п-пудру?

— А разве я не ясно сказала? — И мать вложила ей в руку деньги. — Ну иди, наведи на себя красоту, и пойдем завтракать.

Со слезами на глазах Эльза заключила мамашу в свои могучие объятия и принялась целовать ее пухлые щеки.

— Ну-ну, хватит, — сказала мать, — что это ты, право, как маленькая.

По дороге в парикмахерскую Эльза изо всех сил старалась не заплакать. Когда она явилась к завтраку, крохотный белый беретик еле держался на ее пышно взбитых волосах, а лицо, шею, руки до плеч покрывал толстый слой телесного цвета пудры. Она даже решилась мазнуть по губам взятой у Дженни помадой. Мать сказала строго:

— Я ведь не говорила красить губы, Эльза. Это слишком. Ну, сейчас уж оставь так.

Эльза покраснела. Отец сказал:

— А, так вот отчего моя Эльза сегодня такая хорошенькая. Теперь остается только накрутить волосы на такие катушки — и оглянуться не успеешь... — Он широко улыбнулся дочери и погрозил пальцем: — Смотри, берегись!

Эльза тихо просияла от радости и отлично позавтракала.

Арне Хансен и опомниться не успел, как у выхода из кают-компании очутился среди Лутцев, рядом с Эльзой, и фрау Лутц промолвила, что утром, пока не жарко, очень приятно погулять по палубе — может быть, и он к ним присоединится? Точно затравленный, он опасливо оглянулся на Ампаро. Она сидела, поставив локти на стол, и на ее лице, молниеносно сменяясь, очень живо изобразились жалость к нему (а может быть, к его глупости), презрение к Лутцам, предостережение, язвительность, притворное сочувствие и, наконец, откровенная насмешка.

Хансен отвернулся и стремительно двинулся вперед. Рослая некрасивая девица шла рядом, повесив голову, опустив глаза — казалось, она спит на ходу. Так двигалась эта веселенькая процессия, но на втором круге стало ясно, что никакого разговора у молодых людей не получается, и папаша Лутц скромно исподволь поравнялся с Хансеном, а фрау Лутц пошла рядом с дочерью.

Генрих Лутц, человек весьма практического ума, когда не упражнялся в своих излюбленных шуточках, разговор со всяким новым человеком неизменно начинал с вопроса, как тот зарабатывает на жизнь. Чем будничней и проще оказывалась профессия собеседника, тем верней он завоевывал уважение Лутца. И сейчас Лутц с удовольствием услышал, что у Хансена была в Мексике молочная ферма и он сбывал масло.

— Ого! — воскликнул Лутц. — Мы с вами пара: я занимаюсь хлебом, вы — маслом. Я держал гостиницу возле озера Чапала, но мы решили это оставить. А как у вас шли в Мексике дела с маслом?

— Через пень-колоду, — сказал Хансен, — так что я продал ферму и возвращаюсь в Швецию. Но я кое-что скопил, дома опять заведу ферму — там я по крайней мере знаю все подводные камешки и сумею их обойти. А в Мексике что ни день, то новые порядки.

— О, порядок всюду один и тот же, — восторженно объявил Лутц, словно готовился сообщить приятнейшую но-

вость: — Крупная рыба поедает мелкую, а мелкая рыбешка, надо думать, питается одними водорослями.

— Ну, что-что, а это мне известно, — сказал Хансен и тоже немного посмеялся.

— Вот что, — сказал Лутц, радуясь, что встретил в собеседнике столь тонкое чувство юмора, — давайте-ка выпьем все в баре еще по чашечке кофе. Или, может быть, Эльзе хочется глоточек пива, а? — лукаво поддразнил он.

Фрау Лутц нахмурилась, Эльза под слоем пудры залилась густым румянцем, и Хансен сказал поспешно:

— Нет уж, позвольте, я угощаю.

По дороге они любезно пререкались — кто же угощает, но в конце концов, когда уселись за стол, роль хозяина досталась Хансену.

— Поскольку вы датчанин, — любезно начал Лутц, с удовольствием отхлебнув из первой утренней кружки глоток пива, — молочное хозяйство для вас самое естественное занятие.

— Я швед, — терпеливо объяснил Хансен, за долгие годы ему порядком надоели тупоумные иностранцы, которые не умеют отличить датчанина от шведа или норвежца. — Это не совсем одно и то же.

— Вот как? Ну а я швейцарец, и для меня естественно содержать гостиницу. Гостиница в Санкт-Галлене перешла ко мне по наследству, она принадлежала еще моему прадеду. Но мне не сиделось на месте, знаете, от добра добра не ищут, а мне взбрело в голову непременно заняться этим делом где-нибудь за границей. Швейцария, видите ли, слишком тихая и мирная страна. Да, все путеводители говорят, какая Швейцария мирная, красивая и живописная. И это чистая правда. Но чуть не каждую неделю я получал по почте из Мексики путеводители и разные брошюры, и все с приглашениями: мол, солидные деловые люди, приезжайте в Мексику, вкладывайте свои денежки — и вы разбогатеете.

— Мне тоже их присылали, — сказал Хансен. — Кое-что там было верно.

— Далеко не все, — возразил Лутц. — Ни словечка про их политику, ни намек на революцию. Все только про их роскошную природу, и роскошную погоду, и роскошных туристов, у которых карманы битком набиты роскошными деньгами. Ну скажите на милость, — продолжал он с недо-

умением, — я ведь с колыбели рос среди этакой роскоши, мог бы додуматься — да у нас, мол, и здесь все то же самое. Только одно не так: туристов-то в Швейцарии много, но и гостиниц очень много, даже слишком. На туристах круглый год не заработаешь. Бывают мертвые сезоны. Бывали времена, когда мы все рады бы предложить самое щедрое гостеприимство, а приезжих раз-два, и обчелся. А эти брошюрки — серьезные, официальные, их какие-то правительственные канцелярии выпускали, — уверяли, что в Мексике все по-другому. Никаких мертвых сезонов, от бездельников круглый год отбою нет. Еда дешевая, рабочая сила дешевая, помещения дешевые, налоги низкие, все по дешевке, только туристы — не дешевка, напротив, первый сорт. Почти сплошь американцы из Штатов, и с них за все можно спрашивать столько, сколько они платили у себя дома, и даже дороже. И им все что угодно можно сплавить, они не разберутся... Понятно, в этих брошюрках так прямо, всеми словами не говорилось, но я старый воробей, я читал между строк. Даже и сейчас можно подумать, будто там рай земной... ну, мы же все знаем, что такого нет на свете. В Швейцарию к нам приезжали немцы, и англичане, и французы, испанцы, евреи из Центральной Европы, а в прежнее время еще и русские — о господи, вот кто мог свести тебя в могилу! И политэмигранты со всего света — приезжают с видом богачей, а у самих в кармане ветер свищет, но вот завтра они уж непременно получают огромные деньги... Ну, мы и двинулись с женой и вот с Эльзой, она тогда, в девятьсот двадцатом, была вот такая, совсем еще крошка...

Эльза беспокойно поежилась, стиснула пивную кружку. Хансен мельком глянул на нее, как на что-то неодушевленное и совершенно не интересное, и сразу отвел глаза. Обеспокоенная мать старалась перехватить взгляд отца, но безуспешно. Лутц, увлеченный своим рассказом, обращался только к Хансену.

— Мы сказали нашим родным, что возвратимся миллионерами, и они нам поверили. Мы обещали покуда посылать им деньги, так что и они все разбогатеют. И ни разу ни гроша не послали. Целый год ушел на то, чтоб начать дело — искали подходящее место, добивались разрешения от правительства, совали разным людям взятки, воевали с местными профсоюзами... долго рассказывать, да вы и

сами знаете. Но в конце концов мы завели очень приличную маленькую гостиницу, и туристы и вправду понаехали, и вправду очень хорошо за все платили. Но в девятьсот двадцатом году случилась революция. И в двадцать первом еще одна, и в двадцать втором; а в двадцать третьем и в двадцать четвертом — контрреволюция; а потом опять революция, и опять, и так по сей день. Под конец мы решили вернуться в мирную Швейцарию. Ну и вот. Хотите небольшой деловой уговор? Посылайте ко мне туристов из вашей Дании, а я стану понемногу покупать ваше лучшее масло. У нас тоже есть масло, в Швейцарии все есть, но не так уж много...

И Хансен в свой черед вежливо потолковал об экспорте масла и сыра, бекона и яиц, тщательно, до мелочей взвешивая, какие тут подстерегают опасности и на какой можно рассчитывать доход. Эльза приуныла: уж наверно, с Ампаро Хансен беседует не о торговле маслом. Что ж, хорошо, что по нему сразу видно: упрямый, неуживчивый, с таким трудно ладить. И слушать его так же скучно, как ее папу. Нет, она рада, что он ей не нравится, с самого начала не нравился; и ему она вовсе не хочет нравиться, а все-таки очень обидно, что он совсем не обращает на нее внимания, будто нарочно старается оскорбить. И вообще он слишком старый — двадцать восемь, не меньше.

Она глубоко, устало вздохнула, выпрямилась и опять стала смотреть на неугомонные веселые волны, сверкающие в утренних лучах. Безмолвно разжигала она в душе враждебное чувство к Хансену — до чего долговязый, неуклюжий, до чего у него дурные манеры, и огромные ножщи, и мохнатые белобрысые брови. Нет, ей нужен совсем, совсем не такой человек. Уж наверно, теперь мать и сама видит, что, даже не будь той испанки, Хансен никак ей, Эльзе, не пара. Даже в кавалеры для танцев на время плаванья — и то не годится. Нет, не станет она с ним танцевать, если он и пригласит. Но он, конечно, не пригласит...

Есть на корабле один студент — молодой, черноволосый, с такими дерзкими глазами, точно он ничего и никого на свете не боится, недавно он носился как шальной по палубе во главе пляшущей вереницы своих приятелей, выкрикивал по-испански что-то непонятное — она не могла разобрать, что это за жаргон. И раз, пробегая мимо, поглядел на Эльзу, наклонился к ней, улыбнулся как-то краем губ,

украдкой, будто у них двоих есть какой-то секрет. Так и пронзил ее взглядом — и, громко распевая и приплясывая, промчался дальше. Вот кто ей подходит. Эльза прикрыла глаза рукой, заслонилась от всех — вдруг по лицу заметят, каким жарким, сладким волнением переполнилось ее сердце.

— Что с тобой, Эльза? — тревожно спросила мать. — Ты плохо себя чувствуешь?

— Нет-нет, мама, не беспокойся, — сказала Эльза, не отнимая ладоней от лица, — просто слепит, солнце очень яркое.

Тут в буфете появился тот самый студент, словно Эльза вызвала его какими-то заклинаниями; сейчас он не пел во все горло и не приплясывал, а шагал лениво, не спеша, с двумя приятелями. Но разговаривал он громко, и хоть у Эльзы шумело в ушах, она расслышала его слова.

— На нашем корабле присутствует La Cucaracha Mystica собственной персоной, таинственная владычица тараканов и всего насекомого царства, воплощение неукротимого идеализма, — напыщенно, по-актерски разглагольствовал он. — Я сам ее видел. Она здесь в плену, со всеми своими жемчугами.

— La cucaracha, la cucaracha, — хором отозвались приятели, верные своей лукавой и злобной обезьяньей природе. Они наклонялись друг к другу и вопили дикими голосами, но не допели еще первый куплет, как зазвучал горн, сзывая пассажиров к полуденной трапезе. Состроив комически алчные гримасы, студенты разом повернулись и ринулись в кают-компанию. Теперь уже для всех пассажиров самыми важными и желанными были часы еды — и у трапа по обыкновению собралась толпа, постепенно растягиваясь в чинное шествие.

Капитан сидел во главе стола, прямой как доска, заткнув салфетку за воротник и тщательно расправив ее на груди. На другом конце капитанского стола рассеянно вертел в пальцах стакан с водой доктор Шуман. При появлении дам оба встали. Капитан сдернул салфетку, отвесил глубокий поклон, снова сел и опять заправил салфетку за воротник.

Лиззи Шпёкенкикер, чье место было по левую руку от капитана, хихикнула, покраснела и поглядела на него приторно-застенчивым взглядом заговорщицы.

— Мы, кажется, сегодня уже встречались, дорогой капитан, — нескромно заметила она.

— Да, безусловно, дорогая фрейлейн, — весьма сухо ответил капитан.

Фрау Риттерсдорф, которая сидела по правую руку от него, с осторожным упреком и неодобрением посмотрела на Лиззи, затем обратила к капитану самую чарующую улыбку, на какую была способна; она была вознаграждена: капитан на миг обнажил два передних зуба и слегка изогнул уголки губ подобием ответной улыбки. Все прочие обратились к нему лицом, как подсолнухи к солнцу, дожидаясь, чтобы капитан положил начало застольной беседе.

— Обыкновенно я не выхожу к столу так рано, поскольку в первые дни плавания мне надлежит все внимание и все усилия отдавать моему кораблю, — самым официальным тоном, словно с трибуны, заговорил капитан. — Но я рад сообщить, что, хотя неисчислимые помехи и препятствия в сумме создавали положение чрезвычайное, никогда еще мне не удавалось так быстро и решительно их устранить. На корабле мелочей не бывает, малейшая небрежность в любой области может привести к тягчайшим последствиям. Вот почему обычно я вынужден время от времени лишать себя удовольствия находиться в приятном обществе, которое собралось за моим столом. Но этому лишению я подвергаю себя ради вашей безопасности и удобства, — заключил он, подчеркнув тем самым, что все они в неоплатном долгу у него.

— Пусть это делается для нашего блага, но для нас это тоже лишение, — краснея от собственной смелости, тонеющим голоском вымолвила маленькая фрау Шмитт.

Фрау Риттерсдорф досадливо поморщилась: эту короткую речь, несомненно, следовало произнести, но только в более изысканных выражениях, с большим изяществом и, уж конечно, не этой Шмитт, она за капитанским столом отнюдь не первое лицо. Однако же капитан казался польщенным. Он слегка поклонился фрау Шмитт и одобрительно заметил:

— Вы очень любезны.

Профессор Гуттен продолжил беседу на ту же тему — о присутствии и власти капитана, но уже в ином ключе, не с женской, а с мужской точки зрения: он стал рассуждать о значении навигации.

— Должен чистосердечно признаться, в этой науке я профан, — сказал он с мужественной откровенностью человека, знающего, что в своей-то области он — признанный авторитет. — Но я неизменно с величайшим интересом убеждаюсь, что всякой науке, да и всякому искусству прочной, нерушимой основой служит математика. Не будь математики, что было бы с музыкой, с архитектурой, с химией и астрономией и, главное, с подлинно научным искусством навигации как на море, так и в воздухе? Можно считать бесспорным правилом: чем сильнее человек в математике, тем сильнее он как штурман или композитор. А вы как полагаете, дорогой капитан, ваш практический опыт подтверждает это правило?

Капитан довольно скромно согласился, что его природные способности к высшей математике всегда были весьма ценны для него как для моряка. Профессор Гуттен продолжал развивать свою идею уже в чисто философском плане, а остальные за столом, особенно дамы, слушали в почтительном молчании, все они, кроме фрау Риттерсдорф, вскоре потеряли нить его мысли.

Небольшое, но приятное разнообразие внес Вильгельм Фрейтаг: уже не впервые он громко отказался от восхитительной вестфальской ветчины, которую подавали на закуску.

— Тогда фаршированные яйца, сэр? — спросил официант. — Или паштет из печенки?

— Пожалуй, дайте сельдь в сметане, — сказал Фрейтаг.

— Разве вы вегетарианец, герр Фрейтаг? — воскликнула Лиззи. — Как интересно! Неужели вы отказываетесь от такой восхитительной колбасы, и от грудинки, и от этой восхитительной ветчины? Непременно попробуйте как-нибудь — если еще взять в придачу ломтик дыни, это просто божественно!

Фрейтаг, щедрой рукой накладывая себе в тарелку зеленый горошек, сказал довольно сухо:

— Я вообще не ем свинину.

Услыхав такие слова, фрау Риттерсдорф приподняла

брови и переглянулась с капитаном, потом с фрау Гуттен, потом с герром Рибером, и мелькнувшая у нее мысль за-жгла в глазах у всех троих ответную искру. Рибер широко улыбнулся и погрозил Фрейтагу пальцем.

— А-а, понятно, — сказал он. — Употребляете в пищу только то, что дозволено иудейским законом.

При таком невероятном предположении (впрочем — а вдруг?..) все от души рассмеялись и заулыбались Фрейтагу: уж наверно, он сумеет оценить дружескую шутку. Потом обменялись обычными замечаниями о евреях и об их непостижимых обычаях и при этом обмене уверенно ощутили, что все они люди одного толка и никакие непримиримые противоречия их не разделяют; на этом они с удовольствием сошлись и уже готовы были переменить тему; но тут их внимание привлекла неожиданная суматоха, возникшая за столом, где сидели студенты.

Молодые кубинцы поднялись со своих мест и с поклоном повернулись к трапу, и один бурно выкрикнул:

— Viva!

Женщина, которая только что вошла, ответила на приветствие коротким, необычайно старомодным, изысканно учтивым книксеном, потом проследовала за стюардом к маленькому отдельному столику и села спиной к студентам. Они тоже уселись, странно, хитро переглядываясь, подносили к губам салфетки, скрывая усмешку.

Женщине этой можно было дать лет пятьдесят, и еще недавно она, без сомнения, была красавицей. Матово-бледное лицо без единой морщинки, маленький, пухлый рот ярко накрашен, небольшие пронизательные черные глаза сильно подведены и удлинены к вискам положенными вкось темно-синими штрихами; короткие рыжеватые волосы тоже подкрашены, подвиты надо лбом и около ушей. Фигура еще стройная, только лениво круглится животик; платье дорогое, нарядное и хотя уже далеко не новое, но чересчур элегантно для путешествия, да еще подневольного. В ушах и на шее огромные жемчуга, и два жемчужных кольца на левой руке. А на правой — что-то издали похожее на светлый, в трещинках изумруд величиной с воробьиное яйцо, окруженный мелкими бриллиантами. И руки эти — узкие, точеные, но очень старые, с набухшими венами — были в непрерывном движении. Сжимались и разжимались,

бесцельно опускались с края стола на колени, сплетались пальцами и вновь разъединялись, раскрывались в воздухе ладонями вверх, взлетали к волосам, поглаживали платье на груди, словно жили своей отдельной жизнью, помимо воли женщины — сама она сидела неподвижно, с несколько даже застывшим лицом и, слегка наклонясь, читала меню, которое лежало возле ее прибора.

Все, кто был в столовой, обернулись и уставились на нее.

— Откуда... откуда она взялась? — спросила капитана фрау Риттерсдорф. — Никто не видел ее при посадке, и раньше, в городе, тоже. — Она вопросительно оглядела соседей по столу. — Мы, во всяком случае, не видели.

— Ничего удивительного, — с важностью сказал капитан. — Эта дама — испанская *condesa* — прибыла на борт за несколько часов до остальных пассажиров, ее тайно доставили два полицейских чина и пытались сразу препроводить на нижнюю палубу, они воображали, что я всю дорогу буду держать ее в цепях или по меньшей мере под замком. Но я не мог так обращаться с дамой, в чем бы она ни провинилась. — Капитан посмотрел на странную пассажирку с нежностью, он поистине наслаждался видом этой особы, настоящей дамы из знатного рода: знатные персоны не часто появлялись на его скромной посудине. — Конечно, я бы как-то о ней позаботился, я бы уж постарался, чтобы она ни в чем не нуждалась; по счастью, когда ее друзья в Мексике узнали, что она отплывает на моем корабле, они по телеграфу заказали ей отдельную каюту первого класса.

— Посмотрите на ее руки! — воскликнула Лиззи. — Что это она делает?

— У нее сейчас в высшей степени напряжены нервы, — пояснил доктор Шуман. — Пожалуй, в ее положении это простительно. Вскоре она станет спокойнее.

Он говорил сухо, деловито, будто ставил диагноз.

— Особа не первой свежести, — заметил Рибер и тотчас пожалел о своей бестактности: семь пар глаз уставились на него с осуждением.

— Да, она не молода, — сказал доктор Шуман, — и ее постигли разнообразные неприятности, для которых не было никаких оснований, а между тем...

— Неужели я так глуп, чтобы принимать всерьез всю

эту латиноамериканскую политику. — И капитан сурово оглядел сидящих за столом. — Мне заявили, что эта женщина — опасная революционерка, международная шпионка, что она распространяет поджигательские воззвания, повсюду сеет бунт и мятеж, подстрекает к восстаниям... невозможно верить этому вздору. А я полагаю, что она из тех богатых, знатных и праздных дам, которым скучно без приключений и они попадают в сомнительные истории, совершают промахи за промахом и нимало не понимают, что делают, — с женщинами всегда так, когда они ввязываются в политику! Вот на этом она и обожглась. Что ж, — прибавил он мягче, — это послужит ей уроком, и не нам наказывать ее еще больше. Высылают ее всего лишь на Тенерифе. Это не так страшно, а пока я желаю ей счастливого плавания.

— Студенты как будто приветствовали ее очень почти-тельно, а они совсем не похожи на революционеров того типа, какой я знал в Мексике, — в раздумье заговорил профессор Гуттен. — Этих я скорее счел бы отпрысками состоятельных родителей, которые легкомысленно отнеслись к родительскому долгу и самым прискорбным образом избавляли своих сыновей. Такие молодые люди слишком часто встречаются в Мексике, да и повсюду в Америке. Для нас было насущной задачей оберечь от их влияния немецкую молодежь в наших школах. С радостью могу сказать, что мы в этом преуспели, ибо опорой нам было надежное сочетание немецкого характера и немецкой дисциплины.

— Вот и в Гвадалахаре обстановка была достойна сожаления, — подхватила фрау Шмитт. — Мой дорогой муж так часто огорчался, что наши прекрасные немецкие дети не ограждены от пагубных иностранных обычаев.

— Никогда не думала, что революционерки носят такие жемчуга, — следуя своему особому ходу мыслей, вмешалась фрау Риттерсдорф. — Если только они настоящие, но это еще вопрос.

— Мне кажется, можно не сомневаться, что на такой достойной даме жемчуга настоящие, — почтительно заметила фрау Шмитт.

Но капитан не позволил разговору принять столь опасный, чисто женский оборот.

— Студенты направляются в Монпелье, — объяснил он Гуттену. — Будут продолжать там образование, ведь из-за

недавних волнений Кубинский университет закрыли, не дав им доучиться. Все эти беспорядки, разумеется, совершенно бессмысленны, их надо было давно уже решительно, самым суровым образом пресечь. А что до революционеров — с этой породой я не знаком. Охотно предоставляю их тем, кто обязан с ними справляться по долгу службы.

Капитан низко нагнулся над тарелкой и, размеренно наклоняя и снова приподнимая голову, принялся поглощать одно блюдо за другим.

Тема была исчерпана или по крайней мере отложена, ко всеобщему удовлетворению, на единственно правильной ноте.

Немного вздремнув, Дженни, хоть ей привиделся дурной сон, встала освеженная, хорошее настроение вернулось; она рассказала Дэвиду все, что узнала об испанской графине, и немало удивилась, когда он с живым интересом, даже с восхищением стал присматриваться к этой даме; *condesa* уже немного успокоилась и теперь близоруко разглядывала салат у себя на тарелке.

— Кто тебе это рассказал? — спросил Дэвид, он не желал верить ни одному слову Дженни, как бы увлекательны ни были ее новости.

— Вильгельм Фрейтаг рассказал, сегодня утром, мы с ним гуляли по палубе.

— Уже вошло в привычку? — спросил Дэвид.

— Мы с ним только второй раз гуляли, — сказала Дженни. — Посмотри-ка на этих танцоров. Жуткие, правда?

Она почему-то никак не могла признать в этих испанцах людей. Казалось, это марионетки в человеческий рост, движимые невидимыми нитями, грациозно разыгрывают нескончаемую пантомиму, красиво изображая весьма некрасивые чувства. Хмурые лица, гневные жесты, недоброжелательство, презрение, насмешка — все выглядело неправдоподобно преувеличенным, нарочитым, и ей не верилось, что так могут себя вести настоящие живые люди.

С той минуты, как в столовой появилась *condesa*, испанцы неотступно следили за ней глазами, и в их взглядах

светилась упрямая злоба. Они подталкивали друг друга локтями, перешептывались, угрюмо сжимали губы и, даже когда ели или поворачивали голову, все равно продолжали кося на нее посматривать.

— Если они хотят ее обокрасть, они заранее себя выдадут своим поведением, — сказала Дженни. — Вон тот, которого зовут Пепе, глаз не сводит с ее жемчугов. И знаешь, я его не осуждаю — посмотри, Дэвид, лапочка, правда, жемчуга прелестные?

— С виду недурны, — сказал Дэвид. — Но может быть, это и грошовая подделка, я все равно не разберу. В жизни не видел близко настоящей жемчужины.

— Лапочка, ты так говоришь, как будто вырос в ужасной бедности. Это правда?

— Еще бы, черт возьми.

— Ну согласись хотя бы, что жемчуг у нее красивый.

— Не знаю, не уверен, — сказал Дэвид. — Я ослеплен предубеждением против людей, которые могут покупать такие побрякушки. Возможно, ее жемчуга великолепны. Мне наплевать.

— Очень великодушно с твоей стороны хоть на это согласиться, — сказала Дженни. — Настоящее великодушие.

— Наверно, мне эти жемчуга больше понравились бы, если б я знал, что они поддельные, — лениво промолвил Дэвид, разговор ему уже наскучил.

— Правильно, лапочка! — Дженни вдруг развеселилась. — Это как раз в твоем духе. Может быть, тебе и кукла, набитая опилками, больше по вкусу, чем живая женщина? А вот мне и ты нравишься, и настоящий жемчуг тоже. Очень странно, просто даже непонятно, правда?

Она улыбнулась Дэвиду, лицо ее, преображенное улыбкой, удивительно похорошело, и он ответил нежной улыбкой. Они залюбовались друг другом.

— Так ты считаешь, что я — подделка? — спросил Дэвид.

— А может быть, она вовсе их не покупала, — сказала Дженни. — Может быть, они к ней перешли по наследству, или это ей любовник подарил.

— Может быть, — сказал Дэвид, и оба замолчали, спокойные и довольные.

Сидя за капитанским столом, фрау Гуттен заметила, что муж ничего не ест; он еле ковырял ножом и лишь для приличия изредка подносил к губам почти пустую вилку. Напряженное лицо его побледнело, на лбу выступила испарина. Ленивая волна застольной беседы докатилась до него, помедлила, не получив отклика, и потекла дальше по кругу, подхваченная его соседом с другой стороны. Посреди трапезы, которая доставляла ей истинное удовольствие, фрау Гуттен ощутила внезапную досаду на мужа: такой здоровыслящий, когда надо рассуждать за других, такой мудрый и пронизательный в вопросах отвлеченных, он упрям и капризен, как дитя малое, когда надо подумать о себе. Два часа назад он с ее помощью еле дошел до каюты, позволил уложить себя и прикладывает к голове холодные примочки и, уступая временной слабости, пообещал жене, что будет лежать смирно и даст за собой поухаживать, пока не оправится.

А потом без всякого предупреждения отбросил мокрое полотенце, сел на постели и громко, воинственно заявил:

— Нет, Кетэ, стыдно мне поддаваться слабости... не-большое усилие воли — и я ее преодолею!

Видя, что надвигается обычный приступ упрямства, фрау Гуттен попыталась отогнать его, точно сорвавшееся с привязи животное.

— Нет-нет, — запротестовала она, — воля тут не поможет. Дай пока воле отдохнуть и лежи спокойно. Сейчас не время выказывать достоинства твоего характера.

Муж не потрудился ответить на такую ересь. Он встал, расправил плечи, сдвинул брови и, заслушав горн, зовущий к столу, решительно взял жену под руку.

— Вперед! — сказал он. — Будем, как всегда, дышать свежим воздухом и есть с аппетитом, а всякий вздор вроде морской болезни оставим нашему милому Детке, он не может в достаточной мере опереться на интеллект, ему все же не хватает силы духа — *il est chien de coeur*¹, — лукаво сказал он; оба весело рассмеялись, так, смеясь, вышли из каюты и торжественно явились к столу.

¹ Мужественный пес. Гуттен перефразирует выражение «homme de coeur» — мужественный человек (*франц.*).

А теперь, если сию же минуту не уйти, один бог знает, что будет. Она разом потеряла всякий аппетит, ощутила внезапную пустоту внутри, ее чуть не стошнило; и она прибегла к уловке, которая одна могла обмануть профессора и заставить его выйти из-за стола, — встала, слегка кивнула остальным, сказала, ни на кого не глядя:

— Прошу извинить, — и обернулась к мужу: — Пожалуйста, дорогой, проводи меня, мне немного нездоровится.

Гуттен тотчас поднялся, неловко попятился, так что опрокинул стул, но даже не заметил этого. Фрау Гуттен напрягла все силы, чтобы выдержать тяжесть руки, которая должна была бы служить ей опорой. Теперь — уйти, уйти как можно скорее, не говоря больше ни слова. Лишь у себя в каюте, когда за ними надежно затворилась дверь, профессор Гуттен громко, отчаянно застонал. Повалился ничком на постель, и его вырвало. Детка выполз из своего угла и скорее из чувства долга, чем ради удовольствия лизнул свисающую с койки руку хозяина, а фрау Гуттен вся похолодела от омерзения. Она тоже легла, откинулась на подушку, закрыла глаза.

— Кетэ, — хрипло позвал муж, — Кетэ, помоги.

— Оставь меня в покое, — через силу, сквозь зубы сказала жена.

Медленно, тяжело она перекатилась на бок, дотянулась до кнопки звонка, нажала ее и уже не отпускала, пока не отворилась дверь и не послышались шаги того, кто явился на помощь. Совесть и чувство долга, заботливость и покорность — гранитная основа ее замужества, ее роли примерной жены — развеялись как дым, и она предалась недостойному блаженству — совершенному упадку духа. Пускай для разнообразия кто-то другой с ним понянчится. Пускай он сам для себя хоть пальцем шевельнет. Пускай даже, в кои-то веки, кто-нибудь позаботится и о ней! Ей опостылел весь свет... ей до смерти опостытели люди... хриплым голосом, то и дело судорожно сглатывая, она потребовала, чтобы горничная помогла ей; глуповато-рассеянное, но, в общем, добродушное лицо горничной сразу стало холодно-враждебным, и рука, что ложку за ложкой совала в открытый рот фрау Гуттен мелкие кусочки льда, была отнюдь не ласковой.

После полдника, проходя по палубе, доктор Шуман остановился взглянуть на «бега», устроенные впервые со дня отплытия из Веракруса, — и с досадой увидел, что, несмотря на его прямой запрет, матроса с блуждающей почкой опять поставили передвигать игрушечных лошадей по беговой дорожке. Вокруг удобно уселись несколько пассажиров со спокойными, довольными лицами, темные очки защищали их глаза от слепящих лучей, и они наслаждались солнцем и свежим воздухом; а больной матрос, вынужденный поминутно наклоняться и вновь с трудом разгибать ноющую спину, обливался потом, в углах бескровных губ прорезались глубокие морщины, взгляд был страдальческий. Второй матрос, крепкий и сильный, не поднимал глаз, словно стыдился своего ребяческого занятия.

Доктор Шуман пошел дальше, тут неразлучная парочка — долговязая крикливая девица и маленький толстый человечек — сражалась в пинг-понг, несколько любителей плескались в небольшом парусиновом бассейне, установленном на нижней палубе. Проходя по левому борту, доктор осторожно обогнул играющих в шафлборд¹, кивком поздоровался с ними, но даже не взглянул на лица; и тут же краем глаза заметил близнецов-испанчат: Рик и Рэк старались подольститься к полосатому красавцу — корабельному коту, чесали ему шею, гладили по спине. Кот жмурился от наслаждения, выгибал спину и не запротестовал, когда близнецы вдвоем подняли его.

Тяжелый, обмякший, неуклюжий в своей покорности, он так разнежился, что не уловил их истинных намерений, еще миг — и было бы слишком поздно. Лица детей вдруг стали жесткими, руки — безжалостными, они подняли кота к перилам и пытались сбросить за борт. Кот весь напрягся, вцепился передними лапами в перила и стал яростно отбиваться задними. Спина дугой, хвост щеткой, когти, зубы — все оружие пущено в ход.

Одним прыжком доктор Шуман подскочил к детям и оттащил их от борта. Они не успели выбросить кота; теперь он вывернулся у них из рук и промчался по палубе, раскидав по дороге плашки игроков в шафлборд — в обычных условиях он не позволил бы себе подобной неучтивости, это был

¹ Игра наподобие детских «классов».

очень воспитанный кот. Рик и Рэк, задрав головы, смотрели на доктора, голые руки, исполосованные кровавыми царапинами, разом ослабли у него в руках.

Доктор Шуман, держа обоих крепко, но умело, чтобы не сделать больно, заглянул им в глаза — безнадежно: ничего не разглядеть в глубине этих глаз, кроме слепой, упрямой злобы да бессердечной хитрости, а ведь перед ним не звереныши, а люди. Вот именно, люди, тем печальнее, подумал доктор Шуман и чуть-чуть разжал пальцы.

Они мгновенно вывернулись у него из рук, коротко переглянулись — свирепые маленькие сообщники, необыкновенно схожие, если не считать загадочной, неуловимо проступающей в чертах лица меты пола, — и бросились бежать, только мелькали худые коленки да развевались спутанные волосы. Порядка ради надо бы хоть йодом смазать царапины, подумалось Шуману, но, пожалуй, и так сойдет.

Он осторожно опустил в ближайший шезлонг, стараясь дышать как можно ровнее и спокойнее, затихнуть, не шевелиться. Сердце у него никуда не годилось, и эта весьма заурядная болезнь могла прикончить его в любую минуту. Легко, двумя пальцами он нащупал пульс, но он уже знал счет; он в точности знал, что происходит, что всегда случилось и могло случиться от малейшей нервной встряски или резкого движения; за последние два года он слишком часто пересматривал эту обыденнейшую историю болезни, ничего нового тут не скажешь и не придумаешь, а главное, увы, ничего больше не сделаешь.

Он всегда предпочитал не ставить себе диагноз и не лечить себя, привык советоваться с врачами, которых считал более знающими и опытными, хотел бы верить их предписаниям, но и сам прекрасно понимал, что с ним. В конце концов, все его познания в медицине не могли связать то, что он знал о себе как врач, с тем, что чувствовал как обреченный, которому ежеминутно грозит смерть. Он сидел спокойный и покорный, словно застигнутый бурей в поле, где негде укрыться, и почти насмешливо прикидывал, есть ли еще сказочная, неправдоподобная надежда. Наконец очень осторожно пошарил во внутреннем кармане и достал пузырек с прозрачными каплями.

Одно было для него непостижимо в этой истории: ведь он так ясно понимает всю правду о себе и так твердо его ре-

шимость протянуть возможно дольше, разумно применяясь к своей болезни, — как же случилось, что он рисковал жизнью, чтобы спасти животное, да еще кошку? (Кошек он всегда терпеть не мог, он по натуре любитель собак.) Будь у него секунда на размышление, кинулся бы он вот так, рискуя, что не выдержит сердце, спасать... даже и собственную жену? Судьба никогда не ставила его перед таким выбором, самая эта мысль, конечно же, нелепа... конечно же, вопрос давным-давно решен... по крайней мере надо надеяться, что решен! Лицо доктора Шумана оставалось невозмутимым, но он внутренне усмехнулся: воображают, будто кошка — хитрейший, хладнокровнейший зверь, а вот поди ж ты, едва не погиб этот хитрец, одурманенный сладким трепетом нервов и приятным потрескиванием электричества в его шерстке. И прославленный инстинкт не подсказал ему, что его почесывали и гладили не ради его мимолетного наслаждения, а лишь затем, чтобы легче схватить за шиворот и погубить для собственного удовольствия.

А может быть, тут и нечему удивляться. Такое не с одними кошками бывает. Любовь! — подумал доктор Шуман и изумился — это еще откуда? И тотчас, при всем надлежащем уважении к истинному смыслу этого слова, изгнал его из своих мыслей. Лучшие годы жизни он провел (и как могло быть иначе, ведь именно к этому занятию он превосходно подготовился), штопая и латая обманувшихся, отчаянных, упрямых слепцов, добровольных мучеников, и — что хуже всего — люди эти прекрасно понимают, что делают и чем это им грозит, и все же не могут устоять перед жарким соблазном снова усладить свою плоть, даже если вожделение, ими владеющее, будь то вино, наркотики, похоть или обжорство, несет им верную смерть.

Их ли смерть, моя ли, я ведь знаю, смерть не имеет значения, говорил себе доктор Шуман, моя — в особенности, если я с нею примирился. Он опять нащупал двумя пальцами пульс и ждал. Ему так страстно хотелось жить — хотя бы просто дышать, двигаться, оставаться в привычном теле, знакомом и надежном, как родной дом... и он не мог сдерживать волнения, оно прокатилось внутри горячей волной, как будто он выпил крепкого, терпкого вина.

— Господи, — сказал он, и глаза его впились в крутые волны: нескончаемо бежали они одна за другой, не зная ни

мыслей, ни чувств, движимые единой силой, повинуюсь гармонии мироздания. — Господи, господи!

Доктор Шуман верил в Бога — в Отца и Сына и Святого духа, а также в богородицу деву Марию, веровал истово, безоговорочно, как настоящий баварец и настоящий католик; и, произнеся имя Божие, которое заключало в себе и все остальные, он закрыл глаза, положился на милосердие господне и почувствовал себя утешенным и успокоенным. Неторопливо отнял пальцы от запястья, перестал прислушиваться к ударам сердца, которые гулко отдавались в ушах, и на несколько секунд почти до конца, всем существом своим примирился с близкой смертью, ощутил мимолетное, но гордое, удовлетворенное презрение к трусливой плоти. А потом понял, что это подействовали капли, как, бывало, действовали и прежде, как подействуют, возможно, еще не раз; понял, что приступ был не тяжелый и уже миновал: снова он ускользнул. Доктор Шуман открыл глаза, незаметно перекрестился, и тут его поразила сценка, которая разыгрывалась неподалеку, шагах в десяти.

Condesa разговаривала с молодым матросом. Парень был очень хорош собой — настоящий мужчина, могучие, мускулистые руки и плечи, под надвинутой на лоб бескозыркой простодушное загорелое лицо, большеротое, немного курносое. Стоит навытяжку, руки по швам, только голову чуть повернул и смотрит в сторону, лишь изредка мельком, смущенно глянет на женщину. Спиной он почти касается борта, а condesa стоит перед ним с распростертыми руками, словно преграждая ему путь к отступлению, и горячо, но неторопливо в чем-то его убеждает. Большие пальцы прижаты к раскрытым ладоням, и руки размеренно движутся, будто отбивая такт; черные глаза точно агаты; женщина покачивается то вправо, то влево, вытягивает шею, старается перехватить взгляд парня. А он круто отворачивается, потом вновь медленно поворачивает голову и слегка кивает, словно бы почтительно соглашается, но при этом до крайности смущен и пристыжен. Condesa похлопала его по плечу — и он подскочил, будто его ударило током. Рука машинально взлетела к бескозырке, он обошел женщину, подхватил ведро и швабру и поспешно зашагал прочь, уши его багрово пылали; минуту-другую condesa стояла не шевелясь. Потом медленно пошла следом, очень прямая,

голова высоко поднята, руки опущены вдоль тела и сжаты в кулаки.

Все это вызвало у доктора Шумана три очень разных чувства: вполне естественное любопытство — почему женщина ведет себя так странно, невольное восхищение ее удивительной красотой и чисто профессиональный интерес, который давно стал его второй натурой; итак, доктор Шуман поднялся и, делая вид, что просто прогуливается, на приличном расстоянии последовал за графиней.

То, что увидел он в ближайший час, навело его на серьезные размышления. Человек весьма нравственный, он с искренним осуждением наблюдал: как только *condesa* замечала мужчину в одиночестве — любого мужчину, будь то простой матрос, кто-то из корабельного начальства или пассажир, лишь бы только молодой, — она ухитрялась отеснить его куда-нибудь в угол, или к стене, или к борту и подолгу не выпускала, стояла перед ним и что-то говорила все так же тихо и доверительно, будто делилась некоей мучительной тайной, которая непременно должна возбудить в слушателе сочувствие.

И вот что поразительно: на нескольких ничуть не схожих между собою молодых людей все это подействовало совершенно одинаково. Сперва они слушали с вежливым вниманием, оно быстро сменялось удивлением, переходило в мучительное смущение и, наконец, в совершенную растерянность. На лице застывала неловкая улыбка, взгляд блуждал, отыскивая, куда бы удрать. Наконец, улучив мгновенье передышки в этом странном потоке слов или внезапно, будто заслышав зов издалика, каждый обращался в бегство, уже не заботясь о приличиях.

Доктор Шуман все время держался поодаль и не мог слышать, что говорит *condesa*, но его глубоко возмущали ее нескромные жесты. Она поглаживала себя по груди, по бедрам, ласково трепала слушателя по щеке, прикладывала ладонь к его груди, слушая, как бьется сердце. А меж тем лицо ее оставалось скорбным и слова она, видимо, говорила серьезные и печальные. «Пожалуй, я староват, не стою ее внимания, — кисло подумал доктор Шуман. — Для нее я недостаточно юн». И все же он твердо решил преградить ей дорогу. Да, конечно, время идет и разрушает человеческий организм, но долг каждого человека — не ронять своего до-

стоинства, не терять разума и ограничивать свою жизнь теми рамками, которые определены возрастом.

А если и оставить в стороне все эти соображения, рассуждал доктор Шуман, есть тут что-то постыдное, извращенное — когда немолодые люди, особенно женщины (в них и в лучшую пору жизни замечаешь тревожные признаки врожденной извращенности), ищут для эротического наслаждения молодых партнеров: они подобны родителям-чудовищам, пожирающим собственных детей... короче, если говорить со всей суровой прямоотой, это своего рода кровосмешение... Ладно, посмотрим. Несомненно, эта женщина страдает каким-то нервным расстройством в острой форме; ей не следовало путешествовать без сопровождающих, уже одно то, что она находится под арестом, доказывает: она не может отвечать за себя, и, очевидно, у нее нет друзей. Ведь первое и самое страшное последствие даже самого простого нервного «срыва» — утрата любви и людского сочувствия, когда вдруг оказывается, что ты всем чужой и от всех отрезан. Безумие — это временное торжество Зла в душе человеческой, полагал доктор Шуман, ибо врачебная наука и практика для него были неотделимы от его религиозных воззрений и верований, помешательство же, по его наблюдениям, всегда чуждо всякого благородства и проявляется лишь в какой-нибудь гнусной форме. Пусть наука делает, что может, но есть в судьбах человеческих нечто такое, чего нельзя постичь иначе как в свете божественного откровения; в самых глубинах жизни таится неразрешимая загадка — и вот здесь-то, заключил про себя доктор Шуман, смягчившимся взором все еще следя за графиней, — здесь, где в бессилии отступает человек, именно здесь и начинается бог.

Condesa шла довольно быстро и, обогнув носовую часть верхней палубы, скрылась из виду, а доктор Шуман через бар вышел к противоположному борту, намереваясь медленно пойти ей навстречу. Но тут ее увидели трое студентов-кубинцев, бросили игру в шафлборд и окружили графиню. У нее сразу стало другое выражение лица — ласковое, кроткое, снисходительное. Студенты дружно пошли с нею рядом, примеряясь к ее походке; они явно старались превзойти друг друга в почтительном внимании к даме. И когда проходили мимо доктора, до него донесся

ее слабый, жалобный голос, всего несколько слов:

— Мои дети, милые мои дети, их травили, как диких зверей, и они убежали и спали в лесу... а я могла только ждать и страдать, страдать и ждать... и пальцем не могла пошевелить в их защиту... — Руки ее взлетели вверх и описали мгновенный круг над головой. — Но они правы, что восстали, они правы, дети мои, хоть им и придется умереть, или я должна умереть или стать изгнанницей...

Студенты построили преувеличенно печальные мины. Хмурая брови, она в то же время бездумно им улыбалась. Один, приотстав шага на два, дерзко, с дурацким бесстыдством подмигнул доктору и постучал себя пальцем по лбу. Ответом был такой суровый, леденящий взгляд в упор, что даже этот наглец смешался и поспешно пустился догонять приятелей. Доктор Шуман посмотрел на часы, медленно, осторожно вздохнул и, подавленный, усталый душой и телом, решил дать себе передышку и до вечера полежать в тишине.

Лиззи Шпёкенкикер и герр Рибер сражались в пинг-понг; игра началась легко, беззаботно, но сразу перешла в ожесточенный поединок. Они гоняли мячик над сеткой взад-вперед, взад-вперед, понг-пинг, пинг-понг, удары все стремительней, короче, резче, лица все сильнее наливаются кровью, оба теперь бьют мрачно, молча, как автоматы. Победить — вопрос жизни или смерти, они больше не улыбаются. И вдруг за спиной Лиззи появилась condesa с тремя студентами, распеваящими «Кукарачу», и проплыла мимо, не посмотрев, не замедлив шаг; но Лиззи метнула в ее сторону быстрый взгляд, чуть замешкалась, и Рибер наконец выиграл.

— Позор! — взвизгнула Лиззи и, обежав стол кругом, ракеткой стукнула торжествующего Рибера по лысине. — Это все та сумасшедшая виновата и ее три дурака... это из-за них, из-за них... Ну почему мне всегда так не везет?

Рибер пригнулся, шагнул в сторону, снисходительно стал ее утешать:

— Ну-ну, ведь даже лучшие когда-нибудь проигрывают. Не надо так расстраиваться. Не забывайте, в игре главное — не победа, а сама игра.

— Вам хорошо говорить! — воскликнула Лиззи и опять замахнулась ракеткой.

Рибер ловко перехватил ее руку, поднес к губам и, смачно причмокнув, поцеловал.

— Ну вот, — сказал он, — у нас такая прелестная проворная ручка, и в следующий раз она будет еще куда проворнее. Не расстраивайтесь, что вы меня не обыграли. Я же трехкратный чемпион по пинг-понгу в «Sportverein»¹ Мехико.

— Охотно верю, — немного спокойнее сказала Лиззи. — Я не привыкла уступать в этой игре.

Рибер мигом оживился.

— А в какой же игре вы уступаете? — многозначительно спросил он.

Лиззи изо всей силы дернула его за локоть.

— Не смейте так разговаривать, а то я уйду! — пригрозила она и тряхнула головой, точно норовистая кобыла. — Не стану я такое слушать, и отвечать не стану!

— Вот умница! — воскликнул Рибер. — Все-то вы понимаете. А теперь, может быть, пойдём в бассейн поплаваем, поостынем немножко? Или, может быть, — с величайшим лукавством прибавил он, — вы предпочитаете опять меня побить... в пинг-понге или в какой-нибудь другой игре... в любой игре, по вашему выбору?

И он так пылко сжал ее руку повыше локтя, что Лиззи покраснела.

— Нет-нет, лучше поплаваем, — и, увлекаясь, закончила громче: — Давайте наперегонки!

В шесть часов к доктору Шуману пришел стюард: *condesa* больна и просит его сейчас же прийти. У каюты больной ждала горничная; увидав, что идет доктор, она довольно громко постучала в дверь и шагнула было за ним.

— Благодарю, вы можете идти, — сказала ей *condesa* спокойно-отчужденным, металлическим голосом женщины, привыкшей распоряжаться слугами, которых терпеть не может и которые терпеть не могут ее, и взглянула куда-то чуть правее горничной, словно та уже испарилась. Гор-

¹ Спортивное общество (нем.).

ничная, вымуштрованная в той же школе, тотчас вышла, пятясь и глядя в одну точку где-то на высоте умывальника.

В каюте стояла духота, дым турецких сигарет мешался с запахами крепких духов и эфира. Там и тут раскрыты дорожные, но изрядно потертые чемоданы, валяются в безнадежном беспорядке туфли, нарядные шали и шарфы, невообразимые шляпы, сморщенные и запачканные лайковые перчатки, причудливые, нежнейших оттенков цветы из мятого шелка и вытертого бархата, каких не знает природа. Condesa была в постели, линиялый розовый шелковый халатик спадал с белых плеч, едва прикрытых тонкой лиловой тканью ночной рубашки. Она порывисто села, в упор глядя на доктора, открыла рот, но ничего не сказала, стиснутые руки разомкнулись, взмахнули — назад, вперед, снова назад, и, наконец, задыхаясь, она выговорила:

— Вы должны мне помочь! Я, кажется, сейчас умру!

Доктор Шуман тронул ее лоб ладонью, словно перед ним был малый ребенок, и сказал спокойно и убедительно, как только мог:

— Ну нет, не думаю, во всяком случае, не так скоро.

Она уткнулась головой в поднятые под одеялом колени и принялась всхлипать, жалобным плачущим голосом забормотала что-то бессвязное, но доктор заметил — все это без слез. Он сел рядом и начал вынимать один за другим всевозможные инструменты из своего чемоданчика. Condesa утихла и с мгновенно проснувшимся любопытством заглянула внутрь чемоданчика. Пользуясь этим затишьем, доктор стал задавать обычные простые вопросы о ее самочувствии, и она отвечала ясно и разумно. Но когда он попросил ее снять халат и спустить с плеч и со спины ночную рубашку, она вдруг выпрямилась, посмотрела на него, черные глаза блеснули вызывающе, на губах заиграла лукавая, ликующая улыбка; так она улыбалась и сидела неподвижно, пока доктор Шуман раздевал ее. Она не помогала ему, только подняла руки, чтобы он мог стянуть рукава.

Он сосчитал ее пульс, послушал сердце и легкие, прижимая ухо то к ее груди, то к лопаткам, отметил про себя, что она изящно сложена и тонка в кости. Коротко посветил ей в глаза яркой лампочкой, измерил кровяное давление. Велел дышать глубже, несколько раз повторить «о» и «а» и, светя другой лампочкой, заглянул ей в горло. Довольно

сильно постукал двумя пальцами спереди и сзади по ребрам, старательно исследуя, помял живот, отчего она тихонько охнула. Сказал: «Сожмите, пожалуйста, кулак» — и через тонкую стеклянную трубочку высосал немного крови из синей жилки на внутреннем сгибе локтя. Расширенные глаза ее постепенно стали спокойнее, наконец она откинулась на спину и лежала не шевелясь, даже руки больше не дергались; она неотрывно смотрела на доктора Шумана, умиротворенная, словно под гипнозом, потом сказала совсем другим голосом, чем прежде:

— Ваши милые заботы так приятны, дорогой доктор, что меня клонит ко сну. Может быть, после всех этих допросов, после военной полиции мне только и нужно было человеческое прикосновение. А у них у всех очень грубые руки.

Она легко дышала приоткрытым ртом, и это дыхание сильно отдавало эфиром. Скрывая брезгливое неодобрение, вызванное открытием, которое он сделал в первые же секунды этого визита, доктор Шуман наклонился к больной.

— Вам отнюдь не нужны ни возбуждающие средства, ни наркотики, — внушительно заговорил он и легонько сжал ее запястье. — И уж во всяком случае, вам не нужен эфир. — Он сурово нахмурился. — Что за недостойная привычка для такой женщины! Зачем вы звали меня, отнимали у меня время? Насколько я могу судить, вы нимало не больны, — выговаривал он строго. — У вас завидное здоровье, никаких органических пороков. Сколько вам лет?

— Сами видите, я уже стара, — был ответ. — Слишком стара.

— Лет пятьдесят?

— Вы так все точно угадываете, — сказала *condesa*. — Надо признать вашу правоту, вы это заслужили. Итак, пятьдесят.

— Мне кажется, это не так уж много, — заметил доктор Шуман. — Я был бы очень рад, если бы мне снова стало пятьдесят.

— О, я ни за что не хотела бы стать ни на день моложе. Поверьте, в моей ужасной жизни не было такого дня, который мне хотелось бы пережить еще раз... по крайней мере сейчас мне так кажется. Что мне делать? Куда деваться?

Что со мной будет? Меня выслали. — Тут она опять села и принялась раскачиваться из стороны в сторону и размахивать руками. — Мой муж умер... слава богу, муж мой умер, — повторила она безрадостно, — но двое моих сыновей, мои дети, — они бежали неизвестно куда... вот сейчас мы с вами сидим и уютно разговариваем в безопасности... на этом дрянном пароходе, но все-таки в безопасности! А в эти минуты мои сыновья... где они спят ночью, кто им поможет, кто накормит, где они?.. Когда я опять их увижу? И мой дом сторел, — продолжала она тусклым, безжизненным голосом, будто читая по скучной книге, — а эти скоты слуги разбежались и растащили все, чего им хотелось, — деньги, серебро, платье, меха, — все похватали и кинулись вон из ворот, стадо стадом. И у всех стали такие лица, сразу видно — никто не считает меня человеком.

Руки ее затряслись, губы искривились, обнажая зубы, она попыталась встать с постели и сбросила на пол черный чемоданчик с инструментами.

— Подождите, — сказал доктор Шуман.

Он встал, поднял чемоданчик и начал готовить небольшой шприц. Condessa сразу замолчала и с обычным своим словно бы небрежно-рассеянным видом следила за ним.

— Только один укол, на сегодняшний вечер, — сказал он. — И вы не должны больше прибегать к эфиру. Где вы его прячете? Я заберу его с собой.

Она махнула рукой в сторону одного из разбросанных по комнате чемоданов:

— Где-то там.

Он вонзил иглу в мякоть руки повыше локтя, от укола женщина слегка вздрогнула.

— Ах, чудесно. Обожаю всякие снадобья, всякие — и те, что бодрят, и те, что усыпляют. Всякие люблю. Вы бы меня похвалили, я ведь не все зелья беру, какие хотелось бы. А это было бы легко, так легко...

Она откинулась на подушки, а доктор Шуман порывлся в чемодане, который она ему показала, и вытащил из этого хаоса склянку с эфиром.

— Это все? — спросил он. — Надеюсь, вы скажете правду.

Она молчала, дожидаясь новых просьб и уговоров. Но Шуман не прибавил ни слова. Отошел к умывальнику и опо-

рожнил пузырек. И закашлялся — от паров эфира перехватило горло.

— Что ни говорите, а всякими наркотиками вы пользовались больше, чем следовало, — заметил он.

— Не браните меня. Вы мне еще не сказали, что со мной будет, с наркотиками или без наркотиков.

— При вашем отменном здоровье, — сказал доктор Шуман, — я могу только пожелать вам иметь достаточный и надежный доход и в какой-то мере примириться с обществом. С вами ничего больше не случится.

— Какая скука, — без выражения сказала она.

— Для особы со столь изощренными вкусами это, может быть, и скучно.

— Вот в чем разница между вами и мной. Я не намерена примиряться с обществом, которое презираю. Но ведь не я враждовала с этим обществом, это мои сыновья... А я просто его презирала. Мои сыновья — вот кто отдал меня во власть этого мира... Послушайте, вы говорите — у меня отменное здоровье. А средств нет никаких. Я арестантка, и меня высылают на какой-то из этих унылых Канарских островов...

— По-моему, Санта-Крус-де-Тенерифе не так уж плох, — успокоительно сказал доктор.

— Вы не были там в ссылке, — возразила *condesa*. — Бог свидетель, Куба — и та достаточно скучна, а уж Санта-Крус! Нет, не старайтесь меня утешить... Знаете что? Мне кажется, вы человек со сбережениями, ничем не связанный, вольны делать, что хотите... а здоровье у вас как будто неважное? Права я?

— Более или менее, — сказал доктор Шуман. — А где остальной эфир?

— Сами видите, это бесполезно, даже, в сущности, жестоко с вашей стороны давать мне добрые советы, — сказала она, поглаживая его по руке, оказавшейся совсем близко: доктор Шуман опять сел подле ее постели, руки положил на колени. — Но все равно, советуйте еще. Не уходите. Мне нравятся ваши добрые советы, нравится, когда вы меня браните и сердито смотрите мне в глаза, точно и правда беспокоитесь обо мне... точно вам не все равно, что со мной будет. Я не против, пускай мне пока будет скучно. Обещаю вам бросить эфир — по крайней мере здесь, на корабле. Это

я не ради себя, а ради вас. Я знаю, потом я опять начну... Чего-чего я только не перепробовала, но эфир, по-моему, лучше всего, хотя вы, кажется, считаете, что это недостойно! Такое приятное возбуждение и ни малейшей боли. Вы когда-нибудь пробовали?

— Нет.

— Непременно попробуйте, — сказала она смутно, как сквозь сон. — Другой флакон в красном кожаном несессере.

— Вам пора спать, — сказал доктор Шуман, снял ее руку со своего колена и опустил на постель. — Сейчас я пришлю горничную, а завтра опять к вам зайду.

— Какое чудесное средство вы мне впрыснули? — спросила *condesa*, веки ее медленно сомкнулись. — Не узнаю... что-нибудь новое?

Доктор Шуман коротко засмеялся, и она открыла глаза, восторженно посмотрела на него.

— Вы что же думаете, я вам скажу? — спросил он таким тоном, словно говорил с капризным ребенком.

— Вы смеялись, — с нежностью сказала она. — В первый раз слышу, как вы смеетесь! Ну, ничего, я сама попробую догадаться, что это за наркотик, а может быть, вы еще раз мне его дадите... Я вас обожаю, вы такой нелепый, ужасно хороший и добродетельный, и скучный, и смешной, но вы прелесть, прелесть!

Глаза ее снова закрылись, обеими руками она приподняла свои маленькие груди — и лицо ее, особенно улыбка, по-настоящему ужаснули Шумана. С точно рассчитанной резкостью он потряс ее за плечо.

— Посмотрите на меня! — сказал он сурово. — Довольно глупостей, прекратите это!

Руки ее вновь упали вдоль тела, она отвернулась. Почти не дыша, доктор стоял и смотрел, как она погружается в сон, точно в бездонный колодец... Легонько пощупал ее пульс, как-то даже страшновато было ее оставить. Собрал свой черный чемоданчик, прикусил язык, чтобы не пожелать ей спокойной ночи, и решительно пошел к двери.

После сладкой ядовитой духоты, наполнявшей каюту, сырой воздух в коридоре ударил ему в лицо, точно свежий ветерок. Он дал наставления горничной, которая ждала за дверью, и вернулся к себе, его одолевала неприятная слабость, и вновь всколыхнулась тревога за себя. Он лег и,

перебирая четки, стал призывать сон — эту темноту, тишину, богом данное мимолетное перемирие между жизнью и смертью; он выбросил из головы, твердо решил забыть навсегда последние слова жалкой, пропащей женщины, — крапивой, отравленными стрелами, рыболовными крючками его безжалостно, коварно жгли и терзали слова этого одержимого дьяволом, отверженного создания.

На второй вечер после отплытия из Гаваны, когда предстояло еще двадцать с лишним дней пути, корабельный импресарио начал понемножку занимать и развлекать пассажиров, стараясь превратить их жизнь на борту в подобие непрерывного детского праздника на суше. Был устроен «праздничный» ужин — так возвещало меню, и на всех столах появились букеты свежих цветов. Возле каждого прибора лежали поблескивающие фольгой хлопушки с маленькими трещотками и свистульками внутри и потешные бумажные колпаки. Некоторые женщины появились в вечерних платьях; в высоких глиняных кружках пенилось пиво; официанты лихо крутили в ведерках со льдом бутылки рейнвейна.

Глокен и Уильям Дэнни, сидевшие за одним столиком, первыми надели дурацкие бумажные колпаки, неопределенно улыбаясь, поглядели вокруг и встретили две-три столь же неопределенные ответные улыбки. А затем колпаками украсились и еще головы; над столами плавали разноцветные воздушные шарики, их перебрасывали друг к другу шлепком ладони, порой они лопались, подбавляя шума к хору трещоток и жестяных свистулек. Оркестр заиграл «Сказки Венского леса», и вальсы Штрауса уже не смолкали до конца вечера. Ужин этот следовало считать общим праздником, на этом как будто сошлись все пассажиры, и между ними установилось хотя бы временное единодушие. От стола к столу перебрасывались шутками, провозглашали тосты, много было смеха, а испанские танцоры всей компанией повернулись к столу капитана и подняли бокалы за его здоровье; капитан с каменным лицом весьма светски склонил голову, поднял в знак признательности свой бокал, сразу поставил его и, похоже, тотчас выбросил все это из головы.

Баумгартнеру вместе с колпаком досталась еще и фаль-

шивая борода, он нацепил ее, затряс головой, замотал этой бороденкой, точно козел, к бурному, неудержимому веселью двух малышей за соседним столом. До той минуты малыши — пятилетний мальчуган и трехлетняя девочка — вместе с родителями-кубинцами, которые сели на пароход в Гаване, смиренно ждали, когда им дадут поесть. Ганс, застенчивый сынишка Баумгартнеров, с восхищением смотрел на этих детей, так не похожих на Рика и Рэк — те одним взглядом наводили на него ужас. С самой Гаваны он робко кружил около новых маленьких пассажиров, не решаясь с ними заговорить, но теперь его отец их насмешил, и он обрадовался: пожалуй, вот случай с ними подружиться.

А папаша Баумгартнер превзошел самого себя в презабавнейших выходках — и малыши восторженно пищали и хихикали и смотрели во все глаза, заслоняясь растопыренными пальцами. Ганс заставлял себя смеяться громче и дольше, чем ему хотелось: пусть они и на него тоже посмотрят. Немного погодя мать сказала ему:

— Ешь наконец, Ганс. Потом можно будет еще немного поиграть.

Муж пропустил намек мимо ушей. Он сдвинул накладную бороду на лоб, разделил надвое, как занавес, и крикнул:

— У-у!

Детишки завизжали от восторга, отец с матерью снисходительно улыбнулись. Баумгартнер оттянул фальшивую бороду вниз, на шею, бумажный колпак сдвинул на затылок. Дети всё смеялись. Фрау Баумгартнер положила на тарелку Ганса кусок жареной утки и принялась резать на мелкие кусочки. Она была не слишком уверена, что сын сам справится с такой задачей при посторонних. Скоро восемь стукнет, а он все еще не очень-то умело обращается с ножом и вилкой... от этого ей даже кажется, что она плохая мать.

— Ешь, пока не остыло, — сказала она Гансу.

Беспокойно следя глазами за мужем, она думала: беда в том, что он не умеет вести себя прилично и ни в чем не знает меры. Что бы ни делал — пьет ли, гримасничает, что угодно, — никогда не умеет вовремя остановиться. Сердце у нее упало, она поняла — еще миг, и он перейдет все границы, — и не ошиблась. Баумгартнер вздернул бороду до самых глаз,

колпак нахлобучил на лоб, яростно затряс бородой и зарычал то ли львом, то ли медведем — и это было уже слишком. Ганс замер, не донеся кусок до раскрытого рта, и растерянно улыбнулся; мальчик за соседним столом пугливо, натянуто засмеялся; но девчурка была чересчур мала, чтобы притворяться, глаза у нее от страха стали совсем круглые, и она расплакалась. Она плакала жалобно, в голос, сквозь слезы недоверчиво глядя на непонятное существо, которое минуту назад казалось таким забавным и вдруг обернулось страшилищем. Молодая мать что-то коротко, резко крикнула Баумгартнеру, взяла девочку на руки и прижала сморщенную, перепуганную рожицу к своей груди; молодой отец склонился к дочке и ласково погладил, успокаивая.

— Ради бога, извините! — сказала фрау Баумгартнер, и такое у нее стало лицо, так прозвучал голос, словно она отрекалась от своего супруга. Взгляд ее умолял яснее слов: не осуждайте меня, вы ведь сами видите... прошу вас, мы обе женщины, вы тоже мать, сами знаете, бывает всякое...

Молодая мать ответила сдержанным, равнодушно-отчужденным взглядом, он отвергал откровенность, не признавал родства чувств; она лишь натянуто, чуть заметно улыбнулась да слегка кивнула, будто говоря — ничего, пустяки, но явно думала при этом: однако до чего все это глупо и сколько от вас неприятностей!

Баумгартнер срывал с себя накладную бороду и колпак и, совсем как актер в драме, швырнул их на пол, лицо его сморщилось от раскаяния.

— Ради бога, простите, — по-немецки обратился он к молодому отцу. — Я только хотел позабавить малышей...

Молодой отец кивнул и слегка махнул рукой, словно отметаая все недоразумения, потом беспокойно переглянулся с женой: они не понимали по-немецки. Баумгартнер хотел извиняться дальше по-испански, но жена удержала его.

— Перестань, — сказала она. — Перестань. Ты уже достаточно наговорил и натворил. Они прекрасно тебя поняли, а если предпочитают делать вид, что не понимают, так хотя бы не унижайся, сделай милость.

И тут Баумгартнера покинули последние остатки самоуважения.

— О господи, — вырвалось у него, — неужели я уже и с малым ребенком не могу поиграть, непременно его испугаю? Ганс, но ты ведь не испугался? Твой несчастный отец только хотел тебя посмешить!

— Я смеялся, — мужественно ответил Ганс, стараясь его утешить.

— Конечно, ты смеялся, — подхватила мать. — Ведь это было так забавно. Маленькие дети всегда плачут по пустякам. Ты тоже плакал, когда был маленький.

Она говорила очень убедительно, и Ганс на минуту забыл, сколько он плакал, когда стал не такой уж маленький.

Отец молча ел, казалось, он глотает горькое лекарство; теперь они все трое замолчали. Ганс чувствовал: мать что-то слишком ласкова, слишком часто и нежно ему улыбается. Ему стало не по себе, ведь каждый раз надо улыбаться в ответ, и выходит, что он принимает сторону матери против отца, а он совсем не хочет становиться ни на чью сторону. И отец тоже поглядывает на него по-доброму, и лицо у него опять такое знакомое, печальное-печальное, бедный хороший папочка... Ганс просто не мог больше это выносить и отвернулся от них обоих, несчастный, одинокий, потерянный... Дети за соседним столом уже обо всем позабыли и развлекались своими воздушными шарами, трещотками и колпаками, а отец с матерью кормили их с ложек и вилок, мазали им хлеб маслом, и никто из них ни разу не взглянул на Ганса, даже не вспомнил про него. Девочка, эта маленькая плакса, веселилась больше всех.

Праздник продолжался довольно успешно. После ужина все вышли вслед за оркестром на палубу, и вальсы Штрауса понеслись к звездам, заглушая плеск волн. Корабль мягко покачивался, налетал прохладный ветер, развевая юбки и шарфы, и прически становились беспорядочней, зато лица разгладились, корабль рассекал волны, и два неторопливых водяных вала, отходившие от бортов, искрились зеленоватым фосфорическим блеском. Быстро клонился к горизонту чуть подернутый дымкой молодой месяц.

— До чего хорошо, Дэвид! — сказала Дженни. — Вот если бы ты еще и танцевал...

Но нет, Дэвид не танцевал, танцы презирал и считал довольно грязным занятием, что очень обижало Дженни: она на своем веку танцевала столько, что, пожа-

луй, можно было дважды обогнуть Землю по экватору.

— И никогда у меня не бывало чище на душе, — сказала она ему. — Вот была бы на ноге эта штука, знаешь, которая мерит шаги, тогда бы я точно тебе сказала, сколько миль проделала в самые счастливые свои минуты!

Они наслаждались сиянием звездного неба, блеском палубы цвета водорослей, вдыхали морскую свежесть, но Дженни явно мучило желание потанцевать, и Дэвид, упрямо сдвинув брови и сжав губы, один отправился в бар. Нескольких минут спустя он посмотрел в окно — и, конечно, она уже танцевала с Фрейтагом.

Палубу заполнили танцующие, все неистово кружились в истинно венском стиле, точно веселящиеся дервиши. Миссис Тредуэл, в чем-то ярко-желтом и воздушном, вальсировала с одним из молодых помощников капитана; Арне Хансен — с испанкой по имени Ампаро. Нелепый Рибер по обыкновению прилип к нескладной, долговязой и уродливой Лиззи — он подсакивал легко, точно резиновый мяч, крутился и вертелся волчком, ничуть не теряя равновесия, и вместе с Лиззи кругами обходил другие пары. А пары были больше супружеские, разве только чета Лутц да Баумгартнеры весь вечер просидели в своих шезлонгах. Двое кубинских студентов танцевали с Пасторой и Лолой, а испанцы-мужчины сидели в баре и женщинам не мешали.

Дэвид стал присматриваться к тем, кто не танцевал, — к тем, кто остается в стороне по самой природе своей, кто вечно подпирает стенку, кто никому не нужен и никого не привлекает, и к тем, кто, как и он сам, по какой-нибудь невеселой причине не желает присоединиться к остальным. С этими он был заодно; они той же породы, он узнавал их с первого взгляда и знал наперечет. Вот дылда Эльза сидит с отцом и матерью, вся поникла, не в силах скрыть тоску, разочарование, страх так и остаться на отшибе. «Я потанцевал бы с тобой», — сказал он ей, но только про себя, никогда ей этого не услышать. Глокен скорчился на подножке шезлонга неподалеку от оркестра, подпер щеки ладонями, бумажный колпак съехал ему на одну бровь, он замер не шевелясь и слушал, но не поднимал глаз.

Умирающий, до подбородка закутанный в одеяла и пледы, сидел в кресле на колесах у самого борта, возможно, он спал; его племянник и нянька Йоганн облокотился на

спинку кресла, вид у него был безнадежный, тоскливый, точно у бездомного пса. Дэвиду казалось, он прекрасно их всех понимает. И не желает вступать в этот круг, отказывается участвовать в общем веселье — нет, он твердо знает, для него нигде нет места и нет того, что ему нужно, — во всяком случае, такую цену он за это не даст, сказал он, с ненавистью глядя на стадо, которое, теснясь и кружа, пронеслось мимо.

Он заметил, что мексиканцы-молодожены не танцуют. Они вдвоем прогуливались по палубе и, увидав на открытой площадке танцующих, приостановились, посмотрели снисходительно и рассеянно, будто замороженные пришельцы с иной планеты. Они не танцевали, не надевали бумажных колпаков, не пили вина, не играли в карты, никому не улыбались. Они и друг с другом почти не говорили, но сразу видно было: это новобрачные. Они молчат, думалось Дэвиду, они торжественно отрешены от всего на свете, поглощены только своей любовью и тем, что впервые узнают друг в друге, — и это естественно, это великолепно, только так и должно быть. Он угадывал в обоих природную серьезность, даже суровость; со временем красота уже не сможет скрыть холодности и сухости; но брак уцелел, они соединились навсегда. Он все рисовал в воображении характеры этих двоих и сущность этого брака, ему казалось, что и он хотел бы того же для себя, и тут мимо опять скользнула Дженни, вальсируя с Фрейтагом. Они весело кружились, будто слились в одно, но лица у обоих застыли, точно бессмысленные маски. Дэвида, убежденного, что ревность — вздор и ревновать — ниже его достоинства, в который уже раз бросило в жар: до чего противно, что Дженни такая неразборчивая и так тянется к людям! Всегда рада болтать с кем попало и где попало, сойдется с любой компанией, пойдет, куда бы ни пригласили, готова завести дружбу с мерзейшим сбродом, с бездельниками и шутами, с бандитами, пьяницами, извращенцами и такими вот образцовыми красавцами с модной картинки, как этот Фрейтаг!

— Ну и к черту! — с горькой досадой сказал он вслух, остро, как никогда, чувствуя, что попался в ловушку.

Он отошел к стойке, выпил неразбавленного виски — одну порцию, другую. Увидел Дэнни — тот тоже неловко болтался в стороне от общего веселья, но Дэвид ему не со-

чувствовал. Нет, Дэнни остается отверженным совсем по другим причинам. Он ходит по пятам за испанскими танцовщицами, вернее, за Пасторой, и пожирает ее глазами, но они-то с ним связываться не желают. Они его уже раскусили. Он не угощает их выпивкой, никак с ними не сторгуется, хочет получить удовольствие даром, он из тех, кого надо подталкивать и подхлестывать, и уж пускай за это заплатит подороже. Он томится и терзается, это ясно, но не так велико его желание, чтоб раскошелиться в баре сразу на пять долларов — вдруг да понапрасну? Вдруг, шаг за шагом, потратишь и того больше, а в конечном счете ничего за это не получишь? И танцовщицы при встрече окидывают его взглядом, полным презрения; еще немного — и они, пожалуй, станут приветствовать его, непристойно задирая сзади юбки: пускай знает, какого они о нем мнения. И они твердо решили, что которая-нибудь из них, неважно, кто именно, за время плаванья оберет его дочиста.

Дэнни упрямо, решительно напивался.

— Нынче к ночи я надерусь в лоск, — торжественно пообещал он. — Валяйте, присоединяйтесь.

— Неплохо придумано, — сказал Дэвид.

И в самом деле, уж если пришла охота напиться, лучшего собутыльника не сыскать. Никакого притворства, никаких околичностей и пустопорожней болтовни — просто человек не спеша, обдуманно, решительно напивается как свинья. Отлично, лучше не придумаешь! Дэвид залпом проглотил третью порцию виски — и не то чтобы настоящая боль, но что-то нудное, неотступное, что ныло внутри, в пустоте где-то под ложечкой, начало понемногу отпускать. Ладно, он будет пить — и напьется так, что уж наутро ничего не сможет вспомнить, что бы ни произошло.

Арне Хансен и Ампаро, покружив в довольно однообразном танце (пол-оборота вправо, пол-оборота влево — на большее неуклюжего Хансена не хватало), остановились совсем рядом с Эльзой, и Эльза, озадаченно сдвинув брови, исподлобья уставилась на Ампаро — в чем тут секрет? И никакого секрета не уловила или по крайней мере себе в этом не призналась; слишком смуглая, неряшливая и растрепанная, Ампаро была по-своему красива, но ничуть не стара-

лась нравиться: надутая, неулыбчивая, и все молчит, кажется даже — скучает или злится. А Хансен не танцует, а топчется, как медведь, с удовольствием подумала Эльза. Глаз не сводит с Ампаро, будто, если он хоть на миг глянет в сторону, она исчезнет. В руке у Ампаро черный кружевной веер, она все время им размахивает, а веер порван, и, чтоб скрыть дыру, приколотая красная матерчатая роза. Всякий дурак сразу видит, для чего тут эта роза, всякий, кто не слеп! Раскачивая бедрами, Ампаро подошла к Пасторе и что-то ей сказала, и та пошла в бар передать поручение Пепе. Ампаро же, не оглядываясь, медленно пошла прочь, и Хансен большими шагами двинулся за ней. Фрау Риттерсдорф, которая перед тем танцевала с казначеем (это был огромный отечески-добродушного вида толстяк, пухлое лицо в ямочках и усищи точно у моржа), осмотрелась и увидела рядом миссис Тредуэл. И, поджав губы, кивнула на удаляющуюся пару. Хансен нагнал Ампаро, схватил ее за руку повыше локтя, и они уже вместе спешили прочь.

— По-моему, это не слишком приятное зрелище, — заметила фрау Риттерсдорф.

Миссис Тредуэл обернулась к ней с невиннейшим выражением лица.

— Ну что вы? А по-моему, вдвоем они отлично смотрятся!

Пепе засиделся допоздна за полбутылкой красного вина. Рик и Рэк, Тито, Панчо, Маноло, Пастора, Конча и Лола под конец оставили его в одиночестве. Оркестр замолк, танцующие разбрелись, в салоне и на палубе половину огней уже погасили; появились матросы с ведрами и швабрами; буфетчик прибирал за стойкой, явно полагая, что его рабочий день закончен. В пепельнице горой громоздились окурки, хотя официант уже дважды ее опорожнил. Пепе допил остатки вина, закурил еще одну сигарету, прошел один круг по палубе — и осторожно, по-кошачьи углубился в недра корабля. Здесь он медлил, расхаживая взад и вперед по коридору, и наконец дождался: из каюты вышел Арне Хансен, несколько встрепаннный, словно одевался в большой спешке, и почти бегом, точно за ним гналась полиция, исчез за дальним поворотом.

Тогда Пепе неслышно подошел к каюте, открыл дверь и увидел то, чего и ждал: Ампаро в черной кружевной ночной сорочке пересчитывала деньги — внушительного вида американские банкноты, и притом немало. Пепе протянул руку ладонью вверх, с усмешкой потер друг о друга большой и указательный пальцы, казалось, между ним и Ампаро разыгрывается привычная шуточка. Но вместо того, чтобы, как всегда, просто отдать деньги, Ампаро швырнула их в раковину умывальника, и ему пришлось самому выуживать их оттуда.

Когда Дэвид Скотт и Уильям Дэнни проснулись, обоих мутило, с похмелья трещала голова и не смотрели толком глаза. Глокен, как всегда по утрам, просил дать ему воды и лекарство, голос его дрожал, похоже, он успел понапрасну повторить эту просьбу уже раз двадцать. Дэнни громко застонал и заметался на своей верхней койке. Дэвид тяжело повернулся, встал и позаботился о Глокене, тот жадно схватил стакан с водой, рука его тряслась. Но, проглотив лекарство, он гордо, хоть и кривовато, улыбнулся Дэвиду.

— Я вчера выпил лишнего, — сказал он из-за своей занавески и опять повалился на постель.

Причесываясь, Дэвид с тоскливым отвращением заметил надо лбом узкую полоску блестящей кожи — в двадцать шесть лет он уже лысеет, медленно, но несомненно надвигается неотвратимая беда. Быть может, пройдут годы прежде, чем это совершится, но все равно настанет день — ужасный день, — и он будет совсем лысый, как были лысыми его отец, и деды, и прадеды. И ничто, ничто на свете этого не предотвратит. Он-то знает, ведь он уже все перепробовал. Грешный человек, он покупал все и всяческие средства для укрепления волос, изысканнейшие шампуни и мази, какие только предлагал ему первый встречный парикмахер. Его совесть — совесть квакера родом из Пенсильвании — отчаянно страдала от того, что он постоянно предавался этим двум тягчайшим грехам (по крайней мере такой взгляд он усвоил с детства из поучений и наглядных примеров): легкомысленно тратил на пустяки деньги, достойные лучшего применения, и тешил свою суетную плоть. Он с жаром уверял себя, что плевать хотел на все эти заповеди и

проповеди, но многие поколения скупых на слова, на деньги и движения души пахарей оставили ему в наследство какую-то отравленную кровь — наверно, оттого он и не умеет радоваться жизни и вот ко всему еще и лысеет. А все же его бросало в краску от стыда, надо ж быть таким простофилей — поверить, к примеру, что щетка для волос, работающая от электрической сети, разрушит гены всех его лысых предков. И неизбежную в будущем лысину он прибавил к длинному списку обид, которые нанесла ему собственная мать: в роли матери ей всегда не хватало здравого смысла, и, уж конечно, всего бессмысленней поступила она, выбирая отца для своих детей. Отец Дэвида был не только чуть не с юности лысый, но еще и взбалмошный, безответственный тип, открыто и подло изменял жене, даже в мелочах не умел оставаться верным ни делу, ни слову, ни человеку. Склонен был, как истый квакер, экономить каждый грош, но и только. Под конец он сбежал с девицей вдвое моложе себя, и никто больше его не видал и даже не слышал, куда он девался.

Впрочем, он оставил жене письмо: дескать, новая любовь основана не на одном лишь физическом влечении, как было с женитьбой и многочисленными романами, тут есть еще и глубокая духовная и умственная близость, нечто бесконечно возвышенное и прекрасное, его жене этого не понять. Он и не ждет, что она это поймет, и не станет понапрасну объяснять. Итак, прощай, счастливо оставаться!

Дэвиду в ту пору было девять лет, и он уже нередко подумывал, как славно было бы жить на свете, не вертись все время поблизости папаша. Исчезновение отца показалось ему чудесным подарком божественного провидения — его с младенчества учили, что это единственный источник всех благ и радостей. Мать приняла случившееся совсем иначе.

— «Духовная близость!» — повторила она яростно, как будто это была непристойность. Потом сказала Дэвиду: — Вот он каков, твой папаша, — и громко, звенящим голосом прочитала ему письмо. Она стояла посреди комнаты, высоко вскинув голову, закрыв глаза, из-под сомкнутых век текли слезы — и при этом хохотала во все горло. Потом села и, к отчаянному смущению сына, схватила его — высокого, тоненького, худощавого мальчишку, — усадила на колени к себе, точно маленького, раскачивалась взад и

вперед, сжимая его в объятиях, и плакала навзрыд, никак не могла перестать. Ему стало до того тошно, что его вырвало, от ужина и воспоминания не осталось, а потом до смерти захотелось спать; но среди ночи он проснулся в ужасе, охваченный безысходным отчаянием, безмерно одинокий. И тоже заплакал — и долго, тихо, горько плакал украдкой, пока вновь не уснул, уткнувшись в мокрую подушку, от которой пахло старыми перьями.

Дэвид еще не кончил причесываться, и вдруг его вырвало прямо в умывальник. Воровато оглядываясь, он поспешил отмыть раковину и пристыженно думал, что его средства для волос ничуть не лучше слабительных, снотворных и прочих патентованных снадобий Дэнни. Он отвернулся от зеркала — противно смотреть на свою поганую рожу! — и уже в который раз все внутри у него сжалось от смутного, мучительного сознания собственного ничтожества, — Дженни называла эти его приступы «методистским похмельем».

Накануне вечером он учинил какую-то дикую нелепость — что же это было? Вспомнилось лицо Дженни — в глазах ее ледяной недобрый блеск, она захлопывает дверь у него перед носом — в какую же минуту это было, что за дверь она захлопнула, где, почему? Зловещий черный провал зиял в его сознании, отделяя последние стаканы виски, выпитые с Дэнни в баре, от холодно блеснувших глаз Дженни в просвете закрывающейся двери. Но она-то, конечно, помнит, она с радостью все это ему подробно изложит. Надо только подождать, пока они встретятся за завтраком или на палубе. Она со вкусом поведаст ему правду с выдумкой пополам, вовек ему не узнать, что тут правда, а что нет, и наверняка прибавит что-нибудь вроде: «Да ты не огорчайся, лапочка, может быть, в моем пересказе это выглядит глупей, чем было на самом деле. Я ведь и сама была в подпитии», — скажет она из чистейшего лицемерия: она ведь трезвенница, ни за что не станет искать утешения в выпивке. В эту минуту самая мысль о Дженни, о том, что она существует на свете, пронзила его новым ощущением вины. Надо жениться на Дженни или хотя бы предложить ей выйти за него; им надо было пожениться еще до отъезда из Мексики, а так из этой поездки наверняка ничего хорошего не получится. Но Дженни совсем не такая жена, какую ему

хочется, если он вообще захочет жениться — уж сейчас-то он этого определенно не хочет. Нет, надо смотреть правде в глаза, никогда и ни за что он не женится на Дженни, он вообще не намерен жениться: брак — гиблое дело, не такой он дурак, чтобы ввязываться в эту игру. Сказав себе это на чистоту, Дэвид приободрился: теперь пускай Дженни говорит что угодно, его не собьешь.

Профессор Гуттен и его жена открыли глаза, осторожно повернули головы на подушке и спросили в один голос:

— Как ты себя чувствуешь, душенька?

Сравнили свои ощущения и решили, что морская болезнь у обоих прошла и можно встать и встретить новый день. Увидав, что они зашевелились, Детка тоже воспрянул духом, храбро прошелся по каюте; фрау Гуттен поцеловала его курносый нос, и он в ответ дружески облизал ее подбородок.

Няня-индианка осторожно разбудила сеньору Ортега и положила младенца у ее груди — настал час утреннего кормления. Мать дремала и вновь просыпалась, прислушиваясь к чудесному, непрестанному сосанию жадного теплого ротика, под мягкое, плавное колыхание стремящегося вперед корабля, под усыпляющий мерный рокот машин. Наконец-то боль и усталость отпустили ее. Мать и младенец прильнули друг к другу и уснули, как одно существо, с мягкой раскованностью, присущей животному миру, от них пахло ласковым животным теплом, долгий сон без сновидений окутал их, словно они еще не родились на свет. Индианка, в том же, в чем спала — в белой рубашке и пышной белой нижней юбке, — набрала полные пригоршни холодной воды, промыла себе глаза и пригладила волосы, потом облачилась в свою вышитую шерстяную юбку, надела серьги и ожерелья и опять легла, тесно сдвинув босые ступни — маленькие, узкие, словно точеные, — и задремала. Порой она слегка вздрагивала и приоткрывала один глаз. Сквозь сон ей часто слышался голос — она не узнавала его, но верила, что это зовет ее по имени и от чего-то предостерегает давно умершая мать. «Николаса», — окликал голос так не-

жно, так ласково, будто она опять стала малым ребенком. И однако он хотел сообщить ей нерадостную весть: ее ждут, надо вырваться из ночного покоя и весь долгий день быть наготове и делать все, чего от нее потребуют. Во сне она часто плакала, ведь всю жизнь она жила среди чужестранцев, они не понимали ни слова на ее языке, знали только ее имя, и никто из них ни разу не спросил, что у нее на душе. «Николаса», — настойчиво повторил тихий голос. Она вздохнула, села и огляделась: ее малыш, бедняжка, еще спит, и мать, бедняжка, тоже, но, может быть, они будут спать спокойней, дольше и крепче, если она посторожит их сон. Она посидела, сгорбясь, на краю койки, смутно улыбаясь спящей матери и младенцу; потом опустила на колени и достала из кармана четки. К четкам привязан был амулет — засушенные травы в марлевом мешочке, — и, прежде чем поцеловать маленькое распятие, Николаса прижала к губам амулет.

Вильгельм Фрейтаг проснулся и ощутил на лице ветер свежее, прохладней вчерашнего. В иллюминаторе светился кружок неба — уже не прозрачно-голубой, а затянутый сизыми тучами. Шестой день плавания, да, сегодня воскресенье, и «Вера» полным ходом несется по прямой, рассекая воды, уже не такие спокойные, как прежде, — выглянув наружу, он увидел, что развело волну. И крепко, но приятно,пряно пахнет морем, и от сизых грозových туч, лежащих грядами на востоке, протянулись длинные дымчатые полосы. Похоже, час уже поздний; пожалуй, он опоздал к завтраку. Пробили склянки — восемь, если поторопиться, еще можно успеть. А вот Хансен опоздает. По ровному дыханию за занавеской слышно: он спит крепчайшим сном, над краем верхней койки по обыкновению высунулись его ножищи с гладкими лоснящимися ступнями, воинственно торчат отставленные от остальных большие пальцы. Каково-то ему будет спать в холодную погоду, подумал Фрейтаг и вспомнил, что Хансен наполовину разбудил его, шумно взбираясь на свою койку, и это, наверно, было очень поздно... Наверно, забавлялся с той испанкой, он с самого начала ходил за ней по пятам.

Фрейтаг побрился, заодно пересмотрел свои галстуки, выбрал один и подумал — на корабле почти все продол-

жают вести себя как на суше, а тут для этого просто не хватает места. Каждый пустячный поступок больше бросается в глаза и выглядит куда хуже, потому что нет для него привычного фона. Не видно, какая цепь событий привела к этому шагу и объясняет его, нельзя проследить, чем он вызван, оценить его и взвесить соразмерно всему остальному поведению человека. Если не пожалеть труда и времени, можно было бы что-то и разузнать про кого-то одного или двоих, но времени маловато и не стоит труда; даже американка Дженни Браун — и та не настолько привлекательна, чтобы стараться узнать ее поближе. Сама по себе она довольно милая: отлично танцует, занятно разговаривает — бойко и с юморком, забавно ее послушать, хотя после ни словечка из этой болтовни не вспомнишь. Но из-за странного малого, ее спутника, она и сама выглядит сомнительно; к примеру, вчера вечером, когда он, Фрейтаг, танцевал с Дженни Браун вальс, этот молодчик вдруг влез между ними, схватил девушку за локти, оторвал от партнера и с минуты кружил с ней в манере, какую увидишь разве что в кабачках самого низкого пошиба. Не без труда Дженни Браун вырвалась, обернулась, помахала Фрейтагу на прощанье, и тут Дэвид Скотт опять мертвой хваткой вцепился ей в руку, и она сдалась и ушла с ним. Совершенно дурацкая и пошлая сцена, решил Фрейтаг, лишнее доказательство того, как опасно иметь дело с чужими людьми, впутываться в их взаимоотношения, в которых сам черт ногу сломит.

Он, Фрейтаг, предпочитает держаться с чужими приветливо и равнодушно, соблюдая чисто внешнюю любезность. Этого вполне достаточно для любого путешествия, для любого вечера, который приходится провести среди чужих, но как раз этого очень многие не понимают и не умеют, сказал про себя Фрейтаг, теперь он по привычке мысленно разговаривал с Мари, своей женой, хоть ее рядом и не было. Знаешь, Мари, пассажиры здесь, на корабле, вечно бросаются из крайности в крайность: либо они чопорны, недоверчивы и вовсе тебя знать не желают, либо навязчивы и несносно любопытны. Иногда это любопытство довольно дружелюбное, иногда хитрое и злобное, но все равно, чувство такое, словно тебя поедает заживо хищная жадная рыбешка. Ты забыл, я никогда не плавала на корабле, мысленно услышал он слова Мари. Да, но поплывешь, скоро

поплывешь. И тогда сама увидишь. Можешь себе представить, я танцевал с одной девицей, ее зовут Дженни как-бишь-там-дальше, выпил с ней по стаканчику — и ее спутник, на мой взгляд изрядный грубиян и пошляк, устроил из-за этого нелепейшую сцену. Спутник? Фрейтаг вдруг сообразил, что про этот случай Мари не расскажешь. Бессмысленная, дурацкая история, бесконечно от них далекая, к тому времени, когда он опять увидит Мари, он обо всем этом забудет. А если бы Мари услышала эту историю, она бы, пожалуй, сказала лукаво, как уже говорила не раз, когда он рассказывал ей о своих подчас премилых (казалось ему) дорожных приключениях:

— Тоже иноверцы, надо полагать?

И ему всегда приходится это подтверждать. И тогда она замечает:

— Как странно, когда ты едешь один, ты никогда не встречаешь ни одного еврея.

Однажды он попытался ей объяснить, что с ее стороны просто возмутительно говорить ему такое, и они тогда чуть не поссорились; в подобных случаях она отказывалась признавать истину, которую и сама прекрасно знала, — что евреи держатся особняком и не принимают ни общения, ни дружбы. Но в разговорах с Мари это была скользкая тема, и он научился ее избегать. Он чувствовал: его жизнь, недосягаемая ни для каких бед, надежно скрыта у него внутри, словно нечто неприкосновенное, в такой твердой и гладкой оболочке, что никакой хищной рыбешке не запустить в нее зубы. Нет, он будет держаться подальше от Дженни Браун и ее забот, каковы бы они там ни были. Она, похоже, не слишком строгих правил и не прочь поразвлечься. Разговаривает слишком откровенно, слишком непринужденно; задает всякие вопросы и сама готова поверять свои секреты и все про себя объяснять. Слишком тщеславна — воображает, что она куда интереснее, чем на самом деле.

А он ничего не хочет верить и объяснять никому, кроме Мари. Он просто-напросто переправляет себя, точно неодушевленный предмет, точно багаж в трюме, из дома, который он нашел и почти уже обставил для Мари в Мехико, в дом в Мангейме, где Мари его ждет. Пока он туда не попал, ничто его не касается, ему нет никакого дела до чужих. И когда они поплывут обратно вместе, им тоже не бу-

дет дела до корабля и пассажиров, ведь это плавание круто повернет всю их жизнь. Никогда больше они не увидят Германию, разве что совершится чудо. Мари должна стать ему родиной, а он — ее родиной, и, куда бы они ни поехали, им придется перенести с собою свой особый климат; этот климат и надо будет называть родиной, и они постараются не вспоминать, что его подлинное имя — изгнание. В памяти Фрейтага возникло видение — Мари за роялем, она играет и поет, и он стал насвистывать ей в лад ту же песенку: «Kein Haus, keine Heimat...»¹

Вот так оно и будет. И каково-то будет всегда сознавать, носить в себе это сознание как тайную вину, что, куда бы они ни приехали, они попали туда не по доброй воле и не по своему выбору, но потому, что их туда загнали; что они бегут, пересекают одну границу за другой, ибо они — гонимые и не вольны ни выбрать себе пристанище, ни отказаться от того убежища, какое им предложат. Гордость его страдала. Такая жизнь унизительна для всякого человека и вдвойне унизительна для немца! Что бы он из вежливости ни говорил про свою смешанную кровь, по существу, он самый настоящий немец, истинный сын могучего германского племени, оно достаточно сильно, чтобы уничтожить всякую примесь чужеземной крови в своих жилах и восстановить чистоту крови немецкой; и весь мир был прежде для него вольным простором, где можно всласть поохотиться на любую добычу, и поразвлечься, и пожить, а настанет день — и он навсегда вернется домой, но в душе он родного дома никогда и не покидал. В самых далеких краях он всегда ощущал немецкую почву под ногами и немецкое небо над головой: нет для него другой родины — так как же случилось, Мари, что у нас ее отняли? Ты уже не еврейка, ты — жена немца; кровь наших детей будет такой же чистой, как моя, в их немецких жилах она очистится от порчи, которая таится в твоей крови...

Фрейтаг спохватился, резко одернул себя, отер лицо, по которому струился пот. Куда занесло его в мечтах, какие мучительные восторги, какие несбыточные грезы им завладели, он бредит, безумец, а меж тем земля уходит из-под ног, опять и опять надо будет спасаться бегством, и как

¹ Ни дома, ни отчизны... (нем.)

знать, чем все это кончится. Будущее — словно огромный полый шар, и в этой странной пустоте — ни звука, ни живой души, никаких вех и примет; и однако он знал — с виду, быть может, еще долго ничего не изменится; возможно, перемены будут так медленны, что их почти и не заметишь, а потом однажды схватишься — но будет уже слишком поздно. Наверно, он останется третьестепенным администратором в немецкой нефтяной компании, пока не придет время подыскать другое место, в какой-нибудь фирме, где никого не возмутит, что он женат на еврейке. Даже подумать страшно о том, чтобы вести Мари в круг его знакомых в Мехико — их-то не обманут светлые волосы и вздернутый носик. Сам он когда-то обманулся, но ведь он полюбил ее с первого взгляда в самом прямом смысле этих слов; она почти сразу ему сказала, но ему было все равно, и он не видел в ней ничего еврейского... а вот немцы, что живут в Мехико, мигом поймут, кто она такая, еще издали учуют. Он видел, как это бывает в Германии — в ресторанах, в театрах, всюду и везде, среди самых разных людей... что ж, так оно вышло, невозможно в это поверить и нечем помочь, остается одна надежда — быть может, когда это докатится и до них, он найдет другую работу где-нибудь еще, не хуже, а может, и получше. Может быть, даже заведет собственное дело в Мексике, в Южной Америке, на худой конец в Нью-Йорке.

Возвратясь к этому вечному вопросу, он стал рассуждать сухо и деловито. Нет, он не чувствует, что обречен, что его ждет катастрофа; нет, он и вообразить не может, что его и вправду откуда-то выгонят и жизнь его будет в опасности; конечно же, его с Мари никогда не посадят силой на корабль, не отправят без гроша в кармане еще невесть в какую страну, где они тоже никому не нужны, — вот как эту помешанную испанскую графиню с ее дикими рассказами об ужасах террора. Бедная женщина, вдруг подумал он с какой-то равнодушной жалостью, ее судьба не так уж его трогала — с избытком хватало собственных тревог. Он облокотился на поручни и снова заглянул на нижнюю палубу.

Поблизости стоял доктор Шуман, он тоже в раздумье смотрел вниз. Мягко поздоровался с Фрейтагом, покачал головой.

— Кажется, им сегодня получше, — сказал Фрейтаг.

Люди на нижней палубе двигались вяло и неловко, но все же двигались, руки заняты были делом — как могли, они приводили в порядок себя и свои пожитки. Некоторые мужчины курили, среди них, широко расставив ноги, стоял толстяк в темно-красной рубашке, тот, что пел, когда корабль отходил из Веракруса, — сейчас он орал еще какую-то песню, ветром доносило обрывки слов. Другие мужчины, сворачивая в узел свои пожитки или расставляя складные стулья, минутами прислушивались к песне, широко улыбаясь, изредка подпевали строчку-другую. Женщины ухитрились постирать кое-что из одежды — линялое платье, пеленки, распашонки; все это тряпье теперь болталось на длинной веревке, протянутой так низко, что каждый, кто проходил по палубе, должен был наклоняться. Казалось, там, внизу, стало просторней и никто уже не маялся всерьез морской болезнью.

— Им будет не так уж плохо, лишь бы нам не угодить в шторм, — сказал доктор Шуман. — А тогда — сломанные руки и ноги, пробитые головы, кто-нибудь и совсем шею свернет, — хмуро продолжал он. — В такой тесноте им даже уцепиться не за что... их слишком много... просто позор для нашего корабля. Надеюсь, погода продержится хотя бы до Бискайского залива, там больше половины их высадят в Санта-Крус-де-Тенерифе.

— В Бискайском заливе всегда штормит, — сказал Фрейтаг. — Что ж, этим людям хоть в одном смысле повезло — они возвращаются на родину.

— Да, верно, — согласился Шуман. — Надеюсь, до конца плавания им не придется больше мучиться.

Он был хмур, сам казался измученным и едва кивнул на прощанье, когда Фрейтаг отошел.

В проходе, ведущем к кают-компании, перед доской объявлений по утрам всегда толпился народ. Дэвид еще издали увидел Дженни — она стояла у доски с миссис Тредуэл и казалась очень свежей и миловидной. Он решительно подошел к ним — сейчас он ее отведет в сторону и сразу выяснит отношения.

— А, Дэвид, лапочка, привет! — как ни в чем не бывало сказала Дженни и взяла его под руку. Он чуть пожал ее локоть и в то же время слегка оттолкнул ее. Дженни тотчас

отняла руку и на шаг отступила. Миссис Тредуэл кивком поздоровалась с Дэвидом, и они стали читать хиленький перечень развлечений, уже несколько приевшихся за эти дни: утром — богослужение (все-таки разнообразие, ведь нынче воскресенье), в два часа — «бега», весь день открыт плавательный бассейн, в пять на палубе музыка, в баре чаепитие, после ужина концерт и потом на палубе танцы под оркестр.

Флажки на булавках, которые перекалывали каждый день, показывая на карте путь корабля, описывали плавную кривую на голубом поле Атлантического океана.

— Мы и правда далеко ушли, — сказала Дэvidу миссис Тредуэл. — У меня сильный бинокль, но я нигде не вижу берегов.

От Карибского моря до Канарских островов предстояло две недели ходу; от Канарских островов до Виго, до Хихона, Саутгемптона и, наконец, Бремерхафена еще дней восемь, а то и десять.

— Пожалуй, уже появляется надежда, что это плаванье когда-нибудь кончится, — сказал Дэвид.

На доске вывешены были известия сугубо мореходные, сочли нужным сообщать о движении кораблей, чьи названия сухопутным жителям ровно ничего не говорили, мельком упоминалось, что в Сан-Франциско, Нью-Йорке, Лисабоне и Хихоне почти одновременно забастовали докеры. На клочках бумаги, пришпиленных к доске, пассажиры объявляли, кто из них нашел или потерял гребень, украшенный бирюзой или рубинами, пуховую подушечку, кисет, маленький фотоаппарат, карманное зеркальце, четки. Тут же красовалось имя того, кто накануне выиграл корабельную пулюку.

Ноготь миссис Тредуэл, покрытый ярко-красным лаком, прочертил по голубой карте путь корабля.

— Да, это правда, в Булонь мы не зайдем, — сказала она, видимо обращаясь к Дэvidу. На ее приветливом лице появилась застенчивая улыбка. Дэвид следил, как сверкающий красный ноготь скользнул в Булонскую гавань. — А это единственное место, куда мне так хотелось бы попасть, — сказала она Дэvidу, глядя не на него, а куда-то в пространство.

— Тогда почему вы не сели на другой пароход? — спросил Дэвид.

Он уверенно ждал — сейчас она ответит что-нибудь чисто по-женски нелепое. Конечно же, она из тех женщин, что вечно теряют ключи, опаздывают на поезд, забывают о назначенном свидании и, написав друзьям письма, полные нескромных сплетен, перепутывают конверты. Но нет, он услышал вполне разумное объяснение.

— Агент Северогерманского отделения Ллойда в Мехико продал мне билет до Булони и сказал, что «Вера» туда пойдет, — сказала она спокойно, не злясь и не жалуясь. И прибавила, что в этом нет ничего необыкновенного и удивительного. Дорожные агенты часто так делают. — На моем билете ясно сказано...

Она открыла сумочку и осторожно, одним пальцем стала перебирать содержимое. Из-за ее локтя Дэвид увидел в сумочке ворох дорогих безделушек — золотых, серебряных, черепаховых, кожаных. Миссис Тредуэл достала плоский футляр красной страусовой кожи с золотой застежкой, куда вложен был ее паспорт.

— Билет должен быть тут, — неуверенно пробормотала она. И погромче спросила себя: — Куда только все девается? — Потом прибавила: — Во всяком случае, на нем ясно сказано — Булонь.

— А вы его не потеряли? — испугалась Дженни.

— Он не при мне, но где-нибудь да есть. И не одна я еду в Булонь. Эти кубинцы, студенты-медики...

— Да, знаю, им надо в Монпелье, — сказал Дэвид.

— Интересно, а что они там будут делать? — сказала миссис Тредуэл. — Уж наверно, не медицину изучать?

— Бедная Куба! — лениво заметила Дженни.

Прежде всего непонятно, как они туда доберутся, сказал Дэвид. Миссис Тредуэл предположила, что и ее, и этих студентов высадят в Саутгемптоне, а уже оттуда...

— Вот было бы мило, если б капитан мог просто посадить их всех в дырявую спасательную шлюпку, — вдруг сказала Дженни. — Ну, и дал бы им два весла, бочонок с водой, в которой уже завелись головастики, и немножко червивых сухарей... вот бы я поглядела, как они поплывут! И спорим на что угодно, они доплывут.

— А я как же? Я тоже хочу в Булонь, для меня это самый короткий путь в Париж.

— Ох, я тоже очень хочу в Париж! — сказала Джен-

ни. — Чем дальше, тем мне противней даже думать о Германии. Тот агент в Мехико нам говорил — если мы передумаем насчет Германии, всегда можно будет получить визу у французского консула в Виго, я теперь только на это и надеюсь.

Миссис Тредуэл с улыбкой повернулась к Дэвиду — и поразилась: стоит бледный, зубы стиснуты, молчит, но похоже, взбешен.

— Как мило, — сказала она слова, которые хотела сказать прежде, чем увидела его лицо. — И вы тоже собираетесь в Булонь?

— Ни в коем случае, — был ответ. — Я еду в Испанию.

— А я — в Париж, — резко сказала Дженни.

Миссис Тредуэл вдруг почувствовала, что очутилась между двух огней. И с натянутой улыбкой, бочком, почти крадучись, начала отступать, прикрывая это бегство каким-то лепетом: прекрасное сегодня утро и уже пора завтракать... Неужели они способны вот так, прямо при ней, взять и поссориться? Это и смутило ее, и ужаснуло. И вот она торопливо идет прочь, а улыбка, наверно, так и осталась на лице, иначе почему бы Вильгельм Фрейтаг спросил, с чего она такая веселая с утра пораньше? Она ответила, что понятия не имеет, и заметила, как внимательно он посмотрел на Дженни и Дэвида — они прошли мимо, в ярком утреннем свете лица у обоих бледные, застывшие; с Фрейтагом оба поздоровались коротким кивком. Фрейтаг, еще под впечатлением вчерашней дурацкой сцены, немножко позлорадствовал: он уверен, да, он знает наверняка — хоть они и прикидываются, и что-то там изображают, все равно они не пара; ничуть они не счастливы вдвоем и никогда не будут счастливы, это все ненадолго. Он обернулся, поглядел им вслед, словно хотел удержать в памяти уже сейчас меняющийся, бледнеющий образ, — и внезапно, прежде чем он успел понять, оборвать, задушить эту ужасную мысль, в пробудившемся сознании прозвучало, точно крик: «Если бы там сейчас шла Мари, даже на таком расстоянии с первого взгляда каждый, каждый — даже я сам! — увидел бы, что она — еврейка... Мари, Мари, что же я сделал с тобой и с собой... что же мне делать?»

И мгновенно разлетелась вдребезги картина его жизни, какую он рисовал ее себе до этой минуты. С ошеломлен-

ным лицом Фрейтаг опять повернулся к миссис Тредуэл и несколько громче, чем надо бы, предложил вместе позавтракать на палубе.

— С удовольствием, — чуть подумав, согласилась она.

Они сели, подозвали стюарда. Ярко светило солнце, за бортом весело блестела вода. Принесли кофе, на подносах — окутанные жарким паром телячьи котлеты, горячие булочки, масло и мед. Отражаясь от больших белоснежных салфеток, ложился на лица смягченный свет, и внезапное ощущение полного благополучия ненадолго озарило предчувствием радости весь долгий, ничего хорошего не сулящий день.

Мимо проходили другие пассажиры, и миссис Тредуэл заметила, что добрая половина их не здороваются друг с другом — не от неприязни, но по равнодушию; видно, вчерашнее празднество не очень-то всех сблизило, ничего не переменялось, сказала она Фрейтагу. Он ответил, как ей показалось, очень весело, что кое-какие мелкие происшествия все же приключились, в конце концов, пожалуй, будут и перемены. Миссис Тредуэл припомнила кое-какие случаи, которые наблюдала сама, и, как всегда, сочла за благо промолчать.

Лутц, который в приятном одиночестве прогуливался по палубе, остановился, поглядел на их подносы и укоризненно покачал головой.

— Ай-ай! Опять кушаем? Дай бог еще сто лет по три раза в день, а?

И миссис Тредуэл сразу показалось, что перед нею на подносе чересчур много всего и чересчур грубая это еда; уже не в первый раз она чувствовала: от одного присутствия герра Лутца все вокруг становится грубым и вульгарным. Фрейтаг щедро намазывал половину булочки маслом и медом.

— Вы совершенно правы, — весело отозвался он и с наслаждением запустил зубы в булку.

Слишком он красив — не так, как надо, уж очень по-немецки, подумала миссис Тредуэл, и слишком тщательно одевается, и вообще уж слишком пышет здоровьем, а в голове ни единой мысли, и очень грустно, что даже самые симпатичные немцы чересчур жадно едят. Путешественники отмечали эту жадность во все времена, и сама она еще

не встречала ни одного немца, который не был бы обжорой. Фрейтаг, простодушно наслаждавшийся завтраком, с набитым ртом повернулся к ней — и впервые встретил внимательно-отчужденный взгляд: тонкие темные брови чуть приподняты, голова слегка склонилась набок, и словно бы нет в этом взгляде ничего особенного, но Фрейтаг на миг утратил душевное равновесие. Он отвернулся и с усилием глотнул. Когда он опять взглянул на миссис Тредуэл, она смотрела на море.

— Завтрак — моя любимая еда, — сказал он. — Дома мы завтракали по-английски, со всякими горячими блюдами: на буфете отбивные, омлет, жареные грибы, сосиски со свежими булочками, — бери сам, что хочешь, и стой большой кофейник, из носика пар струей. Моя жена...

Ну, конечно: завтрак в английском стиле, обед уж наверняка во французском, для других случаев — другие заграничные стили, а время от времени возвращаемся к родимым Eisbein mit Sauerkohl¹ и пиву. До чего утомительный народ, думала миссис Тредуэл. И стиль у них, все равно их собственный или взятый у кого-то взаймы, всегда оказывается грубый и корявый.

— Ich bin die fesche Lola², — вполголоса пропела она, подражая Марлен Дитрих в самом пошлом, самом низменном ее воплощении.

Фрейтаг весело рассмеялся и подхватил строчку о пианале.

— Где вы научились? — спросил он. — Это моя любимая песенка.

— В Берлине, в мой последний приезд, — объяснила миссис Тредуэл. — Марлен больше всего мне нравилась, когда она своим великолепным низким контральто исполняла что-нибудь комическое. Тогда она была гораздо милее, чем в ролях романтических героинь в кино.

Он согласился и прибавил:

— Моя жена собирает такие пластинки, у нас их сотни, на всех языках, все восхитительно низкого пошиба, мы очень их любим.

¹ Холодные свиные ножки с кислой капустой (нем.).

² Я — девчонка веселая Лола (нем.).

И он начал рассказывать, что у его жены особый дар — вокруг нее всем становится легко и весело.

— Она всюду приносит радость, при ней легче жить, — сказал он, и собственные слова на время его успокоили. Воображение принялось собирать осколки его разбитой вдребезги жизни и складывать в цельную картину — она уже казалась почти прежней. Все это так — так было и, может быть, снова так будет. Мари — вот что главное в его жизни, а Мари не может перемениться, так с чего на него вдруг напал страх за их будущее? Нигде в целом свете не будет хуже, чем в Германии, а может, еще и получше. Стыд и раскаяние охватили его — откуда взялись те подлые, предательские мысли? Надо быть поосторожней, не выдать перед Мари своих сомнений — хоть она и веселая, и умница, и все понимает, но ее так легко огорчить и расстрожить: ее часто мучают страшные сны, порой проснется с криком, прильнет к нему, прижмется лицом к его плечу, будто хочет вся зарыться, спрятаться в нем, — и никогда не расскажет, что же во сне так ее испугало. А порой она как-то отходит и от него, и от самой жизни, весь день сидит бессильная, поникшая, закрыв лицо руками. «Оставь меня, — почти беззвучно говорит она в такие минуты, — я должна сама с этим справиться. Подожди». И он научился ждать.

Миссис Тредуэл без особого интереса попробовала представить себе, как он живет — конечно, день за днем все то же, вечно в четырех стенах, с упоением занимается любовью под пуховыми перинами, уплетает горы снеди; жена у него, наверно, рослая, гладкая, розовая, спокойная, на голове короной уложены белокурые косы, она щедро оделяет всех весельем и уютом, точно густым супом в глубоких тарелках. Изредка они бывают в театре, в опере, чаще — в каких-нибудь кабачках, на эстрадных представлениях, им нравятся самоновейшие комики и непристойные песенки. В любое время рекой текут вино и пиво, с большим размахом празднуются годовщины свадьбы и дни рождения. Миссис Тредуэл подумала, что Фрейтаг явно доволен жизнью — конечно, потому, что лишен воображения и смолоду привык к завтракам по-английски, — деликатно откусила кусочек телячьей котлетки и нашла ее восхитительной.

Сколько она денег тратила, чего только ни покупала, где только ни побывала — но не могла припомнить, чтобы

хоть когда-нибудь ей было весело и уютно. Меня может ущипнуть нищенка, напомнила она себе, и ни за какие деньги я не в силах купить билет туда, куда мне по-настоящему хочется. Может быть, такого места вовсе нет на свете, а если и есть, слишком поздно — туда уже не попадешь. А мой муж предпочитал спать с первой попавшейся шлюхой, только не со мной, хотя я очень старалась быть шлюхой, чтобы ему угодить, — и притом он дни и ночи напролет твердил, как он меня любит! Больше всего он об этом говорил посторонним. И если есть на корабле скучный тип, уж конечно, именно с ним я и заведу разговор. А ведь этот издали казался довольно занятым, Дженни Браун слушала его раскрыв рот.

Фрейтаг давно уже что-то говорил, и она вынырнула из жалости к себе, в которой купалась, точно в теплой ванне, как раз вовремя, чтобы уловить его последние слова:

— ...понимаете, моя жена — еврейка, и мы уезжаем из Германии навсегда...

— Но почему же? — спросила миссис Тредуэл.

— Наверно, особой спешки нет, — Фрейтаг словно извинялся, — но я предпочитаю сам все устроить и уехать, пока еще есть время.

— Время? — бездумно повторила миссис Тредуэл. — Но что происходит?

Спросила — и сразу екнуло сердце: она уже знала ответ и совсем не хотела его услышать.

— Ну, все те же известные знаки и предзнаменования, — сказал Фрейтаг, он уже жалел, что начал такой разговор: эта женщина, миловидная и с виду очень неглупая, оказалась на редкость тупой и равнодушной. — Разного рода предупреждения. Пожалуй, ничего уж очень серьезного, но мы (мы? — переспросил он себя) привыкли смотреть, куда ветер дует, и глядеть в оба, — закончил он и сам подивился своей неосторожности: надо же, разоткровенничался с этой чужой женщиной.

— О, можете мне не рассказывать, — поспешно сказала миссис Тредуэл. — Когда-то я была знакома с одним русским евреем, он вспоминал про погром, который пережил ребенком. Ему тогда было шесть лет, — говорила она спокойно, почти небрежно, — и он запомнил все до мелочей... он рассказывал ужасные подробности... одного не мог вспо-

мнить — как он выбрался оттуда живым. Этого он просто не знал. Странно, правда? Его спасли, усыновили и перевезли в Нью-Йорк какие-то люди, которых он до погрома никогда не видал, и он начисто забыл, как это было. Очень разумный, добрый, образованный человек, преподаватель разных языков; и он производил такое впечатление, точно у него никогда в жизни не было никаких неприятностей. Прекрасная история, правда?

Фрейтаг молчал так долго, что она улыбнулась ему приветливой обычного. Он ковырял ноготь большого пальца, и лицо у него было такое, словно его ударили по голове.

— Зря я про это заговорил, — сказал он со сдержанной досадой. — Не надо было про это рассказывать.

— Может быть, вы и правы, — заметила миссис Тредуэл и подумала: а чего ты от меня хочешь? Что я могу сделать?

Она отодвинула свой поднос. Фрейтаг взял его и поставил на палубу рядом со своим. Оба встали.

— Очень приятно было позавтракать на открытом воздухе, — сказала она. — Как мило, что вы это придумали.

— Я в восторге, — напыщенно сказал Фрейтаг.

И миссис Тредуэл пошла прочь, спасаясь от человеческой близости, от чувств и излишней. Она знала — если остаться и слушать, поневоле поддашься слабости, исполнишься участия, пожалуй, еще влезешь в чужую шкуру, чужие горести и обиды ощутишь как свои и под конец почувствуешь себя виноватой, будто сама навлекла на него горе и обиды; да и он сам тоже в это поверит и станет ее во всем винить. Сколько раз уже так бывало, неужели она никогда не научится уму-разуму? Такие разговоры к добру не ведут, от них плохо и тому, кто исповедуется, и тому, кто слушает. Нет ни исцеления, ни утешения, слезы ничего не меняют, и словами не раскрыть правду. Нет, не говори мне больше о себе, я не слушаю, и ты не заставишь меня слушать. Не хочу тебя знать и не узнаю. Оставь меня в покое.

У Дэвида с похмелья мутно было на душе и мутилось в глазах, поэтому, когда он перед завтраком встретил Дженни у доски объявлений, она показалась ему такой свежей и хорошенькой, а ее приветливость такой обманчивой,

что он опять начал злиться: просто неприлично с ее стороны так выглядеть и так себя вести после всего, что случилось накануне вечером, что бы там ни случилось. А у Дженни настроение оказалось как нельзя лучше, и притом по очень странной причине. Проснувшись она спозаранку, приснилось что-то такое страшное, что, уже открыв глаза, она все прижимала руки к груди, боялась отнять их и увидеть на пальцах кровь. Потом в голове прояснилось, видение рассеялось как дым, и она уже могла объяснить себе весь ход сна и его связующие звенья. Да, конечно. Накануне вечером Дэвид торчал в баре, пока не напился до умопомрачения, потом ходил по пятам за ней и Фрейтагом, крадучись, будто частный сыщик, собирающий улики для ревнивого мужа. Фрейтаг сразу это понял, но притворился, будто ничего не замечает. Они опять танцевали и надеялись ускользнуть, но Дэвид с самым дурацким и злобным видом протолкнулся между ними и схватил ее за руку выше локтя. Она попыталась было высвободиться, потом уступила и пошла с Дэвидом, который все сжимал ее руку, точно клещами. Она еще издали увидела, что он пьян в лоск; а значит, упрям, молчалив, попросту невменяем, никакого сладу с ним не будет; в такие минуты она его боялась; лучше пойти с ним, как-нибудь свернуть к его каюте, а уж там она от него избавится. Но она быстро поняла, что у него совсем другие планы. Он тяжело опирался на ее плечо, смотрел на нее остекленелым, блуждающим, но похотливым взглядом и путь держал не к своей, а к ее каюте. Она похолодела от гнева и отвращения; у своей двери, неожиданно для Дэвида, вырвалась от него, метнулась в каюту и захлопнула дверь у него перед носом. Он навалился на дверь плечом, Дженни изо всех сил удерживала ее изнутри. Тут Эльза в ужасе подскочила на постели с криком:

— Кто здесь? Что вы делаете?

Дэвид сразу отступил. Дверь затворилась, и Дженни защелкнула задвижку.

— Успокойтесь, — дрожащим голосом сказала она Эльзе. — Просто он пьян и плохо соображает. Он забыл, что я здесь не одна.

Как ни странно. Эльза эту пакостную сценку тоже связала с любовью. Ей непременно хотелось говорить о любви. Ей страшно влюбиться в неподходящего человека, при-

налась она (она захлебывалась словами «любовь», «влюбиться», точно сладким сиропом, а впрочем, подумала Дженни, может быть, так и надо), — в красивого студента-кубинца, в того, высокого, который так хорошо поет и танцует.

— Только бы моя мама ничего не заподозрила. — В голосе Эльзы послышалось что-то очень похожее на восторженный трепет. — Представляете, что бы она сказала?

— Да уж, представляю, — заметила Дженни. — А вы будьте поосторожнее. Этот кубинец доставит вам одни тревоги и волнения.

Эльза призадумалась.

— А мне всегда так и говорили, что любовь — это тревоги и волнения... На то и любовь. Тревоги и волнения... — Она глубоко, прерывисто, счастливо вздохнула. — Ну и пусть! — И прибавила робко: — Наверно, это блаженство — когда тебя так сильно любят. Ужасно грустно, что вам пришлось его прогнать.

— Грустно? — Дженни и сама удивилась, такая горечь в ней поднялась. — Ну, знаете, это не то слово.

Она еще долго лежала в темноте, слушая, как вздыхает и ворочается Эльза, и наконец уснула — и во сне вновь пережила то, что видела однажды среди бела дня, но кончилось все по-другому, словно память соединила вместе разрозненные клочки и обрывки и тогда прояснился смысл, которого они лишены были каждый в отдельности. В первый же месяц, когда она только сошлась с Дэвидом, она поехала автобусом из Мехико в Такско, думала поглядеть там на один дом. В полдень, под беспощадно жгучим и слепящим солнцем, автобус замедлил ход: они проезжали небольшой индейский поселок, вдоль дороги лепились домишки с толстыми глиняными стенами без окон, перед каждым — голая, чисто подметенная земля. От пыли во рту было горько и сухо, донимала жара, хотелось уснуть где-нибудь в лодке.

На голом пятачке перед одним из домишек сошлись человек шесть индейцев и индианок — молчаливая кучка внимательных зрителей. И когда машина проезжала мимо, Дженни увидела, на что они смотрят: чуть поодаль боролись не на жизнь, а на смерть мужчина и женщина. Они топтались на месте, покачиваясь в странном объятии, словно

бы поддерживая друг друга; но в высоко поднятой руке мужчины был длинный нож, и он уже рассек грудь и живот женщины. Кровь ручьями текла по ее телу, по бедрам, пропитанная кровью юбка липла к ногам. А она била мужчину по голове угластым камнем, и его лицо сплошь исполосовали кровавые струйки. Оба молчали, и на лицах у них, точно у святых, было одно лишь терпеливое страдание, отрешенное, очищенное от ярости и ненависти священным, самозабвенным стремлением к единственной цели — убить друг друга. Левой рукой каждый обвивал другого, и тела их, покачиваясь, льнули друг к другу, словно в любовном объятии. Каждый снова занес свое оружие, а головы их опускались все ниже, и вот уже голова женщины опустилась на грудь мужчине, а голова мужчины — ей на плечо, и так, опершись друг о друга, они снова нанесли удар.

Все это молнией мелькнуло перед глазами, но в памяти Дженни остался огромный, нескончаемый день, и яркий свет беспощадного солнца, бессмысленно веселый бег автобуса, глубокая синева неба, иссиня-лиловые тени гор, спадающие в долины; и жажда; и тихое попискиванье только что вылупившихся цыплят в корзине на коленях у соседа, мальчика-индейца. Она и сама не знала тогда, как ее испугало виденное, пока сцена эта не стала повторяться в страшных снах, да еще всякий раз в каких-то новых диких поворотах. Но в этот последний раз она была среди зрителей, словно перед нею разыгрывалось представление, и две тощие фигурки в белом казались ненастоящими, будто в резном алтаре деревенской церквушки. И вдруг, к ужасу Дженни, черты их стали меняться, и вот у них уже другие лица — это Дэвид и она сама, и она смотрит в залитое кровью лицо Дэвида, в руке у нее окровавленный камень, и нож Дэвида занесен над ее пронзенной, кровоточащей грудью...

Таким облегчением было проснуться, так грустно вспоминать времена, когда она была в восторге от Дэвида и верила, что они любят друг друга... Дженни чуть не заплакала. Слезы навернулись на глаза — и высохли. Наверно, она и сейчас любит Дэвида, но непостижимо — что же он-то считает любовью? Ей всегда казалось, любовь — это нежность, и верность, и радость, и обращенная на любимого неизменная доброта; ей хочется, чтобы Дэvidу было хорошо и спокойно, и чтобы у нее самой было легко на душе, — а

Дэвид все принимает как должное, словно пожирает с холодной жадностью и нежность, и доброту, и однако он сам по себе, он ни в чем ей не открывается и ничего не дает взамен. Когда она берется за кисти и краски, он дуется, сам не работает, только слоняется без дела. На ее друзей смотрит косо и сам ни с кем не дружит. Не хочет слушать с нею музыку, не хочет танцевать, не грустит и не радуется с нею и не позволяет ей грустить или радоваться с ним; раз уж он не может войти в ее жизнь, так наладил бы свою, которую могла бы разделить и она, но нет, он и этого не желает; живет, нарочито замкнувшись в себе, как в тюрьме, и не дает отпереть дверь.

Дженни лежала на койке, закинув руки за голову, список обвинений становился все длинней. С самого начала они решили, что не поженятся: они должны остаться свободными, а брак — это цепь, мыслящих людей она может только сковать и унижить; но что же такое их связь, если не брак — и притом самая худшая разновидность брака: тут и несвобода, и ревность, и все тяготы брака, но нет ни его достоинства, ни тепла, ни защищенности, ни честности и прямоты в мыслях и намерениях. Да, пора, пора призадуматься. Она влюбилась в него по-сумасшедшему, с первого взгляда (почему?) и кинулась в эту любовь очертя голову, просто не смела колебаться, о чем-то рассуждать. А едва они стали близки, она чувствовала себя уже не сумасшедшей, а счастливой, чувствовала, что права в своей любви и до странности привязана к Дэвиду. Верила, что и он чувствует то же, и по крайней мере год ничуть не сомневалась, что привязанность эта — подлинная, что это прочно и надолго. У них впереди просто замечательная жизнь.

Но понемногу ее стало угнетать, что он упорно противится любви, будто это не сила жизни, которой они обладают оба и делятся друг с другом, а чужая, недобрая сила, опасность извне; ее угнетало его упрямое нежелание думать о будущем, строить планы хотя бы на завтра. Она верила, что частые приступы молчаливости у него — признак сдержанности и силы воли; но пьяный он становится глупым и пошлым, словно все сдерживающие центры отказывают и он разваливается на части. Она верила, что он не признает ее друзей, смотрит на них свысока, потому что сам он требовательней к людям и разбирается в них лучше, чем она.

Но, похоже, он так придирчив, так старательно выискивает у других промахи, ошибки, малейшие, но несомненные признаки слабости и вульгарности лишь затем, чтобы успокоить собственные страхи, потому что отнюдь не уверен в собственных достоинствах. И ей хотелось крикнуть: «Милый, ничего не надо бояться! Так уж устроен свет! Не станем из-за этого расстраиваться!» Был Дэвид всегда таким? Или это он от нее так защищается? Но чего ради ему защищаться? А может, он всегда был такой, просто она этого не видела, потому что слишком была влюблена? Но тогда что же в нем любить? Как можно было его полюбить?

Дженни умывалась, одевалась, и ей было на удивление легко и весело. Долгая внутренняя борьба кончилась, вопрос был задан — и сам собою возник ответ... совсем не такой ответ, какого она ждала — а чего же она ждала? — но все же ответ, и, стало быть, вот как оно будет. Мы еще некоторое время останемся вместе, и это будет все хуже и хуже, мы станем все безжалостней оскорблять и унижать друг друга, и наконец каждый нанесет другому последний смертельный удар. Возврата нет, нельзя начать сначала... вернуться некуда. Прошлое не отыщешь там, где, как тебе кажется, оно осталось: ведь и ты сегодня уже не тот, что вчера... но куда же, куда ушел прежний Дэвид? Стремись к дому, которого еще нет, и, когда придешь туда, куда надо, нужно будет своими руками его построить. Господи, не дай мне забыть, что со мной случилось. Не дай мне забыть. Помоги мне!

Когда несколько минут спустя Дженни встретила Дэвида у доски объявлений, она была полна нежности к нему: горечь словно смыло с души. Она изо всех сил постарается больше с ним не ссориться. В Бремерхафене, прямо в порту, она с ним простится и поедет в Париж, а он может ехать в Мадрид, как ему хотелось, — а пока...

Первые же слова, которые она ему сказала, были полны вызова, она и сама услышала, как они, должно быть, прозвучали для Дэвида. Она просто не могла удержаться. Напила ему кофе, обвела взглядом кают-компанию, поздоровалась почти со всеми входящими и сказала:

— Я вижу, все, кто вчера был пьян или маялся морской болезнью, сегодня все-таки выползли на свет божий, даже твои соседи по каюте. Тебе, верно, там бывает скучно, ла-

почка? Хочется прийти переночевать у нас с Эльзой?

Дэвид побледнел как мертвец и выпрямился.

— Вот оно что? — сказал он. — Я так и знал, что вышла какая-то веселенькая история. Ну-ка, расскажи.

— Да нет, это все. Хотя, может быть, ты вспомнишь что-нибудь еще... что-нибудь интересное, что ты делал не при мне? Ты никогда ничего не помнишь, когда напьешься, да? Наверно, это в высшей степени удобно.

Дэвид молча уставился в свою тарелку. Дженни внимательно, изучающе смотрела на него: как хорош, изящен разрез глаз — от наружных уголков, приподнятых к вискам, до внутренних, где под тонкой кожей век голубовато просвечивают вены. Очень хорош тонкий нос. Хорошей формы уши. Хорошо вылеплена голова — узкая, продолговатая. Десятки раз набрасывала она его портрет, пытаясь ухватить сходство, и ни разу это ей толком не удалось; может быть, надо попытаться написать его красками. Удивительно смешались в этом лице уязвимость, и что-то очень жестокое, и что-то очень скаредное... возможно, все дело в губах. Дэвид ест, не зная никакой меры, — и ничуть не поправляется, вид у него просто изголодавшийся. Она никогда не слыхала, чтобы человек мог спать таким мертвым сном — иногда ее это просто ужасало. Она возвращалась на цыпочках еще раз взглянуть на него, прислушивалась — дышит ли. По воскресеньям и в праздники он мог проспать шестнадцать часов кряду. И все равно поднимался с таким усталым видом, будто и не надеялся выспаться. Он любит плескаться в воде, но так и не научился плавать, он может валяться часами на циновке и ничего не делать, просто греться на солнышке, точно собака. Если уж он примется пить виски, так нарочно напивается до потери сознания. Всем этим дурацким излишествам он предается с какой-то упрямой, сосредоточенной яростью, с холодным и все же чувственным наслаждением; и Дженни знает: когда они в постели, он даже не помнит, кто она такая. А меж тем он ухитряется сохранять уж такой скромный, такой невинный облик, ни дать ни взять молодой монах в дни великого поста. Однажды он рассказал ей, что когда отец ушел из семьи, мать не могла его прокормить — у нее на руках был его младший брат, несносный мальчишка, который нарочно растревлял у себя астму, чтобы мать только с ним и нянчилась, — и она от-

дала Дэвида на воспитание трем ужасным, тухлым двоюродным бабкам, которые ни разу не накормили его досыта. Голод был у него в костях и в душе. Смутные материнские чувства всколыхнулись в Дженни — те самые, каких она всегда терпеть не могла.

— Дэвид, — начала она тихо, нетвердым голосом, и он с удивлением увидел в ее лице уже знакомую перемену: как всегда в минуты, когда совсем уж неизвестно было, что ей взбредет в голову и чего от нее ждать, она смотрела с бесконечной, нерассуждающей, прямо собачьей нежностью и преданностью — непостижимой, но неподдельной и трогательной, в эти минуты нельзя было ей не верить.

— Что, Дженни, ангел? — очень мягко спросил он и ждал: сейчас она в чем-нибудь покается, пойдет на какую-нибудь уступку, которой он вовсе не просил и от которой она потом откажется, возьмет все свои слова обратно, едва минет эта внезапная размягченность. Он устал от попыток понять ее и уже знал, что ни в чем, ни в чем не может на нее положиться.

— Я рада, что ты решил поехать в Испанию, — сказала Дженни (вранье, подумал Дэвид, что угодно, только не рада!). — Давай сначала поедem туда. Мне всегда хотелось во Францию, меня всегда будет туда тянуть. В любое время. И когда-нибудь я туда съезжу. Франция не убежит. У меня есть время. А ты хочешь в Испанию сейчас. Вот и давай поедem. Зря мы тогда тащили эти соломинки.

— Это ты придумала, — безжалостно напомнил Дэвид. — Но, как я понимаю, в конце концов нас занесет именно во Францию.

— Нет-нет! — воскликнула Дженни, хотя при этих его словах глаза ее радостно блеснули. — Мы поедem в Германию, непременно, разве что консул в Виго даст нам визу и корабль все-таки зайдет в Булонь. Эти студенты с Кубы говорят, есть такой старый морской закон: капитан обязан высадить пассажира в том порту, до которого куплен билет. Но казначей сказал миссис Тредуэл, что после Хихона цена до всех портов одна и капитан имеет право между Хихоном и Бремерхафеном никуда не заходить, если не пожелает. А капитан так и сказал, что в Булонь он заходить не желает. Так что, лапочка, давай, когда придем в Бремерхафен, бросим монетку — один только раз: если выпадет орел, едем в

Испанию, если решка — во Францию, и сразу там возьмем билеты, пока нас ничто не сбило. — Она ужасно радовалась, что решится хоть одна задача. — Правда, Дэвид, давай так и сделаем и не будем больше ни о чем беспокоиться. Так славно путешествовать, если только знать, куда мы едем.

Но Дэвид не мог или не хотел ничего решать.

— Давай подождем, — сказал он после долгого, неловкого молчания. — Я еще не знаю, куда хочу.

Его брала досада — получалось, что он уже не хозяин положения: он-то хотел с ней разругаться, с какой стати она вчера кокетничала с этим шутом Фрейтагом, в кои веки она по-настоящему перед ним виновата. А она хотела все перевернуть и самыми черными красками, в самом нелепом виде изобразить его вчерашнее поведение. Но с чего теперь начнешь, когда не стало общей почвы под ногами — без всякого предупреждения что-то треснуло между ними, и трещина расходится все шире. Нет покоя, думал Дэвид, разве только на миг, на долю секунды понадеешься, даже поверишь, что вот, вот сейчас тебе спокойно. Если мы останемся вместе, она будет мне изменять, опять начнутся «романы», как было и до меня. Чего ради ехать с ней в Испанию? Чего ради ехать вместе куда бы то ни было? Ее жизнь, если верить ее же рассказам, была беспорядочной, бессвязной чередой случайных приключений, скитаний без видимого смысла. Скажи ей так, и она запротестует: «Нет-нет, для меня в этом есть чудесный смысл», — а что же тут чудесного, ни разу толком не сказала. Ни разу не сумела объяснить, почему поехала туда или сюда и что в тех краях делала. «Да я просто писала красками, Дэвид. Дома у меня никакого нет. Дедушка с бабушкой умерли, их дом продан, им почти нечего было мне оставить... надо ж было мне как-то зарабатывать свой хлеб, правда? А я не очень хорошо это умела... я и сейчас не очень умею, но я стараюсь! Я поехала, потому что у меня там была работа». А мужчина или мужчины словно бы маячили где-то на заднем плане. «О господи, Дэвид, ну конечно, были и мужчины. За кого ты меня принимаешь?.. Да нет же, Дэвид, конечно, я не была замужем — с какой стати мне выходить замуж?»

Ни разу она не признала, что любила хоть кого-то, кроме Дэвида, и, что еще удивительней, ни разу не признала, что хоть кто-то любил ее, — вот разве что Дэвид любит,

это она еще посмотрит. «Все, что было, не имело никакого значения, Дэвид, лапочка, — опять и опять простодушно, вполне серьезно уверяла она. — Все это бывало ненадолго. Просто так, чтобы не скучать, Дэвид. Это была не любовь, а так, самообман». Она никак не могла понять, что именно это его и возмущает. Очень плохо, что то была не любовь, стыд и срам, что она тогда не любила; наверно, она и сейчас не любит, с горечью думал он. Может быть, она только и способна не на подлинную любовь, а на самообман.

И настало воскресенье, о чем безбожникам с утра напомнил вид людей богобоязненных, которые, с подобающим выражением лица, каждый сообразно своей вере, собирались чтить день воскресный. В шесть часов отец Карильо спустился на нижнюю палубу и за переносным алтарем, украшенным зажженными свечками и мятыми бумажными красными розами, отслужил мессу. Молящиеся, теснясь плечом к плечу, склонив головы и шевеля губами, преклоняли колена, вставали, снова опускались на колени, в воздухе мелькали сотни рук — люди поминутно крестились. Среди них только шесть женщин по-настоящему преисполнились благочестия. На коленях они подползли к священнику, чтобы получить причастие. Запрокинув голову, повязанную черным платком, закрыв глаза, каждая широко раскрывала рот и высовывала бледный, на удивленье длинный язык, готовясь вкусить тела Христова. Священник наскоро проделывал все, что полагается, ловко клал облатку на высунутый язык и отдергивал руку. Он отслужил мессу по всем правилам, но с быстротой необычайной и тотчас начал складывать свой алтарь, будто спешил бежать с ним от зачумленных.

В дальнем конце нижней палубы все это время стояли спиной к священнику десятка два мужчин; когда служба кончилась, они обернулись и начали расходиться. Молча, без единого выкрика, они выражали свое отношение к происходящему кто гневным взмахом руки, кто презрительной grimасой, переглядывались, насмешливо улыбались. Верховодил у них явно толстяк в красной рубашке. Он пошел напрямиком на человека, который еще стоял на коленях с потрепанной шапкой в руках, толкнул его и едва не сва-

лил. Тот вскочил на ноги, кое-как нахлобучил шапку и, сжав кулаки, шагнул к обидчику, а толстяк круто остановился и смерил его наглым, презрительным взглядом.

— Уважай святое причастие, подлая харя! — в бешенстве сказал тот, кого толкнули.

— Чего это уважать? — переспросил толстяк. — Скопца с хлебными пилюльками?

В тот же миг они двинули друг другу кулаком в зубы, худой кинулся на толстяка, дал ему подножку, и оба грохнулись на палубу; несколько секунд яростной схватки, потом с поддюжины мужчин вцепились в них и растащили в разные стороны, а женщины, спотыкаясь о стулья и узлы, с криками кинулись врассыпную. Отец Карильо взял сложенный алтарь и направился к трапу, даже не взглянув туда, где разыгралось это недостойное происшествие. Драчунов уже отпустили, у обоих и лица, и разорванная одежда были в крови. Они переглянулись, у обоих в глазах была злоба и холодный расчет, взгляды явственно сулили: это еще не конец! — а потом они молча двинулись в разные стороны, каждый утирал лицо грязной тряпкой, каждого окружали друзья, которые теперь стали еще и телохранителями.

В семь часов в маленькой библиотеке, примыкающей к главному салону, отец Гарса отслужил мессу, на которой присутствовали испанские танцоры, чета новобрачных, доктор Шуман, фрау Шмитт и сеньора Ортега — молодая мать в такую рань была очень бледна, под глазами синяки, она опиралась на плечо индианки. Все преклоняли колена, и, хоть пол был покрыт ковром, всем не хватало привычных мягких скамеечек, а на лбу от жаркого влажного ветра проступал пот. Испанцы опускались на колени вплотную друг к другу, недобрые лица были чопорны и непроницаемы, гибкие, не первой чистоты пальцы проворно перебирали четки.

Фрау Шмитт заметила, что новобрачные преклонили колена, не касаясь друг друга, и ни разу друг на друга не взглянули, и мысленно одобрила их скромность и деликатность. Потом закрыла лицо руками, чтобы ничто ее не отвлекало, и с тихим волнением предалась давно знакомому блаженству любви и молитвы, сладкому предвкушению радостей жизни вечной. Агнец божий, искупивший грехи рода люд-

ского, одним лишь твоим милосердием исцелится душа моя. Святая дева Мария, мать божья, молись за нас, грешных, и ныне, и в наш смертный час.

Рядом шуршала своими нижними юбками Ампаро, шумно перебирала четки, молилась свистящим шепотом и при каждом движении источала острый, жаркий запах плоти, смешанный с резким запахом духов, какими не душится ни одна порядочная женщина. Обеспокоенная этими звуками и ароматами, в придачу к которым отовсюду тянуло еще и запахами немытого тела и несвежего масла для волос, фрау Шмитт на коленях начала отодвигаться в сторону, потом остановилась, чувствуя себя преглупо. Светлое настроение нарушилось. Она села на пятки, открыла глаза и с тупой покорностью стала следить за негромким бормотанием и заученными жестами отца Гарса. Воскресную службу она знала наизусть, но чувствовала себя обманутой — ее лишили священного восторга, и она украдкой опять и опять поглядывала на испанцев, виновных в этом обмане.

Они ей были бесконечно отвратительны; непонятно, как люди с такой темной кожей могут кому-то казаться красивыми? Хорошо, что и добрый, рассудительный доктор Шуман здесь, при нем как-то спокойнее. Она словно уже хорошо с ним знакома, такого человека она может понять, и он, уж конечно, понял бы ее. Точно картинка в золотой рамке, возникло перед ее мысленным взором полное солнца и нежности воспоминание — ее медовый месяц в Зальцбурге, ее молодой чудесный муж (он навсегда останется для нее чудесным), они вдвоем в первом своем общем жилище — в гостинице «Белая лошадь» в Сент-Вольфганге; все вокруг очаровательно, по-летнему светло и зелено; маленький белый пароходик, сделав круг по озеру, причаливает к маленькой, точно игрушечной пристани, и его встречают так, словно он пересек океан... и позолоченные шарики пляшут в струях фонтана в Хельбронне, и славные глиняные карлики и гномы, покрытые цветной глазурью, выглядывают из цветочных клумб и живых изгородей! Ох, уж эти испанцы со злыми лицами и колючими глазами, видели бы они в Хельбронне мраморную белую статую мученицы — императрицы Елизаветы, знали бы тогда, что такое красота... Как печально это плаванье, может быть, ее последнее

путешествие в этом мире, и как жаль, что почти все люди вокруг такие неприятные. Ей так одиноко, однажды она даже заставила себя уснуть, воображая, что можно пойти в трюм, посидеть в темноте у мужнина гроба, и тогда ей будет не так тоскливо. А потом ей приснилось, что она и правда пошла в трюм, а там в дверях стоял ее муж, он сиял, точно лунный свет на волнах, и он помахал ей рукой и сказал: «Вернись, вернись, вернись» — только одно слово, три раза подряд, — и исчез. Она проснулась в страхе, зажгла свет у изголовья и принялась читать молитвы; и теперь ей оставалось только примириться с мыслью, что в этом жалком мире она его больше не увидит, и надо не ожесточиться сердцем, быть снисходительной к бедным и несчастным — а эти испанцы, несомненно, бедны и несчастны. Она всегда твердо верила, что все люди на свете, каждый по-своему, хотят только покоя и счастья; а оказывается, есть в них дух зла, и он не дает им оставить друг друга в покое. Желания одного непременно мешают желаниям другого, выгода одного непременно идет в ущерб другому. По крайней мере очень на то похоже. Господи, помилуй всех нас.

Левенталь прочитал утренние молитвы и теперь хмуро бродил в одиночестве, уныло раздумывая о том, как с ним обращается Рибер. Он не грубит, не ругается, он вообще не разговаривает с Левенталем, а если его вежливо о чем-нибудь спросить, только буркнет вместо ответа что-то нечленораздельное; но вот беда, Рибер ведет себя так, словно он в каюте единственный обитатель и полновластный хозяин. Вещи Левенталья он расшвыривает, точно это мусор у него под ногами. Один раз нарочно смахнул все его туалетные принадлежности с полки на пол, разбил флакон отличного лосьона для бритья и даже не счел нужным притвориться, будто сделал это нечаянно.

Стоит Левенталю повесить свою пижаму в шкафчик по соседству с одеждой Рибера — и тот, скорчив нарочито брезгливую мину, берет эту пижаму двумя пальцами, снимает с крючка и кидает на пол. И все это с самым наглым, вызывающим видом, он явно уверен в полной своей безнаказанности.

Левенталь не протестовал, скрепя сердце он решил набраться терпенья и молча сносить всю эту дикость до конца и немало времени тратил, подыскивая для своего имущества хоть какой-то уголок, на который не покусился бы Рибер. Он по-новому уложил свой чемодан и чемоданчики с образцами, новые туалетные принадлежности спрятал в дорожную сумку и засунул ее в дальний от коек угол, под изножьем диванчика. Но однажды он снова нашел мыло, зубную щетку и все прочее на полу посреди каюты, а в другой раз все его пожитки свалены были как попало на нижней койке. Ясное дело, конца этому не предвидится. С хмурой усмешкой Левенталь подумал, что герр Рибер — суший домовой, зловредное привидение из немецких сказок. Наверядли сказочный домовой упорнее изощрялся бы в злобных выходках. А ведь плаванье только началось, бог весть, какими еще способами надумает господин домовой изводить его, пока они достигнут Бремерхафена?

Невесело размышляя об этом, Левенталь с палубы заглянул в окошко маленькой библиотеки и увидел, что там служат мессу. Ему захотелось сплунуть от отвращения, но он сдержался, пока не вышел из поля зрения молящихся; потом отошел к борту и, как настоящий сухопутный простофиля, плюнул против ветра, и ветер швырнул плевков ему же в лицо. И оттого, что его проклятие обратилось на него самого, Левенталь охватил суеверный ужас, он весь похолодел, по коже пошли мурашки, его с головы до ног пробрала дрожь.

— Упаси бог, — с неподдельным чувством взмолился он вслух и, все еще вздрагивая, опустил в ближайший шезлонг.

Спустя несколько минут на палубу вышел отец Гарса; исполнив свои обязанности пастыря, он явно пребывал в самом бодром, благодушном настроении и, задрав полу сутаны, запустил широкую костлявую руку в карман брюк за пачкой сигарет. К нему подошел отец Карильо. Оба дружелюбно заулыбались Левенталю, который уставился на них невидящим взглядом.

— Доброе утро, — приветствовали его оба по-немецки с прескверным выговором, а отец Гарса прибавил: — Очень хорошая сегодня погода.

Они медленно прошли мимо, и только тогда их слова

проникли в пучину уныния, куда погрузился Левенталь. Он сделал над собой усилие и вынырнул.

— Guten Morgen ¹, — безнадежно молвил он ветру и суровым волнам океана.

Поскольку на борту не было лютеранского священника, воскресное молебствие решил возглавить сам капитан. В одиннадцать часов все, кто сидел за капитанским столом, кроме доктора Шумана и фрау Шмитт, собрались в главном салоне, сюда же явились Вилибальд Графф с племянником, чета Баумгартнер с мальчиком Гансом, Глокен и семейство Лутц. Даже Вильгельм Фрейтаг, случайно оказавшийся там же, остался на молитву. Капитан самым своим капитанским голосом, будто командуя, прочитал несколько стихов из Священного писания и подходящие случаю молитвы; собравшиеся слушали, почтительно наклонив головы. Хором громко спели несколько бодрых псалмов, уверенные, оживленные голоса разносились по всему кораблю и слышны были даже в баре — там, за стойкой, буфетчик прислушивался с довольным и задумчивым лицом, кивал в такт и тихонько подпевал.

Фрау Гуттен, фрау Риттерсдорф и фрау Шмитт перешли на теневую сторону палубы и приготовились терпеливо пересидеть здесь воскресную скуку в ожидании обеда. Немного поодаль профессор Гуттен беседовал с капитаном и доктором. Говорили они вполголоса, лица у всех троих были серьезные, и женщины потеряли надежду расслышать, о чем речь; фрау Риттерсдорф принялась строчить в своей записной книжке, и фрау Гуттен, стараясь не мешать, молча, рассеянно теребила подрезанные уши Детки.

«Оказывается, у этих молодых американцев фамилии самые обыкновенные — Скотт и Браун, — мелким, аккуратным почерком записывала фрау Риттерсдорф. — Браун — фамилия немецкая, только пишется иначе, и возможно, эта молодая женщина по происхождению немка, хотя мне даже думать об этом противно. Трудно себе представить женщине, во всех отношениях столь чуждую всему немецкому. «Ангел» и «лапочка» — просто ласкательные имена, кото-

¹ Доброе утро (нем.).

рыми они друг друга называют. Разумеется, это очень дурной вкус и притом сильно преувеличено, так как оба они лишены всякого обаяния. Она сухопарая, как все американки, — даже в красивых нет настоящей свежести, либо они размалеваны, как куклы, либо вот-вот поблекнут. Как мне говорили сведущие люди, это оттого, что чуть не все американки теряют невинность еще совсем девчонками и потом ведут самую беспорядочную половую жизнь. Но эта молодая женщина совсем не привлекательна; полагаю, что ей в любом возрасте не так-то просто было потерять невинность. А этот молодой человек, надо думать, ничего лучшего найти не мог и, несомненно, лучшего и не заслуживает».

Фрау Риттерсдорф засунула самопишущую ручку в специальный кармашек в переплете записной книжки и весело откинулась в шезлонге: что ж, она неплохо оплатила этой парочке за то, что они поначалу ввели ее в заблуждение.

Она повернула голову и хотела заговорить с фрау Гуттен, но тут ее внимание привлекла странная сценка: у самого борта Рибер и фрейлейн Шпёкенкикер затеяли совершенно неприличную возню. На шее у Рибера болтался зеленый с белым шарф этой девицы, и она за оба конца тянула его к себе. Фрау Риттерсдорф на мгновение подняла и щелчком открыла свою пудреницу, глянула в зеркальце. Да, эта особа делает вид, будто завязывает у Рибера под подбородком бант, но она так затянула шарф, что ему перехватило горло, он уже хватает воздух руками, вены вздулись и улыбки не разглядеть на багровом лице. А потом она ослабила петлю, и веселый мученик благодарно изображает возвращение к жизни.

Все его поведение глубоко возмутило фрау Риттерсдорф. Поддаваться заигрываньям женщины, как бы ни была она неотразима, недостойно мужчины. Куда приличней обратное, ибо высшее предназначение женщины — страдать во имя любви. Фрау Риттерсдорф затрепетала всем телом от чисто чувственного волнения — можно себе представить, что было бы, попробуй она даже в самую игривую минуту, в виде милой шутки, задушить своего Отто.

— А теперь выпьем пива! — весело закричал Рибер.

Он сунул шарф в карман, так что один конец повис хвостом

том, и бесстыжая парочка удалилась, провожаемая многими неодобрительными взглядами.

— Если судить только по внешним проявлениям, как часто пришлось бы думать о людях самое худшее, — с величайшей кротостью заметила фрау Риттерсдорф, обращаясь к фрау Гуттен.

Фрау Гуттен лениво повернула голову и, немного подумав, сказала снисходительно:

— Что ж, он, видимо, холостой, и она не замужем. Как знать, может быть, они подходящая пара.

— Ну, мне кажется, не очень подходящая. По-моему, всегда лучше, если мужчина выше женщины, — вставила маленькая фрау Шмитт.

Потом все три посмотрели в ту сторону, где капитан Тиле, профессор Гуттен и доктор Шуман все еще поглощены были серьезным разговором. До них было довольно далеко — и женщины дали волю языкам, не опасаясь, что их услышат: ведь мужчинам женские разговоры всегда кажутся пустячной болтовней, отличной мишенью для чисто мужского остроумия.

— Фрейлейн Шпёкенкикер, как я слышала, в разводе, — сказала фрау Риттерсдорф. — Мне дали понять, что она женщина деловая, занимается дамским бельем, у нее три магазина и она всегда сохраняла девичью фамилию. Неудивительно, что у нее уже нет мужа. Может быть, этим объясняются и ее манеры, вернее сказать, отсутствие приличных манер.

— Когда я вышла замуж, я думала остаться учительницей, но мой муж и слышать об этом не хотел, — гордо, как и подобает верной жене, сказала фрау Гуттен. — Он сказал: содержать семью — дело мужа, а дело жены — создать уютный домашний очаг для них обоих. Это ее священный долг, сказал он, и пусть ничто, ничто не мешает ей этот долг исполнить. И так у нас и вышло. С тех пор и по сей день я занимаюсь только домом, ну, и еще помогаю мужу как секретарь.

Фрау Шмитт покраснела.

— А я много лет преподавала в той же школе, где муж, — сказала она. — Война подорвала его здоровье, он остался почти инвалидом. Он не мог нести полную учительскую нагрузку, ему очень важно было не переутомляться.

Детей у нас не было, чем еще я могла заниматься? Домик у нас был небольшой, хозяйство скромное, оно отнимало у меня не так уж много времени. Нет, я с радостью помогала мужу, и все равно у нас был уютный домашний очаг.

Она говорила это со спокойным удовлетворением, словно бы защищалась — и только.

— Ну, тут не установишь строгих правил, все должно быть подчинено воле мужа, — сказала фрау Гуттен. — Вот я всю жизнь стараюсь поступать так, как хочется мужу. В этой дикой чужой стране жилось не так-то просто, но теперь мы наконец возвращаемся на родину. А там, наверно, все по-другому, — продолжала она, обращаясь к фрау Риттерсдорф. — Наверно, все переменялось. Мы уехали в Мексику в девятьсот двенадцатом, нам и не снилось, какая беда постигнет наше любимое отечество. К счастью, у профессора Гуттена очень слабое зрение, да еще он с юности страдал плоскостопием; о том, чтобы он пошел на фронт, не могло быть и речи...

— К счастью? — повторила фрау Риттерсдорф, высоко подняв и без того недоуменно изогнутые брови. — А мой муж, к счастью, был физически великолепен, настоящий мужчина, капитан; он три года провел на фронте, можно сказать, в самом пекле. Не раз проявлял сверхчеловеческую храбрость в бою, был награжден Железным крестом и пал на поле брани... Не правда ли, странно, что война уничтожает именно таких мужчин — храбрых, благородных, крепких и здоровых, которые могут стать неопенимыми отцами, — а для продолжения рода оставляет только неполноценных? Сколько раз я задавала себе этот вопрос все последние годы, с тех пор как осталась одна, и не нахожу ответа!

— В мире нужны не только солдаты, но и ученые, и мыслители, — кротко заметила фрау Гуттен. В таком споре ее трудно было сбить, ибо она была из тех женщин, что восхищаются достижениями разума и готовы преклоняться перед нравственным превосходством. — Но я вполне понимаю ваши чувства.

— А мой муж был и храбрый солдат, и в то же время настоящий ученый, — сказала фрау Шмитт. — Одно вовсе не исключает другого. Мой муж...

Она остановилась на полуслове, глубоко вздохнула — и

этот вздох, точно насос из колодца, извлек из глубины ее души две слезинки. Лицо ее сморщилось, она слепо нашла носовой платок.

— Все последние годы он был точно мертвый, — закончила она прерывающимся голосом. — Столько лет — точно мертвый...

Обе слушательницы наблюдали этот взрыв чувств очень хладнокровно и, пожалуй, даже с удовлетворением. Женщинам полагается плакать, каждой в свое время, у каждой для слез свои причины, свои горести. А им обеим как раз сейчас плакать не хотелось, и на плачущую они смотрели с некоторым даже неодобрением. Фрау Шмитт что-то уж очень выставляет напоказ свою скорбь, думалось им, и однако, несмотря на траурную черную вуаль, на ней еще и солидная золотая цепь с большим медальоном — по меньшей мере неуместное украшение для вдовы! Фрау Шмитт ощутила неодобрительные взгляды, скользнувшие по ее шее, и, как истинная женщина, угадала их мысли. И поднесла руку к медальону.

— Здесь портрет моего мужа, — сказала она. — Я столько лет не снимала этот медальон. Я не могу без него!

Ответом было довольно холодное молчание, и фрау Шмитт поднялась, веки и вздернутый носик ее сильно покраснели.

— Извините, — сказала она и, покачиваясь на высоких каблуках своих тупоносых туфель, осторожно обошла соседку и неуверенно направилась к двери.

Тут она замешкалась и посторонилась: навстречу в кресле на колесах двигался больной старик. Над его голой, как череп, пергаментно-желтой головой цвело румянцем сердитое лицо юнца племянника, он рывком выкатил кресло за порог, фрау Шмитт едва успела уступить дорогу.

— Постой, — слабым голосом вымолвил старик, приподнял руку и двумя пальцами взялся за рукав фрау Шмитт.

Она вздрогнула, но не посмела шевельнуться, словно до нее дотронулся призрак.

— Вы страдаете, дитя мое? — спросил больной. — Позвольте помочь вам. Идите-ка рядом и расскажите, в чем ваше несчастье.

— Нет, нет, ничего, — поспешно пробормотала фрау Шмитт. — Спасибо вам, большое спасибо. Вы очень добры.

— Это господь являет через меня свою доброту, а я лишь его орудие и слуга, — сказал больной. — Его милостью я, Вилибальд Графф, могу облегчить ваше горе, если только вы поверите...

— Дядя, мы загородили проход, — хриплым от бешенства голосом прервал племянник. Он с силой толкнул кресло, и слабые пальцы Граффа соскользнули с рукава фрау Шмитт.

— Нет-нет, спасибо! — сказала она и торопливо, неловко пошла прочь. Кошунственное предложение больного так поразило ее, что слезы высохли, порыв горя сменился праведным негодованием — и несколько минут спустя она уже беседовала с Баумгартнерами, которые унылым семейным кружком сидели в главном салоне. Сам Баумгартнер, как и каждый день, безнадежно пытался хоть ненадолго побороть желание еще до обеда выпить коньяку, а жена с каменным лицом ждала минуты, когда он признает себя побежденным. Ганс стоял на коленях на стуле у окна, глядел на море и ждал, когда ему дадут стакан малинового сока. А потом мать сядет между ними, подперев голову рукой, и уж постарается ни его, ни отца ни на минуту не выпустить из виду. А вот Рик и Рэк залезли на перила, совсем за борт перегнулись, что-то кричат друг другу, озорные, свободные... Ганс ерзал на месте и только вздыхал, глядя на них. Они его заметили, и каждый, дразнясь, высунул язык. А потом Рэк еще и повернулась спиной и, задрвав юбочку, показала ему штанишки. Он слегка отшатнулся, съежился за спинкой стула, очень удивленный, но и не без удовольствия. Никогда еще он не видел, чтобы девочки так поступали.

— Вы только представьте, человек одной ногой в могиле... — говорила фрау Шмитт.

И фрау Баумгартнер почти робко сказала, что ей пришлось встречать людей, которые сами были слабого здоровья, однако же обладали даром исцелять других. Могло даже показаться, что они отдают другим частицу собственного здоровья, вот им и не остается ничего для себя.

Фрау Шмитт покачала головой.

— У него лицо недоброе. Он так смотрит, я просто испугалась.

Баумгартнер поморщился от боли, негромко охнул, потом сказал:

— Без сомнения, в старину некоторые святые способны были исцелять не только душу, но и тело.

— Он лютеранин, — вырвалось у фрау Шмитт, — как же он может быть святым?

Фрау Баумгартнер выпрямилась, лицо ее застыло, ледяным тоном она сказала:

— И мы лютеране. И у нас тоже есть свои святые.

— О господи! — смешалась фрау Шмитт. — Поверьте, я не хотела оскорбить чью-либо веру... я никогда бы себе этого не позволила, по-моему, это непростительно! Просто я не очень ясно выразилась...

— Ну, я думаю, вы вполне ясно выразились, — сухо прервала фрау Баумгартнер. — У каждой церкви свои святые. Но вы, католики, наверно, полагаете, что только вы одни близки господу... вы, наверно, полагаете, что я не такая же христианка...

— Ох, прошу вас, фрау Баумгартнер! — воскликнула маленькая фрау Шмитт, казалось, она вот-вот упадет в обморок. — Все мы христиане, все мы чада господни, у меня и в мыслях ничего дурного не было. Это я просто по невежеству сказала, что у вас, лютеран, нет святых, я просто не знала, что есть, мне никто никогда не говорил! Я думала, святые есть только у католической церкви... простите меня, пожалуйста! — Она умоляюще стиснула руки. — Скажите, кто они?

— Кто именно? — рассеянно переспросила фрау Баумгартнер, глядя на мужа — по его лицу ясно было, что сейчас он потребует коньяку.

— Ваши святые. — Фрау Шмитт явно не терпелось пополнить свои познания.

— Боже милостивый, ну и вопрос! — Фрау Баумгартнер твердо решила прекратить нелепую сцену. — Я никогда и ни с кем не говорю о религии. Пойдем, Ганс, — окликнула она сына, — нам пора пить малиновый сок.

Она раз и навсегда презрительно отвернулась от фрау Шмитт и вышла, а та осталась, чувствуя себя глубоко, несправедливо обиженной. В тысячный раз она почувствовала: будь ты исполнена самой доброй воли, обладай самым что ни на есть отзывчивым сердцем, ужасно трудно быть хорошим, чистым, дружелюбным и простым человеком в этом мире, где, кажется, никто никого не понимает и никто

никому не сочувствует; и часто, очень часто кажется — никто не желает хотя бы попытаться проявить хоть чуточку милосердия и участия.

Беседуя с профессором Гуттенем и доктором Шуманом, капитан Тиле упомянул о стычке, случившейся утром на нижней палубе. Небрежным тоном человека, обладающего непререкаемой властью, он заметил, что, если среди этого сброда опять начнется какой бы то ни было беспорядок, он, капитан, до конца плаванья будет держать зачинщиков в цепях. Арестантское помещение на корабле невелико, но сейчас оно пусто, а ему, капитану, куда приятней, когда это помещение занято. Доктор Шуман вскользь упомянул: ему сказали, что у одного из участников драки сломан нос, у другого разбит подбородок. Он пошел посмотреть сам и убедился, что оба чувствуют себя совсем не плохо; он только залепил куском пластыря сломанный нос и наложил два шва на раскроенный подбородок. Профессор Гуттен был глубоко огорчен тем, что драка вышла на религиозной почве.

— Религиозной? — высокомерно переспросил капитан. — Да что они в этом понимают?

На том разговор и кончился. Но профессора Гуттена продолжала занимать эта тема, и он счел нужным рассказать о случившемся жене и фрау Риттерсдорф. Потом фрау Риттерсдорф встретила на палубе Арне Хансена и решила спросить, не слышал ли он подробностей про бунт в третьем классе. Хансен только что проснулся и ничего не слышал, но тут же спросил проходящего матроса, и тот ответил — да, драка была что надо, но очень быстро кончилась. Сам-то он ее прозевал, но, говорят, в ход пошли ножи.

Фрау Гуттен, прогуливая Детку, нагнала семейство Лутц и в волнении пересказала им все, что слышала от мужа и что ей послышалось, и Лутцы с ее слов поняли, будто опасные преступники, скрывающиеся среди пассажиров третьего класса, затеяли там жестокую кровопролитную схватку.

Мимо, размахивая длинными руками и что-то беззвучно насвистывая, шел Глокен, Лутц спросил, слышал ли он о побоище внизу, и вслух понадеялся, что судовое начальство сумеет как-то успокоить этих людей.

— А не то они всем нам перережут глотки, — прибавил он полушутя.

Фрау Лутц побледнела, возмущенная таким легкомыслием, потом сказала — наверно, внизу бунтуют оттого, что голодны.

— Обратите внимание, нас тоже кормят не бог весть как, — заметила она.

Глокен с удовольствием обнаружил, что Вильгельму Фрейтагу о беспорядках ничего не известно.

— Странно, — сказал Фрейтаг, — я только что видел доктора Шумана, и он ни словом не обмолвился ни о каких волнениях. — Впрочем, эта новость Фрейтага ничуть не огорчила. — Стало быть, внизу уже дерутся? Хорошо, очень хорошо. А из-за чего?

Этого Глокен не знал. Мнения разделились. Все больше народу сходилось в баре. Здесь гремел гневный голос Арне Хансена:

— Все они там голодные, оборванные, везут их как скотину, только о скотине куда больше заботятся — и представляете, из-за чего они там сцепились? Из-за религии! — сердито говорил он по-английски посетителям, рассевающимся на высоких табуретах перед стойкой. — Это ж надо! В кровь разбивают друг другу носы из-за того, что один молится богу, стоя на коленях, а другой нет!

— Может быть, только на религию у них и есть какие-то свои взгляды, — сказала миссис Тредуэл, осторожно вертя свою кружку, чтобы на пиве вновь поднялась пена.

— Ох, пожалуйста, не надо так делать, — встревожился ее сосед, судовой казначей. — Ваше пиво потеряет всякий вкус!

— Не буду, — улыбнулась миссис Тредуэл и поставила кружку.

Хансен весь подался вперед, светлые глаза его сверкали из-под насупленных бровей.

— Взгляды? Какие взгляды? Откуда у них могут быть взгляды, что они понимают? Там один толстяк со взглядами, и капитан говорит, его надо заковать в кандалы... эти люди не имеют права ни на какие свои взгляды.

— Прошу прощения, сэр, — вставил казначей. — Капитан сказал только, что если этот толстый опять доставит неприятности, тогда...

— А кто будет определять, что такое неприятности? — рывкнул Хансен.

— Как кто — капитан, разумеется, — пояснил казначей с готовностью и все же стесненно, словно разговаривал с помешанным.

Хансен кивнул.

— Вот именно, — проворчал он сквозь зубы.

— Как может кто бы то ни было честно разбираться в вопросах религии? — вмешался Дэвид, и Дженни с досадой заметила, что опять он говорит с испанским акцентом (одна из самых несносных его привычек, чистейшее притворство, хоть он всегда яростно это отрицает, уверяет, будто это естественно, раз он восемь лет постоянно говорил по-испански). — Все религиозные споры — просто столкновение предрассудков, бессмысленное стремление над всеми одержать верх, разум тут ни при чем... Людям очень приятно иметь священное и высоконравственное право ненавидеть друг друга. А подлинная основа религиозных споров — политика...

— Вот именно, — прогудел Хансен. — Вся суть в политике, и ни в чем другом. Не будь религия частью политики, всем было бы наплевать, кто во что верит. Кто в этой истории попадет за решетку? Тот, кто против религии. А почему? Не потому, что ему не нравится католическая церковь, а потому, что его поступки мешают правительству. Церковь и правительство — заодно, вот так! — Он поднял руку, плотно сжав средний и указательный пальцы. — Этот малый мог бы с утра до ночи ходить и опрокидывать алтари, ну и что? Никого бы это не трогало, если б суть была только в религии. — Хансен, сдвинув брови, обернулся к Фрейтагу, спросил, как старого знакомого: — Верно я говорю?

— Ну, возможно, тот человек, чей алтарь опрокинули, стал драться просто потому, что оскорбили его веру, — спокойно, рассудительно заговорил Фрейтаг. — Может быть, его действия идут на пользу какой-то политической партии, но его-то чувства совсем не обязательно связаны с политикой... Не думаю, чтобы кто-нибудь из этих двоих мог толково объяснить, почему они полезли в драку, но мне хотелось бы думать, что по крайней мере один из них был движим не политикой, а чем-то более высоким.

(«Вот теперь ты мне по-настоящему нравишься», — подумала Дженни и глотнула пива, чтобы за кружкой не видно было, какое у нее довольное лицо.)

— Более высоким? — В баре Хансена слышались огорчение и упрек. — По-вашему, это возвышенно, если религия дурачит несчастных бедняков и они воюют друг с другом вместо того, чтобы вместе сражаться против общего врага?

Чувствовалось, что и горечь и досада его неподдельны, но никто из слушателей понять не мог, откуда это у него, — и никто ему не ответил. Только казначей, с сожалением прищелкнув языком, погрозил Хансену пальцем и отечески-укоризненно покачал крупной головой. Хансен и бровью не повел.

Из-за своего столика дрожащим от волнения голосом заговорил Баумгартнер:

— Может быть, я великий грешник, но никогда не стал бы я отрицать могущество истинной веры. Это духовный источник нашей цивилизации, единственная наша надежда на бессмертие. Как ни жалки мы сейчас, что бы мы были без веры?

Хансен круто обернулся и из-под белобрысых бровей свирепо поглядел на Баумгартнера.

— А которая вера истинная?

— Всякая вера одинаково истинна, — решительно заявил Баумгартнер.

— Да что же ты такое говоришь! — почти взвизгнула его жена.

Хансен даже не посмотрел на нее.

— Цивилизация! — презрительно фыркнул он. — Знаю я вашу цивилизацию. Сперва солдат, потом торгаш, потом поп, потом стряпчий. Торгаш нанимает солдата и попа, чтоб они завоевали для него страну. Сперва приходит солдат, то есть убийца; потом поп, то есть враль; потом торгаш, то есть вор; а потом все они призывают стряпчего, чтоб он состряпал для них законы и защищал каждый их шаг — вот это и есть ваша цивилизация!

Баумгартнер поморщился, зажмурился и, кажется, хотел что-то ответить; жена, поджав губы, толкнула его под столом ногой, и он промолчал.

— Ну а художник? — подзадорила Дженни. — Что вы скажете о художнике?

— Художник приходит последним и все изображает не таким, как оно есть на самом деле, он — обманщик, — просто ответил Хансен, но на Дженни и не взглянул.

Слушая рассуждения Хансена, Левенталь опять и опять шептал про себя: «Большевик! Большевик!» Рядом с Левенталем молча, чернее тучи, сидел Дэнни. Теперь он вдруг разразился хохотом. Никто больше не засмеялся, и Дэнни побагровел от смущения.

— Обманщики, вот это верно. Обманщики, — бессмысленно повторил он.

— Хотела бы я посмотреть, что там происходит на самом деле, — сказала Дженни Фрейтагу, который уже несколько минут не сводил с нее глаз. — Пожалуй, если того толстяка посадили под арест, нам надо выставить пикеты у капитанского мостика и пройти с флагами, в общем, как следует отметить это событие...

Они вдвоем вышли из бара и некоторое время смотрели, что происходит на нижней палубе, но ничего необычного не увидели. Под жарким солнцем мужчины бездельничали, играли в карты, женщины нянчили младенцев или стирали белье, все выглядело очень тихо и мирно.

Пройдя по кораблю из конца в конец, они увидели чету Гуттен, семейство Лутц, кубинских студентов и Глокена — вся эта компания стояла в ряд у перил, заглядывая в зарешеченный люк: прежде решетку покрывал тент, но его сняли, чтобы дать доступ свету и воздуху в помещение, где устроена была столовая для пассажиров нижней палубы. Первый стол был уже накрыт — вполне успокоительное зрелище. Люди, как мухи, облепили приготовленные для них блюда с большими кусками вареной говяжьей грудинки, с клецками, миски с вареными абрикосами, кучки зеленого лука. Ели в благоговейном молчании, протягивая руки за толстыми ломтями хлеба, сваленными там и сям на белой клеенке. Ели, облокотясь на стол, и чувствовали, как возвращаются силы, обновляется самая их плоть, оживают надежды, как возвращается к ним желание жить. Шестеро студентов, стоя бок о бок, закричали на своем невообразимом жаргоне что-то грубовато-дружелюбное; кое-кто из мужчин поднял голову и, не переставая жевать, с набитым

ртом, добродушно помахал рукой в ответ. Лица у них были суровые, осунувшиеся, но смотрели они, как смотрят усталые люди, которым наконец удалось поспать и поесть.

Зрители пошли прочь, они ощутили и облегчение, и отчасти скуку, тревога их улеглась, и от этого в лицах появилось что-то даже тупое. Лутцы, Гуттены и Глокен переговаривались, бормотали вполголоса, будто голуби ворковали, и сошлись вроде бы на том, что не следует плохо обращаться с бедняками — да-да, они всегда готовы сказать об этом прямо. И они очень рады, что избавлены от этой неприятной обязанности, что опасения их оказались напрасными и добрые чувства удовлетворены. В непонятных иностранцах на нижней палубе, по-видимому, нет ничего угрожающего, и с ними явно обращаются совсем неплохо, напротив, кормят превосходным обедом; а если и найдутся среди них смутьяны, это не страшно — капитан наверняка сумеет их уговорить.

Дженни и Фрейтаг немного помешкали порознь, потом дошли поближе друг к другу и теперь стояли рядом, руки их на перилах почти соприкасались. Вчерашняя нелепая сцена еще не забылась, того и гляди между ними опять возникнет Дэвид Скотт, словно призрак, который вернется, чтобы убедиться, что недаром подозревал их если не в прямом грехе, то в грешных намерениях. А Фрейтаг вовсе не считал себя в чем-либо виноватым и смутно досадовал на Дженни: с какой стати она позволяет этому типу хамить? Ведь у него явно нет на нее никаких прав, кроме тех, какие она дает ему сама? В глубине души Фрейтаг признавал только права узаконенные: брак подразумевает, что у человека есть законное право до некоторой степени подавлять жену; вот и его жена, выходя за него, уж конечно, соглашалась на такое подчиненное положение. Мысли эти беспорядочно бродили у него в голове, но одно ему было совершенно ясно: женщина, которая позволяет мужчине плохо с ней обращаться, если у него нет на то законного права, просто дура, а может, и похуже. Каковы бы ни были его чувства к Дженни, они в те считанные секунды сильно остыли. Неужели она влюблена в такого хама? Быть этого не может!

Дженни низко наклонилась над зарешеченным люком и разглядывала людей в глубине, в полусвете.

— А, вот он, ест за троих, — и она показала на толстяка, который был теперь не в красной, а в светло-зеленой рубашке. — И совсем он не арестован. И так, наша манифестация отменяется, очень жаль! Никакой несправедливости не совершилось, стыд и срам, правда?

Она говорила по-детски непосредственно, смотрела прямо и весело.

— Несправедливость есть, и еще какая, — сказал Фрейтаг. — Только она не лежит на поверхности, она коренится далеко в прошлом и глубоко в нашей природе, это непоправимо... Послушайте, — горячо продолжал он, — не будь на свете несправедливости, откуда бы у нас взялось самое понятие справедливости? Один старый учитель, я его знал, когда был совсем мальчишкой, всегда говорил: «Мы исправляем зло и обращаем во зло дело правое». Если б мы устроили капитану демонстрацию, ничего хорошего из этого бы не вышло.

— Да неужели? — воскликнула Дженни.

Не то он говорит, думала она. Сложил ручки — пускай, мол, все идет как идет. Нет, неправда, все на свете можно исправить, даже человеческую природу. А если ждать и докапываться до корня, тогда, конечно, ничего не добьешься. На поверхности тоже дела больше чем достаточно! Если хочешь, чтобы жизнь менялась — ну, понятно, к лучшему! — надо просто опрокидывать первые попавшиеся правила, всё подряд переворачивать вверх дном. Дженни горячо, всей душой верила в пользу забастовок, она участвовала во множестве, и от них всегда был толк; это прекрасно, это такая радость — ощущать, что участвуешь в общем деле, помогаешь сделать что-то в жизни лучше: добиться для людей большего заработка, приличных условий работы, более короткого рабочего дня — не важно, чего именно. Десятки раз она бывала пикетчицей при любых забастовках, где не хватало добровольцев в пикеты, несколько раз попадала в тюрьму — и, право слово, это было даже весело! Впрочем, ее ни разу не засадили надолго. Из таинственного Штаба всегда являлся кто-то с большими деньгами, вносил за всех залог — и можно было опять идти в пикет. Она никогда не соглашалась с теми, кто уговаривал кусаться и лягаться,

если тебя задержит полицейский. Она наслушалась ужасающих рассказов о том, как жестоко расправляется полиция с женщинами-работницами во время забастовок, и в пикетах, и в тюрьмах, и вполне этому верит, она ведь достаточно знает людей. Но будьте спокойны, она-то прекрасно умеет поладить с любым полицейским. Она всегда заговаривала с ними, пока ее везли в участок, и пыталась обратить их в свою веру, и они всегда держались вежливо или по крайней мере прилично и пропускали ее речи мимо ушей. У них ведь тоже свои взгляды и убеждения — мол, если по закону эти ваши пикеты и не запрещаются, так надо бы запретить.

— И все-таки полицейские тоже иногда бывают вполне славные, — прибавила Дженни.

Она говорила обо всем этом, точно молоденькая девчонка о первом бале. Фрейтаг просто не мог относиться к ней серьезно. Она не упомянула, где и когда бывали все эти забастовки, пикеты и аресты и каким, собственно, образом она оказывалась в них замешанной (как могла девушка, получившая, по-видимому, вполне приличное воспитание, затесаться в такое неподходящее общество?), не упомянула и о том, какие взгляды и убеждения ее на это толкнули. Рассказывала легко, небрежно, опять и опять что-то пропускала и замолкала, будто ждала, что и он вставит рассказ другой о своих приключениях в том же роде. Но у него не было опыта в подобных делах, он знал о них лишь как сторонний наблюдатель; к примеру, видел однажды, как полиция разгоняла пикетчиков, оцепивших табачные фабрики в Мехико, и, дожидаясь, пока улицу очистят и можно будет пойти своей дорогой, с полным одобрением смотрел на полицейских.

Итак, он вовсе не вслушивался в слова Дженни — он и сам не знал, чего тут больше, ребяческой чепухи или отталкивающей резкости и легкомыслия; но самая ее фигурка была бесконечно мила и женственна, такая ладненькая, так изящно вылепленная. Он вдруг даже с отчаянием подумал — а ведь она красивая, хотя вначале, с первого взгляда, показалась самой что ни на есть обыкновенной. Из прошлого, из времен беспокойной, трепетной, полной поисков и метаний юности, когда он еще не знал Мари, к немалому его смущению, выплыли пять или шесть женских лиц, неясных, почти забытых; ни одна из тех женщин не казалась ему красивой

сначала, пока он ее не полюбил, и потом, когда разлюбил, а иные были даже противны; но в ту краткую пору, когда он к каждой из них по очереди пылал страстью и ослеплен и измучен был обманчивым восторгом, каждая казалась ему невообразимо прекрасной. Всякий раз это была истинная любовь, и всякий раз она была навеки...

Он резко отодвинулся от Дженни, слегка нахмурился, скрестив руки, оперся на перила и стал смотреть на нижнюю палубу. Там был людской водоворот, обедающие сменяли друг друга у столов; корабельная прислуга уносила груды грязных тарелок, с маху ставила на клеенку новые блюда с дымящейся горячей едой. Лицо Дженни затуманилось печалью, Фрейтаг не понимал, отчего так внезапно переменилось ее настроение. Подошли Ампаро и Пепе, потуренному хмурые, мельком взглянули вниз, в люк, потом дерзко, вызывающе — на Дженни и Фрейтага — и пошли дальше, с профессиональным изяществом покачивая узкими бедрами.

— А правда, сейчас в баре Хансен был довольно смешон, когда он своим жалким умишком пытался разобраться — что такое справедливость? — спросила Дженни. — Все животные мрачнеют после того, как позанимаются любовью.

— Кроме женщин и кобыл, — сказал Фрейтаг.

— Насчет кобыл не знаю, — заметила Дженни, — но Хансен, похоже, стал сердитый.

— Это человек крайностей, — сказал Фрейтаг. — И его что-то грызет. Он всю ночь ворочается на верхней койке, и стонет, и кричит, и отчаянно воет с каким-то врагом, который нападает на него во сне.

— Уж наверно, это политический противник, — сказала Дженни.

Она с удовольствием смотрела на Фрейтага — до чего хорош, залюбуешься! Ей нравилось его безобидное франтовство; все мужчины, которыми она увлекалась за свою жизнь, кроме одного только Дэвида, были хороши собой и до черта тщеславны. Вот где ее погибель, подумала Дженни: слабость к красивым мужчинам. Если мужчина недурен собой, она тут же приписывает ему и все прочие мыслимые и немыслимые достоинства. Фрейтаг до того классически красив, что его, пожалуй, и рисовать неинтересно... У Дэвида, в сущности, лицо куда своеобразнее. А может, нет?

Она испытующе смотрела на Фрейтага, словно хотела пронизать взглядом до самых костей.

— Что вы так смотрите? — смутился он, его так и тянуло пригладить волосы, поправить галстук. Ему не первому становилось неловко под пристальным, но отнюдь не лестным взглядом Дженни.

— Смотрю, какая у вас голова, снаружи она мне нравится, — ответила Дженни. — Жаль, нельзя заглянуть внутрь...

— Бр-р, какая странная мысль!

— Строение мозга очень красиво, — свысока заметила Дженни. — А вы не позволите мне сделать с вас несколько набросков?

Тогда можно было бы приятно провести с ним на палубе часок-другой, и пусть Дэвид попробует устроить ей из-за этого сцену!

— Что ж, пожалуйста, — начал Фрейтаг, — но...

— Ничего не случится, — сказала Дженни. И храбро продолжала: — Я просто не понимаю Дэвида. Никогда и не притворялась, что понимаю, и он каждый раз поражает меня какими-то неожиданностями. Обычно когда выпьет. А ведь о пьяном всегда легче узнать правду, известно: что у трезвого на уме... Вот я о себе знаю — то, что я говорю и делаю пьяная, такая же правда, как всякое другое, что я делаю и говорю в трезвом виде. Просто поворачиваюсь другой стороной!

— А вы бываете пьяная? Поразительно! По-моему, вы весьма трезвая особа.

— Я остаюсь трезвая, даже когда изрядно выпью, — горячо сказала Дженни. — А пью всегда случайно, просто для забавы. Но тогда, бывает, я говорю такое, о чем в другое время у меня хватает ума промолчать. И я знаю, с Дэвидом тоже так...

Дэвид ужасно выдает себя, подумала она. Именно об этом я и говорю, хотя сейчас я совершенно трезвая. Еще минута — и я начну за него извиняться. Объяснить, что на самом деле он не такой... что он очень редко бывает такой. И обычно ведет себя совсем иначе. На самом деле он куда лучше, чем кажется. У него была очень страшная жизнь, и мало кому такого труда стоило сохранить душевное равновесие. Надо узнать его поближе, только тогда разглядишь, сколько в нем хорошего. Я-то прекрасно его знаю и если го-

ворю, будто не понимаю его, так это потому, что после вчерашнего мне стыдно и за него, и за себя. Тот Дэвид, который вчера вечером так себя вел, — не весь, не настоящий Дэвид, это самая незначительная его сторона. Я куда больше о нем знаю. Он бывает чудесный, я его люблю. Стыд и срам. Еще минута — и прорвется наружу то, что и вправду ее мучит... этот ужасный сон, который приснился сегодня ночью и после которого только и остается со всем покончить и уйти...

— Когда любишь, — сказала она, силясь заглушить все эти сбивчивые мысли, — почти невозможно рассуждать здраво, правда?

— Ну, тут я с вами, пожалуй, не согласен, — возразил Фрейтаг. — Любовь... — сказал он задумчиво, не делая излишнего ударения на этом слове.

Дженни отвернулась, ее шея казалась очень белой и очень беззащитной, но, и не глядя, она слушала с большим вниманием, а он не без хвастовства стал говорить о любви.

Словно бы не слишком это подчеркивая, он сказал, что, на его взгляд, основа любви, первейшее ее условие — вера, безусловная верность и преданность. Истинная любовь не слепа, напротив, она, быть может, впервые раскрывает человеку глаза. Малейшая измена любимого человека, случись она рано или поздно, есть полная измена всему, с самого начала, она разрушает не только будущее, но и прошлое, ведь это значит, что каждый день жизни, полной доверия, был ложью и сердце было обмануто. Кто оказался неверен хоть однажды, тот никогда и не был верен.

— Нет, — возразила Дженни, — изменить однажды — это и значит изменить только однажды, а потом можно раскаяться и, так сказать, вернуться в лоно, как заблудшая овца по старозаветному методистскому учению. У меня был когда-то любовник, — сказала она смело, но совсем не вызывающе, — он часто повторял, что ясней всего чувствует, до чего он меня любит, как раз тогда, когда изменяет мне. Теория не безупречная, но мне так и не удалось его в этом убедить, — закончила Дженни с натянутым смешком.

Фрейтаг тоже засмеялся — да, в том, как мужчины ухитряются убивать сразу двух зайцев, есть и забавная сторона. И продолжал негромко, словно про себя: любовь великодушна, исполнена терпения и доброты, заботы и нежности,

это верность не обдуманная и не рассчитанная — любовь верна по самой природе своей, стойкая, непреходящая, бесстрашная. Он уже произносил такие слова, как «цветы», «жизнь и смерть», даже «вечность», упоминал о «хлебе и вине», о том, что вновь и вновь возвращается утро, полное надежд, не знающее ни недобрых воспоминаний, ни угрызений совести.

Дженни слушала как завороченная. Мечтательная речь Фрейтага утешала, баюкала, точно колыбельная песенка, точно песня, которой тешилось и ее изжаждавшееся, обманутое сердце. Речь эта сливалась с мягкими отблесками света на волнах, со свежим ветерком, овевающим лицо. Дженни слышала — чужой голос, в котором теперь звучит чуть заметный немецкий акцент, эхом повторяет не то, что знает она ожесточенным умом, но то, что втайне чувствует, и все это выходит до тошноты слащаво и фальшиво. Тут она широко раскрыла блеснувшие гневом глаза и перебила его бормотанье.

— По-моему, все это просто мышеловка, — сказала она, ее даже затрясло от бешенства. — Ненавижу это, всегда ненавидела. Сплошное вранье, все на свете врут. И все равно я каждый раз попадаю на эту приманку.

— Потому что вам встречаются не те люди, — сказал он ровным голосом, в котором, однако, сквозило торжество, и Дженни разозлилась. — И то, о чем вы говорите, — не любовь.

— Знаю, знаю, — резко оборвала она. — Сейчас вы мне скажете, что все это одна чувственность. А как вы умудряетесь отделять Истинную Любовь от Чувственности?

— А я и не отделяю, — удивленно и сердито возразил Фрейтаг. — Вот уж ничего подобного не думал. Я никогда и не мыслил, будто одно возможно без другого!

— Ну, тогда я не знаю, что бывает со мной. — Дженни побледнела, лицо у нее стало удрученное, погасшее. — Только ничего хорошего из этого не получается, и очень может быть, что это и есть любовь.

Последнее слово прозвучало чуть слышно — но громко отозвалось у обоих внутри.

— Очень возможно, — чуть помолчав, мягко согласился Фрейтаг. — Может быть, нам дается как раз такая любовь, какой мы ищем.

Дженни, вспыхнув, круто повернулась к нему.

— Бросьте вы все на свете раскладывать по коробочкам и перевязывать ленточками! — яростно сказала она. — Прекрасный способ свалить с себя ответственность за несчастье, которое принес другому. Вечная ваша присказка: она, мол, сама этого хотела, я только пошел ей навстречу... вот уж нравственное тупоумие, вы и сами это знаете.

— Перестаньте, Дженни, — властно сказал Фрейтаг, впервые он назвал ее по имени, уже вполне уверенный, что она к нему равнодушна. — Чепуху вы говорите. Я и слушать не хочу. Нам вовсе не из-за чего ссориться. Почему нам не стать друзьями, просто добрыми друзьями, и рассуждать обо всем спокойно? Разве нет на свете ничего, кроме любви?

Ох, господи, подумала Дженни, вот он, очередной шахматный ход.

— Ну да, еще много всего, и все это, как правило, куда лучше, — сказала она, чтобы покончить с этим разговором.

И они растерянно замолчали, стоя рядом у перил. Что до верности, думала Дженни, так незачем было тебе рассуждать о любви с чужой женщиной, случайной попутчицей, а мне — со случайным попутчиком. Мы ступили на тонкий лед. Твоя жена возмутилась бы, и Дэвид тоже, и оба были бы совершенно правы. В чем, в чем, а в этом Дэвид молодец. Ни за что не станет болтать о любви с другой женщиной. Он и со мной-то о любви не говорит. Она ему еще отвратительней, чем мне. А ты все высматриваешь, подглядываешь, подбираешься окольными путями. Будь ты мой, я ни на грош бы тебе не верила. А Дэвиду я всегда могу доверять. Он будет злой, и несносный, и упрямый, и верный до самой смерти. Мы не убьем друг друга, потому что я решила: я уйду, пока этого не случилось. Но наша встреча не пройдет для нас бесследно. Я расстанусь с Дэвидом, но он всегда будет ощущать разницу между мной и всякой другой, а он навсегда останется во мне, точно окаменевший зародыш... Ей стало тошно, она почувствовала себя такой опустошенной и усталой, что едва не подкосились ноги.

— Любовь. — Дженни сморщила нос. — Тут на корабле она бьет ключом. И уж конечно, это Самая Настоящая Любовь. Мне надо бежать, — докончила она. — Эльза тоже влюблена, и я обещала помочь ей причесаться по-новому.

Оставшись один, Фрейтаг пожалел о том, что он ей наговорил, — почти обо всем; некоторые его слова она встретила довольно откровенной насмешкой. Конечно, она решила, что он глуповат. Ничего, она еще поймет, что ошиблась. Наверно, прежде она была прелестна — пока ее не искалечила и не развратила эта беспорядочная жизнь и ложные понятия о любви, пока она не загубила сумасбродно свою женскую суть. Он и раньше в разных странах встречал вот таких молодых особ — безрассудных, мечущихся, одиноких, недоверчивых, они давали ему подойти поближе, но смотрели с опаской, словно готовые кинуться наутек, попробуй он их коснуться. Они были такие непостоянные, не знали ни дома, ни угрызений совести — и это словно бы освобождало его от каких-либо обязательств, они ничего от него не требовали, и потом, распростиаясь, приятно было с жалостью и нежностью о них вспоминать.

Но все это — прошлое. Сумасбродные приключения, какие сулила ему встреча с Дженни, остались в его прежней жизни, в той, что была населена призраками и нелепыми грезами; он знал, им невелика цена, он мог сравнить их с надежной подлинностью своего брака. Он ведь знал себя, по природе своей он — самый верный из однолюбов, чтобы в этом убедиться, надо было лишь найти свою настоящую любовь, свою Мари, — и он ее нашел. А теперь они уже почти три месяца в разлуке — и плоть его измучена желанием, он прескверно спит, совсем как в холостяцкие времена, и слишком много времени и сил тратит, силясь избавиться от требований пола; и зачастую находит весьма убогую замену, подумал он, мрачней. Это очень плохой знак — что он расчувствовался из-за первой же доступной, по-видимому, женщины, хорошо хоть не профессиональной шлюхи, очень некстати она ему повстречалась.

И о чем он только думает? — спохватился Фрейтаг. Его внутренне передернуло — быть может, от ощущения вины? — кажется, задрожал каждый натянутый нерв. Эта дрожь вины и подступающее эротическое волнение так тесно сплетены друг с другом... и вдруг вместо Дженни ему представилась одна из этих доступных испанок — лучше всего Лола, она, пожалуй, среди них самая отъявленная дрянь. Хороша, и развратна, и с огоньком — как раз то, что надо. Он вцепился в перила и стоял, силясь вернуть себе самооб-

ладание, нельзя же так поддаваться инстинктам. И рассудок возвращается, вот первый признак: он с наслаждением мысленно изругал Дженни, приставучую сучку, пылко повторил про себя имя жены и решил после ужина непременно написать ей длинное письмо и перечитать перед сном все ее милые, страстные и нежные письма.

Кубинские студенты-медики, едущие в Монпелье, держались все более замкнутым кружком, обменивались какими-то особенными приветствиями, условными рукопожатиями, которые, если их совершать должным образом, вызывают у посвященных притворно-страдальческие вопли, и разговаривали на столь хитроумном запутанном тайном языке, что им самим приходилось поминутно заглядывать в машинописный листок с шифром. Если кто оказывался поблизости, они непременно с напускной серьезностью затевали что-то вроде долгих ученых диспутов, но говорили так тихо, что скучающим зрителям этой комедии отнюдь не грозила опасность узнать их секреты.

Стало известно, однако, что они называют себя «Les Camelots de la Cucaracha»¹ и каждое утро выпускают напечатанную на судовой пишущей машинке крохотную газетку под крупным заголовком «El Pi-pi Diario»². Многие видели, как по утрам они заходят в каюту к *condesa*, а потом хвастливо толкуют о чем-то между собой; однажды в маленькой гостиной рядом с баром они устроили что-то вроде митинга, на котором избрали ссыльную графиню своим президентом — Верховной Тараканшей.

Доктор Шуман как раз сидел на палубе у окна гостиной и невольно все слышал, да и не старался не слушать; и его возмутило, до чего неуважительно и непристойно студенты говорили об этой женщине. Они явно считали ее помешанной, как нарочно созданной им на посмешище, но вот почему они сделали ее еще и мишенью для чисто мальчишеской похабщины, доктор понять не мог. А главное, она ведь совсем не глупа, женщина светская, умудренная опытом, как же она позволила себе стать посмешищем для этих безмозглых мальчишек?

¹ Приверженцы Кукарачи (*франц.*).

² Шутовское название газеты.

Когда *condesa* вышла в кают-компанию, доктор Шуман снова убедился, что она вполне доверяет своим молодым поклонникам и их общество доставляет ей истинное удовольствие. Они разом встали, низко поклонились ей и проводили ее к своему столу. Сюда переставили ее стул, и вот она сидит среди них — воплощение изысканности — и улыбается рассеянной, а может быть, подумалось доктору, и чуточку безумной улыбкой. Вот она что-то читает — наверно, эту их отвратительную газетенку — и смеется неприлично, во весь рот, показывая в глубине золотые зубы. Сжимает ладонями голову соседа справа, потом соседа слева, шепчет каждому что-то на ухо, и они раздражаются восторженными криками, а остальные жадно спрашивают, о чем речь. А потом ее руки взлетают вверх, и она поглаживает свои груди, а лицо у нее и страдальческое, и задумчивое. Ну, конечно, она оставила себе третий флакон эфира, а может быть, есть в запасе и четвертый, устало думает доктор Шуман, и его одолевает искушение махнуть на нее рукой, больше и не пытаться ей помочь.

Капитан Тиле, по чьим понятиям особы благородного происхождения должны всегда оставаться на недостижимой высоте, следит за легкомысленным поведением своей достопочтенной пленницы, поджав губы и округлив глаза. Она бегло взглядывает в его сторону, приветливо делает ручкой ему и доктору Шуману, и оба в ответ почтительно склоняют головы.

У капитана Тиле несварение желудка, потому что он не в духе, а не в духе он оттого, что оскорблено столь ему свойственное сознание собственной власти, не говоря уже о чине и звании. Услышав о беспорядках на нижней палубе, он чуть было не распорядился всех участников немедля посадить под замок до конца плавания. Он принял на борт высланных из Мексики рабочих по счету поголовья, точно скот, а они с самого начала осмелились заявлять о каких-то своих правах — возмутительная дерзость, он ни минуты не станет этого терпеть!

И тогда, чудовищно коверкая немецкие слова, к нему обратился отец Карильо, уверяя, что стычка там, внизу, была не просто обыкновеннейшей потасовкой; опять и опять он повторял громкие слова: синдикализм, анархизм, республиканизм, коммунизм, а кроме того, атеизм, самое главное —

атеизм, общий корень всех этих пагубных теорий; похоже, святой отец превосходно разбирался в тончайших оттенках взглядов, которых придерживается на сей счет быдло, заполняющее нижнюю палубу. Если верить отцу Карильо, низшие слои общества сбиты с толку множеством самых противоречивых дурных влияний, и здесь, на нижней палубе его корабля, имеются весьма опасные подрывные элементы. За ними нужен строжайший надзор — не только ради покоя и безопасности пассажиров первого класса, команды и даже самого корабля, но и для того, чтобы оберечь ни в чем не повинных бедняков там же внизу — добрых, безобидных людей, которые только и хотят, чтобы им не мешали повиноваться законам и спокойно молиться господу богу.

Вот, к примеру, уроженцы острова Tenerife — очень достойные, благочестивые люди. Баламутов можно найти среди жителей Астурии и Андалусии — в лучшем случае их разделяет исконная вражда, и он, отец Карильо, ничуть не удивился, когда обнаружил, что безбожники внизу — почти сплошь астурийцы, есть и несколько басков... За ними-то и нужен глаз да глаз. А толстяк, который толкнул молящегося, еще не успевшего подняться с колен, — профсоюзный вожак, бунтовщик худшего разбора, зачинщик всяческой смуты; он мексиканец и едет в Испанию только для того, чтобы и там затеять смуту, связать волнения, организованные профсоюзами в Мексике, с испанскими. О нем можно не беспокоиться, как только он ступит на испанскую землю, его сразу арестуют.

Капитан поистине разрывался на части: убежденный враг католиков (конечно же, католические священники, все без исключения, пользуются уединением исповедальни, чтобы совращать хорошеньких прихожанок!), он при этом одинаково терпеть не мог испанцев и мексиканцев и считал ниже своего достоинства последовать совету попа или признать, что быдло на нижней палубе — тоже люди, в чьих взглядах и поступках есть какой-то смысл, и с ним следует считаться. Итак, капитан сухо поблагодарил отца Карильо за его сообщение, пообещал распорядиться, чтобы порядок на судне соблюдался строже, чем когда-либо, снова повторил свою излюбленную угрозу первым же нарушителям спокойствия надеть наручники и очень скоро после этого

почувствовал, что съеденный завтрак ему не впрок.

Главная беда в том, что корабль переполнен и смутьянов просто негде запереть, особенно если их так много и они так коварны и опасны, как полагает отец Карильо. Вспыхни открытый бунт — и, пожалуй, немногочисленной команды не хватит, чтобы его подавить. А вдруг бунтовщики завладеют стрелковым оружием, которое хранится в трюме, что тогда будет?

Если не считать годы войны, капитан Тиле всегда плывал довольно спокойно на торгово-пассажирских судах, чаще всего небольших, совершающих долгие и скучные рейсы, однако у него было весьма богатое, необузданное воображение — и сейчас оно разыгралось вовсю. На миг ему представилась мрачная сцена, прямо как в кино: яростная схватка в рукопашной, вспышки и гром выстрелов во мраке, проломленные черепа, перебитые руки и ноги, лужи крови, вопли, стоны, небеса озарены пламенем пожара, в бурное море спускаются спасательные шлюпки, а он стоит на мостике, спокойный, невозмутимый, и хладнокровно командует.

Однако сейчас, при ярком свете мирного дня, прежде чем спуститься с мостика, он поспешно приказал, чтобы всех до единого пассажиров нижней палубы (и женщин тоже, прибавил он, чуть подумав) обыскали и все оружие, даже самое пустячное, отобрали до конца плавания. Распорядившись так, он несколько успокоился и, несмотря на боли в животе (донимали газы), сумел подобающим капитану небрежным тоном рассказать об утреннем происшествии профессору Гуттену и доктору Шуману. И очень был разочарован, когда они поверили этой напускной небрежности и не приняли случившееся всерьез.

Капитану подумалось, что иные люди гораздо больше заслуживают неодобрения, чем *condesa*. В конце концов, ее нельзя судить слишком строго — женщина слаба здоровьем, да еще попала в условия, отнюдь не соответствующие ее благородному происхождению; и однако уже одно ее присутствие на борту при подобных обстоятельствах — знак, что в мире очень и очень неблагоприятно. А ее поведение, пожалуй, бросает тень на его, капитана, авторитет не меньше, чем потасовка, затеянная наглецами на нижней палубе. И ведь он заботится не только о себе: непререкаемая власть

капитана должна ощущаться на корабле ежедневно, ежеминутно, всегда и во всем, и любая угроза этой власти — не только его личное дело. Роль капитана обязывает: на своем посту он — представитель высшего закона, первый и главный его долг — добиваться безоговорочного повиновения от всех и каждого на корабле, — и не сумеет он исполнить этот свой долг... да ведь это в какой-то мере подорвет самые устои общества, основанного на Священном Законе. Такого нравственного падения он бы не перенес. Да и не придется. Он ничего подобного не потеряет.

Выпятив нижнюю губу, он с досадой разглядывал самодовольную публику, собравшуюся у него за столом. Вот Фрейтаг — что за человек? Просто пассажир, для которого корабль — всего лишь общедоступный способ легко и удобно переправиться из одного порта в другой. И Рибер такой же. Профессор Гуттен — человек ученый, но что может любой профессор знать о суровой правде жизни на море? Доктор Шуман достоин всяческого уважения — и все же он, капитан, не однажды замечал: доктор не понимает настоящему, что такое дисциплина на корабле, нет у него настоящего уважения к чинам и званиям. Не раз приходилось деликатно напоминать ему, что, когда матросы попадают в лазарет, нечего с ними чересчур нянчиться, будто с настоящими пациентами у себя дома. А в иные минуты можно даже подумать, будто доктор плавает на «Вере» для собственного удовольствия, для поправки здоровья. Правда, если б не его больное сердце, он и не пошел бы на пароход врачом, а все же... вот сегодня утром он побывал на нижней палубе и словно не заметил стычки, разыгравшейся в конце богослужения, а заговорил о том, что ночью две женщины рожали прямо на палубе и теперь он перевел их с младенцами в каюту, им надо хотя бы дня три-четыре полежать в постели. Не хватает человеку здравого смысла и чувства меры, не понимает он, что важно, а что нет.

От женщин ничего хорошего и ждать не приходится, надоедает только, что они все время о чем-то вполголоса лопочут между собой. Фрау Шмитт через голову Рибера что-то рассказывает фрейлейн Лиззи, к ней наклонились сидящие напротив фрау Риттерсдорф и жена Гуттена и тоже слушают. Фрау Гуттен жалостно качает головой. Капитан

сделал вид, что увлечен обедом, но его с досады бросило в жар, и опять начались рези в животе.

Скорбь, всколыхнувшаяся в душе маленькой фрау Шмитт после встречи с большим стариком Граффом и неприятного разговора с Баумгартнерами, несколько утихла; она побродила по палубе и, как рано или поздно случалось в тот день всем пассажирам, от нечего делать стала, точно в зоологическом саду, наблюдать странную жизнь внизу, за решеткой люка. Неподалеку оказался молодой американец с замкнутым лицом — Дэвид Скотт, он тоже облокотился на перила, сторбился так, что воротник налезал ему на уши. И тут фрау Шмитт увидела внизу нечто очень печальное. Прислонясь спиной к борту, сидел человек, очень худой, жалкий и оборванный, но, кажется, молодой — не поймешь, спутанные волосы взлохмачены, босые ноги подобраны так, что колени торчат, пальцы то поджимаются, то расправляются, словно от боли, — и плакал горько, не скрываясь, как малый ребенок. Он плакал навзрыд, тер глаза кулаками, широко раскрытый рот его кривился, точно у воющего пса; а у ног лежали какие-то мелкие вещицы, фрау Шмитт не могла их разглядеть. И никто на него не обращал внимания; рядом сидели люди с каменными, равнодушными лицами; мужчины, сойдясь в кружок, стояли к плачущему спиной, женщины, поглощенные своими заботами, ходили взад и вперед и едва не наступали на него. Казалось, он один в целом мире; когда у тебя несчастье, людские сердца становятся глухи, подумала фрау Шмитт, и ее сердце дрогнуло, опять подступали слезы, но тихие, кроткие, — слезы не о своем, но о чужом горе.

И сейчас она негромко рассказывала соседкам по столу:

— Тогда я сказала этому молодому американцу — как вы думаете, почему никто с ним не заговорит? Хоть бы спросили, что с ним случилось. А молодой человек отвечает — с какой стати спрашивать, они уже и так знают, что случилось. И понимаете, оказывается, был такой приказ, уж не знаю, кто распорядился, и у всех внизу отобрали ножи и всякие острые инструменты, а этот бедняк — резчик по дереву.

Фрау Шмитт увлеклась рассказом, слушали ее с явным интересом, и она, забыв свою застенчивость, заговорила погромче; капитан прислушался, резко выпрямился, лицо

его с каждой минутой становилось мрачнее, но рассказчица ничего не замечала.

— Ну и вот, герр Дэвид Скотт сказал мне, что у этого человека в узелке есть такие чурбачки, деревяшки, он из них вырезывал маленьких зверюшек и думал продать их нам, в первом классе. Герр Скотт достал несколько штук из кармана и показал мне, и они прелесть, такие детски наивные, и герр Скотт сказал — это настоящий художник. Ну, правда, вы же знаете, американцы обожают примитивное искусство, потому что другого они не понимают. Конечно, их испортили негры — чего же еще от них можно ждать? Я только улыбнулась и ничего ему не сказала; но тот бедняк на нижней палубе так горевал! Когда офицер спросил у него нож, он вообразил, что это взаймы, на минуту, представляете? Думал, что сейчас же получит свой ножик обратно. Вы только подумайте. Американец мне все рассказал. Он сам все это видел и слышал. И очень рассердился, так, знаете, сдержанно, даже побледнел, в лице ни кровинки. Понимаете, тот бедняк вместе с ножиком все потерял, конец всем его надеждам и его любимому занятию, вот он и плакал, так плакал, прямо как дитя.

Чувствительная фрау Шмитт опять разволновалась. Она выпрямилась на стуле и прижала к губам салфетку.

Фрау Гуттен тихонько, неодобрительно прищелкнула языком. Лиззи пропищала тоненьким, девчоночьим голоском:

— Ой, по-моему, это очень нехорошо — отнимать у бедного человека его имущество! Дорогой господин капитан, пожалуйста, прикажите, чтобы ему отдали его ножик, а?

Она взмахнула длинной рукой и коснулась веером капитанского рукава. Но, вопреки ее ожиданиям, капитан не ответил милой рыцарской любезностью. Он побагровел и надулся как индюк, так что подбородок совсем ушел в воротник, и уставился на фрау Шмитт грозным, испепеляющим взглядом. Ему в руки давалась очень подходящая жертва — сейчас он обрушит на нее свой гнев, прочим будет наука!

— Весьма сожалею, сударыни, — начал он с ледящей учтивостью и обвел их взглядом: ох уж эти женщины! Не в меру чувствительны, и по-дурачки доверчивы, и вечно бунтуют против власти мужчин, которые стараются навести в

мире порядок. — Да, сударыни, весьма сожалею, что вынужден омрачить ваши добрые души, но, признаюсь, это я распорядился обезоружить высланных. Можете мне поверить, в своих действиях я руководствуюсь не сантиментами, а трезвой оценкой всех обстоятельств. В конечном счете я один отвечаю не только за вашу безопасность, но и за самое существование этого корабля; а посему разрешите вам сообщить, что я действую с полным сознанием своего долга. Попрошу вас, сударыня, — прибавил он сурово, обращаясь уже прямо к фрау Шмитт, — проявите немного благоразумия, сделайте одолжение — хотя бы не прислушивайтесь к болтовне иностранцев, людей предубежденных, которые, естественно, стараются каждый шаг любого немца истолковать наихудшим образом. А уж если вам непременно надо слушать этот вздор, попрошу вас никому его не повторять!

Столь неожиданная отповедь довершила испытания, выпавшие за утро на долю фрау Шмитт, и совсем ее раздавила. Несчастливая сгорбилась, низко наклонила голову, медленно, мучительно, до корней волос покраснела; руки ее лежали на столе подле тарелки, а она не в силах была и пальцем шевельнуть. Поглядела исподлобья — и увидела сладенькую улыбочку фрау Риттерсдорф: до чего же та довольна, жмурится, как кошка. И совсем не весело было думать, что придется снова увидеть эту улыбочку вечером в каюте, и завтра, и еще много, много дней.

Поскольку было воскресенье, в то утро корабельный оркестр не играл, но после ужина в салоне зазвучали возвышенные мелодии Вагнера и Шуберта; здесь семейства Баумгартнер, Лутц и Гуттен, иными словами, наиболее почтенная публика, уселись отдохнуть за картами, домино и шахматами. Condesa скрылась, студенты немного погодя стали горланить на прогулочной палубе, а потом в плавательном бассейне. Вскоре к звукам оркестра примешалась музыка поглубее: испанцы вынесли на палубу патефон, и назойливой, неотвязной жалобой зазвучало пронзительное сопрано под треск и вкрадчивое завыванье экзотических инструментов. А все испанцы пустились танцевать — пристукивали каблуками, громко щелкали пальцами, кружили вокруг друг друга, грациозные, точно птицы в брачном танце, но

лица у них оставались профессионально равнодушными.

На несколько минут они остановили свою музыку, посовещались — и начали сначала, изумляя слаженностью, необычайным согласием в каждом движении. И Рик и Рэк тоже пошли танцевать — смотрят друг на друга в упор прищуренными глазами, зубы оскалены, худенькие бедра ходят ходуном. Порой, не нарушая ритма пляски, они крикливо перебранивались, топали ногами друг на друга, лица их почти соприкасались. Взрослые посматривали на них, но не вмешивались, не давали советов. Потом все, кроме Лолы, с большим изяществом опустились на пол и замерли живописной группой, а Лола, их звезда, пошла танцевать одна — медлительный танец, полный грации и страсти.

— Olé, olé, viva tu madre!¹ — выкрикали остальные в такт музыке и хлопали в ладоши, неумовимо меняя ритм, а развевающиеся юбки Лолы взлетали чуть ли не выше их голов. От бассейна подошли студенты-кубинцы; почти все пассажиры-немцы как бы невольно оставили свои игры; появились матросы, каждый притворялся, будто пришел сюда по делу; всех неодолимо влекло волшебное зрелище. Фрейтаг, заметив рядом Хансена, с искренним удивлением сказал ему:

— Слушайте, а ведь она великолепно танцует!

Хансен обернулся, словно его разбудили:

— А, что? Она великая... да, она великая артистка!

Ну, пожалуй, тут есть и кое-что другое, подумал Фрейтаг и прошел дальше, ему было все еще немного совестно за вызванное Лолой недавнее волнение. И он снисходительно пожалел беднягу: до чего докатился, влюблен во всю эту бродячую шайку и готов связаться с ней надолго, и все ради бешеной кошки Ампаро...

Лола танцевала величаво и сдержанно, на лице ее застыла непрменная хмурая и чувственная улыбка — и вызывала, как и положено, пылкие любовные вздохи у мужской половины труппы. Но вот в последний раз раскатисто прощелкали ее каблуки — и вмиг остальные вскочили. Репетиция кончилась, теперь они танцевали попарно, словно для собственного удовольствия, но ни малейшего удовольствия не было на их лицах, одно лишь наигранное

¹ Долгих лет твоей маме! (исп.)

презрение к зрителям, которых они замечать не желали.

Эльза, причесанная по-новому (Дженни помогла ей уложить волосы высоким валиком, и от этой прически девушка казалась старше и еще круглее лицом), внезапно отвела глаза и отступила, будто хотела спрятаться за спины родителей. Поначалу танец взволновал ее, она глуповато, радостно улыбалась. И вдруг, на беду, увидела своего студента — полуголый, в одних только черных коротких штанах, он обхватил талию одной из испанок и пошел с нею танцевать. Скромная Эльза была потрясена, самая настоящая боль пронзила ее, разлилась жаркими волнами по всему телу, до кончиков пальцев. Она закрыла глаза и в огненной тьме увидела то, что отказывалась видеть при дневном свете — игру мышц на его спине, худошавый стройный торс, длинные стройные ноги с худыми мальчишескими коленками и, что хуже всего, тонкие мускулистые руки, обнимающие эту девицу по имени Конча — девицу, чье словно бы безвольное тело, покачиваясь, касалось его обнаженной груди. Невыносимо!

— Мама, — жалобно простонала она, — мама, пожалуйста, уйдем отсюда.

— Что с тобой, Эльза? — спросила мать. — Тебе дурно?

— Нет-нет, — подавленно, терпеливо промолвила Эльза. — На солнце очень жарко.

— Даю тебе срок до завтра, — сказала мать тоном, не допускающим возражений. — Если до завтра не перестанешь киснуть, дам тебе слабительное. Это тебе сразу поможет. Тут на пароходе так мало двигаешься, а пища тяжелая — ясное дело, у меня и у самой разболелась бы голова. Хорошая порция слабительного — вот что тебе поможет. А сейчас возьми себя в руки и пойдем, доиграешь с отцом партию в домино. И мне не нравится эта твоя прическа, Эльза. Вечером уложишь волосы по-старому. И никогда больше не меняй прическу, не спросясь меня.

— Хорошо, мама, — покорно сказала Эльза и опять подседа к отцу.

Играть в домино и шашки с отцом, хлопотать по хозяйству (ненавистное занятие!), непрестанно выслушивая маменькины советы, наставления и попреки, не иметь права даже собственные волосы уложить по-своему и навек остаться старой девой — да, конечно, вот такая судьба ее

ждет. На миг сердце у Эльзы замерло — и вновь отчаянно заколотилось в груди, так бьется узник о тюремную решетку: будто это не часть ее самой, а кто-то чужой, запертый у нее внутри, полный ужаса, криком кричит: «Выпусти меня!»

Заметив, какое у дочери потерянное лицо, отец ласково ушибнул ее за щеку, сказал весело:

— Уж не влюбилась ли в кого наша Эльза? Может, в большого важного шведа Хансена? А, Эльза, сокровище мое? Признайся папе с мамой. Мы в таких делах разбираемся.

После долгого колебания Эльза выложила дубль-шесть и сказала еще покорней прежнего:

— Нет-нет, папа, ты ошибаешься.

Фрау Лутц вскинула глаза от вязанья — и то, что мелькнуло перед нею в дверном проеме, на фоне сияющего неба, заставило ее сдвинуть брови и предостерегающе взглянуть на мужа — до чего бестактен, всегда что-нибудь ляпнет, не подумав. Арне Хансен танцевал с Ампаро. Похоже, она посвящала его в тайны испанского танца. Опять и опять они мелькали в проеме, Хансен двигался неловко, медведь медведем, и Ампаро с ним обращалась так, будто и впрямь дрессировала неуклюжего зверя. Вот она его бранит, вот насмеяется над ним, взяла за локти, тряхнула. И он, очень серьезный, все начинает сызнава, путается, огромные ноги и руки не слушаются его, влажная рубашка липнет к розовой коже. Он точно околдованный и нимало не думает о том, как постыдно, возмутительно он выглядит.

Фрау Лутц изумилась, она всегда считала, что прекрасно разбирается в людях — и вдруг так ошибиться в человеке! Хорошо еще, что дочь сидит спиной к двери и не видит этого безобразия. Нелегко быть матерью, ни днем ни ночью нет покоя — так трудно оберечь невинную душу дочери. Куда ни погляди — безнравственность, бесстыдство, сомнительные сцены, подозрительные личности, беззастенчиво ведут себя даже люди, на которых, казалось бы, можно положиться. Ох, уж эти мужчины!

Она остановила мрачный взгляд на муже. Вечно он говорит Эльзе глупости, играет кое-как — и столь же мало, как в игре, смыслит в жизни, а она так страшно серьезна... это ж надо — развлекать Эльзу шуточками о любви! Что

стало бы с их семьей, если б она, фрау Лутц, по неосмотрительности хоть в чем-то, хоть на минуту понадеялась на своего супруга? Нет, давно и твердо решено: Эльзе она подыщет совсем не такого мужа.

Иоганн, кативший по палубе дядино кресло, слышал звуки испанского танца и заторопился, потом увидел впереди танцующую Лолу, которая кружилась, пристукивая каблукками, и опять замедлил шаг. Угрюмое лицо его с очень белой кожей и редкой золотистой щетинкой на подбородке озарилось нежностью, в эту минуту он напоминал юного ангела. Он подкатил кресло к перилам и остановился, любясь восхитительным зрелищем.

— Иди дальше, Иоганн, — сказал дядя.

Когда кресло покачивалось на ходу, боль немного отпустила, и, если ветерок дует в лицо, легче дышать. Вся плоть старика и самые кости его были иссушены старостью, усталостью, одиночеством, день и ночь они взывали хоть о малой капле жалости, утешения и покоя. В больнице в Мехико натирали его с головы до пят душистым гамамелисом, крепкие молодые ладони легонько разминали его измученное тело; там его поили теплым молоком и прохладными соками плодов папайи, граната, лиметты; и он тянул сок через стеклянную трубочку, сосал, полусонный, будто снова стал младенцем. А ночью, едва он застонет и позовет, приходила мексиканка-монахиня в белом чепце, под легкой белой вуалью, и ухаживала за ним, и тихонько покачивала мягкий пружинный матрац, будто колыбель, и шепотом читала Ave Maria.

А сейчас, в убогой каюте, Иоганн дотрагивается до него с отвращением — даст холодную мокрую тряпку и шипит злобно: «Утрите свою грязную физиономию». Поставит рядом поднос с грубой, противной едой и уйдет, даже ложки не даст, нечем есть суп. Долгими ночами, когда ему необходимо облегчиться, он зовет, зовет до хрипоты, и грудь насквозь прожигает болью, пока наконец Иоганн встанет и подаст ему судно. И без того мучаешься, унижительно быть таким беспомощным, а тут еще перед тобой это жестокое, ненавидящее лицо, полное злобного отвращения.

Закричать бы: «Иоганн, мальчик мой, надежда моя, что

с тобой случилось? К чему ты идешь? Бога ради, пожалей меня хоть немного!» Но этот мальчик не знает жалости. Душа его поражена недугом более тяжким, чем любой недуг плоти. И одна мысль о том, какая кара постигнет эту душу на Страшном суде, повергала старика Граффа в трепет.

— Не видите, что ли, тут негде пройти? — отозвался Иоганн, упорно не двигаясь с места. — Оставьте меня в покое хоть на минуту.

— Тогда поверни назад, — спокойно сказал Графф. — Поверни назад.

Кресло повернулось так круто, что больной повалился набок.

— Не старайся убить меня, Иоганн, — сказал он с угрозой. — Господь обещал мне, что я еще увижу Германию. Посмей только пойти наперекор воле господней!

— Не даете мне ни гроша, точно я нищий! — в бешенстве взорвался Иоганн. — Вы мне обещали деньги на карманные расходы — где они? Почему я каждый раз должен у вас кланяться? Даже побриться не на что!

— Для чего тебе здесь, на корабле, деньги, Иоганн? Только лишний соблазн. Я обеспечиваю тебя всем необходимым, племянник, но не стану потакать твоим страстям и вожделениям. Душа твоя слишком драгоценна, чтобы подвергать ее подобным опасностям, Иоганн. А я хорошо знаю, на что ты потратил бы здесь деньги.

Он протяжно, хрипло вздохнул и сплюнул в бумажный мешочек кровавую мокроту.

— Болтаешь без передышки, вот и харкай кровью, старый скряга, — сказал Иоганн.

Старик посмотрел на свои руки — сухие тоненькие костяшки, пальцы совсем бессильные, как упадут, плашмя ли, подогнувшись ли, так и останутся лежать, — и подумал: еще недавно в них хватило бы силы отхлестать мальчишку, как он того заслуживает. Для таких есть только одно лекарство — обрушить удар за ударом на плоть, пока не доберешься до твердого орешка воли и не раздробишь его... о, прежде он, Графф, с этой задачей прекрасно бы справился и с наслаждением спас бы эту душу, теперь такую непокорную. Но господь, мало-помалу отнимающий у него жизнь, не напрасно обрек его на такие страдания, на все мыслимые уни-

жения тела и разума — взамен дарована ему великая сила духа. С той самой минуты, как он узнал, что тело его умирает, на него снизошел чистый свет божественного знания: в награду за близкую смерть господь наделил его властью исцелять других. И эта власть избавила его душу от страха. Теперь он со стыдом вспоминает, как страшился когда-то смерти, малодушно съеживался, точно осужденный на казнь преступник при виде топора, бесконечно, бессвязно молился, упрашивал господа бога ради него, Вилибальда Граффа, изменить свой нерушимый закон — сотворить чудо: покарать его за грехи как-нибудь по-другому, пусть самой жестокой карой — только бы ему жить, пусть даже вот так, в муках, в распаде плоти, в отчаянии... только бы жить.

Вот как низко он пал — он, философ и преподаватель философии, он, который читал лекции в университетах и научных обществах. Когда это было? В другом мире, в другой, прежней его жизни. Вся его ложная мудрость спала с него, будто изношенные, грязные отрепья, и он остался наг, точно новорожденный, на него излился поток очистительного света, и ему послышался голос, полный любви и нежности (он и не подозревал, что в голосе может прозвучать такая любовь). «Исцеляй страждущих», — сказал голос так просто и прямо, как и подобает истинному откровению. И с того дня он принялся за дело, твердо зная истину: пока он держится на ногах, ему надлежит ходить среди страждущих и прикосновением и советом исцелять их во имя божие.

Это было совсем не просто, потому что упрямые люди, его родственники и друзья, всячески ему препятствовали. Казалось даже — ужасная мысль, он едва осмеливался дать ей доступ в сознание, — что они питают к умирающим дурные, злобные чувства, не хотят, чтобы недужные вновь излечились и стали здоровы, как они сами. Приятельница его сестры, упрямейшая женщина, не позволила ему коснуться ее маленького внука, у которого разболелся живот. «Ему нужен покой, его нельзя тревожить», — сердито сказала она, и ребенок умер. Но он спас прислугу своей сестры, индианку, которая трое суток не могла разродиться, под конец глаза у нее совсем ввалились, пересохшие губы почернели и потрескались. «Неприлично, чтобы мужчина видел, как ро-

жает индейская женщина, — говорили ему. — Скромная индианка скорее умрет, но не допустит такого позора!» Кончилось тем, что он утвердил свою волю, волю мужчины: смело вошел, всех растолкал, и они расступились перед ним, как велел им сам бог. Он возложил ладони на разбухшее страдающее чрево, в котором бился младенец, стремясь выйти на свет; он воззвал к господу, чтобы открыл этой новой душе доступ в жизнь, а под конец пути и в царство небесное, — и через несколько минут, после трех мучительных потуг, ребенок благополучно родился. Был и такой случай: он тайно дунул в рот младенцу, погибающему от пневмонии, — и дыхание его изъеденных недугом легких возвратило ребенку жизнь.

И сколько еще их было! Когда его уложили в больницу, пришлось творить добро украдкой, ведь доктора, отчаянно завидуя его могуществу, своими правилами и порядками мешали ему, строго-настрого запрещали посещать умирающих, чтобы прикосновением руки возвращать им жизнь. Но господь бог направлял его. От самого господа он знал, где и в какой час найти того, кому он всего нужнее, и никто его не пугался, потому что прежде всего он говорил: «Да благословит тебя бог и да возвратит тебе здоровье» — и потом касался их совсем легко, одними кончиками пальцев, и успевал уйти прежде, чем какая-нибудь пронырливая сиделка или молодой врач застанут его и помешают сделать дело. В больнице ему редко выпадало счастье увидеть милых сердцу воскресенных здоровыми и сильными — за ним чересчур строго следили, посетить их вторично он не решался. Это удалось лишь однажды: отгороженная ширмой смертников лежала девушка с медно-рыжими косами, глаза ее неподвижно смотрели в потолок, лицо белое как мел, рот приоткрыт, и прикосновение к ней обожгло ему пальцы — она горела огнем.

— Господь возвратит тебе здоровье, веришь? — спросил он.

Опаленные губы чуть дрогнули, и он услышал:

— Верю.

Блаженны верующие. Недели не прошло — и он увидел, как эта девушка, окруженная счастливыми родными, уходила из больницы, ее можно было узнать только по длинным медным косам, сиявшим на солнце.

— Доктора будут думать, что это они тебя вылечили, но мы оба знаем правду, — сказал он ей.

Таковы его воспоминания и его награда, и разве его собственные страдания — не милость божья, если они оказались на благо другим людям? Что такое смерть? Почему он когда-то боялся ее? Вот величайшее вознаграждение — бессмертие для исстрадавшейся заблудшей души. Бессмертие. Суть не в том, чтобы в него поверить — при чем тут доверие? Трудно даже просто пожелать чего-то столь отвлеченного и непостижимого. Тут главное — просто вера... или нет, скорее надежда: извечное стремление существовать и дальше, пусть в ином месте, в ином облике, в иной стихии; существовать и дальше, хотя бы до тех пор, пока не получишь ответа на все вопросы и не доверишь все, чего еще не успел сделать. Разве же не ясно, что стремление это заложено в нас свыше, чтобы вновь привести нас к господу?.. И однако оно может оказаться всего лишь движущей силой земного существования, домыслом, связанным со свойственным человеку животным инстинктом самосохранения; человек безмерно дорожит собой, не хочется предавать забвению ни единого атома своего существа. Так, может, само понятие бессмертия порождено волей — источником самосохранения, и это попросту еще одно из многочисленных и обманчивых ее проявлений? А как же тогда четвероногие твари, и пернатые, и плавающие? Быть может, и в них заложен подобный источник жизненной силы; или, еще того лучше, они даже не подозревают, что не вечно им жить в их нынешнем обличье? Вот где счастье, вот в чем радость бытия.

Старик Графф открыл глаза, точно от удара по нервам, боль пронизала его насквозь: должно быть, он задремал и что-то ему приснилось, что-то очень страшное примерещилось, и никак не вспомнишь — что же. Слабость и отчаяние захлестнули его.

— Иоганн, Иоганн, — пробормотал он непослушным языком. — Пить, пить... — и потом: — Господи, господи... — но молитва замерла у него на губах. Он не смел молиться и уже не понимал, о чем молиться. Быть может, после смерти душе все откроется, быть может, в утреннем сиянии она пробудится для блаженства, какое сейчас не в силах вообразить, и, как бы ни были сейчас загадочны ее

стремления, тогда ей все станет понятно. Ах, быть может, райское блаженство в том и состоит, чтобы Вилибальд Графф мог навсегда забыть, что он был Вилибальдом Граффом, жалким, заблудившимся странником в этом ужасном мире. Быть может, это и означают святые слова «отпущение грехов»?

— Пить, пить, Иоганн, мальчик мой, — повторил он.

Ответа не было. Долгое молчание, потом кресло мягко заколыхалось, его куда-то покатали. Завернули за угол, и тут на колени старика упала черная тень, отброшенная головой и плечами племянника, и протянулась на палубу впереди. И молчание тоже тянулось и наконец прорвалось ненавистью.

— Пить захотел? — притворно-заботливым тоном спросил Иоганн, с утонченной жестокостью изображая, как сказал бы эти слова человек добрый. И, осмелев, точно ядовитым плевок докончил: — Ничего, подождешь, вонючий покойник.

— Постыдись, Иоганн, — спокойно сказал дядя. — Бог тебе судья.

Иоганн молча, рывком повернул кресло, торопливо покатаил его через главный салон, вниз по трапу, по длинному коридору и, наконец, в их душную, пропахшую болезнью и лекарствами каюту. С порога он попросту толкнул кресло, оно пересекло каюту и с разгону ударилось о противоположную стену. Графф не протестовал, даже не повернул головы. Кресло скользнуло немного вбок, и в душе Иоганна молнией блеснула пугающая надежда: он увидел, веки старика сомкнуты, челюсть отвалилась, точно у мертвеца. Племянник захлопнул дверь и почти бегом кинулся обратно на палубу, внутри у него все сжималось от ужаса и ярости, неистовый стук сердца отдавался в ушах, глаза ослепленно мигали. И все же, хоть и смутно, он разглядел Кончу. Замедлил шаг, подошел к борту и уставился на нее; а она молча, неподвижно уставилась на него, подзывая его взглядом. Но он не подходил, и его алчный, упорный взгляд придавал ему странное сходство с голодным тигром, впившимся глазами в жертву, он даже зубы оскалил. Конча не раз видела такое выражение лица, и оно ее никогда не смущало. Напротив, она веселилась, в ее довольно скучном занятии приятное разнообразие — встретить вот такого юнца, жадного,

неловкого, горящего нетерпением. Она и сама была еще очень молода, младшая в их бродячей труппе, еще не совсем очерствела — и ее ничуть не обманул вид этого несчастного мальчишки, который пожирал ее взглядом, точно звереныш, спрятавшийся в кустах; сгорбилась, руки в карманах, прикидывается, что все ему нипочем, изо всех сил старается стать мужчиной.

Конча с улыбкой направилась к нему и еще издали протянула руки. Одним прыжком Иоганн очутился перед ней, схватил за талию и, оставаясь на расстоянии вытянутых рук, пошел с нею в танце, а лицо у него по-прежнему было такое, словно его бросает то в жар, то в холод. Конча ткнулась лицом ему в грудь, обнаженную под распахнутой рубашкой, жадно втянула ноздрями его запах. От него пахло младенческой чистотой, но сквозь эту свежесть она учуяла запах настоящего мужчины, самца. Тогда она крепче сжала его руками, выпятила грудь под тонкой тканью потрепанного черного платьишка, выгнула шею; она выступала горделиво и кокетливо и что-то бормотала, ворковала голубкой. Запрокинула голову, вскинула на Иоганна сияющие глаза, глянула прямо в душу долгим волнующим взглядом и многозначительно ему улыбнулась, потом тихонько прильнула к нему всем телом, прижалась матовой щекой к его груди и словно уснула. Но во сне ли, наяву ли, а ее стройные узкие бедра мерно, неумоимо покачивались, она легко ступала, поворачивалась, кружилась, своим тонким искусством она владела в совершенстве. Понемногу отчаянное лицо Иоганна разгладилось, смягчилось, он прижался щекой к ее гладким черным волосам и продолжал танцевать с закрытыми глазами.

В общем, довольно обычная игра, думал Фрейтаг. Какую бурю может поднять инструмент, чьи возможности на удивленье ограничены, тростниковая дудочка, только и способная снова и снова повторять все те же несколько нот... но в этой девчонке, несомненно, что-то есть. Она может малого кое-чему научить. Это ему в жизни пригодится. Сразу видно, Конча не просто исполняет непрменный заученный обряд, как заводная кукла, как танцевала она во время общей репетиции, — нет, она вкладывает в свое занятие душу или что там у нее вместо души, и не напрасно. Фрейтаг всегда считал, что этот золотоволосый юнец,

мягко говоря, умом не блещет, а сейчас было ясно: испанка довела его до почти идиотского блаженства, разом по крайней мере наполовину утолила терзавшее его безнадежное желание — он ведь не знал, что страсть его так проста, так обычна и в его возрасте, при том, что он здоров и крепок, ее так легко удовлетворить. Отчего бы ему не улыбнуться жизнерадостно и не побренчать монетами в кармане? Впрочем, он явно зависит от умирающего дядюшки, в кармане у него наверняка пусто, и, конечно, потому-то ему и не до жизнерадостных улыбок. Старая история. Фрейтаг вновь обрел привычное самодовольство, отвернулся от танцующей парочки и пошел своей дорогой.

Весь день Дженни терпеливо сносила угрюмое молчание Дэвида, а он за столом сидел рядом с нею надутый, добела сжав губы, и, когда оба в напряженном безмолвии ходили по палубе, самый воздух между ними, казалось, болезненно содрогался при малейшем дуновении ветерка; наконец ее терпение лопнуло, и она ушла в каюту писать письма родным. Сколько она ему ни рассказывала, он не верил, а между тем в одном из южных штатов была у Дженни небольшая, но связанная прочными узами семья: родные и двоюродные братья и сестры, дядюшки и тетюшки и даже маленькие племянник и племянница — всё как полагается, и она, сама этому удивляясь, издали довольно нежно к ним относилась. «Дорогая...» — начала она и не впервые подумала, что неважно, кому из них первому написать, ведь все занимали, как Дженни это называла, единую семейную позицию: очень мало зная о том, как она живет, все они подозревали худшее и притом, твердо зная, сколь слаб человек по природе своей, решительно не одобряли ее с высот своей нравственности. Девушке полагается жить, где родилась, а раз уехала из дому, добра не жди. Вот к чему сводятся их взгляды, думала Дженни, а знай они, как все обстоит на самом деле, у них бы кровь застыла в жилах. Да уж, только попробуй подойти к родным поближе, и они накинутся на тебя с иглами и скальпелями, заберутся под кожу, не остережешься — и вопьются в тебя, и высосут из тебя все соки. А все равно ты их любишь, и они любят тебя, и странное сплетение жадной, требовательной, безысходной нежности

и ожесточения неразрывно связует вас живой сетью обнаженных нервов.

Быть может, по доброй воле ты нипочем бы не выбрала себе такую родню, знаясь бы с такими не захотела. Но это твоя семья — и ничего тут не поделаешь, и ты связана с ними на всю жизнь, до скончания века. Тут Дженни, застывшая в смутном раздумье, с пером в руках, перестала себя уговаривать — и уже не мысли, не слова, а глубочайшее внутреннее чувство подсказывало ей: не может она жить поблизости от родных, ее слишком пугают их слабости и грехи — ведь это и ее грехи и слабости; а почти все их добродетели ей еще отвратительней, чем грехи. Сколько лет она вела сложную войну, отбивалась от этих людей, чтоб не врывались в ее жизнь; потом годами старалась не обращать на них внимания, забыть их, возненавидеть — а кончилось тем, что она их любит (ведь это естественно, уж так устроено природой) и сама это признает; покоя эта любовь не принесла, а все же ощущаешь какую-то почву под ногами. Нет, она не стала бы искать у них ни помощи, ни утешения, ни похвалы, ни понимания, ни даже любви; но оказалось, что она просто не может уйти от них навсегда. Они — ее семья, а она, Дженни, — блудная дочь; они нипочем не дадут ей об этом забыть, они не могут скрыть злость и досаду и понемножку злословят о ней между собою, чтобы оправдать свое отношение к ее, как они выражаются, «предательству».

И уж конечно, их не проведешь, ни на минуту они не поверят этому вздору — будто она хочет рисовать, стать «художницей». Если молодая женщина из порядочной семьи покидает родной дом и родные края, причина тут одна: она намерена вести бесстыдную, безнравственную жизнь в таком месте, где ее родственники и весь круг знакомых не могут ни сдержать ее, ни наказать. Художница, как бы не так! Ну и малевала бы своими красками, сидя дома, на задворках!

Все это и еще многое другое проносилось даже не в мыслях, а в кровеносных сосудах Дженни, а рука ее меж тем выводила на бумаге: «Дорогой брат (или сестра, или милый племянник, или милая тетя)... погода очень хорошая, становится прохладнее... я чувствую себя прекрасно... так приятно будет побывать в Париже... напишите, как вы живе-

те... всегда ваша любящая...» Еще бы не ваша, еще бы не любящая, дорогая моя семейка, черт бы вас всех побрал! Она вкладывала в конверт последнее по счету письмо, когда появилась Эльза, только что из кино, — глаза еще мокры от слез, но оживлена и жаждет поговорить.

Она села на край своей койки, начала вынимать шпильки.

— Маме не понравилась моя новая прическа, — застенчиво сказала она.

— По правде сказать, мне тоже, — ответила Дженни. — Прежняя вам больше идет.

Фильмы на корабле показывали в первый раз, и Дженни предложила Дэвиду пойти посмотреть; он заявил, что не понимает, с какой стати нужно так по-дурацки убить вечер, а Дженни мигом возразила, что не понимает, можно ли убить вечер глупее, чем они делают это сейчас. Тем разговор и кончился, и они провели вечер врозь, Дженни — за писанием писем.

А Эльза, как выяснилось, получила большое удовольствие. Фильмы показывали как раз такие, какие ей больше всего нравятся, в Мексике таких не увидишь — там больше все про каких-нибудь разбойников, которые скачут верхом по горам и поджигают ранчо; и скверные женщины всегда гоняются за мужчинами, и разные негодяи обманывают друг друга. Нет, здесь показали две совсем другие картины — немецкие, и такие милые. И пока Эльза готовилась ко сну, она подробно все вспомнила и пересказала. Одна картина была про красавицу дочку мельника, ее полюбили два богатых и знатных господина, отец и сын. Отца она отвергла, а он запретил сыну, которого она полюбила, жениться на ней. И устроен был злодейский заговор, два негодяя — слуги старого помещика — схватили девушку, когда она собирала цветы у мельничной запруды, и утащили в сторожку лесника, грубого человека, вдовца, у которого была дочь таких же лет, и насильно обвенчали, и все это делалось по приказу бессердечного старого помещика.

— А где же был его сын? — спросила Дженни, наклеивая марки на конверты.

— Он как раз уехал путешествовать, — объяснила Эльза. — Но дочь лесника придумала, как помочь бедняжке. Она сделала вид, что идет помогать новобрачной раздеться,

а вместо того связала простыни и помогла той спуститься из окна ее комнаты, и новобрачная побежала через лес домой — ах, как было красиво, вершины деревьев освещала луна! — а злодей-лесник погнался за беглянкой, но на мельничной плотине он поскользнулся — не случайно, понимаете, это его бог наказал, — и упал в воду и утонул. И как раз в это время возвращается молодой господин и все узнает — и дочь мельника, которая овдовела, оставшись невинной девушкой, достается ему!

— А что произошло со старым помещиком? — спросила Дженни.

— Он раскаялся и благословил их, — сказала Эльза. — Все кончается свадьбой в большой церкви, там много цветов и музыки, и потом все танцуют на деревенском лугу. Хорошо бы, почаще показывали такие картины... эта девушка такая хорошенькая, и молодой человек такой красивый, и они так счастливы вдвоем!

— Да, это настоящий свадебный торт, глазури и сусальных голубков и роз на нем сколько душе угодно, — сказала Дженни. — Когда-нибудь и у вас будет такой торт.

— Надеюсь, — вздохнула Эльза, но, как всегда, в ее голосе сквозило сомнение. — И вторая картина была тоже очень милая...

Дженни потянулась за теплым шарфом, прикрыла им колени и уселась поудобней, дожидаясь, пока это кончится.

— Было немножко трудно следить, очень уж там много всяких событий, но герой — молодой красивый эрцгерцог — хотел жениться только по любви и не пожелал из одного лишь сыновнего послушания обвенчаться с графиней фон Хогенбрехт, которой прежде в глаза не видал, а любящие родители уже совсем было сладили эту свадьбу, они ему хотели только добра, вы же знаете, родители всегда так, — неожиданно перебила себя Эльза, на минуту возвращаясь к обычному здравому смыслу. — Ну и вот, несчастным старикам надо было только, чтоб сын был счастлив, и они как-то сговорились с родителями графини и решили устроить, чтобы молодые люди встретились переодетые и приняли друг друга за простолюдинов. Понимаете, графиня тоже очень романтичная и даже отказалась встретиться с эрцгерцогом, потому что она тоже хочет выйти замуж только по любви. Ну и вот, отец с матерью ей говорят, что

пора ей немного узнать жизнь и научиться править в своем замке, и пускай она переоденется прачкой и в день большой стирки пойдет с другими служанками на реку. Но, конечно, ей не надо самой стирать, она только будет распоряжаться работой. А тем временем подстроили так, что эрцгерцог, переодетый лесничим, со своими людьми поехал на охоту в эти края. И вот он видит эту красивую девушку, а она видит его, и, конечно, они влюбились с первого взгляда, в этом вся соль! И молодой эрцгерцог говорит отцу с матерью, что он полюбил на всю жизнь и женится только на этой прачке и ни на ком другом. Ну, родители обоих, как было задумано, прибегают к разным хитростям и чинят влюбленным всякие препятствия, потому что им надо убедиться, что это настоящая большая любовь. А эрцгерцог и графиня каждый раз стараются улучшить минуту и убегают переодетые и тайком встречаются в лесу. И так продолжалось много времени, а потом наконец все открылось; и тогда справляют пышную свадьбу в великолепном соборе, а потом в замке задают роскошный бал, и все слуги танцуют на лугу перед замком. Ох, вы подумаете, что я совсем дурочка, — вдруг сказала Эльза. — Нет, я уже знаю, что в жизни все по-другому, я ничего такого не жду. А все-таки я не понимаю этих студентов с Кубы. Даже тот высокий, красивый, который хорошо поет — который мне нравится, помните? — ну вот, и он такой же, как все. В кино, во время любовных сцен и даже в самых грустных местах, они без конца насмеялись, и свистели, и мяукали, просто ужасно себя вели, так что стюард попросил их быть потише. Тогда они все поднялись и вышли, и эта ссыльная графиня с ними, и она тоже смеялась над фильмом. Я не понимаю, почему люди такие черствые... оба фильма очень милые, в них столько прелестных сценоч...

— Беда в том, что эти студенты просто еще не родились на свет, каждый из них — просто дурной сон, приснившийся его родителям, — резко сказала Дженни. — Постарайтесь забыть об этом кубинце, Эльза.

— Как же мне о нем забыть, если я каждый день его вижу? — не без досады возразила Эльза. — А про эту «кондесу» моя мама говорит, что она хоть и графиня, а все равно сомнительная особа, и чтобы я ни под каким видом не смела с ней разговаривать. Как же я стану разговаривать с женщи-

ной старше меня, если она со мной первая не заговорит? Но я ужасно хотела бы знать, как может себя чувствовать женщина такого сорта!

— Однако вы делаете успехи, — улыбнулась Дженни. — И придет же в голову... что бы сказала ваша мама? А теперь объясните-ка, такой был веселый вечер, такие хорошие фильмы — почему же вы после всего этого плакали?

— Иногда я чувствую себя очень счастливой, а потом сразу очень несчастной, — просто призналась Эльза и утерла глаза: на них опять навернулись слезы.

— Ну, если дело только в этом, тогда не страшно, — поспешно сказала Дженни. — Мне еще не хочется спать. Пойду пройдуся по палубе, погляжу на луну. Доброй ночи.

— Доброй ночи, — уже спокойнее отозвалась Эльза.

И после смятения, что наполняло ее долгий сумбурный день, погрузилась в блаженные сны.

Фрау Шмитт слишком недавно стала вдовой, не успела привыкнуть к беззащитности и от недавних столкновений с миром мужского непостижимого своеволия как-то оробела. С удивлением она начала понимать, что у нее, в сущности, и не было никогда ни знакомых мужчин, кроме мужа, ни знакомых женщин — только жены приятелей ее мужа да старые девы учительницы, такие чуждые чисто женским тревогам, о которых ей хотелось бы поведать, словно они были существами какой-то другой породы. Много лет она почти ни с кем, кроме учеников младших классов, не встречалась иначе как в обществе мужа; если вдуматься, она всю свою замужнюю жизнь прожила в полном смысле слова рядом с ним. После войны здоровье у него стало такое, что порой он казался ей малым ребенком; порой, когда ему становилось лучше, он был ей как добрый, чуткий брат; и все равно она всегда чувствовала — у нее есть муж. Но как плохо он приготовил ее к тому, что она может остаться в жизни одна! Куда теперь податься, с кем поговорить, от кого ждать доброты и чуткости?

И когда на носовой палубе появился доктор Шуман и одиноко стал у перил, фрау Шмитт почудилось, что само небо вняло ее молитве. Она подошла к нему ближе, насколько это допускали приличия, стараясь не показаться навязчивой: хоть минуту побыть бы рядом с этим человеком,

один вид его утешает и обнадеживает, он кажется воплощением всего, что есть на свете правильного, хорошего и добропорядочного...

Он стоял к ней в профиль, и можно было восхищаться благородным дуэльным шрамом, рассекающим его левую щеку. У мужа шрам был не менее внушительный, и она всю жизнь им гордилась. Этот шрам напоминал ей о некоторых утешительных истинах: что семья мужа занимала в обществе более высокое положение, чем ее семья, а сам он благодаря своим студенческим дуэлям поднялся еще выше; и вообще он мог жениться куда выгодней, найти богатую невесту. И однако он выбрал ее, хотя приданое за ней давали пустячное, а братья ее никогда не дрались на рапирах; и он сам говорил ей, что ни разу не пожалел о своем выборе, а она всегда была ему за это благодарна. Лицо доктора Шумана шрам украшал наивыгоднейшим образом, свидетельствуя о благородном духе: ведь если студент дрогнет, чуть-чуть отвернется или наклонит голову, рапира противника рассечет ему скулу, а то и лоб (она видела множество таких шрамов) — и это для него позор, разве что тут виновата неловкость противника, но нельзя же всю жизнь ходить и объяснять, что дрался с неумелым фехтовальщиком! Фрау Шмитт уже немного надоело слушать, как хвастает своим мужем фрау Риттерсдорф: вот кто был завзятый дуэлянт, всегда бросал вызов первым, всегда выходил победителем, на левой щеке четыре шрама чуть не вплотную друг к другу, и каждый — прелесть, не какие-нибудь там царапины! Ну, пожалуй, фрау Риттерсдорф несколько преувеличивает. И потом, одного хорошего шрама в подходящем месте вполне достаточно — ведь, в конце-то концов, зачем он нужен? Затем, что эта живая зарубцевавшаяся плоть — символ, своего рода медаль за храбрость. Однажды достигнув такой награды, благородный человек может посвятить себя другим делам и занятиям.

Исполненная робкого благоговения, фрау Шмитт потихоньку подобралась поближе к доктору, он обернулся к ней со своей серьезной улыбкой, которая так ее восхищала, и уже хотел заговорить, как вдруг вечернюю тишину нарушили хриплые голоса, хором распеваящие «Кукарачу». Из салона, окруженная своей нелепой свитой, выплыла *condesa* в свободном, ниспадающем складками белом платье и

зеленых туфельках, помахала доктору пальчиками, одарила его чарующей улыбкой и стремительно прошла мимо, юбки ее развевались, а студенты шли за нею, приплясывая румбу, и орали свою песню. Замыкал шествие жилистый малый в фиолетовых широченных брюках, похожих на подоткнутую юбку; немного приотстав, он дурашливо подскакивал и, передразнивая графиню, пищал тоненьким жалобным голоском: «Ах ты, молодость моя, жаль, с тобой рассталась я!»

У него даже хватило нахальства откровенно подмигнуть растерявшейся фрау Шмитт. Та просто глазам своим не поверила и в смятении обернулась к доктору.

— Да что же это? — ахнула она.

Доктор Шуман придвинулся ближе, теперь они стояли совсем рядом и смотрели на студентов, на их судорожную походку и обезьяньи ужимки, на бесстыдные жесты, которыми те провожали быструю грациозную фигурку. Как же *condesa*, которая словно бы так чутка ко всему, что творится в ней самой и вокруг, может хотя бы минуту терпеть подобную наглость? Доктор Шуман подавил тяжелый вздох, снова обратил взгляд на океан и печально сказал соседке:

— Просто невероятно, до чего доходит злонравие молодежи. Мы слышим немало упреков людям пожилым — не так ли? — и тут многое справедливо: под старость мы становимся ленивыми, себялюбивыми, самодовольными, легко впадаем в отчаяние...

— Ну, только не в отчаяние, дорогой доктор Шуман, — неловко запротестовала фрау Шмитт.

— Именно в отчаяние, — решительно повторил доктор. — Но куда хуже пороки молодости. Мы, старшие, грешим — и сознаем это, и хотя бы некоторые из нас горько раскаиваются и всеми силами стараются загладить свои грехи. А эти, — он кивнул в сторону студентов, — эти грешат и даже не понимают, что грешат, или же понимают — и упиваются этим. Они бесстыдны, жестоки и заносчивы... они любят самих себя с пылом, какого старость не знает... или, может быть, старики этот пыл уже растратили, — вдруг прибавил он не без юмора. — Но все равно, эти юнцы грешат с утра до ночи против всего на свете, от сердца человеческого и до Святого Духа, а потом, устав грешить, засыпают крепким

сном невинного младенца. Смотрите, такое грубое презрение и насмешка, такое жестокое, бессмысленное издевательство над благородной женщиной, а ведь она страдает, и ничего плохого она им не сделала!

— Как странно, доктор, — кротко, простодушно удивилась фрау Шмитт, — я еще не слыхала, чтобы вы говорили так сурово!

— Да, я суров, — спокойно ответил доктор Шуман. — Я — глас укоризны, вопиющий в пустыне, вернее, над водами океана! Хотел бы я, чтобы слова мои обратились в камни — я забросал бы ими этих дикарей и разбил бы их тупые головы.

— Или их сердца, — сказала фрау Шмитт.

— У них нет сердца, — возразил доктор.

Фрау Шмитт промолчала, такие глубины чувств и мыслей были ей недоступны, и однако ее влекло к этим глубинам. Удрученно следила она за взглядом доктора, он провожал глазами графиню, пока та не скрылась за поворотом на корме; то, что увидела фрау Шмитт в его взгляде, она поняла по-своему, простодушно истолковала на свой лад. Какая жалость, такой хороший человек — и влюбился в подобную женщину! Да еще в его годы, и притом он женат, и вообще... Просто ужасно, и ведь такие случаи не редкость. Ее вера в доктора Шумана поколебалась, едва не рухнула, устояла все же, но былой ореол померк навсегда. Чувство было такое, словно ей нанесли новую рану, опять оставили в стороне, жизнь так и пройдет мимо. Нет, ей теперь хочется только одного — прочитать молитвы, вверить себя божьей воле, и уснуть, и обо всем забыть. В этом мире ее уже не ждет ничего хорошего и отрадного. Минуту она стояла как громом пораженная, потом пробормотала на прощанье какие-то вежливые слова и пошла прочь.

Доктор Шуман, сам себе удивляясь, поразмыслил над своими словами и пожалел, что ему изменило чувство меры: все это было сказано не к месту и не ко времени, с излишним жаром и совсем неподходящему слушателю... да уж, лучше бы совсем ничего этого не говорить, чувство, которым продиктованы были эти слова, само по себе сомнительно... Он мысленно прочитал короткую покаянную молитву, откинулся в ближайшем шезлонге и закрыл глаза. На слабо освещенной палубе в эти минуты никого не было, все стих-

ло, слышался лишь убаюкивающий плеск волн. Не так давно доктор тешил себя надеждой подрядиться судовым врачом еще на один рейс, а теперь, в миг внезапного озарения, понял: это плавание для него последнее. И оттого, что внезапно ему открылся верный конец путешествия, которое, по неведомой причине, оказалось до странности мучительным, на душе у доктора Шумана полегчало, и он мирно заснул.

Когда он открыл глаза, рядом, в шезлонге по правую руку от него, непринужденно откинулась *condesa* — ее, видно, ничуть не клонило ко сну; в задумчивости, которая очень ей шла, она смотрела на темнеющие волны, будто ждала, что сейчас поднимется занавес и начнется некий спектакль. От изумления доктор Шуман начал даже немного заикаться:

— Ч-что вы сделали с этими ужасными молодыми людьми?

— Да, правда, они иногда бывают скучноваты, — спокойно отозвалась *condesa*. — Им надоело проказничать, и они пошли играть в кости. А вы так сладко спали, просто на зависть. Как вам это удается?

Доктор Шуман выпрямился в кресле, сон освежил его и вернул силы.

— Очень просто: у меня совесть чиста, — сказал он почти весело.

— Очень просто, — повторила *condesa*. — Ну, конечно, вы — такой человек, что не могли бы жить с нечистой совестью.

— Бывает и похуже, — с нажимом сказал доктор, чувствуя, что надо строже держаться с этой сумасбродной особой, как-никак она — его пациентка. — Скажите-ка, а ваша совесть сейчас ни в чем вас не упрекает?

— В вопросах совести я не разбираюсь, — сказала *condesa*. — Зато у меня есть чувство чести, самая малость, но, пожалуй, оно играет ту же роль... хотя бы изредка! Вот я дала вам слово — и пока что держу его, разве вы не видите? Только мне от этого мало радости, я мучаюсь, терзаюсь, меня жжет как крапивой, а почему? Все ради вас, я уже вам говорила; чего же вы еще требуете?

— Я этого совсем не требовал, — возразил доктор Шуман. — Этого я меньше всего хотел. Никогда бы у меня не

хватило дерзости мечтать о чем-либо подобном.

— Знаю, — почти с нежностью сказала *condesa*. — Но мне необходимо хоть что-то от бессонницы. У меня нет больше сил не спать.

— Постарайтесь еще немного обойтись без наркотиков, — сказал доктор. — Даю слово, когда надо будет, я вам помогу.

— Ненавижу мученичество во всех его проявлениях, — сказала *condesa*. — Мне оно совсем не к лицу. И я не могу быть героиней, это мне еще ненавистнее. А между тем, не угодно ли — я вам обещаю и мучиться и геройствовать, потому что вам кажется, будто это пойдет мне на пользу... чему на пользу — моей душе?

— И душе тоже, разумеется, — любезно подтвердил доктор.

— Вы и правда полагаете, что от этого путешествия, такого для меня странного, неожиданного, ни на что не похожего, я стану совсем другим человеком? — спросила *condesa*. — Думаете, совершится какое-то чудо?

Доктор начал что-то отвечать, и в эту минуту оба увидели, что на шлюпочную палубу поднимается эта нелепая пара — долговязая тощая Лиззи и низенький толстяк Рибер, а за ними, чуть поодаль, крадутся близнецы Рик и Рэк. Ни *condesa*, ни доктор ничего не сказали об этом шествии, словно ничего и не заметили, и продолжали приятно беседовать.

Некоторое время Рик и Рэк, точно осторожные охотники, пробирались по шлюпочной палубе, стараясь не попадаться на глаза своей дичи (ее повадки и намерения они знали наизусть), — и наконец из-за второй огромной трубы, из самого укромного темного уголка, донесся долгожданный суматошный шумок: там как будто борются, топчутся на месте, шаркают подошвы, скользят каблуки, слышны приглушенные голоса — вскрикивает, шипит и огрызается женщина, захлебывается довольным урчаньем мужчина. Рик и Рэк не понимают слов, но чутье на любовный жаргон у них в крови. Крадучись, как два лисенка, они подбираются ближе, ревниво придерживают друг дружку, каждому хочется взглянуть первым; они понимающе переглядываются,

в полутьме поблескивают белки глаз, мелькают острые красные языки, облизывая приоткрытые губы. Ветер свистит в ушах, треплет волосы по щекам, облепляет убогой одежкой тощие ребячьи тела — прижимаясь к трубе, они крадутся вокруг нее к заманчивым звукам.

И вот молча, не шевелясь, они с жадностью упиваются зрелищем, которое искали. Сидя на палубе, спиной к трубе, тесно прижались друг к другу Лиззи и Рибер, копошатся, борются, смеются. Он щупает ее коленки, а она одной рукой одергивает юбку, а другой пытается его оттолкнуть. Рик и Рэк ждут чего-нибудь поинтереснее... но вдруг тощая Лиззи вырвалась и отпихнула толстяка так, что он едва не повалился на спину. Блузка у нее расстегнута чуть не до пояса, и дети презрительно морщатся: тут и глядеть-то не на что. Лиззи взвизгивает, озирается — и ее ошалелый взгляд падает на Рика и Рэк. Она пронзительно визжит уже совсем на другой манер:

— Ой, смотрите, ой, смотрите...

И машет в их сторону длинными руками.

Рибер мгновенно трезвеет. Лиззи вскакивает на ноги, распрямляется разом, как пружина, он же становится на четвереньки, хватается за бухту каната и только тогда с трудом, кряхтя, встает. А Рик и Рэк лишь слегка попятились, не отходя от трубы, и все смотрят, готовые в случае чего дать стрекача.

— Ах вы, бесстыдники, вы что тут делаете? — несколько задыхаясь, но словно бы отечески строгим тоном вопрошает Рибер.

— Глядим на вас, — дерзко отвечает Рэк и показывает язык.

А брат прибавляет:

— Валяйте дальше. Если кто пойдет, мы вам скажем.

Искренне возмущенный столь ранней развращенностью, Рибер со злобным рычаньем, протянув руки, бросается на близнецов, но они ловко отскакивают.

— Вон отсюда! — вне себя орет Рибер.

Рик и Рэк в восторге прыгают и хлопают в ладоши, увертываясь от Рибера, а он мечется, размахивает кулаками и едва не теряет равновесие, потому что его яростные удары приходится по воздуху. Близнецы отплясывают вокруг него танец диких.

— Дай монетку! — вопят они. — Дай монетку, а то расскажем!.. Дай, дай монетку, а то расскажем!.. Дай монетку...

— Изверги! — хрипло вскрикивает Лиззи. — Ах вы, мерзкие...

— Дай монетку, дай монетку! — нараспев повторяют Рик и Рэк, по-прежнему пританцовывая вокруг Рибера и с легкостью избегая ударов.

Наконец Рибер остановился, он задыхается, низко опустив голову, точно измученный тореадором обессиливший бык на арене. Сунул руку в карман. Зазвенела и покатилась по палубе монетка. Рик наступил на нее ногой.

— И ей тоже дай, — говорит он, указывая на сестру. — Ей тоже.

И смотрит зорко, нахально и настороженно. Рибер бросает вторую монетку. Рик хватает обе в кулак, машет сестре, и она бежит за ним.

У трапа они с разбегу столкнулись, оба разом кое-что заметили, и обоим пришло на ум одно и то же. Одна из шлюпок закрыта брезентом не наглухо, свободно повисший край можно и еще приоткрыть. Близнецы попробовали — это на удивление легко удалось; они приподняли край брезента, и Рэк, извиваясь ужом, заползла в шлюпку, брат, не говоря ни слова, — за ней.

Шлюпка оказалась куда глубже, чем они думали, пришлось изрядно повертеться, но наконец они вскарабкались обратно к борту, выглянули в щелку под брезентом, щека к щеке, и внимательно прислушались. Но вот и толстый дядька с тощей теткой: идут мимо, она на ходу застегивает кофту, лица у обоих злые-презлые. Тут Рик чуть не свалился на дно лодки, заскреб башмаками по доскам; тощая обернулась, поглядела в сторону шлюпки, но ничего не увидела; потом споткнулась на ступеньке трапа, и толстяк подхватил ее под руку.

— Осторожнее, моя красавица, — негромко сказал он.

— Отстаньте, — огрызнулась она и вырвала руку.

Рик и Рэк одним живым комком свалились на дно шлюпки, захихикали в темноте.

— Отдай мою монетку, — яростно потребовала Рэк и, точно кошка когтями, впилась Рiku в бока. — Отдай, а то глаза выцарапаю.

— Возьми, попробуй, — в тон ей ответил Рик и крепче зажал деньги в кулаке. — А ну, возьми!

И пошла схватка будто не на жизнь, а на смерть: они катались по дну шлюпки, наподдавали друг другу коленками в бока, вцепились в волосы; обоим было больно, но и в боли они находили удовольствие. И понемногу притихли, а потом и захихикали. Мимо шел молодой помощник капитана, остановился, прислушался, лицо у него стало озабоченное. Шагнул к шлюпке, рывком отдернул брезент — и от того, что увидел в шлюпке, на миг остолбенел. Потом спрыгнул через борт, низко наклонился, ухватил обоих и вытащил наружу. Они оказались почти невесомыми, словно даже кости у них были полые — и оба повисли в руках моряка, бесильно болтаясь, точно сломанные куклы.

Condesa и доктор Шуман все еще отдыхали в шезлонгах, смотрели, как темнеет океан и пляшут на волнах отражения корабельных огней, и доктор говорил:

— Человек не обретает ни новые силы, ни новые слабости, в нем лишь развиваются, укрепляются, сходят на нет или извращаются задатки, заложенные в нем изначально. Порой это происходит так бурно и внезапно, что может показаться, будто характер переменялся в корне, но, боюсь, это только кажется. С годами человек все яснее сознает, сколько шаткого, неустойчивого в его натуре. Старается во всем отдавать себе отчет, держать себя в руках. И, наконец, трезво и все же скорбно понимает, как верно то, что ему говорили в детстве: да, конечно, он бессмертен, но не в нынешнем своем облике, не во плоти. Человек...

— Человек, человек... — почти весело перебила Condesa. — Про какого это человека вы всегда толкуете? Давайте лучше поговорим о нас, именно о вас и обо мне.

— Что ж я, у меня самая заурядная болезнь сердца, вот я и устроился на рейс-другой судовым врачом в надежде немного отдохнуть — представляете? — я ведь нередко прописывал такой отдых другим. А теперь я буду счастлив, если протяну столько, что еще раз увижу, как моя жена веником выгоняет кур из кухни нашего загородного домика, и услышу ее непрестанную воркотню — ни о чем другом я в этой жизни не мечтаю. Сколько она ворчала, дорогая моя

жена, по крайней мере с тех пор, как вышла за меня замуж, — бранила и меня, и всех и все на свете, и всегда с полным основанием и всем на благо, потому что почти всегда она была права... а к чему это привело?

— Что ж, — весело сказала *condesa*, — вас это по крайней мере привело к небольшой передышке.

Доктор Шуман чуть заметно улыбнулся, отвел глаза, поглядел вдаль, на волны.

— Только представьте себе: я, врач, после стольких лет в тихом городке Гейдельберге вообразил, будто на корабле смогу отдохнуть от нашего мира. Сам себе удивляюсь, как я мог вообразить, будто так я узнаю что-то новое о себе и о людях. Ничего подобного не случилось. Все это я видел тысячи раз, только прежде я это видел не на корабле, а на суше. И всех этих людей я уже видел прежде, только в других местах, и звали их по-другому. Их болезни я распознаю с первого взгляда, а если знаешь, каким недугом страдает человек, почти всегда можно сразу сказать, какую форму приняли его пороки и добродетели.

— Теперь поговорите обо мне. — *Condesa* подалась вперед, обхватила руками колено, легко переплела тонкие пальцы.

Но тут в носовой части палубы появилась престранная и весьма воинственная компания. Молодой помощник капитана в съехавшей набок фуражке тащил испанских бесенят, а они отчаянно отбивались. Все же он рывками продвигался вперед, в сторону доктора Шумана и его собеседницы, увлекая с собой сопротивляющихся пленников, которые пытались вцепиться зубами ему в руки.

— Опять нашкодили, — сказал доктор Шуман, его безмятежное спокойствие растаяло как дым. — Я еще ни разу не видел этих детей за безобидным занятием, вечно они делают кому-нибудь гадости. — И он окликнул моряка: — Что случилось?

Услыхав этот вопрос, молодой человек залился краской. Остановился перед доктором, покрепче ухватил близнецов, а они вдруг перестали отбиваться и стали как вкопанные, угрюмо глядя в пространство.

— Сэр, — начал молодой моряк, — эти дети, эти невозможные...

Рик и Рэк разом рванулись один вправо, другая влево,

руки моряка дернулись, но пленников он не выпустил. Он покраснел еще гуще, уши его пылали. Он беспомощно озираясь по сторонам, беззвучно открыл и вновь закрыл рот, поглядел умоляюще, ясно было — при даме он ничего объяснить не может.

— Я — мать, — ободряюще сказала *condesa* и одарила его отнюдь не материнской улыбкой; ярко накрашенные губы ее сложились как для поцелуя, брови приподнялись. — Я могу угадать худшее и, сказать по правде, считаю, что это не так уж дурно. А вы как думаете, доктор?

Доктор Шуман наклонил голову и окинул близнецов безнадёжным взглядом.

— Что бы они ни сделали, без сомнения, они — маленькие чудовища, и никакими обычными мерами их не исправишь, — сказал он.

— Они были в шлюпке, — запинаясь, начал моряк. — Отвязали край брезента, влезли внутрь и...

— И забавлялись? — спросила *condesa*. — Что ж, *il faut passer la jeunesse*¹... по-моему, раннее детство ужасно надоедает — сперва свое, потом чужое... мои сыновья, бедняжки, вовсе не были чудовищами, как раз наоборот — до ужаса нормальными детьми, но, пока им не исполнилось восемнадцать, надоедали мне до смерти. А потом стали очаровательными молодыми людьми, с ними можно было даже поговорить. Право, не знаю, как совершается это чудо. А потому, — прибавила она, — с такими вот диковинками надо набраться терпения и ждать.

И она обворожительно улыбнулась близнецам, а они ответили ей злобными взглядами.

— С этими никакого чуда не произойдет, — сказал доктор Шуман. — Зло составляет самую суть их души. — И прибавил, обращаясь к моряку: — Может быть, просто передать их в руки родителей?

— О господи, их родители! — с презрением и отчаянием воскликнул молодой человек. — Да разве вы их не видели, сэр?

— Тогда, мне кажется, делать нечего, надо их отпустить, — сказала *condesa*. И, ласково заглянув в горящие злобой глаза маленьких преступников, докончила: — А мо-

¹ Юности надо дать перебеситься (*франц.*).

жет быть, ради общего блага и спокойствия просто бросим их за борт?

— Прекрасный совет, сударыня, — с горечью отозвался молодой моряк. — Жаль, что нельзя ему последовать.

— Ну, вы уж чересчур серьезно ко всему относитесь, — сказала *condesa*. — Ведь они еще просто маленькие дети.

— Но уже одержимы дьяволом, — заметил доктор.

Она всмотрелась в его лицо, всегда полное дружелюбия и доброты, — сейчас лицо это омрачала суровость воина.

— Какой вы старомодный, — сказала она с восхищением.

Веки доктора дрогнули.

— Да, я знаю... и довольно скучный, конечно.

— Но обаятельный! — закончила *condesa* и хотела было взять его за руку.

Молодого моряка, чья оскорбленная добродетель была в эти минуты болезненно чувствительна, ее движение возмутило немногим меньше, чем вид Рика и Рэк в шлюпке. Стало быть, все слухи, которые ходят про эту графиню, — правда! Ему предоставили самому решать, как быть с этими дьяволятами, — что ж, они не хуже старших. И пускай вытворяют, что хотят. Он разжал руки, словно отшвырнул двух гадюк; близнецы мигом дикими скачками пустились наутек. А моряк отвесил графине и доктору мнимо-почтительный поклон, вложив в него всю дерзость, на какую только осмелился, поправил съехавшую набок фуражку и пошел прочь.

Condesa, блестя глазами, поглядела ему вслед и звонко, весело рассмеялась.

— Бедняжка, он очень славный, но слишком молод... так молод, что не помнит собственного детства. Милый доктор, я никогда не понимала учения церкви о первородном грехе. Дети просто звереныши, пока их не выдрессируешь, — чему же тут ужасаться?

— В этих двоих не заложено никакого доброго начала, — сказал доктор Шуман. — Тут не на что надеяться. За чем обманывать себя? Они плохо кончат.

— Они и сейчас достаточно плохи, — сказала *condesa*. Откинувшись в шезлонге, глубоко вздохнула. — А какое детство было у вас?

— Самое невинное, — отвечал доктор Шуман, к нему

уже вернулось обычное добродушие. — По крайней мере мне приятно так думать.

— А, вам приятно так думать! Может быть, так оно и было, — воскликнула *condesa*. — Но неужели вы не помните ничего интересного? Неужели у вас не было никаких веселых приключений?

Доктор Шуман призадумался, потом словно бы против воли улыбнулся и, наконец, решился выложить все начистоту.

— Невинность, — начал он, — эта наша весьма сомнительная невинность...

— Так значит, и у вас есть кое-какие забавные воспоминания. — И *condesa* накрыла его руку своей, под шелковистой нежной кожей у нее, точно голубое деревцо, ветвились набухшие вены. — Чтобы придать вам храбрости, скажу правду: я никогда не была невинной, никогда. Во-первых, обстановка была неподходящая, я росла среди прелестных кузенов, очень бойких и пылких мальчиков, любителей приключений, и сама была такая же. А главное, у меня не было ни малейшего желания хранить невинность. Чтобы какое-то удовольствие, какой-то секрет оставались мне недоступны? Да мне и подумать об этом было невыносимо! И я сама, без посторонней помощи, очень рано обо всем догадалась. Отсюда до проверки опытом один шаг; от проверки до привычки путь самый короткий. И я ни о чем не жалею, вот только не всегда использовала все возможности.

— А я и правда был невинен, суший теленок, — сказал доктор Шуман. — Этакая простая душа, ласковое послушное дитяtko: радовался жизни, не знал никаких забот, верил всему, чему меня учили... лаской из меня можно было веревки вить. И все-таки в пять лет я совратил свою двоюродную сестричку, которой было три года, а в шесть уже меня совратила девятилетняя девочка, мы с ней вместе играли. В своем неведении мы совершали величайшие нелепости, это была даже не пародия... Обе подружки моих детских игр были премилые, очаровательные, чистые девочки, они благополучно выросли, счастливо вышли замуж и добросовестно шлепали своих детей за малейшую провинность. И все же, скажу я вам, тогдашние наши побуждения коренились в первородном грехе — и я верю в него так же неукоснительно, как в святое причастие...

— А я ни в то, ни в другое не верю, — небрежно уронила *condesa*.

— Но мне уж позвольте сохранить мою веру, — мягко сказал доктор. — А невинность... Кто знает, что это такое? Я ведь помню, чувство вины всегда было нераздельно с удовольствием, и однако они никак не задевали той стороны моей жизни и тех поступков, которые основывались на законах нравственности, — эта сторона моего бытия казалась мне вполне осозаемой истиной, а отнюдь не вымыслом и не мечтой, и я верю, она была невинной.

— Где мне разобраться в такой премудрости, — сказала *condesa*. — Мы ведь беседуем для собственного удовольствия, правда? Рассуждения на религиозные темы навоят на меня тоску. Я грешила, как вы это называете, и это давало мне очень много радости, и не было у меня никакого чувства вины, — заметила она снисходительно. — Но вы, конечно, были просто очаровательны в детстве. Я и тогда бы вас обожала. Должна признаться, водились за мной делишки довольно низменные и прозаические. В четыре года я уговорила братишку выпить разведенный щелок, которым мыли кухонную раковину, — уверила его, что это молоко. Он набрал полный рот, выплюнул, закричал, бросился бежать. Все обошлось, ему сразу хорошенько промыли рот, а меня выдрали, исколотили до синяков, тем и кончилось. И конечно же, я ничего дурного не хотела, мне только любопытно было, умрет он, если выпьет щелок, или не умрет. Но взрослым этого не понять.

— О, детство, пора нежного бутона, едва раскрывшейся почки, — промолвил доктор.

Оба весело засмеялись, поудобней откинулись в шезлонгах.

— По правде сказать, это была совсем неплохая пора, — заметила *condesa*.

Она взяла доктора за руку, так что пальцы их переплелись.

— Я люблю вас, — вдруг ласково сказала она. — И даже, пожалуй, не столько вас, хоть вы и очень милый, но я люблю то, что в вас воплощено. В мужчине мне нравится строгость, серьезность, непреклонность. Терпеть не могу легкомысленных, робких, нерешительных, кто сам не ведет, чего хочет. А знаете, почему мне это противно? По-

тому что такому никогда не понять женской души и женского сердца. Вы когда-нибудь изменяли своей жене?

— Ну и вопрос! — воскликнул доктор Шуман.

— Вот-вот, я же знала, что вы и удивитесь, и даже немножко возмутитесь. Так и полагается, вы правы, как всегда. Но подумайте минутку. С моей стороны это не только дерзость и пустое любопытство. И это, конечно, но есть и еще кое-что, и вот в это вы должны поверить...

Доктор Шуман высвободил свои пальцы, сплетенные с ее пальцами, сам взял ее за руку и осторожно нащупал пульс.

— Ну и как? — спросила она. — Успокаивается?

— Прекрасный пульс, — ответил он. — У меня сейчас, пожалуй, похуже. Но я ведь вам говорил, — прибавил он и все-таки не удержался, снова упомянул о своем ненадежном сердце. — В любую минуту... — закончил он и выпустил ее руку.

— А я вам завидую, — сказала она. — Хорошо знать, как умрешь, и что это будет сразу и не изуродует тебя. Вот бы и мне знать заранее, я так боюсь долгих мучений, вдруг стану некрасивая. Не хочу сделаться безобразным трупом...

— Вы до невозможности тщеславная женщина, — сказал доктор Шуман, и это прозвучало как похвала. — Я знаю, кому от рожденья дана красота, тому она дороже всех сокровищ. Нелегко явиться на свет красавицей, а уйти уродом. Но ведь красота — дар или достоинство из тех, которым невелика цена, с нею надо родиться, ее не приобретешь и не заслужишь, и ценить ее надо бы не выше, чем она того стоит.

— А по-вашему, я сейчас красивая?

— Да, конечно. — И, помолчав немного, доктор прибавил: — Вы задали мне вопрос. Скажу вам правду — я никогда не изменял своей жене.

— Как мило с вашей стороны, — сочувственно сказала condessa. — Должно быть, иногда сохранять верность было очень скучно.

Доктор Шуман всегда считал себя человеком сдержанным, но сегодня им овладел какой-то демон откровенности.

— Да, — сказал он просто, сам себе удивляясь. — Но и жена была верна мне, и, может быть, ей тоже иногда бывало скучновато.

— А по совести, вы были такой хороший по доброй воле или во всем виновато большое сердце?

— Сердце у меня всегда было крепкое, только года два как сдало, — возразил доктор Шуман.

В голосе его сквозила досада: его признание обратили во зло, и, пожалуй, так ему и надо.

— А все-таки вы меня любите хоть капельку?

— Нет, — сказал он, — нисколько. Нисколько, если я хоть что-нибудь понимаю в любви. Конечно, это не очень-то рыцарский ответ, следовало бы ответить иначе, но не в моих правилах говорить не то, что я думаю. И разве вам хотелось бы услышать неправду? Для этого, пожалуй, не время.

Двумя пальцами *condesa* взяла его за подбородок и поцеловала в лоб — раз и другой. На лбу остались два круглых красных следа от помады. Лицо у доктора было очень довольное, но совершенно спокойное.

— Вы прелесть, — сказала она ему. — Вы молодец. Я люблю вас. — И прибавила: — Дайте-ка я вытру вашу перепачканную физиономию.

Она лизнула свой обшитый кружевом платочек и стерла с его лба красные пятна.

— Если бы сейчас кто-нибудь нас увидел, подумали бы, что мы нежнейшая супружеская пара, — сказала она.

— Нас уже видели, — сказал доктор Шуман. — Видела именно та особа, которой это доставило самое большое удовольствие.

И пока они сидели в молчании, сложив руки на коленях, слегка наклонясь, и мирно глядели на воду, мимо прошептывала фрау Риттерсдорф.

— Дивная погода, как раз подходящая, чтобы посидеть на палубе, — громко и отчетливо сообщила она им, и в голосе ее звучало задушевнейшее сочувствие и понимание. Чуть приостановилась, передернула плечами, плотнее окутала тонким шарфом обнаженные руки и прибавила: — Пожалуй, все-таки надо быть поосторожнее, вечером прохладно, особенно на море.

Она весело улыбнулась и, наклонясь, жадным, испытующим взглядом впилась в их лица. Оба встретили этот взгляд с безмятежным спокойствием. Фрау Риттерсдорф

еще секунду помедлила и неспешно двинулась дальше, на прощанье бросив через плечо:

— Все-таки вечерняя прохлада таит в себе ревматизм и артрит, а молодость наша, увы, уже миновала.

— Вот ископаемое! — тоже громко и ясно своим мелодичным голоском промолвила *condesa*, глядя в костлявую спину удаляющейся фрау Риттерсдорф.

— Ну, полно, не надо так, — мягко упрекнул доктор Шуман. — Ехидничать предоставьте ей.

Видно было, что ему и досадно, и неловко. *Condesa* коротко засмеялась звенящим недобрым смехом. Помолчала. Лицо у нее стало печальное и усталое.

— Не выношу женщин, — сказала она ровным голосом, никогда еще доктор не слышал, чтобы она говорила так буднично-просто и так искренне. — Мне противно, что я женщина. Быть женщиной постыдно. Не могу с этим примириться.

— Очень жаль, — сказал доктор Шуман. В глубине души он и сам был того же мнения. Однако, верный долгу мужчины, постарался ее успокоить. — Вы глубоко ошибаетесь. Возможно, быть женщиной — несчастье, очень многие из вас так думают, но ничего постыдного в этом нет — это участь, которую надо принять, как всякую другую. Скажу вам правду, — серьезно продолжал он, — вы уж слишком испорченное существо, и тут виновата вовсе не принадлежность к слабому полу. Есть немало мужчин с таким же нравом и с такими же привычками; будь вы мужчиной, все равно вы натворили бы всяческих бед, из вас вышел бы наркоман и совратитель.

Condesa поднялась, легкая, как облачко, раскинула руки, словно для объятий, и, сияя улыбкой, наклонилась к Шуману.

— Ну конечно! — радостно подтвердила она. — Но подумайте, тогда у меня была бы полная свобода и куда больше возможностей, и на меня не брюзжали бы старые ворчуны вроде вас!

Доктор Шуман неторопливо встал и отступил, уклоняясь от ее ладоней, уже готовых лечь ему на плечи.

— Я не брюзжу, — сказал он гневно и резко, — а вы болтаете глупости, как самая сумасбродная женщина.

— А вы — прямо как муж! — крикнула она уже ему в

спину, потому что он круто повернулся и пошел прочь. — Как последний сумасброд мужчина!

Звонкий заливистый смех брызнул ему вслед, наводя на него ужас, и доктор съежился, словно под струями холодного дождя. Condesa бегом догнала его, взяла под руку, вложила тонкие пальцы в его ладонь.

— Вы — душенька, и вы от меня так просто не избавитесь, — сказала она.

Доктор Шуман тщетно пытался высвободить руку и при этом сохранить хотя бы видимость собственного достоинства. И тогда она отпустила его руку и преградила ему путь, глаза у нее сделались дикие, какие-то обезьяньи, в них не осталось ничего человеческого.

— Стойте! — сказала она со смехом, который грозил оборваться слезами. Взяла его руки в свои, на миг легко прислонилась головой к его плечу. — Ох, неужели вы не понимаете? Я устала, я с ума схожу, я умру, если не усну... Вы должны сделать мне *riquite*¹, огромную дозу, чтобы я проспала несколько дней подряд... Нет, не уходите, не бросайте меня... вы не можете, не должны, я вас не отпущу! Помогите мне, я хочу покоя... дайте мне заснуть!

Доктор Шуман схватил ее за руки, отстранил, зорко взгляделся в ее лицо — может быть, все-таки можно отказать? Но то, что он увидел в этом лице, заставило его мгновенно решиться.

— Хорошо, — сказал он. — Хорошо.

Condesa тотчас опустила руки, повернулась, и они пошли по палубе к ее каюте. В коридоре, при неровном, неярком свете, она обратила к доктору неузнаваемое, измученное, несчастное лицо.

— Вы... вы такой добрый! Только не думайте, что я благодарная... и теперь я сдержу слово, я больше не прикоснусь к эфиру!

— К эфиру? — сурово возвысил голос доктор Шуман. — У вас есть еще эфир? Значит, вы все-таки оставили у себя еще флакон?

— Ну конечно! — нетерпеливо и немного презрительно отозвалась *condesa*, раздосадованная его тоном. — Мне ни в чем доверять нельзя, пора бы вам это понять.

¹ Укол (франц.).

Доктор Шуман остановился, круто повернулся к ней.

— Даже сейчас нельзя? — спросил он.

— Даже сейчас! — вызывающе ответила она.

Мгновенье он испытующе смотрел на нее — и лицо у него стало такое, что она опустила ресницы, отвела глаза.

— Что ж, — сухо, отчужденно сказал доктор Шуман, — вы все-таки получите *riquite*. Идите дальше одна, через несколько минут я к вам приду. Как вы прекрасно знаете, мне-то доверять можно, — закончил он с такой горечью, что и сам изумился, и повернул к своей каюте.

А *condesa* пошла своей дорогой, казалось, она уже забыла про него, словно его обещания сами собой разумеются и можно их не ценить... а ведь так оно и есть, подумал он с кривой усмешкой, по крайней мере так было до сих пор. Пока доктор отбирал и готовил ампулы для укола, мысли его прояснились, теперь он рассуждал довольно четко, почти уже холодно и трезво. Нет, долгу врача он не изменил. Но тут примешалось и его чувство к этой женщине отнюдь не как к пациентке, вот все и сложилось очень неловко для него... да и для нее, вот и возникли отношения, которые ему вовсе не к лицу, да и ей тоже, нехотя призначал он себе. Но все эти встряски и передраги... эта ее манера каждую встречу с ним превращать в сцену, которая выматывает обоих... ему это грозит новым сердечным приступом; и она нимало не считается с приличиями, того и гляди это кончится таким скандалом, что от одной мысли бросает в дрожь... нет-нет, со всем этим надо покончить. Надо пустить в ход не только свою власть врача, но, если и она не подействует, власть капитана — и немедля ввести эти дикие отношения в должные границы. С этой женщиной следует обращаться как с истеричкой, не способной отвечать за свои поступки. Дурацкие мелодрамы, которые она разыгрывает, могут его просто-напросто убить. Все это вздор, хватит! Но будем милосердны, введем ее в наркотический лимб, ведь ей-то он кажется раем.

— Какое счастье! — При виде доктора *condesa* села на постели и тревога в ее лице сменилась радостью. — Я так боялась, что вы не придете.

— Что такое? — изумился доктор Шуман. — Я ведь только сейчас обещал, что не обману вас.

— Ну да, тут-то и начинаешь сомневаться! Са-

мый торжественный обет... его всегда нарушают...

— Никакого такого обета я не давал, — возразил доктор Шуман. — Вспомните, я обещал вам кое-что, но только на сегодняшний вечер.

Он напрягся, противясь недоброму предчувствию, которое медленной дрожью прошло по нервам, пробирая до мозга костей: надо действовать быстро и решительно, не то сию минуту начнется новая сцена.

— Вот, смотрите, я выполняю свое обещание, а больше я вам ничего не обещал.

Подняв шприц, он сбоку подошел к кровати, а больная откинулась на подушки и обратила к нему взгляд, полный самого трогательного доверия. Он взял ее за руку повыше локтя, и они с нежностью улыбнулись друг другу.

Миссис Тредуэл сидела посреди своей узкой койки, точно на островке, и, подложив дорожную шахматную доску, раскладывала из крохотных карт какой-то хитроумный пасьянс. Изредка она неторопливо отпивала из стаканчика глоток вина, а когда стаканчик наполовину пустел, подливала в него бургундского из бутылки, стоявшей рядом на полу.

На миссис Тредуэл была ночная сорочка гладкого белого шелка с застегнутым доверху воротом и длинными рукавами, широкими, но с узкими манжетами. Волосы зачесаны назад и схвачены белой лентой, точно у Алисы в стране чудес — так она причесывалась на ночь лет, наверно, с пяти. Однако, если посмотреть беспристрастно со стороны, все это выглядит более чем сомнительно, думалось ей. Нет ни стола, ни подноса, не на что поставить бутылку и стакан, да и сама бутылка отчасти смущает; белье и платье Лиззи раскидано как попало — разделась и ничего не прибрала; бьет в нос застоявшийся запах ее духов — сколько их ни есть, все разят мускусом; и, пожалуй, всего мрачнее выглядит ее самой, миссис Тредуэл, занятие или, если угодно, развлечение — сразу видны истинно женский беспорядок и расстройство нервов, близость истерики, одиночество и уныние.

Еще недавно миссис Тредуэл была вполне спокойна и довольна собой: оставив позади скуку, царившую на верхней

палубе, она надеялась тихо и мирно провести вечер наедине с собственными мыслями, каковы бы они там ни были, и пораньше лечь спать. Привычки Лиззи она уже изучила: эта особа, конечно, за полночь будет прогуливаться со своим мерзким маленьким толстяком — вечно они шастают по темным углам, и хихикают там, и визжат, и дают волю рукам, даже не слишком скрываясь. Потом Лиззи ворвется в каюту, разгоряченная, неуклюжая, пойдет на все натыкаться и все ронять в тесноте, громко щелкнет выключателем и явится во всей красе — волосы топорщатся, как проволока под током, по-кошачьи хищно сужены колючие зрачки. Скинет туфли, пинком отшвырнет их в угол, сбросит легкое платье и выставит напоказ длинные тощие ноги в коротких розовых штанишках и телесного цвета чулках. Уронит щетку для волос и, поднимая ее, непременно скажет с наглой притворной учтивостью:

— Ах, извините. Надеюсь, я вас не разбудила.

Прямо как ножом по стеклу. Смешно после этого притворяться спящей.

Положительно миссис Тредуэл в жизни не видала такой непривлекательной твари. Раздетая, эта женщина урод уродом. И при этом, бог весть почему, мнит себя красавицей — сидит перед дрянным пятнистым зеркалом, что Над умывальнойником, и любитесь — заглядывает в глаза своему отражению, углы губ подергиваются улыбкой. Пудрится и красится по пять раз на дню, старательно превращает лицо в маску, будто актриса перед выходом на сцену. Льет на макушку остро пахнущий одеколон из большого квадратного флакона, будто обряд крещения совершает, смачивает под мышками так щедро, что течет по тощим ребрам, а на лице дрожит упоенная самодовольная улыбка, и ноздри ходят ходуном, точно у кролика. И говорит она только о духах, о нарядах, о своей торговле да о мужчинах. Она их называет своими друзьями. «Я знаю в Гамбурге одного человека — настоящий джентльмен, очень богатый. Он мой друг, — поясняет она скромно и запрокидывает чересчур маленькую головку на длинной жилистой шее. — Я даже чуть не вышла за него замуж, а теперь рада, что не вышла» — потому что, оказывается, сей джентльмен обанкротился.

Однако остальные ее друзья не такие неудачники — и они постоянно осыпают ее самыми дорогими знаками вни-

мания, самыми лестными комплиментами; все они рады плясать под ее дудку. Одна беда — их так много. «Надо все же выбирать, nicht wahr?»¹ Нельзя же выйти за всех сразу, вот что обидно!» Впрочем, понемногу истина просочилась наружу: друзья Лиззи уже почти все женаты, но это, конечно, мелочь и пустяки — любой из них в любую минуту с радостью оставит семью, стоит Лиззи только слово сказать. Однако, на беду, она слишком дорожит своей свободой.

— Когда я бросила мужа, он кричал, что я ушла к другому. А я ему и говорю — ха, говорю, за кого ты меня принимаешь? Их пятеро! — (Изрекая что-нибудь в этом роде, Лиззи корчится от смеха и хлопает в ладоши). — Ну конечно, сами понимаете, это немножко преувеличено, на самом деле их только трое или четверо, и намерения у них не такие уж серьезные. Но можете мне поверить, на замужестве я поставила крест. Я хочу жить весело, а замужества с меня хватит — сыта по горло!

Миссис Тредуэл собрала карты в футляр. Сложила и отодвинула шахматную доску, разгладила слегка смявшиеся простыню и легкое одеяло. Потянуло прохладой; она чуть вздрогнула и закрыла глаза. Ну почему она вовремя не вспомнила, каково это — путешествовать за тридевять земель от цивилизации, плавать на этих отвратительных пароходиках? Почему у нее не хватило ума оставаться в Париже круглый год, даже в августе — Париж и в августе восхитителен! — ведь там-то ей не грозит встреча с подобной публикой, с такими личностями сталкиваешься где угодно, только не в Париже. Лица и имена ее, с позволения сказать, спутников все перепутались у нее в голове, от одной мысли о них нападает тоска и уныние. Лиззи непрерывно про всех сплетничает, перемывает им косточки — и все это свысока, тоном превосходства, от ее мерзкого голоса просто зубы ноют.

— Нет, вы представляете, говорят, эта испанская графиня, арестантка, спит со всеми студентами по очереди. Вечно они околачиваются у нее в каюте, даже иногда сразу по двое, по трое, и, говорят, что там творится — ну, что-то невероятное! Говорят, капитан вне себя, а что он может сделать? Не сажать же ей под кровать шпиона?.. Да, и вот еще

¹ Не правда ли? (нем.)

чудеса: знаете того больного старикашку, его возят в кресле? Так вот, от него надо подальше, а то он непременно дотянется и начнет вас трогать и гладить, ни одной женщины не пропустит. Прикидывается, будто он вас так лечит от всех болезней. Старый лицемер, в его-то годы, одной ногой в могиле, а туда же! Да, а знаете того еврейчика, его еще по ошибке поселили с герром Рибером? Ну вот, он на днях спрашивает герра Рибера: скажите, мол, сколько времени? У меня, мол, часы остановились. А герр Рибер и говорит: самое время, говорит, остановить все еврейские часы. Герр Рибер такой остроумный! Он говорит, ну и рожа у того стала — одно удовольствие поглядеть!

Сияясь отогнать от себя отзвуки злорадной ведьминой болтовни, миссис Тредуэл порывисто поднялась, отряхнула свою длинную ночную рубашку, подошла к иллюминатору и выглянула наружу. Чистый прохладный воздух омыл лицо, она приоткрыла рот, сияясь вздохнуть свободнее — от всего, чего наслушалась тут, в каюте, чувствуешь себя запачканной! Небо и океан почти слились в необъятной тьме, но от корабля падали на воду полосы света, и видно было, как под самыми иллюминатором набегают, вскипают белой пеной и вновь откатываются волны. Что же мне делать, спрашивала себя миссис Тредуэл, куда податься? Жизнь, смерть... стало страшно, как в густом тумане, мысли путались: всегда она теряется, когда нужно действовать быстро, что-то решать, устраивать, пускай ненадолго. И само это смятение пугает, ведь жизнь и смерть, если вдуматься, ужасные, зловещие слова, никогда ей не постичь их смысла. С детства ее учили: жизнь дана для того, чтобы прожить ее приятно, щедро, просто. Будущее — это безмятежно-ясный простор, серебристо-голубой, точно небо над Парижем в погожий день, лишь изредка по нему играючи пробегают пушистые облачка; будущее чисто и свежо, как тонкая, хрустящая голубая бумага, которой когда-то перекладывали ее детское бельишко, чтобы оно оставалось белым, становилось белей белого, обретало голубоватую белизну, точно лед. И она думала: вырастет, избавится от нянек, кончит школу — и всегда будет жить весело и вольно, и всегда будет у нее любовь, всегда-всегда, непременно — любовь.

Да уж, сказала она себе, отворачиваясь от иллюминатора. А на деле оказалось — жизнь достаточно неприятная

штука, подчас просто гнусная. Пожалуй, я бы не слишком разобиделась, назови меня кто-нибудь благородной потаскушкой. Сколько гадостей было в моей жизни, и всегда я сама была виновата. Сама лезла в грязь и сперва ее даже не замечала. А когда замечу, бывало, каждый раз думаю: но ведь это неправда, конечно же, это не настоящая Жизнь. Это просто несчастный случай, все равно как попасть под машину, или застрять в горящем доме, или на тебя напали и ограбили, может быть, даже убили: несчастный случай, но не обычная, естественная участь таких, как я. Неужели я и вправду была замужем за бешеным ревнивцем и он бил меня так, что у меня шла кровь носом? Нет, не верю. Не знала я такого человека, такой и на свет не родился... Наверно, я прочла что-то похожее в газете... Только вот, если я чего-нибудь сильно пугаюсь, у меня и сейчас идет кровь носом. Интересно, а если меня станут убивать, я поверю? Или тоже скажу — нет-нет, это просто кажется, со мной такое не может случиться?

Да, а теперь я заперта в дрянной тесной каюте с этой пошлячкой, и скоро она явится и начнет болтать о своих «романах». Такую женщину я к себе и на порог бы не пустила, разве что она пришла бы сделать мне прическу или принесла новое платье для примерки; а тут сиди и нюхай ее мерзкие духи, и спи в тех же четырех стенах, и я чересчур много выпила и тридцать раз подряд раскладывала пасьянс — и ни один так и не вышел. Но иначе жизнь — вот эта самая жизнь, ведь это сегодняшнее жалкое свинство и есть жизнь — станет до того унылой и отвратительной, что ни минуты больше не выдержать...

Она отвернула одеяло и снова легла; расправила рубашку, встряхнула рукава, чтобы спадали красивыми складками, и налила еще стаканчик бургундского; все ее движения были спокойны и аккуратны, как у пай-девочки, воспитанной в монастыре. Может быть, всему виной ее детство, оно-то ее и погубило. Много лет назад один врач сказал ей, что для ребенка так же пагубен избыток любви, как и ее отсутствие. А что это значит, может ли ребенок сверх меры любить и можно ли сверх меры любить ребенка? Тогда она подумала, что этот доктор просто глуп. Конечно, в детстве ее ужасно избаловали, это пошло совсем не на пользу, но чудесная была пора. Память о детстве жила у нее в крови, яркая, трепетная. Только после она поняла, как просторен и

красив был старый дом в Мэри-Хилл, а тогда он был для нее просто — родной дом. Она и сейчас всем существом помнила те годы, полные нежности, тепла и защищенности, безмятежный ход времени, роскошь, о которой она тогда и не знала, что это роскошь, вокруг все так жили. И всегда она слышала ласковые голоса, всегда ее касались ласковые руки... «Верно вам говорю, уж больно безответное у нас дитяtko», — чудился ей голос няни, и мамин ответ: «Совсем она не безответная, просто у девочки очень спокойный, хороший характер».

Позже очень многие женщины завидовали — она еще девочкой каждый год ездила во Францию и в Италию, училась во французском, а потом в швейцарском пансионе. Сама она вовсе не думала, что это так уж великолепно — чаще вспоминалось, как в пансионатах было неуютно, учительницы скучные и чопорные, вода в умывальнике холодная, еда безвкусная, и каждый шаг расписан, и без конца водят в церковь, и эти ужасные письменные работы на экзаменах; и до странности приятно было вместе с подружкой — соседкой по спальне — плакать или радоваться, когда приходили письма и маленькие подарки из дому. Каждая из них так же искренне плакала или радовалась домашним вестям и подаркам подруги, как и своим. Как же звали ту девочку, ее подругу и соседку? Имя забылось. Да разве это важно. Разве теперь уверишь себя, будто жалеешь об узах, которые давным-давно исчезли, истаяли, как дымок сигареты. Миссис Тредуэл зажгла свет, закурила сигарету, — надо бы отделаться от этой никчемной грусти, которая совсем нестати спутала ее мысли.

В тот год, когда она стала выезжать в свет, несчетные вечера, званые обеды, танцы, цветы слились в сплошной радостный, сияющий водоворот; неужели и правда было так весело, как ей теперь вспоминается? Даже и не снилось, что будет война... что настанут какие-то перемены. Воспоминания о той жизни, о няне, которая к тому времени стала ее горничной и всегда оставалась самой близкой ее подругой и поверенной, о старой няне, которая знала про нее куда больше, чем отец с матерью или кто-либо из родных, — воспоминания эти стали теплой ласковой дымкой, розовым облачком витали в мыслях, она давно уже привыкла убаюкивать себя ими; помнилось, как ждала она счастья, — ей

внушили, что счастье принесет первая любовь.

Время, отъявленный лжец и обманщик, все перемешало и перепутало, но и время не коснулось того, что лежит по другую сторону первой любви, которая расколола всю ее жизнь надвое, — и хоть она с тех пор многому научилась, все, что было до той первой любви, и сейчас кажется ей истинным, неприкосновенным и неизменным. Сохрани все это, сохрани, твердит ей сердце, истинно ли это, нет ли, но это — твое. Пускай отец и мать не узнали бы ее теперь, если б увидели, — что из этого? Любимые и любящие, они безмятежно покоятся в ней самой — не запечатленные в памяти лица, не застывший миг какого-то движения или поступка, нет, они — в ровном беге ее крови по жилам, в стуке ее сердца, в каждом вздохе. Это все подлинное, это было с нею, и этого у нее не отнимешь. Пока ей не минуло двадцать, в жизнь (жизнь! Что за слово!) вполне можно было верить — и чем больше в ней мерещилось чудес, тем легче верилось; о да, жизнь прочно стояла на якоре, и однако всегда ощущалось медлительное движение, точно у корабля в гавани. А двадцати лет она влюбилась в совсем неподходящего человека, родители так и не узнали, до чего он ей не подходил, ведь они его ни разу не видали, а она с тех пор не возвращалась домой, — и начался долгий, беспросветный ужас. Десять лет чего-то вроде замужества и десять лет в разводе, жалкое, сомнительное существование одиночки, бродяги, перекасти-поля, сидишь в кафе, в гостиницах, в поездах и на пароходах, в театрах и в чужих домах рядом с такими же бродягами, так прошло полжизни, половина всей ее жизни, и все это неправда, все ненастоящее, словно на самом деле и не было. Только одно доподлинно случилось за эти годы: отец и мать вместе погибли в автомобильной катастрофе, и она не поехала на похороны. А больше она ничего не признает, все остальное — неправда.

Все — неправда. Будь тут хоть на волос правды, я бы не вынесла, сказала она и опять порывисто села на постели. Просто не могла бы вынести. Ничего я не помню. Ох, родные мои, сказала она отцу и матери, словно они были тут же, в каюте, если б вы знали, вы бы этого не допустили. Ну почему я тогда не вернулась домой? Почему ничего вам не сказала?

Она потянулась к бутылке, подняла ее, посмотрела на

свет. Осталась еще почти половина. Если выпить сразу, этого хватит. С улыбкой она решительно наполнила стакан. В конце концов, до Парижа уже недолго. В Париже кто-нибудь да найдется — в сознании всплыло с десятков имен и лиц, — с кем можно будет посидеть в кафе «Флор» или пойти сыграть в рулетку в «Изысканном игорном аду супруга королевы косметики». У нас еще остались кое-какие деньги, которые можно просадить в рулетку, пока не наступит час поесть в Les Halles¹ лукового супа. А за полночь прокатимся по парижским улицам, и меж призрачных в полутьме домов станет эхом отдаваться цоканье копыт, и маленький старомодный, точно игрушечный поезд покатит через город, повезет на рынок свежие овощи. И опять, опять мы придем в цветочный ряд и отыщем эти противные цветы, как же они называются? Такой цветок — словно пронзенный копьем кровотокающий язык... и покатим домой, когда только еще светает, небо окрашивается в переливчатые опаловые тона, облака и стены домов — серые и розовые и рабочие только еще забегают в кафе выпить кофе с коньяком.

И мы тоже заглянем в кафе, и поцелуемся — мы ведь так славно провели время вдвоем (любопытно, с кем, кто будет первый?), мы ведь хорошие друзья. И мы словно впервые в жизни увидим, как восходит солнце, и поклянемся каждое утро вставать спозаранку или вовсе не ложиться с вечера, чтобы любоваться восходом солнца, ведь нет на свете ничего прекраснее. Все это — самые простые человеческие радости, самые мои любимые, с ними всегда хорошо, они даются так легко, сами собой, если прочно осядешь в Париже. По-настоящему я уже не жительница Парижа, по-настоящему я ничуть не лучше пьяных туристов-американцев, глазающих на Дом инвалидов, — над такими я когда-то насмеялась вместе с моими друзьями-французами.

А я хочу опять жить в Париже. Хочу жить в темной улочке со странным названием «Тупик двух ангелов», и заказать в Клюни точно такие же, как прежде, остроносые туфельки синего бархата с камушками на пряжках, брать духи у Молинар и ходить на весенние показы моделей Скиа-

¹ Центральный рынок в Париже.

парелли, где уродливые манекенши ходят так резко, угловато, порывисто, словно их приводят в движение, нажимая кнопки, и, поворачиваясь, каждый раз одергивают сзади пояс и меряют друг друга театрально-вызывающими взглядами заправских лесбиянок. Хочу поставить полуметровую свечу Парижской богородицы в благодарность за то, что вернула меня в Париж, и пойти в замок герцога Шантильи посмотреть, перевернули ли еще одну страницу в его Книге Часов. И хорошо бы еще разок потанцевать в крохотной *guinguette*¹ на улице Данфер-Рошере с тем красивым молодым маркизом — как же его зовут? — потомком брата Жанны д'Арк. Хочу опять пойти в «Багатель» и помочь распуститься мускусным розам — если весна холодная, они слипаются, не могут сами раскрыться до конца, бедняжки; но отогнешь один только наружный лепесток — и роза тут же раскроется прямо у тебя на глазах! И я хочу снова помочь розе раскрыться. Хочу опять пройти в Рамбуйе лесом, который и вправду точно такой, как на полотнах Ватто и Фрагонара. И увидеть в Сен-Дени изваянные из белого мрамора стройные ноги королей и королев — строгие статуи покоятся на усыпальницах, босые ступни сдвинуты, точеные пальцы обращены вверх.

Никогда и нигде не видела я таких радуг, как над Парижем, и такого дождя... Хотела бы я знать, наделяет ли по-прежнему приданым бедных, но благородных девиц благотворительное католическое общество Монпарнасского прихода? Хотела бы знать, что случилось с теми девочками, которые лазили по лестнице на яблони в старом монастырском саду под моим окном, на самую макушку... что-то с ними случилось, может быть, питаюсь одной постной пищей — овощами, яблоками да молитвами, они выросли тихими, рассудительными и печальными?.. А в мае я опять поеду в Сен-Клу поглядеть на первые ландыши... Боже, как я истосковалась. Никогда больше не уеду из Парижа, клянусь, только дай мне, господи, сейчас туда вернуться. Если даже он когда-нибудь опустеет, ни души не останется и тротуары зарастут травой, все равно для меня он будет все тем же Парижем, только там я хочу жить. Вот бы хоть на денек оказаться в Париже одной, чтобы он весь принадлежал мне... Из-

¹ Кабачок в предместье (франц.).

под сомкнутых век медленно выкатились странно отрадные слезы, и грезы наяву перешли в мирный сон.

— Не понимаю, почему тут такая духота, — заявила Лиззи, уронила щетку для волос и снова ее подняла. — Извините. Я вас разбудила? А на палубе просто божественно, такой свежий воздух.

Миссис Тредуэл открыла глаза, тотчас, болезненно морщась, закрыла их и отвернулась к стенке.

— Так уж устроены корабли, — сонно пробормотала она. — Крохотные каморки, а в них крохотные окошки и всякие запахи... Иногда и дома тоже так строят, — продолжала она, чувствуя, что рассуждает на редкость бесстрастно и здраво. — Очень мало есть домов, где можно жить, так уж все на свете устроено, вы разве не знали? Кто вы такая?

— Вы заснули, а лампу не погасили, — сказала Лиззи, окинув быстрым взглядом стакан и бутылку на полу. И, немного понизив голос, прибавила доверительно: — Мы с герром Рибером выпили чудного шаумвейна. А вы проснулись? Вы как-то так говорите, вроде как во сне. Я каждый день узнаю про него что-нибудь новенькое. Подумайте, он, оказывается, издает журнал. А я и понятия не имела!

— Восхитительно! — из недр подушки пробормотала миссис Тредуэл.

— Да, в Берлине. Это такой новый еженедельник, посвященный дамским модам, но там пишут и о литературе, и на всякие умственные темы. Есть отдел под названием «Новый мир Завтрашнего дня», и герр Рибер привлекает самых лучших писателей, чтобы высказывались по одному вопросу с самых разных точек зрения. А мысль у него такая: если мы найдем способ выставить из Германии всех евреев, наше национальное величие упрочится и завтра наш мир станет свободным. Великолепно, правда?

Миссис Тредуэл упорно молчала. Пожалуй, хуже всего в этом неприятном соседстве — на редкость пошлые рассуждения Лиззи о евреях. О чем бы ни заговорила, все сводит к евреям, прямо как одержимая, слушать противно — перебивает от омерзения.

А Лиззи перед зеркалом расчесывала волосы так усердно, будто хотела повыдергать их напроць, и с дурацкой улыбкой гнула свое:

— Он очень умный, герр Рибер, хоть и ужасный шут-

ник. Он участвует в движении за возрождение немецкого издательского дела, особенно по части специальных изданий и торговли — тут евреи ужасно напортили. Герр Рибер говорит, они отравляют немецкую мысль. И я совершенно согласна, я на своем деле это вижу, на торговле дамским платьем, всюду еврейское засилье, они устанавливают цены, сбивают цены, встревают в моды, торгуются, мошенничают, они хотят всюду и везде командовать. Вы даже не представляете, каково вести с ними дела. Они на всякую подлость способны.

— А разве в делах когда-нибудь обходится без подлости? — спросила миссис Тредуэл, зевнула и повернулась на другой бок. — Разве в делах не все мошенничают?

— Ну, миссис Тредуэл, так одни заплесневелые социалисты рассуждают — мол, вся деловая жизнь построена на продажности и взятках. Да ничего подобного! По крайней мере в Германии жульничают одни евреи. Они подрывают немецкую торговлю и финансы. Герр Рибер как раз нынче вечером за ужином про это говорил.

— Должно быть, ужасно приятно побеседовать с умным человеком, — любезно сказала миссис Тредуэл по-немецки.

Лиззи недоуменно, с пробудившимся подозрением вскинула на нее глаза. Но ресницы миссис Тредуэл были сомкнуты и выражение лица самое невинное.

— Да, конечно, — после короткого натянутого молчания отозвалась Лиззи. И, помедлив, прибавила: — У вас такой американский акцент, я сперва и не поняла, что вы такое сказали. Правильнее всего по-немецки говорят в моем родном Ганновере; вы, наверно, в Ганновере не бывали?

— Только в Берлине, — терпеливо сказала миссис Тредуэл.

— Ну, в Берлине хорошему немецкому языку не научишься. — Лиззи густо намазала руки кремом и натянула пару больших, промасленных матерчатых перчаток. — Выто, пожалуй, не разбираете разницы, но, к примеру, фрау Риттерсдорф уж так задирает нос, так жеманничает, а произношение у нее самое паршивое, мюнхенское; капитан говорит прескверно, на берлинский манер; казначей — на средненемецком наречии, хуже некуда, вот только матросы из-под Кёнигсберга, те и вовсе долдонят, как прибалтийские мужланы.

У миссис Тредуэл мутилось в голове, тьму под сомкнутыми веками пронизывали огненные искры. Ей хотелось услышать только одно, о господи, только бы дожить и снова услышать речь парижских улиц, и всех парижских переулков, и площадей, и парков, и террас, в любом уголке, от Монматра до бульвара Сент-Оноре, и предместья Сен-Жермен, и Менильмонтана; речь студентов на Мон-Сен-Женевьев и детей в Люксембургском саду — речь Парижа, в которой сливаются все говоры, будь то Верхняя Савойя или Юг, Руан или Марсель. Хорошо бы потерять сознание и не приходить в себя, пока не очутишься в Париже, хорошо бы проспять до конца плавания или все время напиваться мертвецки пьяной. Неужели этот гнусный голос будет скрежетать над ухом всю ночь напролет?

— Даже герр Рибер, — проскрежетал голос уже над нею, на верхней койке, — даже он родом из Мангейма, и произношение у него немножко провинциальное, но только самую малость.

Скрежет зазвучал ближе; миссис Тредуэл открыла глаза — в полутьме над краем верхней койки смутно белело лицо, маячила неестественно маленькая змеинная голова, роня слова с изысканным жеманством, в ганноверском стиле:

— А этот воображала Вильгельм Фрейтаг... болтает по-английски, чванится своим оксфордским выговором, а вот по-немецки — не знаю, трудно объяснить, но обороты у него попадают какие-то не такие, не чисто немецкие. И слова тоже — по смыслу все правильно, понять можно, а произношение просто ужасное... Герр Рибер подозревает, что это еврейский жаргон, можете себе представить? И ведь правда, он совсем не ест свинину, ни в каком виде, и устриц тоже... Мы уже замечали, как заговорим про евреев, у него становится такое особенное лицо. Хорошему немцу такое выражение не подходит. Ну, короче говоря, мы с герром Рибером думаем, и не мы одни, что этот Фрейтаг — еврей. А сидит за капитанским столом!!! Вы только представьте! Что может быть позорнее?

— Очень многое, — сказала миссис Тредуэл. — Легко могу себе представить.

Мысли ее внезапно вырвались из сетей хмеля и сна и скуки, сейчас она решительно разделается хоть с малой долей мусора, которым забит убогий умишко этой особы, бестол-

ковый и беспокойный, точно мартышка в клетке.

— Вы глубоко ошибаетесь. Фрейтаг не еврей, у него жена еврейка. Он мне сам сказал. Он ее обожает. Так что, сами видите, вам не грозит опасность оскверниться, — любезно докончила она, очень довольная собой.

— И он сам вам это сказал? — хриплым шепотом переспросила потрясенная Лиззи, — Вы с ним на такой короткой ноге? Ну-ну! Разрешите вам задать один маленький вопрос. Вы любите евреев?

— Не то чтобы особенно любила, — ответила миссис Тредуэл, не сводя завороченного взгляда с иллюминатора: он плыл в полутьме, точно синий шар, полный темного колдовского неба. — А почему я должна их любить? В них есть какая-то особая прелесть?

— Должны? Ох, дорогая фрау Тредуэл, вы иногда такие забавные вещи говорите, прямо как дитя малое! — воскликнула Лиззи и в подтверждение своих слов дважды притворно хихикнула. — Вы, американцы, ездите по всему свету и совсем ничего не понимаете. Должны! Да что вы, собственно, имеете в виду?

Навострив уши, она ждала ответа, и наконец с нижней койки донесся усталый сонный вздох. И до утра уже ничто в каюте не нарушало тишины.

После ужина капитан Тиле, все еще чувствуя некоторое неблагоприятие во внутренностях и неизлитую досаду на весь свет, в величественном одиночестве совершал обход верхней палубы. Перед первым блюдом он прочитал короткую молитву и с ожесточенным терпением ждал, пока остальные насытятся; он надеялся, что ему удастся скрыть отвращение: противно было смотреть на этих обжор. Спать он ляжет пораньше, но сперва необходим глоток свежего воздуха.

И вдруг до него донеслись неожиданные, а потому неприятные звуки — на нижней палубе пели и плясали, вернее, в лад притопывали ногами, — капитан прошел на корму и заглянул вниз. Там пассажиры, которые еще сегодня утром казались полумертвыми, проявляли теперь совершенно излишнюю живость. Из своих жалких узлов и тюков они извлекли не одежду и не хозяйственную утварь —

куда там, с нарастающим презрением думал капитан, — они подоставали обшарпанные гитары и потрепанные гармоники, и множество потертых кожаных футляров с игральными костями, и колоды замусоленных карт. Женщины и дети сидели плечо к плечу, образуя широкий круг, тихий и молчаливый, они казались темными бесформенными кучками мусора; перед ними, кольцом чуть поуже, сидели старики; а посредине — арена, и на ней одно за другим разыгрываются всевозможные состязания.

Стройные, гибкие, худошавые от недоедания юнцы боролись друг с другом (капитан нехотя признал про себя, что борцы они искусные); двигались они легко, точно танцуя, а зрители подбадривали и подзадоривали их с таким пылом, словно тут шла драка не на жизнь, а на смерть, со всех сторон кричали: пускай убьют друг друга, да поскорей!

Люди постарше танцевали странные чужеземные танцы — то хороводом, то выстроившись в два ряда друг против друга; эти были не так гибки и легки на ногу, но гордо вскидывали головы и расправляли плечи и выступали все в лад, неумоимо, размеренно, как бьет барабан; лица у них были строгие, торжественные. А иные, сидя на корточках, предавались неспешным, но ожесточенным азартным играм, и каждый бросал засаленную карту с таким видом, точно на карту эту поставил голову, бросал кости так, словно от того, что выпадет, зависит его жизнь; и каждый рисковал всем своим достоянием, от потрепанного шейного платка до коробки спичек.

Малолеткам, которые уже научились помалкивать, позволили сидеть впереди женщин, но на почтительном расстоянии от старших мужчин: пускай смотрят и запоминают, как положено себя вести настоящему мужчине. Резкие голоса тянули на одной ноте скорбные песни, напоминающие надгробное рыдание, а сладкозвучные гитары вторили им легкомысленно, с надрывающей душу насмешливостью; и порой пристукивали, притопывали, щелкали и цокали каблук, словно тараторили кумушки в базарный день.

Любимым композитором капитана был Шуман, а из всех танцев он снисходил лишь к настоящим венским вальсам — и происходящее принял как наглое оскорбление своим ушам и нервам; ибо, конечно же, в этих варварских ритмах, что будоражат кровь, как ни старайся сохранить самооблада-

ние, есть нечто странное и чуждое; да, он сразу признал истинный смысл всего этого: вот оно, извечное стихийное сопротивление, которое силы тьмы и хаоса оказывают истинному духу цивилизации — великой жизненной силе Германии, силе, в которой (тут к капитану стала возвращаться бодрость)... в которой Наука и Философия идут рука об руку, руководимые Христианской верой. Он смотрел на нижнюю палубу и, как оно и следовало, глубоко презирал этот жалкий, паршивый скот; и однако, если оценить все зрелище в целом по справедливости, нельзя не согласиться: есть тут своего рода стройность и порядок; даже его строгий глаз не обнаруживает ничего вредоносного, вот только вредно вообще разрешать этому сброду какие бы то ни было вольности; но ведь в людях при любых обстоятельствах всегда и неизменно, по самой их природе скрыто вредоносное начало. Быть может, быдло на нижней палубе развеселилось под влиянием выпивки. Им дана возможность понемногу покупать пиво, хотя откуда у них возьмется деньги, уму непостижимо. Капитану говорили, что среди них нет ни одного человека, у которого бы нашлось больше десяти кубинских песо. Правда, после той драки во время обедни пошли слухи, что толстяк, ее затеявший, не только профсоюзный агитатор и безбожник, но и контрабандой торгует крепкими напитками; говорили, будто в Гаване он протасил на борт изрядное количество мерзкого пойла — смеси сока сахарного тростника со спиртом, ромом это не назовешь, — и тайком по дешевке продает его, пытаясь таким способом привлечь учеников и последователей. Поиски контрабандного пойла остались безуспешными; может быть, это лишь пустой слух. Но все равно, эти животные (ведь они по своему развитию немногим выше четвероногих, а может быть, и ниже) чересчур оживились — не к добру это. Плаванье только началось, до Санта-Круса-де-Тенерифе еще далеко; и вообще капитану всегда неприятно, досадно и тревожно видеть веселящееся простонародье, а уж на своем корабле — и подавно. Все дурные предчувствия, что посещали его в этот день, обрушились на него с утроенной силой — нет, сейчас совсем нехватают розовые очки. Он мельком глянул на часы и решил на самый разумный шаг. С капитанского мостика был отдан приказ, он передавался сверху вниз, и наконец тот, кому следовало, по-

газил на нижней палубе все огни, кроме двух необходимых — носового и кормового, — двумя часами раньше, чем положено.

Эта мера, однако, подействовала не сразу: пассажиры нижней палубы не привыкли проводить вечера при электрическом освещении. Нередко они играли в карты при луне, и не впервой им было танцевать при свете звезд. Те, что послабее здоровьем и еще не оправились после морской болезни, наконец сдались и уснули лежа ничком на палубе, в створке. Матери грудных младенцев со вздохом облегчения опустили на парусиновые шезлонги и перехватили малышей поудобнее. Все меньше и меньше слышалось криков, их сменяло негромкое пение, и наконец остались лишь жалобные звуки гитар, будто переключались в дальнем лесу полусонные птицы.

Но вот умолкли и они; несколько человек окружили тощего, нескладного верзилу; потрепанная одежда болталась на нем как на пугале, *boina*¹ лихо заломлен набекрень, изпод него торчит ухо. Лицо у верзилы узкое, длинное, в глубоких морщинах, и тяжелая нижняя челюсть; широко раскрывая беззубый рот, он запел куплеты собственного сочинения обо всем, что ему подсказывали слушатели. Круг раздвинули шире, в такт захлопали в ладоши, и он пел глубоким сильным басом, порой сбиваясь с мотива, наклонив голову и неотрывно глядя в пол. Кто-нибудь выкрикнет слово, подбросит тему; с минуту долговязый бормочет себе под нос, потом протяжно вскрикнет, пропоет куплет и в заключение спляшет — медленно, неловко топчется на месте, шаг вперед, шаг назад, пристукивая каблуками в лад дружным хлопкам слушателей. А те в восторге, кричат, подсказывают новые веселые двусмыслицы — и он на лету их подхватывает и перелагает в стишки.

Представлению этому не предвиделось конца; молодой помощник капитана, который по долгу службы следил сверху за происходящим на нижней палубе, точно за медвежьей ямой в зоопарке, решил, покуда нет другого приказа, можно не вмешиваться. Моряцкая выучка и вся его служба основаны на нерушимом правиле: послушаться командира все равно что послушаться господ бога и чревато куда большими неприятностями, — и однако в самых даль-

¹ Берет (*исп.*).

них, тайных, наглухо замкнутых глубинах его существа скрывались зыбучие пески сомнений, и сейчас там шевельнулась ужасная, еретическая мыслишка: уж не чересчур ли капитан тревожится по пустякам? И он усмехнулся про себя, вообразив, как капитана бросает в пот при одной мысли о безобидных чертяках с нижней палубы.

Тут он заметил каких-то полуночников из первого класса и поспешил ускользнуть неслышно, как призрак. Хватит с него пассажиров, за день он сыт по горло. Но эти (чего он знать не мог) на него никак не покушались: по палубе ходили Дженни Браун и Гуттены со своим Деткой; Дженни пыталась побороть тоску и тревогу, а Гуттены с Деткой — морскую болезнь и бессонницу; и каждый надеялся отдохнуть от самого себя и от всех остальных, найти успокоение в свежем морском ветерке и в убаюкивающей темноте. А молодой моряк сбежал не столько от непрошеного вторжения в его одиночество, хоть и редко выпадают за долгий хлопотливый день спокойные минуты, когда остаешься наедине с собой, непременно к тебе с чем-нибудь да пристанут. Просто он на горьком опыте узнал, что пассажиры на корабле — нудная и обидная помеха, и научился при первой возможности удирать от них подальше. Сухопутные крысы мужского рода ему без надобности, он нашел себе вполне приличных подходящих друзей среди моряков того же ранга и происхождения; а что до одиноких пассажиров — они пугали его, какими бы милыми поначалу ни казались: не успеешь оглянуться — так и вцепятся в тебя, точно краб клешнями. Понятно, нельзя быть чересчур разборчивым, тогда, пожалуй, потеряешь кусок хлеба насущного. Пассажиры все одинаковы, ничего другого от них не жди, безнадежно; а если они не пожелают плавать на этой паршивой посудине (он стыдился почтеннейшей «Веры» и давно уже замыслил перебраться на судно получше), придет конец и его профессии, которую он издавна приучен считать одной из самых благородных. И все же надо смотреть правде в глаза: ему ненавистны пассажиры всех мастей, просто видеть их тошно, себя не обманешь.

А между тем есть тут одна американка лет под сорок, такая миссис Тредуэл — и собой недурна, и, кажется, и впрямь славная женщина. Понемногу он стал относиться к ней по-

чти дружелюбно и сам понимал почему: она ни разу не поглядела в его сторону, даже не заметила, что он существует на свете. Такие пассажирки лучше всего, не то что испанка, от которой так и разит духами и которая вечно старается поймать его где-нибудь в укромном уголке. А у него есть невеста, и он этому очень рад, они знакомы с детства, и, надо надеяться, он знает, чего от нее ждать, она не преподнесет ему никаких неожиданностей; когда попадаешь на сушу, нужно, чтоб был у тебя надежный, спокойный кров... Молодой моряк не знал, даже вообразить не мог и очень неприятно был бы поражен, если б узнал, что Дженни и Гуттен тоже не подозревают о его существовании. Ему казалось, он один имеет право на равнодушие и сдержанность, у других такого права нет.

Неожиданно встретив на палубе Дженни, фрау Гуттен решила быть с ней приветливее обычного; что бы молодая американка ни говорила, что бы ни делала, даже если просто сидела молча, уронив руки на колени, она всегда казалась странной и чуждой, бог весть чего от такой можно ждать, — но и это не могло заглушить во фрау Гуттен природного добродушия. Тем более в начале вечера муж заверил ее, что этому плаванью рано или поздно все-таки настанет конец. А Дженни очень сочувствовала Гуттенам, оттого что все семейство измучила морская болезнь.

— Наше недомогание — еще ничего, а вот Детка, бедный, настрадался, — сказала фрау Гуттен. — То ему лучше, то опять хуже, — говорила она с недоумением, словно о каком-то чуде природы.

Дженни удивления не выразила, просто наклонилась и потрепала бульдога между ушей. А выпрямляясь, взглянула по сторонам и увидела сперва Дэвида (он словно бы прятался в одном конце палубы), потом Глокена — этот шел с другой стороны, тоже увидал их и заторопился, явно желая присоединиться к их компании. Дженни постаралась перед самой собой притвориться, будто не заметила ни того, ни другого, а вернее — что это ее вовсе не касается.

У Глокена сильней обычного разыгрались боли, он наглотался наркотиков, голова стала тяжелая, мутная, но заснуть не удалось, и теперь он обрадованно шел к людям, будто ждал от них помощи и облегчения. Все приветливо с ним поздоровались, и он сказал, что такую прекрасную лун-

ную ночь, когда так хорошо дышится и так красив океан, проспять просто грешно...

— Да еще в таких душных конурках! — подхватила Дженни.

Глокен с любопытством на нее посмотрел: ее любовник, этот странный молодой человек по имени Дэвид Скотт, относится к ней скорее не как к любовнице, а как к жене или сестре, ни разу ни словом не упомянул о ней соседям по каюте. Глокен раскинул руки, оперев подбородком о перила борта, а Дженни повторила: да, лунную ночь грешно проспять где бы то ни было, тем более на корабле, да еще в Атлантическом океане... Вот она раньше плавала только к цветущим островам Карибского моря да в Мексику; а ведь Атлантический океан выглядит куда внушительнее, Глокен с этим, наверно, согласен? Кажется, и сам корабль чувствует, что здесь ему просторней, иногда он резвится прямо как дельфин, и так далее, и так далее; Дженни болтала что придется, без умолку, словно наедине с собой, и все поглядывала налево. Глокен сразу понял, что она разговаривает не с ним, не даст ему слова сказать и сама ничего такого не скажет, на что он мог бы, хоть и не сразу, ответить; он выждал, чтобы ей наконец понадобилось перевести дух, и сказал по-английски:

— А, да, вы правы, мисс Браун.

Тут только Дженни посмотрела на него и поняла, что сделала: горбун поклонился ей, негромко щелкнув каблукками, и сразу же заковылял прочь.

— Ох, боюсь, я его обидела, — прошептала она, обращаясь к фрау Гуттен (та, видимо смущенная, держалась немного в стороне).

— Не надо слишком расстраиваться, дорогая фрейлейн, — успокоительно заговорил профессор Гуттен, по-доброму глядя на Дженни поверх склоненной головы жены. — Люди с неизлечимыми физическими недостатками, особенно врожденными, всегда чрезмерно чувствительны к отношению окружающих, тем более в обществе, и вдвойне — если тут замешана особа другого пола... рано или поздно, сами того не желая, вы непременно их чем-нибудь обидите, этого не избежать...

— Я только не хотела, чтоб он был рядом... я почему-то его боюсь! — чуть не со слезами сказала Дженни.

— Я думаю, он к этому уже привык, — мягко сказала фрау Гуттен. — Что ж, попробуем все-таки поспать хоть немного. Спокойной ночи!

Она натянула поводок Детки, взяла мужа под руку, и они медленно пошли прочь.

— Спокойной ночи, — сказала вслед им Дженни.

Впервые она заметила, что фрау Гуттен слегка прихрамывает, и даже немного испугалась — врожденное это? Или от несчастного случая? И Дженни вдруг подумала, что в ней происходит какая-то недобрая перемена: никогда прежде она не чувствовала отвращения к калекам, к больным. Что же это с ней делается? И уж не подумал ли Дэвид, что она флиртует не только с Фрейтагом, но и с Глокеном, и вообще с каждой парой брюк, сколько их есть на корабле? Она медленно пошла в ту сторону, где прежде заметила Дэвида — если увидит его, сразу обнимет и поцелует и скажет: «Спокойной ночи, милый», просто нет сил совладать с этими ужасными порывами нежности к нему... И однако она решительно пошла с палубы в глубь корабля, по длинному коридору, к своей каюте; хоть бы Эльза уже спала...

Мельком увидав Дженни в новом окружении, Дэвид, подавленный, вернулся в каюту, лег не раздеваясь на койку, погасил лампочку в изголовье, закинул руки, скрестил, тыльной стороной кистей прикрыл глаза. Вот так она водит дружбу со всеми без разбору, думал он. Готова бежать за каждым встречным и поперечным... пройдет по улице оркестр — и она непременно увяжется, зашагает в ногу... способна откровенничать с совершенно чужим человеком — да и есть ли для нее на свете чужие? Все ей любопытно, пустую трепотню последнего дурака слушает с таким же интересом, как умнейший, глубокий разговор... еще с большим интересом, черт подери! Нипочем не пройдет мимо нищего — непременно подаст милостыню; в доме у нее всегда полно приبلудных кошек и собак, а потом она уезжает — и раздает их людям, которым это зверье совершенно ни к чему. Сидит и жадно слушает, что лопочет тупоумная дылда Эльза, будто та невесть какие чудеса рассказывает. Пойдет в пикет с забастовщиками и даже не спросит, где они работают и из-за чего бастуют. «Кажется, это табачная фабри-

ка, — сказала она однажды вечером, когда он застал ее в постели совсем измученную, со стаканом горячего молока в руках. — Я сегодня потеряла пять фунтов», — похвасталась она тогда. «А чего ради?» — спросил он. «Просто ради забавы», — ответила она, не потрудилась ничего ему объяснить.

А ведь когда-то они были так близки, он не мыслил себя отдельно от Дженни, его переполняли любовь и нежность, Дженни могла из него веревки вить, и он понимал и принимал все, что она ему толковала, даже сущую нелепость, — по крайней мере так теперь кажется; но почему она не хочет войти в его жизнь, сделаться частью его самого, чтобы он наконец почувствовал себя цельным, не ущербным человеком? Почему она всегда была такой шалой, сумасбродной? Это из-за нее их совместная жизнь просто невозможна! Впервые пришла ему горькая мысль: Дженни легко и просто ладит с кем угодно, со всеми и каждым — только не с ним. А если Глокен завел с ней дружбу и сует нос в его, Дэвида, личные дела... от этого просто кровь стынет в жилах! Как странно, он и не подозревал, что Глокен так ему неприятен. Бог весть, что Дженни ему наговорит, в каком свете перед ним предстанет; и потом этот Глокен со своим кривым, извращенным умишком станет думать о ней черт-те что, как о последней...

Вспыхнул свет, на пороге, ухмыляясь, точно самодовольный гном, стоял Глокен.

— Еще не спите? — спросил он и прибавил, как показалось Дэвиду, с отвратительной фамильярностью: — А мне не терпелось сказать вам, до чего прелестная девушка ваша fiancée ¹... Мы сейчас немножко побеседовали на палубе. Она очаровательна.

Дэвид обладал особым даром замыкаться в молчании: человек давно уже потерял надежду на ответ, а молчание все длится, яснее всяких слов выражая несогласие и неодобрение. И самый воздух в каюте леденел от этого молчания все время, пока Дэвид поднялся, неторопливо разделся (правда, зубы на ночь не почистил, нелепо заниматься такой ерундой на глазах у ненавистного соседа), снова погасил свет, лег и отвернулся к стене, чувствуя, что каждый нерв натянулся и каждая клеточка его существа дрожит от возму-

¹ Невеста (франц.).

щения. Не скоро он сдался и уснул, и даже во сне судорожно вздрагивал; но еще дольше не спал Глокен — уязвленный, растерянный, недоумевающий. Он-то думал, если завязать хотя бы поверхностное знакомство с Дженни (пусть даже она была с ним груба, высокомерна, да об этом никому и незачем знать), тем самым установятся приятные дружеские отношения и с ее любовником. Он был очень доволен собой: так удачно, с таким светским изяществом заменил французским «fiансée» далеко не столь приятное на слух, зато более точное немецкое слово, что было у него на уме; и однако все пошло наперекос, не нашел он общего языка с этими молодыми людьми, впредь надо быть осторожнее. Он почти не знает американцев, встречался кое с кем только в Мексике, никогда их толком не понимал, да и не особенно старался. Но эти двое и на тех не похожи, говорят по-испански и, судя по всему, настоящая богема. Все же молодая женщина очень привлекательна, хотя и плохо воспитана, и трудно понять, что она нашла в этом капризном молодом чудеке с таким скверным характером... Наконец Глокен уснул. Наутро он чувствовал себя очень худо и, окликнув Дэнни, его, а не Дэвида, попросил подать лекарство.

Матросы уже снова вышли мыть палубу, «Вера», мягко покачиваясь на волнах, неуклонно держала курс к Канарским островам, и лишь две или три головы подсматривали из ее иллюминаторов за свиданьем извечных любовников — луны и океана. Пепе, снова уступивший свое место в каюте Арне Хансену, начал уже поглядывать на часы: деньги деньгами, но, пожалуй, Ампаро тратит на этого парня слишком много времени. Так нередко бывало и прежде, с другими мужчинами, и никак из нее не выбьешь этой привычки. Все-таки он опять попробует ее поколотить, но надо сперва высадиться в Виго, там пускай она орет сколько влезет, никто внимания не обратит. Пепе на цыпочках обошел матросские ведра и швабры и, опершись о перила люка, заглянул на нижнюю палубу. Там, похоже, все уже уgomонилось и спали крепким сном; от одного этого зрелища он и сам сладко зевнул. Некоторые растянулись в парусиновых шезлонгах, другие — на голых деревянных скамьях, иные свернулись клубком в гамаках. Какой-то человек в синем

комбинезоне лежал поперек гамака, голова свесилась по одну сторону, огромные босые ноги с грязными кривыми ступнями — по другую. Пепе отлично знал этот народ, он и сам такой же, он родом из Астурии, а порой ему случалось почувствовать своего даже в каком-нибудь андалусце; но с этими у него нет ничего общего! Будь он таким же безмозглым ослом, он тоже спал бы сейчас там, на нижней палубе, или где-нибудь в Испании, в лачуге, полной блох и вшей. Его всего передернуло, будто на босую ногу вползла змея. Он помнил астурийцев, среди них прошло его детство: шумный народ, вечно кричат, поют, пляшут, дерутся, ругаются, — а теперь вон сколько их лежит вперемешку с более смиренными уроженцами Канарских островов и Андалусии, совсем как мертвецы; под белесым призрачным светом луны одеяла, в которые они завернулись, — точно саваны, и от этого они уж совсем как трупы, только и ждут, чтобы их отправили в морг. Пепе выбрал мишенью того, что спал поперек гамака, свесясь по обе стороны, и ловко метнул горящий окурочек в складки сухого тряпья, намотанного на туловище. Попробуем разбудить!

Сразу трое вскочили на ноги, и один, огромный и толстый (Пепе вспомнил: он не пел, а ревел, как бык), нашел окурочек и раздавил прямо пальцами. И погрозил кулаком стройной тени, которая все еще смотрела сверху, перегнувшись через перила.

— *Cabrón!*¹ — бешено заорал он с потешным мексиканским акцентом; и, тотчас узнав одного из котов, что околачивались по городу в день отплытия, докончил с ядовитой усмешкой: — *Puto!*¹ Поди-ка сюда, мы тебе...

Проснулись и другие, подняли крик. Пепе тревожно оглянулся — матросы услышали шум, и вот один уже приближается, не то чтобы угрожающе, но твердым, уверенным шагом, шагает к нему, как лошадь, — просто по долгу службы идет выяснять, из-за чего переполох. Пепе отступил от люка и с грацией плывущего лебедя, только гораздо быстрее, направился в другую сторону.

В каюте Ампаро расчесывала спутанные волосы, помада неопрятно размазана на вспухших, словно искусанных

¹ Испанские нецензурные ругательства.

губах, на нижней койке по обыкновению все разворошено.

— Ну? — сказал Пепе.

Она молча, угрюмо кивнула в угол. Пепе поднял пахнущую затхлым подушку и увидел новенькие зеленые бумажки.

— Еще доллары, хорошо! — сказал он, разгладил бумажки и стал их пересчитывать. Ампаро нахмурилась.

— Не так-то легко их заработать, вот что. Этот малый знай твердит — мол, давай еще раз — получишь еще пять долларов, и уж он все из тебя выжмет.

Она отвернула кран умывальника.

— Ты что делаешь? — спросил Пепе, начиная раздеваться.

— Помыться хочу, — сказала она, все еще хмурясь. — Я грязная.

— Не больно копайся, — предупредил Пепе.

В голосе его прозвучала знакомая нотка, и Ампаро вздрогнула, вся ее плоть затрепетала от волнения. Она намылила тряпку и начала мыться, а он без любопытства, но внимательно следил, как скользят по телу ее руки. Он разделся донага и лег.

— Долго же ты с ним провозилась, — сказал он, — хоть и за деньги.

— Отстань. Я ж тебе говорю, как дело было.

— Отстань? — Он усмехнулся. Проворно, неслышно поднялся и раскрытой ладонью с размаху ударил ее по лопатке — это больно, но следа не останется. Потом одной рукой ухватил ее сзади за шею и сильно встряхнул, а другой погладил по спине и под конец стукнул кулаком. Веки Ампаро опустились, губы стали пухлыми и влажными, соски отвердели. — А ну, поторапливайся, — сказал Пепе.

— Некуда мне торопиться. Я устала, — зло и кокетливо отозвалась она и принялась пудриться очень грязной пуховкой.

— Хватит! — Он отнял пуховку, отшвырнул. — Так ты все ему отдала, а? Опять растратилась зря? Ты что, хочешь, чтоб я тебе все кости переломал?

— Да он просто боров. За кого ты меня принимаешь?

Она стояла в двух шагах от койки. Пепе схватил ее за руку, коротким рывком опрокинул на себя. Их гибкие ноги, ноги танцоров, сплелись в змеиный клубок. Постановывая от

наслаждения, они впивались друг в друга губами и зубами, покусывали, лизали, вдыхали, вбирали запах и вкус плоти, каждого ее уголка, упивались всеми оттенками ощущений, тела их послушно, в ритме замедленной киносъемки исполняли репертуар, сложный, как в балете. Только так он и занимался с ней любовью: он хотел ее только сразу после другого мужчины, распаленную, взбудораженную, источающую новый жар и незнакомые запахи, готовую принять его с его особенными, ей одной предназначенными ласками. С тех пор как она его узнала, только он один мог дать ей наслаждение — и, чтобы наслаждаться самой, ей только надо было дать наслаждаться ему. Она берегла себя, как отъявленная скупердяйка, занимаясь своей профессией с тупыми, грубыми и скучными буйволами, — и тратила весь свой пыл на Пепе, искусного, как мартышка, и хладнокровно-неторопливого, как лягушка. Пепе нередко бил ее — уверял, будто из ревности, — когда подозревал, что она испытала толику удовольствия с другим. Но часто после самых жестоких побоев он целые часы проводил с ней в постели, и под конец казалось — самые кости их расплавятся от восхитительного изнеможения. Ну и пускай бьет, сколько хочет, — зато ей никогда не приедается наслаждение.

При этом он безжалостно отнимает у нее все до последнего песа, франка, доллара и любой другой монеты: откладывает деньги, хочет открыть в Мадриде собственное заведение, там танцовщица Ампаро, пока он ее не бросит, будет главной приманкой; нередко он в холодном тихом бешенстве грозит убить ее, да с такими жестокими мучениями, что понятно: это он не всерьез, — и однако она тоже откладывает деньги. И в самые тяжелые времена в Мексике, и здесь, на корабле, она скрывает от него долю своих заработков, — узнай он об этом, он ее самое малое наверняка придушит. Но он не знает; Ампаро же намерена в один прекрасный день заделаться звездой, настоящей великой танцовщицей, она будет сама себе хозяйка, будет разъезжать по свету и станет богатой и знаменитой, как великая Пастора Империи.

Капитана все сильнее раздражали слухи, медленно, но верно — он сам не понимал, какими путями, — достигавшие его ушей; он как будто и не замечал сплетен, их подспуд-

ных, скрещивающихся течений, а потом, в одинокие часы на капитанском мостике, они начинали кружить и сливаться у него в голове. Всего настойчивей были перешептыванья о том, что за жизнь ведет в своей отдельной каюте *condesa* — а впрочем, можно ли назвать ее отдельной, ведь там постоянно толкутся студенты. Капитан угрюмо подумывал, не посадить ли на страже горничную, но нет у него лишней горничной, которую можно бы занять только такой работой. Мелькала даже робкая мысль — уж не держать ли графиню безвыходно в каюте до конца плавания? Но это можно сделать только силой — ужасно, и думать нечего! Кто-то говорил — кажется, фрау Риттерсдорф? Весьма строгих правил дама! — будто видели, как *condesa* в истерике бросилась на шею доктору Шуману и тот еле-еле с нею справился. Что ж, тут, на корабле, Шуман — ее лечащий врач, пускай терпит. Не такая уж горькая участь, если тебя обнимает и рыдает у тебя на груди красивая и знатная дама, хотя бы и в истерике. Со всей деликатностью, на какую был способен, капитан осведомился у доктора Шумана, как себя чувствует его пациентка.

— Совсем неплохо, — отвечал доктор Шуман. — Решила несколько дней полежать в постели. Сейчас она читает.

Капитан постарался скрыть изумление:

— Читает? Она? Что же именно?

— *Romans policiers*¹, — сказал доктор. — Студенты ей носят из корабельной библиотеки. Она говорит, у нас на борту прекрасный выбор.

Капитан был несколько уязвлен.

— Не представляю, откуда они взялись, разве что пассажиры пооставляли.

— Возможно, — сказал доктор Шуман. — Кто бы ни оставил, спасибо ему. На днях она сильно разволновалась, и я установил для нее режим. Она читает про сыщиков и загадочные убийства, потом играет в шахматы с кем-нибудь из студентов, а на ночь я даю ей снотворное... Сейчас я куда спокойней за нее, чем прежде.

— Так, по-вашему, ей для нервов не вредно, что к ней во всякое время ходят студенты?

¹ Детективы (франц.).

— Право, не знаю, почему, но они ее забавляют, — сказал доктор. — Такие беспутные, шумные, невежи и невежды...

— Я слышал, в своих спорах за столом они упоминали Ницше, Гёте, Канта, Гегеля и Шопенгауэра, — заметил капитан.

— Ну, понятно, — сказал доктор, — ведь они прежде учились в университете.

Иногда капитан приглашал доктора к себе в каюту — выпить среди дня кофе или после ужина стаканчик шнапса и приятно, хотя и сдержанно побеседовать с ним, с единственным человеком на борту, которого он мог считать более или менее равным себе. В сущности, капитан вовсе не стремился к обществу равных, ему привычнее было смотреть на людей сверху вниз или уж снизу вверх. От доктора он надеялся узнавать о Любом беспорядке среди пассажиров, обо всем, что выходит за рамки обычного и притом не попадает в поле капитанского зрения. Вот, например, произошла, по-видимому, престранная история — надо надеяться, никто не виноват, разве что казначей, и то вряд ли... впервые за все годы своей морской службы, да, насколько он знает, впервые за всю свою жизнь он, капитан, кажется, изо дня в день сидит за одним столом с евреем. Не слыхал ли случайно доктор Шуман чего-нибудь на этот счет?

Доктор Шуман спокойно сказал, что — да, дня три назад он слышал нечто подобное, но источник слишком ненадежный; в его тоне явственно звучало: конечно, это дамы, бог с ними совсем, не стоит их слушать. Он даже не почел нужным скрывать, что его мало трогает, еврей ли Фрейтаг — просто недостойно заниматься такими пустяками. Выкладывать свои взгляды в любое время и по любому поводу свойственно дурным и злым натурам, в лучшем случае — несдержанным, распушенным. Притом доктор Шуман сто раз обсуждал эту скучнейшую тему с самыми разными людьми еще до того, как поступил на «Веру», и она ему порядком надоела; уже нет охоты бороться с этими странными настроениями, расплывчатыми, неуловимыми и едкими, как дым.

Капитан приписал равнодушие доктора чисто профессиональному желанию избегать пристрастий: в конце концов, любому пассажиру может понадобиться врачебная по-

мощь, тут нельзя выбирать по своему вкусу. И все же, так деликатно, как только мог, он намекнул, что доктор, у которого на корабле положение особое, должен бы побольше узнать о самых разных личностях.

— Вам — священникам, юристам, врачам — доверяют столько секретов! — благодушно сказал капитан. — Право, не завидую, должно быть, это обременительно.

Намек был отнюдь не тонкий: доктору следовало бы сообщать капитану обо всех скандалах, странностях и неприличиях, которые надлежит устранять или карать. Доктор не стал притворяться, будто не понял; он попросту ничего не ответил, учтиво отказался от второй чашки кофе, как-то незаметно перевел разговор на другое и вскоре ушел. Капитан опять разволновался, ему стало и неловко и досадно — кто бы тут ни был виноват, а положение создалось двусмысленное, неподобающее, он завтра же с этим покончит. От разговора с доктором остался пренебрежительный осадок — вышло так, будто он, капитан, прислушивается к бабьим сплетням. Что ж, такие дела надо решать по-мужски, прежде всего отстранить от этого женщин, и пусть не суются. Одно противно: как раз от женщин все и пошло — эта американка, миссис Тредуэл, пересказала фрейлейн Лиззи Шпёкенкикер какие-то откровенные признания Фрейтага, Лиззи передала их Риберу, а тот пошел болтать направо и налево, пока новость не достигла ушей капитана, — и теперь надо немедленно предпринять решительные шаги, этого требуют его долг перед обществом и собственное достоинство. Капитан помотал головой, словно его осаждала туча комарья; сегодня он будет ужинать один.

Фрейтаг на несколько минут опоздал к ужину. Все, кроме капитана, уже сидели за столом; доктор Шуман передал извинения капитана за вынужденное отсутствие, и они были почтительно выслушаны. Фрейтаг скромно сел на свое место, всем приветливо кивнул и улыбнулся, но ему ответили без улыбки — а может, ему просто показалось? На сердце кошки скребут, вот и мерещится, будто вся эта скучная компания глядит на него с неким вороватым любопытством; только доктор Шуман, как всегда, рассеянно-благожелателен (Фрейтагу эта благожелательность уже на-

чинает надоедать, она отдает высокомерием), да фрау Гуттен по обыкновению не поднимает глаз от тарелки.

Стюард предложил ему закуску — вестфальскую ветчину, изящно уложенную рядом с ломтиком дыни. Фрейтаг покачал головой, и стюард спросил:

— Что же вам угодно, сэръ? Копченую семгу? Сельдь в сметане?

— И то и другое неплохо, — сказал Фрейтаг. — Пожалуй, сельдь.

Профессор Гуттен отметил, что по части еды Фрейтаг, как всегда, не разделяет вкусов большинства, и заговорил почти рассеянно, словно рассуждая на некую отвлеченную тему.

— Для западного и особенно христианского исследователя бесконечно трудная задача — определить, что же представляет собою еврейство, тут множество духовных и нравственных противоречий и в то же время загадочная и необычайно сильная эмоциональная и психологическая общность. Ни с чем нельзя сравнить сплоченность евреев перед лицом общей опасности — перед нападками язычников, как они выражаются, — и ни с чем не сравнимо их ожесточенное соперничество между собой в любой области. Я многих спрашивал со всей серьезностью, с полнейшим беспристрастием, как ученый и философ: «Сделайте милость, объясните мне, что такое еврей?» — и никто из них не мог мне ответить. Они называют себя расой, но ведь это нелепо. Они — только крошечная частица ветви белой расы, в состав которой входим и мы.

— Ой, только не нордической! — взвизгнула Лиззи. — Только не нашей! С каких это пор?

— А разве они хамиты? — пренебрежительно спросил ее Гуттен. — Или монголы? Или эфиопы?

— Да все что угодно, ублюдки, в них смешалась кровь последних подонков всех рас и наций! — вдруг вспылал Риббер, он весь побагровел, обычную веселость как рукой сняло. — И всегда такими были, спокон веку...

— В этом смысле мы теперь все стали ублюдками, я думаю, — сказал Вильгельм Фрейтаг и отложил вилку.

— Нет уж, говорите только за себя, дорогой герр Фрейтаг, — заявила фрау Риттерсдорф, подалась к нему и улыбнулась, не разжимая зубов, будто оскалилась. — Я просто

изумлена. Как можете вы, типичный немец, высокий, белокурый, сероглазый...

— ...так вот, я их спрашиваю: что такое еврей? — возвысил голос Гуттен, он говорил нараспев, заставил замолчать фрау Риттерсдорф, он обдумал милую шутку и доведет ее до конца, никто не отнимет у него этого удовольствия. — Я спрашиваю: вы нация? — Нет. — Раса? — Нет. — Так, может быть, вас объединяет только религия? — Нет. — Но вы исповедуете свою веру, соблюдаете законы о дозволенной и недозволенной пище? — Нет. — Тогда я их спрашиваю — и, прошу заметить, я всегда обращался только к таким, которых по внешности легко принять за чистокровных немцев, — я спрашиваю: — Тогда на каком основании вы называете себя евреем? И все без исключения упрямо отвечают: — А все-таки я еврей. — Ах так, говорю? Тогда понятно: еврейство — это просто состояние ума.

Слушатели заулыбались, и Гуттен тоже расплылся в улыбке, очень довольный собой.

— Меня возмущает, что они воображают себя избранным народом, — сказала фрау Риттерсдорф. — Как будто Бог так глуп, правда?

Наступило испуганное молчание, похоже, ни у кого не хватало смелости приобщиться к этой смеси здравого смысла с чем-то вроде кощунства. Фрау Риттерсдорф мигом спохватилась и попробовала исправить ошибку:

— Я только хотела сказать... я... я...

Профессор Гуттен великодушно поспешил ей на помощь:

— Эта ложная идея, порожденная узкоплеменным тщеславием, восходит к глубокой древности, и, я полагаю, мы смело можем утверждать, что только весьма примитивное божество могло избрать для себя такой своеобразный народ. Или, если выразиться точнее, это они избрали для себя такого бога — по тем временам отнюдь не постыдного, если вспомнить, каков был характер некоторых других столь же древних богов, — великодушно прибавил профессор. — По крайней мере при сравнении старый Ягве оказывается, в общем, не так уж плох.

Рибер прожевал кусок, проглотил и утер рот.

— Вы правы! — воскликнул он. — Ягве сам выбрал евреев, ну и пускай радуется.

— Нет, вы подумайте! — подхватила Лиззи. — Жалкая горсточка, несколько миллионов, когда на земле людей почти два миллиарда, и так нахально о себе воображают! Вот, главное, что меня бесит! Мало того, что они такие невоспитанные, и мошенники, и...

— Господь справедливый, всеблагий и всемилостивый, единый в трех лицах — Отец, Сын и Дух святой — через христианскую веру открыл всему миру великую истину, — заговорил профессор Гуттен, несколько разочарованный тем, какой оборот приняла беседа, — и эта истина доказывает...

Фрау Риттерсдорф понимала, что Риберу, пожалуй, не место в столь благородном обществе, но подавила свое предубеждение и решила по справедливости с ним согласиться.

— Вы правы, герр Рибер, — снисходительно сказала она. — Не следует забывать, что евреи — избранные только своего бога. Мы вовсе не обязаны разделять его дурной вкус...

— А мне до религии дела нет, — перебил Рибер, не замечая никакого высокомерия в ее тоне. — Мне одно важно: чтоб немецкую нацию, кровь нашей расы очистить от еврейского яда.

— Да вы настоящий антисемит! — вдруг, словно в испуге, воскликнула маленькая фрау Шмитт. — У меня нет никаких знакомых евреев, но я вовсе не чувствую отвращения...

— Никакой я не антисемит, — огрызнулся Рибер. — Что вы такое говорите? Вот арабы мне очень даже по вкусу, я когда-то жил среди арабов, совсем неплохой народ...

Фрау Риттерсдорф с улыбкой повернулась к доктору Шуману.

— А вы все молчите, дорогой доктор! Какого вы мнения о евреях?

— Ничего не могу сказать против них, — мягко, но отчетливо произнес доктор Шуман. — Я полагаю, что все мы поклоняемся одному Богу.

— Как же так, доктор? — Лиззи наклонилась к нему, замотала головой. — Вы же католик, верно? Разве католики не поклоняются первым делом деве Марии, а уж потом Богу?

— Нет, — коротко ответил доктор Шуман, сложил

крест-накрест нож и вилку, отложил аккуратно салфетку и поднялся. — Разрешите вас покинуть, — сказал он без малейшего нажима и вышел.

— У него бывают сердечные припадки, — сказала мужу фрау Гуттен. — Может быть, надо послать кого-нибудь справиться, как он себя чувствует?

— Он сам — врач, — возразил профессор, — наши заботы и советы ему не нужны.

— Шуман... — Рибер выпятил нижнюю губу. — Это ведь еврейская фамилия?

— В немецком языке не существует еврейских фамилий. — Гуттен, видимо, был раздосадован и говорил непривычно резко. Он заметил, что во все время разговора Фрейтаг не вымолвил ни слова и не проглотил ни куска, только водил вилкой по тарелке, лицо у него было бледное, застывшее, словно перед приступом морской болезни. — Есть только немецкие фамилии, евреи присвоили их себе в средние века и позднее, когда отказались от своих прежних имен: в старину еврей называл себя, к примеру, Исаак бен Авраам, это был прекрасный обычай, и очень жаль, что они ему изменили; новые фамилии переходили из поколения в поколение и теперь связаны в нашем представлении с еврейскими семьями. Среди них фамилия Шуман и, осмелюсь сказать, Фрейтаг тоже. Не так ли, герр Фрейтаг? — неожиданно обратился он через стол прямо к Фрейтагу, и тот поднял серые глаза, блеснувшие холодным бешенством. — Вас никогда не тревожило открытие, что у вашей старой немецкой фамилии имеются и еврейские ветви?

— Не знаю ни одного еврея с такой фамилией, — голос Фрейтага дрожал от ярости. — Единственное исключение моя жена, — прибавил он громче и тверже. — Она еврейка и носит фамилию Фрейтаг — и оказывает этой фамилии большую честь.

Он услышал собственные слова и тотчас понял, что снова попал в ловушку, в мелодраму, и совсем напрасно поставил себя в ложное положение. Теща давно подметила за ним эту слабость. Она шутливо советовала ему: «Запомните хорошие правила: никогда не рассказывайте о своих семейных делах! Никогда не говорите того, чего от вас ждут. И на вопрос отвечайте вопросом». Говорила она смеясь, но Фрейтаг заметил: сама она вполне серьезно следует этим

правилам. Опять и опять он чувствовал, что живет между двумя вооруженными непримиримыми лагерями — из одного дезертировал, в другой втерся непрошеным, и ни та ни другая сторона перебежчику не доверяет. Как часто, когда они с Мари уже поженились, он оказывался один среди евреев — и они все разом на него нападали: одни не скрывали презрения, он был им просто неприятен; другие повторяли обычные еврейские шуточки насчет «гоев», при нем они отзывались о христианах так же неуважительно, как в своем кругу. А теперь люди из его лагеря (он медленно обвел взглядом соседей по столу, и все лица, все до одного, показались ему отвратительными) — люди из его же лагеря, его соплеменники, тоже на него нападают; нипочем они не дадут спуску немцу, который так себя унижил. Ладно, с него хватит! Он уперся ладонями в край стола, оттолкнул стул, но не успел выпрямиться.

— Ах, как странно, герр Фрейтаг! — пронзительно выкрикнула Лиззи. — Мы-то думали, вы сами еврей, вот уж попали пальцем в небо! Только на днях я вечером разговаривала с этой чудачкой американкой, с моей соседкой по каюте — миссис Тредуэл, знаете? — и она мне сказала, а я просто поверить не могла, она тоже так и сказала, что это не вы, а ваша жена.

— Миссис Тредуэл? — переспросил пораженный Фрейтаг. — Она так и сказала?

— Ну да, я же вам говорю! Только... вы поймите правильно... она была немножко... понимаете, она выпивает... иногда она очень туманно выражается... — Лиззи огляделась, проверяя, дошло ли это до слушателей — да, на всех лицах напряженное внимание. Какую гадость им ни скажи про пассажиров-американцев, их ничем не удивишь. И Лиззи dokonчила: — Ну да, сколько раз бывало — после ужина в одиночку целую бутылку вина!

Тут Фрейтаг решительно поднялся, одарил своих соотечественников недоброй улыбкой и произнес, точно актер под занавес:

— Что ж, предоставляю миссис Тредуэл вашему кроткому милосердию.

Ответа он ждать не стал. Ну и пускай они тебя разорвут в клочки, запальчиво подумал он, увидав миссис Тредуэл: она сидела одна за своим столиком и, опустив глаза — во-

площенная невинность! — ела мороженое. Вот бы и ему отдельный столик! Завтра же надо поговорить со старшим буфетчиком. Нет больше терпенья выносить эту публику за капитанским столом. Пройдись они еще разок насчет евреев — и он всем и каждому вlepил бы по затрещине. Да и доктору Шуману тоже, старый лицемер убрался от греха подальше, ничего не сказал. И вдруг пылающего яростью Фрейтага обдало могильным холодом: скоро он встретится с родственниками Мари — с теми, кто еще навещает ее мать, приходит вечером в гости, и надо будет выслушивать шуточки про «иноверцев», а шуточки эти, точно кислотой, выжжены в его памяти и разъедают его отношение к ним ко всем. Фрейтаг облокотился на поручни и устремил неподвижный взгляд в темнеющий водный простор, который больше уже не радовал бесконечной своей переменчивостью. На какие-то минуты его охватило темное оцепенение. И вдруг он спросил себя: «О самоубийстве я, что ли, думаю?» Потому что все время, пока мыслей словно бы никаких не было, перед глазами разворачивалась отчетливая картина: вот он легко, без всплеска, точно профессиональный ныряльщик, головой вперед уходит в пучину океана, медленно-медленно опускается на самое дно и остается там навсегда, распростертый навзничь, с открытыми глазами, и ему так легко и спокойно... Вздрыгнув, он выпрямился, несколько раз мигнул и зашагал дальше. Все это привиделось так ясно, стало даже не по себе. Но нет, незачем расстраиваться. Столь легкий выход не для него. Его путь ясен, надо идти не сворачивая, напрямик, напролом, главное — идти, не терять головы — ни еврею, ни христианину он не даст себя сбить, не вспылит, не станет играть им на руку. А пока не худо бы сказать два-три словечка милейшей миссис Тредуэл; но это не к спеху.

После ужина капитан оставил вторую чашку кофе и отправился на мостиковую палубу: здесь, а не у себя в каюте он накоротке побеседует с фрейлейн Лиззи Шпёкенкикер — совершеннейшим воплощением всего, что ненавистно ему, капитану, в женской половине рода человеческого, — и с ее ослом ухажером Рибером; этому явно недостает необходимого мужчине вкуса и соображения, чтобы

здрово судить о женщинах. Для пушей важности они просили его о встрече письменно, а говорить, уж наверно, будут о ерунде. Какое у них может быть к нему важное дело, чтоб нельзя было его отложить до завтра, а то и до скончания века? Капитан подавил отрывку и окинул обоих суровым взглядом, даже в эту последнюю минуту давая понять, что его не следует беспокоить по пустякам.

Оба посетителя задохнулись от сознания собственной смелости, оказанной им чести и важности своей миссии. Они высказались просто, но более чем убедительно. Многие пассажиры-немцы, и не только те, что сидят за капитанским столом, с самого начала подозревали, что одному человеку за этим столом не место. Сам он, может быть, и не еврей, хотя это еще не доказано, разве что верить ему на слово, но известно — он сам за столом при всех об этом заявил, — что у него с евреями весьма тесные связи, ни много ни мало — жена еврейка! О, фрейлейн Лиззи и герр Рибер ужасно огорчены, приходится сообщать такие неприятные новости, но, без сомнения, капитану надо знать, без сомнения, он и сам пожелал бы знать, что у него за столом — и вдруг такое неслыханное недоразумение. Конечно, такими подробностями ведают его подчиненные, но все же... все же...

Капитан еле сдержал негодование: нестерпим малейший намек на нерадивость кого-то из подчиненных, хотя бы в пустяке, да и не может быть никаких пустяков для тех, кто служит на его корабле. Он надменно вздернул голову.

— Разумеется, я очень вам признателен за такую заботливость. Согласен, случай из ряда вон выходящий.

Лиззи словно что-то толкнуло, и, вытянув длинную шею, она самым пронзительным голосом проверещала: дескать, дорогой капитан так обо всех заботится, а они так мало могут для него сделать, что они счастливы до небес оказать ему хотя бы крошечную услугу. Когда капитана что-либо раздражало, у него неминуемо начинались рези и урчанье в животе, и сейчас он тоже почувствовал, что все внутри взбунтовалось. Итак, он рассыпался в благодарностях, даже прошел с посетителями три шага, чтобы они поскорей убрались восвояси (все это время они втроем стояли под звездным небом на ярко освещенной мостиковой палу-

бе), и направился было за таблеткой висмута. Но передумал, допил остатки кофе и залпом проглотил рюмку шнапса. Хотя бы ненадолго полегчало — и, ни минуты не раздумывая, ибо тут и нечего было раздумывать, он положил начало цепи событий, которые вскоре приведут к небольшим, но многозначительным переменам в распределении мест в кают-компании.

После этого мысли капитана приняли несколько более приятный оборот. Condesa... да, тут сразу пришло на ум верное решение. Он пошлет ей в подарок немного вина — в таком знаке внимания ни одна дама не усмотрит ничего дурного. Она напоминает ему студенческие годы — он тогда постоянно околачивался у дверей театра, подстерегая выходящих актрис, его неодолимо влекли эти странные идолы, большие восковые куклы, раскрашенные, затянутые в корсеты, в нарядах, подобающих жрицам искусства, необыкновенные и непостижимые; он приносил им в дар скромные цветы и вино, робкую мальчишескую тягу к женщине и похотливые мыслишки, но ни разу не осмелился хотя бы подойти поближе. Он не мог себе представить одну из этих богинь раздетой, даже вообразить не мог кого-то из них на месте обыкновенной женщины из тех, кого знал. И однако он любил свою мечту о них, недостижимых, и *condesa*, бог весть почему, все это в нем воскресила. Впрочем, доктор прав — излишняя снисходительность тут не годится. Надо быть с нею построже, время от времени, пожалуй, следует напоминать, что она — его, капитана, пленница. И он послал ей две бутылки хорошо замороженного искристого белого вина с любезной записочкой: «Сударыня, — писал он, — мы, немцы, больше не употребляем слова «шампанское» да и вина этого, не в меру расхваленного, больше не пьем. И я с удовольствием могу заверить Вас, что этот скромный подарок не французского происхождения, это всего лишь добрый *Shaumwein*, детище честных немецких виноградников; его шлет Вам Ваш доброжелатель в надежде, что напиток этот освежит и порадует Вас в вечерние часы. А заодно прошу Вас о большом одолжении: следуйте, пожалуйста, советам Вашего врача и оставайтесь у себя в каюте до тех пор, пока он считает это необходимым для Вашего здоровья». И притом он, так сказать, всецело к ее услугам.

Когда доктор Шуман пришел сделать своей пациентке последний за этот день укол, *condesa* сидела в постели и неудержимо хохотала; алый камчатный халат сполз с ее плеча, рыжие кудри, странно не соответствующие ее лицу, словно бы слишком юные, разметались и дрожали, точно змейки. В руке она держала какой-то листок, рядом стояли две бутылки немецкого шампанского.

— Как вы кстати! — радостно воскликнула она. — Сейчас я поделюсь с вами вином и любовным посланием капитана. Подите сюда и посмейтесь со мной, пожалуйста!

Она протянула ему листок, доктор Шуман нерешительно взял его, и тут в дверь постучали и вошла горничная: отныне, по его распоряжению, она неизменно будет присутствовать при том, как он вводит своей пациентке наркотик.

— Что вам здесь нужно? — спросила *condesa*. — Разве я вас звала?

— Пускай она останется, — сказал доктор. — Письмо я читать не буду, капитан, надо думать, вовсе не желал, чтобы эти строчки видел кто-то кроме вас.

— Да не все ли равно, чего желает капитан! — воскликнула *condesa*. — Эта записка и вас тоже касается. Мне велено слушаться вас и не выходить из каюты, другими словами, я опять под арестом!

Смущенный доктор Шуман вытянул руку, держа записку как можно дальше от глаз, словно чем больше расстояние, тем меньше он виноват, что читает слова, обращенные не к нему, а горничная тем временем стала опрашивать покрывало на постели и уже хотела взбить подушки.

— Подождите, пока вам скажут, что надо делать, — сказала *condesa*. — И не подходите ко мне, пока я вас не позову.

Горничная покраснела до ушей, попятилась и стала у двери.

— Да нет, вы преувеличиваете, — возразил доктор Шуман. — Смотрите, вы не доверяете ни капитану, который хочет вас поберечь, ни мне, который хочет вам помочь, и при этом вы так приветливы и так доверчивы с этими невежами студентами! Им бы следовало относиться к вам с сыновней почтительностью, а между тем... Я не могу повторить, до какой степени дерзко они о вас отзывались, но даю вам слово, они говорят эти дерзости во всеуслышание! Ну

скажите, почему вы допускаете, чтобы над вами смеялись?

— А надо мной смеются? — спросила *condesa*, потянувшись и погладила доктора по руке. — Здесь, на корабле? Что ж, это даже забавно. И вы слышали, что смеются? Но ведь мальчишки всегда говорят непочтительно о женщинах любого возраста, правда? — Она и сама засмеялась, запрокинув голову. — Я им не мать! Будь они моими сыновьями, они, наверно, были бы лучше воспитаны, и семья у них была бы лучше, и направление ума получше, и побольше фантазии, и мне кажется, я почти уверена, они попросту были бы красивее. Нет, я к ним привязалась, потому что они — сверстники моих сыновей, моих милых безумцев, которым непременно надо было погнаться за какой-то там революцией. — *Condesa* обратила к доктору страдальческое лицо, руки ее затряслись. — А где они теперь? Один день и одну ночь я прятала их в нашей часовне под алтарем, вокруг кишели солдаты и всякие головорезы, но никто не додумался посмотреть под алтарем! А потом нашу *гасиенду* подожгли, все горело, и плантации сахарного тростника тоже... мои сыновья ускользнули, а меня схватили и увезли...

Голос ее звучал мягко, певуче, эту однообразную жалобу доктор уже слышал в первый день плавания, но вот она обхватила руками колени и посмотрела на Шумана ясным, трезвым взглядом.

— Все кончено, — сказала она. — Их больше нет. Никогда они не вернутся.

— Откуда вы знаете? — спросил доктор Шуман. — Надо набраться терпенья и ждать вестей. Может быть, это вовсе не конец. По-моему, вы чересчур все усложняете. Право, у нас и так забот хватает.

— У нас? Разве и вас одолевают заботы?

— Моя забота — вы, — сказал доктор Шуман. — Но я постараюсь вам помочь.

— Да-да, постарайтесь, — мягко сказала она, руки ее разжались, упали на постель. — Пожалуйста, постарайтесь.

— Капитан Тиле вам не приказывает, а советует, надеюсь, вы послушаетесь его совета, и моего тоже. Он человек достойный.

— Вас я всегда буду слушаться, всегда, — сказала *condesa* и привычно потянулась к его руке, но он на сей раз отк-

ровенно уклонился от ее прикосновения. Она тотчас отдернула руку и опять засмеялась.

— Шаумвейн! — весело передразнила она, так что это и вправду прозвучало нелепо. — Ну до чего же это по-немецки! Я уверена, достоинство нашего капитана — подделка ничуть не хуже этой!

Она подняла одну бутылку и помахала ею.

— Прошу извинить. — Доктор Шуман рассердился, и голос его зазвучал обиженно и сварливо. — Прошу не забывать, я тоже немец... — Он вовремя остановился, с языка едва не сорвалась какая-то глупость вроде «и горжусь этим».

— Ах, да, совершенно верно, — *condesa* вздохнула, то был вздох непритворной усталости. — Это болезнь неизлечимая, правда? Так же безнадежно, как родиться на свет евреем.

— Или женщиной, — зло поддел доктор Шуман. — Вы сами так говорили.

— Ну, это не одно и то же, — почти весело возразила *condesa*. — Не хочу больше вас слушать, займусь кое-чем более приятным.

Она откинула покрывало, спустила с кровати обнаженные до колен очень белые ноги с маленькими изящными ступнями, отбросила халат и встала перед Шуманом в легкой шелковой голубой рубашонке, едва прикрывающей бедра. Подобрала капитанский шаумвейн и пошла к умывальнику. Аккуратно обернула каждую бутылку полотенцем, немного отступила и с размаху ударила одну, потом другую о металлический край раковины. Из-под полотенец разлетелись осколки стекла, пена хлынула сквозь ткань, забрызгала стены, зеркало и ковер на полу. *Condesa* разжала руки и кивнула горничной.

— Вот теперь у вас есть чем заняться, — с милой улыбкой сказала она.

Горничная двинулась бочком вдоль стены, словно очутилась в клетке дикого зверя. Доктор Шуман не стал ждать, пока его пациентка снова ляжет в постель, — когда она проходила мимо, он ловко ухватил ее мягкую руку повыше локтя и мигом вонзил иглу. *Condesa* вздрогнула от удовольствия, закрыла глаза и, потянувшись к нему, ласково шепнула на ухо:

— До чего вы злой! Но что бы я делала без вас?

Доктор Шуман взглянул на горничную — та, стоя на коленях, с каменным лицом тряпкой подтирала пролитое вино, — потом, сдвинув брови, на графиню. Выпустил ее руку и призвал на помощь нерушимые правила всей своей жизни: надо же дать отпор такому бесстыдству, такому нежеланию соблюдать приличия.

— Спокойной ночи, сударыня, и постарайтесь, пожалуйста, взять себя в руки! — сказал он сурово и сам почувствовал, как жалко прозвучали его слова: не так бы следовало ее отчитать!

Он ждал; наконец она легла и прикрыла свою наготу, повернула голову на подушке и дремотно улыбнулась ему.

— Спи, — еле слышно пробормотала она, — спи, несчастная пленница.

В нескольких шагах от ее каюты коридор поворачивал — и за углом доктор чуть не столкнулся с двумя кубинскими студентами, в руках у одного была бутылка вина, у другого — шахматы. Оба с поклоном посторонились, давая ему пройти, но доктор тоже остановился и сказал резко, отрывисто:

— Господа, меня не раз удивляло ваше неуважительное отношение к графине, и теперь я вынужден настаивать, чтобы вы немедленно оставили ее в покое. Графиня — моя пациентка, и я запрещаю навещать ее по вечерам, а днем — только с моего особого разрешения. Прошу извинить, — прибавил он не без злорадства.

Студенты снова в высшей степени учтиво поклонились — это скорее пародия на учтивость, подумалось доктору, — и один сказал:

— Ну разумеется, дорогой господин доктор, мы прекрасно понимаем.

— О да, прекрасно! — подхватил другой.

Они повернулись, быстро зашагали впереди него и почти сразу скрылись из виду. Он отметил про себя их шероховатую и, наверно, грубую и толстую кожу, нечистые белки глаз — уж наверно, примесь негритянской крови, но что за важность? — и сразу про них забыл. Опять разыгрались нервы, и он позволил себе мимолетно, мстительно поразмыслить об этом слабом поле, склонном бить посуду...

разобиженная служанка, оскорбленная женщина из низов, ревнивая любовница... уж этот слабый пол, во все-то они вносят путаницу, все выворачивают наизнанку — веру, законы, брак; уж это их двуличие, страсть к тайным, окольным путям, прирожденная тяга к темноте и ко всяческим дурным делишкам, которые совершаются в темноте. Интересно знать, кому наносила удары *condesa*, разбивая бутылки, — ему, Шуману? Или капитану? Или обоим? Или еще какому-то мужчине или мужчинам, которые когда-нибудь в прошлом противились ей, обуздывали ее, приводили в недоумение, отвергали и в конце концов от нее ускользнули? А может быть, она привыкла одерживать легкие победы, с легкостью одурачивать простаков? Тут доктор спохватился, произнес шепотом: «Мать божья, спаси и помилуй!» — и перекрестился. И тотчас в голове прояснилось, словно демоны, которые его одолевали, обратились в бегство. И он уже спокойно взглянул в лицо случившемуся, словно обдумывал не свою, а чужую беду: это ожесточение примешивалось к его греховной любви с первой минуты, ибо он любил ее с первой минуты, еще не успев себе признаться, что это любовь; и, по мере того как тяжелей становилась его вина, желание облегчить муки этой женщины постепенно переходило в желание ее мучить — но только по-иному, пусть бы она почувствовала на себе тяжесть его руки и его воли... Но почему его любовь стала желанием унижить любимую? Он ведь хорошо знал, что перед ним не разобиженная служанка и не ревнивая любовница; она избрала самый прямой и простой, даже трогательный в своей прямоте и простоте путь для того, чтобы выразить презрение и бросить вызов всем — капитану, доктору, тем силам, что держат ее в плену. Лицо у нее оставалось спокойным, и глаза, когда она обернулась и посмотрела на него, сверкнули насмешкой; она размахнулась бутылками, точно на празднике, когда спускают на воду корабль. А что она бесстыдно расхаживала в ночной рубашонке, не стесняясь показывала голые ноги... да просто это означало, что она его в грош не ставит, будто его здесь и нет или он — не мужчина, которого надо бы хоть немного остерегаться... будто он импотент и ничуть не опасен. Известная женская уловка, всем мужчинам это известно, и все же (тут у доктора подпрыгнуло и чересчур часто заколотилось сердце)... все же это

невыносимо! В смятении он замедлил шаг, полез во внутренний карман за лекарством.

— Любовь, — сказал он с ненавистью, словно кто-то мог слышать и возразить. — Да разве такая мерзость называется любовью?

Он медленно прошел круг по палубе; завтра с утра пораньше надо повидать кого-нибудь из святых отцов, исповедаться и причаститься. Впервые за долгие годы он ощущал не надлежащее привычно успокаивающее душу раскаяние, но подлинный стыд, мучительное унижение — уж очень позорно то, в чем надо будет признаться. Глупо, глупо, в его-то годы, женатый человек — и в мыслях гоняется за этой странной женщиной, словно такой вот прыщавый студент-тишка, да еще не желает сам себе признаться в своих чувствах, а всю вину сваливает на нее и в ней ненавидит свой же грех...

Тут доктор перевел дух и выпрямился: навстречу в развевающейся сутане шагал тот из двух испанских священников, что посуравей, поугрюмее, — видно, совершает моцион перед сном. Доктор Шуман выступил вперед, поднял руку.

— Отец мой, — начал он, и отец Гарса остановился перед ним.

Назавтра Фрейтаг поднялся поздно: ночью он почти не спал, слушая, как Хансен на верхней полке шумно воюет с одолевающими его кошмарами, и теперь одиноко пил кофе в баре. Оттого, что накануне ужин для него пропал, он был голоден как волк, но и зол пуще прежнего и решил — пускай его посадят за другой стол, до этого он есть не станет. И когда знакомые фигуры одна за другой стали выходить на утреннюю прогулку по палубе, он пошел искать старшего буфетчика.

Старший буфетчик обожал показывать свою власть, в этом он уступал разве что одному капитану. Фрейтаг заявил, что хочет до конца плавания сидеть за отдельным столиком, так небрежно, будто заказывал стол метрдотелю в ресторане. Старший буфетчик заглянул в свои списки, словно тут могли возникнуть какие-то сомнения. Потом постучал карандашом по ладони и в высшей степени учтиво произнес:

— Mein Herr ¹, это очень просто. Рад вам сообщить, что для вас уже все улажено.

— Улажено? — повторил Фрейтаг и прикусил язык: он чуть было не спросил — а кто, собственно, это улаживал?

— Вы обращались с просьбой к казначею, он поручил это мне, — пояснил старший буфетчик, в голосе его была почтительность, в лице — едва прикрытая наглость.

— Благодарю, — сейчас же сказал Фрейтаг и зашагал прочь.

В нем кипело бешенство; он даже не заметил, как снова очутился на верхней палубе. Навстречу попались Баумгартнеры — жалкая семейка, чахлые, зеленые, точно их всегда мутит, — хором забормотали: «Guten Morgen... Grüß Gott... Haben Sie gut geschlafen?» ² — он прошел мимо, как последний грубиян, чем оскорбил их лучшие чувства, и даже не заметил этого, а если бы и заметил — плевать ему на них, зануды несчастные, да они просто не существуют, у таких нет права ни на какие чувства. Во всяком случае, к нему пускай со своими чувствами не лезут. Совершенно ясно, как было дело, думал Фрейтаг, эту свинью Рибера с безмозглой трещоткой Лиззи понять не хитро: пошли, наверно, к казначею, а то и прямо к капитану, а уж капитан взял и распорядился свыше, как господь бог с небес, — только и всего. Разница лишь в мелочах, вообще же это не ново, не впервые с тех пор, как он женился на Мари, его не сажают за стол там, где прежде он был желанным гостем. Но раньше это случалось, только если он был вдвоем с Мари. Она молча стояла с ним рядом, элегантная, красивая, стройная, золотистая, и чуть улыбалась, глядя в сторону, а метрдотель объяснял — он просит извинить, но нигде не отмечено, что столик заказан: «Конечно, это мы виноваты, вышла ошибка, очень сожалеем, но сами видите...» — и впрямь, куда ни погляди, на всех свободных столах в зале красуется табличка «Занято». И потом на улице, и в такси, и дома он рвет и мечет, но Мари неизменно сохраняет удивительное терпение. «Я привыкла, а ты нет, — не раз говорила она ему. — Но ведь я тебя предупреждала, что так будет, любимый, помнишь? Я-то знаю, куда *нам* можно пойти, а куда

¹ Господин, сударь (нем.).

² Доброе утро... здравствуйте... Хорошо ли вы спали? (нем.).

нельзя, так, пожалуйста, слушайся меня, хорошо?»

— Я буду слушаться, Мари, — пообещал он теперь. — Если ты не можешь пойти со мной, я буду ходить с тобой.

В час обеда Фрейтаг вошел в кают-компанию уверенным шагом человека, который знает, куда идет. Один из стюардов бросился к нему, будто хотел преградить дорогу, и, угодливо бормоча, повел к маленькому столику у глухой стены, подле двери в кухню, — Фрейтаг давно заметил, что там обычно в одиночестве сидит еврей Левенталь. Он и сейчас там сидел. Стюард с поклоном подвел Фрейтага к свободному месту, отодвинул для него стул, развернул и подал салфетку и предложил меню — и все это так быстро, что Левенталь едва успел выбрать по карточке обед и поднять глаза.

— Добрый день, — сказал Левенталь тоном хозяина дома, в чью дверь постучался незнакомец, да притом не внушающий доверия.

— Добрый день, — вежливо и равнодушно отозвался Фрейтаг: раз уж он одержал победу над собой, надо сохранять полное спокойствие и самообладание и оставаться господином положения. — Надеюсь, я не помешал.

— А если бы и помешали, что мы можем поделать? — Левенталь высоко поднял брови, пожал плечами. — Нас ведь никто не спрашивает?

Казалось, он ничуть не в обиде, просто упоминает общеизвестную истину. А у Фрейтага будто больной зуб занял.

— Я просил старшего буфетчика посадить меня за отдельный столик, — сказал он с натянутой непринужденностью. — Тут произошла какая-то ошибка.

Слишком близко перед ним оказалась гладкая маслянистая физиономия Левенталя, поневоле видишь ее в подробностях: тусклые светло-карие глаза под тяжелыми веками, неприятно толстые подвижные губы — они как-то подергиваются, когда он ест и говорит. Знакомый тип, подумал Фрейтаг: не ровен час обойдешься с таким любезно — и он начнет фамильярничать; заподозрит тебя в робости — и станет криклив и дерзок, а сумеешь поставить на место — будет хитрить и угодничать. Нет, такой не годится в герои, решил Фрейтаг. Он не из тех, из-за кого ломаются копья. Даже сами евреи не любят эту породу. Этот — из мелких торгашей, что заявляются с черного хода и навязывают вам

всякую дрянь; мать Мари спустила бы на него собаку! Вспомнилось, какие забавные прозвища дают друг другу евреи — и самые ехидные, самые презрительные и насмешливые предназначены вот для таких, как этот.

Меж тем Левенталь недоверчиво огляделся, скривил губы.

— А вы не посмотрели заранее? Где вы видели свободный стол?

К величайшей своей досаде, сам того не ожидая, Фрейтаг ответил просто:

— Есть один на той стороне, возле иллюминатора.

— Это стол дылды немца, мальчишки, у которого большой дядя, — сказал Левенталь. — Только он пока вроде арестанта, торчит в каюте; и есть столик испанской графини, но ей уже недолго ехать; есть еще эта американка, вдова... она всегда тут как тут. Я об чем говорю — вам все равно одному не сидеть, а с кем-то, так почему бы не с кем другим? Почему со мной? Может, сели бы с одной из этих дам или с мальчишкой, вы его почти что и не увидите.

— Видно, казначей сам рассудил, уж не знаю, чем он там руководствовался, — сказал Фрейтаг.

Язвительная усмешка неузнаваемо изменила лицо Левенталья.

— Вы сидели за капитанским столом? — спросил он недоверчиво. — И хотите переменить место? С капитаном едят одни чистокровники — так вам не по вкусу их распрекрасное общество? Там, извините, пархатых не желают, а? И мы с вами сидим в той же калоше, а? Нет-нет, не говорите ничего, я сам догадаюсь!

Тот же огонь, только с другого фланга, подумал Фрейтаг, на миг он попросту перепугался. И здесь мне тоже нет места! Все внутри сжалось в тугую узел, и рука сжалась в кулак, он через силу разжал пальцы, взял меню.

— Овощной суп и семга с огурцом, — заказал он официанту и примерно тем же тоном прибавил, обращаясь к Левенталю: — Я почти жалею, что вынужден сказать это, жалею по причинам, которые касаются только меня, но, если только я вас правильно понял, вы ошибаетесь. Я не еврей.

Противоречивые чувства отразились на лице Левенталья, точно пробежала рябь по пруду в ветреный день.

— Все время что-нибудь новенькое, — сказал он нако-

нец. — До чего я дожил, слышу такие слова от христианина!

Официант поставил перед ним тарелку с крутыми яйцами и салатом из сырой капусты. Левенталь отправил в рот сразу пол-яйца, солидную порцию капусты, потом, все еще жуя, снова заговорил:

— Можете мне не рассказывать. Что вы желаете по этому поводу предпринять, это ваше личное дело, мне тут прибавить нечего. Боже упаси, когда-то у меня и у самого бывал соблазн такое сказать. Только у меня бы ничего не вышло, не то на физиономии написано. Где уж, когда малые младенцы, еще говорить толком не умеют — и те издали кричат: «Абрам!» Я вам скажу, у вас вид не тот, у меня глаз наметанный, и я в вас не признал своего, это верно. Но ведь в Германии полно смешанных браков, хорошие, молодые евреи бегают за белобрысыми христианскими девицами, хоть бы постыдились, ну и много у нас таких — больше похожи на тех болванов, чем надо. В Германии уже сколько угодно евреев без роду без племени, это же противоестественно. И я знаю сколько угодно отъявленных антисемитов, а если покопаться, так не надо далеко искать, уже в его дедушке течет добрая старая еврейская кровь... но они совсем не жаждут доискиваться...

Фрейтаг заставлял себя есть и любезно кивал, словно в знак согласия. Левенталь говорил один, и все выглядело как надо. Фрейтаг сидел спиной к большей части зала; поверни он голову, как раз перед ним, хотя и на изрядном расстоянии, оказался бы капитанский стол. И он чувствовал: на него пялят глаза, шепчутся, сплетничают, злобно перемиывают ему косточки, ну и пускай смотрят, пускай думают, что он слушает Левенталья доброжелательно и с интересом, и не дожидаться им никаких неприятностей, вообще ничего особенного не произойдет, он до конца будет поддерживать видимость полнейшего благополучия. Он сидел и мучился, как под пыткой в подвалах инквизиции, казалось, вот-вот кровь брызнет из всех пор, — и слушал Левенталья.

— Иногда солоно приходится, это для вас не новость, — продолжал тот, — но не знаю, не знаю... — он вдруг тяжело вздохнул, — чтобы я пошел против своего народа? Не понимаю, как это вдруг вырядиться в чужую шкуру. Кем же еще я могу быть? — спросил он с таким недоумением, будто никогда прежде подобная мысль ему и в голову не приходи-

ла. — Но ваша правда, если у вас есть причины и вам это может сойти с рук, что ж, я вас не осуждаю. Вот я — я еврей; бывает, подумаешь, что за невезенье, но тогда я пробую себе представить, что я христианин — брр! — и он скривился, словно его замутило.

Терпеливо, так терпеливо, что Левенталья явно взяла досада, Фрейтаг сказал:

— Моя жена еврейка, но сам я не еврей. — Раз уж хотя бы для виду приходится поддерживать разговор, почему бы не выложить все начистоту, решил он. — Она из очень старинной еврейской семьи...

Тут Левенталь опять преобразился. Он выпятил губы, углы рта опустились, даже уши зашевелились, он стал весь — брезгливое неодобрение, сказал резко:

— Все еврейские семьи — старинные. Все происходят по меньшей мере от Авраама. Вопрос в том, правоверная ли это семья?

— Нет, в последних двух или трех поколениях были смешанные браки.

Левенталь пожал плечами.

— Еврейским юношам можно жениться на нееврейках, пожалуйста, ничего страшного, какое это имеет значение? Но чтобы порядочная еврейская девушка вышла за гоя! Скажите, а кто ее родные?

— В большинстве люди богатые, — сказал Фрейтаг. — Отец — адвокат. Он уже умер. Оба деда — раввины! — похвастался он перед этим ничтожеством, чьи деды и прадеды наверняка были просто жалкими уличными торговцами.

— Тем хуже, — сказал Левенталь. — Если женщина низкого происхождения изменит своему народу, я понимаю, может быть, она его недостойна, но девушка из семейства раввинов... непостижимо! — Он подался вперед и сказал, нарочно повысив голос, чтобы слышно было за ближними столиками или хотя бы официанту: — Такие еврейки позорят весь наш народ. Если еврейская девушка изменяет своей вере, так она, скорее всего, сумасшедшая!.. За всю свою жизнь я не дотронулся до христианки, а если бы дотронулся, меня бы, наверно, стошнило; почему вы, христиане, не оставите наших девушек в покое, или ваши вам не хороши?.. Когда мне нужно женское общество, я ищу еврейку! Когда у меня есть деньги, чтобы хорошо провести вечер, я

приглашаю хорошую еврейскую девушку, которая сумеет это оценить; и когда я женюсь, так я женюсь на еврейке — ничего другого я не признаю! Да будет вам стыдно, господин Фрейтаг, — когда вы бесчестите еврейскую девушку, вы бесчестите весь еврейский народ...

— Заткни глотку, скотина, не то я тебя отсюда вышвырну! — вдруг рассвирепел Фрейтаг.

Он весь напрягся, готовый ударить, но вовремя спохватился — так внезапно замолк и застыл Левенталь.

Нет, Левенталь не испугался; он был настороже, готовый ко всему, его, видно, ничуть не удивила даже внезапная вспышка Фрейтага. В ужасе от того, что едва не случилось, Фрейтаг всмотрелся в лицо Левенталья. Удивительно бесстрастное лицо, очень серьезное, никаких признаков волнения, лишь подергиваются жилки у глаз, и смотрят эти глаза на Фрейтага чуть ли не с любопытством, как на зверя незнакомой породы, которого необходимо понять, иначе неизвестно, как с ним обращаться.

Молчание нарушил Левенталь, несколько напряженно, но рассудительно он спросил (у него это всегда звучало так, словно он не спрашивает, а утверждает):

— Послушайте, я хочу задать вам один вопрос: что я вам сделал? Вам или кому-нибудь из ваших? Чего я хотел от этого плаванья? Мне только надо добраться до места, разве я хотел для себя неприятностей? Или хотел кому-то доставить неприятности? Разве я вас приглашал сидеть со мной? Меня усадили за этот стол одного, и никто меня не спросил, так где же мне сидеть, если не тут? Меня ткнули сюда одного, потому что я здесь единственный еврей, так почему сюда обязательно врывается христианин и грозит мне только оттого, что у нас разная вера? Почему обязательно...

— Одну минуту, — сказал Фрейтаг. — Дайте мне объяснить...

И запинаясь, с горечью стал рассказывать, что произошло за капитанским столом.

— Оскорбили мою жену, вот что было невыносимо, — докончил он. — Тогда я перешел сюда, а вы...

— Если я сказал, что еврейка не должна изменять своему народу, это никакое не оскорбление, — все так же рассудительно сказал Левенталь. — У меня и в мыслях не было вас оскорбить.

И Фрейтагу стало ясно, что эта душа глуха к его беде и к беде Мари и не найти в ней ни тени сочувствия и понимания. Что ж, значит, он потерпел поражение... и тут-то силы вернулись к нему: нет, это не поражение, просто надо поставить вопрос совсем иначе и воевать с других позиций. Он наделал ошибок, с самого начала вел себя неправильно, по-глупому разговаривал с глупцами, вот и получал по заслугам. Теперь он станет умней, будет помалкивать о своих делах.

— Мне очень жаль, что я погорячился, — благородно заявил он и, сделав над собой усилие, слегка наклонился к Левенталю. — Я хотел бы принести вам свои извинения.

Короткое молчание; Фрейтаг почувствовал — на лбу у него проступает холодный пот. Левенталь утер рот салфеткой, тоже слегка наклонился к нему, посмотрел выжидающе. Но ничего не сказал. Фрейтаг взял себя в руки.

— Я сказал — я хочу перед вами извиниться, — повторил он самым официальным тоном.

— Ну так почему же вы не извиняетесь? — деловито сказал тот. — Я послушаю, что вы скажете.

— Десерта не надо, — бросил Фрейтаг топтавшемуся рядом официанту. Поднялся и слегка кивнул своему сотрапезнику. — А я уже сказал все, что хотел, — прибавил он почти весело.

И, ни на кого не глядя, неторопливым шагом вышел из кают-компания.

В истории с Фрейтагом капитану Тиле представился случай лишний раз проявить свою власть (из таких вот мелочей и складывается основа подлинного могущества) — и потому к обеду он явился не то чтобы в хорошем расположении духа, но по крайней мере в не слишком дурном: Лучшего у него не бывало. Он развернул большую белоснежную салфетку и, прежде чем заправить ее за воротник, взмахнул ею в воздухе, точно флагом. Вытянул шею, повертел головой вправо и влево, размещая поудобнее обвисшие складки двойного подбородка, и обвел взглядом всех сидящих за столом, будто ожидая благодарности. Скупно улыбнулся коварной, многозначительной улыбочкой, отрывисто покивал и только после этого заговорил:

— Ну вот, теперь у нас не так тесно, нет неподходящих

элементов, и я не сомневаюсь, что всем стало гораздо уютнее. Итак, — он поднял правую руку, точно благословляя их всех, — я избавился от субъекта, который втерся к нам, прикрываясь ложной личиной, и теперь все мы здесь — люди одного круга. Надеюсь, дальнейшее плавание для нас будет приятным.

Все зааплодировали этой изящной небольшой речи, негромко, сдержанно хлопая в ладоши, и заулыбались капитану, так что под конец у всех щеки расплылись, а глаза хитро сощурились.

— Подлинная сила всегда проверяется действием, действием внезапным, решительным и, разумеется, успешным, когда точно рассчитаны время и направление удара и противник захвачен врасплох, — изрек профессор Гуттен. — В данном случае, дорогой капитан, малейшее колебание с вашей стороны (а этого, смею сказать, и вообразить невозможно) создало бы ложную обстановку, несовместимую с нашим духом, и подорвало бы самую основу нашего общества. Может показаться, что случай этот мелкий, — продолжал он, увлекаясь, — но именно такие решения по мелким как будто поводам нагляднее всего напоминают нам о наших принципах и показывают, насколько мы верны нашим великим традициям...

— И при этом сколько такта! — сказала фрау Риттерсдорф. — Еще бы! В конце концов, стиль, манера — это так важно!

Капитан самодовольно ухмыльнулся, любезно покивал фрау Риттерсдорф, и эта дама, ободренная, собиралась еще что-то сказать, но тут через стол перегнулась Лиззи, вытянула длинную тощую руку и проворно, энергично похлопала капитана по плечу.

— Вы замечательно приняли нас вчера вечером! — Она взглянула на Рибера, тот уж так расплылся в улыбке, что глаза у него стали совсем как щелки. — Вы всегда замечательный, но вот так, одним-единственным словом покончить с этой ужасной историей, которая всех нас растревожила, это просто чудо! Завидую такой власти!

Все опять зааплодировали, и за столом, где сидели испанские актеры (поодаль, но все же, на вкус капитана, недостаточно далеко), Маноло сказал негромко, но внятно:

— А, я знаю! Они вышвырнули того еврея, вот и празд-

нуют. Что ж, давайте и мы попразднуем!

— Bravo! — крикнула Ампаро, захлопала в ладоши и улыбалась, стараясь привлечь внимание капитана. Но он не посмотрел в ту сторону, а сдвинул брови и уставился в одну точку.

— Bravo! — вполголоса крикнули испанцы хором.

Рик и Рэк застучали по столу рукоятками ножей, но их тотчас угомонили; а старшие улыбались в сторону капитанского стола и приветственно поднимали руки.

— Им-то что за дело? — не обращая ни к кому в особенности и недоуменно хмурясь, спросил капитан. — Они что же, подслушивали? Или просто подхватили какую-то сплетню и поэтому себе позволяют такие вольности?

— Бродяги! — отрезал Рибер. — Не будь здесь дам, я бы выразился поточнее. Но чего же от них ждать? Цыгане!

— Разве они цыгане? Такие носатые? — удивилась Лиззи.

— А что? — сказал Рибер. — Их считают остатками выродившихся племен Израилевых...

— Эта точка зрения, я полагаю, давно уже отнесена к разряду мифов или фольклора, — начал профессор Гуттен.

— Они — католики, — вмешалась маленькая фрау Шмитт, радуясь случаю внести и свою долю в столь оживленную беседу.

— Просто испанцы худшего сорта, только выдают себя за что-то другое, — убежденно заявил капитан. — В моих краях говорят: «Царапни испанца — проступит кровь мавра» — этим все сказано!

Тут появился доктор Шуман, и его встретили так радостно, словно он вернулся из дальних странствий. Доктор был любезен, но сдержан, сказал официанту:

— Пожалуйста, немного бульона и кофе, больше ничего.

— А мы по вас соскучились! — сказала ему фрау Гуттен.

Доктор учтиво наклонил голову, несколько удивленный дружеской непринужденностью, которая установилась за столом в его отсутствие.

— Теперь нас как раз семеро, — продолжала фрау Гуттен, включая Шумана в сей магический круг: — Семь — счастливое число!

Мужу никак не удавалось вытравить из ее сознания такой вот ребяческий вздор, и он давно научился делать вид, что просто ничего не замечает. И теперь он обратился к капитану:

— Таким, как *эти*, — с ударением сказал он, кивком указывая туда, где сидели Фрейтаг с Левенталем, — таким, как *эти*, надо бы на кораблях и в другом общественном транспорте отводить особые места. Не следует допускать, чтобы они мешали людям.

— Но вчера вы, кажется, их защищали, я даже удивилась, — заметила фрау Риттерсдорф.

— Я никого и ничего не защищал, сударыня, я говорил об истории и суевериях древнего народа; я нахожу его чрезвычайно интересным, но должен сказать, современные потомки его куда менее интересны, вы со мною согласны, капитан?

— Вот что я вам скажу: будь моя воля, я бы ни одного не потерпел у себя на корабле, даже на нижней палубе, — ответил капитан. — Они оскверняют воздух.

Он закрыл глаза, открыл рот, целиком засунул в него ложку, до краев полную густого горохового супа с сухариками, сомкнул губы, извлек наружу пустую ложку, разок пожевал, глотнул и тотчас повторил всю процедуру. Остальные, кроме доктора Шумана, который пил бульон из чашки, тоже склонились над тарелками, и на время все затихло (если не считать бульканья и громких глотков) и застыло (если не считать неравномерного движения наклоняющихся и вновь поднимающихся голов): все семеро посвятили себя супу. Круг избранных замкнулся, в него не было доступа каким-либо нежеланным гостям, будь то союзник или враг. На всех лицах разлилось блаженное чувственное удовлетворение, смешанное с глубочайшим самодовольством: в конце концов, мы — это мы, не кто-нибудь, читалось на этих лицах, мы — сильные, мы всех выше, мы — соль земли. Утолив первый голод, они стали необычайно внимательны друг к другу, теперь каждый их жест, выражение лица были изысканно, преувеличенно любезны, как на сцене: разыгрывалось небольшое празднество — надо ж было отметить вновь обретенное родство, соединившие их совсем особенные узы крови и взаимопонимания. Взорам чужаков (так им казалось, на самом деле никто на них уже

и не смотрел, даже испанцы) они являли пример того, как ведут себя в своем кругу люди высшей породы. Профессор Гуттен спросил вина, и все они обменялись тостами. Они причмокивали губами и одобрительно повторяли: «Ja, ja!»¹

Даже маленькая фрау Шмитт (хоть она и плакала в тот день, когда капитан, правда для ее же пользы, публично ее отчитал; хоть она и страдала от одной мысли о бедствиях человечества; хоть она и желала только одного — всех любить и чтобы все любили ее; хоть она и проливала слезы, увидав большое животное или несчастного ребенка) — даже она ощутила себя теперь частицей этого утешительного, но и укрепляющего силы сообщества. В конце концов, как бы ни справедливы были ее добрые чувства, неправильно она сделала, что говорила с американцем Скоттом про того бедняка с нижней палубы, резчика по дереву. О заслуженном выговоре, полученном от капитана, она теперь вспоминала с гордостью, и это придало ей храбрости. Вдруг позабылась долгая жизнь, полная мелочных обид и унижений, позабылся страх перед старшими и вышестоящими и неизменное ощущение, что она (хоть и директорская жена, и сама учительница) всего лишь женщина, ничтожество, которое может обвесить мясник, перед которым дерет нос любой приказчик, — жалкое создание, которым может помыкать каждый встречный и поперечный. Нет, довольно! Надоело — вечно тебя теснят, обманывают, подсовывают что похуже... Она, прищурясь, поглядела на фрау Риттерсдорф и решила впредь отстаивать свои права в каюте. Она научит эту особу вежливости! Душа фрау Шмитт возликовала, теплой волной омыло ее радостное ощущение кровного родства с великой и славной расой; пусть сама она лишь мельчайшая, ничтожнейшая среди всех — но сколько у нее преимуществ!

И фрау Шмитт смотрела на капитана с кроткой сияющей улыбкой, с обожанием, ведь он такой строгий, сильный, безжалостный, мгновенно восстанавливает справедливость, он — живое олицетворение мужественности, таинственной силы, что правит не только землей и всеми земными тварями, но, как Бог-отец, всей Вселенной. Ей казалось — во круг на каждом лице лежит отблеск той же славы и величия. И фрау Шмитт заговорила:

¹ Да, да! (нем.)

— В конце концов, иногда приходится поступать сурово ради самозащиты, правда, капитан?

— Самозащиты? — живо откликнулся капитан. — Что за чепуха, дорогая фрау Шмитт. Обуздать каждого и держать в узде, чтоб знал свое место, — это не суровость и не самозащита. Просто это значит соблюдать естественный порядок вещей и неуклонно ему следовать.

Фрау Шмитт внутренне вздрогнула, но все же нашла в себе силы улыбнуться.

— Всегда я не то говорю, — пробормотала она.

Капитан скорчил мимолетную одобрительную гримасу: да, женщины — вот кого прежде всего надо держать в узде. Она ожила и затрепетала под этим взглядом господина и повелителя; все еще улыбаясь, склонила гладко причесанную головку и набрала полный рот фаршированного перца.

Рибер недолго разделял общее веселье, его одолела задумчивость. Он ел, а на лысой голове, на висках все гуще проступал холодный пот и ручейками побежал за воротник. Дыхание стало прерывистым, так что даже заколебалось круглое брюшко. Наконец, озабоченный своими мыслями, он перестал жевать, отодвинул тарелку, выпятил нижнюю губу, точно капризное дитяtko. Поежился, утер лицо и лысину салфеткой, скомкал ее и запихал в карман. Тотчас опять вытащил, старательно сложил по складкам, как будто у себя дома; аккуратно, крест-накрест положил на тарелку нож и вилку: нож поперек, вилку вертикально сверху; так его сызмальства учила бабушка: поел — ставь на пустой тарелке крест в знак благодарности господу богу за пищу, — и он никогда об этом не забывал.

— Прошу меня извинить, — суетливо пробормотал он и выскользнул из-за стола.

К трапу он, даром что коротконогий, подбегал уже неловким галопом. Действовать надо быстро и решительно, профессор Гуттен совершенно прав. А он, Зигфрид Рибер, по собственной небрежности, да-да, по собственному мало-душию дал поставить себя на корабле в ложное положение, недостойное его как немца: он жил в одной каюте с Левенталем, а этого с самого начала нельзя было допускать. Это же непростительное оскорбление тому естественному порядку вещей, которому он, Рибер, обязан подчиняться сам и подчинять других, как делает капитан. Что могли думать о

нем люди? Что он втихомолку завел дружбу с евреем и держится с ним на равной ноге? Рибер совсем растерялся и смутился, так бывало с ним в страшных снах: вдруг привидится, будто он где-нибудь в людном месте, в толпе, голый среди одетых, и все глаза устремлены на него; или, еще того хуже, застигнут за каким-то смехотворным и гнусным занятием и его беспощадно осуждают несчетные толпы призрачных свидетелей — он не видит среди них ни одного знакомого лица, но все они знают его насквозь, знают всю его подлость и гнусность, его постыдное прошлое...

— Ach, Gott! Ach, Gott!¹ — твердил он про себя, торопливо подбегая к каюте судового казначея. Так не может продолжаться, нет-нет, надо сейчас же исправить дело, надо все изменить сию же минуту!

Казначей, откинувшись в удобном кресле, уплетал солидный кусок торта, прихваченный со стола, это был уже третий кусок, толстяк позорно стянул его, уходя из кают-компани. Толст он был непомерно и толстел не по дням, а по часам, и при этом его день и ночь мучил голод. Когда в дверь заглянул Рибер, первым движением казначея было спрятать торт под бумагами на столе, но он тут же передумал и запихнул весь оставшийся кусок в рот.

— Ну-ну, войдите, — проворчал он с полным ртом, давясь и фыркая крошками. Дважды с усилием глотнул и повторил: — Войдите, пожалуйста, — с нажимом произнес он последнее слово.

Он все равно не насытился, да и жаль было торта. Он-то хотел насладиться им без спеха, такая досада, что нагрязнул Рибер и помешал. Да и не нравится ему этот Рибер, с первого дня не нравится, — а потому, с чем бы он сюда ни завился, решено: сделаем для него как можно меньше...

Рибер сразу взял быка за рога. Он не сомневался, что казначей тотчас же прекрасно его поймет.

— Для меня большая честь сидеть за одним столом с капитаном, — сказал он. — Капитан не всякого допускает за свой стол. Но если он не пожелал терпеть общество еврея за обедом, с какой стати я должен делить с евреем каюту? Попрошу вас безотлагательно исправить это недоразумение.

¹ О, господи! (нем.)

— Тот не еврей, — мягко возразил толстяк. — У него жена еврейка. Я про это слышал. — Казначей делал вид, будто если и не сочувствует, то, во всяком случае, готов исполнять свои обязанности, ведь в числе всего прочего он обязан и выслушивать жалобы вот таких, как Рибер. Нельзя давать этому ничтожеству повода заподозрить, что с ним не считаются. — Вы совершенно правы. Я посмотрю, что тут можно сделать. Понятно, для Фрейтага есть только одно подходящее место — с Левенталем. Знай я заранее, я с удовольствием так бы и устроил. А теперь, я думаю, нам надо будет попросить господина Хансена перейти в вашу каюту, он сейчас помещается с Фрейтагом.

У Рибера даже в ушах зашумело.

— Только не Хансена! — выкрикнул он, потом прибавил потише: — Нет, знаете, это не многим лучше.

— Почему? — спросил казначей. Он отлично знал почему. Хансен и Рибер не терпели и избегали друг друга с первого же дня, когда у них вышла какая-то дурацкая стычка из-за шезлонгов. Казначей ничуть не занимали подобные пустяки, но по долгу службы ему следовало о них знать.

— Предпочитаю держаться от него подальше, вот и все, — заявил Рибер.

— Ладно, предоставьте это мне, — сказал казначей. — Погляжу, что тут можно сделать. Зайдите, пожалуйста, через час.

Через час Рибер был тут как тут — и казначей с самым веселым видом преподнес ему дурные вести. Чтобы испробовать все возможности, он все же потолковал с герром Хансеном о тяжелом положении герра Рибера.

— Швед все-таки человек, — успокоительно произнес он.

— Только не этот, — мрачно возразил Рибер.

Однако Хансену и так неплохо, он даже отозвался о Фрейтаге вполне дружелюбно и намерен оставаться на прежнем месте, а стало быть, тут вопрос ясен. Но если герру Риберу угодно перейти в трехместную каюту, то, без сомнения, мистер Дэнни или мистер Скотт будут не против поселиться с Левенталем, а тогда герр Рибер может поселиться с кем-нибудь из них и с горбуном Глокеном.

— Ни за что! — бурно запротестовал Рибер.

Прекрасно. Тогда пускай Глокен перейдет к Хансену,

тот наверняка возражать не станет. Фрейтаг поселится с Левенталем, а герр Рибер может жить в одной каюте с мистером Дэнни и мистером Скоттом. Рибер некоторое время раздумывал и скрепя сердце согласился: все-таки это наименее неприятная из всех неприятных возможностей. Считая, что его согласие решает дело, он пошел укладывать свои пожитки. Левенталья в каюте не оказалось: он там только спал, а все остальное время предпочитал проводить на палубе. Рибер вернулся к казначею, и тут его ждал тяжкий удар.

Ни под каким видом (казначей явно повторял слово в слово то, что ему было сказано) ни мистер Дэнни, ни мистер Скотт не станут менять каюту. Герр Глокен такой маленький, почти не занимает места, заявили оба, они привыкли к нему, он к ним, все трое вполне приспособились друг к другу, отлично ладят и не желают себя утруждать какими-то переселениями.

Пересказав все это, казначей наклонился к Риберу и прибавил многозначительно:

— И они были очень нелюбезны, скажу я вам... не то что разозлились, ничего подобного, как раз наоборот. Вы, наверно, слышали, как американцы насмеваются над людьми — сами знаете, они вечно зубы скалят. Это хуже всего. Уж лучше бы ругались. Ну, значит, этот Скотт что-то такое сказал, наверно, на ихнем жаргоне, я не разобрал, и они оба заржали — не то чтобы засмеялись по-людски, а эдак, знаете, издевательски, от ихнего хохота прямо кровь в жилах стынет. Кто бы надо мной так посмеялся, да я б его убил!.. Ну, короче говоря, не надо вам с ними съезжаться. Мало ли что. Не доверяю я американцам, у них в роду найдутся индейцы, а то и негры либо евреи... все они дикари, нечистая кровь. Они ради выкупа крадут малых детей, а потом их убивают, — вдруг прибавил он плаксиво. — Представляете, им заплатят выкуп, они деньги возьмут, а ребеночка все равно убьют!

Рибера от этой речи бросило в жар, он слушал, впиваясь взглядом в лицо казначея, только изредка мигал, и внезапная перемена темы возмутила его. Подозрительнейший тип этот казначей, на любую гадость способен. Нашел время хныкать над краденными детишками, да еще американскими! Наверняка он стакнулся с Фрейтагом, а тот, нахал, как вся его порода, намерен втереться в лучшее общество, где его

вовсе знать не хотят... Риберу было уже известно, что к чему, но он все равно не желал признавать во Фрейтаге христианина. Женился на еврейке, стало быть, и сам еврей, коротко и ясно... А может, он затеял преступный сговор с этими гнусными американцами, они, наверно, и сами наполовину евреи. И Хансен туда же: называет себя шведом, но у нордической расы таких огромных носов не бывает. А казначей — явный предатель, сочувствует евреям; пожалуй, Левенталь с самого начала его подкупил, чтобы поместиться в одной каюте с немцем. Рибер вконец разъярился, напыжился, весь побагровел и заорал:

— Ах так? Эти подонки надо мной измывались, обзывали по-всякому, а вы им слова не сказали?

— А что было говорить? — возразил казначей. — Я за их манеры не отвечаю.

— Значит, они оскорбляют немцев на немецком корабле, а вы им спускаете, да? Ну, ладно, про это узнает капитан, посмотрим, как ему понравятся такие порядки на его судне.

Казначей приподнял руку:

— Очень вам не советую жаловаться на меня капитану. Уж поверьте, ему сильно не нравится, когда пассажиры вмешиваются в корабельные дела. Я только для того это говорю, чтоб вы не попали в неловкое положение, — прибавил он кротко.

Рибер и впрямь притих, владевшее им бешенство сменилось чуть ли не унынием.

— Они болтают, они делают глупости, а нам-то что? — философически и словно бы рассеянно спросил казначей. — Успокойтесь, герр Рибер, не так уж все плохо, потерпите денек-другой. На все нужно время, — напомнил он, будто только сейчас открыл эту истину. — Может, мы еще что-нибудь придумаем. А теперь, — посоветовал он с отеческим добродушием, — давайте-ка выпьем по кружке пива, может, что-нибудь и изобретем.

При этих словах Рибер несколько оживился, — что ж, надо будет набраться терпенья.

Казначей тяжело поднялся и, пыхтя, остановился перед Рибером. В этот час он привык вздремнуть, а тут изволь ублажать дурака пассажира.

— Пойдемте, — учтиво сказал он и, несомненно, к нема-

лomu нравственному ущербу для себя, подавил вполне естественное и похвальное желание как следует приложиться огромной жирной ручищей к багровой потной физиономии герра Рибера.

То был день рождения миссис Тредуэл — не впервые она проводила его в одиночестве, на корабле или в вагоне; свой возраст (сорок шесть) она ощущала как прямое оскорбление своим эстетическим вкусам. После сорока счет годов скучен и нерадостен, но сорок шесть — это звучит совсем безнадежно, ты уже пожилая, уже слишком поздно умереть молодой, вообще же думать о смерти слишком рано. И какое нелепое время, чтобы появиться на свет — последний день августа: иссушенный, нескончаемый, знойный конец лета, совсем это ей не подходит; а меж тем для нее настала пора, когда жизнь человеческая больше всего схожа с этим месяцем засилья насекомых... на земле в это время цветут только сорные травы, и, как утверждает недобрая молва, в душе тоже произрастают одни плевелы. От страха, что жизнь проходит и упущенного не вернешь, пробуждаются низшие инстинкты и толкают в погоню за сомнительными наслаждениями. Говорят, сердце охладевает и черствеет, либо, перезрев, становится чересчур мягким и податливым; по общему мнению, чаще всего теряют скромность и добродетель женщины. Становятся визгливыми и сварливыми, до безобразия жиреют или высыхают как палка, втихомолку привыкают выпивать или пилят мужей; запутываются в постыдных любовных связях; находят себе чересчур молодых мужей — и за это им воздается по заслугам; если в придачу у женщины есть какие-то деньги, к ней тянутся всевозможные паразиты, а поодаль подстерегают еще и лесбиянки, дожидаясь, когда тебя одолеют одиночество и страх; да и как тут не прийти в ужас, сказала себе миссис Тредуэл и, покачав головой, опять взялась за журнал.

Она удобно откинулась в шезлонге и то подремывала над старым номером «Иллюстрасьон», то раздумывала о своем возрасте — прежде он ее никогда всерьез не тревожил, и вдруг, ни с того ни с сего, оказалось, что само время, точно огромный паук, неустанно оплетало ее жизнь пыльной паутиной, ткало и ткало нити, и вот плотно обволокло

всю, и уже внутрь не пробивается свет, слабей бьется сердце, нечем дышать... Смерть, смерть! — сказала она, и ее захлестнул первобытный, неодолимый ужас, как бывало в детстве, когда она боялась темноты. Фу, какая нелепость, сказала миссис Тредуэл, встала, отшвырнула журнал; вспомнилось — когда-то взрослые рассказывали ей утешительный вздор о том, как это приятно — тихо и мирно стареть; она тогда сказала наотрез: она вовсе не намерена стареть, пусть даже тихо и мирно. И она верила в то, что говорила, вот что значит быть ребенком! Да полно, стала ли она взрослой? Быть может, она и не была «зрелой» женщиной (до чего неприятное слово!), а, сама того не заметив, прямо перешла из детства в старость? Ведь всякий знает — пристрастие к печальным раздумьям, к бесконечным воспоминаниям о прошлом — вернейшие признаки старости. Миссис Тредуэл подошла к борту (уж очень мал этот корабль, прямо как тюрьма, совсем некуда пойти!), оперлась на перила, свежий ветерок повеял в лицо, — она вдохнула прохладу и подумала, что не так уж плох этот день позднего лета в Атлантическом океане, случалось проводить дни рождения и похуже. Понемногу жара спадает, уже не так слепит солнце; уже дважды вечерами вдали вставали недвижные облачные громады, и от них на волны ложился алый отсвет, и там глухо погромыхивало и вспыхивали неторопливые зарницы; вот и сейчас край небес сгущаются гряды облаков.

— Жаль, что не с кем смотреть на облака, — сказала она себе. И решила, что не станет перед ужином пить коктейль.

Подумала об ужине — и вспомнила надоедливую соседку по каюте Лиззи Шпёкенкикер: та в большом волнении толковала что-то загадочное и непонятное, что-то случилось в кают-компании, какие-то произошли важные перемены, теперь все рассажены по-другому.

— Это же еще вчера было! — восклицала Лиззи. — Я все ждала, что и вы заговорите!

— А о чем, собственно? — лениво, равнодушно спросила миссис Тредуэл.

— Да неужели вы ничего не замечали? Это же все прямо у вас на глазах вышло!

— А я не смотрела, — сказала миссис Тредуэл.

— Мне до смерти хочется вам рассказать, да только лучше сами увидите.

— Это и правда меня касается? Или мне надо за кем-то подглядывать?

— Это всех нас касается, — в восторге почти пропела Лиззи. — Это просто замечательно, я ужасно рада, и меня смех разбирает.

Она и вправду засмеялась — и миссис Тредуэл подумала, что так, наверно, смеялась бы гиена, если б на нее напала истерика. Тогда-то она и ушла из каюты: лучше остаток дня провести на свежем воздухе и почитать журнал. Что это крикнула ей вдогонку Лиззи, когда она уже затворяла за собой дверь? «Спросите герра Фрейтага, он все знает!» Сейчас, вспоминая это напутствие, миссис Тредуэл мысленно услышала в тоне Лиззи некий намек, которого прежде не заметила. Может быть, и правда поискать Фрейтага? Он был очень мил, когда они в Гаване посидели часок за пуншем. Можно выпить с ним коктейль, послушать последние сплетни, попросить оркестр сыграть «Ich bin die fesche Lola» и, пожалуй, даже после ужина немножко потанцевать. Она отправилась на поиски и застала Фрейтага в одной из маленьких гостиных — он как раз вставал из-за стола с запечатанным конвертом в руке. Увидел ее и застыл, но она сразу заговорила, не успев разглядеть, какое у него стало лицо.

— Давайте пойдем на палубу, посмотрим вместе на облака, — сказала она. — Сегодня у меня день рождения.

Он подошел к ней, бледный, сдвинув брови, и спросил так, словно не поверил своим ушам:

— Что вы сказали?

— А что я такого сказала? — удивилась миссис Тредуэл. — Что случилось, герр Фрейтаг?

— Будьте любезны, миссис Тредуэл, объясните мне, что вам от меня угодно? Чего ради вы сюда явились? Самым подлым образом меня предали, обманули мое доверие, наболтали про мою жену этой ведьме Сплетенкрикер, заварили кашу, которую я должен расхлебывать, а теперь...

Он выпалил это, жарко, прерывисто дыша ей прямо в лицо, и миссис Тредуэл съежилась, ее даже затрясло — не от страха, но от угрызений совести: она все вспомнила, поняла, о чем он, поняла, что попалась в ловушку, которую ей расставила Лиззи.

— Но что случилось? — тихим, дрожащим голосом вымолвила она и растерянно протянула руки ладонями вверх. — Она сказала, вы знаете...

— Вы бессердечная дура! — снова взорвался Фрейтаг, вне себя от ярости. — Мало вам того, что вы натворили, вы еще и насмехаетесь? Прикидываетесь, будто... да вы что, не знаете, что эта... эта... — он едва не обругал Лиззи последними словами, но поперхнулся, — да она за столом при всех разболтала, что вы напились пьяная...

Миссис Тредуэл пошатнулась, схватилась за голову и рухнула на ближайший стул.

— ...напились и позорно выболтали все, что я вам доверил в минуту откровенности... а капитан, эта вонючая свинья...

— Не ругайтесь так, — чуть погромче сказала миссис Тредуэл и помотала головой, словно пытаюсь вытряхнуть из ушей его крик. — И я не была пьяная, это поклеп...

— Он не просто свинья, он из мерзейшей породы свиней, которые обожают и пестуют собственное свинство! Он своим свинством похвывается, навязывает его всем вокруг. Он и думает, и говорит по-свински, жрет и чавкает по-свински, он сам — воплощенное свинство, ему бы куда удобней и куда больше к лицу ходить на четырех ногах...

Миссис Тредуэл поднялась, зажала уши ладонями.

— Скажите, что он такого сделал! — крикнула она сквозь каменную лавину рушащихся на нее слов. — Иначе я не стану больше слушать!

— Он посадил меня за один стол с евреем! — заорал Фрейтаг, подхваченный непостижимым вихрем оскорбленных чувств, — и умолк, точно ему зажала рот невидимая рука.

— Разве это так страшно? — мягко, словно успокаивая помешанного, спросила миссис Тредуэл. — Неужели вас это и правда возмущает?

Фрейтаг, все еще бледный от бешенства, немного притих, однако гнул свое, ему непременно надо было заставить ее понять и признать, что это она во всем виновата. Пусть ее увиливает и выкручивается сколько угодно, он ей выложит все начистоту.

— Меня возмущает ваше предательство, — сказал он. — Капитан хотел унижить меня, а через меня — мою же-

ну, но он не может нас унижить. Он только и способен на нахальство, этот гнусный...

— Нет, — миссис Тредуэл покачала головой, — не надо опять браниться, довольно.

— Будь вы близкий друг, — с жаром заговорил Фрейтаг, он даже охрип от волнения, — будь вы мне родня или вообще кто-нибудь, кого я любил и кому верил, я бы не удивился. Но как я мог ждать такого вероломства, такого коварства от постороннего человека?

Миссис Тредуэл молчала, точно арестантка на суде, и довольно спокойно обдумывала вопрос, на который ей нечего было ответить. Хоть бы этот разговор поскорей кончился... но, разумеется, конца не будет, пока ее обвинитель, а ему сейчас и вправду больно и тяжело, не забудет о ее, миссис Тредуэл, существовании.

— Конечно, я не против Левенталя, и он наверняка не против меня, — сказал Фрейтаг и почти успокоился, внушив себе, что у них с Левенталем и впрямь установились только что им выдуманные вполне приличные отношения. — Попробуй мы с ним вступать в разговоры, мы бы, думаю, надоели друг другу до смерти, так что, скорей всего, и пробовать не станем. Он явно из низов, но я предпочитаю его этому капитану и всей тупоумной компании за капитанским столом... он по крайней мере человек порядочный и... — Фрейтаг на мгновение замялся, — ...и вполне воспитанный...

Он замолчал, не в силах сочинять дальше, миссис Тредуэл уже снова сидела и внимательно его слушала. Он тоже сел, наклонился к ней и готов был опять заговорить, но тут она сказала:

— По вашим словам выходит, он довольно славный.

И Фрейтаг отчаялся: что толку спорить, ее ничем не проймешь.

— Славный! — вымолвил он наконец. — Господи, да никакой он не славный, и совсем он мне не нравится, и ни при чем тут, что он еврей; будь он двадцать раз христианин, все равно бы он мне не нравился, потому что люди такого сорта не по мне. Можете вы это понять? — спросил он с любопытством, будто пытаясь объясниться на чужом языке. — Уж поверьте, он не из тех евреев, какие мне нравятся, — или, может, это слишком сильно сказано?

В его тоне звучала нарочитая язвительность, и миссис Тредуэл решила, что достаточно наслушалась резкостей, искупая свою вину перед ним. Пора вернуться к главному.

— У меня нет оправдания, — заговорила она, осторожно выбирая слова. — Но почему, собственно, вы мне доверились? Я не добивалась вашей откровенности. Мне и в голову не пришло, что вы доверили мне секрет. Если бы вы меня предупредили... но вы обвиняете меня в таких низких побуждениях...

Она запнулась, неприятно было смотреть на него — такое нестерпимое, не знающее стыда и меры волнение в его лице, и горе, и растерянность, и гнев. Казалось, он еле сдерживается, он так нахмурился, что меж бровей прорезались новые морщинки. Надулся прямо как Арне Хансен. Наклонил к ней отчужденное лицо, словно так ему легче ее слышать, но светло-серые тоскливые глаза наконец-то отвел.

— ...а у меня никаких побуждений не было, в том-то и дело, — торопливо продолжала миссис Тредуэл. — Я вам не друг, как я могла быть вашим другом? Будь мы друзьями, я все про вас знала бы и не было бы случая с кем-то обсуждать вашу жизнь. Чего вы, собственно, от меня ждали? И не враг я вам. Просто я совсем про вас не думала.

— Благодарю, — сказал он с горечью. — Очень правильно делали.

— Ну что вы как маленький, я же не хочу сказать ничего обидного. Просто я слишком мало вас знала, потому и не хранила ваши секреты... между прочим, хоть убейте, не понимаю, почему вы и теперь считаете, что это секрет.

— Когда я еду куда-нибудь один, я езжу как христианин, — очень просто сказал Фрейтаг. — Когда мы вдвоем с женой, все по-другому: у нас никогда нет уверенности... может быть, вы не знаете, как сейчас в Германии? Положение у нас сейчас очень шаткое, и становится все хуже...

— Но если ваша тайна так много для вас значит, почему вы поделились со мной?

— Меня это угнетало, показалось — вы человек отзывчивый, я и заговорил, а о последствиях не подумал.

— Вот и я говорила, не подумав, — сказала миссис Тредуэл. — И я тоже кое в чем признаюсь. В тот вечер я вы-

пила целую бутылку вина. Скука одолела, оцепенение какое-то, все стало безразлично...

— Вы хуже всякого вероломного друга, — неожиданно грубо прервал Фрейтаг. — Вы хуже злейшего врага. Скука одолела! Да какое у вас право скучать? Все стало безразлично! Да какое вы имеете право жить среди людей и нисколько о них не думать? Вы сделали подлость, предали человека, который вам доверился, от которого вы ничего худого не видели, — и вам наплевать... вы даже не понимаете, что натворили!

Миссис Тредуэл вскипела. Хватит, не позволит она больше на себя кричать из-за какой-то чепухи.

— Начать с того, что вы сами себя предали, — небрежно, почти весело напомнила она. — И вы чересчур много себе позволяете, и вы глубоко неправы. На самом деле мне совсем не наплевать, я от всего сердца сожалею о том, что с вами произошло, — сказала она и сама удивилась этим словам.

— То, что *из-за вас* произошло, — упрямо, испуленно повторил Фрейтаг. — Не забывайте, это все вы наделали, вы во всем виноваты...

— Я ведь и сама себе поразилась, — сказала миссис Тредуэл, — и, возможно, вы правы, осуждайте меня сколько угодно. Но сейчас вы облегчили мне задачу, так вот, откровенность за откровенность: да, вы и тут правы — мне надоела вся эта история, не желаю больше про нее слышать, не желаю расстраиваться по такому поводу, хватит с меня ваших разговоров.

Она встала, отошла на несколько шагов и обернулась — может быть, он еще что-то скажет? Пускай последнее слово останется за ним, он имеет на это право. Внутри у нее все дрожало от негодования; противно было смотреть на его лицо, окаменевшее в себялюбивом, вызывающем сознании собственной праведности.

— От всего сердца, — повторил он. — Да у вас нет сердца. И вы не понимаете, что происходит. Дело не в одном этом случае, нет, всю жизнь так, во всем мире так, и никакой надежды, что когда-нибудь это кончится... Любишь женщину больше всего на свете, и у тебя на глазах ее втаптывают в грязь ничтожества, которые подметки ее не стоят! Видели бы вы ее, так поняли бы, про что я говорю. Мис-

сис Тредуэл, она такая хрупкая, чуткая малютка, вся золотистая, по утрам она особенно хороша и весела, и она такая чистая душа, она все преобразует вокруг как по волшебству. Когда она заговорит, точно птичка поет в ветвях!

Он подступил к ней почти вплотную, так близко, что она опять ощутила на лице его дыхание, и говорил с огромной силой, черты его страдальчески исказились, на глазах блестели слезы. Миссис Тредуэл, захваченная враспloch так внезапно, против воли, сдалась, на минуту прониклась его чувствами, ощутила его неподдельное, жгучее страдание, поняла, как она виновата, и приняла в наказание долю не только этой муки, но и всей неохватной, безмянной, бесконечной человеческой скорби, которая обратилась бы к ней с укором и обвинением. Она отступила на шаг, бессильно уронила руки вдоль тела. Да, конечно, она виновата.

— Не надо! — сказала она. — Не говорите, довольно. Послушайте меня. Послушайте минутку. — Она тяжело перевела дух. — Я хочу, чтобы вы меня простили, слышите? Постарайтесь меня простить!

Теперь уже его вдруг перевернуло, он был тоже застигнут враспloch, неприятно поражен. Перед тем он даже наслаждался их столкновением, хорошо было дать выход бешенству, излить на эту женщину все, что накопело в душе, он хотел оскорбить ее, исхлестать словами, утолить жажду мести, не слушая никаких возражений. И вдруг, против воли, ощутил жаркий порыв великодушия.

— Нет-нет, пожалуйста, не говорите так, — сказал он почти смущенно. — Я тоже виноват. Если мы будем продолжать в том же духе, нам придется прощать друг другу...

— Знаете, что самое ужасное? — дрожащим голосом вымолвила миссис Тредуэл. — Мы говорим так, будто все это и вправду существует, и, наверно, так и есть, а мне все кажется, что это страшный, отвратительный сон, я просто поверить не могу...

— Но это вполне трезвая реальность, — сказал Фрейтаг, и ему захотелось ее утешить. — Да вы, кажется, сейчас заплачете?

— Какие пустяки, — самым обыкновенным своим тоном заметила миссис Тредуэл. — Я никогда не плачу.

Она попробовала было засмеяться — и разразилась бурными, неудержимыми рыданиями. Фрейтаг, как человек

женатый, привычный к неожиданным женским порывам, быстро оглянулся — не появились ли в маленькой гостиной непрошенные свидетели, стал спиной к двери, чтобы загорой плачущую, если кто-нибудь войдет, и подал ей большой полотняный носовой платок.

— Ну-ну, — успокоительно приговаривал он, пока миссис Тредуэл утирала глаза и сморкалась. — Вот так-то лучше. И знаете что? Не пойти ли нам с вами и не выпить ли по стаканчику хорошего коктейля?

— Одну минуту, — попросила миссис Тредуэл.

Она достала из сумочки зеркальце, пудру и губную помаду и впервые в жизни нарядилась и напудрилась прилюдно. При одном ли свидетеле или при целой толпе — это одинаково предосудительно. А ей уже все равно. Она изнемогла, обессилела и в то же время успокоилась; отвратительны такие вот мелодрамы, всякие сцены — пошлость, безвкусица, а Фрейтагу доверять нельзя, он явно по природе своей склонен разыгрывать сцены... однако же (как бы оно ни получилось, и даже сейчас ясно, что это ненадолго) на душе вдруг стало необыкновенно легко... Почти беспечно, словно бы махнув на все рукой, она сказала:

— С удовольствием выпью коктейль, да порцию побольше!

И они вышли в коридор, словно добрые знакомые, исполненные любезности и взаимного благожелательства.

— Не знаю, сумею ли я уснуть сегодня ночью, — сказал Фрейтаг. — Меня преследует одна мысль: забавно было бы стащить эту крысу капитана с мостика и швырнуть за борт. Но теперь, благодаря вам, я сумею устоять перед искушением.

— Ну почему же? Меня совсем не огорчило бы, если бы вы справились с нашим капитаном.

— Вы каким-то образом вернули мне хладнокровие. Мне необходимо попасть в Германию и вывезти оттуда жену и ее мать, только об этом и надо думать, и я не должен привлекать к себе внимания. Конечно, утопить капитана — сладостная мечта, но мне нельзя поддаваться соблазну. Я должен забрать их оттуда.

Когда они уже сидели в баре, он спросил:

— А сегодня правда ваш день рождения? Вы ведь так сказали, когда вошли в гостиную?

Она кивнула:

— Сорок шесть, представляете?

Его даже покорило от столь неженственного признания, и, стараясь это скрыть, он сказал:

— Очаровательно! Желаю вам еще многих, многих лет.

— Но, пожалуйста, не надо слишком много коктейлей. Если мне захочется еще выпить, я вам скажу.

Фрейтаг обвел глазами бар, народу все прибавлялось. Дженни Браун и Дэвид Скотт уселись на высоких табуретах и издали приветствовали его на мексиканский манер — подняв правую руку на уровень лица, ладонью наружу, легонько пошевелили пальцами. Он ответил тем же, и миссис Тредуэл сказала:

— Это очень мило выглядит.

— Говорят, этот жест означает «поди сюда», — пояснил Фрейтаг.

Он по-прежнему переводил взгляд с одного лица на другое, точно ждал, что все на него уставятся — прежде ему ничего подобного и в голову не приходило. Лутцы и Баумгартнеры встретились с ним глазами и кивнули — ну конечно, самые тупые из всех тупиц на корабле, у них, наверно, просто не хватает ума понять, что произошло. Все его недавние соседи по капитанскому столу были тут же, но словно не замечали его. Даже испанцы, невозможная публика, — и те на него не посмотрели, хотя одна из танцовщиц, молоденькая Конча, в последнее время частенько впивалась в него глазами, и, уж наверно, неспроста. Даже молодая кубинская пара не обращала на него внимания, хотя он столько раз играл с их детишками — трубил в картонные дудки, подставлял себя под выстрелы их водяных пистолетов, разгуливал по палубе, посадив девочку на одно плечо, мальчугана на другое; даже горбун, даже этот нелепый верзила из Техаса — Дэнни — и те его будто не видели; ему как-то не пришлось в голову первым с кем-нибудь заговорить, и почему-то он не вспомнил, как ему раньше хотелось, чтобы так называемые спутники держались от него подальше.

— Совсем упустил из виду, — сказал он и нахмурился сильнее прежнего. — Может быть, вам неприятно появляться в моем обществе? Помните, я ведь отверженный.

— Вы уверены? А известно вам, сколько у вас друзей?

— Начать с того, что у меня тут нет друзей, по крайней

мере я их не знаю, — мгновенно вспыхнул он. — Разве что какие-то шапочные знакомства, этого сверхдостаточно.

— Тогда не все ли вам равно, разговаривают с вами или нет? — спросила миссис Тредуэл.

Все всколыхнувшиеся было в ней чувства медленно, но верно отступали, прятались в привычную раковину. «Опять я дала себя втянуть в ненужные отношения», — упрекнула она себя и, сжимая ножку бокала и глядя чуть выше Фрейтагова галстука, холодно, спокойно подумала: этот господин так же несносен в своем роде, как скучнейший Дэнни — в своем. И все же побоялась, что он заподозрит перемену в ее мыслях и настроении, и поспешно прибавила, что среди пассажиров есть и кое-какие довольно приятные люди (она не назвала, кто именно), но сказать по совести, она будет рада и счастлива, если до конца плавания никто на нее и не посмотрит.

— Меня тоже это не трогает, — сказал Фрейтаг. — Нисколько. Но поймите, когда люди — да еще те, кого вы презираете, — чувствуют, что можно вам хамить, — это совсем другое дело.

— Безусловно, — сказала она и допила свой коктейль.

— Выпьете еще? — предложил он и, не дожидаясь ответа, попросил: — Выпейте, пожалуйста. Мне тоже хочется.

— Охотно, — сказала она.

И пока они ждали коктейля, она облокотилась на столик, подперла щеки ладонями и заговорила с обычной небрежной любезностью, как говорят о совершеннейших пустьках, просто чтобы не сплошь молчать:

— Представьте, раньше мне казалось, что вы самый беззаботный человек на свете, может быть, единственный, у кого нет никаких огорчений; не проболтайся я так глупо этой ужасной Лиззи, я с удовольствием и дальше в это верила бы. Очень было бы забавно, и незачем было бы о вас думать. А теперь, похоже, мы с вами как-то связаны, нам следует стать вроде как друзьями и стараться разговаривать друг с другом, даже когда не очень хочется: пускай все эти чужие люди, которых мы больше никогда не встретим (надеюсь, что не встретим!), видят, что мы не перегрызлись, назло Лиззи, и Риберу, и капитану, и всем прочим...

Фрейтаг слушал — и порядком приуныл. У него еще прежде мелькнуло опасение, как бы интимная сцена, что разы-

гралась между ними в маленькой гостиной, не навела эту даму на мысль о еще большей близости. Наверно, когда-то она была прехорошенькой девушкой, она и сейчас очень недурна — в особом, не броском, пожалуй, уж чересчур утонченном стиле, — но лечь в постель с женщиной сорока шести лет... брр, подумать страшно! Он даже испугался, как бы лицо его не выдало нахлынувшего ужаса. Есть верный способ завоевать неотвязную преданность собаки: надо ее постоянно бить. Некоторые женщины — вроде такой собаки. Эта очень прилично перенесла трепку (вполне заслуженную) — но неужели теперь от нее не отвязаться? Надо бы выяснить, что у нее на уме.

— Но мы же друзья, правда? — осторожно спросил он.

Ему еще предстояло узнать, что он может не опасаться ее приставаний, — и предстояло удивиться тому, как его это раздосадует; но сейчас ее ответ отнюдь его не успокоил. Меж тем миссис Тредуэл уже вполне собой овладела и с улыбкой пила второй коктейль, дожидаясь удобной минуты, чтобы улизнуть.

— Конечно, друзья, — ответила она самым ободряющим тоном, Фрейтагу бы и во сне не приснилось, что мысли у нее прямо противоположные.

Что ж, решил он, надо только вести себя в меру скромно, быть начеку и держаться от нее подальше. Он залпом допил коктейль, поставил стакан и отодвинул его от себя. Миссис Тредуэл отставила свой, не допив. Пора было разойтись, и тут Фрейтага опять охватили сомнения: вовсе она ему не нужна, и однако не хочется совсем ее упустить.

— После всех неприятностей мы с вами чудесно провели время, — сказал он. — И гораздо лучше узнали друг друга, правда?

Она улыбнулась, но смотрела при этом не на него, а сквозь него, словно сквозь стекло.

— О да, разумеется, гораздо лучше, — сказала она и неторопливо пошла прочь.

Фрейтага опять зло взяло — не ярость, как прежде, а все-таки жгучая досада. Слишком много было самых разных причин для гнева, и не так-то просто сосредоточиться на подлинных, главных причинах. Но одна из них — способ, каким капитан заставил его раскрыть свой секрет, и во всем виновата эта женщина, вот она идет прочь, и под полотня-

ным платьем (с виду оно дорогое и сидит прекрасно) почти незаметно, как движутся ее стройные ноги и узкие бедра. Хоть она и всплакнула, что-то не верится, чтобы она всерьез раскаивалась; и наперекор всему, что он ей сказал, ему отчаянно захотелось еще сильнее ее унижить, так или иначе выставить перед всеми на позор, дать такой урок, чтоб век помнила... В эту минуту, как всегда один, появился Левенталь, остановился у стойки, и ему подали пиво. Фрейтагу перехватило горло, казалось, он вот-вот задохнется — до чего же все это оскорбительно! Нет, не будет он сидеть за одним столом с этим евреем... И не из-за того, что Левенталь еврей, доказывал он сам себе, словно спорил с кем-то посторонним, кто его осуждает, совсем не из-за этого. А из-за того, что учинили *над нами обоими*. Однако никогда он не признается, что оскорбили не только его. И тут молнией вспыхнула мысль: но ведь я не против евреев... как бы я мог? Ведь и Мари еврейка, Мари... но с какой стати огорчаться за этого жалкого человечка, за нелепого торгаша — он же всюду и для всех будет посмешищем. «Любопытно, продает он частицы креста Господня?» — спросила как-то Дженни, и Фрейтаг с веселым ехидством сообщил: «Говорят, у него там есть такой крохотный ковчежец ручной работы из слоновой кости, в крышку вделана маленькая лупа, а внутри тоненькая, с волосок, щепочка!»

«Даже не знаю почему, но мне это противно, — сказала тогда Дженни. — Представляете, какой-нибудь христианин станет ему продавать щепочку от Ковчега завета, или камешек от Стены плача, или кусочек ногтя с ноги Авраама?» — «Ну, его не проведешь, — ответил ей Фрейтаг. — Он бы сказал: у меня, мол, у самого такого товара полно!» И они весело посмеялись, а вот теперь Фрейтага грызет совесть — зачем он вместе с этой пустой девчонкой насмеялся над одним из сородичей Мари. Но то было прежде, чем его выставили из-за капитанского стола. И он в бешенстве напомнил себе, что должен терпеть Левенталья, должен обращаться с ним прилично, как бы тот себя ни вел и что бы ни говорил — даже не будь других причин, это его долг перед Мари. Да и перед самим собой, иначе он перестанет себя уважать... Скажу, чтобы еду приносили мне в каюту, решил он; иногда можно перекусить и на палубе. А разговаривать с ним буду, только когда этого не избежать.

После столкновения с Фрейтагом Левенталь и несколько повеселел, и успокоился. Он всегда чувствовал себя уверенней, а порой чуть не ликовал, когда наконец (рано или поздно это непременно случалось) затаенная враждебность, недобрые замыслы, ядовитые туманы ненависти обретали форму, цвет, направление и голос: в такие часы вновь на деле подтверждается его неизбежная участь — участь еврея; не остается сомнений, незачем больше ждать и остерегаться, опять его преследует весь мир, мир дикарей, и это бесспорное доказательство, что он избран богом. И всегда оказывалось, что это не так уж скверно, как он опасался; никогда невозможно предугадать, как на сей раз проявится преследование, но уже ясно: по-настоящему тебя ничем не удивят... каждый раз всё немного по-другому и всегда одно и то же, но, в конце концов, не смертельно, с этим можно справиться. Слова... что такое слова? Оскорбления, угрозы, брань, грубые остроты — подумаешь... все это его не задевает; от варваров ему нужно только одно, и этого он уже добился: они с ним торгуют. Почему бы не продавать им идолов, если они поклоняются идолам? И притом за хорошую цену. Он зарабатывает на этом деньги и заработает еще; он прекрасно знает, какие заветные двери можно открыть при помощи денег. Как приятно будет в один прекрасный день посмотреть, насколько высоко он поднимется с деньгами — так высоко, что его уже не посмеют оттуда сбросить! На душе у Левенталья стало чуть ли не празднично; он залпом выпил пиво и спросил еще, он предвкушал, как вечером увидит за своим столом герра Фрейтага и даст тому почувствовать, что стол — его, Левенталья, и что Фрейтага здесь только терпят из милости... Левенталь закурил хорошую сигару и не спешил пить вторую кружку пива. Краем уха он слышал, что эта свинья Рибер хотел вышвырнуть его из каюты — и остался с носом, потому что этого Рибера тоже никто не желает заполучить в соседи! Будет что рассказать кухне Саре, когда он наконец, даст бог, доберется до Дюссельдорфа. Левенталь был несколько огорчен и разочарован, когда Фрейтаг не явился к ужину и ему пришлось есть все те же безвкусные рыбные консервы в одиночестве. Надо уговорить его вернуться за этот стол, хотя бы для видимости. Надо сказать ему на палубе, когда кругом будет побольше народу, и громко, чтобы все слыша-

ли: мол, вы не обижайтесь на то, что я тогда сказал, герр Фрейтаг. Мол, если для вас не нашлось другого места, милости просим за мой стол. Интересно послушать, что он на это ответит!

Левенталь порядком расстроился и рассердился, когда на его вопрос официант ответил без обиняков:

— Герр Фрейтаг сказал, что поужинает позже, один.

Миссис Тредуэл сидела на краю своей койки и застегивала туфельки, передеваясь к ужину; Лиззи поглядела на нее и вся затрепыхалась, радостно захихикала. Миссис Тредуэл равнодушно подняла глаза, и Лиззи очертя голову ляпнула:

— Ой, я хочу послушать, что вам сказал герр Фрейтаг!

— Ничего особенного, — небрежно отозвалась миссис Тредуэл. Поднялась, встряхнула свое серебристое плиссированное платье, облеклась в него и, на ходу застегивая пояс, пошла к двери. — Кажется, он полагает, что в целом это очень приятная перемена — кажется, он имеет в виду, что его теперешнее общество гораздо лучше прежнего...

Она подобрала юбку и неслышно закрыла за собою дверь.

Дэвид и Дженни подняли бокалы с коктейлем и чокнулись.

— Salud, Дэвид, лапочка! — сказала Дженни. — Правда, какая дикость, что Фрейтага выставили из-за капитанского стола?.. подумай, он столько всякого мне про себя рассказывал, а вот об этом, про жену, ведь это так важно, не сказал ни слова! Но он ее просто боготворит!.. А вся эта история — постыдная, неслыханная, правда?

— Ну, я слыхал и похуже, и ты тоже, — заметил Дэвид. — Но, конечно, гнусность.

— По-моему, нам надо поговорить с Фрейтагом, пускай знает, как мы к этому относимся.

— Валяй, говори, — сказал Дэвид-лапочка ледяным тоном, глаза его гневно вспыхнули. — С каких пор ты ищешь оправданий?

— Почему, когда я поминаю Фрейтага, ты становишься такой несносный, Дэвид? — тихо, огорченно сказала Джен-

ни. — Ты же прекрасно знаешь, что он женат и без памяти любит жену, он человек общительный, и ему одиноко, тут на корабле, в сущности, не с кем словом перемолвиться... ох, как глупо, мне просто совестно об этом говорить. Я тебя не понимаю. Прежде ты никогда не ревновал...

— Вот как? — спросил Дэвид, словно бритвой полоснул. — Ты уверена?

— Ну, если ревновал, так зря, и сейчас тоже зря, — сказала Дженни. — Но все равно, пускай, лишь бы...

— Что лишь бы? — ласково спросил Дэвид: обоими овладела предательская нежность, та сердечная размягченность, которая всегда только сильнее их запутывала. — Почему тебе хоть немного не льстит, если я ревную? Может быть, все дело как раз в ревности? А по-другому объяснять мое поведение просто глупо.

— Нет, мне это не льстит, — сказала Дженни, — но знаешь, что я думаю? Ты дико разозлишься, Дэвид. Я подумала, может, ты пригласишь Фрейтага за наш стол, ему, наверно, ужасно неудобно сидеть с тем нелепым человеком...

— Нет, я не злюсь, — сказал Дэвид. — Я только потрясен твоей очаровательной сообразительностью. А может быть, Левенталю тоже нелегко?

— Ну конечно, Дэвид, с чего ему веселиться? Но прежде одному ему было не так уж плохо, и, если Фрейтаг перейдет к нам, Левенталь останется один, как был, так ему вполне уютно.

— А почему ты думаешь, что Фрейтагу сидеть и разговаривать с нами будет приятнее, чем с Левенталем? — спросил Дэвид. — Откуда мы знаем, может, Левенталь его вполне устраивает?

— Я думала, ты его спросишь, — сказала Дженни. — Тебе это проще.

— Почему? Он твой приятель, а не мой. Я с ним за все время и десяти слов не сказал.

— Нам бы надо иметь общих приятелей, — сказала Дженни. — Хорошо, если б нам стали нравиться одни и те же люди. Но тебе удобней спросить.

— Не понимаю, что у тебя на уме, — сказал Дэвид, ноздри его побелели, черты заострились. — Мне кажется, ты пробуешь обращаться со мной как с мужем.

— Никогда не была замужем, — возразила Дженни. — Не знаю, какое такое обращение требуется мужьям.

— Приглашай Фрейтага за наш стол, если тебе угодно, — сказал Дэвид. — А я с восторгом перейду к Левенталю.

И сердца их вновь закаменели так внезапно, что оба и сами удивились. Обменялись холодными взглядами, полными ожесточенного упрямства, и каждый молчаливо решил: если все это разобьется вдребезги, не я стану подбирать и склеивать осколки! В другом углу бара, у них обоих на виду, виновник их ссоры (вернее, предлог для ссоры), Фрейтаг, преспокойно распивал коктейли с миссис Тредуэл — красивая пара, в отличном настроении, явно не нуждаются, чтобы к ним лезли с помощью и сочувствием. При виде их все хладнокровие Дженни, решимость, уверенность в своей правоте развеялись как дым. Она обернулась к Дэвиду и смиренно подняла первый осколок чего-то, что они разбили, потом другой и попыталась заново сложить в нечто целое.

— Дэвид, лапочка, я бы выпила еще... даже лишнего бы выпила. Столько кругом всякого, и никак я не отучусь соваться в чужие дела.

Чета Баумгартнер с восьмилетним Гансом расположилась по соседству с самым большим столом в баре — его заняли испанские танцоры, они жадно поглощали огромные ломти торта и запивали их немислимым количеством сладкого кофе с молоком. Фрау Баумгартнер не удержалась и высказала по этому поводу соответствующее поучительное соображение.

— Какие они, в сущности, трезвенники, — произнесла она и мельком поглядела на мужнин бокал, где едва оставалось на донышке разбавленного коньяку. — За все плаванье ни разу никто не видел, чтобы они пили что-нибудь крепче столового вина, а чаще всего они ограничиваются кофе.

— К кофе тоже привыкают, как к наркотику, — напомнил ее супруг. — А бывают лакомки, которые способны сверх меры пристраститься к тортам и пирожным, и тоже во вред здоровью. — Он окинул беглым, зорким взглядом коллекцию пирожных со взбитыми сливками на тарелке жены. — О нравственности этих испанцев, какова бы она ни

была, нельзя судить по тому, что именно они едят и пьют, моя дорогая. Что пользы в воздержании от одного лишь алкоголя тем, кто погряз во множестве других пороков?

— Откуда ты знаешь? — спросила фрау Баумгартнер. — Мне очень нравится, как они танцуют, а что женщины кокетничают... ну, они ведь цыганки.

— Кокетничают! — многозначительно повторил Баумгартнер. — Ну-ну, Ганс, мой милый, хватит малинового сока перед обедом, испортишь аппетит.

Он спросил себе еще коньяку и рюмочку вишневого ликера для жены; она укоризненно улыбнулась ему и потом долго сидела, изредка вдыхая аромат ликера, отпивая по капельке. Но и ликер не доставлял удовольствия... увы, уже ничто, ничто в жизни не доставляет удовольствия!

Фрау Риттерсдорф велела палубному матросу поднять повыше спинку ее шезлонга, опустила на самые брови красную шелковую вуаль, убивая этим сразу двух зайцев: обрести нежный румянец благодаря отсвету косых солнечных лучей и укрыться от нескромных взоров, пока она будет вносить новые записи в дневник — последнее время она его совсем забросила.

«Не преувеличивая, могу сказать, что нет такой минуты, когда бы я наяву или во сне (да, и в самом глубоком сне!) не тосковала по моему Отто, не хотела бы его видеть и говорить с ним; но в последние дни мне его особенно недостает, потому что случилась презабавная история, над которой мы очень посмеялись бы вдвоем, маленькая комедия, прямо хоть сейчас на сцену: некоего христианина, женатого на еврейке, по ошибке усадили за капитанский стол. Внешность сего молодого человека весьма обманчива — с виду он вполне приличен... можно только пожалеть, что он оказался способен на такую ужасающую безвкусицу. Но сейчас не время спускать кому-либо подобные ошибки — попросту говоря, ему надо закрыть всякий доступ в общество порядочных немцев. Мы все за капитанским столом, разумеется, были восхитительно единодушны — мы решили, что его следует отправить на самое подходящее для него место: за один стол с евреем. Как я слышала, кое-кто из пассажиров за другими столами немножко волнуется по этому поводу.

Эти ужасные американцы, и вульгарные Лутцы (швейцарцы!), и еще более вульгарные Баумгартнеры (они, кажется, из Баварии) выставляют напоказ свое сочувствие этому типу. Американцы меня не удивляют, они и сами способны на всякую низость и потому не замечают низости в других; но немцы даже самого невысокого пошиба... казалось бы, уже одна их кровь должна бы подсказать им правильный отклик на подобное явление, тут и задумываться не о чем. Увы, и к голосу крови прислушиваются не всегда. В Мексике меня это просто ужасало. У меня там были знакомые, чистокровные немцы из хорошего круга, и они, правда не часто, приглашали к себе домой обедать евреев — своих клиентов или компаньонов. И оправдывались передо мной. «Это, знаете ли, только в интересах дела», — говорили они, или еще: «Понимаете, в Германии нам бы такое и в голову не пришло, а здесь это не имеет значения». А я им отвечала: очень даже имеет значение, господь бог все видит, говорю, и наши павшие герои взирают на нас в горе и изумлении! Так мне однажды написал мой Отто после проигранного сражения, и я никогда этого не забуду. У него было верное чутье, он никогда не ошибался! Он гордился тем, что ни один еврей ни разу не переступил порог его отчего дома, даже при дедах и прадедах. Но довольно, слишком горьки мои сладостные воспоминания...

Еще разыгрался небольшой скандал: герра Рибера с самого начала поместили в одной каюте с евреем, и теперь он вынужден там оставаться, потому что некуда больше перейти, подумать только! Меня мало трогает, что будет с этим Рибером, он неисправимый невежа и пошляк, для меня загадка, почему он очутился за столом капитана — может быть, потому, что он какой-то там издатель и в этом качестве достоин некоторого внимания, но я не столь жестока, чтобы сказать, что он заслужил подобную участь. Во всем, разумеется, винят казначея; а он в свою очередь винит их агента в Мехико, который о многих пассажирах сообщил неполные или ложные сведения. Я же никого не виню, я только слегка забавляюсь, эта пустячная историйка меня немножко развлекала, а то наше плаванье проходит довольно скучно».

Фрау Риттерсдорф откинула вуаль со лба, завинтила колпачок самопишущей ручки, наклонилась вперед и осто-

рожно потянулась: оттого, что она так долго писала, не меняя позы, у нее онемели шея и плечи; на беду, поблизости опять оказался один из испанцев, танцор по имени Тито, так называемый муж их «звезды» Лолы и предполагаемый отец ужасных близнецов, которые вообще-то вряд ли принадлежат к роду людскому: поистине дьявольское отродье, так и ждешь, что прямо у тебя на глазах они вспыхнут пламенем, окутаются серным дымом и провалятся в преисподнюю. Так вот, о Тито: позавчерашним вечером, когда она, фрау Риттерсдорф, приятнейшим образом потанцевала с очаровательным молодым помощником капитана, этот самый Тито нахально подступил к ней и имел наглость тоже пригласить ее на танец. Каждый раз, вспоминая, что было дальше (а ей ни на минуту не удалось об этом забыть), она вся краснела, так и заливалась краской до корней волос, ее мгновенно бросало в жар. Она и сейчас отчаянно старалась не вспоминать, нарочно ни словом не упомянула об этом происшествии в дневнике, отгоняла от себя мысль о нем; и даже принялась торопливо, снова и снова повторять все молитвы, какие знала, точно заклинание против злого духа.

Надо было непринужденно, приветливо, но решительно ему отказать, как будто человеку порядочному, чтобы он и не подозревал, как ее ужаснуло его неприличное приглашение, а вместо этого она застыла, раскрыв рот, будто онемела, и его черные змеиные глаза, искушая, поблескивали совсем-совсем близко; и вдруг, без всякого ее согласия, ее подхватило и понесло, точно облачко, в легчайших, нежнейших и таких уверенных объятиях, в каких она никогда еще не бывала, в танце, о каком она и не мечтала с невинных девических лет, и вновь она почувствовала себя чистойшей, воздушной, бесплотной феей... нет-нет, едва не застонала фрау Риттерсдорф, неужели я допустила такое? Неужели я и вправду себе это позволила?

Когда все кончилось, он мимолетно поцеловал ей руку и умчался, а она, ошеломленная, осталась в одиночестве; мимо, кружась, как на карусели, пролетела Лиззи Шпёкенкикер с круглым, точно гриб-дождевик, Рибером, крикнула насмешливо: «Где же ваши кастаньеты?» Вернулся молодой помощник капитана и опять пригласил ее, прежде с ним было так легко и приятно танцевать, а теперь они топтались тяжело, неуклюже, никак не могли подладиться друг к

другу. «Я не смею ни на секунду оставить вас одну, вас непременно похитит какой-нибудь цыган!» — сказал он словно бы шутя, но она поняла: это и предостережение, и выговор. Да, она вела себя просто неслыханно, и ох, как бы ей досталось от ее дорогого Отто, он всегда был скор на суд и расправу... на краткий безумный миг она чуть ли не порадовалась, что его больше нет. И тотчас опомнилась: да ведь если бы жив был Отто... о, будь он жив, ни за что бы она не оказалась на этом паршивом пароходишке, в компании этих жалких людишек. Она всегда выглядела и держалась как настоящая светская дама, и муж гордился ею, в каком бы обществе они ни очутились! И сейчас надо будет вести себя так, чтобы Лиззи не посмела упомянуть о наглой выходке испанца за капитанским столом, да и ни от кого она не потерпит намеков и шуточек на этот счет. Фрау Риттерсдорф приготовилась любому дать суровый отпор; но ничего такого не понадобилось. Никто не упомянул о случившемся; казалось, никто ничего и не слышал. Даже Лиззи на другой день не посмела к ней сунуться со своей дерзко намекающей усмешечкой. И в конце концов ей стало еще хуже: может быть, прикидываясь, будто ничего не произошло, они тем самым и осуждают ее нравственность и поведение... но, в сущности, от чьих слов или поступков ей бы полегчало?

Нет, надо попросту обо всем забыть: так она забывает про дону Педро, так забывает, до чего тяжело было расти в бедной семье и самостоятельно учиться, чтобы получить в Англии место гувернантки; и вот что ужасно — так она порою забывает своего Отто. Когда бы о нем ни подумалось (а думается часто), он вспоминается уже не прежним, из плоти и крови, и не раздается в ушах его звучный голос, — нет, предстает перед глазами сияющий образ, парящий над землею, точно ангел, в белом с золотом мундире (хотя он никогда не служил на флоте, а был армейским офицером, артиллеристом), и в радужном ореоле вокруг головы меркнут и становятся неразличимы черты его лица. Уже сколько лет не удастся вспомнить, как он выглядел, и так трудно вновь увидеть прекрасно вылепленную золотоволосую голову, которая покоилась у нее на груди, когда она целовала его и укачивала, убаюкивала песней, как младенца, и сердца обоих таяли от нежности, так трудно воскресить это ощущение...

Ей почудилось, что она тонет, она закрыла глаза, задохнулась, голова шла кругом; вновь открыла глаза — и увидела Тито: в полном облачении танцора (черный костюм в обтяжку, широкий красный пояс, короткая курточка, пышное жабо) он грациозно наклонился к ней и говорит... что же он такое говорит? В левой руке у него пачка бумажек — видно, какие-то билетки; он отделил один билетик и протягивает ей, и смотрит в глаза, в упор, без улыбки, точно гипнотизирует. Фрау Риттерсдорф протянула руку за билетом, но Тито его не отдал.

— Погодите. Сперва я вам кое-что скажу...

В голове у нее прояснилось, она выпрямилась и стала внимательно слушать — сейчас он скажет что-нибудь злое, запретное или, уж во всяком случае, неприличное. А оказалось все детски просто и невинно. Труппа надумала устроить небольшой праздник с участием всех пассажиров и команды; будет праздничный ужин, все придут в масках, и можно будет сесть за любой стол. Будет музыка, танцы для всех, а они, артисты, дадут настоящее представление, в которое включают лучшие свои номера; и еще устроят лотерею, можно будет выиграть разные красивые вещи — их предполагается купить в Санта-Крус-де-Тенерифе, этот город славится искусными изделиями всякой ручной работы. Празднество будет устроено в честь капитана вечером накануне прибытия в Виго, где труппа сойдет на берег.

— Мы решили, обидно, чтоб за такое долгое плаванье не было ни одного праздника, — серьезно и словно бы очень искренне сказал Тито.

Мысли фрау Риттерсдорф еще больше прояснились, в ней заговорила привычная расчетливость.

— Для артиста вы рассуждаете очень по-деловому, — заметила она. — Откуда у вас такая практичность?

— Я ведаю всеми делами нашей труппы, — объяснил Тито. — Я и директор, и импресарио, а моя жена мне помогает.

— Лола? — снисходительно переспросила фрау Риттерсдорф.

— Да, донья Лола, — надменно поправил Тито.

От его тона туман в голове фрау Риттерсдорф окончательно рассеялся.

— Я должна немного подумать, — лениво сказала она и

сделала вид, что снова берется за дневник. — Я отнюдь не поклонница лотерей и прочих азартных игр...

Тут она ненароком глянула в сторону — через два шезлонга от нее заняла наблюдательный пост Лиззи Шпёкенкикер, она прикрылась каким-то журналом большого формата, но даже и не притворялась, что читает. Неприятнейшее зрелище! Фрау Риттерсдорф с досадой выпрямилась, спросила коротко, решительно:

— Почему ваши лотерейные билеты?

— Всего по четыре марки. — Тито скривил губы: дескать, конечно же для них обоих сумма пустячная.

— Денег я бы не пожалела, — сказала фрау Риттерсдорф.

Не без испуга она поняла, что этот разговор идет у всех на виду. Народ уже высыпал на палубу для обычной прогулки перед ужином. Новобрачные — те, разумеется, поглощены друг другом, никого и ничего не замечают. Но доктор Шуман тоже здесь, о господи! Студенты-кубинцы в последние дни немного попричихли, но, уж конечно, способны на любую гадость, и языки у них презлые; скучнейшие супруги Лутц со своей скучнейшей дочкой — этих хлебом не корми, только дай посплетничать! Два святых отца... она всегда почтительно им кланяется, но сейчас рада бы обратиться в невидимку. И еще противный американец Дэнни со своей мерзкой усмешкой и злыми глазами... кажется, все пассажиры первого класса, сколько их есть на корабле, наслаждаются тем, что она попала в такое дурацкое положение, и невозможно им объяснить, как это случилось; а Тито любезно склонился над ней, будто не сомневается, что ей очень приятно его внимание, будто пригласил ее, к примеру, выпить кофе и она вот-вот согласится. И в руке у него уже нет пачки билетов. Фрау Риттерсдорф призвала на помощь все свое самообладание, решительней прежнего выпрямилась в шезлонге — и тут увидела, что поблизости прислонились к перилам Лола и Ампаро, тоже разряженные пышно, как для сцены.

— Я должна еще послушать, что скажут другие, — решительно заявила фрау Риттерсдорф. — Все это как-то неопределенно, мне еще неясна затея, в которой вы мне предлагаете участвовать. Это не принято. На лучших кораблях вовсе не в обычае задавать праздничный ужин в честь капи-

тана почти что на полпути. Для такого торжества самое подходящее время — вечер за день до прибытия в порт назначения, это вам всякий скажет. Можете мне поверить, до сих пор я всегда плавала на самых первоклассных судах, и *le beau monde*¹ всегда придерживается этого правила... самое раннее — третий вечер перед концом плавания, смотря по погоде и другим обстоятельствам... Нет, я не вижу надобности торопиться только потому, что ваша труппа сойдет на берег в Виго; почти все мы плывем дальше, до конца. Перед прибытием в Бремерхафен я с удовольствием присоединюсь к любому плану, чтобы выказать нашему доброму капитану благодарность за все его труды и заботы о нас во время плавания. А пока будьте любезны меня извинить.

— Но мы, те, кто плывет только до Виго, тоже хотим отдать дань уважения нашему благородному капитану, — в высшей степени церемонно произнес Тито; его немецкий был совсем недурен.

— В хорошем обществе это делается иначе, — нравоучительно сказала фрау Риттерсдорф; она окончательно вошла в роль ментора, в блеклых глазах ее вспыхнул проповеднический огонек. — У меня нет оснований полагать, что капитану будет приятно, если мы станем чествовать его не так, как установлено общепринятыми правилами хорошего тона... и потом, вам это, может быть, неизвестно, но едва ли... нет, я, право же, не припомню случая, чтобы к такому празднику примешивались коммерческие соображения, чтобы что-то продавали или разыгрывали в лотерею. На ужин в честь капитана билеты не покупают. В сущности, если разобраться, я все пытаюсь вам объяснить, что на прощальный праздник капитан сам приглашает пассажиров, а не пассажиры капитана. Ужин, украшение корабля, значки, музыку — словом, все, кроме шампанского, предоставляет хозяйственная часть корабля — и не только тем, кто сидит за столом капитана, но всем пассажирам. Итак, — закончила она торжествуя (Тито весь обратился в слух, и она надеялась, что урок пойдет ему на пользу), — вы и ваши друзья можете поступать, как вам угодно, не вовлекая в ваши планы других пассажиров, чьи понятия о подобных за-
теях не совпадают с вашими.

¹ Высший свет (*франц.*).

Тито быстро переглянулся с Лолой и Ампаро — они подошли немного ближе, набросив на плечи мантильи. Он звонко щелкнул каблуками лакированных туфель, откозырял, искусно передразнивая истинно немецкую манеру, улыбнулся и скороговоркой выпалил по-испански:

— Хочешь не хочешь, вонючая немецкая колбаса, старая задница, а мы устроим свое представление, и ты тоже за него заплатишь.

Лола и Ампаро визгливо, неудержимо расхохотались и зааплодировали ему. Тито круто повернулся, все трое отошли подальше и остановились, все еще хохоча, Тито даже согнулся, держась обеими руками за живот — вернее, за свою осиную талию. Фрау Риттерсдорф (она не поняла того, что он сказал, или, точнее, не поверила своим ушам, но подозревала самое худшее и даже испугалась: ведь этот *maître à tout faire*¹ способен на все!) багрово, мучительно покраснела и откинулась в шезлонге.

— Боже милостивый! — сказала она, обращаясь к Лиззи, словно ждала от нее утешения и поддержки. — Боже милостивый, ну что делать с такими типами?

— С ними всегда можно потанцевать! — сказала Лиззи.

Казалось, злорадство так и брызжет электрическими искрами из всех ее пор. У фрау Риттерсдорф задрожал подбородок, и Лиззи продолжала уже с притворным сочувствием:

— А ведь они над вами потешаются, эти свиньи... Вы только поглядите на них, фрау Риттерсдорф, видали такое нахальство? Чуть не нос вам показывают. Интересно, что он вам наговорил? Я не расслышала, но, похоже, что-то ужасное.

Фрау Риттерсдорф спохватилась: какая оплошность — дать Лиззи отличный повод развернуться во всем блеске ее талантов! Надо сейчас же исправить ошибку.

— Вероятно, я не единственная, — сказала она. — Возможно, следующая очередь — ваша, если только вы уже не получили свою порцию!

Лиззи обмахивалась журналом, точно веером.

— А, да, один испанец — не этот, другой, его зовут Маноло, — и одна испанка, уж не знаю которая, сегодня утром

¹ Сутенер (франц.).

со мной говорили... видно, у них дело подвигается... вы и правда ничего не слышали?

— Нет, — упавшим голосом промолвила фрау Риттерсдорф, — мне никто ничего не рассказывал.

— Я с удовольствием откупилась, лишь бы они оставили меня в покое, — самодовольно призналась Лиззи. — Всего четыре марки — и я от них избавилась. Ради этого и вдвое заплатить не жалко.

— Тогда они станут над вами насмехаться из-за чего-нибудь еще, — сказала фрау Риттерсдорф. — Меня они по крайней мере не провели!

— Неужели вы думаете, я и вправду пойду смотреть их несчастное представление? — сказала Лиззи. — Я им дала деньги, как нищему милостыню.

— Я тоже не пойду на них смотреть. — К фрау Риттерсдорф понемногу возвращалось присутствие духа. — И я ни пфеннига не заплачу за свое право оставаться от всего этого в стороне!

Обе замолчали и с безмерной досадой проводили глазами легконогих испанцев, а те скрылись где-то на носу корабля. Только их сорочья трескотня доносилась оттуда, и от этого еще сгустилось уныние, облаком окутавшее две распростертые в шезлонгах одеревенелые фигуры.

Фрау Риттерсдорф раскрыла дневник и собралась излагать события дальше. Призадумалась с пером в руках, потом решительно застрочила:

«Эту слюняйку фрау Шмитт, мою соседку по каюте, до сих пор никто в грош не ставил, и она все терпела, а в последние дни, кажется, начинает показывать коготки. Распоряжается, как хозяйка, умывальником и зеркалом. Преспойно сидит, и не торопясь пудрит нос, и свертывает свои тусклые волосенки в узел, будто не видит, что я жду. Я поглядываю на часы, говорю, что уже поздно и мне тоже надо одеваться. Пока не действует. Конечно, я не способна обращаться с кем бы то ни было невежливо, но придется как-то воздействовать на эту дурно воспитанную особу. Закрывать глаза на дерзость тех, кто стоит ниже тебя, прощать им дерзость — значит подрывать моральные устои. Послушания можно добиться только строгостью, только строжайшей, непрестанной, неутомимой настойчивостью, в этом я убедилась, имея дело с отвратительными английскими детьми: ни

на минуту нельзя ослабить нажим, всегда и во всем — бдительность, бдительность, не то они накинута на тебя, как стая гиен». Она подумала немного и прибавила: «Nota bene: Здесь на корабле мне следует особенно остерегаться некоторых чрезвычайно грубых и низких субъектов, от них никому нельзя ждать добра. Бдительность, бдительность».

Фрау Риттерсдорф ужасно устала, а проголодалась так, словно не ела несколько дней, она затосковала по милым, уютным звукам горна, сзывающим к столу. Совершенно неуместные мысли одолевали ее, чуждые, противоречивые, сталкивались друг с другом... как бы в конце концов не разболелась голова... И прежде чем закрыть дневник, она дописала еще: «Конечно, отношения с людьми очень утомительны, однако, надо полагать, неизбежны, и постепенно все прояснится».

— Эти обезьяны что-то затеяли, — сказал Дэвиду Дэнни. — Какой-то у них идет крутеж.

Он разглядывал в зеркальце для бритья три новых прыща, которые выскочили на подбородке; зеркало впятеро увеличивало бедствия, которые постигали его кожу, и он пребывал в вечном страхе.

— О господи, вы только посмотрите! — сказал он соседям по каюте и задрал голову.

Глокен съежился на нижней койке, дожидаясь, пока молодые люди переоденут к ужину рубашки и повяжут галстуки.

— Мне отсюда никаких прыщей не видно, — сказал он, пытаясь успокоить огорченного Дэнни.

— Вы, наверно, близорукий, — возразил тот; не хватало еще, чтобы кто-то считал его огорчения пустяком!

Глокен полез в карман своей куртки, вооружился очками и старательно всмотрелся.

— Даже и так почти ничего не заметно, — сказал он.

Дэвид тем временем застегивал рубашку и даже головы не повернул.

— Про каких обезьян речь? — спросил он.

Он не выносил этой пошлой привычки — Дэнни людей всех национальностей, кроме своих соотечественников, называл не иначе как бранными кличками; впрочем, и для американцев у него были излюбленные прозвища: к приме-

ру, «голяк» (но это только для жителей штата Джорджия); «белая рвань» — это относилось главным образом к тем, кто стоял на низших ступенях общественной лестницы и не имел ни гроша за душой, но и ко всякому, кто не был с ним, Дэнни, достаточно приветлив или не разделял его взглядов.

— Да про этих испанских обезьян, про плясунов, — объяснил Дэнни.

Он заподозрил, что Дэвид переспросил его неспроста, вроде как с осуждением; он и прежде подозревал, что Дэвиду Скотту многое в его словах и поступках не нравится, хотя и не совсем понимал, что именно и почему. Но уж тут — подумаешь, важность, сказал «обезьяны», и вдруг этот вопрос свысока...

— Ну а вы их как зовете? Макаронники? — нет, это про итальяшек. Полячишки? Не то. Гвинейские мартышки? Они же из Пуэрто-Рико, верно? Или из Бразилии? Они не черномазые. И не пархатые. Пархатыми евреи сами зовут своих, кто похуже. Вроде этого Левенталья. Но он малый неплохой. Я с ним разговаривал. А знаете, я до пятнадцати лет живого еврея не видал, первого встретил, только когда поехал учиться. А может, и раньше встречал, да не знал, что это еврей. У нас в городе никто ничего не имел против евреев, да у нас их и не было.

— Может быть, слишком хлопотно было линчевать черномазых, вот вам и недосуг было думать о евреях, — заметил Дэвид так хладнокровно, так отрешенно, что Дэнни только рот разинул, а когда, спохватясь, его закрыл, даже зубами лякнул по-собачьи.

— Вы сами откуда? — осведомился он после тяжелого молчания.

— Из Колорадо, — ответил Дэвид.

Дэнни силился припомнить, слышал ли он когда-нибудь что-нибудь про Колорадо? Только одно: там добывают се-ребряную руду. Не удавалось вспомнить, что за нрав у жителей этого штата, вроде и нет у них никакого прозвища. «Медяшка» — не годится, это для Индианы. И «янки» тоже ему не подходит.

— На рудниках работали? — рискнул он.

— Ясно, — сказал Дэвид. — Табельщиком на руднике в Мексике.

— А вроде говорили — художник.

— Я и есть художник. Табельщик — просто служба, для денег, чтобы можно было рисовать.

Некоторое время Дэнни старался осмыслить эти слова. Потом сказал:

— Что-то я не пойму... значит, вы тратите время на работу, которая вас не кормит, а потом нанимаетесь на службу и добываете денег, чтобы опять взяться за работу, которая вам не дает ни гроша... хоть убей, не понимаю. И называете себя художником, а почему не табельщиком? Почему прямо не сказать, что вы табельщик на руднике?

— Потому что на самом деле я не табельщик, — сказал Дэвид. — Я только зарабатываю этим на хлеб, вернее, раньше зарабатывал... Теперь попробую прожить, занимаясь одной живописью. Ну а если не выйдет, я всегда найду какую-нибудь работенку, чтоб прокормила меня, пока я буду писать.

Глокен поднялся с койки, пригладил перед зеркалом волосы, провел ладонью по лицу, поправил чуть сбившийся набор галстук, отряхнул помятый костюм и шагнул к двери.

— Вот это геройство! — сказал он Дэнни. — Вот как могут жить люди, если они уверены в себе! Ну а я... мне всегда не хватало мужества. Просто у меня скромная торговля, я продаю газеты и журналы, и поздравительные открытки, да, и карандаши, чернила, почтовую бумагу, и каждый день через мои руки проходит мелкая монета, и каждый вечер, когда я закрываю свой киоск, у меня есть на что прожить следующий день, да, и даже немножко остается, и, что остается, я пускаю в оборот, поэтому всегда набегает еще несколько пфеннигов — сентаво, — и еще немножко, и еще... разве это была жизнь, я прозябал — и только. И впереди у меня никакой жизни — одно прозябание, старость, и если я не поостерегусь, так помру где-нибудь под мостом или в больнице для нищих...

— Может быть, и я тем же кончу, — весело сказал Дэвид, хотя от неожиданных Глокеновых излияний у него пошел мороз по коже.

— Может быть, — сказал Глокен. — Никто не знает, какой конец его ждет. Но вам не придется умирать в отчаянии, горюя о том, что у вас не хватило смелости жить! Вы хозяин своей судьбы, и никто на свете не заставит вас об этом пожалеть!

Он говорил с таким жаром, что двух молодых, стройных, хорошо сложенных счастливиц, быть может, вперые кольнуло одно и то же чувство: стало совестно обоим, почудилось, будто они виноваты в несчастье горбуна и должны как-то искупить свою вину, объяснить, почему им легко быть смелыми... Да, Дэнни тоже ощутил себя хозяином своей судьбы, он начинает новую жизнь; конечно, опытный инженер всегда найдет хорошую работу, предложений было сколько угодно, но он-то выбрал что хотел: как можно дальше от дома, как можно больше риска, в этом-то выборе он волен. Однако совсем очертя голову кидаться куда попало — это уже излишнее сумасбродство, и Дэвид Скотт, конечно, сумасброд самый настоящий, а несчастный горбун его за это расхваливает и, похоже, завидует. И Дэнни решил тоже высказаться.

— Жизнь у всех по-разному складывается, смотря у кого какой склад ума, а как вы там сами сложены, от этого ничего не зависит, — объявил он и сам восторженно изумился, так мудро это прозвучало, прежде он не знал за собой таких философских мыслей. — Бьюсь об заклад, так ли, эдак ли, а вы бы все равно дальше газетного киоска не пошли. Чего мы хотим, то и получаем, вот что я вам скажу!

— О-о! — почти простонал Глокен и медленно двинулся к двери. — О нет, извините за резкость, она не к вам относится, а к этому глубоко ложному мнению, — это ложь и обман, каких мало на белом свете. Нет, нет... я в жизни хотел только одного...

Для пущей важности он умолк.

— Чего же? — вежливо поинтересовался Дэвид.

— Я хотел быть скрипачом! — сказал Глокен с чувством, словно ждал, что слушатели прослезятся.

— А разве это было невозможно? — спросил Дэвид.

— И вы еще спрашиваете! Разве вы меня не видите? — В глазах Глокена было страдание. — Да, никто этого не поймет, и ничего нельзя объяснить... Но у меня была душа, — он легонько похлопал себя по изуродованной груди, торчащей острым углом, — душу я сохранил до сих пор, и это меня немножко утешает.

Он улыбнулся вымученной улыбкой шута и исчез за дверью.

— Ну все, — вздохнул Дэнни. — Надеюсь, с этим покончено.

И про Глокена больше не упомянули ни словом.

— Вы так и не сказали мне, какая у испанцев кличка, — продолжал Дэнни.

— Я не знаю, как говорят в Испании, когда хотят друг друга оскорбить, — сказал Дэвид, — а в Мексике индейцы называют их «гачупин». Это ацтекское образное выражение, оно означает «шпора», буквально — сапог, который жалит, как змея.

— Слишком хорошо для них, — заметил Дэнни.

— Что они, по-вашему, затевают? — мысли Дэвида вернулись к танцорам. — Я видел, они ко всем лезут с какими-то разговорами, но ко мне еще не приставали. Ходят слухи, что они хотят устроить какое-то представление, вещевую лотерею и прочее: старомодное feria¹, только здесь, на корабле, это будет в новинку. Прямо скажу, мне не нравятся их вид и повадки...

— А вот Арне Хансен совсем помешался на этой Ампаро, — с нескрываемой завистью сказал Дэнни. — В них есть кой-что такое... я и сам бы не прочь... Эта Пастора...

Он умолк, словно на краю головокружительной пропасти — вот-вот сорвется и рухнет вниз, и выдаст себя, всю правду о сегодняшней встрече с Пасторой. Но удержался, передумал: приятней оставаться в глазах Дэвида Скотта таким, каким, кажется, удалось себя изобразить, — независимым мужчиной, которого ни одной женщине не провести. Он-то знает — все они только за деньгами и гоняются. А у всякого мужчины одно на уме — чтобы уж она за каждый грош расстаралась вовсю... И тут Дэнни совсем забыл про Дэвида, ему снова ясно представилось, как это было: Пастора, которая всегда смотрела на него с откровенным презрением, идет ему навстречу по палубе — и вдруг, протянув руку, ласковым движением, полным грации, кладет ладонь ему на галстук и заставляет с разгона остановиться. Раскрывает во всю ширь бездонные глаза, призывно улыбается и говорит, по-детски коверкая английские слова: «Помогай нам сделать наш праздник! Будем все танцевать, будем все

¹ Празднество (*исп.*).

петь, будем играть в разные игры, будем целоваться, почему нет?»

«Сколько?» — услышал Дэнни свой голос, но почувствовал себя птахой под взглядом змеи.

«О, почти ничего, — с чарующей улыбкой ответила Пастора. — Два доллара, три, пять... десять... сколько хочешь».

Его бросило в пот, надо было, конечно, сказать — ладно, мол, пускай будет два доллара, и точка, но он побоялся упустить такой случай и остаться ни при чем. И опрометчиво предложил: «Хотите выпить?» Они долго сидели в баре за бутылкой поддельного немецкого шампанского, между прочим, двенадцать марок бутылка; но Пастора отпивала по глоточку с явным удовольствием, ее туфли под столиком прижимались к его башмакам, и Дэнни (он всегда считал, что даже самое лучшее шампанское вроде разбавленного уксуса, только еще и пузырится) до того разгорячился и столько всякого предвкушал, что насилу глотал эту водичку. Пасторе вдобавок сигарету захотелось. Он достал свою пачку «Кэмел» — нет, она такие курить не может. Ей нужны тоненькие, с золотым кончиком, пахнущие жасмином, в алой шелковой коробочке с надписью золотыми буквами: «Султанша». Дэнни наскоро прикинул: в пересчете с марок на доллары коробка, двадцать штук, — доллар девяносто центов. И заплатил. И тогда Пастора продала ему два билета вещевого лотереи, по пять марок билет — маркой дороже, чем цена, напечатанная на билете. Дэнни заплатил, а обман заметил много позже. Пастора высвободила ногу из узкой поношенной дрянного черного шелка туфли, и крохотная ножка ласково нырнула снизу ему в штанину, маленькие пальцы играючи прижимались к мускулам его икр, подрагивали осторожно, будто легкая рука перебирала струны. «Когда... когда он будет, этот праздник?» — спросил Дэнни, еле удерживаясь, чтобы не поежиться от смущения и удовольствия. «Ну, это уже когда подплывать к Виго», — отвечала Пастора. «Нет, а мы когда будем... будем... вместе?» — заикаясь, выговорил он. «Так мы и сейчас вместе», — извернулась Пастора. «Да, конечно. — Дэнни старался овладеть собой, вновь нахлынули все самые худшие подозрения. — Но сколько можно так тянуть, вы же сами прекрасно знаете, про что я толкую...» — «Я плохо по-

нимаю английский, — сказала Пастора. — Ты что, хочешь со мной спать?»

От такого поворота Дэнни пришел в восторг. «Еще как хочу! Вот теперь ты дело говоришь. Только скажи когда?»

«Нет, — серьезно сказала Пастора, — сперва про монета, сколько монета». — «Ну сколько?» — «Двадцать доллар». Дэнни поперхнулся последним глотком шампанского, и оно фонтаном брызнуло в воздух. Пастора бумажной салфеткой вытерла словно дождичком окропленные волосы, сказала с достоинством: «Так нехорошо. Теперь я ухожу» — и поднялась. Дэнни взял ее за руку, спросил с отчаянием: «Сегодня?»

«Не сегодня, — равнодушно ответила она и высвободила руку. — Сегодня я устала».

«Завтра?»

«Может быть. Пусти мою руку. Люди подумают, ты хочешь меня любить прямо здесь, на столе». Она круто повернулась и вышла. Ему только и оставалось заплатить по счету и уйти, и все пялили на него глаза, по крайней мере так ему казалось. Он не посмел оглянуться и проверить, так ли это.

Теперь он решил изложить Дэвиду Скотту эту историю с некоторыми поправками.

— Пришлось раскошелиться на бутылку их паршивого шампанского, — признался он не без смущения, умолчав, однако, о сигаретах и лотерейных билетах. — Пьет она немного, но ей подавай все лучшее... то есть она захотела шампанского. Ножки у нее прелесть, в жизни таких не видывал, крохотные, ну точно у младенца, и мягенькие, как перышки. Она скинула туфли, и мы все время под столом играли в эту игру, прямо как школьники. Но хочет слишком много «монета», как она это называет, столько ей из меня не выжать.

И он не намерен золотить ей ручку, покуда не получил свое. Нет, не такой он дурак. Можно будет кой-когда угостить ее выпивкой, но не более того. Не будет постели — не будет и угощения, вот какое у него правило.

— Да уж вам бы и не начинать золотить ей ручку, покуда не получили свое, — сказал Дэвид. — Ей вперед верить нельзя, знаю я таких.

— Что ж, в каком-то смысле и это правильно, — сказал Дэнни. — Если я сперва возьму свое, а я уж постараюсь, так я тоже ей платить не стану!

Он призадумался, его и самого удивило — когда же это он такое решил? Никогда прежде он не пытался улизнуть от женщины, не расплатившись, заботился только о том, чтобы не переплатить. Но эта уж слишком откровенно старается его одурачить, не худо бы с ней сквитаться.

— Слушайте! — сказал он со злостью, как будто его и правда успели обмануть. — Если я дам ей денег заранее, так уж свое возьму, будьте уверены, или ей век больше не надуть белого человека. — И, не получив ответа, прибавил: — Прежде я только с белыми девчонками имел дело, с другими не связывался.

— Эти тоже белые, — сказал Дэвид.

— Я про настоящих белых говорю, — с явным недоумением пояснил Дэнни. — Про американок.

За годы на мексиканских рудниках, в самой разношерстной компании, Дэвид прошел нелегкую школу и научился с мужчинами держаться по-мужски; он достал из кожаного саквояжа бутылку зверского пойла — настоящей кедровой настойки — и предложил:

— Выпьем?

Дэнни кивнул и тупо смотрел, как Дэвид наливает питье в толстые корабельные стаканы.

— Это вам перебьет вкус того шампанского, — сказал Дэвид.

— Одна беда, — сказал Дэнни, основательно хлебнув (поглощенный все той же заботой, он ни о чем больше не мог ни думать, ни говорить), — одна беда: на этой посудине просто деваться некуда. Она ведь живет в одной каюте со своим хахалем. Понятно, у Ампаро то же самое, так она в каюте принимает Хансена, а ее хахаль в это время, днем ли, ночью, бродит по коридорам, но меня от такого в дрожь бросает. Эдак у меня ничего не получится. Еще я видел, Риббер со своей долговязой потаскушкой шныряют по углам на шлюпочной палубе и всюду, где потемнее, но они это, по-моему, не всерьез, а только так, для забавы. По-моему, им просто охота немножко друг друга пощупать. И потом, Пастора ни слова дельного не сказала, только про деньги. Не сказала ни где, ни когда.

— Что ж вы не спросили?

— Спросил. Говорит, может, завтра. Но где, вот чего я не пойму.

Дэвид налил себе и Дэнни еще, заткнул бутылку пробкой, поставил на пол и зажал между носами башмаков, чтобы не опрокинулась.

— Первая моя работа была на руднике в Мексике, высоко в горах, — сказал он, — так там был только один бордель — огромное помещение, вроде сарая, и стоят рядами койки, почти вплотную, между ними только-только протиснешься, и темно, только в одном углу красный фонарь. Бродишь с девчонкой между койками, ищешь, какая не занята, вот так и пробуешь рукой, если не нашарил чью-то ногу или зад, значит, можно — валяй ложись...

— Брр, жуть! Я бы совсем скис, — содрогнулся Дэнни; он сидел на полу и стаскивал башмаки.

— Ну, не так уж было плохо, для такого заведения вполне прилично, — сказал Дэвид.

И все его существо снова захлестнула медленная волна, неодолимая судорога отвращения пополам с нестерпимой, бешеной похотью, ядовитая смесь тошноты и убийственного наслаждения; нахлынула и так же медлительно откатилась — и, как всегда бывало прежде, осталась только легкая тошнота. Однажды, когда все только началось у них с Дженни, они свежим весенним утром самозабвенно и радостно предавались любви, и потом он, запинаясь, признался ей в странных ощущениях, пережитых там, на руднике; почему-то ему казалось, и он ждал, что она это поймет — едкое воспоминание, жгучее омерзение как-то омыло его, вновь вернуло ему после всего, что он испытал, незапятнанную юношескую чистоту. Каким счастьем было сказать сущую правду — что после таких ночей его подолгу тошнило от одной мысли о сексе. Его тогда переполнило чувство превосходства: он неизмеримо выше гнусной похоти и женщин, с которыми на краткий час она его свела, и это очистительное презрение все искупило, отделило его от всей той гнусности.

И тогда Дженни села на постели, наклонилась к нему, сжала его щеки ладонями и сказала беспечно:

— Ничего, лапочка. У тебя самое обыкновенное похмелье, как у всякого набожного методиста. Мужчины это

обожают: наедятся до того, что их вывернет наизнанку, а потом произносят громкие слова... Я... ох, я так надеюсь, что ты не пресытишься мною до тошноты!

Он не простил ей этих слов. И никогда не простит.

— Еще выпьете? — спросил он и взялся за бутылку.

Дэнни кивнул.

— Да, — сказал он, — попробуй найти на этом корыте, где бы эдак запросто завалиться в постель! — И в ужасе стал разглядывать ноготь, врастающий в мякоть пальца на ноге. — Ух ты, кажется, эта дрянь воспалилась!

И, позабыв про все на свете, стал всюду рыться в поисках йода.

До этого плаванья Ганс никогда не видел, чтобы отец и мать раздевались в одной комнате. Смутно вспоминалось: когда он был совсем малыш, они по утрам брали его к себе в кровать и играли с ним. Но однажды, он не знает точно, когда это было, мать сказала ему:

— Нет, Ганс, довольно ребячиться, ты уже не маленький.

Раньше можно было отворить дверь и войти к ним в спальню, когда захочется. А с того дня, хоть он изредка брался за ручку, дверь всегда была заперта; отец с матерью только заходили вечером к нему в детскую, и они вместе читали молитву на сон грядущий.

А здесь, в маленькой тесной каюте, ничего не поделаешь, деваться некуда. Когда приходит время ложиться спать, мать завязывает Гансу глаза носовым платком и говорит: «Ну вот, не снимай повязку, пока я не скажу, да не подглядывай!» Он-то, конечно, подглядывает. Но ничего особенного не видно. И непонятно, чего ради так секретничать. Они оба поворачиваются спиной к нему и друг к другу и раздеваются, снимая по одной вещи за раз, и в то же время понемногу натягивают свои ночные одеяния, так что ни на минуту не остаются совсем раздетыми, лишь иногда мелькнут пухлое плечо матери или худой, с проступающими ребрами, отцов бок. Такая таинственность тем непостижимей, что на пляже среди бела дня он видел их обоих куда более голыми. Значит, раздеваться перед тем, как лечь в постель, наверняка совсем не то, что раздеваться днем, — и надо по-

пробовать выяснить, в чем тут секрет. Но не успеешь опомниться, а они уже повернулись, совсем одетые: на отце длинная и узкая ночная рубаша, обшитая красной бумажной тесьмой, на матери широченный белый балахон с длинными рукавами. «Готово!» — говорит она, как будто они играют, и сдергивает с Ганса повязку, и он старательно прикидывается сонным.

В каюте душно, даже когда иллюминатор открыт настежь, но его на ночь закрывают, ведь ночная сырость всегда опасна для здоровья, а на море просто убийственна. Пока отец с матерью раздевались, каюту наполнял запах их тел, и Ганс готов был умолять, чтобы иллюминатор открыли, но не смел хоть слово сказать. От отца пахло горько и остро, как в аптеке, в Мехико, отец часто ходил туда с бумажкой, которую ему написал доктор; от матери пахнет тошнотворно сладко, такой странный смешанный запах стоит в жаркий полдень на Мерседском рынке, где торгуют рыбой и тут же рядом цветами. Ганс знал, который запах — отца, а который — матери, его нередко обдавало этими запахами и не в каюте, а на прогулке в Мехико, или за столом, или даже на палубе этого корабля. И ему становилось тошно, иногда казалось даже, что отец и мать ему чужие, он их боялся, чудилось: что-то неладно с дыханием отца, с подмышками матери... а может быть, что-то неладно с ним самим? Опять и опять Ганс наклонял голову к плечу и старался вдохнуть поглубже или даже утыкался носом в растегнутый ворот рубашки и втягивал ноздрями воздух снизу. Но всегда пахло просто самим собой, ничего плохого не было, и он на время успокаивался.

Мать опустилаcь на колени возле его кровати, и Ганс тоже стал рядом на колени. Она обняла его за плечи, от ее руки приятно пахло свежим, чистым бельем. Отец стал на колени по другую сторону от Ганса, и они хором вполголоса прочитали молитву. Потом оба обняли и поцеловали его и пожелали спокойной ночи; в нем вдруг всколыхнулись нежность и доверие, он снова сел на постели и сказал:

— Мама, Рик и Рэк сегодня грозились бросить меня за борт, а я не испугался!

— Когда помолился на ночь, больше нельзя разговаривать, Ганс, — строго оборвала его мать.

Но отец так и подскочил.

— Что ты такое говоришь? — чуть не закричал он на жену. — Ты что, не слышала? Эти ужасные испанские хулиганы ему угрожают...

— Глупости, — перебила жена и напустилась на Ганса: — Ты почему бегаешь играть с этими детьми? Я кому велела — держись от них подальше!

— Ну а ты где была, почему за ним не присмотрела? — спросил отец.

— У парикмахера была, а ему велела сидеть смирно в шезлонге и ждать меня. У тебя, конечно, всегда я виновата... ни минуты покоя нет!

— Смотри за своим ребенком и перестань мучить своего мужа! — выкрикнул отец, и Ганс понял, что они совсем про него забыли.

— Я с шезлонга не вставал, — сказал он чуть не плача. — Они сами пришли, стали передо мной и говорят, мы тебя бросим за борт. И всех побросаем, и бульдога. Вот как они сказали, а я не виноват. Я им говорю, уходите отсюда, а то я папе скажу. А они засмеялись и стали дразниться...

— Это чудовищно! — возмутилась мать. — Бросить за борт такую славную, добрую, беспомощную собаку? Ну, Ганс, если у тебя когда-нибудь хватит жестокости обидеть несчастное бессловесное животное... Смотри, чтоб я ничего подобного не слышала!

— Я Детке никогда больно не сделаю, ни за что на свете, — добродетельно произнес Ганс, радуясь, что мать снова обратила на него внимание.

— Вот я с ними поговорю, а если надо будет, так и с их бессовестными родителями, — сказал отец. — Не забудь, они и Ганса тоже грозились бросить за борт, хороши шутки.

— А я считаю, что нечего с ними разговаривать, их совсем не следует замечать, они для нас не существуют, а ты, Ганс, никуда от меня не отходи и делай, что я велю, и не ставляй меня по два раза все повторять.

— Хорошо, мамочка, — с величайшей покорностью сказал Ганс.

Свет погасили, и все стихло. Ганс уснул не сразу, ему было не по себе: мать, видно, так и не услышала того, что он пытался ей объяснить — что его едва не утопили, пока она сидела в парикмахерской, а про него совсем и не думала.

Рибер настроился на решительный лад: хватит миндальничать с этой девицей, с фрейлейн Лиззи Шпёкенкикер. Прежде всего, никакая она не фрейлейн, а особа вполне опытная, искушенная; женское кокетство, игривое сопротивление очень приятны, однако надо же и меру знать, а сверх меры это уже насмешка и прямое нахальство, настоящий мужчина такого от женщины не потерпит, будь она хоть сама Елена Прекрасная. В таком вот расположении духа он после ужина взял ее под руку и повел на обычную прогулку. Краем уха слушая музыку, направился наверх, на палубу, где стояли шлюпки, и молча, решительно, словно замыслил преступление, увлек ее в тень за паровой трубой. Без предупреждения, не давая жертве ни секунды на то, чтобы закатить ему пощечину или кинуться наутек, он обхватил Лиззи, стараясь прижать ее руки к бокам, рванул к себе и жадно приоткрыл рот для пылкого поцелуя.

Это было все равно, что схватить в объятия ветряную мельницу. Лиззи как-то странно, сдавленно взвизгнула и длинными руками стиснула его грузное туловище. Ее тонкогубый рот устрашающе распахнулся чуть не до ушей, и даже в полутьме видно было, как блестят острые зубы. Она изо всей силы толкнула Рибера, и так, вцепясь друг в друга, они повалились на палубу; молотя длинными ногами, точно цепями, Лиззи опрокинула Рибера на обе лопатки, и ее острые тазовые кости больно впились ему в круглое брюшко. Рибер ощутил мгновенную вспышку восторженного изумления, о таком жарком отклике он и не мечтал, — но тотчас ужаснулся: скорей собраться с силами, не то ему уже не быть хозяином положения!

Он напряг все мышцы, пытаясь перекатиться из противоестественной позы и вернуть себе мужское превосходство, но Лиззи раскинулась на нем, как поваленная ветром палатка со множеством шестов, и впилась зубами в жирную мясистую складку под подбородком. Боль взяла верх над всеми прочими ощущениями — молча, со слезами на глазах Рибер отбивался, стараясь высвободиться, и все же борьба наполняла его безмолвным весельем. Когда он одолеет эту женщину (если только одолеет!), это будет славная добыча! Однако пока что она и не думала сдаваться, она стиснула его коленями, как непослушного коня, длинные жилистые руки с небольшими, но крепкими, точно у мальчишки, мус-

кулами сжали его нестерпимо — не продохнуть.

Никогда еще Рибер не встречал женщины, которая не поддавалась бы, как полагается, в самую подходящую минуту — женское чутье должно бы подсказать, что минута настала. Им овладело отчаяние, шея тупо ныла от укуса, он повел по сторонам блуждающим взглядом, словно искал помощи. В полутьме что-то белело — то был Детка: дверь каюты Гуттенов оказалась приоткрытой, бульдог вышел, долго бродил в одиночестве и теперь остановился в двух шагах от этой пары и застыл, откровенно их разглядывая.

— Лиззи, душенька, — ахнул Рибер. — Лиззи, собака!

Этот возглас, почти стон, вывел Лиззи из плотоядного экстаза. Она разжала зубы.

— Где?

Рибер отдернул голову подальше от этих зубов. Она ослабила объятия, он сжал ее запястья и начал поворачиваться на бок, и вот они лежат хотя бы рядом. Наконец, постепенно, но решительно высвобождаясь (Лиззи теперь безвольно подчинялась каждому его движению), он приподнялся и сел, и ее тоже усадил.

Детка пошатывался на кривых ногах в лад паровой катке, стараясь не потерять равновесие, ноздри его подергивались, выражение морды лукавое, понимающее — так смотрит человек, хорошо знакомый с неприглядной изнанкой жизни, под таким взглядом впору сквозь землю провалиться. Без сомнения, он смекнул, чем они тут занимаются, разгадал их намерения, но был все же несколько озадачен: фигуры у них странные, звуки они издают какие-то дикие... непонятно и довольно противно. Нет, сочувствия они у него не вызывали.

— Уходи, пошел вон! — приказал Рибер, прорычал глухо, как мог бы зарычать сам Детка; но притом Детка — существо четвероногое, обросшее шерстью, а потому неприкосновенное, о более суровых мерах и думать нечего. По этой части Рибер всегда был воплощенная чувствительность: в детстве он однажды горько разрыдался при виде лошади, которая везла фургон с пивом, поскользнулась на льду, упала и запуталась в упряжи. Он жаждал поколотить, больше того, убить бессердечного возницу, который допустил, чтобы лошадь упала. Никто не мог бы превзойти герра Рибера в нежных чувствах по отношению ко всему

животному миру — он и теперь полагал, что всякого, кто обидит самое ничтожное существо в этом загадочном мире, просто повесить мало. Сердце его разрывалось всякий раз, когда неумолимые воспитательные соображения вынуждали его побить собственных собак. И сейчас он заговорил с Деткой так вкрадчиво, как только мог.

— Уходи, песик, будь умницей, — сказал он, озираясь в поисках чего-нибудь тяжелого, чем бы запустить в бульдога. — Ты хороший песик.

Лиззи схватилась обеими руками за голову и неудержимо захотела пронзительным металлическим смехом, будто кто-то дергал натянутую проволоку. И тогда Детка молча пошел прочь, неслышно ступая большими лапами; ему тут не рады, ну и пускай, у него своих забот довольно. Но этим двоим он на сей раз все испортил. У Рибера не хватило духу начать сызнова, хотя теперь это было бы, пожалуй, легче, ведь Лиззи немного попритихла. Но он только взял ее руки в свои и заговорил успокоительно:

— Ну-ну, ничего, все прошло!

Она неловко поднялась на ноги, пробормотала что-то несвязное, легонько толкнула Рибера кулаком в грудь и, не оглядываясь, побежала вниз по трапу. Рибер пошел за нею, но не торопясь, задумчиво ощупывая укушенную шею. Ни в коем случае не следует признавать себя побежденным. В конце концов, она только женщина, знает он ихнюю сестру — наверняка найдется способ, справимся и с этой. Хороший был в древности обычай — первым делом ударить по голове... понятно, не так, чтобы изувечить, просто стукнуть как следует, чтобы приглушить этот их бабий дух противоречия.

Немного раньше в тот вечер, за ужином, профессор Гуттен, которому все еще не шел кусок в горло, едва не выскочил из-за стола: хотелось оттолкнуть тарелку и пойти глотнуть свежего воздуха; но жена ест с аппетитом — смотреть на это не очень-то приятно, но зачем же ей мешать. Остальные соседи по столу держатся как всегда — доктор Шуман доброжелательно безмолвствует, от Рибера и фрейлейн Лиззи исходит мерзкий душок бесстыдной интрижки, фрау Шмитт по обыкновению неприметна; только фрау Риттерс-

дорф без умолку болтает о пустяках, поглядывая на капитана, — очень легкомысленная женщина, суетна совсем не по возрасту! Профессор Гуттен не надеялся услышать что-либо полезное или поучительное, однако слушал в тщетной надежде хоть немного отвлечься от ощущения, что внутри у него неладно.

Фрау Риттерсдорф заметила его внимание, заметила, что и другие начинают прислушиваться; не упуская из виду капитана Тиле, она и на других стала бросать понимающие взгляды и заговорила погромче; уж наверно, их тоже в последнее время сместили и возмущали дурацкие выходки этих испанских актеров, у которых такие *outré*¹ понятия об этикете, принятом для всяких празднеств на корабле (если слово «этикет» можно хоть как-то применить к этой компании). Есть у них такой наглец по имени Тито, и он, представьте, пытался ей всучить какие-то билеты, какое-то мелкое жульничество они там придумали, ничего нельзя понять.

— Да-да, — вмешалась Лиззи, — вещевая лотерея. Я купила один билет и сразу от них отделалась.

— Что ж вы мне не сказали! — вскинулся Рибер. — Я два билета купил, так вы один свой отдайте!

Лиззи хихикнула, потрянула головой.

— Я им верну билет и получу обратно свои деньги! — заявила она.

— Интересно было бы посмотреть, кто это сумеет — получить обратно хотя бы пфенниг с этих бандитов, ведь они, безусловно, бандиты, — вмешалась фрау Риттерсдорф. — Нет, дорогая фрейлейн, всем известно, какая вы деловая женщина, но тут и этого мало.

— Зато с ними очень приятно танцевать, правда, фрау Риттерсдорф? — весело подковырнул Рибер.

Лиззи с досадой хлопнула его по руке, она сама хотела задать этот вопрос.

— Постыдились бы, — сказала она. — Это невеликодушно. Не всегда же есть с кем потанцевать, если будешь чересчур разборчивой, можно и вовсе остаться без партнера.

Фрау Риттерсдорф была ошеломлена, она только собра-

¹ Здесь: дикие, нелепые (франц.).

лась остроумно описать этот странный случай, и вдруг разговор принял столь неприятный оборот; и она воскликнула громко, но весьма изысканным сопрано, как подобает светской даме:

— Да, но бывает же, что совершенно неожиданная дерзость застигнет вас врасплох, и вы просто беззащитны, тогда лучше положиться на свое чутье... и на воспитание, разумеется, и вести себя так, как будто ничего особенного не произошло... не могла же я предвидеть, мне и во сне не снилось...

Она откинулась на спинку стула, зажала себе рот салфеткой и с отчаянием уставилась на Лиззи, а та засмеялась так, словно в кухне рассыпались бесчисленные кастрюли.

— Ну что вы, дамам как раз и должны сниться такие штучки! — в восторге закричал Рибер и весь подался вперед, чтобы его услышали, несмотря на хохот Лиззи. — И что тут плохого, скажите на милость?

Ах, свинья, подумала фрау Риттерсдорф, по крайней мере я не так низко пала, чтобы танцевать с тобой! Отчаяния как не бывало, она с наслаждением дала волю бешенству. Оскалила зубы, подняла брови, прищурилась. И спросила с угрозой:

— А вы разбираетесь в том, что снится *дамам*? Вы в этом уверены, герр Рибер?

Тактика эта имела успех: герр Рибер не раз и не два получал пощечины от слишком обидчивых дам, и сейчас фрау Риттерсдорф своим видом и тоном напомнила ему всех этих оскорбленных дам. С такой ходячей добродетелью надо быть поосторожней, даже если она вроде и заигрывает. Он мигом увял и пошел на попятный.

— Я только хотел пошутить, *meine Dame*, — сказал он смиренно и почтительно.

— Не сомневаюсь, — сказала фрау Риттерсдорф таким тоном, который был для Рибера уязвленного самолюбия как нож острый. — Нисколько не сомневаюсь.

Сдаться окончательно было свыше его сил, он все еще барахтался.

— Просто я косвенно намекнул на... э-э... теорию Фрейда насчет... насчет значения снов...

— Я прекрасно знакома с его теориями, — холодно ска-

зала фрау Риттерсдорф. — И не вижу ни малейшей связи между ними и темой нашей беседы.

Рибер откачнулся на стуле, выпятил нижнюю губу и принялся угрюмо орудовать вилкой. А фрау Риттерсдорф, очень довольная, что так отчитала этого наглеца — Фрейд, не угодно ли! — вновь обрела уверенность в себе и с самой ослепительной своей улыбкой обратилась к капитану.

— Мы все относимся к этим испанцам очень терпимо, тут уж ничего не поделаешь, видно, надо терпеть, пока они не высадятся в Виго. Но скажите, как могло случиться, что такие люди путешествуют первым классом на приличном немецком судне? Иногда они ставят человека просто в невозможное положение...

Капитана Тиле покорило: не очень-то приятно слышать, как твой корабль называют «приличным» и при этом явно подразумевают, что назвать его так можно лишь с натяжкой; и мало радости слышать, что ты берешь на борт кого попало (хотя в душе капитан из всех своих пассажиров уважал одну графиню, да и та оказалась престранной особой и совсем его разочаровала). Он вздернул подбородок и сказал со всей резкостью, какую мог себе позволить:

— Мексиканское правительство заплатило за их проезд; несомненно, стоило это сделать, лишь бы от них избавиться.

— О да, несомненно! — весело согласилась фрау Риттерсдорф. — Все мы вздохнем с облегчением, когда в Виго с ними распрощаемся и можно будет плыть дальше спокойно и чувствовать себя в безопасности... ведь я уверена, капитан, это преступные типы. За такими зловерными личностями должна смотреть полиция, они на все способны.

— Даже танцевать с вами? — мгновенно съязвила Лиззи, чтобы отплатить за Рибера.

Волна некоторого смятения прокатилась по всему застолью, даже доктора Шумана, кажется, испугала эта дерзкая атака. Но сейчас же, как и надлежало ему по праву и долгу, вмешался капитан и нанес решающий удар. Он ударил фрау Риттерсдорф, которая только рот раскрыла от неожиданности, коротким косым взглядом, в глазах его блеснула сталь.

— Вы о них слишком лестного мнения, сударыня, — сказал он. — Опасному преступнику требуется известная

сила духа, а это, я полагаю, просто мелкие, жалкие людишки, подонки общества и не заслуживают нашего внимания. На моем корабле, как и на любом другом, пассажиры бывают самые разные. Я облечен достаточными полномочиями, чтобы поддержать порядок. И уж будьте так добры, предоставьте мне самому судить, насколько они опасны.

Маленькая фрау Шмитт с невольным удовлетворением увидела, что пришел черед фрау Риттерсдорф испытать горечь несправедливости — та изумленно вздрогнула, чуть не расплакалась, покраснела до корней волос, что, впрочем, оказалось ей очень к лицу, даже шея в скромном вырезе платья залилась краской. Но тотчас же, на глазах у фрау Шмитт, фрау Риттерсдорф с большим достоинством выпрямилась, высоко подняла голову, обвела всех надменным взглядом и опять занялась ужином; она ела в чинном молчании, и только предательская бледность, молочная бледность новорожденного теленка, сменившая недавний яркий румянец, выдавала, что ей не по себе. Молчание уже становилось тягостным даже для профессора Гуттена, он всегда мучительно цепенел от всяких мелких пошлостей, и особенно когда при нем кто-нибудь, не подумав, сгоряча толковал о чем-либо вкривь и вкось.

Из этого словесного хаоса он выхватил: «...преступники... зловредные личности... на все способны» — и обратился к капитану; он говорил мягко, уважительно, с той сдержанностью, что прикрывала у него сознание собственной непогрешимости и всегда очень успокаивала капитана Тиле — ведь ему вовсе незачем было слушать или что-то отвечать, ибо профессор вовсе не интересовался мнением собеседника, ему хотелось только высказаться самому. Опытный лектор, он давно знал, что молчаливые слушатели — самые внимательные.

— Целые философские системы основаны на предпосылке, что человечество безнадежно испорчено, — начал Гуттен, он поднял руки к груди и складывал их то ладонь к ладони, то шепоткой и при этом сводя кончики пальцев. — Называть эти системы, пожалуй, нет надобности? — Он огляделся по сторонам: да, называть было бы совершенно бесполезно. — И я должен сказать, что некоторые подлинно великие умы подкрепляли это положение весьма убедительными доводами. Невозможно также отрицать,

сколь наглядными примерами, взятыми из разных областей человеческого поведения, могут они подтвердить, что по самой природе своей человек насквозь, непоправимо порочен и зол. И все же, все же вопреки ярким свидетельствам противного или, вернее сказать, проявлениям, каковые ум не философский (или же не имеющий прочной опоры в основательном религиозном воспитании) невольно может воспринять как свидетельство противного, я должен признать: я неколебимо верю, зовите это, если угодно, *sancta simplicitas*¹, — тут профессор наклонил голову и сжал вместе кончики пальцев в знак смирения, — неколебимо верю, что в самом существе, в глубинной основе человеческой природы заложено доброе начало; можно сказать, что плоть человеческую озаряет божественный промысл. Люди, которые творят зло, которые кажутся склонными к злу по природе своей и по своей воле следуют путями зла, — это люди больные, ненормальные, в них извращено намерение Господне; но это отнюдь не означает, что и на них в свое время не распространится милость божья...

Тут, ко всеобщему изумлению, решительно вмешалась фрау Шмитт.

— Только если они покаются и испросят у Господа прощенья, — сказала она. — Каждому католику известно, что не может человек погубить душу свою против своей воли и согласия...

— У нас немного не о том речь, дорогая фрау Шмитт, — с ужасающей учтивостью прервал профессор Гуттен, и она сразу сникла. — Я хотел сказать: если люди творят зло по невежеству, их не следует осуждать. Это значит, что они не получили надлежащего образования, некому было оказать на них благотворное влияние в их юношеские годы; таким людям зачастую довольно открыть глаза на доброе, истинное, прекрасное — в сущности, на то, что правильно, — и они с радостью это примут.

Правда бывает иногда отвратительной и жестокой, думала фрау Шмитт. Мой муж лежит в гробу внизу, в трюме, а я вдова и возвращаюсь на родину, и там ничто меня не ждет, а ведь я старалась быть хорошей и любить Бога — и куда это меня привело?

¹ Святая простота (*лат.*).

Когда она подолгу не исповедовалась и не беседовала со своим духовником, у нее начиналась порой вот такая путаница в мыслях. Она больше не стала вступать в разговор и лишь печально подумала: не следовало слушать лютеранские рассуждения. Не то чтобы они вводили ее в соблазн, но такая жалость, что очень многие люди, и притом хорошие люди, вот как профессор Гуттен, так глубоко заблуждаются. Хоть она и знала два языка, но смысл слов далеко не всегда был ей ясен. Правда — это все, что на самом деле произошло, факт — это все, что на самом деле существует.

— За всю свою жизнь, — продолжал между тем Гуттен (он чувствовал себя теперь вполне бодрым и здоровым), — я очень мало видел и испытал такого, что могло бы пошатнуть основанную на твердых принципах, усвоенных мною еще в детстве, веру мою в безграничную доброту Господа...

А ведь это не согласно с лютеранским учением, подумал капитан и нахмурился. Я такой же лютеранин, как и он, но даже я лучше в этом разбираюсь. (Ибо капитан, как он ни старался отвлечься, слышал все, что говорилось за столом.)

— Я всегда обнаруживал, — продолжал профессор, — что даже к самому непросвещенному упрямцу можно найти подход, убедить его, склонить к правильным чувствам и безупречному поведению, надо только сначала наглядно показать ему, что вы во всем, в каждой малости будете с ним неукоснительно честны... А что касается детей, — продолжал он (прилив отрадных мыслей вызвал у него душевный подъем, изгнал все воображаемые недуги, круглое полное лицо его сияло, точно зеркало всех восхваляемых им добродетелей), — дети прекрасно подчиняются твердой руке: непоколебимым убеждениям, строгим, но разумным урокам мудрых воспитателей, которые, однако же, когда того требует порядок, без жалости прибегают к розге, ибо истинная справедливость сурова и надо блюсти ее со всей суровостью. Милосердие же в конечном счете лучше предоставить Богу, он один достаточно могуч и мудр, чтобы пользоваться им как надлежит. Я же снова повторю: ежедневно, даже ежечасно и ежеминутно должны мы вести наших маленьких питомцев нелегким тернистым путем добродетели и учения.

Фрау Гуттен оперлась ладонями на край стола по обе стороны своей тарелки и чуть заметно постукивала по нему

пальцами; не могла она спокойно видеть, что выделяет руками муж, произнося свои речи, это всегда выводило ее из равновесия. Лица у всех за столом были такие, словно они слушают проповедь в церкви... очень скучную проповедь. Опять он надоел им до смерти, она ощущала это всем существом, будто укусу глотнула. И внезапно, словно ее накрыло волной и потянуло ко дну, вспомнилось, как долгие, долгие годы она собой — буквально телом своим — заставляла мужа от всего, что есть в жизни неприглядного, грязного, подлого, низменного, утомительного, от всего, чего он просто не мог вынести. Всегда она занята глупыми мелочами, вечно на побегушках, ведет нескончаемую войну с обманом, жульничеством и ленью — неизменными пороками бесчестных, бессовестных лодырей и нахалов, невежественных, жадных и непокорных, из которых, кажется, сплошь, сверху донизу, состоит рабочий люд; она управлялась с ними со всеми, с бесчисленным множеством этих людей, изо дня в день — и ни разу не побеспокоила мужа, не попросила у него помощи. Слишком велико превосходство его ума, слишком важным делом он занят, а потому его силы и достоинство надлежит оберегать для высших целей — вот она и оберегает. Никто никогда не видал профессора хотя бы с крохотным пакетиком в руках, он ни разу ни одной книги не носил на занятия или с занятий. Все носит она — его книги, бумажные свертки, и чемоданчик, и хозяйственную сумку, даже тележку с покупками толкает перед собой, точно детскую коляску. Она всегда это делала с гордостью и с любовью, ведь каждый, кто ее видел, знал: муж ее известный профессор, а она — хорошая, преданная жена и прекрасно исполняет свой долг. «Идеальная немецкая жена» — вот как называли ее люди, которым она верила и которых уважала с полным на то основанием.

Однако от нее требовалось и того больше. Как часто ей в руки передавали для последнего, окончательного внушения самых непокорных из младших учеников — ожесточенных, с духом упрямым и мятежным не по годам... и не по их силам тоже, это фрау Гуттен им не раз доказывала.

Стоило бунтарю попасть ей в руки — и рано или поздно (хоть и утомляли и сердили эти дополнительные обязанности) она доказывала ему, что карать его будут неуклонно, неустанно, день ото дня суровее, до тех пор пока (сколько

бы он ни терпел и ни упорствовал, вольному воля!) он не покорится — охотно, безоговорочно, даже с радостью. Не было случая, с гордостью вспоминала она, чтобы ей не удалось смирить самый неподатливый нрав, и она прекрасно знала: каждого, кто получил от нее уроки послушания, всегда будет пробирать дрожь при одном взгляде на нее... Почему требовалась от нее такая жертва? От нее, которая просила Бога только об одном: дать ей своих детей, она бы так любила их, растила так нежно и заботливо, точно птенчиков в гнезде. Никогда бы она не ударила, не оставила голодным, не пугала бы угрозами своего ребенка, все равно как никогда не могла бы поднять руку на бедненького Детку. Даже крохотным щеночком он был ангельски кроток, скажешь ему надлежащим тоном несколько простых слов, легонько погладишь, дашь кусочек печенья — и этого довольно, чтобы заставить его поступать, как надо. И конечно, ее дети росли бы любящими, разумными, послушными — как же иначе? И она сама, и муж ее весьма достойные люди, так почему бы их детям не стать прекрасным примером для других?

Она твердо знает, ее муж — святой, он слишком хорош для сего грешного мира, за это она его и любит. Будь эти глупцы способны к нему прислушаться, его слова пошли бы им на пользу. Да-да, бывало, по ее вине какая-нибудь грубая житейская мелочь изредка и дойдет до него, но никогда он об этом не вспомнит, никого не попрекнет, меньше всего — ее, жену. Кажется, он даже искренне верит — и это так мило, трогательно до слез, — что они ни разу не ссорились, она всячески поддерживала эту его уверенность. Если он забыл первые пять лет их семейной жизни — пусть его, тем лучше. А вот ей вовек не забыть: столько уроков, полученных тогда, вошло ей в плоть и кровь, они изменили ее так, что она сама себя не могла узнать. Теперь те суровые уроки вспоминаются смутно, и уже не закипает в глубине души тайная ярость, что обращалась на молодого супруга; она и в самые яростные часы понимала, что это за чувство, — понимала, что она изменяет брачному обету. Она прекрасно знала: вся безмерно тяжкая ответственность за супружеское счастье лежит на плечах женщины. Порой это казалось еще одним невыносимым бременем, которое достается на долю многих и многих жен. А в другие минуты, краткие, но вос-

хитительные — к примеру, когда справлялись свадьбы, дни рождения и иные годовщины у друзей, Рождество, Пасха, или просто в дни, когда радовала хорошая погода, отличное здоровье, какие-нибудь добрые вести, словом, всякий раз, как лицо мужа озарялось довольством, мирным отсветом домашнего уюта, — душа ее, казалось, обретала крылья. Тогда оживала, расцветала и крепла ее преданность, и она почти так же верила, что их брак — совершенство, как верил муж, он-то был в этом убежден непоколебимо, до суровости. Ни разу он не признал, что их супружество когда-либо омрачила хоть легкая тень, малейшее облачко, об их общем прошлом и повседневной жизни за бесконечно долгие годы он всегда говорил и ее приучил говорить с неизменной лживой нежностью.

Фрау Гуттен внутренне вздрогнула, точно громом пораженная. Лживой? Господи, до чего она додумалась? Она огляделась, потрясенная, беспомощно и пугливо — слишком часто и во сне, и в такие вот минуты наяву напал на нее этот страх, что ее тайные мысли выставлены напоказ во всей неприглядной наготе, во всей постыдной ребячливости, и теперь неотвратимый позор, всеобщее осуждение обрушатся не только на нее, но и на мужа, ведь он так часто предупреждал ее, что всякий недостойный поступок жены, даже малейшая нескромность, неминуемо позорит мужа, обличает его как человека, не способного навести порядок в собственном доме. «Ты отвечаешь только передо мной, дорогая, — поучал он ее в ту раннюю пору, когда она еще пыталась по-детски восставать против его власти, — разве что — но это невозможно вообразить! — ты прямо преступишь закон; я же отвечаю за тебя, как за себя самого, перед Богом и во многих отношениях перед мирским законом тоже, ибо он основан на велениях божественных. О, дорогое мое дитя, — с нежностью говорил он в те далекие времена, и голос его становился глухим и прерывистым, а руки начинали дрожать, — так важно, чтобы ты приняла жизнь такую, какова она на самом деле, постичь ее тебе помогу я, поможет моя любовь», — говорил он, и волнение захлестывало обоих и уносило невесть куда; где же неизменно кончались эти сценки, эти проповеди, которые всякий раз обрывались на полуслове? В постели, всегда в постели — долгим любовным слиянием, таким сладостным, таким бесстыд-

ным, что оно казалось грешным, словно они вовсе и не женаты. Она так и не посмела признаться мужу в этом ощущении греха, и он тоже при свете дня никогда не упоминал об их необыкновенной ночной жизни, словно днем оба они становились другими людьми, словно та любовь — секрет, который им надо хранить даже друг от друга...

Фрау Гуттен покраснела до ушей, но не от стыда, а от чувства вины и раскаяния. Да как же могло хоть на краткий миг прийти ей в мысли слово «ложь»?! Ведь она же прекрасно знала — как могла она забыть? — что эта тревожная заботливая нежность, эта решимость искоренить в себе все изъяны и все низменное, что присуще природе человеческой, это стремление к совершенству — вот главное и единственное, что создали они вдвоем, их дитя, воплощение совершенного добра, о котором она мечтала. Мягким округлым движением фрау Гуттен подняла руки, на миг закрыла лицо ладонями и вновь опустила их на стол по обе стороны тарелки.

— У тебя заболела голова, дорогая? — спросил муж, прервав себя на полуслове (он все еще не кончил говорить).

— Нет-нет, не беспокойся, прошу тебя. Я прекрасно себя чувствую.

Теперь профессор Гуттен обратился к доктору Шуману.

— Проблема добра и зла неразрешима, ибо нельзя их определить. Существуют ли они сами по себе, или это лишь понятия, созданные нашим разумом? И даже если так, откуда и как эти понятия возникли? С точки зрения философской ответить невозможно. Я спрашиваю чисто теоретически.

— А для меня это вопрос не философский, — сказал доктор Шуман. — Да если бы и так, сам я не философ. Я полагаюсь на учение церкви и, уж извините, не могу обсуждать этот предмет. Я жалкий грешник и нуждаюсь в повседневной помощи Божией, — прибавил он сдержанно, сухо. — Я согласен с капитаном: настоящему злодею требуется сильный характер. А мы в большинстве слишком слабы, равнодушны или трусливы — и это, пожалуй, к лучшему. Мы впадаем во зло, так сказать, бездейтельно, уступаем ему, вместо того чтобы противиться. Мне кажется, в глубине души мы сочувствуем преступнику, потому что он совершает поступки, о которых мы только мечтаем. Во-

образите, вдруг бы все человечество разделилось на два воинства: демоны нападают, ангелы в боевом строю защищаются... нет, мир достаточно плох и теперь, когда девять десятых среди нас наполовину спят и не желают просыпаться.

Доктор положил крест-накрест нож и вилку; последние слова он произнес очень тихо, почти виновато, словно вдруг сам услышал, как нудно, тягуче, совсем как перед тем у профессора, звучит его голос. Вино он допил в молчании.

Фрау Гуттен не слишком внимательно слушала мужа, ведь его речи она знала наизусть; но долгие годы она размышляла над его теориями относительно человеческой природы, столь далекими от действительности, столь возвышенными и отвлеченными, что она ни разу не посмела хотя бы намекнуть ему, к каким выводам на сей предмет пришла за долгую жизнь, изо дня в день сражаясь с воплощенным злом в рабочей одежде.

Она заговорила — и с изумлением услышала собственный голос.

— Я хорошо знаю, что на свете много дурных людей, злых гораздо больше, чем добрых, даже добрых просто от лени; больше злых от природы и по своей охоте, по глубочайшей склонности, злых и дурных насквозь; а мы поощряем этих извергов, потому что мы к ним милосердны, или снисходительны, или просто мы слабы, как говорит доктор Шуман. Слишком равнодушны и не желаем из-за них беспокоиться, пока они не причиняют нам вреда. И если даже причинят — тоже иногда не желаем беспокоиться. А их ничуть не трогает, что мы так стараемся обращаться с ними по совести и по справедливости... ничего подобного, они исподтишка над нами смеются, и называют нас дураками, и обманывают еще нахальней, потому что думают — мы совсем глупы и не понимаем, когда нас обманывают! И мы не наказываем их по заслугам, потому что потеряли чувство справедливости, мы говорим: «Если мы сажаем вора в тюрьму или приговариваем убийцу к смертной казни, мы так же преступны, как они». Да это же несправедливо по отношению к людям невинным, эта сентиментальность — бесчестная, нам должно быть просто стыдно! Или мы на все закрываем глаза и твердим: «Если мы будем вести себя с ними по хорошему, они в конце концов тоже станут с нами хоро-

шие!» Это ложь, это величайшая неправда. Я убедилась, от этого они только становятся нахальнее, потому что не боятся нас, а презирают, а они должны нас бояться... И все по нашей же мягкотелости, и мы творим зло, да, зло, когда позволяем им творить зло безнаказанно. Они считают нас трусами, и они правы. Во всяком случае, мы — простофили, и мы заслужили, чтобы они так с нами обращались...

Тут она с пугающей ясностью услышала в ледяной тишине свой голос, запнулась и в отчаянии, почти в изнеможении умолкла. Соседи сосредоточенно передвигали свои тарелки, тербели салфетки. Ужин кончился, им хотелось встать из-за стола, они только и ждали, когда же она договорит. Муж сидел неподвижно, точно вылепленный из глины, у него было лицо сильного, но простодушного человека, который увидел перед собой клубок змей. Она бросила на него мимолетный взгляд — и уже не решалась поднять глаза, смотрела только на его руки, сложенные на животе. Ну вот, подумала она, я погубила его жизнь; лишь много позже пришло ей в голову — а что же она сделала со своей жизнью, которая всецело зависит от мужнина благополучия? Не по дерзости, просто по неосмотрительности — так сильна была потребность высказаться, что она больше ни о чем не подумала, — она бросила вызов глубочайшему его убеждению, прочной основе, на которую опиралось все их супружество, а именно: первый долг жены — всегда и во всем, будь то дело первостепенной важности или последняя малость, безоговорочно соглашаться с мужем; а уж при посторонних малейшее несогласие становится предательством. Ей вовсе незачем спешить ему поддакивать, это выглядело бы нарочито. Нет, ей всегда отводилась приятная роль хранить то молчание, которое означает согласие. Да и не в том суть, какого она мнения о чем бы то ни было. Важно одно — безоговорочная верность мужу, а она обычно всего красноречивей выражается без слов.

Фрау Гуттен испустила тяжкий, глубокий вздох, это было как последний вздох умирающего. Отныне и до конца жизни она будет искупать свою вину — что ж, она готова, и душа ее, кажется, воспарила в высь, уже недосыгаемую для страданий, как будто, примирясь с муками наказания, она тем самым их избегла.

— Я с вами согласна, — неожиданно сказала фрау Шмитт. — Мы не должны поощрять тех, кто нехорошо с нами поступает. Мы сами виноваты, если позволяем им наступать нам на ноги.

— Но я этого не говорила!

— А что же тогда вы говорили? — растерялась фрау Шмитт.

Тут профессор Гуттен поднялся, тронул женин локоть, и она тоже встала, благодарная за то, что он избавил ее от глупых пререканий с этой женщиной. Супруг ее полагал, что всякое сближение между женщинами, даже самое поверхностное и мимолетное, — противоестественно, пагубно, на этой почве произрастает сообщничество против мужчин, ведущее к разладу между мужем и женой. Замужние женщины обсуждают и сравнивают супружеские привычки и провинности своих мужей и дают дурные советы молодым девушкам. Женщина не может и не должна быть союзницей женщин, она должна быть безраздельно предана только своим мужчинам — отцу, брату, сыну, но главное, прежде всего и превыше всего — мужу. Женщинам не дано понять, что такое истинная дружба в том высшем, благородном смысле, в каком она естественно возникает между мужчинами; женщины на дружбу не способны, они прирожденные соперницы, и, когда сойдутся вместе, это к добру не приводит. В общении женщин всегда есть что-то нездоровое, истеричное; и в благородное замкнутое общество мужчин их тоже допускать нельзя, ибо они не умеют чтить истину и священные обряды... Ох, сколько раз фрау Гуттен слышала, как ее супруг развивает эти теории перед мужчинами и дамами в ее же гостиной, а она, уже приученная, покорно молчит, но внутри что-то без слов протестует... «Да ведь есть же в нас еще многое другое, а он этого словно и не замечает! Ведь не исчерпывается же все этим...» — она чувствовала себя такой беспомощной, бессловесной и, странно — да, вот что странно, непостижимо, — до ужаса одинокой. А другие женщины словно бы соглашались или смирялись, и почти все знакомые ей мужчины тоже так рассуждали, и примерно то же самое она читала во многих книгах очень уважаемых авторов; так говорил когда-то и ее отец, и многие служители церкви. В конце концов приходилось признать, что этот суровый приговор — еще одна великая

истина из тех, которые она по природе своей не способна усвоить.

Они откланялись и поспешно вышли из кают-компанияи.

— Пожалуйста, немножко медленнее, — попросила фрау Гуттен на лестнице, задыхаясь и прихрамывая.

Муж тотчас замедлил шаг. Она благодарно вздохнула и сказала торопливо, пока грозное молчание не разделило их:

— Дорогой мой, я просто ума не приложу, почему я все это наговорила!

— Не разговаривай на лестнице, дорогая, задохнешься, — холодно отозвался профессор; голос его звучал так же размеренно, как его шаги. — Когда жена противоречит мужу, при посторонних многословно высказываясь о предмете, которому ее муж посвятил немало размышлений и в котором она совершенно не разбирается, — разреши тебе заметить, если она сама не знает, почему говорит, не лучше ли ей помолчать?

— О господи, господи! — Фрау Гуттен внутренне вся съежилась перед ужасными капканами, которые расставляет жизнь; казалось, она весь свой век бредет в темноте, а поперек дороги на каждом шагу натянута проволока. — О господи, я же совсем не то хотела сказать!

Профессор вдруг остановился, но тотчас опять ринулся вперед.

— Не то хотела сказать? — изумленно переспросил он. — Значит, просто болтала, не думая? Как истая женщина? Если уж говоришь такое, непростительно говорить, не подумав. Подобное легкомыслие может извинить разве что неуместная откровенность. Как же мне все это понимать? Что ты просто по каким-то своим причинам пожелала опозорить мужа? Какая измена!

— Нет-нет, о господи!

— Измена моим идеям, — пояснил супруг; взрыв праведного гнева миновал, и он опять заговорил спокойно, рассудительно. — Измена складу моего ума, моей скромной деятельности ученого, всему внутреннему смыслу моей жизни, которую я, глупец, так опрометчиво тебе доверил. Только и всего, — заверил он с устрашающей кротостью, — пустяк, чистейший пустяк!

Они свернули в коридор, ведущий к их каюте, и оба сразу увидели, что дверь распахнута настежь. Каждый по-

чувствовал, что другой вздрогнул всем телом. Супруг опомнился первым.

— Как ты могла так оставить? — спросил он все тем же глубокомысленным тоном, который доводил ее до отчаяния, ведь изрек он такую бессмыслицу.

— Ничего я не оставляла. — На глаза ее навернулись слезы. — Ну почему я всегда оказываюсь во всем виновата!

— Не время себя жалеть, — сказал профессор. — Ты вышла после меня, и я думал, ты затворила дверь. Я помню, как ты взялась за ручку.

— Нет, это просто невыносимо, — сказала фрау Гуттен дрожащим голосом. — Когда это, скажи пожалуйста, ты проходил в дверь первым? Сам знаешь, ты отворил ее передо мной, пропустил меня вперед и потом закрыл.

Профессор остановился и взгляделся в лицо жены так, словно видел ее впервые в жизни и готов с первого взгляда проникнуться неприязнью.

— Вот как? — язвительно спросил он. — Ты уверена, что я всегда был с тобой так учтив?

— Да, всегда.

Она упрямо смотрела на него, глаза в глаза. И профессор смутился — вот дьявольщина, она ухитрилась поставить его в дурацкое положение: конечно же, он всегда был учтив, привычка — вторая натура, и уже не вспомнить каждый свой шаг, но, без сомнения, он пропустил ее вперед, и...

— Может быть, тут побывали воры, — сказал он, входя, и притворился, будто осматривает замок.

Жена слегка наклонилась и, шурясь, заглядывала во все углы.

— Его здесь нет, — тоненько, по-детски, сказала она. — Мой дорогой, он исчез... Он ушел неведомо куда, потому что ты оставил дверь открытой.

— Я запрещаю тебе так говорить! — чуть не крикнул Гуттен.

— ...он потерялся и ищет нас. И не понимает, почему мы его бросили. Он забредет, куда не надо, и кто-нибудь его побьет или пнет ногой. Пойдем скорей, поищем его! Ох, как же ты оставил дверь открытой и не подумал о Детке? Он как ребенок, он хочет всюду ходить с нами... Ох, как ты мог?

— Ты, конечно, все еще ничего не соображаешь. — Профессор овладел собой, резко пожал плечами и воздел правую руку к небесам. — Пойдем поищем собаку, пока ты не помешалась окончательно. Неужели тебе и в голову не пришло, что кто-то мог сюда забраться, нас могли обокрасть? Где твое гранатовое ожерелье? А бриллиантовые серьги твоей бабушки?

— На сохранении у казначея. — Теперь слезы ручьями текли по щекам фрау Гуттен. — Прошу тебя, пойдем поищем Детку!

Профессор взялся за ручку двери, посторонился, пропуская жену, и решительно закрыл за собой дверь.

— Неужели ты не видишь, дорогая, как плотно я ее затворяю, когда я делаю это сам?

— Это сейчас ты так закрыл, — непримиримо ответила жена.

И не впервые профессор Гуттен с горячим сочувствием вспомнил, как мудро говорил о женщинах его отец: они — просто дети, только ростом побольше, и, если хочешь порядка в доме, надо время от времени дать им отведать розги. Рука об руку, в мучительном молчании они пошли бродить вверх и вниз по душным коридорам нижних палуб, спрашивали всех подряд — пассажиров, матросов, всю корабельную прислугу и начальство, не видел ли кто-нибудь их собаку.

— Вы, наверно, помните? Такой белый бульдог... единственная собака на корабле.

Некоторые говорили, что белого бульдога помнят, но сегодня вечером его никто не видал. Гуттены опять пошли наверх. Фрау Гуттен почувствовала легкий толчок в бок — муж вздернул плечо, выставил локоть, словно ему стало в тягость, что она на него опирается. Она так испугалась, что едва не выпустила его руку, но не посмела — вдруг он подумает, что она не просто обиделась, а разозлилась. И в страхе крепче прильнула к нему: ведь что сейчас ни сделай, что ни скажи, он все примет как новое оскорбление.

На палубе с левого борта после ужина гремела музыка, ритм вальса был отчетлив, как тиканье часов; подхваченные ветром звуки эти смешивались с текучим вольным на-

певом гармоник, доносящимся с нижней палубы, — там в нескольких местах, сойдясь в круг, танцевали мужчины: хлопали в ладоши, прищелкивали пальцами, пристукивали каблуками, трещали кастаньетами, выкрикивали «Olè!», — а женщины и дети сгрудились в темноте и молча смотрели.

— Ой, папа, не хочу я танцевать! — взмолилась Эльза. — Вечно одни и те же старые вальсы...

— Ты прекрасно понимаешь, Эльза, это еще не значит, что танцевать не надо, — сказала мать. — Вальс очень милый танец, самый подходящий для порядочной женщины. Ты что же, хочешь танцевать под этот неприличный джаз? Что бы о тебе подумали в Санкт-Галлене?

— Нет, мама, но, может быть, фокстрот...

— Ну, Эльза, — сказал отец, — ты просто стесняешься, так вот что я тебе скажу: первый танец всегда надо танцевать с тем, кто тебя сопровождает. Сейчас тебя сопровождаю я, значит, первый вальс ты танцуешь со мной, а там видно будет. Ты не танцевала со своим папой с прошлого дня твоего рожденья.

— А когда увидят, что ты танцуешь, тебя пригласит кто-нибудь еще, — прибавила мать.

Эльза еще раньше, с первой минуты увидала, что ее студент танцует с испанкой по имени Пастора, и ее наболевшее сердце снова мучительно сжалось. В страхе перед тяжким испытанием она положила руку на отцовское плечо. Отец подпрыгивал и вертелся, с размаху кружил ее и вновь притягивал к себе, а в промежутках притопывал ногами, и она в страхе ждала, что он еще выкинет. Она даже не смела поднять глаза: вдруг взглянешь, а над тобой все смеются. Она была выше и крупнее отца, и он подскакивал перед нею, как бентамский петушок, и громко повторял:

— Ножками, ножками, дочка! Пошевеливайся! Ты что, не слышишь музыку?

«Я же не мешок с мукой и не швабра! — хотелось ей крикнуть. — Разве это танец, ты делаешь из нас обоих посмешище, никто так не танцует, только ты один!» А его лицо так и сияло весельем и нежностью, он топал, прыгал, вертел и кружил ее против ее воли, и она покорялась и стра-

дала молча, ведь девушке положено слушаться своего отца.

Молодой моряк весь в белом, помощник капитана, сказал другому, который только что замешался в эту вечернюю сутолоку:

— Кому-то надо выручить эту девушку. Ты или я?

Второй вынул из кармана монетку.

— Орел или решка?

— Орел, — сказал первый.

Выпала решка.

— Везет тебе, — сказал второй и подобрал свою монетку.

— Ничего, в другой раз повезет тебе.

Оба засмеялись; танец уже кончался; проигравший тихо подошел и с величайшей почтительностью обратился к фрау Лутц.

— Если позволите, — сказал он с поклоном, — я был бы счастлив потанцевать с вашей дочерью.

— Можете ее пригласить, — снисходительно молвила фрау Лутц, будто оказывая ему неслыханную милость.

Увы, Эльза была выше и крупнее и этого стройного, подвижного морячка, и остро ощущала это, и никак не могла попасть в такт. У него вспотел затылок, он покрепче обхватил партнершу и, пока длился вальс, с отчаянной решимостью продолжал передвигать ее, вялую, словно неживую, взад и вперед, изворачиваясь, чтобы она не наступала ему на ноги, и почти не расходясь с музыкой. Когда оркестр умолк, он рассыпался в благодарностях, подвел ее к родителям и сбежал.

— Вот видишь? — сказала фрау Лутц. — Лиха беда начало. Мы пойдем посидим где-нибудь поблизости, поиграем в шахматы. А ты останься, повеселись. Через часок мы за тобой придем.

Эльза в отчаянии озиралась по сторонам — где бы спрятаться или хоть посидеть? Когда палубу освобождали для танцев, убрали не все стулья, один стоял почти рядом с креслом больного старика — этот несчастный верил, будто способен исцелять других, хотя сам был при смерти. Эльза робко, нерешительно направилась к нему — может быть, ее соседство будет ему неприятно? Она столько мучилась, чувствуя себя отверженной, кому недоступны обычные, естественные радости, — это сделало ее чуткой и милосердной.

Их еще разделяло несколько шагов, и тут умирающий радостно приподнял руку и указал на соседний стул.

— Придвиньте его поближе и поговорим, — сказал он.

Эльза пододвинула стул и села так неловко, что ее колени почти касались колен больного. Обернулась и стала грустно оглядывать танцующие пары: вот Дженни Браун с Фрейтагом; вот миссис Тредуэл с самым красивым из молодых моряков, притом он в самом высоком чине, галуны у него золотые, а у того, с которым танцевала она, Эльза, были только серебряные. Хансен, как всегда, с этой ужасной Ампаро — и как ни трудно поверить глазам, но вот кружатся и покачиваются, прильнув вплотную друг к другу, угрюмый мальчишка Иоганн и девица по имени Конча. А для Эльзы нет никого — нет и не будет; вечно ей вот так сидеть и смотреть, как любимый танцует с другой — и всегда с кем-нибудь вроде Пасторы! У нее так заколотилось сердце, что толчки его больно отдавались во всем теле. Старик Графф заметил, что девушку что-то мучает, спросил ласково:

— Как вы себя сегодня чувствуете?

А она и не подумала справиться о его самочувствии!

— Почему вы не танцуете? — мягко продолжал больной. — Вы такая славная девушка! Мой сумасброд племянник должен бы танцевать с вами, а не с той странной особой...

— У меня, кажется, немножко болит горло. — Эльза не умела лгать без запинки. — Мама говорит, лучше мне посидеть спокойно.

— Придвиньтесь ближе, — сказал Графф, — наклонитесь ко мне, я вылечу ваше горло. Вам незачем хворать, ведь господь дал мне силу исцелить вас.

Он приподнял руку и хотел дотянуться до Эльзы, тронуть ее. Но она откачнулась, ее неповоротливому уму и добродетельной плоти претила близость этого полутрупа, точно к ней тянулась сама смерть...

— Тогда сначала станьте сами здоровы, — сказала она мягко, но решительно.

— «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос» — помните? — мигом подхватил Графф, ему уже сколько раз это говорили. — Он наделил даром исцелять своих избранных мучеников и апостолов, однако никто из

них тоже не мог спасти самого себя, так поныне и с нами, к кому перешел этот священный дар. Зачем бы мне исцеляться? Господь этого не пожелал, а значит, и я не желаю. Слушайте, дитя мое: если бы я мог исцелиться сам, я стал бы таким же себялюбцем, как другие; я искал бы удовольствий и позабыл бы о своем долге перед страждущими. Господь пожелал, чтобы я остался в домах болезни и смерти и страдал вместе с другими. Только в болезни я могу ему служить, он мне сам это поведал. И это не так трудно, — промолвил Графф шепотом, Эльза с трудом его расслышала за плеском волн, да и ветер шумел в ушах. Она ближе наклонилась к больному, почтительно вслушиваясь в слова, исполненные святости, и он прибавил: — Не надо меня жалеть. Это легко. Господь послал мне испытание, ибо возлюбил меня.

Она молчала, еле сдерживая слезы. Пронзительная музыка зазвучала громче, ярко освещенная палуба, по которой проносились танцующие пары, выглядела так празднично, даже противные близнецы-испанчата сейчас казались счастливыми... и звезды казались совсем близкими, и ветер овеивал лицо такой нежностью и чистотой, столько в нем было прохлады, и свежести, и доброты...

— Мне надо идти, — смущенно сказала Эльза. — От всего сердца желаю вам доброй ночи, господин Графф. Спасибо, что вы хотели мне помочь... но я не больна, это на самом деле и не болезнь...

— Я принял на себя все мучения людские, — сказал он, — недуги всех недужных приняла моя плоть, и так же я приму боль, поразившую ваше горло, и вашу скорбь... но для этого я должен вас коснуться.

С усилием он подался вперед, приподнял голову, редкая острая борода, лежавшая у него на груди, тоже приподнялась. — Дайте мне коснуться вашего горла и помолитесь за вас, и вы станете воистину здоровы телом и душой.

Ей не хотелось быть грубой — и, прежде чем она посмела отпрянуть, старик протянул руку и взялся за ее шею холодной тощей ладонью; мгновенье костлявые пальцы бессильно льнули к ней — и разжались, соскользнули по груди Эльзы и вновь упали на плед, который покрывал его колени. Он увидел ужас в ее лице, ощутил, как содрогнулось под его рукой упругое тело.

— Да простит вам бог, жестокосердая, — сказал он сурово.

Эльза выпрямилась, отвернулась, но успела заметить, что на глазах у него выступили слезы, покатались по щекам на редкую и какую-то словно нечистую бороду. В отчаянии она бегом кинулась по палубе, мимо танцующих, шарахнулась от белого бульдога Детки (он как раз спускался по трапу с палубы, где находились шлюпки) и вбежала в ярко освещенный салон. Ее родители так поглощены были партией в шахматы, что едва кивнули ей, когда она села неподалеку. Она слегка задыхалась.

— Ты, кажется, запыхалась, Эльза? — спросила мать. — Ты что же, так усердно танцевала?

И они широко, ласково, понимающе заулыбались, одобритительно глядя на дочь.

— Ну вот и хорошо, — сказал отец. — Нашей дочке не пристало подпирать стенку. А теперь поди ложись, — распорядился он. — Чтобы завтра быть хорошенькой, надо лечь пораньше и как следует выспаться.

Миссис Тредуэл танцевала со своим помощником капитана, он приглашал ее чуть не каждый вечер. Он давно уже назвал ей свое имя и даже имя города, откуда он родом; сперва она их путала, а потом уже не могла вспомнить ни то, ни другое. В минуты, когда она не смотрела на этого молодого человека, она едва могла припомнить его лицо и порой не сразу его узнавала, когда он подходил. После недавнего недоразумения с Лиззи и Фрейтагом она, как никогда, жаждала держаться от всех подальше — никого не касаться, и чтобы ее никто не коснулся ни рукой, ни словом. Эти субъекты даже разговаривают так, будто подглядывают за тобой или хватают тебя лапами, просто невыносимо. Ей нравилось, что молодой моряк едва придерживает ее кончиками пальцев, а правая рука покоится — нет, не покоится, почти что взвешена в воздухе у самого безразличного краешка ее существа — это совсем безобидное местечко чуть пониже правой лопатки. И ее ладонь тоже легко парит чуть выше его согнутого локтя, храня надлежащее расстояние между их телами — когда-то на уроках танцев ответственность за это безраздельно возлагалась на даму.

«Если вы не уверены, соблюдаете ли должное расстояние, — наставляла ее учительница танцев, — мысленно поднимите правую руку, согнутую в локте, на высоту плеча и, если она едва касается груди кавалера, будьте спокойны, все правильно. Если вам покажется, что кавалер переходит эту границу, отстраняйтесь решительно, но грациозно, не сбиваясь с такта, пока он не поймет намека. И помните, если он настоящий джентльмен, он безусловно поймет намек. Если же не поймет, в другой раз вы не станете с ним танцевать...» Этот призрачный голос донесся из допотопных времен ее юности, долетел из бескрайних бездн забвения и так умилил миссис Тредуэл, что она поглядела на своего кавалера с мечтательной нежной улыбкой, словно сквозь сон, — и мгновенно очнулась, потому что он в ответ нахмурился — может быть, и не тревожно, но, во всяком случае, озадаченно. В то же время рука его сжалась чуть-чуть крепче, и он очень-очень осторожно привлек ее поближе. Миссис Тредуэл мысленно приподняла правую руку, согнув ее в локте. Молодой моряк тотчас же вновь расслабил руку и, глядя на Детку, который путался под ногами у танцующих, сказал задумчиво:

— Интересно, почему пес бродит тут один?

Миссис Тредуэл об этом понятия не имела, и они продолжали кружить в мирном молчании и полном согласии, пока не смолкла музыка.

— Благодарю вас, — сказал моряк.

— Это было восхитительно, — с улыбкой отозвалась миссис Тредуэл, глядя куда-то поверх его головы. — Спокойной ночи.

И сейчас же ушла с палубы.

Ампаро все еще учила Хансена танцевать, она поворачивала его и подталкивала, и на лице ее застыла безмерная скука. Как она ни старалась его направлять, он ухитрился вместе с нею едва не сбить с ног стремительно кружащихся Иоганна с Кончей, но те все-таки увернулись и унеслись прочь, как птицы.

— Чурбан, — ругнулась Ампаро, это было первое слово, которое она ему сказала за весь вечер. — Долго еще, потвоему, я должна с тобой топтаться?

Хансен весь вечер молчал, промолчал и теперь, только стиснул ее еще крепче, тяжело двинулся по прямой, точно

шагал за плугом, и едва не вломился вместе со своей дамой в оркестр.

— Болван! — сказала она.

Хансен затопал дальше, угрюмо задумался.

— Я тебе плачу, верно? — мрачно сказал он наконец.

— Ну, уж не за то, что все ноги мне отдалил! — вспыхнула Ампаро. — Буйвол! Гляди, куда копыта ставишь!

Фрейтаг и Дженни усердно прикидывались друг перед другом, будто встретились они на палубе совершенно случайно, и мешкали в нерешимости: танцевать ли? От Дэвида в любую минуту можно ждать какой-нибудь нелепой выходки. Когда Дженни натолкнулась на Фрейтага, он стоял в одиночестве, чуть наклонясь, сунув одну руку в карман, и смотрел на танцующих или только притворялся; хмурое лицо его странно застыло, глаза широко раскрыты, так что вокруг радужной оболочки светится белок, и взгляд слепой, неподвижный; Дженни уже не раз видела его таким и сперва вполне верила тому, что видит, и досадливо сочувствовала, а потом засомневалась: может быть, он и вправду мучается, а может, отчасти актерствует. Но все равно каждый раз в ней вспыхивала досада на капитана, который так грубо и пошло оскорбил этого человека. Конечно же, виноват именно капитан, ведь только он одним своим словом мог прекратить всю эту чепуху; а он, напротив, все это поддержал и узаконил. Какая трусость и подлость — ударить того, кто не может дать тебе сдачи. Беднягу Левенталья тоже унижают, а Фрейтаг про это, кажется, ни разу и не подумал, что вовсе не делает ему чести. Нет, непременно надо давать сдачи, удар за удар — и еще сверх того, сколько сумеешь. Не сопротивляться, не отплатить тому, кто оскорбил тебя ли, другого ли, — значит примириться с несправедливостью, это самая настоящая нравственная трусость, и это она, Дженни, презирует больше всего на свете. С такими мыслями (впрочем, они с каждым ее шагом затуманивались и рассеивались) Дженни подошла к Фрейтагу, а когда он, увидев ее, встряхнулся и, словно бы радуясь, улыбнулся ей, и вовсе про них забыла.

— Хотите потанцевать? — спросила она. — Дэвид такой подозрительный, мне надоело потакать его капризам.

— Конечно, хочу! — отозвался Фрейтаг. — Весьма польщен!

Такт-другой они принаравливались друг к другу, потом заскользили согласно, и Фрейтаг сказал:

— Я вам не рассказывал, как первый раз встретил свою жену? Мы были в одном очень дорогом и шикарном берлинском ночном клубе, это такое низкопробное заведение высшего сорта, открытое для всех и каждого. — Он запнулся. — То есть если вы хорошо одеты и ясно, что денег у вас вдоволь. Я танцевал с одной тамошной девицей, там, знаете, такие дамы — спина голая чуть не до пояса, и в перерывах между танцами они играют друг с дружкой в невинные игры, скажем перекидываются мячом, чтоб выставить напоказ свою фигуру и свою гибкость... ну и вот, а она, маленькая, прелестная, появилась там с небольшой компанией молодежи, бросалось в глаза, что все эти юнцы и девушки очень богаты... выглянула из-за плеча своего кавалера, рожица озорная, дерзкая, сразу видно — балованная особа, ничего на свете не боится, и крикнула мне, как будто я раньше ее спрашивал: «Что ж, пожалуйста, могу танцевать с вами следующий танец!» Сами понимаете, в перерыве я ее сразу отыскал и спросил, всерьез ли она это.

«Ну и нахалка, — подумала Дженни. — Но это ей удалось, такое почти всегда удается».

Фрейтаг стал вспоминать какой-то другой столь же нелепый случай, а Дженни терпеливо слушала, как он себя мучает, и гадала — понимает ли он, что рассказывает о своей жене в прошедшем времени?

— На самом-то деле она была очень воспитанная девушка, обычно она ничего подобного не делала. Позже, много позже я ее спросил, и она сказала, что влюбилась в меня с первого взгляда и решила выйти за меня замуж, хотя еще не успела подойти поближе, еще не видела даже, какого цвета у меня глаза! Вот безумие, правда?

— Чистейшее безумие, — подтвердила Дженни. — Просто самоубийство.

Фрейтага это слово, кажется, смутило, но он предпочел обойти его молчанием.

— Она была такая умница, — продолжал он с нежностью, — она будет еще умнее своей матери, когда доживет до таких лет... Она всегда в точности предсказывала мне

как что будет, никогда не попадала впросак, бывало, сразу почует, где чем пахнет, и скажет: «Пойдем дальше, это место не для нас». Иногда я ей не верил или мне не хотелось верить, я сердился, что она слишком много думает о своей национальности, что она из тех евреев, которым вечно чудится, будто их ненавидят и преследуют. А она говорила мне прямо в лицо: «Все иноверцы ненавидят евреев, только некоторые притворяются, будто они нас любят, и эти хуже всех, потому что они лицемеры». А я ей говорил, что она так рассуждает, просто чтобы придать себе важности, мол, она тоже из числа избранных... Это ж надо — вообразить себя избранным народом, такое непростительное зазнайство и свинское себялюбие! Я ей говорил, постыдились бы все вы... Нет, мы не ругались, ничего подобного. Но иногда это всплывало, и она очень сердилась и кричала: «Говорила я тебе... все иноверцы так рассуждают!» А потом мы ужасно пугались, и скорей обнимали друг друга, и говорили — давай не будем ссориться, и все это забывалось, потому что мы ведь любили друг друга.

Он говорил, говорил, будто замороженный плавным ритмом вальса и собственным голосом, звучащим в лад музыке. А Дженни спрашивала себя, помнит ли он и другие свои рассказы про жену, все эти слова, полные безмерного обожания, романтическую нежность, лучезарные самообманы медового месяца, неизменные похвалы, неизменную готовность охранять и защищать. А почему бы и не помнить? Все это было правдой, пока так оно шло, но, когда зайдешь так далеко, неминуемо надо возвратиться вспять, к самой основе, к истокам, и начать сызнова, и установить ряд других истин. Спишь — и это одна действительность, пробуждаешься — и действительность уже другая, или, может быть, та же самая, но в иных своих бесчисленных поворотах. Теперь понятно: Фрейтаг все время говорил о жене, как говорят о мертвых, и в этих непрерывных воспоминаниях словно бы приходил с цветами на ее могилу и читал надгробную надпись, которую сам же для нее сочинял.

— ...ох, господи, — говорил он еле слышно (они с Дженни легко скользили в кругу вблизи оркестра, Фрейтаг почти касался губами ее уха). — Как бы я хотел взять и увезти ее одну, без матери, та нипочем не даст нам забыть, что она чуть не всех своих друзей из-за нас лишилась...

найти бы такую страну — есть же где-нибудь на свете такая страна! — где мы сможем жить как люди, как все люди! И никогда не услышим этих слов: еврей, христианин...

— Вы можете поехать в Африку, — сказала Дженни. — Поищите какое-нибудь необыкновенное племя, там, наверно, еще уцелели людоеды и охотники за черепами, они вас обоих будут ненавидеть одинаково, потому что у вас кожа другого цвета. А вы преспокойно сможете их презирать, потому что от них скверно пахнет, и они все время чешутся, и поклоняются деревьяшкам и камням, и надевают на себя чересчур яркие тряпки; они такие же самовлюбленные, как и мы, так же пылко собой восхищаются, а цвет нашей кожи напоминает им о привидениях и о смерти, и они говорят, что их тошнит от нашего запаха. Вам это больше понравится?

Фрейтаг вскинул голову, посмотрел на Дженни сурово и укоризненно, по глазам было видно: он оскорблен и полон жалости к самому себе.

— Вы очень легкомысленны, — сказал он. — Вы смеетесь над страшной человеческой трагедией.

Движения их все замедлялись, они забыли о танце, вот-вот остановятся.

— Иногда я говорю легкомысленней, чем думаю и чувствую, — сказала Дженни. — Такая у меня несчастная привычка. От нее почти все мои беды...

Из-за плеча Фрейтага она увидела — на пороге появился Дэвид, мгновенно окинул взглядом происходящее и, ничем не показав, что заметил Дженни с Фрейтагом, скрылся.

— Вот уходит Дэвид, — сказала она, ничуть не удивляясь.

— Где? — Фрейтаг обернулся, но было уже поздно. Лицо его прояснилось, странная натянутая улыбочка искривила губы. Быстро, по-свойски, точно они оба — заговорщики, он привлек Дженни к себе, прижался щекой к ее щеке. — Он еще тут? И все еще ревнует? Ах, жаль, надо было дать ему повод для ревности!

— Ему никакие поводы не нужны, — весело ответила Дженни; все же от дерзости Фрейтага ее покорило, и она стала как деревянная в его объятиях. — Он и без вашей помощи прекрасно справляется, благодарю покорно.

Фрейтаг от души рассмеялся, и Дженни мысленно отметила, что смех ему к лицу. Нет, он не годится

в герои драмы, а тем более — трагедии.

— Ах вы, жестокая женщина! Вы что же, хотите заставить его всю вашу совместную жизнь сражаться с призраками? Это просто грешно — не дать ему веских оснований, если они ему нужны позарез...

— Ну нет, — возразила Дженни, — вы сильно ошибаетесь. Он вовсе не хочет, чтобы я ему изменяла. Ему только надо чувствовать, что это возможно, что другие мужчины на меня заглядываются, и, значит, он вправе обвинять меня во всех грехах... да если бы он всерьез верил в эти мои грехи, разве он был бы сейчас тут, со мной на корабле! Но знаете что? Давайте не будем говорить о Дэвиде. Он этого терпеть не может, и я его не осуждаю.

— Я-то с вами говорил о моей жене, — напомнил Фрейтаг.

— Вы говорили по-другому, — возразила Дженни.

И подумала, что зря придирается. Оба они ведут себя глупо и пошло, и что до нее, она бы вовсе не прочь провести с ним ночь, и даже не одну, да только на этой несчастной посудине, в такой теснотище никуда не скроешься. Больше ей ничего от него не надо, а вот этого хочется до тихого бешенства, до лихорадочного жара, безоглядно, как во сне. Станный этот Фрейтаг, неужели он уж такой каменный, что не чувствует всем существом охватившего ее жара?

— Да, верно, я говорил иначе, — согласился Фрейтаг, — но ведь ее здесь нет, это большая разница... Что же вы будете делать, дорогая? — спросил он с нежностью.

— Не знаю, — сказала Дженни. — Знаю только, что близок конец.

Он вдруг крепче сжал ее в объятиях и, кружа в вальсе, скользнул с нею к музыкантам. — Сыграйте, пожалуйста, «Adieu, mein kleiner Garde-offizier», — крикнул он тому, кто, сгорбясь, барабанил на плохоньком пианино.

Пианист кивнул, довольный, что кто-то хотя бы мимолично и его признал за человека. Когда Дэвид еще раз взглянул из другой двери, подальше, он увидел, что Дженни с Фрейтагом отплясывают какой-то собственного изобретения танец диких — двигаются большими шагами, размашисто, будто пьяные, и хохочут как сумасшедшие. Он повернулся и ушел в бар.

— Осторожнее! — сказал Фрейтаг. — Это Детка, что он тут делает?

Они и вправду чуть не наступили на бульдога. Он тоже попятился, они благополучно миновали друг друга, и Детка побрел дальше.

Рик и Рэк тоже танцевали в сторонке, поодаль от взрослых. Как всегда, это была игра-сражение: они стали друг против друга так близко, что носы их башмаков почти соприкасались, крепко сцепились пальцами, откинулись назад как можно дальше и завертелись на одном месте, круг за кругом, точно неистовые планеты, четко пощелкивая носками, точно кастаньетами. Соль игры была вот в чем: кто выдохнется первым, ослабит хватку и с размаху шлепнется на пол. Или еще того лучше: неожиданно выпустить руки другого, причем самому рвануться вперед, чтобы сохранить равновесие, а тот грохнется затылком. Но на деле такие победы бывали редко, ведь и души и тела близнецов прекрасно уравнивали друг друга. Когда один хотел разжать пальцы и распрямиться, всем телом метнуться вперед, другой крепче стискивал его руки и тоже рывком выпрямлялся; тогда, самое большее, они стоймя стучались лбами, а если день выдавался удачным, оба в кровь разбивали носы.

Сегодня день скучный. Игра их не веселит, но оба слишком упрямы, чтобы прекратить ее, пока не удалось хоть как-нибудь, все равно как, сделать друг другу больно. И вот эта парочка вертится вокруг своей оси — плечи откинута назад, подбородок прижат к груди, глаза впились в глаза так злобно, словно два малолетних отпрыска Медузы Горгоны пытаются обратить друг друга в камень. Ни тот ни другая не сдаются, кружатся все неистовей, впиваются когтями друг другу в запястья, стараются отдавить друг другу ноги и готовят минуту, когда, будто по молчаливому сговору, они разом отпустят друг друга и разлетятся в разные стороны — вот тогда поглядим, кто свалится, а если оба — кто расширится больней!

Конча танцевала с Иоганном, когда они очутились неподалеку от кресла его больного дяди, она вздрогнула всем телом и отвернулась.

— Господи, он совсем как покойник... не надо туда. Отведи меня подальше. Почему он еще не умер?

— Ей-богу, я только этого и хочу, — с горечью сказал Иоганн.

Он прижался щекой к ее прелестной, спокойно склоненной головке, совсем по-девичьи обвитой жгутами гладких черных волос, а его волосы поблескивали золотом даже здесь, в тусклом свете, и доктор Шуман, направляясь на нижнюю палубу принимать очередные роды, приостановился и залюбовался обоими, от души радуясь их свежести и красоте... как могла такая красота расцвести в такой бедности и убожестве? Он ведь знает, из какой среды эти двое, и, уж конечно, душой они так же нищи и жалки, как вся их жизнь, но вот они проходят в танце, безупречно сложенные, точно породистые скакуны, и страстная тоска и неуверенность на их лицах трогательны, как слезы обиженного ребенка.

— Это все от дьявола, — сказал наконец доктор Шуман и пошел помогать явиться на свет еще одному комочку брэнной плоти. — Дьявол одарил их этой красотой, и вскоре он их покинет... уже сейчас, в эти минуты, покидает, и это очень жаль!

Танцуя с Иоганном, да и с любым другим, Конча не просто держалась совсем близко, прижималась к своему кавалеру, она с ним сливалась всем телом, словно растворялась в нем, теплая, крепкая и все же невесомая; ее чуть слышное дыхание ласкало его щеку, она нежно мурлыкала что-то ему на ухо, зарывалась лицом в щеку, под ухо, украдкой незаметно кончиком языка прокладывала на шее, под подбородком, влажный след — цепочку молниеносных леденяще-жгучих поцелуев.

— Перестань! — сказал он, отчаянно обхватив ее вместо талии за шею. — Хочешь свести меня с ума?

— Да, ты все только говоришь, говоришь, а не любишь меня... и не так уж сильно ты меня хочешь. — Она запрокинула голову ему на плечо, беспомощно заглянула в глаза. — Что же мне делать? Ты сказал, у тебя нету денег... так ведь и у меня нету. У тебя вон дядя, есть кому о тебе позаботиться, а я совсем одна. Я у тебя много не прошу, но хоть что-нибудь мне надо! Ты же сильнее его, вот и заставил бы его дать тебе денег.

— Он уже почти мертвец, это верно, — уныло сказал Иоганн. — И он оставит мне свои деньги, он часто говорит — потерпи, тебе уже недолго ждать. Ненавижу его, когда он так говорит, ненавижу, потому что он знает все мои скверные мысли, он говорит про это, а ведь знает, что мне все это — нож острый. Но он пока еще не умер, и я должен ждать.

Голос его оборвался, он закрыл глаза и так стиснул Кончу, будто она — единственная его поддержка в жизни.

— Не так крепко, пожалуйста, — попросила Конча и очаровательно улыбнулась; приятно, что он такой сильный. — Ну хорошо, любишь ты меня хоть немножко? Может, ты думаешь, я из тех, которые стоят по ночам в дверях и заывают к себе?

— Так ведь ты танцовщица? Разве ты не можешь прожить на свой заработок?

— С грехом пополам, — равнодушно сказала Конча. — Пока я не знаменитая, этим много не заработаешь. Не хватит. А ты бесстыжий, ты что же, хочешь стать моим «хозяином» вместо Маноло? Если я не отдаю ему все деньги, он меня бьет. Ты тоже станешь меня бить?

— Если он у тебя отнимает все деньги, что толку тебе их зарабатывать? — спросил Иоганн.

При мысли о финансовой стороне ее ремесла в нем встрепенулся истинно немецкий коммерческий дух, любопытство на минуту пересилило все прочие чувства.

— Нет уж, всех-то денег ему не отнять, — сказала Конча. — А хоть бы и отнял, чем ты лучше его? Он хочет, чтоб я спала с другими мужчинами и деньги отдавала ему, а ты хочешь спать со мной задаром, и выходит, оба вы жулики! А еще говоришь про любовь!

— Я не говорил! — вспыхнул Иоганн. — Не говорил я этого слова!

— Что ж, — Конча презрительно засмеялась, и этот смех хлестнул его, как бичом, — ты просто трус... всего боишься, даже слова «любовь». Ты просто еще не мужчина...

— Я тебе докажу, я докажу! — Иоганн в бешенстве рванулся вперед и так толкнул ее, что оба едва не упали.

— Нет, — сказала Конча, — я совсем не про то... Быть мужчиной — другое, куда лучше. Да-да. Потанцуем в ту

сторону, там никого нет, и я тебе объясню. — Она прижала ладонь к щеке Иоганна, сказала нежно: — Не сердись, миленький. — Она кружилась в лад и в такт с ним, но не подчинялась, а вела, и вдруг предупредила: — Осторожно!

Они чуть не наткнулись на толстого белого бульдога, который бесцельно бродил среди танцующих. Он обнюхал парочку и равнодушно двинулся дальше. А они прислонились к перилам, и Конча сказала:

— Не пойму я, чего ты терпишь столько неприятностей, вовсе это ни к чему. Очень даже легко и просто с этим покончить... никакой опасности нет. Погляди на него...

С минуту они издали смотрели на Граффа — сидит в своем кресле, голова свесилась на грудь, глаза закрыты.

— Та дылда нескладная ушла, — сказала Конча. — Слушай, да он и сейчас все равно что неживой. Почти и не дышит. Просто нужно на лицо подушку, мягенькую, совсем ненадолго — *un momentito*¹, — серьезно пояснила она и двумя пальцами отмерила крошечный кусочек времени. — Сколько раз это делали, и всегда получается. Тогда ты возьмешь деньги, которые сейчас при нем, а приедешь домой — и станешь богатый! Только будь немножко посмелее, миленький. И никто ничего не узнает, даже я! Если б он нынче ночью помер, я бы не стала удивляться и ничего спрашивать — и другие тоже не станут. Мы все только удивляемся, отчего это он еще жив? Как он еще дышит? Так что, сам понимаешь...

Иоганн слушал с ужасом, и все вертел головой и трудно глотал, точно его душили. Он так часто желал дяде смерти, но это предложение убить старика своими руками его ошеломило. Нет, честное слово, никогда он ни о чем таком не помышлял! В ушах зашумело, все тело будто электрическим током прошло. В этот миг он даже не чувствовал, что маленькая рука пробралась в его рукав и скользит вверх, к сгибу локтя.

— Сделай так, — настойчиво и нежно сказала Конча, дыша ему в лицо. — Сделай так, тогда узнаешь, что значит быть мужчиной.

— Прямо сегодня? — выговорил он через силу.

— А почему нет? Чем завтра лучше?

¹ На минуточку (*исп.*).

— Я никогда ни о чем таком не думал! — вырвалось у него, точно крик боли. — Никогда!

— Значит, самое время подумать, — сказала Конча. — Ой, вот бы нам это отпраздновать, шампанского выпить! Давай выпьем шампанского, неужели ты не можешь купить хоть маленькую бутылочку? Хоть немецкого? Прямо сегодня вечером?

Иоганн даже застонал, жгучий стыд отравой разъедал все его существо.

— Подожди, — заикаясь, взмолился он, — подожди! У меня нет ни гроша... но завтра, вот честное слово, самое честное, завтра я угощу тебя шампанским!

— Ладно, тогда сейчас мы выпьем шампанского на мои деньги, а завтра ты мне отдашь. Только делай, как я велю, хватит быть трусишкой, ты не маленький. А сейчас я дам тебе денег...

И она сунула руку в вырез своего тонкого черного платьишка.

— Нет! — выкрикнул Иоганн, и ветер далеко разнес его крик над волнами. — Ничего ты мне не дашь! Ты что вздумала? Может, принимаешь меня за твоего кота? Ты еще увидишь, какой я мужчина... смеешь мне такое говорить! Ладно, только попробуй мне завтра это повторить!

— А я смею сегодня, и завтра посмею. — Конча слегка прижалась к нему, погладила его по руке. — Ты не грозись. Я тебя не боюсь, с чего мне тебя бояться? Ты же мне плохого не сделаешь? Я с тобой буду хорошая, ласковая, ты век не захочешь сделать мне что плохое. Давай не будем ругаться, это скучно, давай лучше танцевать...

— Не хочу я танцевать, — грубо и прямо заявил Иоганн. — Тошнит меня от этих танцев. Мне надо больше, я хочу кой-чего получше, хочу настоящего, довольно ты меня дурачила. В следующий раз будет по-другому!

— Да уж надеюсь! — сказала Конча. — А то про что же мы толкуем? Ты уходишь?

— Ну ясно, — сказал Иоганн. — Уже поздно, мне надо уложить дядю в постель.

— Что надо сделать?

— Уложить его в постель, я же сказал. А ты что думала?

— А потом он у тебя уснет?..

Он стряхнул ее руку — грубо рванул, стиснув запястье, точно хотел отшвырнуть ее подальше.

— Если он умрет сегодня ночью, ты же на меня и скажешь. Скажешь, это я виноват. Я тебе покажу... он сегодня не умрет, ты меня так просто не поймаешь!

И он бросился к креслу больного, как бегут, спасаясь от смертельной опасности.

— Тогда, может, завтра? — крикнула ему вслед Конча.

Она стояла и смотрела, как он, толкая кресло, скрылся в дверях; потирала запястье, и ничего нельзя было прочитывать у нее на лице. Потом вошла в бар, там сидел Маноло, перед ним — два стакана и наполовину пустая бутылка красного. Конча села напротив, на мгновение глаза их встретились; она подтолкнула к нему стакан, Маноло налил ей вина. Они взяли по сигарете, и каждый сидел и курил так, словно был здесь один или словно они незнакомы.

Проходя мимо Граффа, Детка на минуту задержался, вежливо обнюхал протянутую руку, а старик погладил его по голове и благословил.

— Все мы чада господни, все мы в его руках, и он хранит нас, — заверил Графф собаку.

В ответ на такой доброжелательный тон Детка немного повилял хвостом, но сейчас же двинулся дальше и на ходу мотнул головой и фыркнул, чтобы избавиться от запаха этой руки; он свернул на нос корабля и скрылся из виду в ту самую минуту, как из дверей бара вышли профессор Гуттен с женой и стали спрашивать танцующих:

— Вы не видели нашу собаку? Помните, наверно, такой белый бульдог?

Рик и Рэк кружились все медленней и наконец остановились, им стало скучно, и они уже собрались встать, как вдруг разом, словно у них была на двоих одна пара глаз, увидели исполненный достоинства зад Детки, вперевалку удаляющегося от кресла больного старика. Они даже не обменялись взглядом — тотчас повернули и двинулись на безлюдную подветренную сторону, чтобы там его перехватить. Побежали со всех ног к носу корабля псу навстречу — Детка увидал их, неуверенно остановился, принохиваясь. Рик и Рэк вихрем налетели на него, схватили решительно,

за что попало, одна спереди, другой сзади и мигом потащили к перилам.

Детку снова немного мутило, не было сил сопротивляться, но его до глубины души оскорбило такое обращение. Он заворочал глазами, негромко зарычал, забормотал что-то и слабо затрепыхался у них в руках. Они ухитрились поднять его на уровень перил, лапы его повисли, мягкое брюхо беспомощно подергивалось; на минуту он зацепился, повиснув задом на перилах, но близнецы дружно, изо всех сил подпихнули его — и, страдальчески тьякнув, бульдог рухнул за борт. Он шлепнулся в воду, точно мешок с песком, скрылся под водой, волна прокатилась над ним, он тотчас вынырнул, глубоко вздохнул и продолжал храбро держаться, задирая нос и неистово колотя передними лапами по воде.

Дэнни слонялся по палубе, притворяясь, будто смотрит на танцующих, а на самом деле он старался только об одном — поймать взгляд Пасторы, но это никак не удавалось. В нее вцепился один из кубинских студентов, они танцевали все танцы подряд и явно настроились провести вместе весь вечер. Наконец Дэнни вынужден был признать, что надеяться ему не на что, от разочарования ему и пить расхотелось. В таких случаях напиться пьяным — не утешенье. Только по привычке он прямо у стойки опрокинул один за другим стакана четыре, потом взял с собой двойной бурбон и поплелся на другой борт — здесь никто его не увидит, можно в одиночестве предаваться мрачным мыслям, уставясь на все те же волны, исполосованные светом с палуб и из иллюминаторов, угрюмо растревлять в себе обиду и утешаться, плюя сквозь зубы и шепотом последними словами ругая женщин — не одну Пастору, но всех женщин, всю их подлую породу. Да разве Пастора одна на свете, их миллионы. Все они суки, решил он, и тут заметил, что примерно на полдороге от кормы к носу с палубы плюхнулся в воду какой-то пухлый белый сверток, должно быть тюк с отбросами из камбуза; в это время мимо пробежали Рик и Рэк — глаза вытарашены, рот раскрыт, язык высунут, всегда они какие-то бешеные, подумал Дэнни, и тотчас почти рядом с белым тюком упал в воду еще один, длинный и темный, — и на нижней палубе раздался протяжный, хриплый, леде-

нящий душу вой, словно взвыла стая койотов. Все громче, громче, потом оборвался, зазвучал опять, теперь его перекрывали пронзительные женские вопли. Дэнни расплескал виски, уронил стакан, но даже не заметил этого, кинулся к внутренним перилам и заглянул на открытую часть нижней палубы; там толкалась и мельтешила бесформенная живая масса, перегибалась через борт, суматошно вертелась, словно люди увязли в этой каше и никак не могут разделиться; но горестный вой стал человеческим голосом, полным слез, и Дэнни сквозь пьяный туман тоже почувствовал, как в груди закипают слезы. Он зажал рот ладонью и заплакал, снова кинулся к борту — и уже позади, где оставался за кораблем пенный след, увидел: качается на волнах с полдюжины спасательных кругов, а неподалеку барахтаются человек и белая собака, оба плывут, человек придерживает собаку за ошейник, и к ним идет шлюпка, изо всех сил гребут белые фигурки, то наклонятся, то откачнутся с каждым рывком вперед. Под ногами Дэнни вздрогнула палуба, корабль резко замедлил ход, словно разом остановились машины. Курс изменялся, корабль медленно поворачивал, огибая шлюпку и спасательные круги, тяжело плескалась и кипела вода за кормой. Слепящий белый луч прожектора осветил в волнах плывущего человека, все еще в воина, — он тянулся к ближайшему спасательному кругу, но не достал и вновь ушел под воду. Собаку схватили и через борт вытащили в шлюпку, а за ней, едва он опять показался на поверхности, вытащили и человека.

На палубу вышел Баумгартнер, растревоженный больше обычного, спросил у Дэнни:

— Почему они там воют?

— Человек за бортом, — авторитетно разъяснил Дэнни, слезы его высохли.

К его немалому удовольствию, слова эти потрясли слушателя. Баумгартнер так сморщился, что сдвинулись даже уши и кожа на лысине, хлопнул себя по лбу, громко охнул и заторопился поглазеть, чем дело кончится. Вскоре к нему присоединился Фрейтаг, а потом волнение — или, если угодно, развлечение — стало общим. Танцоры забыли о музыке, музыканты отложили инструменты, все столпились у перил, чтобы поглядеть на спасение утопающего. Помощники капитана, пробираясь в толпе, начали уговаривать —

пожалуйста, не теснитесь к борту, посторонитесь, когда поднимут шлюпку, освободите место, смотреть тут нечего, человека уже спасли. Пассажиры оглядывались, словно бы слушали, но никто не отвечал и не сдвинулся ни на шаг. Фрау Гуттен, измученная долгими тщетными поисками, теперь была уже в совершенном отчаянии. Ее возмущало всеобщее равнодушие, никто ей не сочувствовал, никто не хотел помочь. Она рвалась вперед, увлекая за собой мужа, она теперь почти не хромала. Увидела поблизости Дэнни — и, невзирая на сомнительную репутацию сего молодого человека, забыв всякую сдержанность, чуть не со слезами кинулась к нему.

— Ох, герр Дэнни, прошу вас... вы не видели моего милого Детку, моего бульдога? Мы нигде не можем его найти.

Дэнни оглянулся, злобно оскалился (сам он воображал, будто на губах его играет насмешливая улыбка) и, ткнув пальцем за борт, спросил:

— Это он, что ли?

Фрау Гуттен поглядела вниз — оттуда уже поднимали шлюпку, на дне ее распластался Детка. Фрау Гуттен пронзительно вскрикнула, отшатнулась и так толкнула мужа в грудь, что едва не сбила с ног, потом повалилась вперед, но он успел обхватить ее за талию и удержал, не то она с размаху упала бы ничком и разбила себе лицо.

Матросы подняли из шлюпки долговязое тощее тело, обмякшее, точно плеть водорослей; босые ноги с искривленными пальцами бессильно повисли, вокруг шеи все еще болтался жалкий черный шерстяной шарф, с одежды ручьями стекала вода; его осторожно понесли на нижнюю палубу. Два матроса передали в протянутые руки фрау Гуттен Детку. Она зашаталась под этой тяжестью, опустила вялое тело собаки на доски и, стоя над ним на коленях, разрыдалась громко и горько, точно мать над могилой единственного ребенка.

— До чего отвратительно, — сказал Дэвид Скотт Вильгельму Фрейтагу, который оказался рядом.

Его услышал Баумгартнер и не удержался — запротестовал.

— Горе есть горе, герр Скотт, боль есть боль, чем бы они ни были вызваны, — сказал он, и углы его губ скорбно опустились.

— Ох, уж это немецкое слюнтяйство, — с омерзением сказал, отходя, Фрейтаг.

И тотчас его передернуло, вспомнилось: это — вечное присловье жены, присловье, которое всегда его обижало и сердило. Профессор Гуттен, обливаясь потом от унижения, заставил наконец жену встать, один из матросов помог ему нести Детку, и маленькая печальная процессия скрылась из глаз. Тем временем Лутцу пришло в голову подсказать одному из помощников капитана, что следовало бы послать доктора Шумана позаботиться о человеке, который чуть не утонул.

— Ему уже делают искусственное дыхание, — строго ответил молодой моряк, явно недовольный непрошеным вмешательством.

Однако он все-таки послал за доктором Шуманом — конечно же, он и сам собирался это сделать и совсем не нуждался в советах какого-то пассажира!

Доктор Шуман медленно шел по коридору, ведущему на главную палубу, пытаясь понять по доносящемуся шуму, что там стряслось; на первом же повороте ему встретилась *condesa* — она брела как призрак, в черном капоте и длинной старой парчовой накидке, отороченной обезьяньим мехом.

— А, вот и вы, — сказала она сонным детским голоском и, протянув руку, кончиками пальцев коснулась его лица, словно не уверенная, что перед нею живая плоть и кровь. — Почему такой странный шум? Наш корабль идет ко дну?

— Не думаю, — сказал доктор. — Что вы здесь делаете?

— Прогуливаюсь, так же как и вы, — отвечала *condesa*. — Моя горничная сбежала. А почему бы нет? Стюард ей сказал, что-то случилось.

— Пожалуй, вам лучше пойти со мною, — сказал доктор Шуман и взял ее под руку.

— Ничего лучше просто быть не может, — прошептала она.

Доктор понял, что лекарство, которое он ей давал, перестает на нее действовать: в этот час она должна бы забыться таким глубоким сном, от которого не пробудит никакое кораблекрушение. Сердце его угрожающе заколотило

лось, когда он в бешенстве представил себе ее одну, брошенную трусихой горничной и — да, да! — брошенную им тоже, ведь он постарался сделать ее совсем беспомощной и потом оставил на произвол судьбы. В эти минуты, когда, быть может, грозит опасность, он ни на секунду о ней не вспомнил.

«Господи, помоги мне», — подумал он, ужасаясь злу, которое так неожиданно в себе открыл.

— Пойдемте немного быстрее, — сказал он. — Похоже, корабль поворачивает. Видимо, случилось что-то неладное.

— Откуда вы знаете, что корабль поворачивает? — спросила *condesa*, и он подумал: она движется так, словно уже погрузилась в воду. А *condesa* склонилась набок, прижалась щекой к его плечу и продолжала нетвердым голосом, нараспев: — Вообразите, если корабль потонет, мы вместе опустимся на самое дно, обнявшись, тихонько-тихонько, такая тайная, никому не ведомая любовь в глубине прохладных сонных вод...

Доктора Шумана пробрала дрожь, зашевелились волосы на голове, в нем вспыхнуло дикое желание ударить ее, отшвырнуть это дьявольское наваждение, демона, что вцепился в него, точно летучая мышь, злого духа в женском обличье, — конечно же, она явилась из преисподней затем, чтобы ложно его обвинять, совратить его ум, запутать фальшивыми обязательствами, стать ему бременем до конца его дней, довести до последнего отчаяния.

— Тише, — сказал он.

Это мягкое слово прозвучало весомо, как приказ, и дремлющее сознание женщины на миг пробудилось, даже в ее голосе вспыхнула искорка жизни.

— Ах, да, — сказала она, — я и правда слишком много болтаю, вы всегда это говорите.

— Я никогда ничего подобного не говорил, — отрезал доктор Шуман.

— Ну... словами не говорили, — согласилась она, опять впадая в дремотное оцепенение. — А это не моя горничная возвращается?

Да, навстречу шла горничная, и за нею стюард.

— Вас просят вниз, сэр, — сказал он доктору. — Там человек тонул, вытащили полумертвого.

— Отведите даму в ее каюту и впредь без моего разре-

шения не оставляйте одну, — сказал доктор Шуман горничной.

Он пошел к себе за своим черным чемоданчиком и на ходу вспоминал, какое лицо стало у горничной, когда он ей выговаривал, — неприятнейшая смесь затаенной дерзости и лживого смирения, слишком хорошо ему знакомая мина обидчивого раболепия. Доктору стало не по себе: этой горничной доверять нельзя, а *condesa*, хоть и привыкла иметь дело с такими особами, сейчас не в силах с нею справиться. Он совсем разволновался, угнетало ощущение, что в мире миллионы недочеловеков, безмозглых смертных тварей, из которых даже порядочной прислуги не сделаешь, и однако их становится все больше, и эта огромная масса всеподавляющего, всеотрицающего зла угрожает править миром. На лбу Шумана выступил пот; он сунул себе под язык белую таблетку, подхватил чемоданчик и зашагал так быстро, как только осмеливался, в надежде спасти жизнь безымянному, безликому болвану с нижней палубы, у которого хватило дурачества упасть за борт.

— Иисус, Мария, святой Иосиф! — молился он, пытаюсь разогнать ядовитый рой больно жалящих мыслей, и, выходя на палубу, широко перекрестился, ему было все равно, если кто и увидит. Увидела фрау Риттерсдорф, тоже невольно перекрестилась и сказала Лутцам, которые оказались рядом:

— Какой хороший человек! Творить дело милосердия идет с молитвой.

— Милосердия? — переспросил Лутц (он полагал, что фрау Риттерсдорф не по чину задается, не такая уж она важная дама, ничуть не лучше него!) — При чем тут милосердие? Он просто выполняет свои обязанности, в конце концов, ему за это жалование платят!

Фрау Риттерсдорф окинула его быстрым насмешливо-любопытным взглядом, точно какое-то странное насекомое, и молча пошла прочь.

В душной каюте, у койки, на которой лежал утопленный, рыдали коленопреклоненные женщины и угрюмо молчали мужчины; когда в дверях появился доктор Шуман, отец Гарса поднялся с колен и обернулся к нему. С потолка слабо светила лампочка без абажура, да на шатком столике,

который принес с собою святой отец для последнего напутствия умирающему, горела единственная свеча. Он задул свечу, собрал предметы, послужившие ему для священного обряда, и покачал головой.

— Боюсь, для вмешательства медицины слишком поздно, — сказал он и довольно весело улыбнулся.

— Все же кое-что следует сделать, — возразил доктор Шуман.

Он подошел со стетоскопом и сел на край убогой грязной койки, подле мертвеца — обнаженный до пояса, омытый, очищенный солеными водами океана, тот лежал спокойный, умиротворенный, исполненный достоинства, которым его одарила смерть.

За долгие, долгие годы доктор Шуман бывал невольным свидетелем смерти едва ли не во всех ее обличьях, но в ее присутствии его и поныне охватывал благоговейный трепет и сердце смягчалось. Вот и сейчас он чуть ли не воочию увидел эту тень, нависшую над всеми, кто был в каюте. И все зримые признаки, и собственные ощущения подсказывали ему, что человек этот мертв, и однако еще несколько минут он напряженно вслушивался через свой инструмент, не шепнет ли, не шелохнется ли жизнь в клетке едва обтянутых кожей ребер, в тощем длинном теле со впалым голодным животом, с огромными, выпирающими торчком плечевыми суставами, иссохшими костлявыми руками — крупные кисти изуродованы работой, но сейчас пальцы чуть беспомощно сжались, как у ребенка. Ничего. Доктор встал, в последний раз поглядел на измученное, печальное смуглое лицо, что замкнулось сейчас в слабой затаенной улыбке. Женщины, тесной кучкой сбившиеся в изножье покойника, начали громко молиться, постукивая четками, а один из мужчин подошел, скрестил на груди податливые руки и движением, полным нежности, укрыл мертвого с головой.

— Можете вы себе представить такую нелепость? — на прескверном немецком языке заговорил отец Гарса, когда они с доктором медленно шли по палубе, возвращаясь снизу. — В темноте, в открытом море, человек на полном ходу прыгает с корабля — в высшей степени предосудительная неосторожность, не самоубийство, конечно, но заслуживающее всяческого порицания пренебрежение к жизни, ибо она не затем дана ему, чтобы ею бросаться, — и представь-

те, дорогой доктор, ради чего? Чтобы спасти собаку!

Доктор Шуман вспомнил, как он неосторожно вскочил, чтобы спасти корабельного кота от Рика и Рэк... что-то подумал бы святой отец, если бы знал! Нет, ему, Шуману, вовсе незачем напрягать воображение, порыв того несчастного кажется ему таким естественным.

— Я видел этого человека прежде там, внизу, — сказал он, немного помолчав. — Он сидел на палубе и карманным ножом вырезывал из дерева фигурки зверей. Он был баск, — прибавил он еще, словно это могло разъяснить некую загадку.

— Дикие люди, никакой дисциплины, каждый сам по себе, — сказал отец Гарса. — И язык у них непостижимый, ничего не разберешь, и веруют они скорее не как католики, а как язычники... чего же от них ждать? Этого звали Эчегарай, — просмаковал он странное имя.

— Надо будет запомнить, — сказал доктор Шуман. — Благодарю вас. Извините, мне нужно к больному. — Он шагнул было прочь, но вернулся. — Скажите, отец мой... как по-вашему, кто бросил собаку за борт?

— Ну конечно, одержимые демонами дети испанских плясунов, кому же еще, — ответил священник.

— Хотел бы я знать, видел ли это кто-нибудь, — любезно сказал доктор Шуман. — Может быть, они сами — доподлинные демоны и могут принимать любой образ, даже становиться невидимками, когда творят свои черные дела?

— Хорошенько их высечь да подержать три дня на хлебе и воде — и прекрасно можно изгнать из них демонов, — сказал отец Гарса. — Самые обыкновенные маленькие грешники. Я не стал бы называть их демонами, от этого они только возомнят о себе лишнее. Основательно сечь почаще на пустой желудок — вот и все, что тут требуется.

— Хотел бы я, чтобы это было так просто, — сказал доктор, в глазах его вспыхнуло нетерпение.

Священник нахмурился, сердито поджал губы, он явно готовился поспорить, и доктор поспешно с ним простился.

Гуттенон он застал на коленях посреди каюты: точно скорбные надгробные изваяния, они склонились над простертым на полу Деткой, а он время от времени приподни-

мал голову, и его тошнило морской водой. Когда Шуман вошел, они обратили к нему такие же угнетенные, горестные лица, какие он только что видел возле покойника, и фрау Гуттен, наперекор всем своим правилам скромности и приличия, заговорила первая:

— Ах, доктор, я знаю, нехорошо вас об этом спрашивать, но как нам помочь Детке? Он так мучается!

— У меня дома тоже есть собаки, — сухо сказал доктор Шуман.

Он подsunул ладонь под голову Детки, приподнял ее и опять осторожно опустил.

— Продолжайте покрепче его растирать, и пускай лежит плашмя на животе. Он поправится. — И прибавил: — А тот человек, который прыгнул в воду, чтобы его спасти... этот человек умер.

Фрау Гуттен откинулась назад и зажала уши ладонями.

— Ох, нет, нет! — воскликнула она, потрясенная, почти сердито, но тут же опомнилась и сызнова принялась сжатыми кулаками мять бока и спину Детки, а он тихонько захрипел и отрыгнул пенистую воду.

— Послушаем, что хотел нам сказать господин доктор, — церемонно произнес профессор Гуттен.

Тяжело, с плохо скрытым усилием он поднялся на ноги и приготовился говорить с доктором как мужчина с женщиной, предоставляя жене прозаические заботы о несчастном животном, которое (профессор волей-неволей отдавал себе в этом отчет) день ото дня будет для них все более тяжким бременем.

— Так ли я вас понял, сударь? — спросил он. — Вы хотите сказать, что человек бросился в воду, чтобы спасти нашу собаку?

— Я думал, вам это известно, — сказал доктор. — Спустили спасательную шлюпку, все пассажиры высыпали на палубу. Неужели вам никто не рассказал?

— Я был занят заботами о жене, она едва не лишилась чувств, — чуть ли не с сожалением сказал Гуттен. — Да, мне что-то такое говорили, но я не поверил. Неужели нашелся такой дурак?

— Нашелся, — сказал доктор. — Он был баск, его звали Эчегарай. Это тот самый, который вырезывал деревянных зверюшек...

— А, вот оно что! — сказал профессор Гуттен. — Теперь я припоминаю... он был из этих опасных агитаторов... капитан приказал их разоружить...

— Да, у него отобрали карманный ножик. — Доктор Шуман вздохнул, его захлестнула волна безнадежной усталости. — Это был совершенно безобидный и глубоко несчастный человек...

— Ну конечно, он надеялся на вознаграждение! — воскликнула фрау Гуттен, словно ее вдруг осенило. — Мы бы с радостью хорошо ему заплатили! Как жаль, что мы уже не сможем пожать ему руку и поблагодарить!

— Во всяком случае, — серьезно произнес профессор Гуттен, словно бы ожидая врачебного совета, — во всяком случае, мы можем предложить небольшое денежное пособие его семье...

— У него никого нет, по крайней мере здесь, на корабле, — сказал доктор.

По лицу профессора точно луч света промелькнул, он явно почувствовал облегчение. То же чувство отразилось на посветлевшем лице фрау Гуттен.

— Что ж, тут уже ничем не поможешь, — сказала она почти весело. — Все кончено, от нас больше ничего не зависит.

— Да, — согласился доктор. — Итак, спокойной ночи. Держите его в тепле. — Он кивнул на Детку, бульдог, видимо, уже чувствовал себя лучше. — Дайте ему теплого мясного бульона.

Фрау Гуттен протянула мужу руку, и он ловко помог ей подняться на ноги. Она выскользнула из каюты вслед за доктором и знаком попросила его подождать, словно хотела сказать ему что-то по секрету. Но спросила только:

— Как, вы говорите, его звали?

Это было сказано почти шепотом, таинственно и с любопытством, и в ее толстом немолодом лице неожиданно проступило что-то ребяческое.

— Эчегарай, — старательно выговорил доктор Шуман. — У басков это очень распространенное имя.

Фрау Гуттен и не пыталась это имя повторить.

— Подумать только, — сказала она. — Он пожертвовал жизнью ради нашего бедного Детки, и мы даже не можем сказать ему, как мы благодарны. Я просто не

могу этого вынести... — глаза ее наполнились слезами.

— Похороны завтра утром, во время ранней мессы, — сказал доктор Шуман. — Может быть, вы хотите пойти.

Фрау Гуттен покачала головой, ее передернуло.

— Ох, да разве я могу... Но спасибо вам, — поспешно сказала она, моргая и кусая губы, и вернулась в каюту.

— Как это его звали, сказал доктор? — переспросил профессор.

Он стоял на том же месте, где она его оставила, и смотрел не на Детку, но куда-то сквозь стену каюты, по ту сторону корабля, словно где-то там был предел, граница, берег, где кончалось его недоумение.

— Такое странное имя, — ответила жена, — почти смешное, варварское... Эчеге... Эчеге...

— Эчегарай, — сказал Гуттен. — Да-да. Вспоминаю, в Мехико нескольких басков так звали... Признаться, дорогая, никак не могу понять, почему этот несчастный так поступил. Надеялся на вознаграждение... да, конечно, но это уж слишком просто. Может быть, он хотел привлечь к себе внимание, чтобы его сочли героем? Или, может быть — разумеется, неосознанно, — искал смерти и выбрал такой словно бы невинный способ самоубийства? Может быть...

— Ах, откуда я знаю! — воскликнула жена.

Ее охватило такое отчаяние, что впору рвать на себе волосы; но Детка избавил ее от столь неумеренного проявления чувств — его опять стошнило морской водой, и тошнило довольно долго, а профессор с женой по очереди растирали его коньяком и вытирали мохнатыми полотенцами, пока наконец горничная, сверкая глазами, вся заряженная возмущением, точно грозовая туча — молниями, не принесла им в большой миске целую кварту заказанного для Детки мясного бульона. Она протянула миску фрау Гуттен, круто повернулась и вышла: не желала она смотреть, как хороший, крепкий бульон, приготовленный для людей, скармливают никчемному псу — стыд и срам! — когда на свете столько ни в чем не повинных бедняков голодает, даже дети малые! А вот бедолага с нижней палубы, спасая эту скотину, нахлебался соленой воды и помер, задохнулся там, в вонючем закутке, — так разве кто с ним нянчился? Он только и дождался сухой облатки от лицемера попа, и

молитву над ним прочитали кой-как, людям на смех. Горничная почувствовала, что и сама захлебывается в бурном океане горькой ярости; даже руки и ноги свело, и она, точно калека, с трудом заковыляла по нескончаемому коридору. Но небеса ниспослали ей случай отвести душу: навстречу бежал с охапкой белья подросток-коридорный.

— В этом гнусном мире надо быть собакой! — крикнула она ему в лицо. — Собаку богача поят мясным бульоном, а бульон варят из костей бедняков. Человеку живется хуже собаки — это что ж такое, скажи на милость? Понятно, коли это собака богача!

Четырнадцатилетний парнишка, бледный и тощий (сразу видно, он и сам весь свой век жил впроголодь), сообразил, что этот гнев обращен не на него, и мигом оправился от испуга.

— Прошу прощенья, фрейлейн, какая такая собака? — спросил он униженно, как привык говорить со старшими, то есть со всеми и каждым на корабле; в его повадке не было ни намека на чувство собственного достоинства: все и каждый приняли бы это за чистейшее нахальство с его стороны.

— Этого пса поят бульоном! — снова взорвалась горничная, задыхаясь от ярости. — А тот бедолага помер! Помер, чтоб спасти пса! — выкрикнула она, размахивая длинной рукой, как цепом.

Мальчишка в смятении юркнул мимо нее и побежал прочь, у него тряслись коленки.

«По мне, пускай бы они оба потонули, и ты тоже, старая дура, ослица бешеная!» — сказал он про себя. Приятно было выговорить эти слова, и он все твердил их шепотом, пока не утихла обида.

Как ни трудились над ним Гуттены, Детку все еще дрожало, опять и опять по его нескладному телу пробегала дрожь. Наконец он приподнялся и сел, отупело покоряясь их заботливым рукам.

— Я чувствую, что я ужасно виновата перед ним, — сказала фрау Гуттен.

Ей казалось, в мутных глазах собаки она читает и сомнение, и пугающий вопрос. Даже своим молчанием

он будто обвинял ее в каком-то недобром умысле.

— У него вообще молчаливый нрав, — напомнил ей муж. — Это не ново.

— Да, но сейчас совсем другое дело, — подавленно сказала жена.

Она уже забыла, что прогневала супруга и он очень ею недоволен. И, как всегда, доверчиво прислонилась к нему, склонив голову, и опять потекли слезы. Ее рука искала его руку, и он тотчас ответил пожатием.

— Детка нам верил, — всхлинула она. — Он часть нашего прошлого, нашего счастливого прошлого, нашей с тобой жизни.

Растрепанная, жалкая, она опустилась на край кровати, муж сел рядом.

— Зачем, зачем мы уехали из Мексики! — воскликнула она, никогда еще он не слышал, чтобы она плакала так горько. — Зачем затеяли эту ужасную поездку! В Мексике мы были счастливы, там прошла наша молодость... зачем мы все это бросили?

Впервые за многие годы профессор Гуттен и сам не удержался от слез.

— Не надо так горевать, бедная моя девочка, — сказал он. — Это вредно для твоего сердца и совсем расстроит твои нервы. — Слезы капали у него с кончика носа. — Ты здесь в последние дни совсем на себя непохожа, — напомнил он. — Всех наших знакомых всегда так восхищала твоя скромность, и предусмотрительность, и твой ровный, спокойный нрав...

— Прости, я виновата, — взмолилась жена. — Я слабая, помоги мне. Ты такой добрый. Конечно, это я оставила дверь открытой, это все моя вина, ты всегда прав.

Профессор достал носовой платок, осушил свои слезы и отер лоб; в эти трудные минуты он решил быть твердым, он не даст нахлынувшим чувствам заглушить в его сознании ни подлинно важные события этого дня, ни справедливое недовольство поведением жены... и однако, ничего не поделаешь, поневоле он смягчился. Ему полегчало, уже не так мучили беспокойные мысли и уязвленное самолюбие, словно некий волшебный бальзам пролился на открытую душевную рану. Благожелательность, великодушие, христианское милосердие, супружеская снисходительность и

даже простая человеческая нежность победным маршем вступили в его грудь, в полном порядке, названные своими именами, и вновь заняли там надлежащее место. Уже многие годы профессор не знал такого богатства чувств; настоящим блаженством наполнила его эта смесь добродетелей, которую признала и вновь пробудила в нем своими простыми словами жена.

Он крепко, будто новобрачную, поцеловал ее в губы, дотянулся языком ей чуть не до гортани, ухватил за голову, как бывало когда-то, от нетерпения больно дернул за волосы. И каждый принялся неуклюже копаться в той части одежды другого, которая сейчас была самой досадной помехой; казалось, они готовы разорвать друг друга на части, они обхватили друг друга и тяжело шлепнулись, как лягушки. Непомерно долго они трудились, барахтались, охали и крихтали, перекатывались, точно борцы в неистовой схватке, и наконец обмякли, слились в бессильной дрожи и долгих столах мучительного наслаждения; и долго лежали, упиваясь победным изнеможением: вот и восстановилось их супружество, почти как в лучшие времена, и все их чувства обновились и очистились.

— Жenuшка моя, — пробормотал профессор, совсем как в первую брачную ночь, когда после долгой пьянящей осады он ею овладел.

— Муженек, — отозвалась она тогда по всем правилам приличия, и сейчас она повторила это слово как часть некоего обряда.

Детка, забывшийся беспокойным сном на своем коврикe в углу, вдруг разразился полным ужаса протяжным, хриплым, рыдающим воем — это было как болезненная встряска, обоих мигом выбило из чувственной расслабленности. Фрау Гуттен по привычке опять захныкала.

— Он знает, знает, что они хотели его утопить! — выкрикнула она как обвинение. — Его сердце разбито!

Нервы профессора, несколько натянутые после необычных испытаний, не выдержали. Он застонал, и на сей раз в стоне слышалось неподдельное страдание.

— Ты не прольешь больше ни единой слезы по этому поводу! — громко распорядился он, вновь вступая в права мужчины, господина и повелителя. — Я тебе запрещаю. И

потом, что это за «они»? Остерегайся необдуманных речей, дорога моя.

Он легонько, любя, стукнул ее, и она с радостью сделала вид, будто испугалась его гнева: это всегда ему льстило, даже если он сердился всерьез, а не только притворялся, как сейчас. И вдруг она подумала: а ведь в тот раз, единственный за всю ее жизнь, когда она испугалась его по-настоящему — всего несколько часов назад, когда она, конечно же, смертельно его оскорбила, — у нее не оказалось над ним никакой власти, не могла она прибегнуть ни к каким чарам и ни к какой хитрой уловке. Как странно и как страшно... такое никогда больше не должно случиться!

— Пожалуйста, позволь мне пойти к нему, — сказала она, утирая слезы о рукав мужниной рубашки. И прибавила нарочито спокойным тоном: — Я имела в виду этих ужасных детей. Конечно, больше никто не мог так с ним поступить?

— Согласен, — сказал муж. — И все равно нам не следует так говорить, ведь доказать это мы не можем. И потом, с точки зрения закона, может быть, утопить собаку — не преступление?

— Да, но ведь по их вине умер человек!

— В чем тут их вина? — осведомился профессор. — Разве его заставили кинуться в воду? Разве кому-нибудь, даже этим детям, могло прийти в голову, что он так безрассудно поступит?

Фрау Гуттен ничего не ответила и медленно опустила на колени, у нее опять разболелась нога; она сжала ладонями широкую печальную морду Детки.

— Это не мы виноваты, не твои Vati и Mutti¹, помнишь? Не мы тебя обидели. Мы тебя любим, — горячо уверила она, поглаживая уши и шею бульдога. — Он прекрасно все понимает, — сказала она мужу. — Спи, мой миленький, — и она опустила голову Детки на коврик.

— Да, я тоже не прочь поспать, — сказал профессор и помог жене подняться.

Уже в полусне они сбросили с себя оставшуюся одежду и натянули ночные рубашки; корабельная качка, всегда нена-

¹ Папочка и мамочка (нем.).

вистная, сейчас убаюкивала их, точно в колыбели. Сквозь сон профессор прошептал:

— Как же это, сказал доктор, его звали? Странно, не могу вспомнить.

— А что толку вспоминать? — устало вздохнула фрау Гуттен. — Не стоит труда.

Эльза лежала, заложив руки под голову, и сонно смотрела на кружок ярко-голубого неба — казалось, оно прильнуло вплотную к иллюминатору.

— В такую рань? — без любопытства спросила она, глядя, как торопливо умывается и одевается Дженни. — Я так не могу, я слишком ленивая.

— Сегодня утром будут хоронить беднягу, который утонул, — сказала Дженни. — Подумайте, его там оставили совсем одного.

— Ну, он ведь этого не знает, — рассудительно заметила Эльза. — Не все ли ему равно? Мой отец говорит, этот человек поступил очень глупо. Он говорит, такие глупые люди всегда поступают не подумавши и от них всем одни неприятности. Он говорит...

— Он хочет сказать — не думая, спасают глупых собак других глупых людей? Про такие поступки он говорит? — ледяным тоном спросила Дженни.

Эльза порывисто села на постели, огорченно поморщилась.

— Отец не про то говорил, — горячо вступилась она. — Он человек добрый, он никому зла не сделает. Он совсем не потому так сказал, что ему того человека не жалко. Это очень трудно объяснить...

Дженни причесывалась, холодно молчала, предоставляя Эльзе выпутываться.

— Просто он иногда бывает уж очень практичный, почти как мама. Он говорит, жизнь — для живых, мертвым уже ничего не нужно, и не следует давать волю чувствам, когда от этого нет никакого толку! А мама говорит...

Дженни не выдержала и рассмеялась.

— Ох, Эльза, наверно, вы будете рады и счастливы, когда школа кончится?

Эльза посмотрела на нее недоверчиво — в последнее

время это случалось все чаще. Кажется, ее соседка по каюте человек как человек, и все же... никак не определишь, в чем тут дело, но есть в ней какая-то странность...

— Я уже не учусь в школе, — сказала Эльза.

Дженни повязала голову темным шелковым шарфом.

— Ну, все равно, — сказала она. — Пойду попрощаюсь с ним, провожу, неважно, услышит он или нет.

Блики утреннего солнца плясали на волнах и отражались в глазах отца Гарса; он стоял у перил нижней палубы подле своего переносного алтаря, но мельком взглянул наверх — и с удивлением увидел гирлянду любопытных лиц, свесившихся с верхней палубы: стервятники почуяли смерть и не удержались — пришли поглазеть. Отец Гарса на долгом опыте и по себе, и по другим хорошо узнал человеческую природу и научился не доверять бескорыстию и чистоте людского сочувствия и жалости. Да, он смело может сказать — ни в ком из этих зевак не сыщешь подлинно христианской мысли, ни от кого не услышишь искренней молитвы. Покойника уже приготовили, в нужную минуту его отправят за борт: длинное окоченелое тело, обернутое, точно мумия, в темный брезент, лежало поперек поручней, его удерживали в равновесии несколько белобрых молодых матросов в белых полотняных робах, розовые обветренные лица торжественны, как оно и подобает, когда совершается обряд погребения. Пассажиры нижней палубы, оборванные, грязные, унылые, почтительно теснились поодаль и приглушенно гудели, как пчелиный рой: постукивают четки; непрестанно крестясь, мелькают руки; глаза устремлены в одну точку, что-то шепчут губы. Только толстяк в ярко-оранжевой рубашке с небольшой кучкой своих приверженцев стоит в сторонке — эти все начеку и готовы заварить любую кашу. Время от времени толстяк громко рыгает и, приставив большой палец к носу, растопырив остальные, передразнивает крестное знамение. Он отлично видит, что в толпе молящихся многие мужчины не сводят с него свирепых взглядов, и это его только подзадоривает на новые кощунственные выходки.

Отец Гарса это замечает, как замечает все вокруг, хоть и поглощен зауспокойной службой, которую бормочет про

себя, словно требник читает. «Помогите ему, святые угодники, примите его душу, ангелы небесные, вознесите ее пред очи Всевышнего... Упокой его душу, Господи, даруй ему вечный отдых, и да воссияет над ним вечный свет... Примите его душу и вознесите ее пред очи Всевышнего... Помилуй, Господи, душу раба твоего Хуана Марии Эчагарая, припадаем к стопам твоим, да обретет мир вечный, да упокоится во Христе».

Горсточка вышколенных матросов вокруг покойника оставалась безмолвной и неподвижной: мерный плеск волн, однообразное жужжанье множества голосов, беспокойное непрерывное колыханье толпы и непристойные выходки толстяка — ничто их не задевало.

Обряд совершался как положено, прочитаны все молитвы, не забыт ни единый знак уважения к смерти, святая вода и звон колокольчика, священная книга и свеча, ладан и крестное знамение — и вот зашитое в брезент тело с привязанным к ногам грузом, тело, что прежде заключало в себе душу живую, слегка наклонили, выпустили из рук и, когда оно заскользило вниз, напоследок чуть подтолкнув, отправили за борт; ногами вперед оно ударилось о воду и стало неторопливо погружаться, а корабль уже уходил прочь.

— Прими, Господи, его душу, — шептали фрау Шмитт, и молодые кубинцы, и доктор Шуман, и сеньора Ортега, молодая жена мексиканского дипломата; все они втайне повторяли те же слова, и даже фрау Риттерсдорф перекрестилась; в косых лучах утреннего солнца, пронизывающих прозрачную воду, им еще видно было уходящее в глубину тело. К тому времени, как оно скрылось из глаз, корабль отошел довольно далеко, и не успел отец Гарса подняться на верхнюю палубу, а мертвец уже остался позади.

Потеряв едва ли несколько секунд, чтобы спрятать в карман четки, верующие ожесточенно набросились на богохульников. Яростной живой лавиной обрушились они на толстяка с его друзьями (те, впрочем, почти не шли в счет) и прежде, чем матросам удалось их оттащить, голыми руками изрядно помяли врагов религии и добропорядочности. Только у одного оказался неведомо где и как раздобытый небольшой гаечный ключ — и одним метким ударом по макушке, вернее, по темени он ухитрился покончить с деятельностью толстяка по меньшей мере до конца плавания.

Дженни сразу отыскала Дэвида — он облокотился на поручни, наклонился так, что воротник всполз ему на уши, и, прищурясь, в кулаки, как в бинокль, старался разглядеть, что делается на нижней палубе. Он был очень близорук, но никак не мог заставить себя носить очки — разве только в одиночестве, за работой. Однако обоим приятно было считать, что близорукость ему к лицу, что это некий особый дар. Когда они вдвоем бродили по лесу, Дэвид всегда находил какой-нибудь крохотный причудливый цветок или необычное растение, и оказывалось, это редкая ботаническая диковина; на морском берегу он отыскивал ракушки, вся красота которых открывалась только под увеличительным стеклом; на базарах в индейских поселках он шел напрямиком к игрушкам таким крошечным, словно смастерить их могли лишь тоненькие пальцы малого ребенка. И на днях он несколько раз с гордостью показывал Дженни только что приобретенные сокровища: у него был полон карман маленьких, не больше дюйма в длину, вырезанных из дерева зверюшек, он купил их у человека, чьи похороны совершались сейчас на нижней палубе. Она молча стала рядом; не сразу он ее заметил.

— А, Дженни, ангел, — сказал он.

Но ясно было: он погружен в себя, занят какими-то своими чувствами и коснись она его или скажи хоть слово — мигом закаменеет. И Дженни сейчас же отошла — не думать бы о нем, не ощущать эту знакомую ледяную, сосущую пустоту внутри, она так презирает себя за эту слепую, бессмысленную боль, которую он может вызвать в любую минуту вот этим своим чудовищным трюком — отрешаясь от всего на свете. В смятении она едва успела отвести глаза, чтобы не встретиться взглядом с Дэнни — он мчался навстречу с кружкой пива в руке. За ним хмурый, ни на кого не глядя, шагал Арне Хансен; у этого, не впервые подумала Дженни, вид такой, будто он один на необитаемом острове.

Рик и Рэк, шалые и встрепанные еще больше обычного, вскарабкались на перила, уселись на них верхом, точно на сук, перегнулись вниз — вот-вот свалятся — и, раскрыв рты, колючими глазами диких зверенышей впились в занятное зрелище на нижней палубе. Никто не обращал на них внимания, даже проходивший мимо матрос не дал себе

труда согнать их с перил. Зрители, стоящие в одиночку или парами, держались отчужденно, будто и не замечали остальных, каждый выбрал себе отдельный наблюдательный пункт; но все смотрели в одну и ту же точку, будто их сейчас всех вместе сфотографируют.

Дженни, стиснула руки у груди и тоже смотрела, как идет заупокойная служба, как разместились человеческие фигурки — сверху они кажутся укороченными, от них тянутся вбок длинные синеватые тени; смотрела и запоминала, чтобы, едва вернется в каюту, перенести все это карандашом на бумагу — почему она не догадалась захватить то и другое с собой? И почему она сейчас так равнодушна? Будто все это ненастоящее — просто движутся на веревочках марионетки, разыгрывая какое-то представление, и никогда не было живым то, что обернуто сейчас куском темного брезента; она удивилась своему бессердечию — и тут же почувствовала: глаза полны слез, бессмысленных слез ни из-за чего, и ничего эти слезы не изменят, и даже несколько не облегчат боль, мучительную пустоту внутри; словно сквозь туман она увидела, как брезентовый сверток метнулся за борт и ушел в воду.

Дженни сосредоточенно следила, как он погружается в глубину, и почти не заметила последующей суматохи: драка вспыхнула слишком внезапно и слишком быстро кончилась. Вдруг совсем рядом заорал Дэнни:

— Ага, черт меня подери! Добрались до него! Черт меня подери!

Только теперь она заметила, что несколько матросов волокут на свободное место раненого толстяка, а другие ловко растаскивают нападающих — те, впрочем, сразу успокоились и отступали, не сопротивляясь. Что ж, дело сделано, они добились своего — и очень довольны, и готовы за это расплачиваться. Арне Хансен сжал кулаки и, потрясая ими, в ярости закричал вниз:

— Труссы! Дураки! Рабы! Убивайте врагов, а не друзей! Дураки! Дураки!

Он все кричал, судорожно, словно уже не в силах остановиться, и наконец те, кто стоял поближе, начали растерянно переглядываться. Внизу несколько человек из тех, что нападали, подняли головы, лица у всех были жесткие, суровые, один презрительно крикнул в ответ:

— Заткни глотку, швед, sabrón! Не суйся, куда не просят!

И все громко, насмешливо захохотали. Хансен втянул голову в плечи и тяжело, неуклюже зашагал прочь.

Толстяк распластался на спине, из ярко освещенной солнцем, разверстой, устрашающего вида раны сочилась кровь. Доктор Шуман не ждал, пока его позовут, он почти сразу спустился на нижнюю палубу и заговорил с отцом Гарса — тот, как всегда проворный и равнодушный, уже собрался уходить.

— Ничего серьезного, доктор, я вам не понадобится! — только и сказал он и коротко, язвительно хохотнул.

Дэвид, все еще поглощенный своими мыслями, внезапно очнулся — выражение его лица не изменилось, но глаза оживились, вспыхнули странной радостью.

— Что ж, он свое получил! Я так и думал, что они до него доберутся!

— Вот-вот, Дэнни то же самое говорит! — вдруг вспыхнула Дженни.

Дэвид близоруко всмотрелся в ее лицо, увидел еще не просохшие следы слез, сказал резко:

— О черт, вечно ты во все встречаешь! Тут-то тебе, спрашивается, из-за чего плакать?

— Из-за всего, — дрожащим голосом ответила Дженни. — Из-за всего на свете. Тогда по крайней мере не чувствуешь себя посторонней...

И опять она увидела в его глазах искорку удовольствия: он рад, что всегда может вывести ее из равновесия, вырвать признания, в которых она после раскается. И как бы ни казалась, уж конечно, это ей не простится. Будет только еще один повод для мучительства. Дженни в свой черед вгляделась в него так пристально, точно и она совсем близорукая, и сказала быстро, очень резко:

— Нет, Дэвид, не смей... не начинай сначала... только не теперь!

И неторопливо — пускай он видит, что она прекрасно владеет собой! — пошла прочь, но сразу обернулась, бросила в бешенстве:

— И не ходи за мной... не говори ничего!

Лицо Дэвида застыло, черты заострились.

— Не беспокойся, — сказал он. — Я и не собираюсь.

Рик и Рэк, все еще сидя верхом на перилах, неистово замахали руками и, кивая на воду, стали пронзительно выкрикивать одно и то же слово.

— Киты, киты, киты, киты! — в восторге визжали они.

И правда, мимо плыли киты, все, кто тут был, поневоле в этом убедились, когда нехотя поглядели в ту сторону; каждый втайне упрекнул себя за неуместное, неприличное легкомыслие — и однако, бросив первый взгляд, они уже не могли оторваться: весело было смотреть, как, неподалеку, на самом виду, плывут, словно бы по воздуху, почти не касаясь воды, три огромных кита, серебром сверкают в солнечных лучах, высоко выбрасывают белые фонтаны... они мчались напрямик на юг, мощно, уверенно, точно быстроходные катера, и никто не мог отвести глаз от этого великолепного зрелища, пока исполины не скрылись вдали, и все словно омылись, не стало мыслей о смерти и насилии.

— Киты! — опять завопили Рик и Рэк, подсакивая на своем насесте, и, потеряв равновесие, едва оба не полетели за борт. Закачались, затрепыхались ошалело, но одолели растерянность и, целые и невредимые, спрыгнули на палубу. Ни одна рука не протянулась помочь им, хотя поблизости стояли человек десять. Никто и не шевельнулся. На опасность, которой подвергались близнецы, смотрели не то чтобы равнодушно, а, пожалуй, даже с интересом: упади они за борт, все приняли бы это как непостижимое нарушение законов природы, но отнюдь не как бедствие. В самой глубине души каждый поневоле соглашался с остальными, что за бортом — и чем глубже, тем лучше — для Рика и Рэка самое подходящее место. Каждый бы возмутился, если бы его обвинили в недостатке возвышенных чувств, какие полагается испытывать при виде малого дитяти; но Рик и Рэк отщепенцы рода людского. Да, бесспорно, они отщепенцы и давно это знают, они предпочитают быть сами по себе и отлично могут за себя постоять. Итак, они вновь обрели равновесие, по-обезьяньи ловко и цепко повисли на перилах и с криком и визгом продолжали развлекаться; развлечением были и похороны человека, которого они убили (так им сказал, к величайшему их восторгу, полоумный старик в кресле на колесах), и драка на нижней палубе, и киты. Отличный выдался денек! Одно жалко — нельзя прокатиться верхом на ките.

Дженни шла по палубе, на полпути остановилась взглянуть на китов — и забыла о своем огорчении. Сейчас же подошел Дэвид, взял ее под руку.

— Может быть, хватит ссориться? — сказал он. — Пойдем выпьем кофе.

— Пойдем, — согласилась Дженни и на ходу стала рассказывать: — Знаешь, Дэвид, лапочка, один раз в прекрасный солнечный день я купалась в бухте Корпус Кристи, заплывла далеко, а когда возвращалась к берегу, смотрю, навстречу целая стая дельфинов, они выскакивали из воды и опять ныряли и показались мне огромными, как горы, я думала — умру от страха, а они разделились и проплыли мимо меня дальше, в Мексиканский залив. И мне вдруг стало ужасно хорошо, я подумала — это самая приятная минута в моей жизни!

— И это правда была самая приятная минута? — спросил Дэвид очень ласково и чуточку поддразнивая.

— Почти, — сказала Дженни.

— Слава богу, никаких ножей, спасибо твердости и предусмотрительности нашего капитана, — спустя несколько часов заявил в баре герр Баумгартнер.

— А им ножи без надобности, — сказал казначей. Он был так доволен ходом событий, что забыл об осторожности и рассудительности. Его мало трогало, что там случится с католиками, плевать ему, какие они там представления разыгрывают; но давно пора было кому-нибудь окоротить этого большевика, и, если это сделали католики, все равно хорошо. — У них есть кой-что не хуже, — прибавил казначей и удовлетворенно улыбнулся, глядя в первую за день кружку пива. — Большевик, католики... Пускай их перебьют друг друга — чего лучше!

Отец Карильо, вообще-то человек миролюбивый, не охотник до свар и споров, рад был отслужить ежедневную мессу, а работу поглубже предоставлял отцу Гарса, тот ею наслаждался; сейчас отец Карильо сидел за столиком поодаль от стойки, с рюмкой хереса в руке, но нелепые слова казначея услышал и счел нужным его поправить.

— Никакой это не большевик, а самый заурядный испанский синдикалист худшего пошиба, — мягко заметил

он. — Вы путаете совсем разные вещи. Заблуждаетесь, подобно многим. — Тут самообладание едва не изменило ему, лицо гневно вспыхнуло. — И если вы хотите, чтобы другие уважали вашу религию, какова бы она ни была, вам следует пристойнее отзываться о чужой вере.

Он порывисто встал и пошел вон из бара, даже не пригубив херес.

Казначей, испуганный своим промахом, сполз с высокого табурета и вытянулся.

— Виноват, сэр, виноват! — крикнул он вдогонку суровой, неумолимо прямой фигуре священника. — Прошу прощенья, сэр!

Но у него, истого лютеранина, язык не повернулся выговорить слово «отец» — и патер, словно не услышав, вышел. Казначей весь побагровел, казалось, лицо и шея его даже вспухли от прилива крови; все еще стоя, он вылил пиво себе в глотку, точно в кухонную раковину.

— Ну и черт с ним, — сочувственно заметил Дэнни.

Казначей и не поглядел в его сторону, о Дэнни он был даже более низкого мнения, чем о католической церкви: уж с этим-то смело можно не церемониться! Конечно, одна из важнейших обязанностей судового казначея — соблюдать вежливость равно со всеми пассажирами без исключения и без разбору, как бы противны они ему ни были. Нелегкая задача, повседневное самопожертвование: вот уже тридцать лет в каждом рейсе ему приходится одолевать и подавлять обуревающее его жгучее желание раскроить башку по меньшей мере двум десяткам человек — это всегда пассажиры и почти всегда мужчины. К женской половине человечества он питает безмерное презрение, смешанное с толикой благоразумного страха и совершенной неспособностью постичь помыслы этих особ или справиться с их капризами; все эти чувства он скрывает, прикидываясь снисходительно-добродушным, и личина эта обманывает или хотя бы успокаивает почти всех женщин; ведь все они только того и хотят, чтоб им льстили, — он давным-давно открыл для себя эту истину, и это очень упрощает дело... Итак, казначей ни слова не сказал, только злобно глянул на Дэнни свинными глазками, не стал заказывать вторую кружку пива, хотя с удовольствием предвкушал ее, еще до половины не допив первую, и грузно затопал к выходу; брюхо его перевалива-

лось, зад колыхался, жирный затылок вздрагивал при каждом шаге.

Дэнни приглушенно фыркнул.

— Немчура! — пробормотал он в пустую пивную кружку, потом поднял ее и кружкой махнул буфетчику: — Эй!

Через три табурета от него, облокотясь на стойку, обхватив голову руками, сидел над непочатым пивом Арне Хансен. Теперь он обернулся к Дэнни, лицо его выражало безмерное отчаяние.

— Если б я верил в бога, я бы его проклял, — негромко, хрипло пробурчал он, словно больной медведь. — Я бы плюнул ему в рожу. Я бы его послал в ад, который он сам же устроил. Ух, что за мерзость эта религия! Возьмите этих, на нижней палубе. Они гнут спину и пресмыкаются, и отдают свои деньги попам, и живут как шелудивые псы, всякий их пинает, а что им дают? Веревочку с бусами, чтоб вертеть в руках, да кроху сухого хлеба на язык!..

Он ухватил себя за прядь волос на макушке и рванул ее. Дэнни принял эту речь на свой счет и смешался, но отчасти и возмущился.

— Вы бы все-таки полегче, — сказал он.

Смутное у него было чувство: ругаться и чертыхаться можно сколько душе угодно, если это не всерьез. Над религией можно и посмеяться, во всем на свете найдется нечто забавное, без шуточек не проживешь, в нашей жизни куча всякого такого, что если не спастись шуткой, так и рехнуться недолго... но во что-то все-таки верить надо! Дэнни с детства приучили до смерти бояться Бородатого Старика в Небесах, грозного и опасного, который в конце концов почти всех отправляет в ад. Конечно, есть еще и рай, но Дэнни что-то не слышал, чтоб хоть кто-нибудь туда отправился, уж во всяком случае, при нем и в его краях такого не случилось. Его двоюродный брат, отъявленный хулиган, верзила чуть не вдвое выше и старше Дэнни, однажды схватил его за руку и прижег ладонь спичкой. Дэнни завопил, запрыгал от боли и стал лизать обожженное место, а двоюродный братец заявил: «Вот, я только показал тебе, каково это будет, с головы до пят и все время без роздыху, как только ты померешь и пойдешь в ад!» — «Ты сам пойдешь в ад!» — заорал в ответ Дэнни, но легче ему от этого не стало. Еще долго терзался он страхом перед преисподней — и, вспоминая об

этом, всякий раз чувствовал себя круглым дураком. Потом он это в себе одолел — и прекрасно, что-что, а вопросы веры ничуть его не волнуют, и все-таки, вот чудно, безбожников он терпеть не может. А этот малый разговаривает как завзятый безбожник. И вовсе не в шутку.

— Вы бы полегче, — сказал он Хансену. — Чем вам не угодила религия... ну то есть именно религия, вера? Я не про четки говорю, и не про причастие, и не про всякие шаманские штучки, а просто... ну, не пойму я вас.

— Ясно, не поймете, — пробурчал Хансен. — А знаете, что было нынче утром на похоронах того бедняги? Он пожертвовал жизнью ради никчемного пса, баловня этих жирных буржуев, которые...

— Я почти все пропустил, — сказал Дэнни. — Пришел, когда там уже шла потасовка. Слушайте, черт возьми, да я же стоял рядом с вами!

— Я вас не видал, — сказал Хансен.

— Да, я почти все к черту прозевал, — сказал Дэнни.

Он потерял нить мыслей и уже забыл, что хотел доказать. А Хансен, видимо, совсем забыл про Дэнни, с тупой свирепостью он устоял на свое пиво и не сказал больше ни слова. К стойке несмело подошел приунывший Левенталь, кивнул Дэнни — одному из немногих пассажиров, с которыми он еще мог поддерживать хоть какое-то знакомство. Он сморщился, приложил ладонь к животу.

— Тошно мне, — признался он. — Подумать только, зашили человека в мешок и швырнули за борт, как собаку! Мне прямо тошно...

— Ну а что еще можно было с ним сделать? — рассудительно сказал Дэнни.

— Отчего же, положили бы в ящик со льдом, пока не пристанем к берегу, и похоронили бы в земле, как человека, — сказал Левенталь.

— Непрактично, — сказал Дэнни. — Слишком дорого. И потом, это ведь старый обычай... если умираешь на корабле, тебя хоронят в море, верно?

— Я все время плаваю взад-вперед, взад-вперед, сколько раз плавал — никогда еще такого не видал. Прямо как дикари.

— Ну да, — нехотя согласился Дэнни. — Они же католики. Но что вы так расстраиваетесь?

— Я не расстраиваюсь, — возразил Левенталь. — Не хватало мне огорчаться из-за того, что христиане вытворяют друг с другом... у меня и так забот довольно. Но мне от этого тошно.

Настал черед Дэнни призадуматься. Дурацкое положение. С одной стороны — безбожник, который рассуждает как большевик. А с другой — еврей, который осуждает христиан... то бишь католиков. Ладно, католики, на вкус Дэнни, ничуть не лучше, чем безбожники, но, когда еврей худо отзывается о христианах, это тоже не очень-то приятно. Вот взять сейчас и сказать Левенталю: «По-моему, евреи — дикари» — как-то он это примет? Сразу же заявит, что он, Дэнни, преследует евреев... От этих мыслей Дэнни устал, даже голова заболела. Хорошо бы поскорее отбыть, сколько надо, в Германии и вернуться в Браунсвилл, там по крайности ясно и понятно, кто — кто и что к чему, и черномазые, полоумные шведы, евреи, мексиканцы, тупоголовые ирландцы, полячишки, макаронники, гвинейские обезьяны и чертовы янки — все знают свое место и не лезут, куда им не положено. Тот жирный нахал с нижней палубы получил по заслугам, нечего было безобразничать на похоронах, так только безбожники поступают, но что ему проломила башку орава католиков — это тоже довольно-таки противно.

— Итальяшки, — громко сказал Дэнни в пространство. — Макаронники несчастные.

— Итальяшки? — смятенно переспросил Левенталь, и в глубине его зрачков вспыхнула гневная искорка. — Какие итальяшки? — Взял свой стакан и, не дожидаясь ответа, быстро пошел прочь. — Не знаю никаких итальяшек, — бросил он через плечо.

— Пархатый, и точка, — убежденно пробормотал себе под нос Дэнни.

У Фрейтага и Левенталья, хотя они об этом так и не узнали, а если бы узнали, нипочем бы в этом не признались, была общая причина благодарить судьбу: гибель и похороны безрассудного баска, чьего имени и сейчас уже никто не помнил, кроме, может быть, двух-трех таких же безымянных бедняков с нижней палубы, отвлекли от них обоих внимание пассажиров. Когда Фрейтаг вспылил и разоби-

делся из-за дрянного мелкого скандала за капитанским столом, он очутился в дурацком положении, какого совсем не желал; эта вспышка выставила его в самом неподходящем и ложном свете — ничуть не менее ложном оттого, что подобные случаи с ним бывали уже не раз — и снова и снова будут повторяться, потому что он женат на Мари. Но вот что скверно в этой истории: впервые такая неприятность приключилась, когда он путешествовал один, без жены. Пришлось себе сознаться, что он с удовольствием предвкушал те редкие случаи, когда они хотя бы на несколько дней расставались и можно было вновь с легким сердцем наслаждаться правом (драгоценнейшее право, суший дар богов, как мог он в прежние времена этого не ценить?) — правом принадлежать к господствующему классу господствующей расы: тогда тебе все доступно в этом мире, можешь выдвигаться на любом поприще, сколько хватит таланта, можешь без помех подняться в обществе на самый верх. Как же он своей безрассудной женитьбой все это для себя отрезал... и что же он сделал с Мари, ведь и ее жизнь тоже под угрозой? И вдруг, начисто забыв о приличиях (он сидел в шезлонге на палубе), Фрейтаг прижал к глазам кулаки и громко застонал:

— Мари, дорогая, прости меня!

И тотчас ему послышался ее милый веселый голосок:

— Ну конечно, прощаю — а что ты натворил?

Во всем виноват он один, с начала и до конца — оставалось лишь признать эту суровую истину и корчиться, страдая от уязвленной гордости: как же он может хоть на грош себе доверять, если его угораздило свалить дурака, когда речь идет о всей жизни его и Мари? В нем опять с прежней силой вскипела ярость, он зол на всех, кто был свидетелем его унижения, кто словно бы жалеет его, извиняется — на это ничтожество Баумгартнера — и кто словно бы ощущает его обиду как свою, на эту сентиментальную особу, Дженни Браун, вечно она всюду лезет со своим сочувствием. Право, уж куда лучше миссис Тредуэл, этой ни до кого нет дела. А все остальные, особенно безмозглые тупицы за капитанским столом — если б только он поглядел в их сторону, они бы с наслаждением оскорбительно задрали перед ним нос... ах, какая досада, что с ним здесь нет Мари, она бы над ними поиздевалась, она так беспощадно остроумна, так очарова-

тельно безжалостны ее лукавые насмешки. «Послушай, Мари, — сказал он ей однажды, пораженный и восхищенный, — как ты можешь быть такой жестокой? Как будто ты сама — не человек!» Она тогда минуту помолчала, искося зорко глянула на него и сказала: «Да, я не совсем человек — разве ты забыл, что я еврейка?»

Левенталь, несмотря на неприятную обстановку (он к такому давно привык), просто из общительности охотно завязал бы разговор едва ли не с первым встречным, лишь бы собеседник не касался религии — его, Левенталья, религии, других он не признавал: все, кто исповедует иную веру, просто язычники и поклоняются ложным богам, как бы они там себя ни называли. Не однажды какой-нибудь иноверец, охотник до споров, напоминал ему, что на свете существует примерно два миллиарда человек, созданных, надо полагать, одним и тем же богом, а евреев всего-то каких-нибудь двадцать миллионов. Так с чего бы Господь Бог оказался столь несправедливо пристрастен? Но Левенталья такими вздорными рассуждениями не смутишь. «Ничего не могу вам сказать, — отвечает он в подобных случаях. — Вам надо бы потолковать с каким-нибудь раввином. Раввину я верю, он в божьих делах понимает». Но Левенталью не по себе уже оттого, что приходится произнести имя Господне, пусть на языке дикарей, пусть не истинное имя, а лишь замену священного имени, которое произносить не дозволено. И он всегда старается перевести разговор на другое, а если это не удастся, просто встает и уходит. Неважно, что думают о нем иноверцы, нравится он им или нет. Они-то ему не нравятся, тут у него перед ними преимущество. Он вовсе не желает от них милостей и одолжений — того, что ему от них надо, он сам добивается и никого не должен за это благодарить. Ему нужно в жизни только одно: право быть самим собой, ездить, куда потянет, и делать то, к чему лежит душа, и чтобы *они* ему не мешали — какое *они* имеют право?..

Никогда за всю историю человечества ни одно племя и ни один народ не пользовались такими правами, но это Левенталью все равно, где уж ему горевать из-за того, что его не касается. Все в нем возмущалось и кипело, гнев бурлил в груди, точно лава под землей, если ей некуда излиться. Всем иноверцам нельзя доверять, но особенно тем, которые при-

станут к тебе с разговорами про то, как они не одобряют расовых предрассудков, и сами, мол, такими предрассудками вовсе не страдают, и как им неприятен поступок капитана, и что у них у самих есть добрые друзья — евреи, и, мол, всем известно, что среди самых больших талантов на свете немало было евреев. И евреи, мол, такие великодушные, всегда кому-нибудь помогают. Левенталь поджал губы, едва не плюнул в физиономию этой особе, американке, которая всюду таскается с альбомом для рисования, у нее есть тут спутник, они не женаты, но это все равно. Не угодно ли, подошла сзади и, даже «здрате» не сказав, пошла с ним рядом и начала трещать: она, мол, считает, что вся эта история просто позорна, и пускай он знает, что она возмущена.

— Чем возмущены? — переспросил он, не глядя на нее, и сам почувствовал, как лицо его искривилось отвращением: эта особа подошла почти вплотную. Она вытягивала шею, пытаясь поймать его взгляд, но он лишь на миг встретился с ней глазами и тотчас отвел свои. Он не выносил христианских девиц. — Что это вас так возмутило?

Она не поняла намек и продолжала свое — ей, мол, невыносимо, чтоб он думал, будто все настроены как капитан или как Рибер и... и другие вроде Рибера. Почти всем, с кем она говорила, эта история просто отвратительна, но ведь капитан на корабле хозяин, что же могут поделывать пассажиры?

— Я просто хотела, чтобы вы это знали, — закончила она несмело.

Как будто своими разговорами она что-то поправила, как будто ему важно, что она там думает, как будто ее слова что-то для него меняют. Вот нахалка!

— Ну а я здесь при чем? — сказал Левенталь. — Я не расстраиваюсь, я сижу, где меня посадили, в чужие дела не суюсь; может, это вы господину Фрейтагу должны сочувствовать. Его вышибли, не меня. Я и так всегда был на отшибе. Я не жалуясь, я давно привык к тому, что я еврей.

Американка будто с разбегу на стену налетела.

— Вы всегда такой по-дурацки грубый или это специально для меня? — сердито спросила она. И, не дожидаясь ответа, круто повернулась и пошла в противоположную сторону.

А ноги у нее тощие, как у цапли, отметил про себя Левенталь. Он с удовольствием закурил хорошую сигару и растянулся в шезлонге. И щелкнул пальцами, подзывая проходящего мимо стюарда.

— Пива, — распорядился он коротко, но добродушно.

Одна из танцовщиц-испанок остановилась подле него и протянула два картонных прямоугольника, на них было что-то напечатано.

— Вот ваши два билета на наш праздник, — сказала она, приглушая свой резкий голос до хриплого шепота.

Левенталь осенило: забавно притвориться, будто он считает это подарком.

— Что ж, благодарю, — сказал он покровительственно и сделал вид, что готов сунуть билеты в карман.

— Два доллара, — сказала испанка, подставила ладонь ковшиком и выразительно потерла большим пальцем указательный.

— Как? Разве вы их продаете? И куда же эти билеты? — На Левенталь нашло шутовское настроение.

— Будет праздник.

— Какой же праздник?

— Будем танцевать и петь, есть и пить, а потом будет маленькая лотерея, разыграем красивые вещицы — может, какой-нибудь ваш билет выиграет? А может, оба! Кто знает?

Оживление Левенталья угасло.

— Кто знает? Я-то знаю одно, я такой счастливчик: если у меня в кармане номер, который выиграл, так, пока я попаду в такое место, где можно получить выигрыш, этот номер сам собой переменится... И не уговаривайте, — прибавил он и сунул билеты ей в руку. — Забирайте их и уходите.

— Свинья паршивая, — сказала она по-цыгански.

— Шлюха, — ответил он по-еврейски.

Маноло поклонился маленькой сеньоре Ортега, нагнулся над ее шезлонгом и, протягивая билеты, стал много-словно, скороговоркой объяснять, что к чему. Тут же сидела няня-индианка с младенцем на руках, она мельком глянула на билеты и тотчас опустила глаза, лицо ее оставалось невозмутимым. Она не умела читать, но издали чуяла всякую азартную игру, умела распознавать цифры и покупала

хоть долю билета во всякой лотерее, какая только подворачивалась, ибо хорошо знала еще одно: для таких, как она, кто родился на соломенной циновке и проходит босиком весь путь от земляного пола хижины до могилы, есть на свете единственная надежда — только раз, один только разок вытянуть счастливый билет! Ее покойница мать часто приходила к ней во сне и говорила горячо: «Николаса, дочка, слушай меня внимательно — слышишь, Николаса? Сейчас я назову тебе счастливый номер для следующей лотереи. Купи не долю, а целый билет, найди, у кого он. Этот человек живет на улице Чинко де Майо. Его зовут...» — и всякий раз, как она начинала говорить имя, номер билета и серию, голос ее затихал, слова становились невнятными, лицо расплывалось в тумане — и Николаса в испуге просыпалась и слышала свой голос. «Мама, постой, — кричала она, — не уходи! Скажи мне, скажи...»

Сеньора Ортега посмотрела на ее спокойное лицо и улыбнулась. Она хорошо знала это спокойствие и понимала, что оно означает. Она купила у Маноло два билета, молча протянула индианке и поспешно отняла руку, чтобы та не стала ее целовать. Потом отпустила Маноло, точно бестолкового слугу, даже не взглянув на него, и сказала де-вушке:

— Дай я немного подержу малютку. Он сегодня утром такой милый.

Маноло — человек вспыльчивый и дерзкий, но деньги он получил, так не обижаться же ему на какую-то полукровка-мексиканку. И в общем-то он очень доволен: ему здорово повезло там, где он и не надеялся на удачу, — прежде чем настроение подпортилось, он успел продать билеты Баумгартнерам и новобрачным, они и не думали отбиваться. Но две пары глаз — голубых и темно-синих — еще издали сверкнули ему навстречу откровенной холодной враждебностью, и она ничуть не смягчилась, когда он подошел ближе к этим американским малярам. Никакими словами он не мог бы высказать, до чего презирает он эту пару: бесполое, бесцветные, живых соков в них не больше, чем в какой-нибудь репе, рассиживаются со своими альбомами и избображают из себя художников. Маноло прошел мимо, даже не замедляя шаг, — этих он предоставит Лоле или Ампаро, лучше Ампаро, она и тигров укротит.

Дженни и Дэвид мирно сидели вдвоем и смотрели, как Маноло важно прошествовал мимо и нарочно для них вызывающе вильнул задом.

— Мне они нравились больше, пока не начали к вымогательству припутывать общественную деятельность, — сказал Дэвид. — Видала ты сегодня утром доску объявлений?

— Я так обозлилась на этого Левенталя, что уже ничего не видала, — сказала Дженни. — А что они еще затеяли?

— Я мог бы тебе заранее сказать — не разговаривай с Левенталем, — заметил Дэвид. — Во-первых, все это тебя не касается, а если бы и касалось, он бы все равно с этим не согласился. Для него ты просто еще одна христианка, человек другой веры, иначе говоря, враг.

— Мне казалось, он поймет, если к нему отнестись подружески, — сказала Дженни, и лицо у нее по обыкновению стало грустное.

— Что ж, по-твоему, он сделал бы для тебя исключение? Поневоле почувствовал бы, что ты такая искренняя и к нему всей душой? Так вот, Дженни, ангел, как раз за это он может тебя еще пуще возненавидеть! Разве не понятно?

Дженни наскоро косыми штрихами набрасывала фигуру уходящего Маноло; она ответила, осторожно выбирая слова:

— Право, я ничего от него не ждала. Просто хотела объяснить свое отношение к тому, что произошло. Хотела, чтобы он знал...

— Ангел мой, попробуй усвоить, что он не желает ничего знать, — сказал Дэвид. — Он знает только то, что ему уже известно.

— Ладно, Дэвид, лапочка, давай не будем из-за этого ссориться. Мне очень хорошо с тобой сегодня. Пожалуйста, дай мне посидеть тут рядом и не ругай меня. Я устала ссориться... но понимаешь, чувства у меня уж такие, как есть, и мои мысли — часть меня самой, не могу я просто взять и отшвырнуть их от себя... не могу всю жизнь не говорить того, не делать этого, не чувствовать того, что на самом деле все равно чувствую, как бы я перед тобой ни притворялась, — и все только для того, чтобы сохранить мир! Лучше уж ты издохни, и черт тебя возьми совсем!

Она говорила все это негромко, ровным голосом и ни на минуту не переставала рисовать.

Дэвид тоже продолжал рисовать, не говоря ни слова. Он побледнел, лицо его застыло — такое вот бледное, застывшее оно бывало все чаще и чаще, и Дженни это пугало. Ей нравилось, что он легко краснеет — заливается свежим румянцем крепкого здорового юнца с тонкой кожей. Но если он не поостережется, когда-нибудь обильная еда и выпивка подведут его, однажды утром он проснется и увидит роковую сеть багровых жилок на щеках и на носу. Эта предательская мысль возникла нечаянно, сама собой, и тотчас перешла в действие. Дэвид сидел неподвижно, поглощенный работой, — и Дженни, украдкой на него поглядывая, принялась за пророческий портрет его лет эдак в пятьдесят. Облекла знакомую художавую фигуру в сорок лишних фунтов обрюзглой плоти, подбавила дряблые щеки, заставила поредевшие волосы отступить к ушам, удвоила размеры удивительно красивого орлиного носа, сделала ему такой длиннющий подбородок, что он стал походить на Панча, и, наконец, упиваясь этой жестокой забавой, подрисовала тевтонский валик жира на шее, у основания затылка. Она совершала это маленькое убийство с упоением, она была увлечена им и счастлива, и лицо у нее стало нежное, спокойное, озарилось внутренним светом, которым Дэвид всегда любовался, но который подмечал, лишь когда она с головой уходила в работу. А вот ему ни разу не удалось вызвать этот свет на ее лице. С ним Дженни всегда настороже, готова к стычке, полна противоречивых чувств, и взгляд у нее всегда беспокойный, глаза то распахнутся во всю ширь, то щурятся, то смотрят в упор, то блуждают, то в них вопрос, то боль. Она давно уже привыкла ждать от него чего-то недоброго. «Только это она от меня и принимает, — угрюмо подумал Дэвид, — ничего другого и не захочет. Вот к чему все свелось, ничего хорошего уже не осталось, хоть мы и обманываем себя изо дня в день, уверяем, будто что-то еще живо. И художница она тоже никудышная! Могла бы уже сама понять, пора ей это бросить!» Он еще несколько мгновений к ней присматривался. Она скрестила стройные, изящные ножки, приподняла колени, оперла на них альбом, как на подставку; в уголках губ играет улыбка — не восторженная, но ласковая, довольная и счастливая. Дэвид не устоял перед соблазном — надо согнать эту улыбку! Он порывисто протянул руку, хотел взять рисунок. Дженни вскочила как ужа-

ленная, схватила листок, смяла. Дэвид поднялся, отобрал рисунок, его поразило, что она так яростно сопротивляется.

— Что это у тебя, чем ты так довольна?

— Нет, Дэвид, отдай... отдай... незачем тебе смотреть...

— Осторожней, Дженни... ты его порвешь!

— Ну и пусть. — Она засунула смятый листок в вырез платья и, скрестив руки, прижала к груди альбом. — Я ведь не таскаю твои бумаги и не подглядываю!

— Ах, так!

Дэвид оскорбленно надулся и отступил. Он терпеть не мог настойчивые попытки Дженни сравнивать, сопоставлять — как будто между его и ее поступками есть какая-то связь. Так, она жесточно воевала с ним из-за того, что он вскрывает адресованные ей письма — у него, мол, нет на это никакого права. «Я же твоих писем не вскрываю», — доказывала она.

Разумеется, не вскрывает — с какой стати? «Ты что, думаешь, я получаю любовные послания?» — спрашивала она с досадой. Нет, этого он, конечно, не думал... а впрочем... нет, пожалуй, не думал. Но не в том суть. Просто не мог он признать за ней право на какие-то секреты, на границы, за которыми она вольна укрыться и которые он обязан уважать. По крайней мере она считала, что обязан. Его-то границы неприкосновенны, его внутренний мир недосягаем — в этом Дженни постепенно убеждалась на опыте; но она до сих пор не поняла и никак не могла понять, чего же, в сущности, мужчине надо от женщины. И тут Дэвид по обыкновению терялся, точно в тумане. Мужчина, женщина — эти отвлеченности ничего для него не значили. Дженни — вот загадка, и к ней он никак не подберет ключа. Вот она снова сидит в шезлонге, ноги крест-накрест, колени приподняты, рисунок прижала к груди. Веселым и лукавым взглядом встречает взгляд Дэвида.

— Вот чего ты никогда в жизни не увидишь! — обещает она и хохочет-заливается, всем своим существом хохочет, даже пальцы босых ног в открытых мексиканских сандалиях без каблуков и те корчатся от смеха.

Нет, бесполезно дуться и злиться, невозможно устоять — так очаровательно смеется Дженни, так весело, искренне; утробным этот смех не назовешь, уж очень мал ее

плоский животик, но всякий раз смех рвется поистине из самых глубин ее существа.

— Объясни же мне, что к чему, — сказал Дэвид. — я тоже хочу посмеяться.

— Нет, тогда уже не будет забавно, — возразила Дженни. И, все еще весело улыбаясь, сказала нежно: — Дэвид, лапочка, знал бы ты, какой ты сейчас красивый, просто не налюбуюсь. Давай никогда-никогда не будем старыми и толстыми.

— Ладно, кузнечик. Во всяком случае, не толстыми. — (Они давно сошлись на том, что растолстеть — значит совершить смертный грех против нравственности и красоты духовной и телесной, против всего, что есть в жизни хорошего.) — Не будем такими, как Гуттены.

— И такими, как их Детка, — прибавила Дженни. — Кстати, что ты говорил про этих танцоров и их общественную деятельность?

Когда ревнивый любовник-доктор разлучил кубинских студентов с графиней, им отчего-то довольно быстро наскучило их тайное общество, в которое никто не стремился проникнуть, и газета, которую, кроме них самих, никто не читал, — и они взялись за шахматы и пинг-понг. Но по-прежнему напускали на себя таинственность, словно за их многозначительными словечками и ужимками хранятся хитроумнейшие и завлекательные секреты, доступные лишь посвященным. Однако мало-помалу до них дошло, что их просто не замечают; никому они не мешали настолько, чтоб стоило обращать на них внимание. И они приготовились к атаке. Танцоры-испанцы только впивались в свою жертву злобным взглядом да обдавали ее язвительным смехом, который неизменно вызывал на всех лицах краску гнева или стыда; студенты же придумали способ издеваться, по их мнению, более утонченный и убийственный. Они пресерьезно совещались между собой, потом обводили намеченного пациента холодным невозмутимым взглядом хирурга, и кто-нибудь достаточно громко говорил другому:

— Тяжелый случай?

— Безнадежный, — откликнулся тот.

Они качали головами, напоследок пронизывали паци-

ента взглядами и опять склонялись над шахматной доской.

Прогуливаясь по палубе, они мимоходом обменивались «диагнозами».

— Хронический скелетонизм, — сказали они о Лиззи и насладились мгновенным испугом, отразившимся на ее лице: — Случай безнадежный.

— Врожденный альбондигитис! — закричали они друг другу при виде Гуттенов, которые тяжело ступали им навстречу и вели на поводке еле-еле ковыляющего Детку. — Случай безнадежный!

Профессор Гуттен быстро взглянул на жену — слышала ли? Конечно, слышала, и вновь уязвлена в лучших чувствах. Профессор вспомнил: он с самого начала не одобрял этих молодых дикарей и поражался, что они среди нечленораздельной своей болтовни запросто перебрасываются благородными, священными именами Ницше, Канта, Шопенгауэра; уж не ослышался ли он — или они и вправду осмелились помянуть всеу самого Гёте? Мелькали в их болтовне и менее чтимые, но все же достойные имена, например Шекспир и Данте. Лица этих мальчишек даже в относительно спокойные минуты никогда не бывают серьезными, в речи не слышно осмысленных интонаций. Трещат как мартышки и тут же смеют произносить имя Ницше — уж наверно, толкуют его вкривь и вкось и унижают, и находят в этом гнусное удовольствие. Никакой почтительности, ни следа смирения, какое надлежит испытывать пред истинным величием, — таковы пороки всех рас, кроме нордической, пороки, особенно характерные для иберов, латинян и галлов; легкомыслие присуще им от природы, это чума, которую они принесли в Новый Свет — недаром он угнетает совершенным отсутствием трезвости ума. Казалось бы, раз и навсегда можно утратить веру в род человеческий, но нет, нет, остается какая-то надежда, что все переборет древний германский дух. Итак, профессор Гуттен встряхнулся, овладел собой и попытался утешить жену:

— Не слушай их, дорогая, это просто хулиганы, недоумки, а глупость всегда зла, ни на что другое она не способна.

Он и сам приуныл от своих слов, они отдались у него в мозгу точно эхо... чего? Не верит же он, будто человек, любовью человек, сколь глубоко он ни погряз бы во грехе, неправим? Что это на него нашло? Просто непостижимо — и

однако он вынужден себе признаться: эта столь ему чуждая мысль потрясла его как бесспорная истина, как откровение. Да, есть в душе человеческой неизлечимая страсть к злу! Профессор вдруг ощутил во рту такую горечь, словно все содержимое желчного пузыря излилось ему на язык.

— Но я слышала, что они говорят, — как ребенок, пожаловалась фрау Гуттен. — Я думала, они про футбол, а они сказали про нас — мясобо́л.

Ничего хорошего она от них и не ждала; но уж очень утомительно, что люди совсем не жалеют друг друга.

— На самом деле, — решительно заявил профессор, — они на своей кухонной латыни, на которой изъясняются все студенты-медики, сказали, что мы страдаем тяжелой формой врожденного мясоболизма, это, как ты знаешь, воспалительный процесс. Если уж не можешь не слушать неприятных вещей, хотя бы слушай как следует. И во всяком случае, это шутовство не может нам повредить.

— Они-то, конечно, шуты, — кротко согласилась фрау Гуттен, — но я ведь над ними никогда не насмеялась. Почему же они насмеяются над нами?

Вот о чем профессор Гуттен рад был порассуждать! До конца утренней прогулки и потом за кружкой пива он не умолкая разъяснял жене, в каком непостижимом разнообразии сочетаются в каждом отдельном человеке обычные черты и свойства, составляя неповторимый характер, — да ведь и с четвероногими так, и со всякой живой тварью, будь то насекомое, рыба, цветок или птица, даже на дереве нельзя отыскать двух в точности одинаковых листьев! А отсюда — бесконечное разнообразие самых неожиданных воззрений, страстей и желаний, счету нет разнородным стремлениям, за то, чтобы их удовлетворить, люди нередко борются не на жизнь, а на смерть, и одни при этом опускаются до любой гнусности, до оскорблений, жестокости и преступления, а другие возвышаются до истинной святости и мученичества. Когда низменный по природе ум, не способный усвоить высокие понятия, получает образование, превышающее его возможности, он органически не в силах обратить это образование во благо — и вынужден поскотски тащить все высокое вниз, до своего жалкого уровня, — кубинские студенты прискорбный тому пример. Этим ничтожествам попросту невыносима, даже ненавистна са-

мая мысль о каком бы то ни было благородстве и величии.

— Они воображают, будто если сумеют плюнуть на Микеланджелова «Моисея», то тем самым докажут, что он нисколько не лучше их самих, — с торжеством сказал профессор. — Но это с их стороны большая ошибка, — утешил он в заключение, — придет время, и они получают хороший урок.

Фрау Гуттен постаралась не выдать изумления — уж очень круто переменялись взгляды мужа, теперь они вполне совпадают с ее собственными! Почтительно помолчав в знак согласия, она вновь заговорила о том, что ее занимало:

— Они опять выпускают свою газетку. Что-то насчет испанских танцоров. Я видела, они всей компанией читали какой-то печатный листок и смеялись.

Но у профессора Гуттена был свой ход мыслей.

— Нас это, во всяком случае, не касается, — сказал он и продолжал развивать и разъяснять свою точку зрения. — У нас позиция вполне определенная, тут нечего сомневаться. Нам, как и прежде, не следует их замечать, не следует отвечать им ни словом, ни взглядом, не надо обращать на них ни малейшего внимания — этого удовольствия мы им не доставим. Если же они станут упорствовать в своих диких выходках, так что молчать будет уже невозможно или несовместимо с нашим достоинством, — тогда последует кара, быстрая, суровая и неотвратимая. Я найду способ дать им почувствовать всю тяжесть моего негодования. Не тревожься, дорогая. Нам не впервые иметь дело с бунтовщиками.

Фрау Гуттен, лаская уши Детки, улыбнулась мужу.

— Ну конечно, — сказала она.

И невольно подумала о будущем: ее супруг уже соскучился по слушателям, по кафедре и просторной аудитории. Очевидно, в голове у него уже складывается солидный цикл новых лекций. Что ж, она предложит записать их под его диктовку, надо попробовать подыскать в Шварцвальде какой-нибудь скромный институт, где он мог бы прочитать курс лекций, а может быть, даже удастся напечатать кое-что в журнале или каком-нибудь философском периодическом издании. А может быть, когда он снова очутится за письменным столом, среди своих рукописей и книг, а у нее

столько будет хлопот по дому, он с удовольствием запишет свои лекции сам и даст ей хоть небольшую передышку. Наконец-то фрау Гуттен созналась себе, что ей до смерти опостытели Идеи. Не слышать больше никаких новых идей — вот было бы счастье! Она все гладила Детку и продолжала улыбаться мужу.

— Череп не проломлен, — сказал доктор Шуман капитану Тиле, выбирая слова так, чтобы и непосвященному все стало ясно, — просто длинная и глубокая рана, проникающая до кости, и небольшое сотрясение. Сознание к нему еще не вернулось.

Капитан Тиле помешал ложечкой кофе, отпил глоток и сказал размеренно:

— Было бы к лучшему, если бы оно совсем не вернулось.

Доктор Шуман тоже помешал кофе, но пить не стал.

— Исход может оказаться и смертельным, но это не обязательно. У него на зависть крепкое сердце, я бы сказал, как у быка.

— У таких свиней всегда завидное здоровье. — Капитан тоже сразу почувствовал, что сравнения, взятые со скотного двора, тут самые подходящие. — Я вот что хотел бы знать, — прибавил он с досадой. — Это оружие...

— Гаечный ключ, — подсказал доктор Шуман.

— Гаечный ключ, — повторил капитан Тиле, с достоинством принимая поправку. — Откуда он взялся? И кто нанес удар? Мы должны найти этого человека.

— Гаечный ключ валялся неподалеку от того места, где разыгралась драка, — сказал доктор Шуман. — И, похоже, никто про него ничего не знает.

— Все это вздор и пустяки, — сказал капитан. — Пускай они перебьют друг друга, но только не на моем корабле. Удивляет меня отец Гарса — был тут же и не заметил, и не опознал преступника!

Доктор Шуман улыбнулся и отпил кофе.

— Отец Гарса лиц не различает, — сказал он. — Он видит только души.

Капитан немного поразмыслил: похоже, шутка отчасти направлена против поповского важничанья — что ж, тогда

можно ее и оценить, не роняя своего достоинства.

— Ему нужны очень зоркие глаза, чтоб разглядеть в этой помойке хоть одну душу, — сказал он почти весело. Наклонился к доктору ближе и заметил, словно бы снисходя до великодушия, которого от него не требуют никакие правила: — Корабль переполнен, на нижней палубе возбуждают брожение крайне враждебные элементы, возможна вспышка беспорядков и насилия в самых скверных проявлениях, а потому я, признаться, не стремлюсь прибегать к суровым мерам, хоть они и оказались бы наиболее действенными.

Произнеся эту речь, он еще немного поразмыслил и прибавил:

— В конце концов, у пассажиров первого класса есть какие-то права, которые следует принять во внимание. — На миг он брезгливо скривился, принимая их во внимание, потом продолжал: — Откровенно говоря, от этих священников толку нет. Мои помощники, разумеется, действовали во всех отношениях превосходно, но не могут же они разорваться! Пароходные компании слишком перегружают второразрядные пассажирские суда, и в таких вот случаях эта привычка...

Он запнулся, изумленный: как же с языка у него слетело и словно повисло перед ним в воздухе это слово «второразрядные»? И как случилось, что он нескромно упомянул о сучопутных крысах, которые заправляют пароходными компаниями, а сами не уважают ни корабли, ни моряков? Эти обиды — его личное дело, доктора Шумана они не касаются. Капитан Тиле поджал губы и угрюмо насутился.

— Во всех отношениях предосудительная привычка, — пожалуй, уж чересчур охотно согласился доктор Шуман.

Капитан круто переменял тему беседы.

— Что мне делать с этим отребьем, пока я не высади их в Испании? — откровенно спросил он. — Что вы мне посоветуете, дорогой доктор?

— Если бы вы дали мне немного времени, дорогой капитан, я мог бы всесторонне это обдумать, — сказал доктор Шуман. — Но вот первое, что мне приходит в голову: не надо ничего предпринимать. Безусловно, самое худшее уже

позади, единственный зачинщик и подстрекатель выбыл из игры до конца плавания. Я уверен, это профессиональный агитатор от какой-нибудь захудалой политической партии. Куда он ни совался, везде сразу начинались беспорядки. Вообще же, на мой взгляд, на нижней палубе люди все неплохие, безобидные... ничего худого за ними не водится, просто они от рожденья неудачники...

— Уже одно то, что они родились на свет, для всех несчастье, — сказал капитан. — Нам только и остается прятать их подальше и не давать этой чуме распространяться.

Доктор промолчал; эту его манеру отмалчиваться капитан считал весьма сомнительным способом уклоняться от прямого разговора; порой казалось даже, что доктор безмолвно соглашается с разными проявлениями зла, которое он, капитан, столь быстро распознает и столь усердно подавляет. Капитан давно уже обнаружил, что, когда дело так или иначе касается судовой дисциплины, на доктора положиться нельзя — и это его равнодушие к жизненно важным вопросам, полагал капитан Тиле, есть признак опасной нравственной вялости. А ведь доктор Шуман из хорошей семьи, из доброго старого юнкерства; все его побуждения, воспитание, взгляды безусловно и естественно должны служить опорой великому, издавна сложившемуся строю, тому обществу, в котором обоим им от рожденья предназначено занять подобающее место, исполнить свой долг и, когда настанет срок, получить заслуженную награду, и каждый должен быть истинным юнкером — железным, непоколебимым во всем и до конца.

— Когда мы не управляем твердой рукой и становимся слишком уступчивы, мы изменяем тем самым своему классу и своему отечеству, — сказал он сурово.

Доктор Шуман поднялся.

— Совершенно верно, — сказал он любезно. — Мы за многое несем ответственность.

Он пожелал капитану спокойной ночи и скрылся за дверью, уклоняясь от спора — и это не в первый раз, хмуро подумал капитан Тиле. Только теперь он запоздало вспомнил, что не осведомился о здоровье пленницы — *condesa*, похоже, не очень-то процветает на попечении доктора Шумана.

Доска объявлений вызывала у всех тревожное любопытство. Объявлений было множество — броских, хлестких, каждое четко выведено на отдельном листе, припиленном канцелярскими кнопками.

Большое брюхо не решается купить билет на праздник в честь капитана — боится, что не хватит денег оплатить счет в баре, а сам глушит коньяк без передыха. Да здравствуют его язвы!

— Какая гадость! — горячо воскликнула фрау Баумгартнер и с нежностью сжала локоть мужа. — Не обращай внимания, милый!

Она была глубоко тронута — так горестно сморщилось его лицо. Они пошли дальше, и он храбро ей улыбнулся, высморкался, утер глаза, а фрау Баумгартнер в душе сокрушалась: самое печальное, что жестокие слова эти — правда.

— О других они еще хуже понаписали, — напомнила она, и муж постарался сделать вид, будто его это утешает.

Левенталь прочел:

Если уж еврея пустили к людям, пускай пользуется случаем. В другой раз, глядишь, так не повезет.

Он жирно вывел карандашом на полях: «К каким это людям?» — и зашагал прочь, удовлетворенно улыбаясь.

— Вот об этом я и говорил, — сказал Дэвид Дженни, мельком просматривая утреннюю выставку оскорблений. — Смотри.

Американские горе-художники уткнулись носом в свои альбомы — боятся, вдруг все поймут, что читать они не умеют, вот и рисуют друг для друга карикатуры.

— Меня это мало трогает, — сказал Дэвид, — они ошиблись в расчетах. Мне даже и не обидно.

— И мне, — сказала Дженни. — Давай нарисуем карикатуры на них и тоже прилепим сюда.

— А зачем? — возразил Дэвид. — Только поднимется скандал. Какой смысл?

— Люблю затевать такие скандалы, — сказала Дженни.

— Что ж, только меня не впутывай, — сказал Дэвид. — Они того не стоят.

Дженни вспыхнула, как только что запаленный костер.

— Пассивное сопротивление, — презрительно фыркнула она. — Гордое молчание. Надменная сдержанность.

Не падать духом. Подставляйте другую щеку, но непременно с достоинством. Пусть они не воображают, будто вы побоялись дать сдачи. Просто не глядите на них, и им надоест плевать вам в глаза. Да не скажет никто...

Четко, точно солдат на параде, Дэвид повернулся кругом и пошел прочь. Дженни крепко зажмурилась, затопала ногами и закричала ему вслед:

— Трус, трус, трус, всегда был трусом... трус, трус!

Она открыла глаза — в трех шагах стоял Вильгельм Фрейтаг и смотрел на нее с живейшим интересом. Дженни попробовала изобразить взрыв смеха, будто она вовсе не злится, а просто шутит, но обмануть Фрейтага не удалось. Он подошел совсем близко, с обаятельной улыбкой заглянул ей в глаза.

— А вы изумительны, — сказал он. — Вот не думал, что в вас столько пыли. Мне казалось, вы такая холодная, сдержанная. Любопытно, что надо сделать, чтобы так вас взбесить?

— Вы не поверите, — сказала Дженни, — но Дэвид ничего не делает, ровно ничего — он не желает ни говорить, ни слушать, ни отвечать, никогда ни в чем не уступит, не поверит ни одному моему слову, он не желает...

— Не желает, значит, и не станет, — мягко, рассудительно сказал Фрейтаг. — Разве ваша мама вас этому не учила?

— Меня много чему учили, но от всего этого нет никакого толку, — сказала Дженни, к ней разом вернулось хорошее настроение. — А если бы кто и учил чему-нибудь полезному, я бы не стала слушать.

— Может, послушаете меня? — предложил Фрейтаг. — Хотите, выпьем кофе?

— Кофе — не особенно, — сказала Дженни. — Но я не прочь с кем-нибудь пообщаться.

— С кем же, например? — самоуверенно спросил Фрейтаг.

Она пошла с ним рядом, но не ответила, лицо ее замкнулось, и Фрейтаг понял, как она расценивает этот его ловкий ход. И тем легче, уже не в первый раз, заключил, что совсем она не привлекательна — по крайней мере на его вкус, да и на вкус своего кавалера, видимо, тоже. И очень напрасно она задается и разыгрывает недотрогу.

Рибер с Лиззи подошли к доске, чтобы еще раз посмеяться шуточкам испанцев по адресу других пассажиров, и прочитали вот что:

*Жирный боров, бросил бы наливаться пивом да строить глазки индюшке, так было бы от тебя больше проку. И тут же приписка наспех красным карандашом: ¡ Arriba España! ¡ Arriba la Cucaracha! ¡ Mueran a las Indiferentistas!*¹

— А мы тут при чем? — вскинулась Лиззи, ее трясло от злости. — Какое нам дело до их дурацкой политики?

В одиннадцать часов доктор Шуман зашел в бар выпить, как всегда в этот час, темного пива. Один из студентов прикреплял к доске новую бумажку, маленькая Конча стояла и смотрела. Доктор остановился, надел очки и прочитал:

Самозваная графиня с фальшивыми бриллиантами и поддельными жемчугами любит развлекаться на дармовщину — анархисты все такие. Надо бы ее верному доктору вместо наркотиков прописать ей билет на праздник в честь капитана.

Доктор Шуман замигал и сморщился, словно ему заporошило глаза. Осторожно отколол листок, взял его двумя пальцами и пошел в угол, к столу, за которым испанцы пили кофе. Заговорил твердо, взвешивая каждое слово, точно с пациентом, который, быть может, одержим манией убийства.

— Я бы сказал, что вы в своей глупой комедии теряете чувство меры. Советую изменить ваш образ действий и по возможности вести себя прилично — хотя бы до конца плаванья.

Он изорвал бумажку, положил клочки на край стола и оглядел полукруг обращенных к нему жестких, застывших лиц, и ему показалось: на него уставились глаза, которым вообще не место на человеческих лицах, будто встретил взгляд хищного зверя, что затаился в логове или рыщет в джунглях, готовый к прыжку, и жаждет крови; тот же взгляд он с ужасом подмечал прежде у Рика и Рэк, только глаза, которые смотрели на него сейчас, были старше, искушеннее в своей свирепой настороженности. Молча, не

¹ Да здравствует Испания! Да здравствует Тараканиха! Смерть равнодушным! (исп.)

шевелиясь, точно дикие кошки из засады, уставились танцоры на доктора Шумана — и взяли верх. Он невольно отвел глаза. Сказал сурово:

— Будьте любезны прекратить эту чепуху.

И пошел прочь, и еще долго на палубе его преследовал взрыв смеха, от которого, кажется, кровь стыла в жилах. Доктор Шуман не оробел, но от такой безнаказанной дерзости в нем поднялись досада и отвращение, и, пытаясь отвлечься, он начал думать о так называемых радостях жизни, об увеселениях, развлечениях и о тех, чья профессия — увеселять и развлекать; в кабаре или пивную идешь, в общем-то, с чистым сердцем — приятно провести вечер: послушать легкую музыку, поглядеть, как танцуют хорошенькие молодые девушки, выпить немножко вина или пива, чокнуться через столик с женой... как же случилось, что эта сторона жизни почти целиком отдана в руки вот таким тварям, настоящей преступной шайке, которой заправляют самые что ни на есть подонки преступного мира? И даже в спорте, в оздоровляющих играх на свежем воздухе то же самое? Всюду хозяйничают те же негодяи, что наживаются на наркотиках, на проституции, убийствах, на всевозможном жульничестве и подделке. Под обманно сверкающей пленкой веселья скрываются зловонные трясины гнусности и зла. Но до чего же скучна стала бы жизнь без музыки и танцев, без выпивки и любовных приключений и всякого восторженного неистовства. Нет, все-таки да благословит бог шотов — разве не все мы грешники?

Он прекрасно знал, что в следующий раз, когда эта банда хулиганов вздумает вырядиться для представления, возьмет свои инструменты и примется колдовским манером петь и плясать, трещать каблуками и щипать струны, он пойдет на это смотреть; ему не устоять, его затянет, заворочит их музыка — и не наплевать ли, кто они, в сущности, такие? Да и кто они, в сущности? За их сущность он примет то, чем покажутся они в тот час: в них не больше человеческого, чем в стае пестрых птиц, они только затем и нужны, чтобы он мог повеселиться, на них глядя. Доктор Шуман всегда любил цирк, мюзик-холл, кабаре, любой полутемный погребок, где для тебя приготовлено вдоволь престранных развлечений. С годами он стал сдержаннее: профессия врача обязывает к серьезности. Жена, женщина более суро-

вая с виду, чем по характеру, в часы, когда его одолевала усталость, нередко уговаривала: «Пойдем, милый, посмотрим водевиль! Нам надо развлечься!» И она всегда была права. Доктор Шуман признавался (впрочем, только себе одному): будь гиены красивы и умей они петь и танцевать, он простил бы им, что они — гиены. Но вот вопрос — простили бы они ему, что он — человек? А кстати, кто он такой, чтобы брать на себя смелость даровать прощение хотя бы и ничтожнейшему из божьих созданий? И правда, он-то кто такой? Condesa привлекла его тем, что она — существо извращенное, заблудшее, пристрастившееся к наркотикам, женщина, не признающая ни веры, ни закона, ни морали, — красива, капризна и, уж конечно, заядлая лгунья. А как он пытается ей помочь? Подчинил ее своей воле, засадил в клетку, не пускает к ней этих подозрительных студентов... и ведь почти верил гнусным сплетням о них — сплетням, которые просачиваются, точно грязь, во все разговоры на корабле; и помог он ей не теми средствами, какими располагает врач, и не человеческим сочувствием, просто он злоупотребил своей властью, воспользовался пороком, который больше всего вредит пациентке, — ее пристрастием к наркотикам.

Доктор Шуман задумался над такой гранью собственного характера, которой до этого часа в себе и не подозревал. Прежде он довольно лестно обманывался на свой счет и не замечал этой дурной склонности к самообману; очень удобна эта теория, будто человек совершает смертный грех только по своей воле, ибо жажда искупить грехи бессмертна, как сама душа. И тот, кто творит зло, ведает, что творит. Но тогда как же он, Шуман, так дурно поступил с несчастной женщиной, ведь ему казалось, что он старается только помочь, успокоить? Доктор ужаснулся, он поспешил отречься от этих мыслей, показалось — собственный голос громко зазвучал в мозгу: «Нет-нет, я не причинил ей вреда, я сделал, что мог, другого выхода не было. И отец Гарса подтверждает, что я поступил правильно. Что я должен обращаться с нею сурово, таков долг врача, когда больной не исправим... В противном случае вы некоторым образом, и весьма опасным, поддадитесь ее оболъщениям — вот как сказал отец Гарса».

Но слова эти не принесли утешения и поддержки — и

уже, наверно, никто и ничто не утешит и не поддержит. Condesa — бремя на его совести, бремя, которое он осужден нести до самой смерти. Доктор Шуман испустил тяжкий вздох, в котором, однако, не было смирения и покорности.

— Grüss Gott, — очень бодро сказал он бедняге Глокену; тот ковылял, как всегда, один, и лицо у него было еще более унылое, чем обычно. — Как себя сегодня чувствуете? — опрометчиво спросил доктор Шуман.

Глокен встрепенулся, в этом вопросе ему почудилось и доброе участие, и, уж конечно, профессиональное внимание врача.

— Нынче утром мне что-то нехорошо, — живо отозвался он. — Все время какое-то стеснение в груди.

— А что вы в этих случаях делаете?

— Да ничего, — сказал Глокен. — Это у меня началось совсем недавно.

— Зайдите-ка, я вас посмотрю, — предложил доктор Шуман, и мысли его прояснились: предстояла серьезная работа.

Глокен явно изумился и преисполнился каких-то надежд, бедняга.

— Прямо сейчас? — спросил он недоверчиво.

— Прямо сейчас, — отвечал доктор Шуман.

Глокен нуждался не только в лекарствах, душа его была в смятении. Накануне к нему, подбоченясь и шурша развевающимися юбками, подошла Лола. Поглядела на него сверху вниз, улыбнулась и протянула раскрытую ладонь, будто цыганка-гадалка.

— Позолоти ручку, малыш, — сказала она, — я тебе дам счастливый билет, выиграешь красивый кружевной веер, отвезешь домой своей немецкой красотке подружке!

Глокен содрогнулся, неудержимая гримаса ужаса и страдания исказила его лицо. Он отвернулся, зажмурился. Танцовщица наклонилась к нему, безжалостно постучала по горбу жесткими пальцами.

— На счастье! Только для этого ты и годишься! — сказала она, круто повернулась и пошла к своим; они ждали по-

близости, молча окружили ее, и вся компания двинулась дальше, на ходу закуривая сигареты.

А наутро на доске объявлений появился еще листок:

Раз уж ты урод, горбун несчастный, можешь вести себя не по-людски, тебе прощается.

Пассажиры не раз видели, как Глокен удовлетворенно улыбался, читая ядовитые листки, которые метили в кого-то другого; сейчас он застыл на месте, опять и опять перечитывая безжалостные слова; потом быстро глянул по сторонам, сорвал гнусный клочок бумаги, скомкал, сунул в карман и отошел: голова закинута, длинные руки, сцепленные за спиной, болтаются ниже колен; тонкие как спички ноги благополучно вынесли его на палубу, здесь не было свидетелей его унижения. Пассажиры, как бы ни были они различны между собою, все как один неизменно старались обращаться с Глокеном получше, приветливо с ним здоровались и раскланивались. И сейчас его тоже встречали доброжелательно, улыбаясь ему, поднимая голову над чашкой утреннего бульона, и при этом беглые взгляды без любопытства подмечали на его лице застывшую неизменную гримасу боли и горя. Посмотрят на него, когда он попадет на глаза, но не думают о нем и, едва он пройдет мимо, тотчас о нем равнодушно забудут: ведь перед ними несчастье, которое им самим не грозит. Горбуна не за что ненавидеть и нечего бояться, недуг его не заразен, злой рок поразил его одного.

— Но подумайте, какой ужас, — сказала маленькая фрау Шмитт, обращаясь к фрау Риттерсдорф. — Когда я на него смотрю, я чувствую себя счастливицей!

Фрау Риттерсдорф ответила взглядом, который многие ее поклонники называли «загадочным», улынулась одним уголком губ, слегка сморщила нос и наскоро записала в своей тетрадке в красном кожаном переплете:

«Спрашивается, не будет ли благодеянием для человечества строжайший закон, обязывающий всем детям с врожденными недостатками сразу же при их появлении на свет или, во всяком случае, как только обнаружится, что они неполноценны, даровать блаженство безболезненной смерти? Мне следует серьезно это обдумать и прочесть все доводы в пользу такой меры. Никогда еще не слышала сколько-нибудь веского довода против».

И она захлопнула тетрадку, в которой почти уже не оставалось чистых страниц.

Увидав, что Дженни одна вошла в маленькую гостиную, Ампаро устремилась следом, решительно остановилась перед нею и сказала отрывисто, без предисловий, как человек, которого ждут дела поважнее:

— Вы еще не купили лотерейный билет — это почему же?

Праведное негодование в ее лице и голосе едва не застало Дженни врасплох. Ампаро стоит с непреклонным видом и ждет, правой рукой протянула кусочек картона, левой подбоченилась, голова высоко вскинута, ноги носками врозь, будто вот-вот она помчится в танце. Тут уже нельзя было просто притвориться, что эта женщина не существует, и в Дженни вспыхнула досада: надо что-то сделать, как-то от нее избавиться, радости мало, но эту несуществующую величину уже нельзя не замечать. И она посмотрела в упор (хорошо бы выразить во взгляде такую же непреклонность!) и сказала с металлом в голосе:

— Я не стану покупать никаких билетов и не желаю, чтобы ко мне приставали.

И шагнула в сторону, обходя Ампаро, а та все не спускала с нее глаз. Бандитский взгляд, глаза настоящего убийцы, подумала Дженни, а впрочем, что бы подумал сторонний человек о ней самой, поглядев на нее сейчас?

— Оставьте меня в покое! — с яростью сказала она.

Ампаро хлопнула себя ладонью по паху, круто повернулась на каблуке.

— Ни денег, ни мужчины, и ничего тут, — она опять хлопнула себя по тому же месту. — Тьфу!

И величественно пошла своей дорогой.

Дженни почувствовала себя так, словно ускользнула от разбойников с пистолетами, притом она обладала самолюбием не того сорта, какой понятен был Ампаро. После первой мимолетной вспышки гнева она пошла искать Дэвида — забавно будет ему рассказать; обогнула нос корабля и, перейдя на подветренную сторону, увидела Дэвида: стоит у борта спиной к морю, облокотясь на перила, словно бы отстраняясь от Лолы, а она наклонилась к нему так близко,

что их лица почти соприкасаются. Но у Дэвида вид вовсе не загнанный, он смотрит Лоле в глаза и слегка усмехается, словно бы настороженный, но и чем-то довольный... Первое побуждение Дженни, конечно, вмешаться, или, как она всегда говорит, «кинуться на подмогу»; и она рванулась было вперед, но тотчас сдержалась и прошествовала мимо, будто вовсе и не видит нелепую сцену у борта. Дэвид явно не вступает в разговоры и руки вынул из карманов, словно держится настороже, а все-таки доверять ему нельзя — но пусть попробует купить этот дурацкий кусок картона, уж она до него доберется, изорвет в клочки и швырнет за борт. Дженни решительно прошла мимо, на тех двоих не взглянула. Но через две минуты Дэвид очутился рядом.

— Ну, кажется, вопрос решен, — сказал он. — Мы установили, что у меня нет ни матери, ни потрохов, ни каких-либо человеческих чувств; на родине Лолы таких уродов, как я, держат в клетке...

Дженни расхохоталась, Дэвид — тоже.

— Это еще не так плохо! — сказала Дженни. — Ампаро мне растолковала, что у меня нет ни денег, ни мужчины, и ничего здесь...

И столь же беззастенчиво, как умывается кошка, Дженни похлопала себя по тому самому месту. Дэвид жарко, чуть не до слез покраснел.

— Дженни, ангел! — это вырвалось у него страстно, яростно, как ругательство. — Ты бы хоть раз подумала, как ты выглядишь!

Она всмотрелась в него молчаливо, с каким-то отрешенным, улыбчивым любопытством.

— В первый раз вижу, как ты показываешь зубы, — сказала она. — У нас когда-то была лошадь, она всегда старалась кого-нибудь укусить, ты сейчас был в точности как она... я прямо глазам не поверила...

— Я тоже иногда глазам не верю, глядя, что ты вытворяешь, — сказал Дэвид.

Он героически старался сдержаться. Когда Дженни начала его высмеивать, с ней уже не было никакого сладу.

— А по-моему, это восхитительный жест, — сказала она. — Когда-то тебя очень позабавило, как две индианки подрались из-за мужчины, помнишь, они трясли юбками и притопывали, и подходили друг к дружке ближе, ближе,

глаза как щелки, зубы оскалены, и обе хлопали себя по этому самому месту, и каждая хвасталась тем, что у нее есть, а у другой нету...

— Да, — невольно подхватил Дэвид, — а мужчина, из-за которого они сцепились, стоял тут же дурак дураком...

— Ну что ты, Дэвид! По-моему, он был очень горд и доволен собой, и ему было прелюбопытно, которая его отобьет... А как бы ты себя чувствовал, если бы из-за тебя вздумали выцарапать друг другу глаза... скажем, мы с миссис Тредуэл?

Дэвид не выдержал и засмеялся.

— Как дурак, конечно!

— Не понимаю почему, — возразила Дженни. — Эти женщины доказывают всему свету, что он — настоящий мужчина: уж если они вцепились друг другу в волосы и каждая старается располосовать сопернице лицо и выцарапать глаза, так не ради какого-то ничтожества. Остальные мужчины уважительно держатся в сторонке, словно их тут вовсе и нет, но, конечно, наслаждаются зрелищем. А женщины сбились в кучу, глядят во все глаза и чуть не облизываются, и притом свирепо косятся друг на друга — дескать, смотри и ты, берегись! И воздух насыщен эротикой, как грозовая туча молниями... понимаешь, Дэвид! — воскликнула Дженни, словно разъяснила и доказала ему что-то очень для себя важное. — Видел бы ты эту Ампаро. Она была великолепа. Надо ж было мне проверить — а я так могу?

— Тебе вовсе незачем что-то мне доказывать, Дженни, ангел, — решительно отчеканил Дэвид.

Он взял Дженни под руку, и они отошли к перилам; обоих бросило в жар, они оперлись рядом на борт, прерывисто дыша, не в силах вымолвить ни слова, обоим чудилось — в том месте, где они касаются друг друга плечом, самая плоть их плавится и сливается воедино.

Мимо быстро, деловито, словно и впрямь куда-то спешил, прошагал Дэнни, приветственно махнул им обоим, крикнул оживленно:

— Входим в порт, сегодня вечером входим в порт, мне казначей сказал!

Новость распространилась по кораблю, хотя ничего неожиданного тут не было. Миссис Тредуэл, Баумгартнеры и Лутцы вышли на палубу с биноклями, другие пассажиры

опять и опять просили у кого-нибудь из них бинокль, подолгу рассматривали небо и океан. Кубинские студенты повесили на шею фотоаппараты и маршировали по палубе, они дудели в жестяные свистульки и выкрикивали: «*Argiba España — Mueran los Anti-Cucaracheros!*»¹ — а потом вдруг уселись в углу бара играть в шахматы. Доски объявлений были очищены от несообразной писанины сухопутных крыс, и краткие деловитые сообщения уведомили пассажиров, что на горизонте появилась земля: «Вера» приближается к Санта-Крусу-де-Тенерифе — первому из Канарских островов на пути кораблей, идущих на восток. Затем появились новые листки, скупые и довольно презрительные наставления невеждам, не понимающим морской обстановки и морского языка. Прибытие в порт — рано утром, желающие могут на полдня сойти на берег, отплытие в половине пятого. Сегодня среда, девятое сентября, два дня до полнолуния. Фрау Шмитт прочитала о полнолунии на календаре в одной из гостиных и ни с того ни с сего сказала миссис Тредуэл:

— А первая четверть была в среду второго числа. В тот вечер, когда утонул Эчегарай.

Миссис Тредуэл стояла у стола и перелистывала журнал мод; не поднимая глаз, она рассеянно отозвалась:

— Кажется, это было так давно...

Рик и Рэк совершали обычный обход корабля и очутились в длинном пустом коридоре — никого нет, одна только сумасшедшая старуха с ожерельем, про которое всегда говорят Лола с Ампаро. На ней что-то белое, легкое, а ноги босые. Идет медленно, глаза почти закрыты. Рик прикинулся испуганным.

— Привидение! — сказал он.

На мгновенье глаза близнецов встретились, они схватились за руки, впились друг другу в ладони ногтями и ждали: что сейчас будет? Что бы такое учинить? *Condesa* приближалась медленной, неверной походкой, и оба разом заметили, что ее жемчужное ожерелье расстегнулось, соскользнуло с шеи, зацепилось одним концом за складку шарфа,

¹ Да здравствует Испания — смерть антитараканистам! (*исп.*)

которым она подпоясана, и свисает во всю длину, раскачиваясь взад и вперед при каждом ее шаге. Она не замечала близнецов, пока не подошла совсем близко, а заметив, рассеянно, округло повела рукой, чтобы они дали ей дорогу. Но они не отступили назад и не посторонились, а кинулись ей навстречу и на бегу грубо ее толкнули; Рик оказался ближе, рывком схватил ожерелье и, круто сворачивая вместе с сестрой к выходу на палубу, сунул добычу за пазуху. Чуть не сбитая толчком с ног, *condesa* взялась рукой за горло и тотчас поняла, что они стащили ее жемчуг. Она повернулась и побежала вдогонку, но очень скоро корабль качнуло, и она упала на колени; села и осталась сидеть, держась обеими руками за горло — так ее и нашла горничная. Отвела в каюту и, укладывая в постель, сказала резко, с мужеством отчаяния:

— *Meine Dame*, пускай со мной делают, что хотят, не стану я больше вам прислуживать, вы себя доведете до беды, а скажут, это я виновата.

— Как угодно, — сказала *condesa*. — Но пока что пошлите за казначеем. Эти дети стащили мои жемчуга.

— Когда? Где? — спросила горничная.

— Только что, когда я шла по коридору.

— Вы уж меня простите, *meine Dame*, а только вы нынче свои жемчуга не надевали, их на вас с утра не было. Я заметила, когда просилась ненадолго отлучиться, я еще тогда удивилась. Не было на вас жемчугов, *meine Dame*. Они тут, в каюте, где-нибудь да отыщутся.

— Вечное мое проклятье, — сказала *condesa*, — всю жизнь мне приходится иметь дело с дураками. Подите и приведите казначея. А когда мне понадобится ваше мнение, я вас спрошу.

Эльза гуляла с отцом и матерью и едва успела посторониться, когда на нее налетели Рик и Рэк — они то ли от кого-то удирали, то ли за кем-то гнались, кажется, еще неистовее обычного. Они пытались обогнуть семейство Лутц, но это не вполне удалось: Рик стукнулся о локоть миссис Лутц и попал на тот загадочный нерв, из-за которого все тело пронизывает боль. Миссис Лутц мигом ухватила его за

плечо, в ней взыграли чувства матери и наставницы: малолетних надо держать в строгости.

— Кто-то должен тебя научить вести себя прилично, — сказала она Рику по-испански со своим немецко-мексиканским акцентом. — Для начала попробую я.

Она закатила ему звонкую оплеуху, мальчишка стал отчаянно отбиваться, ожерелье выпало у него из-под рубашки, Рэк подскочила, подхватила ожерелье с полу, взмахнула им. Папаша Лутц хотел было ее поймать, но она увернулась, подбежала к борту, вскарабкалась на перила и кинула жемчуг в воду. Миссис Лутц выпустила Рика, и он догнал сестру у борта.

Маленькая фрау Шмитт бесцельно бродила по кораблю, занятая горестными мыслями о муже, вернее, о его теле — каково-то ему в гробу, глубоко в трюме? — и заметила невдалеке на палубе какую-то суматоху, но, когда увидела близнецов, не стала спрашивать себя, что происходит. Где бы эти сорвиголовы ни появились, там, уж конечно, все вверх дном и жди неприятностей. Быть может, в этом как-то проявляется воля божья, быть может, таковы неисповедимые пути господни. Но что это они кидают за борт? Она прошла мимо семейства Лутц, приветливо поздоровалась, заметила, что они какие-то взволнованные, встрепанные... но здесь, на корабле, фрау Шмитт усвоила великий урок, который давно готовила ей жизнь (хотя она-то никак его не ждала!): надо сидеть тихо, все держать про себя, ни о чем не высказывать своего мнения, молчать о том, что видишь, не повторять того, что слышишь, ни с кем не откровенничать, потому что всем все равно, никому ты не нужна, ни единой душе... так трудно в это поверить!

Уж как твердо она решила не уступать фрау Риттерсдорф — и ничего у нее не вышло. Фрау Риттерсдорф сдвинула ее туалетные принадлежности в сторону и сказала:

— Потрудитесь убрать свои вещи, они мне мешают!

И фрау Шмитт втиснула их в уголок, который только и остался ей на туалетном столике.

Однажды она сказала как могла твердо и решительно:

— Мне не нравится, когда иллюминатор ночью открыт.

— А мне нравится, — сказала фрау Риттерсдорф, и иллюминатор остался открытым.

Итак, фрау Шмитт перевела дух и подумала — интересно, что это близнецы бросили за борт, хотя, впрочем, не все ли ей равно.

Горничная сказала казначею, что его зовет *condesa*. Он пришел, выслушал ее, заметил, что она говорит и держится, точно пьяная, решил, что все это ей померещилось, и послал за доктором. Доктор Шуман поверил ее рассказу и объяснил казначею, что нрав больной ему известен и если уж она что-нибудь выдумывает, то совсем в другом роде. Он посоветовал казначею доложить о краже капитану, тот, несомненно, велит произвести обыск и расследование. Казначей, докладывая капитану, изрядно расстроенному новым происшествием на его корабле, взял на себя смелость прибавить, что, хоть доктор Шуман и поверил этой даме на слово, он, казначей, не верит. Капитан сейчас же распорядился всех поголовно обыскать, возможно, у вора есть на нижней палубе сообщники, а пока что он хотел бы задать несколько вопросов доктору.

— Вы уверены? — спросил доктор свою пациентку. — Дети? В самом деле дети?..

Она взяла его руку в свои, тихонько погладила его пальцы.

— Вы не лучше этого казначея, — сказала она. — Что за вопрос!

— И часто вы вот так встаете и одна бродите по кораблю?

— Всегда, как только уйдет горничная.

— Скажите, — спросил он с тревогой, — что вы будете делать, если жемчуг не найдется?

— У меня остался мой изумруд и еще кое-какая мелочь. — *Condesa* на миг прислонилась лбом ко лбу доктора, потом откачнулась. — Да теперь это все неважно! Я ужасно рада, из-за этой истории вы обо мне думаете, огорчаетесь, вы бы хотели мне помочь, да только не можете. Никто не может! — с торжеством dokonчила она.

Тут за доктором пришел юнга, капитану что-то от него требуется. Доктор Шуман поднялся, поцеловал руку своей пациентки.

— Куда же вы? — горестно воскликнула *condesa*. — Не покидайте меня!

— Я постараюсь помочь капитану разыскать ваше оже-

релье, — сказал доктор Шуман. — И я хотел бы, чтобы вы спокойно сидели тут в каюте, тогда я буду знать, что вы в безопасности. Пожалуйста, сделайте это для меня, хорошо?

— Для вас, — повторила condesa. — Только для вас, и ни для кого другого.

— Вот идет доктор графини, — сказал Лутц. — Давайте-ка спросим его, не хватилась ли она своих жемчугов.

— Только нарвешься на неприятности, — возразила фрау Лутц. — Вечно ты путаешься не в свое дело. Откуда мы знаем, что это жемчуг. Ничего не известно, может, это были самые обыкновенные бусы.

— Застежка была бриллиантовая. И он их прятал за пазухой.

— Откуда ты знаешь, что бриллиантовая? И где еще ему прятать, если не за пазухой?

Лутц тяжело, безнадежно вздохнул.

— Вот что, несчастная моя жена, стой здесь и жди, а я поговорю с доктором Шуманом.

Он напрямик зашагал к доктору, преградил ему дорогу и сказал всего несколько слов. Лицо у того стало очень серьезное, он кивнул и пошел дальше.

Поиски пропавшего жемчуга велись быстро и четко: все четыре каюты испанской бродячей труппы были перевернуты вверх дном, к нескольким подозрительным личностям с нижней палубы, замеченным в безбожии, приставали и придирались до тех пор, покауда они не начали угрюмо огрызаться, даже толстяка с разбитой головой подняли, и он сидел на койке, а трое матросов рылись в наволочке и под тюфяком.

— Чего ищете? — злобно прорычал он.

— Найдем — узнаешь, — ответил один из матросов.

И толстяк бессильно сидел на краю койки и только ругался на чем свет стоит.

Казначей послал за Лолой и Тито, но матросы, обыскивая каюты, выставили оттуда всех испанцев — и труппа явилась к казначею в полном составе, однако он всех, кроме Лолы, Тито, Рика и Рэк, выставил за дверь.

— Это ваши дети? — спросил он без церемоний, переводя взгляд с Лолы на Тито и близнецов.

Брат и сестра стояли тесно плечом к плечу и смотрели на него вызывающе, как звереныши перед лицом опасности. А казначей разглядывал их гадливо и недоверчиво: таких тварей просто не может быть на свете! И однако вот они, стоят и сверкают злыми змеиными глазами. Он снова посмотрел на родителей.

— Ясно, наши, — ответила Лола. — А то чьи же, по-вашему?

— Может, вы сейчас еще пожалеете, что не чьи-нибудь еще, — сказал казначей. И неожиданно рывкнул на Рика и Рэк: — Вы стащили ожерелье у той дамы?

— Нет! — мигом в один голос отозвались близнецы.

— Куда вы его подевали? — все так же громко, свирепо спросил казначей. — Отвечайте, ну!

Они молча на него уставились. Лола ухватила Рика за шиворот и тряхнула.

— Отвечай! — бешено прошипела она.

Казначей заметил, лицо у нее стало изжелта-бледное, даже губы побледнели, казалось, она вот-вот упадет в обморок. Лола не понимала, почему на корабле затеяли обыск. Танцоры, конечно, собирались украсть драгоценности, но только в последнюю минуту, когда *condesa* будет уже сходить на берег или даже сразу, как только сойдет; а теперь паршивые щенки загубили все дело. Казначей-то, может, еще сомневается, может, он просто берет на испуг, надеется врасплох, с налета вырвать признание, но Лола знала: это убийственная правда, Рик и Рэк виноваты, в чем бы он их ни обвинял, и по их милости она едва не выдала перед этим жирным боровом казначеем, до чего перепугалась.

— Иисусе! — благочестиво прошептала она. — Ну погодите, я ж вам!..

Рик сказал звонко, отдельно:

— А мы и не знаем, про что вы говорите!

И Рэк согласно закивала — не старшим, а брату.

— Ладно, мы ими после займемся, — сказал казначей Лоле с Тито. И продолжал вкрадчиво: — Если вы и вправду не знаете, что к чему, я вам расскажу.

И он выложил все, что по клочкам и отрывкам стало известно об этом происшествии: что сказала доктору Шуману *condesa*, что сказали ему сперва сам Лутц, а потом, не слишком охотно, фрау Лутц и даже Эльза: да, Рэк держала в ру-

ках ожерелье, а потом бросила его за борт. Лола с Тито без труда изобразили ужас и отчаяние, сразу же стали уверять, что тут какая-то ошибка, они надеются, что это выяснится — их обвиняют несправедливо; и они торжественно поклялись сами допросить детей и докопаться до истины. Казначей ни на минуту не поверил ни единому слову; оба, конечно, хорошие актеры, но его им не провестить.

— Делайте, что хотите, — холодно сказал он им на прощанье. — А мы будем разбираться по-своему.

Когда Тито и Лола вернулись к себе в каюту, матросы уже ушли, приведя все снова в полный порядок; зато здесь ждали тесной молчаливой компанией Ампаро с Пепе, Маноло с Кончей и Панчо с Пасторой; так же молча все поднялись и подступили к вошедшим; каждый из родителей вел одно свое чадо, крепко ухватив его за плечо. Теперь все жарко дышали друг другу в лицо.

— Что там? — зашептала Ампаро. — Это из-за нас? Студенты говорят — да, а больше никто нам ничего не сказал.

— Уйдите с дороги, — сказала Лола. — Отстаньте от меня.

Она протолкалась в каюту, села на край дивана и стиснула Рика между колен. Тито стал рядом, не выпуская Рэк.

— Ну, говори, — сказала Лола, крепче зажала сына коленями, взяла его за руки и начала упорно, безжалостно, как тисками, сжимать по очереди кончик каждого пальца; мальчишка корчился и наконец взвыл от боли, но мать сказала только:

— Говори, а то я тебе совсем ногти пообломаю, я тебе под них булавки загоню! Я тебе все зубы повыдеру!

Рэк забилась в руках у Тито, бессвязно завопила, но ни в чем не сознавалась. Лола начала большим и указательным пальцами выворачивать Рику веки, и он вопил уже не от боли, а от ужаса.

— Я у тебя глаза вырву, — сказала она.

И Маноло негромко, хрипло прокаркал:

— Вот-вот, взгрей его, спуску не давай!

Остальным тоже не сиделось на месте, и они снова и снова беспокойным отрывистым эхом твердили — продол-

жай, мол, не давай ему спуска, вытяни из него всю правду!

Наконец Рик обмяк в коленях матери, голова его бес- сильно откинулась, задыхаясь, давясь слезами, он выкрик- нул:

— Вы ж говорили, это просто бусы, стекляшки, не стоит с ними канителиться! Просто бусы!

Лола тотчас его выпустила, закатали напоследок затре- щину и в бешенстве поднялась.

— Вот болван! — сказала она. — И чего мы с ним нян- чимся? Оставлю тебя в Виго и подыхай с голоду!

Тут Рэк завизжала и стала рваться из рук Тито; потеряв терпенье, он начал дубасить ее кулаком по голове, по пле- чам, но она все кричала:

— И меня! И меня оставь! Не поеду с вами... останусь в Виго... Рик, Рик! — верещала она, точно кролик в зубах у хорька. — Рик, Рик!..

Тито выпустил ее и обратил свое отеческое внимание на Рика. Ухватил правую руку чуть выше кисти и начал очень медленно, старательно выворачивать, так что под конец едва не вывихнул плечо; с протяжным воплем Рик рухнул на колени; наконец страшные клещи разжались, и он уже только по-щенячьи скулил, затихая. Рэк, которая съежи- лась на диване, оглядывая и ощупывая свои синяки и ссади- ны, опять захныкала с ним заодно. А Маноло, Пепе, Тито, Панчо, Лола, Конча, Пастора и Ампаро с плохо скрытым угрюмым страхом на лицах пошли обсуждать во всех под- робностях злосчастный поворот событий: скупно перекину- лись словами, обменялись многозначительными кивками и порешили, что самое лучшее — выпить в баре кофе, пойти, как обычно, пообедать, а потом устроить на палубе репети- цию. Все были взвинчены, вот-вот вцепятся друг другу в глотку. Выходя из каюты, Лола чуть замешкалась — ровно настолько, чтобы ухватить Рэк за волосы и трясти, пока та со страху не перестанет плакать. А когда все вышли, Рик и Рэк в поисках убежища вскарабкались на верхнюю койку — и полуголые, сбившись в один непонятный клубок, точно какое-то несчастное уродливое маленькое чудовище в бер- логое, затихли измученные, без сил, без мыслей, и скоро ус- нули.

ПРИЧАЛЫ

»... Ибо не имеем
здесь постоянного
града, но ищем будущего.«
(Апостол Павел)



Часть III

Поздним вечером, когда последние отблески солнечного света еще отражались бледной зеленью и золотом в воде и в небесах, пассажиры, которые весь день томительно слонялись по палубе и напрасно вглядывались в горизонт, дождались награды: вдали завиднелся Тенерифе, из серых вод темным зубчатым утесом, неприступной скалистой твердой возник остров-крепость, подножье его окутывала дымка, над ним лиловым пологом нависли низкие тучи.

Дэвид с Дженни долго молча стояли рядом, облокотясь на перила, и теперь он заговорил негромко, будто боялся спугнуть умиротворенность, что наполняла в эти минуты обоих. Дженни поразило его лицо, никогда еще она не видела его таким довольным и сияющим.

— Вот такой, по-моему, и должна быть Испания, — сказал он, — Вот край мне по душе. Толедо, Авила, но не Севилья. Апельсиновые рощи, кастаньеты и кружевные мантильи не для меня.

— В Испании и этого вдоволь, кому что нравится, — ласково сказала Дженни, — но, конечно, Дэвид, лапочка, это не для тебя. Другое дело — гранит и песок, лица из самой прочной испанской кожи, горький хлеб, кривые и корявые стволы олив... край, где даже младенцы до того крепки, что не нуждаются в пеленках. Я знаю, для тебя это и есть рай — ведь правда?

— Да, — решительно подтвердил Дэвид. — Мне нужно что-то крепкое и величественное — толедская сталь и гранит, кожа испанской выделки, испанская гордость, и ненависть, и жестокость — испанцы единственный народ на свете, который умеет возвысить жестокость до искусства... Меня тошнит от всего расплывчатого, от киселя...

— Неужели нет середины между киселем и сталью? — спросила Дженни и сама услышала, как печально звучит ее голос, но понадеялась: может быть, Дэвид не заметит. — Могу ручаться чем угодно, пальмы и цветы найдутся даже на Тенерифе, и немало влюбленных, и в лунные ночи парни поют девушкам серенады совсем как в Мексике — тебе это будет очень противно!

Дэвид не сказал больше ни слова, только вскинул на нее голубые глаза, которые она так любила, и она сразу успокоилась: ведь сколько бы они ни ссорились, она все равно готова примириться с ним на любых условиях, да, конечно,

лишь бы только понять, чего же он хочет.

Навстречу прилетели чайки, с неистовыми криками они кружили над кораблем, сильно взмахивали жесткими, точно жестяными, крыльями, круто, как на шарнирах, поворачивали деревянные головы, строго осматривая пассажиров, камнем падали до самой воды и подхватывали отбросы, выкинутые из камбуза.

— Везде и всюду одно и то же, — сказал, проходя мимо, Лутц. — Все ищут, чего бы съесть, и не разбирают, откуда еда берется.

— Вот с кем приятно будет распротиться, — с надеждой прошептала Дженни.

Поутру машины трижды глухо ухнули и остановились. Дженни выглянула в иллюминатор — и вот он, Тенерифе, и впрямь зубчатая скалистая гряда, поросшая редкими пальмами, сплошь окутанная бугенвиллеей, и на крутых склонах, на каменных уступах, точно высеченных резцом, тесно лепятся над обрывами приземистые квадратные домики Санта-Круса. На причале, на широком отлогом берегу собрались гурьбой портовые грузчики и ждали, не слишком надеясь на работу. В их толпу вошли двое полицейских, размахивая руками, начали оттеснять людей вправо и влево и расчистили посередине широкий проход. Дженни услышала, как загремела цепь: отдали якорь. Когда она вышла на палубу, спускали трап. Чуть не все пассажиры были уже здесь и почти все, готовясь сойти на берег, нарядились как на праздник. Раздался горн к завтраку, но от борта почти никто не отошел; и тогда хриплый голос (вероятно, казначеев) принялся орать в рупор мудрые наставления:

— Пассажиров первого класса убедительно просят пройти в кают-компанию, завтрак на столе. Во всяком случае, дамы и господа из первого класса, просим вас очистить палубу: сейчас через верхнюю палубу начнется выгрузка пассажиров третьего класса. Внимание! Пассажиров первого класса убедительно просят...

Зрители нехотя стали отходить от борта; Дженни увидела среди них Дэвида и шагнула было к нему, но ее перехватил Вильгельм Фрейтаг — протянул руку, мягко преграждая ей путь.

— Тут есть на что посмотреть, — сказал он. — Кому сейчас охота завтракать?

Дэвиду охота, подумала Дженни и поглядела вслед: вот он и скрылся из виду.

— Пойдемте сюда. — Фрейтаг взял ее за локоть. — Тут мы увидим, как они двинутся.

Пассажиры, которым предстояло сойти на берег, плотной толпой теснились на нижней палубе у подножья крутого железного трапа; они взвалили на плечи свои пожитки в разбухших узлах, на узлы посадили детишек поменьше; все лица запрокинуты кверху в ожидании: вот сейчас дан будет знак, что можно подняться на простор верхней палубы, прозвучит долгожданное слово и позволено будет спуститься по сходням и вновь ступить на родную землю. Каждое лицо по-своему отражало тайную надежду, тревожную радость, безмерное волнение; каждый подался всем телом вперед, всем существом тянулся вверх — и ни слова, ни движения, только дыханье толпы сливалось как бы в чуть слышный стон да ощущалась в ней дрожь еле сдерживаемого напряжения. Невысокий молодой парень с грубоватым добродушным лицом, отливающими синевой после бритья щеками и спутанной гривой черных волос вдруг неудержимо кинулся вверх по трапу, подбежал к борту, упористо расставил босые ступни на досках палубы, и взор его птицей полетел к селениям и городишкам, что расположились на каменистом подножье острова и взбирались по его склонам. Юноша самозабвенно улыбался, круглые простые глаза его были полны слез. Вильгельм Фрейтаг посмотрел на него с завистью — как же он счастлив, что вернулся домой! Дженни сказала:

— Наверно, это чудесно — плакать от радости!

И в эту самую минуту молодой помощник капитана, возмущенный таким нарушением порядка, ринулся к счастливцу, словно готовый его ударить, но остановился в двух шагах и заорал во все горло:

— Эй ты, убирайся вниз!

А тот не слышал крика.

— Убирайся вниз! — в непростой бешенстве взревел моряк, он весь побагровел и до неузнаваемости коверкал испанские слова.

Миссис Тредуэл, направляясь в кают-компанию завтра-

кать, приостановилась и не без любопытства посмотрела на моряка. Да, несомненно, тот самый, что танцевал с нею и щеголял безупречными манерами воспитаннейшего человека. Она прошла дальше, чуть приподняв одну бровь. Юноша у борта заморгал, он наконец услышал крик, понял и обернулся к взбешенному начальству все с той же улыбкой, полной нежности, блестя глазами, полными слез, и по-прежнему улыбаясь, размахивая узелком с пожитками, кротко, без обиды, точно пес, спустился по трапу и влился в толпу. Не успел он опять обернуться, как сердитый помощник капитана нагнулся и заорал вниз замершим в ожидании людям:

— Давайте поднимайтесь, вы, там, поживей, сходите с корабля! Да не толпитесь, по трое в ряд, живей, живей!

Так он без умолку бранился и понукал, а внизу несколько матросов подгоняли и направляли толпу.

Юноша, которого только что прогнали от борта, первым мгновенно рванулся вперед и повел за собой остальных. Им пришлось по душе его храбрость, они и сами приободрились. И вот они карабкаются наверх, спотыкаются, добродушно, играючи подталкивают друг друга, громко смеются, перебрасываются шутками — голоса звучат вольно, люди уже не угнетены, не запуганы, они возвратились домой после долгого изгнания, к давно знакомым заботам, здесь родина, и здесь твоя жизнь и смерть — дело твое, а не чужих. И неважно, что там вопит, по-дурацки коверкая испанские слова, багровый от злости человек: как бы он ни кипятился, что бы ни сказал на любом языке — им уже все равно, они спешат поскорей сойти на берег. Оборачиваются и выкрикивают слова благословения и прощания тем, кто еще остается на корабле, — а те разделяют их радость и ободряюще кричат в ответ.

Медленно поднялись на палубу семь женщин, у которых за время плаванья родились дети; они шли все вместе, прижимая к груди туго запеленутых младенцев; иных поддерживали мужья, другие опирались на руки подруг. Все роженницы — бледные, вялые, у некоторых на лбу и щеках бурые пятна, дряблые животы обвисли, выцветшие платья на груди в потеках от молока. За их юбки крепко уцепились дети постарше — печальные глаза их смотрят сиротливо, потерянно. Мальчишка лет двенадцати, выйдя наверх,

сверкнул ослепительной улыбкой, обернулся — и увидел матерей с младенцами.

— Олè, олè! — выкрикнул он и помахал в воздухе сжатым кулаком. — Нашего полку прибыло!

Одна из матерей подняла голову — лицо темное, измученное, но крикнула она с торжеством:

— Да, прибыло, и все до одного — мужчины!

Дружный веселый хохот прокатился по толпе. Шумной приливной волной она захлестнула верхнюю палубу, разлилась, оттеснила командующих высадкой моряков и глазющих пассажиров к поручням, заставила отступить к дверям — и в полном порядке, сужаясь ручейком, заструилась по сходням, потекла на берег; никто не бросил прощального взгляда на корабль. Тот помощник капитана, что командовал высадкой, отвернулся, судорожно сморщился, будто одолевая тошноту. И встретился глазами с доктором Шуманом, который шел проститься со своей больной и помочь ей в сборах: *condesa* тоже должна была сойти на берег.

— Фу, до чего они воняют, — сказал сердитый помощник капитана. — И плодятся, как... как клопы!

Доктор Шуман промолчал, молодой моряк истолковал его рассеянный взгляд как сочувственный и немного успокоился. Доктор смотрел, как два матроса под руки ведут наверх толстяка с разбитой головой. На толстяке та же темно-красная рубаха, в которой он сидел на корабль в Веракрусе, но он еле передвигает ноги и тяжело виснет на руках матросов. Доктор Шуман только недавно спускался к нему на нижнюю палубу, осмотрел и перевязал его заново, рана отлично заживает. Толстяк, несомненно, поправится и еще немало набаламутит. Проходя мимо, он из-под толстого слоя бинтов, точно из-под шлема, в упор посмотрел на доктора, но как будто не узнал его.

Доктор Шуман взялся за дверную ручку, и собственная рука удивила его — совсем бескровная, еле заметно просвечивает зеленоватый узор вен. До чего же он ослаб и устал, надо было пойти выпить кофе. *Condessa*, уже совсем одетая, даже в розовой бархатной шляпке, со спущенной на лицо короткой и редкой черной вуалью, лежала навзничь, будто позируя для изваяния на надгробной плите, тонкие щико-

лотки скрещены, дорожная сумочка через плечо, в левой руке пара коротких белых кожаных перчаток. Она слегка повернула голову и улыбнулась доктору. Горничная (она давно уже по-своему оценила странные отношения этих двоих — а еще старики, могли бы вести себя и поумнее, в такие-то годы!) почтительно поклонилась доктору, поспешно закрыла маленький саквояж, куда укладывала последние вещи, и тотчас вышла. Остальной багаж графини уже вынесли, свет погасили, каюта была совсем пустая, серая и унылая.

Доктор Шуман остановился возле постели, и такое у него было серьезное, удрученное и озабоченное лицо, что *condesa* чуть отстранилась, веки ее дрогнули и голос зазвучал испуганно:

— Они пришли за мной?

— Да, они уже здесь. Подождите, послушайте. Капитан и я расспросили их, выяснили, как им велено с вами поступить. У них есть приказ. Они вас не тронут, даже не подойдут к вам. Они должны только ждать внизу у сходней — и не оглядывайтесь, вам вовсе незачем их видеть, их дело удостовериться, что вы сошли на берег и останетесь на острове, когда корабль снова отчалит...

— Когда корабль снова отчалит, — повторила *condesa*. — Подумать только, все-таки для меня это плаванье кончится.

— Вам совершенно нечего бояться, — сказал доктор и взял ее за руку, нащупывая пульс.

Он и сейчас гнал от себя сомнения: быть может, он с самого начала обращался с нею неправильно — словно кому-то хоть когда-нибудь дается уверенность в своей правоте! — но ведь иного выхода не было.

Condesa отдернула руку.

— Что теперь за важность, какой пульс? — сказала она. — Со всем этим тоже покончено. Вам легко говорить, чтобы я не боялась, вы-то возвращаетесь на родину! А меня ждет тюрьма. Можете не сомневаться, как только я попаду к ним в руки, они засадят меня совсем одну в какую-нибудь гнусную мрачную дыру.

Доктор Шуман присел на край постели и крепко сжал руку своей пациентки.

— Вы не попадете в тюрьму, разве что тюрьмой для вас

будет весь остров, — сказал он. — А это прекрасный остров, и вы можете жить где захотите и как захотите.

— Как захочу? — это не прозвучало вопросом. — Совсем одна? Без друзей? Без единого *centavito*¹? Без моих детей? Я даже не знаю, где они! И разве они теперь смогут когда-нибудь меня разыскать? Друг мой, неужели вы совсем помешались на благочестии, на добродетели и уже не способны чувствовать по-человечески? Как вы могли забыть, что значит страдать?

— Подождите, — сказал доктор. — Подождите.

Он достал шприц и ампулу и начал старательно готовить новый укол. *Condesa* следила за его движениями вялым, медлительным взглядом без всегдашнего живого лукавства. Молча села, сняла жакет, расстегнула манжету блузки, медленно закатала рукав и коротко, сквозь зубы втянула воздух, когда игла впилась в руку.

— Ох, как мне этого будет не хватать! Что я буду делать без моего лекарства?

— Когда оно будет вам по-настоящему нужно, вы его получите, — успокоил доктор Шуман. — Я даю вам рецепт и особо — записку для врача, которого вы для себя найдете. Думаю, любой врач с нею посчитается. Едва ли допустят, чтобы вы страдали.

Condesa сжала его руку в своих, спросила с мольбой:

— Ну почему вы не хотите мне сказать, что это за лекарство? А лучше дайте мне его, я сама буду себе колоть... я умею обращаться со шприцем.

— Не сомневаюсь, — сказал доктор Шуман, — но этого я сделать не могу. Вы слишком безрассудны, на вас нельзя положиться, вы мне сами это говорили — помните?

— Так ведь когда это было! — весело воскликнула *condesa*, надевая жакет. — Я стала совсем другая, сами видите — ваш хороший пример заразителен! — Она спустила ноги с кровати и села рядом с доктором. — Хочу вас кое о чем спросить. Вы же знаете, мы больше никогда не увидимся. Так почему бы нам не поговорить, как будто мы друзья или даже любовники или как будто мы снова встретились уже в загробной жизни. Нет, правда, давайте сделаем вид, будто мы — безгрешные души с крылышками и встрети-

¹ Гроша (*исп.*).

лись в раю после долгого-долгого пребывания в чистилище!

— Но ведь вы мне говорили, что не верите в загробную жизнь, а в души и в рай и того меньше, — с улыбкой возразил доктор Шуман.

— Ну, не верю — какая разница? Все равно мы там встретимся. Но почему бы вам сейчас не ответить на мой вопрос?

Она наклонилась к нему так близко, что он ощутил ее легкое дыхание, и спросила совсем просто, без особого волнения:

— Правда, что вы вчера поздно ночью пришли и поцеловали меня? Правда? Обняли, приподняли с подушки и сказали: ты — моя любовь? Сказали: спи, любовь моя, — это правда? Или мне приснилось? Скажите...

Доктор Шуман повернулся, горячо обнял ее, склонил голову ей на плечо и притянул к себе, так что щека ее коснулась его щеки.

— Да-да, все это было, — простонал он. — Я приходил, родная.

— Но почему, почему тогда, когда я не могла разобратъ, сон это или явь? Почему вы ни разу не поцеловали меня, когда я знала бы наверняка, когда я была бы от этого счастлива?

— Нет, нет, — сказал доктор.

Он поднял голову и опять обнял ее. Condesa начала слегка покачиваться из стороны в сторону, словно баюкала младенца; потом мягко высвободилась, положила руки ему на плечи и немного отстранилась.

— Стало быть, мне только приснилось... а знаете ли вы, что это значит — это пришло так поздно, так странно, не удивительно, что я никак не могла понять. Это и есть чистая романтическая любовь, она так нужна была мне в мои далекие девичьи годы. Но никто не любил меня чистой, невинной любовью, а если бы и полюбил, я бы уж так его высмеяла!.. И вот что с нами случилось. Невинная любовь — самая мучительная, правда?

— Моя любовь к вам не невинная, а греховная, — сказал доктор Шуман, — вам я причинил много вреда, а свою жизнь загубил...

— А моя жизнь давным-давно загублена, — сказала Condesa. — Я уже забыла, какая она была до того. Так что из-за

меня можете не казнить. И не думайте, что я буду спать на голом полу и питаться только хлебом и водой, этого не будет... это не в моем стиле. Мне это не идет. Какой-нибудь выход я найду. А теперь... теперь, любовь моя, поцелуемся по-настоящему, средь бела дня, и пожелаем друг другу всего доброго: пора прощаться.

— Смерть, смерть, — сказал доктор Шуман словно бы кому-то, стоящему рядом, чья черная тень упала на них обоих. — Смерть, — повторил он и со страхом почувствовал: сердце вот-вот разорвется.

— Ну конечно, смерть, — согласилась *condesa*, будто снисходя к его прихоти, — но это еще не сейчас!

Они не поцеловались, *condesa* лишь взяла его руку и на минуту прижалась к ней щекою. Доктора била дрожь, с трудом он написал обещанный рецепт и записку. Открыл ее сумочку и вложил туда обе бумажки. Больше не сказано было ни слова. Он проводил ее до сходней, подал ей маленький саквояж. *Condesa* так и не подняла глаз. Он смотрел ей вслед, видел, как она села на пристани в элегантную белую коляску, в которую заложена была отнюдь не элегантная мохнатая лошаденка; и сейчас же какие-то двое, с виду серенькие, неприметные, наняли первого попавшегося извозчика и, дав белой коляске немного отъехать, неторопливо покатили следом.

— Какие у вас планы? — спросил Фрейтаг. Они с Дженни задержались у сходней, по которым гуськом, вприкочку спускались студенты и хором во все горло распевали «Кукарачу».

— До чего надоедливый народ! — сказала про крикунов Дженни. — Нет у меня никаких планов. Я жду Дэвида.

— Тогда я пошел, — беспечно сказал Фрейтаг. — Может, потом встретимся где-нибудь на острове, выпьем все вместе.

— Может быть.

Дженни посмотрела ему вслед — прямая осанка, размашистая мужественная походка, ни дать ни взять красавец актер на роли героев — едва выйдет на сцену, сразу всех затмит. Он ловко свернул, пропуская встречных; вверх по сходням брели гурьбой довольно оборванные и грязноватые

люди — мужчины, женщины, двое или трое детей — продавать пассажирам всякую всячину: куски шелка и полотно, какие-то мелкие корявые вещички, на которые и смотреть-то не стоило. Очень смуглая молодая цыганка шагнула к Дженни с таким видом, будто давно ее разыскивала, чтобы сообщить добрую весть.

— Стой! — сказала она по-испански. — Такое тебе скажу, удивишься.

Она подошла совсем близко, на Дженни пахло перцем и чесноком от ее дыхания, звериным запахом немытого тела, чем-то затхлым — от широченных цветастых красно-оранжевых юбок. Она взяла руку Дженни, повернула ладонью кверху.

— Куда едешь — та страна не для тебя, и мужчина с тобой неподходящий. Но скоро приедешь в страну тебе по сердцу, и мужчину найдешь, какой тебе сужден. Не горюй, будет еще у тебя счастливая любовь! Позолоти ручку!

Она крепко держала Дженни за руку, глядела колючими нахальными глазами и улыбалась, не разжимая зубов, будто скалилась.

— Поди прочь, цыганка, — сказала Дженни по-английски. — Ты слишком мало знаешь. У тебя ограниченный умишко. Не хочу я никакого другого мужчины, от одной мысли жуть берет. Предпочитаю старую мороку, она хоть привычна. У меня в жизни еще много всего будет такого, что в сто раз интересней любого мужчины, — с глубочайшей серьезностью заверила она цыганку, — вот про это я бы с удовольствием послушала!

Гадалка все не выпускала руку Дженни, не желала уйти, не получив монету. Но теперь уже Дженни повернула цыганкину руку ладонью вверх и внимательно ее изучала. И заговорила на сей раз по-испански:

— А вот у тебя впереди дальняя дорога, и встретишь ты дурного человека...

Цыганка вырвала руку и отшатнулась.

— Ты чего мне наговорила? — спросила она в бешенстве.

— Предсказала судьбу, — ответила Дженни по-испански. — Даром. Ты родилась счастливой. — И вложила ей в руку бумажный доллар.

— Valgame Dios ¹, — с неожиданной кротостью сказала цыганка и перекрестилась. Смуглые пальцы стиснули бу-мажку — и мгновенно лицо преобразилось, вспыхнуло без-мерным презрением, торжеством, свирепая ненависть искривила губы, под налетом грязи проступила бледность. Цыганка круто повернулась, взмахнула юбками так, что разлетелись несчетные оборки, и через плечо бросила сло-во, которого Дженни не поняла бы, если бы не тон и выра-жение цыганкина лица. И Дженни по-испански отчетливо, звонко и вполне уверенно откликнулась:

— От такой слышу!

— Ты в самом деле поняла, как она тебя обозвала? — спросил Дэвид, он вдруг возник рядом, точно некий дух из пустоты.

— Уж конечно, как-нибудь метко, не в бровь, а в глаз, — сказала Дженни. — Но я ей отплатила тем же.

— А ты не можешь не ругаться с цыганками? — спросил Дэвид без малейшего любопытства. — И что же, выучилась у нее чему-нибудь новенькому?

— Поживем — увидим, — весело отвечала Дженни. — И не суй нос не в свое дело.

В гробовом молчании они спустились по сходням вслед за Гуттенами с Деткой, а за ними, чуть не по пятам, шли Эльза с родителями и чета Баумгартнер с Гансом. Фрейтага уже не было видно; миссис Тредуэл, в черной шляпе с широ-чайшими полями и ни больше ни меньше как с кружевным зонтиком, села во вторую ожидавшую на пристани коляску, и та унесла ее, казалось, навсегда. Студенты взгромозди-лись в экипаж более вместительный, из него во все стороны торчали их руки и ноги, высовывались тесно сдвинутые го-ловы, и все это походило на крикливый птичий выводок в гнезде.

Танцоры-испанцы сошли на берег тесной гурьбой, в не-обычном молчании, не глядя по сторонам, лица у всех замк-нутые, суровые. Рик и Рэк, все еще изрядно помятые, угрюмо плелись сзади. На всех женщинах — черные шелко-вые, расшитые цветами шали с длинной бахромой, на детях

¹ Господи помилуй (*исп.*).

короткие курточки с большими карманами, на мужчинах впервые за все время плавания самые обыкновенные полотняные костюмы, только уж слишком в обтяжку. И все они без малейших усилий кого угодно испугают своим разбойничьим видом. Сойдя на пристань, они сомкнули ряды и зашагали по мостовой в город так быстро и решительно, словно опаздывали на деловое свидание.

Хансен и Дэнни так заспешили, стараясь не упустить танцоров (у каждого были на то свои причины), что даже столкнулись на сходах.

— Они удирают, — зло и растерянно сказал Дэнни, пытаясь опередить Хансена.

Но Хансен, черный как туча, грубо оттолкнул его плечом, обгоняя, рывкнул:

— А ваше какое дело? Идут, куда хотят, вас не спросили!

«Зря бесишься, дубина долговязая», — подумал Дэнни, а вслух сказал:

— Бьюсь об заклад, отправились на разбой, — но больше не пытался пройти первым. Верзила швед наверняка охоч до драки, во всяком случае, сейчас с ним лучше не связываться.

Хансен надеялся отозвать Пастору от ее компании, но испанцы далеко опередили беспорядочную толпу, уходящую с пристани, а к тому времени, когда Дэнни и Хансен добрались до берега, они уже и вовсе скрылись из глаз.

Пассажиры третьего класса, которым еще предстояло плыть до Виго, теснились у борта и, облокотясь на перила, внимательно, но без зависти, следили за своими недавними спутниками — за теми явились на пристань какие-то чиновники, согнали в кучу, точно стадо, и пересчитывали заново. На верхней палубе Иоганн подкатил дядю поближе к сходам, прислонил его кресло к перилам, а сам, шурясь, с бьющимся сердцем вглядывался в стройные фигурки, окутанные черными шальями, — они удаляются, грациозно покачиваясь, и уже не узнать, которая из них Конча. Из груди Иоганна вырвался тяжкий вздох, полный такого отчаяния, что старик Графф встrepенулся.

— Что с тобой, милый мальчик? — спросил он. — У тебя что-нибудь болит?

Иоганн с досадой пнул ближайшее колесо, большого

тряхнуло в кресле, он поморщился, громко застонал, оглянувшись, точно хотел призвать какого-нибудь случайного прохожего в свидетели жестокости бессовестного племянника. Иоганн тоже огляделся по сторонам, сказал негромко:

— Не твое дело.

Обоим стало не по себе от тишины, что здесь, в гавани, воцарилась на почти опустевшем корабле, — словно рухнула ограда, за которой они чувствовали себя в безопасности. Тут подле них остановился доктор Шуман — заложив руки за спину, он медленно, неохотно, чуть ли не со страхом шел к себе в каюту.

— Сегодня утром вы прекрасно выглядите, — сказал он Граффу. — Надеюсь, это плавание доставляет вам удовольствие.

— В душе моей мир, где бы я ни был, — не слишком приветливо заверил его старик. — А в море я или на суше — неважно.

— Ваше счастье, — любезно сказал доктор. — Вам можно позавидовать.

— На все милость господня, — сказал Графф, он сильно недолюбливал всех врачей и лекарей на свете, ибо видел в них конкурентов, по некоему внушению свыше понимал: они стоят ему поперек дороги, не дают, исполняя волю божью, свободно исцелять души и тела. — Что толку во всех ваших лекарствах, если недужна душа?

— В этом, быть может, самая уязвимая сторона медицины и лекарств. Лично я стараюсь делать то, что в силах человеческих, а остальное вверяю Господу Богу, — кротко заметил доктор Шуман.

Ибо он всегда отвечал уважительно даже людям с помраченным рассудком и самыми дикими заблуждениями; а в этот час мучительное сознание собственной вины медленно затягивало его в пучину, где бессильно барахтается несчетное множество людей, в пучину жалости ко всем страждущим, столь темную и полную смятения, что уже не отличить, кто на кого посягнул, кто над кем вершит насилие, кто угнетен, а кто угнетатель, кто любит, а кто ненавидит, или издевается, или равнодушен. Все исполинское здание, которому двойной опорой служат справедливость и любовь — два нераздельных столпа, возносящихся от земли в вечность, по ним душа человеческая ступень за ступенью

поднялась от простейших понятий о добре и зле, от обыденных правил, принятых в обиходе меж людьми, к тончайшим, еле уловимым различиям и оттенкам в чувствах и верованиях, учениях и таинствах, — вся эта величественная башня рушилась вокруг доктора и рассыпалась в прах в минуты, когда он стоял подле маленького умирающего фанатика и тот смотрел на него со снисходительной насмешкой на иссохшем личике.

Чудеса творятся мгновенно, их не вызовешь по своей воле, они совершаются сами собой, обычно в самые неподходящие минуты и с теми, кто их меньше всего ждет. Однако порой они избирают престранных посредников — так, чудо, которое спасло доктора Шумана, совершилось через весьма земной и прозаический взгляд господина Граффа: взгляд его явственно говорил, что доктор просто жалкое ничтожество, невежда и плохой христианин, — и стрела эта без промаха попала прямо в цель. Доктор содрогнулся, точно душу его поразила молния, вмиг рассеялись мгlistые испарения чувств, что окутывали его густым туманом, и перед ним предстала истина, пронзила болью почти невыносимой, но знакомой, такую боль он признает безоговорочно и сумеет с нею справиться. Итак, когда он в последнее время поддавался чувствительности и учинил чудовищную, преступную жестокость, это был лишь признак нравственного падения: он не желал сознаться себе, что вредил своей больной, он воспользовался тем, что *condesa* была на положении узницы, он мучил ее своей грешной любовью — и притом лишил ее, да и себя, всех человеческих радостей, какие могла бы им дать эта любовь. И он предоставил бедной женщине уйти без малейшей надежды, ни намеком не пообещал в будущем ни помощи, ни избавления. Ну и трус, ну и негодяй, холодно сказал себе доктор Шуман, омытый разоблачающим светом Граффово презрения, но не только же, не до конца же он трус и негодяй, если сам не пожелает на том и успокоиться!

Он приветливо пожелал Граффу на прощанье доброго утра, развеяв тем самым нависшее над ним ядовитое облако, чреватое богословским спором, и прошел в одну из маленьких гостиных; написал короткое письмо к своей недавней пациентке и вручил казначею — тот уж сумеет найти подходящего человека из полицейских, чтобы передать его

по адресу. Доктор Шуман выражает графине свое почтение, прилагает адрес своего врачебного кабинета в родном городе, свой номер телефона, адрес отделения Международного Красного Креста в Женеве и убедительно просит графиню немедленно написать ему и сообщить, по какому адресу следует посылать письма, чтобы в любое время ее разыскать. Он, доктор Шуман, желает знать о ее самочувствии и надеется получить ответ еще до отплытия корабля, которое назначено на четыре часа дня. Он остается ее, графини, верным и преданным слугою — следует подпись. Затем доктор Шуман заглянул в судовой лазарет, там были только два матроса, но оба уже, можно считать, поправились, и пошел в обход по нижней палубе — здесь у одного новорожденного слегка воспалился пупок, возможно заражение. Промыть, смазать, перевязать — на это ушло несколько минут, но вот все сделано, а впереди еще долгий день, и как его убить — неизвестно. Доктор медленно зашагал по верхней палубе, с некоторым облегчением заметил, что старика Граффа и его злющего племянника больше не видно; однако он уже устал ходить взад и вперед. Наконец он сдался и пошел к себе в каюту отдыхать. И вот он лежит, по привычке, точно надгробная статуя раннего средневековья, скрещены ноги в щиколотках, руки крест-накрест на груди, и противоестественная влюбленность его начинает меркнуть, а вместе с тем рассеивается и недоверие и ненависть к недавней любви... все это был просто какой-то долгий сон наяву. Жаркой волной захлестнула и душу, и тело доктора горькая жалость к несчастной, обреченной женщине, которой, может быть, ни он и ни один человек на свете уже не в силах помочь, — и волна эта принесла с собою исцеление. Какая нелепость — говорить «обречен» о том, кто еще жив, нельзя этого знать до последнего дыхания! Неторопливо, отчетливо, прочно складывался у него простой, разумный, безукоризненно практичный план: он искупит содеянное зло; он позаботится, чтобы она ни в чем не нуждалась, будет у нее и уход, и защита, и необходимое лечение; за ней надо присматривать, оберегать и спасти от ее самоубийственного романтического безумия. И ничего в этом не будет предосудительного — простое милосердие, тут и объяснять нечего, все это можно обеспечить на расстоянии, и жене вовсе незачем об этом знать. О жене подумалось с привычной нежно-

стью — ему так близки и ее неизменная сила, и неожиданные, всегда изменчивые слабости и капризы. Жена — вот средоточие, основа и смысл его семьи, вокруг нее росла и складывалась его жизнь, точно некий живой организм; что бы там ни было, а ее нельзя тревожить. Зло, которое он причинил, он искупит молча, и это тоже станет ему наказанием... Доктор Шуман блаженно засыпал, утешенный, умиротворенный божественным наркотиком надежды и успокоенной совестью.

Проснулся он от знакомой суматохи, скрипа, грохота, криков, от качки и тряски — старуха «Вера» опять пускалась в путь, и доктор Шуман несколько минут лежал, забавляясь этой нелепостью: так смешотворно соединились в его жизни совсем домашняя привычная неразбериха и суровые корабельные порядки на этой старой посудине, где, право же, может стрястись все что угодно. Сон освежил доктора, на душе стало легко и отрадно, губы вновь и вновь трогала невольная улыбка. Он поглядел в иллюминатор — остров Тенерифе остался позади, его уже окутала дымка дали, редкие огни мигали, словно свечи на рождественской елке. Там его любимая, теперь она уже знает, что она не одинока, не покинута, не брошена на произвол судьбы, — милая заблудшая душа, с ней ни минуты не следовало обращаться сурово. Теперь ему станет спокойнее, хорошо знать, что она пробудет там, на острове, недолго, только пока он не найдет способа ее освободить; но почему стюард до сих пор не принес ему ответа на письмо? Надо пойти наверх. Да и горн уже зовет обедать, в отсутствие капитана доктору Шуману всегда следует выходить к столу. По дороге он заглянул к казначею за ответом на свое письмо. Казначей, конечно, уже отправился обедать, но все сведения передал своему молодому помощнику. И помощник, стоя перед доктором Шуманом навытяжку, старательно доложил: полицейский агент отдал письмо доктора госпоже графине. Она тут же, при нем прочитала письмо, и агент сказал, что он охотно подождет ответа.

Доктор шагнул вперед и протянул руку ладонью вверх.

— Где же ответ? — спросил он, и голос его прервался.

— Сэр, — отчеканил помощник казначея, словно повторяя затверженный урок, — госпожа графиня поблагодарила агента и сказала, что ответа не будет.

— Дэвид, лапочка, давай опять станем туристами, — предложила Дженни и тут же воскликнула в восторге: — Смотри, смотри, тут столько всякого, мы такого еще не видели!

— Например? — лениво спросил Дэвид, не поворачивая головы. — Что тут нового? Пальмы? Ослики? Красная черепица на крышах? Босоногая немытая деревенщина? Уже насмотрелись в Мексике и еще насмотримся в Испании...

Опять они оказались в знакомом тупике: никак не сговорятся, что делать дальше. Они сидели на скамье на краю маленькой площади, сюда их привела осененная мимозами и пальмами узкая каменная улочка, избегающая по крутому склону до половины холма.

— Например, верблюды, глупый, — терпеливо пояснила Дженни. — Верблюды с огромными тюками меж горбов, и погоняет их босоногая немытая деревенщина, но при этом в тюрбанах!

— Это просто вариации все той же темы, — сказал Дэвид. — Почему бы не посидеть тут, а вся эта живописность пускай сама проходит перед нами?

Нет, на это Дженни согласиться не может. Она взбудоражена, Дэвид знает — ей надо еще чего-то кроме живописных красот. Она сидит на краешке скамьи, вся подалась вперед, озирается по сторонам, готовая вскочить по первому знаку, — и вдруг в самом деле вскакивает, машет рукой и зовет, будто завидела старых, долгожданных друзей, а это всего лишь тяжело взбираются в гору, к городскому базару, Эльза и ее скучнейшие родители. Эльза степенно машет в ответ. Папаша и мамаша Лутц кивают важно, без улыбки, ибо фрау Лутц полагает, что Дженни особа легкомысленная и не слишком подходящая соседка по каюте для их дочери.

— Ладно, Дэвид, — живо говорит Дженни, — сиди тут и обрастай мохом, а я пойду бродить на воле с цыганской дикою семьей!

И Дэвид остался в который раз ворочать в голове непостижимую истину: Дженни порой предпочитает проводить время с кем попало, только бы не с ним...

Мимо него потянулось недлинное шествие: Дженни с Лутцами, чуть поотстав — Фрейтаг с миссис Тредуэл, еще подальше Рибер и фрейлейн Шпёкенкикер, эти, как всегда,

шумны и крикливы, размахивают руками и гогочут. Дальше тащится чета Баумгартнер и между ними Ганс. Еще дальше — новобрачные, они обняли друг друга за талию, склоненные головы прижались висок к виску, на лицах — блаженный чувственный восторг. Дэвида захлестнула жгучая зависть и желание; эти двое всегда держатся так скромно, им явно и в мысль не приходит, что на них смотрят; но сейчас бросается в глаза, что медовый месяц их в самом разгаре. Мало-помалу они преодолели первую робость и застенчивость, у обоих под глазами темные круги, у новобрачной на щеке красное пятно. Иногда они по утрам остаются на палубе, сидят в шезлонгах, взявшись за руки, и сразу засыпают. Днем скрываются в каюте, а к ужину выходят измученные, молчаливые, и лица у них неподвижные, замкнутые, и они обмениваются такими взглядами...

Дэвид резко поднялся, тряхнул головой, кровь прихлынула ко всем самым чувствительным местам, каждый нерв — как струна, в мозгу дикая пляска эротических картин и ощущений, жгуче сладостных и уже по одному этому ненавистных. Он шагнул вперед, готовый пойти вслед за Дженни. Новобрачные увидели его и мигом разомкнули объятия, молодая жена тихо взяла мужа под руку, и они чопорно прошествовали дальше.

Дэвид почувствовал себя круглым дураком. Он безмерно презирал грязную игру воображения, похоть, которая пробуждается от любой эротической сценки или музыки, от услышанного или прочитанного слова, от танцев и похабных анекдотов, презирал любителей подглядывать и подслушивать, давать волю рукам, пожимать под столом ножки, искать прикосновений в тесноте, в публичных местах, завсегдатаев стриптиза и просто мечтателей, которые могут довести себя до высшего экстаза, попросту сидя на месте и глядя в одну точку. Сам он, по крайней мере, издавна привык действовать напрямик. Если уж приспичило, шел и находил какую-нибудь юбку. Когда работал на руднике, раза два решался на рискованную затею — завести себе постоянную девчонку. Но это сразу же становилось невыносимо: женщин понять невозможно. Он готов ручаться головой — нет на свете такой шлюхи, которая не уверена, что найдется рано или поздно чужак, влюбится в нее, и уведет за собою, и устроит ей жизнь роскошную или хотя бы праздную.

Иные мечтают даже о законном браке — ведь и такое иногда случалось... Дэвида потянуло в ту пору к чумазой девчонке, наполовину индианке, у нее под ногтями был вечный траур, а в чудесных блестящих густых волосах — вши. Он вымочил ей волосы в керосине (девчонка не доверяла этой жидкости и не умела с ней обращаться), разогрел у себя в тесном патио, обнесенном высокой стеной, прорву воды в котле и среди дня, на солнышке долго отмывал и оттирал ее всю, с головы до пят, включая волосы и ногти. А под конец облил ее вест-индской лавровишневой водой. Но когда лакомство было столь тщательно приготовлено, оказалось — всякий аппетит пропал. Кончилось тем, что он дал ей пять песо и, к ее изумлению, велел убираться на все четыре стороны. А она, надевая бесчисленные юбки, спросила деловито:

— Почему ж ты на мне не женишься? Я буду хорошей женой, я это умею!

Он объяснил, что жениться ему еще рано, и она ушла, веселая, уверенная в себе, однако по лицу ее, по всей повадке видно было, она приняла его за какого-то евнуха либо за очередного чужеземца со странностями, — и, уходя, она сказала:

— Когда почувствуешь себя мужчиной, дай мне знать!

Вон куда занесся он в мыслях, лишь бы выбраться из этой каши... Дэвид дал новобрачным пройти и поплелся в хвосте процессии. Поневолe заметил, что Дженни теперь идет вместе с Фрейтагом и миссис Тредуэл, и почувствовал себя оскорбленным, когда она вдруг радостно подпрыгнула и в восторге показала на что-то впереди. Все остановились, завертели головами. Дэвид тоже посмотрел в ту сторону — да, это было странно, и ново, и прекрасно; никогда больше ему такого не видать — и не забыть никогда.

Впереди бежит тоненькая девушка, гибкая и сильная, точно балерина, из-под тесного и коротенького черного платья мелькают голые смуглые ножки, голову окутал квадратный черный платок, и низко на лоб надвинута крохотная, совсем кукольная шапочка, видимо как-то укрепленная под платком, под тяжелым узлом волос; перебежала им дорогу, метнулась вверх по скалистому откосу, круто свернула влево, на тропинку поуже, — легконогая и стремительная, точно дикая лань. На голове у нее огромный плоский

поднос, уставленный помятыми бидонами с водой, — и с этой ношей она почти бегом взлетает в гору в своих изношенных тапочках, прямая, стройная, высоко вскинута голова, круто покачиваются бедра, руки распахнуты, словно крылья.

А потом оказалось, что девушка эта не единственная. Куда бы ни пошли в тот день пассажиры «Веры», всюду и везде на острове сновали вверх и вниз водоноши, юные красивые девушки — точеные носы, нежная линия губ, цвет лица точно слоновая кость, такой увидишь только у испанок. Изредка встречались и женщины постарше, лет тридцати, все еще прекрасные изяществом и стройностью тренированных гимнасток.

Фрейтаг с восхищением смотрел, как они непрерывно и словно бы ничуть не уставая пробегают по откосам.

— Такая работа за неделю убила бы двух портовых грузчиков, — сказал он. — Просто не может быть, чтобы они подолгу это выдерживали.

Все приезжие пришли в восторг, им непременно хотелось понять, в чем тут секрет. А могли бы сообразить, что нет тут ничего загадочного. Сообща подозвали первого же местного жителя, который проходил мимо, — босоногого, всклокоченного, в закатанных до колен холщовых штанах, с бесформенным тюком за плечами, — и профессор Гуттен стал его расспрашивать о непонятном явлении. Местный житель постоянно встречал подходящие к острову корабли и туристов давно изучил, а потому начал, как всегда, совсем просто: все девушки, которые носят воду, — очень порядочные девушки и зарабатывают свой хлеб честным трудом. Он знал, у туристов — и не только у мужчин — престранные понятия о том, как ведут себя молодые женщины в чужих странах. И, несмотря на свой долгий опыт, не мог одолеть изумления: почему, сколько ни приходит сюда кораблей, никак приезжие люди не возьмут в толк, что для молодых девушек носить воду — самое обыкновенное, простое и естественное занятие. Кому же еще носить воду? Спокон веку это обычная домашняя женская работа. Таков строгий порядок в каждой семье, и девушки должны повиноваться... Их нанимает компания, которая ведает доставкой воды, и, ясное дело, они носят форму. Тут рассказчика перебили, как всегда, вечно волнующим туристов вопросом: для чего

эта черная игрушечная шапочка, для чего каждая девушка надвигает ее на лоб под своим подносом? Островитянин не знал: никто этого не знает, никто на острове сроду про это не спрашивал. Таков обычай, и все тут. Это часть их форменной одежды. Если девушка не наденет такую шапочку, ее не допустят носить воду. Проще простого, а вот туристы никак не поймут! Потом Фрейтаг задал еще один неизбежный вопрос:

— А почему все они такие красивые?

И всклокоченный местный житель с удовольствием ответил то, что отвечал всегда:

— Нам тут, на острове, выбирать не приходится. Что бог даст, на том и спасибо. У нас тут все девушки красивые и все добродетельные.

Этот ответ неизменно встречали почтительным молчанием.

Баумгартнеры с Гансом, Фрейтаг и миссис Тредуэл, семейство Лутц и Дженни, Гуттены, которые тоже их догнали, и Глокен в красном галстуке — вся компания сгрудилась теперь вокруг островитянина. Туристы — значит, сплошь варвары, дело известное, — и он предлагает показать им здешние достопримечательности и обо всем, как положено, рассказать, если ему заплатят по столько-то с человека. Вот уж этого никто не желал — и компания рассеялась, все пошли врозь, поодаль друг от друга, но в одном направлении, так что рано или поздно не миновать было снова сойтись в одних и тех же уголках и примерно за теми же занятиями. Глокен прежде плелся далеко позади всех, но за время этой остановки наверстал упущенное. Проходя мимо Дэвида, он приветливо помахал рукой, улыбнулся своей страдальческой улыбкой.

— Поторапливайтесь! — ободряюще крикнул он. — Отстанете!

Дэвид двинулся следом, не теряя их всех из виду, но и не пытаясь догнать. И с удовлетворением думал — до чего они все нелепы и неуместны здесь, несуразно одетые и уж вовсе не для такого похода обутые. Ну и разношерстное сборище; Дженни и та кажется нескладной в мешковатом балахоне из рогожки, вечно она его надевает не к месту и не ко времени,

потому что он, мол, ручной работы. Поглядела бы на себя со стороны! Да, беспощадны к ним ко всем здешний чистейший, прозрачный воздух, тени пальм и солнечные зайчики на кривых, узких старинных улочках (они уже подошли к городку), — бросается в глаза, до чего эти люди ужасающе тусклые и скучные, в том числе и Дженни... Мимо Дэвида пронеслись святые отцы Гарса и Карильо в раздувающихся пузырями сутанах и старушечьих башмаках с резинками; от жестких, точно деревянных шляп с плоской тульей и загнутыми с боков полями падала тень на жесткие, сумрачные лица; вышагивая, точно страусы, они догнали и опередили неторопливых зевак с «Веры».

Дэвид немного поразмыслил над своим положением — да, в общем-то, безнадежно... а впрочем, было ли когда-нибудь иначе? Куда бы его ни занесло, всегда тянет прочь, так и с жильем, и с работой: где ни случится осесть, только и думаешь, как бы оттуда вырваться. И никогда он не встречал женщины, которой мог бы довериться. Дженни — последняя соломинка, за которую он уцепился. Нет, он не в силах ее ненавидеть — пока еще нет, разве что порывами, приступами. Как бы ни изменились их чувства друг к другу, все же еще и сейчас можно считать это своего рода любовью... но обоим было бы лучше без этой любви... Много ли лучше и в каком смысле — этого он и сам не понимает. Да и что за важность... Настроение у него стало вполне приемлемое, и он торопливо пустился догонять Дженни, взял ее под руку, на ходу поздоровался с Фрейтагом, миссис Тредуэл и еще кое с кем и изложил свой план действий:

— Дженни, ангел, давай поищем какой-нибудь симпатичный кабачок и выпьем здешнего вина с говяжьими колбасками, ладно? Я зверски проголодался, закусим, а потом походим и поглядим, что и как.

— Пошли! — сказала Дженни и слегка подпрыгнула.

Они помчались во всю прыть, далеко обогнали остальных и вышли на маленькую площадь, окруженную лавками и винными погребками. Все эти заведеньица на вид и на запахах были одинаковы, и Дэвид с Дженни мешкали, не зная, которое выбрать, пока не заметили над одной дверью вывеску «El Quita Penas»¹.

¹ Забвенье всех забот (*исп.*).

— Вот это для нас! — сказала Дженни. — Идем, Дэвид, лапочка, забудем все наши заботы.

Они уселись за крохотный столик подле маленького темного окошка — и из окошка увидели, что с другой стороны на площадь вступают бродячие танцоры с «Веры». Вся труппа устремилась в лавку, дверь которой обрамляли живописно развешанные цветастые шелковые шали и обшитое кружевами белье, и набросилась на выставленные товары, а Рик и Рэк принялись шарить на прилавке снаружи у двери, ворочать и дергать рулоны тканей. Хозяйка выбежала шугнуть их и опять кинулась внутрь присмотреть за посетителями.

— Это похоже не на прогулку за покупками, а на бандитский налет, — заметил Дэвид.

— А это, наверно, и есть налет, — отозвалась Дженни.

Но говорили оба лениво и продолжали отведывать вина из бочонков вдоль стены: закусывая обильными порциями вкуснейшего испанского перца и колбасками, они перепробовали малагу, мускатель, мальвазию, местный коньяк под названием «Tres Soras»¹, а потом, с кофе, — апельсиновый ликер, который немножко напоминал кюрасо. Вошел Дэнни, чуть ли не с нежностью их приветствовал и уселся к ним за столик, будто его приглашали.

— Уф, запарился, — начал он. — Кажется, весь остров обегал, и все галопом. Видали вы этих девчонок с бидонами на голове? Ну вот, одна мне подмигнула, даже не сказать, чтобы мне как мне — знаю я эту породу, хоть бы она ходила в упряжи, как мул... ну, я и двинул за ней, думал, это она дает мне знать, что скоро кончит работу и не прочь... не прочь... э-э... — он сглотнул, покосился на Дженни, — немножко пообщаться, — и вот провалиться мне, как пошла она скакать вверх и вниз по этим камням да по тропинкам, ну сушая коза. Иногда подойдет к дому и даже толком не остановится, только согнет коленки, поднос на голове и не покачнется, тут выходит из дому хозяйка, посудину с водой снимет, пустую поставит — и та скачет дальше, прыг-скак, а я плетусь за ней высунув язык. А иногда она повернет обратно, идет мне навстречу и каждый раз эдак глянет — не улыбнется, только глазами сверкнет... Вы что пьете? —

¹ Три кубка (исп.).

перебив себя, обратился он к Дэвиду. — Спросите и для меня, ладно? Не умею я трещать по-ихнему, не знаю названий... ну и вот, потом прикинул, наверняка вода у нее вся вышла, одни пустые жестянки остались, и пошел за ней вниз, шли-шли, наконец пришли — длиннейший навес, под ним полно бочонков, большущие бочки с водой, и куча девчонок — одни сидят, отдыхают, другие заново нагружают свои подносы. А моя отдыхать не стала. Набрала полный поднос и шмыг мимо меня, как дикая кошка, на этот раз прямо в глаза глянула и говорит: «*Vaya, vaya!*...»¹ Ну, это я понял. Опять гонять по всему острову. Поглядел, что в этом водяном сарае творится, и решил — с меня хватит...

— Что ж, правильно, — сказал Дэвид. — Подождите, может, в другой раз больше повезет.

— Вот посмотрите на Пастору, — сказал Дэнни и протянул бокал, чтоб ему налили еще малаги. — Слишком сладкое пойло, у них что, не найдется чего-нибудь покрепче?

— Пастора вон там, в лавке через дорогу, — ободряюще подсказала Дженни.

— Ну и пусть ее, — ответил Дэнни. — Сейчас не до нее. Я не собирался вправду на нее смотреть. Хоть бы и совсем больше не видать, ни к чему она мне сейчас. Похоже, все эти испанки слишком норовистые кобылки, ни минуты спокойно не постоят, никакого толку от них не добьешься...

— Что ж, вы всего насмотрелись, — сказала Дженни, — теперь мы с Дэвидом пойдем любоваться здешними чудесами.

Дэвид расплатился американскими деньгами и получил сдачу — пригоршню испанской мелочи.

— Эту монету лучше поскорей истратить, — посоветовал Дэнни. Махнул хозяину бокалом, чтобы налил в третий раз, спросил жалобно: — Как по-ихнему коньяк? Вот уходите вы, бросаете меня одного. А я тут влипну в какую-нибудь историю. Мне чего-то не по себе. Пожалуй, выпью лишнего и уж тогда наверняка пойду задам взбучку этой Пасторе...

— Как бы она первая не задала вам взбучку, — весело сказал Дэвид. — Она покрепче, чем кажется с виду, и с нею там вся шайка.

¹ Иди, иди!.. (исп.).

— А почему бы вам не поколотить какого-нибудь здешнего *guardia civil*? — предложила Дженни (она еще раньше заметила на пристани парочку внушительных национальных гвардейцев в глянцеvitых треуголках с загнутыми полями, в тугих мундирах; рослые, дородные, крепкие, как дерево, — не сдвинешь, не пошатнешь). — Почему вам непременно надо колотить женщину?

Неожиданно оказалось, что у Дэнни имеется логика, и даже смутное, отдаленное подобие таящегося глубоко в душе чувства справедливости, и какие-то нравственные понятия, и даже, можно сказать с некоторой натяжкой, своя этика. Или по крайней мере здравый смысл.

— Потому что я на нее зол, — сказал он просто. — А ихние вардия шивил, они ж мне ничего худого не сделали.

Дженни широко, от души, улыбнулась ему, но мигом спохватилась, сделала серьезное лицо: еще вообразит, будто она его завлекает! И все же сказала:

— Вы совершенно правы! Слышишь, Дэвид? Мистер Дэнни только что высказал важнейшее правило кодекса чести.

— Не слышал... что такое? — спросил Дэвид не без опаски.

Но Дженни на сей раз дурачилась вполне безобидно.

— Ну как же: не драться с теми, на кого не злишься. Не срывать зло на ком попало... и ничего не делать не подумавши.

Они помахали Дэнни на прощанье и вышли. А он хмуро уставился на свой недопитый бокал. Уж не насмеялась ли над ним эта нахалка? Вот на кого он вовек не польстится... дождется она, как же — когда рак свистнет!

Фрау Риттерсдорф чувствовала себя не очень ловко — одна, за столиком, который стоит прямо под деревом, очень странное место; хотя угрюмый старик разостлал перед нею потрепанную хлопчатобумажную скатерку и поставил чашку кофе, а из дома за его спиной, больше похожего на сарай, тянуло запахом жареного сала, всему этому плохо подходило название кафе... Она понижe надвинула на лоб свой розовый шарф, положила возле чашки раскрытый блокнот и начала писать:

«На нашем корабле беспорядочно смешалось множество разнородных элементов, и это, естественно, повлекло ряд неприятнейших происшествий, таково логическое следствие недостатка дисциплины, дерзость низших классов, когда им предоставляют хотя бы малую толику свободы...»

Она перечитала написанное — нет, негодование явно взяло верх над чувством стилиа, и абзац ей не удался. Она зачеркнула его весь, каждую строчку, тонкой чертой: прочесть можно, однако это будет служить напоминанием, что формулировка ею отвергнута и впредь подобной несдержанности надлежит избегать. И принялась писать дальше:

«Они наводнили все магазины, кишат везде, точно полчища крыс. Я наблюдаю за ними и знаю — они воруют все, что попадется под руку. Не могу разглядеть, какие именно вещи они крадут и какими способами, для этого надо было бы подойти гораздо ближе. Я чувствую, они несут с собою некое поветрие, поистине источают метафизические миазмы зла».

Фрау Риттерсдорф приостановилась и с восторженным изумлением перечитала эту сентенцию. Откуда такие слова? Неужели ее собственные? А может быть, она их где-то вычитала? Кажется, прежде ей никогда не приходила в голову подобная мысль, но, безусловно, она и не слыхала ни от кого ничего подобного. А существуют ли такие миазмы? Она всегда придерживалась мнения, что любая вещь, попав не на свое место, загрязняет его. Неопровержимый научный довод для поддержания порядка: низшие слои должны знать свое место. Она не нашла ответа на свои вопросы, но вновь вернулась к предмету размышлений. Бродячая труппа испанских танцоров, да и многие пассажиры первого класса на этом корабле, вне всякого сомнения, оказались не на своем месте — и вот уже последствия бросаются в глаза...

«Несчастливая *condesa*, — писала фрау Риттерсдорф. — Где-то она теперь, всеми покинутая узница на этом Острове Мертвых?»

Она подняла голову, быстрым взглядом обвела все вокруг: деловитая суета, мужчины, женщины, дети всех возрастов, всякая домашняя живность, у каждого явно свои заботы, каждый занят своими мыслями невесть о чем. Жалкие, убого одетые, с такими усталыми лицами — ну для чего, спрашивается, они живут? И главное (вопрос, который

всегда ее волновал), можно ли вообще считать, что они — живые люди?

В нескольких шагах от фрау Риттерсдорф сидела прямо на земле, среди корзин с принесенной на продажу привядшей зеленью, какая-то женщина; она скрестила ноги, уложила меж колен, как в люльке, младенца и дала ему вздутую обнаженную грудь с огромным, точно большой палец, коричневым соском, а сама жадно ела лук, помидоры, колбасу, абрикосы, заворачивая все это в полусырые жесткие лепешки. Младенец сосал, блаженно дрыгал ножками, а мать поминутно отрывалась от еды: подходили покупатели, протягивали ей сумки, сплетенные из пальмовых листьев, она клала в сумки овощи, из плоской корзиночки, стоящей рядом на земле, отсчитывала сдачу. Зрелище это вызвало у фрау Риттерсдорф такое отвращение, что она не в силах была опять взяться за перо. Младенец — толстый, крупный, его давным-давно следовало отлучить от груди. Лицо, руки, шея матери — темные, грубые, точно старая дубленая кожа, боковых зубов нет, она раздирает еду передними, и однако ест с волчьим аппетитом. Ребенок сполз с ее колен, выпрямился. На нем одна лишь грязная рубашонка, коротенькая, едва до пупа. Он стал тверже, расставил ноги, младенческое украшение будущего мужчины задралось к небесам и высоко пустило сильную струйку, которая взвилась блестящей аркой и шлепнулась в пыль в двух шагах от безупречных светлых туфель и паутинных чулок фрау Риттерсдорф. Пораженная фрау Риттерсдорф чуть не вскрикнула, вскочила, попятилась, подобрав юбку. Мать не поняла ни ее движения, ни возмущенного взгляда, только протянула руку, ободряюще, любовно и ласково похлопала малыша по спине, а он преспокойно dokonчил свое дело, захлебываясь нечленораздельным, но довольным и радостным воркованием. Мать притянула его к себе, ладонью прикрыла срамное местечко, весело улыбнулась фрау Риттерсдорф и крикнула ей с гордостью:

— *Es hombre, de veras!*¹ — словно этим все объяснено, словно это радостный секрет, который ведом всем женщинам.

Фрау Риттерсдорф собрала свои вещи и поспешила

¹ Настоящий мужчина! (*исп.*).

прочь, холодея от ужаса, будто костлявая рука дотянулась к ней из прошлого, стиснула ледяными пальцами и вновь потащила в чудовищную трясину невежества, нищеты и скотского существования, откуда она насилу вырвалась... с каким трудом! Глинобитный пол хижины, где жили ее дед с бабкой, где свинарник, коровник, крохотная каморка с на-сестами для кур — все выходили в единственную комнату, в которой ютилась вся семья; скучный, убогий деревенский домишко, где поселились ее отец-сапожник и мать-швея, гордые тем, что достигли столь высокого положения в своем мире; их тщеславная мечта, чтобы она, их дочь, вы-билась в учительницы деревенской школы... О, как вопиют все эти страшные воспоминания — не только голоса и лица давно умерших людей, тех, кого она столько лет старалась забыть, от кого старалась отречься, но даже та домашняя скотина, и душные стены, и глиняный пол, и вонючие кожи сапожника, и вкус намазанного салом кислого хлеба, кото-рый она брала с собой в школу, и самый этот ломоть хле-ба — все вновь поднялось из глубокой ямы, где она когда-то похоронила эти воспоминания, они ожили все до единого — и их немой хор, леденящий кровь в жилах, взывал к ней, и жаловался, и обвинял, беззвучный, точно вопль отчаяния в страшном сне. Пол той хижины, те свиньи, и хлеб, и дед с бабкой, и мать с отцом — все кричали в один голос одни и те же грозные слова, и хотя слов она не разбирала, но зна-ла, что ей хотят сказать.

Фрау Риттерсдорф стояла пошатываясь, прижав ладонь ко лбу. Старик в грязном фартуке вежливо сказал ей что-то, протянул руку.

— Да-да, — сказала она, — я вам должна.

Старательно отсчитала ровно столько, сколько нужно, испанской монетой, на которую обменяла немного денег у судебного казначея, прибавила несколько медяков и вложила в протянутую ладонь. У нее шумело в ушах, земля под но-гами качалась, словно палуба «Веры».

— Должно быть, у меня какой-то приступ, голова закру-жилась, — вслух подумала она по-немецки.

И старик слуга учтиво согласился:

— Si, si, señora, naturalmente¹.

¹ Да, да, сеньора, понятное дело (*исп.*).

И ее передернуло от этого непрошеного сочувствия.

На ходу ей сразу стало лучше, но все равно она недоумевала — что же это с ней случилось? Она решила возвратиться на «Веру» и там пообедать. Осторожно ступая по камням, она увидела сеньору Ортега с няней и младенцем (никаких забот у женщины, едет в Париж, замужем за преуспевающим дипломатом!) — они не спеша катили в нелепом с виду, но шикарном открытом экипажике, так называемой коляске, вернее сказать, такая коляска была бы шикарна, если бы к ней — да приличных лошадей и приличного кучера. Тут фрау Риттерсдорф почувствовала, что очень устала, неплохо бы и ей нанять коляску. Да, но ведь это расход. Если позволять себе столь легкомысленные траты, тебе уготована одинокая старость и пойдешь в услуженье в какой-нибудь мещанский дом, живущей гувернанткой, за стол и квартиру, да изредка в праздник перепадут чаевые, и изволь подлаживаться к несносным сорванцам в заурядном семействе, какое молодая, полная сил женщина не удостоила бы и взглядом... Если б Отто мог предвидеть, что ее ждет подобная судьба, неужели он, не подумав о ней, пошел бы навстречу своей героической гибели? Что он ей оставил? Железный крест, парадный мундир и саблю. И если бы его родители не передали ей его скромное наследство, что было бы с нею сегодня? Ох, Отто, Отто, если бы ты видел меня сейчас, если б тебе приснилось во сне, что со мной станет, ты не расстался бы с жизнью понапрасну.

С нею любезно раскланялись двое молодых помощников капитана. Когда она спускалась к себе в каюту, ей встретились фрау Шмитт с вязаньем в руках.

— Уже вернулись? Так быстро? — спросила фрау Риттерсдорф.

— Довольно я насмотрелась, все одно и то же, — хмуро ответила фрау Шмитт.

Фрау Риттерсдорф хотела пройти дальше, но, услышав такие слова, остановилась.

— Значит, тут все-таки есть на что посмотреть? — спросила она снисходительно.

Это высокомерие всегда возмущало фрау Шмитт, не умела она как следует ответить.

— Для тех, кто умеет видеть, кое-что есть, — сказала она.

И сразу испугалась собственной смелости, даже чуточку закружилась голова, — и, прежде чем фрау Риттерсдорф успела опомниться и отбрить ее, пошла дальше, в обезлюдевшую гостиную, где ее ждали тишина и покой.

Фрау Риттерсдорф, конечно, не пропустила мимо ушей столь дерзкий выпад, но решила пока оставить его без внимания. В мыслях она переступила некую границу, о существовании которой раньше и не подозревала, но граница уже осталась позади — и фрау Риттерсдорф ощутила странное облегчение, словно сбросила с души груз, который долгие годы тяготил ее и изматывал... Она открыла сумочку, достала бумажник, где хранила паспорт, осторожно пошарила двумя пальцами и извлекла из одного отделения маленькую фотографию мужа в плоской серебряной рамке. О нет, он был совсем не такой... Блистательному облику, что хранился в ее воображении, нанесен был тяжкий удар, как всегда, когда она смотрела на эту безжизненную армейскую фотографию: ни света, ни красок, прозрачные глаза как-то вытарашены, пустые и холодные, точно камешки. Нет, нет... хватит, довольно. Она сунула фотографию обратно, отложила сумочку. Отныне она забудет этого героя, ведь он-то ее забыл, оставил на произвол судьбы... какой эгоизм, какая жестокость — так поступить с женой, которая его обожала! Нет-нет. Она забудет, найдет себе другого мужа, на сей раз настоящего. Когда это дурацкое плавание закончится, она останется на родине, вот где ее место, она будет жить среди людей, близких ей по духу, там мужчины сумеют оценить ее достоинства... В мозгу стали всплывать имена, лица. Она открыла блокнот и принялась записывать... «Начнем с самого важного», — мягко предостерегла она себя. Воображение увлекло ее в новые весенние края, где вполне возможны встречи с вполне подходящими женихами, знакомыми и незнакомыми, — восхитительные встречи, которые столько сулят. Перед глазами разыгрывалась одна сцена за другой. На минуту сюда же затесался дон Педро, но тотчас был изгнан, и снова длилось восхитительное шествие: она сама в сопровождении то и дело меняющихся спутников... и все время она приглаживала щеткой волосы, опять и опять, сотни раз, не считая. Она забыла про обед. Прежде она опасалась — как-то ее примут на родине друзья и знакомые и мужнина родня, после того как она (конечно

же, они так полагают) потерпела в Мексике неудачу: ведь все, кто окружал ее в Мексике, старательно шаг за шагом сообщали им о ходе ее романа с доном Педро... да, и о развязке тоже... И еще, вечно над нею нависала грозная тень Немезиды; а вдруг однажды тень эта обретет плоть и кровь и в дом зайвится какой-нибудь деревенский олух — родственничек, какой-нибудь племянник или троюродный братец? Разыщет единственную из семейства, о которой сложены легенды, что, мол, получила образование и вышла в люди и, уж конечно, разбогатела и рада будет помочь им добиться того же. Время шло, никто не появлялся, и страх понемногу притуплялся, а все же эта опасность существует. Фрау Ритгерсдорф сосредоточенно изучала адреса, записанные в красной с золотом книжечке, медленно перелистывала страницы, то тут то там ставила против имени пометку; меняются обстоятельства, меняются номера телефонов; люди переезжают в другие дома, и сердца тоже находят для себя новые пристанища; не следует ждать чудес, а все-таки она напишет с полдюжины скромных записочек давним, испытанным вздыхателям, тем, кто, надо полагать, обрадуется весточке от нее; и еще есть один в Бремене, этому она сообщит, куда и на каком корабле прибывает, день и час прибытия — и, если женское чутье ей еще не вконец изменило, он встретит ее на пристани, да-да, пожалуй, что и с цветами, как в лучшие времена.

— Слушай, Дэвид, я ничего подобного не представляла, — сказала Дженни, когда они наконец выбрались на улицу. — Да как же ты терпишь этого малого в своей каюте?

— Ну, это не только моя каюта, — не без оснований поправил Дэвид.

— Не придирайся, — сказала Дженни. — Ты прекрасно понимаешь, о чем я. Это же черт-те что!

— Сперва я тоже так думал. На самом деле он просто зануда. Но сейчас-то он вел себя как нельзя лучше. Я только диву давался.

— Может, он выбился из сил после этой гонки, — догадалась Дженни. — Давай посмотрим, что тут можно купить. На Кубе мы совсем ничего не купили. Какие же мы после этого туристы?

И они пошли к сплошному ряду лавчонок на другой стороне площади.

— А чего тебе хочется? — спросил Дэвид.

— Сама не знаю, давай что-нибудь друг другу подарим.

В них встрепенулось что-то от восторженной беззаботности, какая овладела обоими в Гаване; на миг они взялись за руки, потом стали заглядывать в двери лавок.

— Никаких корзиночек, — сказал Дэвид.

— И никаких кукол и зверюшек, — говорила на ходу Дженни, — и никакой глиняной посуды и украшений, но все-таки пускай это будет что-нибудь местной работы, обрзчик туземного искусства, правда, Дэвид?

— Да, пожалуй, — неуверенно сказал Дэвид, — но только не сандалии, и не надо ничего кожаного и деревянного.

— И не кружева, и не вышитое полотно? — спросила Дженни.

— Во всяком случае, не для меня, — отрезал Дэвид.

— Давай не будем решать, — немного устало предложила Дженни. — Просто будем ходить и смотреть, где что, увидим, что из этого получится.

Так и сделали, поглядели, где что, и увидели, что получилось: из какой-то лавки неподалеку вышли миссис Тредуэл с Вильгельмом Фрейтагом, приветливо подняли руки на мексиканский манер, и Дэвид, к своему изумлению, очень охотно поднял руку в ответ.

— Где они? — спросил Фрейтаг. — Видели вы их?

— Речь идет о наших приятелях-танцорах, — пояснила миссис Тредуэл, тоже необычно оживленная.

— Они вон там, — показала Дженни, — по крайней мере совсем недавно там были. А что?

— Помните, они обещали закупить здесь, в Санта-Круссе, выигрышей для вещевой лотереи? — сказал Фрейтаг Дэвиду. — Так вот, вся суть в ловкости рук, на это стоит посмотреть!

— Что ж, пойдем посмотрим, — сказал Дэвид.

Они направились к той лавке, но оттуда как раз выбежали Рик и Рэк, а за ними появились и взрослые; живописной гурьбой, громко, оживленно болтая, они дружно свернули направо, в противоположную сторону от наблюдате-

лей, быстро миновали три лавчонки и вошли в четвертую, дети вбежали туда первыми.

Хозяйка лавки, где они только что побывали, вышла на улицу и стала отводить душу, высказывая все, что она о них думает.

— Берегите зубы! — кричала она на весь белый свет. — Пересчитайте свои пальцы, а то и их стащат! Это такой народ, они не покупать ходят! — Она горестно морщилась и потрясала кулаками, разбирая свой разворошенный, беспорядочно раскиданный товар, потом печально обратилась к американцам. — Чистое полотно, — говорила она, — настоящие кружева, всюду ручная вышивка, такие хорошие вещи, красивые и совсем дешево...

Но ясно было: она не надеется, что они что-нибудь купят, удачи сегодня уже не будет, она и не пыталась всерьез соблазнить их своим товаром. В отчаянии она пыталась хотя бы понять, что же у нее украли.

Дженни с Дэвидом, Фрейтаг и миссис Тредуэл пошли вслед за танцорами в другую лавку. Пепе, который остался на страже у входа, шагнул в сторону и слегка им поклонился. Хозяйка по просьбе фрау Шмитт выкладывала перед ней льняные носовые платки с простой траурной каймой. Внезапное появление разношерстной толпы иностранцев (она мигом разобрала, что тут есть и люди порядочные, и проходимцы) встревожило ее. Она уже столько предлагала этой покупательнице коробок с самыми настоящими траурными платками, и все оказывалось не по ней: то они слишком велики, то слишком малы, то слишком тонкие, то слишком грубые, и каемка то чересчур узка, то чересчур широка, и они то чересчур дорогие, то чересчур дешевы... В панике хозяйка собрала все платки и почти закричала на фрау Шмитт:

— Ничего у меня для вас нету, сеньора! Ничего! Ничего!

Ибо она с отчаянием увидела, что порядочные иностранцы держатся поодаль, а на нее набрасывается воровская стая хищного воронья.

Фрау Шмитт, изумленная и обиженная такой неожиданной грубостью, попыталась — и вот приятный сюрприз, тут, оказывается, ее корабельные попутчики! Она обрадовалась не испанцам, они не в счет, а этим странным американцам,

они хоть и странные, но все же славные. Поневоле вспомнилось, как герр Скотт сочувствовал бедняжке резчику с нижней палубы... хорошо, конечно, если человек строг, хладнокровен, всегда и во всем непогрешимо прав, конечно же, таков капитан Тиле, но трогательны и те, кому не чужды человеческие чувства, любовь к ближнему, участие и милосердие к бедным и несчастным. Короче говоря, приятно увидеть в этом неприветливом месте лицо Скотта, хотя оно больше похоже на лицо восковой куклы с голубыми стекляшками вместо глаз. Молодая женщина, его спутница, — существо совершенно непонятное, вдова совсем не вызывает доверия, а герр Фрейтаг, безусловно, очень плохо поступил: выдавал себя за христианина, а сам женат на еврейке... «Но, господи боже мой, — жалобно подумала фрау Шмитт и незаметно, двумя пальцами перекрестилась, — что же мне делать? Умереть от одиночества?»

Она подошла поближе к этим четверым, и они заулыбались, заговорили с ней, теперь все они стояли почти рядом — и все, каждый по-своему, увидели одну и ту же картину. Бродячая труппа снова разыграла отлично слаженный, отрепетированный спектакль, напористо, целеустремленно, с тем же наглым презрением к сторонним зрителям, как бывало на корабле: Ампаро и Конча направились в один угол лавки, подзывая хозяйку, сбивая ее с толку, потому что каждая брала что-то из товара и обе разом громко спрашивали о цене. Маноло вышел за дверь и стал на страже с Пее. Пастора и Лола шумно заспорили с Панчо и Тито в другом углу, но без конца бегали через всю лавку к хозяйке с какой-нибудь вещью в руках, и ей приходилось отводить взгляд от Ампаро и Кончи, хотя она справедливо подозревала, что как раз с них-то и не следует спускать глаз. И все они так и мельтешили по лавке, поминутно подбегали к двери показать Маноло и Пее, что они выбирают, и спросить совета, опять бросались к полкам, стаскивали оттуда, разбрасывали по прилавку и переворачивали на все лады новые и новые товары. Тут же вертелись Рик и Рэк — как всегда во время представления, они великолепно играли свою роль, клянчили и приставали: «Мама, ну пожалуйста, купи мне то, купи это!» — и размахивали каждой вещью, какую могли ухватить. Тогда Лола грозилась поколотить их, кричала, чтобы все положили на место, — и, разумеется,

через несколько минут вся орава вывалилась через узкую дверь на улицу, громко возмущаясь: мол, в этой лавчонке и глядеть-то не на что и не станут они так дорого платить, что это за цены, прямой грабеж! И тут хозяйка тоже осталась в своей лавчонке, кипя от бессильной ярости, среди такого разгрома, что придется ей часами собирать, складывать, пересчитывать товар, пока она не выяснит, что же украдено.

Так оно и шло еще и на других площадях, при других свидетелях. Профессор Гуттен с женой повстречали танцоров, когда те гурьбой высыпали из какой-то конурки, громко, язвительно насмехаясь над человеком с безумными глазами, а он кричал, что они воры, и клял их на чем свет стоит. Ответом ему был взрыв хохота, от которого кровь стыла в жилах, и компания гордо прошествовала дальше.

— Они и здесь так же нагло себя ведут, как на корабле! — сказала мужу фрау Гуттен. — Неужели мы ничего не можем сделать? Где здесь полиция? Где национальные гвардейцы? У них такой надежный, солидный вид. Где они? Наверно, нам следует их позвать?

Профессор Гуттен нежно сжал ее локоть; да, конечно, вот это ему в ней всего милее, это живо и поныне, когда безвозвратно утрачены молодость, красота, изящество, нежная грудь в голубых жилках, душистые ямки подмышек и упругость розового подбородка, — жива непреходящая глупейшая, чисто женская уверенность, будто есть на этом свете власть, существующая только затем, чтобы по первому зову неукоснительно спешить на помощь невинным и угнетенным...

— Позови полицию, — сказала она, милая дурочка.

— Послушай, любовь моя, — сказал профессор. — Мы в незнакомой стране и не знаем ее обычаев. Здешним жителям мы наверняка не нравимся, мы из другой страны и говорим на другом языке...

— Мы говорим по-испански не хуже их, а может быть, и лучше, — как девчонка похвасталась фрау Гуттен.

Муж теперь часто приходил к ней с любовными ласками и она чувствовала себя уверенно, как новобрачная. С той самой ночи, когда, спасая Детку, утонул несчастный баск, муж, видно, вновь обрел былую мужскую силу. И она тоже стала как молоденькая, начала следить за собой, примери-

валась — что надо сделать, чтобы оставаться привлекательной? Первым делом — похудеть. В волосах седые пряди, их надо покрасить. Муж, безусловно, найдет себе кафедру в каком-нибудь хорошем немецком институте. Она настоит, чтобы он нанял секретаршу, и освободится от вечной каторжной работы — от поисков цитат, переписки на машинке, вычитывания корректур, от всех этих скучных обязанностей профессорской жены. Она сохранит себя для любви.

— Ты прав, — сказала она и взяла его под руку. — Это не наше дело, нас это ничуть не касается.

Фрау Шмитт прошла было несколько шагов по улице за Фрейтагом и его компанией, но услышала, что он приглашает всех пойти выпить, и остановилась. К ней приглашение не относится, это ясно, они ее словно и не замечают. Не то чтобы они хотели ее обидеть, нет, этого быть не может; просто они молоды, беспечны, беззаботны и думают только о себе. А у нее тоже есть своя гордость, в критические минуты она никогда еще не теряла собственного достоинства: пусть в душе ее рана, она так недавно овдовела, она слаба и уязвима, но лучше умереть, чем кому-то навязываться. Она купила кулек засахаренных фруктов и пошла обратно на корабль. Шла и ела один кусочек за другим, как можно незаметней: ведь только плохо воспитанные люди едят прямо на улице. Оставалось лишь надеяться, что никто ее не видит.

Движимый смутным желанием как-то скрасить свой убогий костюм, Глокен с завистью перебирал вывешенные у входа широкие алые пояса, какие носят только танцоры, нарядные ослепительно белые манишки в мелкую складку, кокетливые узкие воротнички для тореадорских рубашек. Галстуки все казались неподходящими — то узкие черные ленты, то уж такие яркие, кричащие, что в них только и идти на маскарад или какой-нибудь костюмированный бал. Глокен жадно взялся за тонкий шелковый шарф своего любимого ярко-красного цвета и набирался храбрости, чтобы спросить о цене, хотя заранее понимал, что такая покупка ему не по карману, но тут хозяйка, женщина с навек озабоченным лицом, мягко сказала ему:

— Да вы зайдите... у меня тут есть кое-что получше, чем на выставке, и недорого...

Глокен был не так глуп, чтобы усмотреть в этом деловитом лице хоть тень кокетства. Чего-то ей от него надо, но чего? Потом он услышал хорошо знакомые ненавистные голоса бродячих танцоров, и хозяйка сказала настойчиво:

— Войдите, пожалуйста. Помогите мне за ними последить!

Он пошел за нею, не столько чтоб ей помогать, скорее чтобы укрыться самому, и прислонился горбатой спиной к складкам шалей и мантилий.

Он видел, что хозяйка — женщина хитрая и осмотрительная. Она встретила ораву резким окриком: пускай остаются на улице, войдет кто-нибудь один, только один, кому они поручат сделать все покупки. Но ее точно и не слышали, ворвались в тесную лавчонку и пошли хвататься за что попало, спрашивать цены и препираться друг с другом. Глокен пытался спрятаться, но его углядела Конча.

— Смотрите, кто тут есть! Он нам принесет удачу! — кричала она в восторге, подбежала и дотронулась до его горба.

И все стали протискиваться и тянуться к нему, суматоха устроилась. Глокен пытался защищаться, еще глубже зарылся спиной в развешанные шали, прикрыл плечи ладонями. Но они все равно доставали его, больно хлопали по чему попало, и он уже не мог больше вынести. В ужасе он прорвался сквозь толпу и выбежал наружу, а там стояли на стреме Рик и Рэк, они завизжали и кинулись его догонять, им тоже хотелось удачи. Не разбирая дороги, Глокен налетел на Баумгартнеров и сразу за ними на семейство Лутц. Миссис Лутц тотчас же снова проявила себя как истинная мать и воспитательница: в мгновение ока дала Рику подножку, так что он с размаху растянулся на земле, ухватила Рэк за плечо, закатали ей отличную увесистую затрещину и сурово сказала Глокену:

— Почему вы не защищались? О чем вы только думаете?

Глокен, огорченный и пристыженный, сказал кротко:

— Ни о чем я не думал. Я, знаете, прямо как в осиное гнездо попал.

Они подошли к той лавке, но не рискнули войти внутрь.

Там все заполнили танцоры, хозяйка не в силах была за каждым уследить, не могла их выгнать, они ничего не слушали; наконец Лола, чтобы отвлечь ее внимание, бесконечно торгуясь, сыпля словами как горохом и всячески высказывая презрение к столь жалкому товару, взяла у нее крошечную пестро расшитую кисейную косыночку, отороченную кружевом, и выложила деньги. Тем временем дети вернулись на свой сторожевой пост; доведенная до отчаяния хозяйка, которую оттеснили куда-то в угол, закричала, чтобы все убиралось вон. И пока Лола расплачивалась и хозяйка отсчитывала ей сдачу, остальные толпой повалили на улицу — и со стороны сразу бросалось в глаза, что у каждого в самых неподходящих местах под одеждой проступали какие-то бугры и комки, а у Ампаро из-под черной шали свисал бахромчатый угол другой, белоснежной.

Орава хлынула через площадь и окликнула большой открытый экипаж, который волокла унылая костлявая кляча. Сперва в эту повозку взгромоздились женщины и дети; Маноло, Пепе и Тито уселись на подножках, а Панчо пригнулся рядом с кучером.

— Гони, — распорядился он. — Гони, мы опаздываем!

— Что за спех? — осведомился кучер. — Послушайте, сеньор, моя карета на шестерых, а вас десять; вы мне заплатите за десятерых. Я беру плату с каждого пассажира.

— Грабеж! — заявил Панчо. — Не стану я так платить.

Кучер натянул вожжи и остановил свою конягу.

— Тогда все слезайте, — потребовал он.

Лола подалась вперед.

— Чего мы стали? — спросила она испуганно.

— Он хочет нас ограбить, — сказал Панчо не слишком уверенно.

— Скажи ему, пускай едет! — взвизгнула Лола. — Болван, осел! Поезжай!

— Ты на кого орешь? Заткни глотку! — сказал Панчо.

— Эй, Панчо, — вмешался Тито, — ты не со своей Пасторой разговариваешь. Тут Лола заправляет, забыл? Поехали... — и спросил кучера, который тем временем, кажется, уснул вместе со своей конягой: — Сколько тебе?

Кучер мигом встрепенулся и назвал цену.

— И деньги вперед, сеньор, прямо сейчас, — прибавил он с находчивостью и самообладанием, какие дает только

опыт, многолетняя привычка к людскому коварству. — Сейчас, — повторил он и, не трогая вожжей, протянул ладонь горстью, — пускай тот, у кого есть деньги, положит их, куда следует.

И Тито уплатил.

Лутцы с Баумгартнерами разгуливали по острову и перепробовали все здешние удовольствия, в том числе и сладкие, крепкие местные вина, которые так веселят и успокаивают душу. Баумгартнер выпил стаканчика два-три лишних, да еще купил бутылку мальвазии, пообещав жене, что это ему будет вместо коньяка. Теперь, после неожиданного столкновения, миссис Баумгартнер сказала, что такова, видно, их злая судьба — нигде нет ни минуты покоя от этих негодяев танцоров: просто отравляют жизнь, и, видно, так будет до конца плавания...

— Нет, слава богу, они сойдут в Виго, и все остальные с нижней палубы тоже, — напомнил Лутц.

— Вот тогда на корабле станет приятно, — сказала его супруге фрау Баумгартнер.

— Ну, едва ли станет намного приятней, — возразила фрау Лутц, гася всякую надежду, — но мы вправе рассчитывать хотя бы на пристойную обстановку. Если бы на свете существовала хоть какая-то справедливость, этих скотов (она дернула подбородком в сторону тяжело удаляющейся старой колымаги, из которой торчало множество голов, будто из перенаселенного птичьего гнезда) надо было оставить в здешней тюрьме...

— Вместо несчастной графини, — прибавил Баумгартнер. — Я уверен, она ни в чем не виновата, просто несчастная дама очень больна, и у нее не хватает сил переносить страдания без помощи лекарств...

— Я никак не одобряю эту женщину, — возразила фрау Лутц. — Ни одного довода не нахожу в ее защиту. Но все равно, по-моему, это несправедливо, что она понесет наказание — пускай даже заслуженное, — когда гораздо худшие преступники выходят сухими из воды... Но чего еще можно ждать на этом свете?

Тут подал голос Глокен, смутно обиженный бестактным заступничеством фрау Лутц (конечно, она его выручила, но

ведь и выставила на посмешище), и перевел разговор с отвлеченных рассуждений к фактам.

— Они сегодня всюду воровали, на корабле они все время мошенничали... лотерею затеяли!.. а эти дети, маленькие чудовища, украли жемчуг графини и кинули за борт...

— Ну, это не доказано, — возразил Лутц. — И еще неизвестно, был ли это настоящий жемчуг, неизвестно даже, может быть, они выбросили не ее ожерелье, а просто какие-то бусы...

— Мой муж очень близорук, — холодно, сердито перебила фрау Лутц. — Во всяком случае, у него неважное зрение. Он не может в точности знать, что произошло, когда эти дети столкнулись с нами на палубе... А я все видела, и я точно знаю, это было жемчужное ожерелье с бриллиантовой застежкой, и эти выродки его украли, и девчонка швырнула его в воду. Только и всего, — язвительно сказала она. — Всего-навсего. Такие пустяки, разумеется, никого не волнуют, не следует беспокоиться из-за такой мелочи...

Лутц в свою очередь обратился к остальным, будто жены здесь не было — пускай знает, что он ею недоволен:

— Моя жена придерживается весьма строгих принципов, бедняжка, она полагает, что нет мелких прегрешений, каждое по меньшей мере стоит виселицы; не упомяну случая, когда она бы проглядела малейший чей-нибудь недостаток, кроме своих собственных, и бесполезно объяснять ей, что нельзя судить по наружности, по внешним обстоятельствам — даже в простейших случаях они еще не могут служить серьезной уликой...

— Эльза! — решительно вмешалась фрау Лутц. — Ты ведь тоже это видела, не так ли?

До сих пор Эльза стояла молчаливая, удрученная, не смотрела на родителей и почти не слушала, что они говорят, но тут вздрогнула и мгновенно отозвалась:

— Да, мама.

Очнулся и Баумгартнер и стал пожимать руку Лутца.

— Да вы говорите, как настоящий юрист, как хороший адвокат, это большая редкость, ведь неспециалисты обычно совсем не разбираются в великих принципах, определяющих цену свидетельских показаний, а это в судепроиз-

водстве основа основ... Поздравляю вас! Вы, наверно, когда-то готовились на адвоката?

— Нет, но у меня есть близкие друзья — юристы. В моем деле мне нужна бывала их помощь. Они давали мне хорошие советы.

Глокен страдал от пережитого позора: надо было проявить стойкость, остаться свидетелем грабежа и разоблачить танцоров, и пускай бы их у него на глазах арестовали и потащили в juzgado¹, — а он, чем бы повести себя как герой, малодушно сбежал. И даже допустил, чтобы фрау Лутц его защищала от детей... от детей, какое унижение! А потом он видел, как та банда удалилась с добычей, и другие тоже видели, но только смотрели и попусту болтали языками, и никто даже не заикнулся о том, что ведь и они виноваты, они — сообщники...

— Я знаю одно, нам следовало что-то предпринять, — сказал он, обращаясь ко всем сразу, и каждый по-своему посмотрел на него свысока.

— А что вы предлагаете? — спросил Лутц. — В моем деле мы на мелкие кражи смотрим сквозь пальцы: что потеряешь на одном посетителе, наверстаешь на другом. У нас в бюджете есть особая статья: замена мелочей, которые легко унести... вы не поверите, что за барахольщики эти туристы, даже самые почтенные с виду, — льстятся на всякую безделушку, сущие сороки. Так что я не отношусь к этому серьезно...

Лутц глянул на свои часы, потом на солнце. С востока опять, как и накануне, наплывали большие темные тучи. Остальные тоже стали смотреть на часы, и миссис Баумгартнер сказала:

— Уже поздно. Если мы пойдем пешком, как бы не опоздать на корабль.

— «Вера» нас подождет, — сказал Лутц.

Но приятный дурман от выпитого всеми вина уже рассеивался. На всех лицах отразилось смущение, каждому стало неловко перед остальными; порядком напуганные, они окликнули коляску и с неожиданной торжественностью подкатили к самому подножью трапа — матросы и впрямь уже готовились его поднять. В последнюю минуту, еле

¹ Участок, каталажка (*исп.*).

переводя дух, вся компания поднялась на корабль и присоединилась к остальным пассажирам, которые уже высыпали к борту полюбоваться суматохой отплытия. Поговаривали, что в открытом море разгуливается волнение. Оркестр заиграл «Прощай, мой маленький гвардеец», и сирийцы, которые кишели на пристани, пытаясь всучить туристам овчинные коврики и опиум, стали расходиться.

Между бортом «Веры» и причалом уже ширилась полоска воды, Санта-Крус, отдаляясь, опять хорошел, как хорошо показался издали впервые, а тем временем у борта стеснилась испанская труппа и в настороженном молчании не сводила глаз с какой-то женщины на берегу: женщина в отчаянии рыдала и, потрясая кулаками, выкрикивала яростные обвинения и проклятия верхней палубе отходящего корабля. Один из патрульных национальных гвардейцев, грозного вида верзила, оставил своего напарника и пошел унимать неприличный беспорядок. Взял женщину за плечи, повернул и торопливо повел подальше от иностранного корабля и его пассажиров. В его обязанности входило не допускать подобной вредной пропаганды. Такое поведение рисует город в невыгодном свете, как будто здесь не рады гостям.

— Убирайся отсюда, — сурово приказал он плачущей женщине.

Она укутала голову шалью и пошла прочь, не оглядываясь.

Дженни и Дэвид облокотились на поручни, и Дженни сказала:

— Одну остановку проехали. Теперь вот что, Дэвид... в Виго я попробую получить визу во Францию...

— Если мы зайдем в Виго, — сказал Дэвид.

— Говорят, зайдем. Высадят этих танцоров... и тогда я останусь в Булони.

— Если мы зайдем в Булонь, — сказал Дэвид.

— «Вера» станет там на рейде, а за нами придет катер, — сказала Дженни. — И мы переправимся.

— Кто сказал?

— Казначей.

— А кто это «мы»?

— Миссис Тредуэл, и я, и эти дураки студенты. Ну, по-

жалуйста, Дэвид, поедем со мной. Мне просто думать тошно, неужели ты поедешь дальше. Что ты станешь делать один в Испании?

— А что ты станешь делать в Париже?

— Там видно будет, — сказала Дженни.

Они перешли к другому борту.

— Сегодня ночью мы пройдем вдоль побережья Африки... в Санта-Крус ничего нового и удивительного не было, правда? Очень похоже на Мехико, кривые старые улочки, и говорят по-испански, и такие же лавчонки, и штукатурка тех же тонов... но ты заметил, странно было как раз в новой части города, в центре, где ведут торговлю и прочие дела со всем миром? Ты видел — там на кирпичной стене есть медная табличка — отделение банка Британской Западной Африки?

— Не видал, а что?

— Знаешь, на секунду мне показалось, что я далеко-далеко от дома, в очень чужой стране, и мне там совсем не нравится.

— А где он, наш дом, Дженни, ангел? — спросил Дэвид.

В голосе его прозвучала нежность, всегда такая неожиданная, и, как всегда, сердце Дженни растаяло; влажно блеснули глаза, она замигала и осторожно улыбнулась Дэвиду.

— Не знаю, — сказала она. — Все еще не знаю, только до него очень далеко.

Оба склонились над перилами борта, потерлись щекой о щеку, прильнули друг к другу, потом поцеловались, и Дэвид сказал внезапно, небрежно, словно между прочим, словно и не ждал, что его услышат:

— Получим в Виго французские визы, пересядем в Булони на катер и на другой день будем в Париже. Мне надоело спорить, Дженни.

Дженни обвила рукой его шею, уткнулась макушкой ему под подбородок.

— Хочешь, я расплачусь у тебя на груди, лапочка? Буду тереться носом о твой галстук и ронять слезы тебе за воротник? И пускай на нас смотрят, мне все равно!

— Перестань, Дженни, — сказал Дэвид. — Ты что, забыла, где находишься?

Она выпрямилась, достала из кармана пудреницу.

— А немножко позже мы поедем в Испанию, — пообещала она. — В Мадрид, и Авила, и в Гранаду, и всюду-всюду. Или, хочешь, давай поедем сперва в Испанию, а уже потом в Париж... правда, лапочка, я не против. Теперь мне все равно, куда ехать. Сойдем в Хихоне, ладно? И оттуда — в Мадрид.

Бешенство поднялось в Дэвиде, словно терпеливо таилось в засаде поблизости и только и ждало своего часа. Вот она, ее хитроумная уловка: всегда она упрямится, пока он не уступит, а тогда вдруг сама сдается, прикидывается такой покладистой, будто только того и хотела, и он остается в дураках. Но сперва он должен уступить. «Я перестану, если ты перестанешь...», «Я все сделаю по-твоему, только сперва ты сделай по-моему...» Вот и опять она взяла верх, а теперь, не угодно ли, отдает победу ему, показывает, как легко ей быть великодушной, идти за ним, куда ему хочется, в счастливом согласии... вот бы и пошла на это с самого начала, а не дергала его столько времени и не тянула из него жилы! Теперь-то, конечно, она начнет командовать поездкой по Испании, все переиначит по-своему, начнет с Хихона, а ему и в голову не приходило там высаживаться... Он молчал так долго, что Дженни встревожилась.

— Дэвид? — Она тихонько прислонилась к нему и заговорила самым нежным голоском. — О чем ты думаешь? Правда, было бы славно высадиться в каком-нибудь месте, о котором мы никогда и не думали, а оттуда просто пойти пешком по стране до самого Мадрида?

— А почему, собственно, до Мадрида? — спросил Дэвид. — Я вовсе не думал о Мадриде. Предпочел бы пока оставаться на побережье — может, в Сантандере, или в Сан-Себастьяне, или доехать до французской границы, в Ирун...

Дженни ощутила холодок разочарования.

— Что ж, — сказала она, — поедем, куда хочешь.

— Ты, кажется, забыла, мы едем в Париж. Испания отпадает, вспомнила? Мы едем вместе в Париж, а там посмотрим...

Дженни повернулась к нему, окинула строгим, оценивающим взглядом — не сердитым, не огорченным, не испуганным, не обиженным, нет, попросту критически неодобрительным, — и заговорила самым обычным своим голосом,

усиленно обычным, можно сказать, в энной степени, кисло усмехнулся в душе Дэвид.

— Хотела бы я, чтобы ты хоть один раз что-то выбрал, Дэвид, и уж держался своего выбора, пока мы не доведем дело до конца, или что-то не решим, или даже... а то, знаешь, сколько раз так бывало: ты тащишь меня за две мили к девяти вечера в ресторан ужинать, а у самых дверей передумаешь и тащишь меня еще милю куда-то в другое место, и кончается тем, что мы где-нибудь на улице, на углу, едим зеленые tamales¹, разогретые прямо в консервной банке... Неужели и вся эта наша поездка так обернется? Тогда, может, просто сейчас прыгнем за борт, и точка? Дэвид, ну чего ты, в конце концов, хочешь?

Этот поток слов мало трогал Дэвида, все равно как с гуся вода. Когда в Дженни просыпалась самая обыкновенная баба и все черты ее характера сплавлялись в бессмысленной чисто женской сути, выливались в слова, лишённые всякого подобия логики и разума, Дэвид испытывал огромное облегчение: ослабевал внутри тугой узел вечного напряжения, так приятно не принимать ее всерьез, не утруждать себя попытками что-то ответить, объяснить, успокоить; ссоры теряли всякую остроту, даже воспоминание о любви теряло всякий смысл; человек не обязан ни на волос поступаться своим мужским достоинством ради женщины, не обязан хоть на миг принимать ее во внимание и хоть на грош уважать, если она так его шпыняет, все равно что булавками тычет. Нет, право, какое облегчение видеть, что Дженни, такая особенная, удивительная, не похожая ни на одну женщину на свете, сливается с безымянной, безликой, неисправимой напастью, бичом мужчины, — с болтливой, сварливой, придиричливой самкой Высшего Примата. Прыгнуть за борт? Да чего ради? Он заметил, что волна стала круче, уже ощущалась качка. На сей раз Дженни наговорила больше глупостей, чем обычно, когда она начинала рассуждать по-женски.

— Мой выбор сделан, — сказал он. — Ты меня не слушала, Дженни, ангел. Мы едем в Париж, это решено бесповоротно. — (Место ничуть не хуже других, там вполне можно покончить с этой историей раз и навсегда: Берлин,

¹ Мексиканское блюдо: толченая кукуруза с мясом и перцем.

Мадрид, Париж — не все ли равно?) — Оставим пока что Испанию в покое. Пора заняться Францией.

— Ты и займись, — сказала Дженни так мило, будто перед тем не произнесла ни одного недоброго слова. — Посмотрим, как оно получится в Виго. — И прибавила почти робко: — Ты такой душенька, что не рассердился на меня, когда я сейчас взвилась. Дэвид, ты, конечно, не поверишь, но я очень счастлива... очень. Пожалуйста, забудь все, что я наговорила...

— Я уже забыл, — успокоил Дэвид, и веселая злость заиграла в нем, точно затаенная улыбка.

Раздался горн к ужину, но они еще несколько минут помешкали. Корабль выходил из гавани, тут волнение так разыгралось, что катерок лоцмана едва не захлестнуло. Матрос у руля промок до нитки и с немалым трудом удерживался на ногах.

Лоцман спустился по веревочному трапу, словно паук по паутинке, и спрыгнул в катер, который едва не опрокинулся. Взялся за руль и круто повернул суденышко. Яростная короткая схватка — и мотор заглох. Минуту-другую лоцман стоял неподвижно, удерживая рулевое колесо в нужном положении, и глядел вверх, на высоченный, угрожающе нависший над ним нос корабля.

— Нет, ты только посмотри на него! — сказала Дженни.

Она перегнулась через перила, сорвала с себя красный шарф и принялась всю им размахивать. Наконец лоцман заметил ее знаки; широким движением, полным изящества, он снял скромную лоцманскую фуражку и помахал в ответ. Дэвид стиснул пальцами перила и откачнулся назад, руки его напряглись, закаменели до самых плеч. Его передернуло. А Дженни все медлила у борта, шарф болтался в руке, черты смягчились, лицо так и светилось весельем и лаской. Дэвид взял ее за локоть и почти оттащил от борта.

— Подожди, посмотрим еще, как он справится, — сказала она.

Но Дэвид на сегодня был по горло сыт ее причудами.

— Он прекрасно справится, а сейчас пора обедать, — сказал он.

И Дженни пошла, как это изредка случалось, с хорошо разыгранной покорностью. Обычно это означало, что она уже обдумала для себя новую забаву, еще того похлеще.

За ужином она подняла первый бокал вина и, глядя на Дэвида, сама не зная отчего почувствовала, что никогда в жизни ей не было так хорошо и весело. Дэвид задумался о чем-то своем; корабль сильно зарывается носом, и от качки должно бы, кажется, холодеть все внутри, но Дженни не ощущает холода. Все те же столики вокруг, и за ними все те же пассажиры — да, почти все здесь, и у всех обычные, уже хорошо знакомые лица. Дженни еще не пила, вовсе не Канарское вино дурманит ее этой чудесной радостью. Вот, немного припоздав, явились танцоры, усаживаются за стол хмурые, молчаливые; даже Рику и Рэк изменила обычная живость.

— Я слышала, детей ужасно избили из-за того жемчужного ожерелья... прямо до бесчувствия, — сказала Дженни. — Но по ним этого совсем не видно, правда?

— Я ничего такого не слышал, кто тебе сказал?

— Вильгельм Фрейтаг, а ему сказал казначей. А *condesa* остановилась в какой-то маленькой гостинице, и студенты проводили ее до самых дверей, потом накупили на рынке цветов, полную тележку, и расставили у нее под окнами и велели слугам убрать цветами ее балкон. Но *condesa* к ним не вышла и не захотела с ними говорить.

— Кто тебе все это рассказал? — спросил Дэвид.

— Фрейтаг, пока мы шли в гору, а ты крался по пятам.

— Крался по пятам, — задумчиво повторил Дэвид. Потом спросил: — А откуда Фрейтаг так быстро это узнал?

— Один агент тайной полиции все видел, а перед отплытием приходил на корабль.

— Сдаюсь, — сказал Дэвид. — Не понимаю, когда можно было все это успеть.

— Как-то успелось, — сказала Дженни. — Раз все это произошло.

Дэвид заговорил о другом. Не без любопытства он наблюдал за испанцами. Они сосредоточенно ели, не разговаривая, почти не поднимая головы, набивали полный рот.

— Прямо как немцы, — заметил Дэвид. — Что ж, наверно, когда полдня воруюсь по магазинам, можно проголодаться.

Дженни рассеянно потыкала вилкой увядший салат.

— Ну скажи на милость, неужели нельзя было запастись на острове свежим салатом.

— Можно и тифом и холерой, — кратко ответил Дэвид, не желая отрываться от *Eisbein mit Sauerkohl und Erbsenpu-
ree*¹ и, конечно, от горки жареного лука.

— Уж эти чистюли, — сказала Дженни.

Жизнь в Мексике отнюдь не научила ее опасаться микробов, напротив, она прониклась искренним презрением к иностранцам, которые непременно все кипятят перед тем, как надеть или взять в рот, и не знают вкуса сочных плодов и восхитительных национальных блюд, что дымятся в глиняных горшках по индейским деревням. Сейчас она была не голодна, по крайней мере этой плотной, тяжелой еды вовсе не хотелось. Удивительно, Дэвид всегда с одинаковым аппетитом уплетает, что ни дадут, — будто на редкость прожорливый птенец поминутно разевает клюв и заглатывает без разбору все, что перед ним маячит. Но у него хотя бы от-
личные манеры, он не хватает жадно большие куски, не давится, не чавкает, не захлебывается, не разговаривает с набитым ртом. Старые тетки-скупердяйки хоть и морили его в детстве голодом, но то небольшое, что давали, научили есть прилично. И все-таки поразительно, до чего неутомимо он очистил полную тарелку и положил себе еще. Всегда он доедает все до кусочка, до последней крохи, и не только за завтраком, обедом и ужином, но и в полдень допьет до капли бульон, и за вечерним чаем не оставит ни единой хлебной крошки. А меж тем, когда он опускает глаза или смотрит по сторонам, примериваясь, что бы еще съесть, веки его как-то жалко вздрагивают, губы приоткрываются — этакая фальшивая мина голодного несчастного сиротки... видя его таким, Дженни всегда ожесточалась. Вот и сейчас к ее веселости примешалась злость, и она стала про себя сочинять историю Дэвида заново. Он, конечно, подменыш, как в сказке, вот он кто. Проказники-эльфы выкрали младенчика из колыбели и взамен подкинули матери свое исчадие. Все приметы сходятся, бедный мой Дэвид. Такой ребеночек все ест, ест — и никак не насытится, и ничуть не прибавляет в весе; как бы нежно его ни любили, он не умеет полюбить в ответ; ничто не заставит его заплакать, и ему плевать, сколько горя он доставляет всем вокруг; он берет все, что только может, но никогда ничего не дает; а потом

¹ Свиные ножки с кислой капустой и гороховым пюре (нем.).

однажды он исчезает без следа, не простясь, ни слова не сказав.

— Вот чем кончают эти негодники, — рассказывала старая няня-шотландка, когда Дженни было шесть лет. — Сколько есть на свете таких матерей: думает, бедняжка, что ее неслуж сынок сбежал в матросы или пошел бродить по свету, в Индию там, или в Африку, или в пустыни Калифорнии, и удивляется, несчастная, я ж, мол, на него всю душу положила, а он какой неблагодарный. А того не знает, что все время пригревала на груди змею... нет, эти гаденыши промеж людей не остаются, они уж непременно воротятся к своей нечистой силе и потом весь свой век тоже выкрадывают младенцев, а в колыбели кладут подменышей!

Лишь много лет спустя Дженни пришло в голову: а что же они делали с краденными младенцами? — но поздно, задать этот вопрос было уже некому.

Стюард наконец забрал у Дэвида тарелку и поставил перед ним большущее яблочное пирожное со взбитыми сливками.

— Ну и проголодался же я, — признался Дэвид, дружески улыбаясь Дженни, и вонзил вилку в пирожное.

А что же делали эльфы с краденными младенцами?

Дженни поглядела по сторонам.

— Похоже, все устали. Так было и в Веракрусе, и в Гаване. Вспомнили, что все мы чужие и друг другу не нравимся. Все куда-то едем и рады будем друг с другом распрощаться. Брр, я до самой смерти не пожелаю даже открытку от кого-нибудь из них получить, просто думать противно!

Дэвид подхватил еще кусок пирожного.

— Даже от Фрейтага противно? — переспросил он.

Дженни отложила ненужную вилку, взяла салфетку, бросила.

— Ладно, Дэвид. Спокойной ночи. Приятных снов, — сказала она гневно.

Поднялась — легко, стремительно, словно в ней распрямились не мышцы, а пружины, — и понеслась прочь летящей походкой, вся прямая, скользя, как на коньках... А Дэвид доел пирожное и выпил кофе.

Пассажиры вразброд выходили из кают-компания, делали круг-другой по палубе и скрывались. В иллюминаторах рано погас свет. Капитан, стоя на мостике, проглотил таблетку висмута и отправился спать, махнув рукой на легенду, будто он, а не второй помощник выводит корабль в открытое море после того, как его покидает лоцман. Казначей послал за кофе и пирожным и, подкрепляясь, то и дело клевал носом над своими счетами и ведомостями. Доктор Шуман, двигаясь как во сне, пошел в обход по нижней палубе, осмотрел новорожденного с воспаленным пупком, дал успокаивающего человеку, который страдал от судорог, перевязал рану на лбу одному из участников недавней драки, и теперь старался худо ли хорошо ли скоротать эту злополучную ночь, и чувствовал, как все ширится океан, и даль, и само время, отделяя его от острова, которого ему больше не видать, да, в сущности, он и не увидел этот остров, а лишь крутую дорогу от порта в гору, и на дороге — маленькую белую коляску, что медленно взбиралась по склону и уносила с собой тщетные надежды и суетные мечты всей его жизни. Хорошо отцу Гарса говорить: «Обращайтесь с ней как с закоренелой грешницей, с неисправимой еретичкой, не попадитесь в ее тенета», ничего эти слова не меняют, ничего не значат. Доктор прошел по верхней палубе, приветственно махнул рукой музыкантам — они, сыграв что-то для порядка, уже убрали на ночь свои инструменты; уступил дорогу матросам, которые в этот час безраздельно хозяйничали на корабле — великолепные здоровые молодые животные, ни у кого ни одного издерганного нерва, такие счастливы, во всей команде ни одного больного, разве только паренек с блуждающей почкой, да и тот все еще управляет подвижными играми на палубе, и ему это, похоже, ничуть не вредит, и никто не обратил внимания на совет доктора Шумана подлечить и поберечь этого малого. Доктор Шуман подавил желание спросить, как он себя чувствует, и на ходу мельком, без обычной щемящей жалости, глянул, как молодой красавец, олицетворение бессмысленного здоровья, вывозит в кресле на колесах свихнувшегося умирающего старикашку — глотнуть перед сном свежего воздуха. В который раз доктор Шуман отметил на угрюмом, надутом лице красавца непоколебимую утробную уверенность в своем праве обижаться на весь

свет и ощутил внезапный укол странной зависти: неплохо быть таким вот нелепым бессердечным глупцом.

Похоже, они теперь идут вдоль берегов Африки, решил Глокен, ведя пальцем по карте атласа, взятого в судовой библиотеке. Он никак не мог отделаться от мыслей о минувшем дне в Санта-Круссе — вспоминался не город, не люди, но собственная неприглядная роль в том, что произошло на глазах у других пассажиров «Веры», — теперь они, конечно, станут его презирать за то, что ему не хватило присутствия духа, даже за трусость. Стоило мысленно произнести это слово, и его бросило в дрожь. Холод болью пронизал все тело, оледенил все кости и кровь в жилах, заняли зубы, даже двойная доза лекарства почти не облегчила страданий. Он все-таки поужинал — надо же как-то поддержать силы — и рано лег, чтобы хоть час побыть в каюте одному. Свернулся на боку под одеялом, взбил повыше подушки и раскрыл большую неудобную книгу, полную сведений, которые, пожалуй, помогут уснуть. «Новейшие карты, — обещало предисловие, — все страны... все государства... климатические пояса... путешествия и открытия... статистические сведения об океанах, озерах, реках, островах, горах и звездах...» Водя пальцем по карте, Глокен ясно видел, что в эти часы корабль огибает ничем не примечательные берега Африки, тут даже нет ни одного порта. Не все ли равно, где он, Глокен, сейчас находится и что делает? И он уснул.

Когда немного позже пришел Дэвид, свет в каюте еще горел, но Глокен дышал ровно, лицо его заслонял раскрытый атлас. Дэвид осторожно убрал книгу и погасил свет, не потревожив спящего. Потом вспомнил, что видел в баре Дэнни, который, кажется, уже насквозь пропитался спиртным, если вздумает закурить и чиркнет спичкой, того и гляди сам воспламенится. Хотя нет, не дожدهшься такого счастья; просто он явится среди ночи, пойдет спотыкаться обо все, что есть в каюте, наполнит ее вонью перегара и пота, пьяным бормотаньем...

Поразмыслив, Дэвид задернул койку Глокена занавеской, снова зажег лампу, чтобы Дэнни не путался в темноте, лег в постель и тоже задернул занавеску. Сознание словно выключилось, не изменил лишь самый краешек, во всяком случае, слышна была лишь одна мыслишка, упрямый голос,

что опять и опять твердил тупо, как попугай: «Все к черту. Удрать с корабля. Сойти в Виго и двинуть куда глаза глядят. Удрать с корабля. Все к черту...» Так оно и гудело в голове, пока Дэвид не сообразил, что с таким же успехом можно считать баранов. И стал медленно считать: один баран, два барана... и при этом глубоко, мерно дышать — этой хитрости его научила мать, когда ему минуло пять лет и колыбельные песенки и сказки его уже не усыпляли. И старое-престарое средство отлично подействовало: он проснулся наутро бодрый и свежий, над ухом громко зевал и что-то бурчал Дэнни, Глокен умолял кого-нибудь подать ему стакан воды, а за стенами каюты горн настойчиво звал завтракать.

Дженни проснулась рано, выглянула в иллюминатор — какова погода? Небо белесое, солнца не видать, вода серая, и на ней впервые серебрятся барашки. Ей стало зябко, и, одеваясь, она натянула свитер. Ночью корабль пересек некую границу, тут было уже не лето, но ранняя осень.

Эльза открыла глаза, потянулась, подошла к иллюминатору и с наслаждением вдохнула прохладную сырость.

— О, посмотрите, — удивилась и тихо обрадовалась она, — это совсем как в Европе, так туманно, и смутно, и мягко, теперь я вспоминаю. Как будто мы уже почти дома. Даже странно, что я когда-то жила в Мексике...

— Но ведь в Швейцарии, я слышала, сплошь — солнце и яркие краски? — заметила Дженни. — Я думала, там никогда не бывает пасмурно. Только солнце и снег. Во всех путеводителях так сказано.

Эльза, которая совсем было высунулась в иллюминатор, обернулась к ней. Не по-девичьи грубоватые черты ее смягчило подобие улыбки — не бог весть какая обаятельная, она все же украсила это всегда унылое и недоумевающее лицо.

— Нет-нет, — сказала девушка со странной горячностью, даже с гордостью, — у нас в Санкт-Галлене и туман бывает, и дождь, как повсюду. — И прибавила со вздохом, с надеждой отчаяния: — Может быть, там будет лучше жить.

Доска объявлений вновь запестрела чисто морскими сведениями: прибытие и отправление кораблей, забастовки и другие беспорядки в разных портах мира; волнения на Кубе, волнения в Испании, волнения в Германии; узлы, широта, долгота, восход и заход солнца, в какой фазе Луна, какая погода ожидается на завтра; а кроме того — разные игры, «бега», кино, корабельный бильярд — и ко всему испанская труппа известила, что долгожданное празднество в честь уважаемого капитана «Веры» состоится нынче же вечером: будет ужин, музыка, танцы, блестящее комическое представление силами артистов труппы — устроителей вечера и, наконец, будут разыграны великолепные призы для счастливых, которые запаслись билетами вещевой лотереи. Приходите в масках, наряжайтесь как душе угодно. Праздничное новшество: все пересаживаются за любой стол, кому как захочется. Еще осталось несколько непроданных билетов, донья Лола и донья Ампаро будут рады предложить их всем желающим. Утром в баре выставлены будут для всеобщего обозрения призы, которые предстоит разыгрывать в лотерее. Милости просим.

Несколько пассажиров, которые прежде служили мишенью для грубых нападков из-за этой лотереи, теперь проходили мимо доски, осторожно, искоса на нее поглядывая — в том числе Глокен, Баумгартнеры; Рибер улучил минуту, когда Лиззи не было по соседству: мало ли что еще выдумают эти подонки; и даже Фрейтаг из чистого любопытства подошел и начал читать.

— Совсем другой тон, — сказал он Гуттенам, которые подошли следом. — Я бы сказал, зловещая перемена. Что-то поздновато они надумали щеголять перед нами своими манерами.

— Хорошими манерами, — поправил профессор. — Они уже довольно долго нам демонстрировали свои дурные манеры. Что ж, это перемена к лучшему. Я бы сказал, дорогой сэр, даже если перемена чисто внешняя, кратковременная и вызвана не слишком достойными побуждениями...

— А какие у них еще могут быть побуждения? — спросил Фрейтаг.

Он вдруг развеселился. В том, как господин профессор мгновенно ухватывает любую тему, любой предмет и лю-

бые обстоятельства, вливает в изложницу своего сознания и выдает вам уже переплавленную, отлитую в стандартную форму без единого шва и зазубринки, есть что-то донельзя потешное, подумал он не без злорадства. Это уже занудство на грани гениальности.

Фрау Гуттен слегка дернула поводок, подавая знак Детке. Муж понял намек, и они отправились в бар. Супруге профессора не терпелось посмотреть, с какой же добычей вороватые танцоры возвратились на корабль. И не ее одну одолевало любопытство. Лола и Ампаро, на диво свеженькие и не такие неприветливые, как обычно, стояли по обе стороны своеобразной выставки: тут был длинный узкий стол на козлах и над ним полка, подобие витрины, которую соорудили общими силами буфетчик и судовой кладовщик, — то и другое заполнено очень недурными трофеями разбойничьего налета; больше всего тут было предметов по дамской части, предполагалось, что выиграют их женщины либо мужчины для своих дам.

— Что ж, если вам по вкусу кружева, это годится, — заметил Дэвид, обращаясь к миссис Тредуэл.

Она неопределенно улыбнулась.

— Обычно кружева мне по вкусу, но не сегодня, — сказала она и прошла мимо.

Выставлено было довольно много высоких резных черепаховых гребней тонкой работы, несколько кружевных скалтертей, прозрачная черная кружевная мантилья, большая, расшитая цветами белая шаль, яркие шарфы, довольно грубое кружевное покрывало, немало белых и черных кружевных вееров, две нижние юбки со множеством оборок и солидный кусок воздушно легкой вышитой белой ткани. Фрау Шмитт не могла понять, то ли это материя на оборки для нижних юбок, то ли для алтарного покрова. Так или иначе, она запретила себе льститься на эту ткань или хотя бы восхищаться ею, ведь тут все краденое, и этих испанцев надо бы разоблачить и наказать. Но кто их разоблачит? И перед какими властями? Кто станет ее слушать? Довольно у нее своих забот и своего горя, нестерпима самая мысль из-за чего бы то ни было еще раз выслушать от кого-то грубые, унижительные слова. Ужасный мир, дурной и недобрый, и она в нем так беспомощна. Она протянула руку, осторожно двумя пальцами потрогала матерю.

— Очень красиво, — почти шепотом по-немецки сказала она Ампаро.

Ампаро мигом выставила правую руку с билетами, левой вытянула один из пачки.

— Четыре марки, — сказала она, как будто фрау Шмитт уже попросила билет.

— Подождите, — задохнулась фрау Шмитт и принялась шарить в сумочке.

Дэнни, изрядно помятый после вчерашнего, все же ухитрился на минуту перехватить Пастору. И вот они сидят за столиком в баре, неподалеку от стойки. Он для подкрепления сил пьет пиво, она маленькими глотками прихлебывает кофе и зорко присматривается к нему. Позднее он сообщил Дэвиду, что никак не может понять, в чем суть всей этой затеи с праздником, но по словам Пасторы выходит, будто предстоит отличная и вполне невинная забава, «самый настоящий baile¹, — сказал он, — этакий общий пляс, в Браунсвилле и в окрестных городках мексикашки чуть не каждый день такие танцульки устраивают. Что ж, ладно. Так ли, эдак ли, а я сегодня от этой девки своего добьюсь или уж буду знать, какого черта она меня водит за нос». А пока он решил воздержаться от спиртного и на танцульку явиться в наилучшем виде.

У господина Баумгартнера была излюбленная теория: участвовать во всяком празднестве, не нарушать компании — святая обязанность каждого человека, и все равно, здоров ли ты, болен ли душой или телом, уклоняться от нее нельзя ни под каким видом. Его родители сначала одобряли такое поведение сына, ведь все дети любят веселиться; потом стали огорчаться, видя, что он готов пренебречь всеми домашними обязанностями, забросить все уроки, нарушить подчас самым дерзким образом все установленные в семье правила и порядки ради самых пошлых мимолетных развлечений — и порой в самой нежелательной компании. Фрау Баумгартнер долгие годы терпела мужнины

¹ Бал, танцевальный вечер (*исп.*).

причуды и поневоле согласилась с его родителями: есть в нем какое-то неизлечимое легкомыслие, с этим ничего поделать нельзя. И однако она не могла удержаться, опять и опять наставляла и остерегала супруга, протестовала не против каких-нибудь невинных развлечений (кто же тут станет возражать?), но против возвращений среди ночи, неумеренной выпивки, бесконечной картежной игры с неизбежными проигрышами; протест вызывали чисто мужские забавы Turnverein, где без конца гоняли шары на бильярде, чуть не до утра хором горланили песни, размахивая пивными кружками; и напрасно он с оравой приятелей гоняет по ярмаркам, по уличным тирам и стреляет по глиняным мишеням, и до тошноты объедается острой мексиканской стряпней, а потом приносит домой охапки «трофеев» — безвкусные дрянные куклы, какие-то вазы, заводные игрушки, давно уже неинтересные даже Гансу, хоть он из вежливости притворяется, будто рад им. О, она старалась изо всех сил и однако, быть может, сама виновата, что мужа — а ведь он, конечно же, ее любит, и в первую пору их брака был такой восхитительно веселый, и до последних лет, надо признать, оставался преданным мужем, отцом и кормильцем семьи, — не она ли виновата, что его не удовлетворяют радости домашнего очага, мирные семейные обычаи, общество милых его сердцу жены и сына? Страшно подумать, но, кажется, никогда она этого не узнает.

И потому она не удивилась, только смотрела с неудовольствием, когда среди дня он стал шарить по тесной каюте, отыскивая что-нибудь позанятнее из одежды, что пригодилось бы для карнавала, для корабельного маскарада. Он натянул на себя ее жакет из шотландки в белую и красную клетку — оказалось, жакет сидит на нем как раз настолько нескладно, что смешно смотреть.

— Что ты делаешь? — спросила жена.

Она заранее знала ответ.

— Просто не понимаю! — воскликнула она. — С какой стати нам связываться с этими негодями? Они уже выманили у нас деньги, а в Санта-Крусе тащили все, что попадалось под руку... мы же своими глазами видели. Ну зачем, зачем ты пойдешь на их праздник?

— Все равно это праздник, — серьезно сказал Баумгартнер, примеряя фальшивую бороду, которая так напугала од-

нажды маленькую кубинку. — Зачем же омрачать общее веселье. Детям, уж во всяком случае, можно немножко позабавиться. — И он улыбнулся Гансу, который так и сиял, глядя на отцовские приготовления. — Уж дети-то ни в чем не повинны, — прибавил Баумгартнер вкрадчиво, — зачем же их наказывать за грехи старших?

— Ах, дети! — язвительно повторила жена и так сурово посмотрела на Ганса, что он поежился. — Это что ж, по твоему, их бандиты близнецы ни в чем не повинны? Забыл, как они бросили за борт несчастную собаку и из-за них утонул тот бедняга с нижней палубы? Ты о них тоже заботишься?

— А почему бы и нет? — спросил Баумгартнер, ни к селу ни к городу впадая в благочестивый тон, что всегда было женой. — Господь им судья, не нам их осуждать. И потом, еще не доказано, что это их рук дело.

— Не доказано! — Миссис Баумгартнер изо всех сил сдерживалась и не повышала голоса. — Какие нужны доказательства? Кто еще на корабле и вообще в целом свете способен на такую гадость, кроме этой парочки? Нет, видно, ты сам — святая невинность, даже чересчур.

— Что ж, надеюсь, хоть прошло немало лет, я сохранил крупичу такой святости, — самодовольно ответил супруг и нацепил огромный красный картонный нос, который держался, точно очки, на проволочных оглоблях. — Я поступлю очень просто. Раздобуду каких-нибудь игрушек для детей и постараюсь их немного позабавить. Но хотел бы я, чтобы ты относилась к этим безобидным развлечениям с толикой доброты, моя дорогая.

Жена была застигнута врасплох.

— Но я же и не хочу быть недоброй... только иногда я не совсем понимаю...

— Пожалуйста, нарядись и ты, — сказал муж. — Надень то миленькое крестьянское платье, в Мексике на наших праздниках ты всегда наряжалась баварской крестьянкой. Ну пожалуйста, ради меня! — упрашивал он, и глаза его увлажнились от нежности, которая не очень сочеталась с шутковским красным носом.

— Я подумаю, — сказала жена, и он тотчас понял, что она исполнит просьбу.

Ганс сидел в сторонке, на нем была бумажная ковбой-

ская широкополая шляпа, на шее висел маленький барабан, и он, как всегда, терпеливо ждал, когда же родители все обсудят и что будет дальше. Но вот отец сказал:

— Ну, Гансик...

Мальчик вскочил, шагнул к двери. Но тотчас раздался голос матери, в котором звучала знакомая предостерегающая нотка, — и он замер на месте, по затылку пошел холодок.

— Поди сюда, поцелуй меня, — велела мать.

Он послушался, и сейчас же они с отцом улизили, отец вдруг нахмурился, точно у него опять заболел живот. Прежде чем выйти на палубу, Баумгартнер остановился, вытащил из заднего кармана бумажный колпак, который дал ему стюард, и нахлобучил до самых ушей.

— Ну, — весело крикнул он и наклонился, чтобы Ганс получше его разглядел, — по-твоему, кто я такой?

И запрыгал, заплясал по кругу: гоп-гоп-прыг-скок!

— Румпельштильцхен! ¹ — во все горло заорал Ганс.

— Верно! — восторженно рявкнул отец.

И они выбежали на палубу, для обоих праздник уже начался.

Дженни сидела на краешке шезлонга и при лучах предвечернего солнца по памяти рисовала морскую чайку в полете. Исчеркала несколько страниц — тут и с полдюжины торопливых набросков, в которых кое-как угадывается летящая птица, и сухо, старательно вычерченная голова чайки, где каждое перышко отчетливо, как звено старинной кольчуги. По обыкновению все никуда не годится. Дэвид сидит рядом, перечитывает «Дон Кихота» — наверно, в десятый раз. «Лучший способ освежить свои познания в испанском», — говорит он. Его альбом для зарисовок, перевязанный тесемкой, прислонен к шезлонгу. С тех пор как Дженни не пожелала показать ему свой рисунок, прямо из рук вырвала, он больше не рисует, сидя рядом с ней, и никогда не спрашивает, над чем она работает. А она прикидывается, будто ничего не замечает... интересно знать, долго ли так может продолжаться.

¹ Карлик, гном в немецких сказках.

— Пожалуй, я пойду, пора переодеться, — сказала она. — Может быть, стюард лишний раз устроит для меня душ.

Не поднимая глаз от книги, Дэвид сдержанно осведомился:

— Ты что же, в самом деле собираешься наряжаться для этого дурацкого праздника?

— Нет, я просто хочу переодеться, — сказала Дженни. — Вечером я всегда переодеваюсь. Ты разве не замечал?

Господин Баумгартнер появился во главе процессии, взмахивая какой-то палкой, точно тамбурмажор; он выступал гусиным шагом, и так же гусиным шагом, толпясь и визжа, топали за ним детишки. Судовой кладовщик раздал им дудки, барабаны, трещотки, свистульки — и они дудели, свистели, трещали, барабанили всласть. Ганс шагал рядом с отцом, за ними — маленькие кубинцы, а близнецы замыкали шествие: Рик бил в барабан, Рэк стучала одну о другую сушеными тыквами, на лицах у обоих было непривычное, едва ли не впрямь ребяческое удовольствие. Когда процессия подошла ближе, Дженни улыбнулась и легонько зааплодировала. Баумгартнер сверкнул на нее глазами поверх картонного носа и крикнул с жаром, в котором не было никакого веселья:

— Пошли бы с нами! Помогли бы!

— На что вам моя помощь, — возразила Дженни.

И все-таки пошла с ними. Дэвид со страхом затаил дыхание — не хватало еще ей перейти на гусиный шаг! От нее всего можно ждать, она способна в любую минуту выставить себя на посмешище. Он всегда терпеть не мог в женщинах шутовства и сейчас, как всегда в подобных случаях, с отчаянием думал, что Дженни очень свойственно кривляться и дурачиться. Вот она скрылась в баре вслед за маленьким карнавальным шествием, прошла обычной спокойной походкой, только мерно хлопала в ладоши: Баумгартнер с Гансом увлеченно запели: «Ist das nicht ein gülden Ring? Ja, das ist ein gülden Ring»¹, а близнецы и маленькие кубинцы только взвизгивали более или менее в такт. Они шагали

¹ Где колечко золотое? Вот колечко золотое (нем.).

между столиками, высоко выбрасывая несгибающиеся ноги, и все, кто сидел в баре, поспешно убрали подальше стаканы и рюмки. Баумгартнер на минуту перестал петь, посмотрел по сторонам и, озабоченно хмурясь, горестно воззвал ко всем присутствующим:

— Пошли бы с нами! Помогли бы!

Маленьких весельчаков удостоили снисходительными взглядами и сладкими улыбочками, как оно и положено в таких случаях: детские радости, увы, мимолетны и, разумеется, священные, как бы они нам порой ни докучали, — но никто не поднялся, даже головы не повернул, не поглядел вслед, когда беспокойные гости удалились; Баумгартнер постарался скрыть разочарование и вывел шествие на палубу, топя все тем же гусиным шагом, который болью отдавался в позвоночнике и который был ему ненавистен еще в годы военной службы. Он провел их по палубе вокруг всего корабля и отпустил, снова подойдя к бару, — пускай бегут к родителям... только Ганса он отослал в каюту к матери, точно в наказание неизвестно за что. Ганс пошел, унося игрушки и чуть не плача: что случилось, что он сделал плохого? Близнецы и кубинские малыши, каждый со своей добычей, тотчас разошлись в разные стороны, не обменялись ни словом, ни взглядом, про Баумгартнера они мгновенно забыли. А он только того и хотел — быть забытым и все забыть: остаться бы одному, укрыться от всех глаз, да бутылку бы коньяку!.. Но ничего этого не удалось, и он спросил большую кружку пива и сел, смущенный, виноватый, не смея приняться за коньяк, покуда не пришла жена — она взяла с него слово, что он никогда больше не станет пить в ее отсутствие. Так он уныло сидел несколько минут, потом спохватился и снял фальшивую бороду, картонный нос и колпак. Перед самым ужином к нему присоединились жена с Гансом; на ней был кружевной чепец с развевающимися лентами, сборчатая кофта и широчайшая юбка, она напудрилась, и пахло от нее французским одеколоном «Сирень»; Баумгартнер отставил третью кружку пива и с благодарностью наклонился к жене.

— Грета моя, ты очаровательна... ты все та же, моя девочка. Ты ни капельки не изменилась со дня нашей свадьбы! Прошло столько лет...

— Ровно десять, — добродушно перебила она. — И у

тебя очень короткая память. Ты же обещал не пить без меня...

— Ну да, — подтвердил он жизнерадостно, вновь ощущая в желудке не боль, но приятное тепло, — но я думал, речь шла только про коньяк.

— Ни про какой коньяк мы не говорили. Ты вообще никогда ничего не должен пить один!

Он попробовал обратить все в шутку:

— Даже лимонаду нельзя? И воды? И кофе?

— Чепуха, — резковато сказала фрау Баумгартнер. — Ты выворачиваешься как юрист. Мы оба прекрасно знаем, что ты обещал. И напрасно ты надел мой жакет. Растянешь его, и он потеряет всякий вид. Я считаю, неприлично мужчине рядиться в женское платье, даже и на маскарад... — Она стесненно огляделась, но бар почти опустел. — Еще пойдут толки, — прибавила она.

— Я поищу что-нибудь другое, — огорченно сказал Баумгартнер.

— Зачем? Слишком поздно... — возразила жена. — Все уже видели тебя в моем жакете. Знаешь, пожалуй, я тоже выпью пива.

Ганс сидел облокотясь на стол, упершись подбородком в ладони и ждал, пока кто-нибудь из них вспомнит заказать для него малиновый сок.

Фрейтаг вернулся к себе в каюту, собираясь вымыться и побриться, и застал там Хансена, тот, полуодетый, раскинулся на верхней полке, с койки свешивались босые ноги.

— Что случилось? Укачало?

Над краем койки появилась широкая унылая физиономия.

— Меня-то укачало? — Он, кажется, готов был разобидеться. — Я родился на рыбацьем судне.

После такого, можно сказать, откровенного признания он опять повалился на койку, уставился неподвижным взглядом в потолок.

— Я думаю.

Фрейтаг стянул с себя рубашку и налил в тазик горячей воды из крана.

— Я думаю, как люди во всем свете на тысячу ладов мучают друг друга...

— А что вашей матушке понадобилось на рыбацьем судне? — спросил Фрейтаг. — Я думал, ни одну женщину не допускают...

— Это была шхуна моего отца, — угрюмо пояснил Хансен. — Понимаете, в чем вся беда: никто никого не слушает. Люди ничего слышать не хотят, разве только про всякую ерунду. Вот тогда они слышат каждое слово. А когда начинаешь говорить что-нибудь дельное, они думают, это ты не всерьез, или вообще ничего не смыслишь, или это все неправда, или против бога и веры, или просто не то, что они привыкли читать в газетах...

Тут Фрейтаг перестал его слушать и начал сосредоточенно намыливать щеки и подбородок. Ловко принаравливаясь к качке, он ухитрялся бриться опасной бритвой — искусство, которым он всегда гордился. Если какой-нибудь случайный свидетель с ним об этом заговаривал, Фрейтаг неизменно отвечал, что, по его мнению, только так и можно как следует побриться. Но Хансен за все время плаванья ни разу не обратил внимания, как бреется Фрейтаг; сам он выжимал из тюбика готовый бритвенный крем, наскоро скреб щеки и подбородок маленькой безопасной бритвой и, видно, даже не подозревал, что побриться можно еще и какими-то другими способами. Когда Фрейтаг вновь прислушался к голосу Хансена, тот говорил:

— Нет. Не желают. Во Франции, к примеру, белое вино, красное, розовое, всякое, кроме шампанского, — в таких бутылках, что вроде как плечистые, верно?

— Совершенно верно, — подтвердил Фрейтаг, свернул свои носки и сунул в коричневый холщовый мешок с вышитой зелеными нитками надписью: «Wäsche»¹.

— Ну вот, а поезжайте в Германию, даже не в самую Германию, в Эльзас, только-только границу перейти — и не угодно ли? Все бутылки узкие, прямые, как кегли, ни одной нет с широким верхом!

Все это говорилось с неподдельным возмущением, которое действовало Фрейтагу на нервы. Очень понятно, что никто этого Хансена не слушает, подумал он безжалостно. Хотел бы я знать, что сейчас вызвало эти громы и молнии — та испанка, или Рибер, или еще кто?

¹ В стирку (нем.).

Ибо он давно уже подметил в Хансене свойство, присущее, как он догадывался, почти всем людям: их отвлеченные рассуждения и обобщения, жажда Справедливости, Ненависть к Тирании и многое другое слишком часто лишь маска, ширма, а за нею скрывается какая-нибудь личная обида, весьма далекая от философских абстракций, которые их будто бы волнуют.

Это простейшее свойство человеческой природы Фрейтаг открыл как слабость, присущую другим, но и не думал примерить эту истину на себя. Конечно же, трудное положение, в котором он очутился, — совершенно исключительное, не подходит ни под какие правила, так ни с кем больше не бывало и не будет. Все, что он по этому поводу чувствует, безусловно, справедливо, никто, кроме него самого, разобратся в его чувствах и судить о них не может, и просто смешно было бы сравнивать все это с жалкими переживаньями какого-то Хансена.

— Вот так оно и получается, — говорил меж тем Хансен. — В одном месте люди упорно делают бутылки с широким верхом, а в двадцати шагах, по другую сторону чисто воображаемой линии, которой вообще не было бы, если бы не всесветная человеческая глупость и жадность, делают бутылки узкие, лишь бы доказать свою независимость!

Надо было запастись терпением; словно плотный тяжелый туман окутал Фрейтага и погасил его приподнятое настроение.

— Да ведь линия не воображаемая, она для того и проведена, чтобы что-то определить, воплотить идею: выразить разницу в языке и обычаях разных народов... послушайте, — прибавил он, взглянув на свесившееся с верхней койки напряженное, непроницаемое лицо, — никто не воюет из-за того, какой формы бутылка. Воюют потому, что у них различный склад ума, а уж от этого они и бутылки делают разные...

Хансен порывисто сел на своей койке.

— Ну да, да, я же вам про то и толкую! — загремел он. — Я это самое и говорю!

— Значит, я вас не понял, — сказал Фрейтаг, складывая бритву.

— Ну еще бы! Никто никого не слушает, — грубо отвечал Хансен; на лице его застыла такая безнадежность, что Фрейтаг не обиделся.

Хансен сел, надел носки, башмаки, соскочил на пол и потянулся к верхней перекладине шкафчика за своей рубашкой.

— Везде одна подлость и обман, — сказал он. — Взять хоть этих испанцев! Сами знаете, что это за народ — коты да шлюхи; никому не охота идти на их праздник — а ведь все платим за билеты и все пойдем, как стадо баранов! Они вымогатели, жулики, врут бессовестно, в Санта-Крусе всех обокрали, и все мы это видели, все знаем — а что делаем? Ничего. А несчастный толстяк с нижней палубы — какое такое преступление он совершил? Сказал при попе слово «свобода»? Так ему раскроили башку, а потом зашили — вот, мол, мы и о нем позаботились, о самом что ни на есть отщепенце. Всюду религия и политика — что я вам говорю?

Он хрипло, глухо ревел, как бык, все громче и громче, невыносимо было слушать.

— Да, верно, говорили, — любезно согласился Фрейтаг.

Куда спокойней было бы иметь соседом по каюте Левенталя, если б только избавиться от Рибера, но с тем никто поселиться не хочет. А впрочем, даже Рибер, пожалуй, лучше, чем этот несчастный псих. Несчастные должны страдать в одиночку и молча, решил Фрейтаг, это одно из преимуществ человека — наслаждаться своими горестями, не примешивая к ним чужие... а хуже всего, когда тебе выражают сочувствие совсем некстати и не по тому поводу, да еще те, кто вовсе и не имеет права сочувствовать. Он, конечно, думал о Дженни — с ее возвышенной точки зрения, расовые предрассудки и вообще всякие предрассудки — верный признак душевной и нравственной ненормальности, и особенно это относится к антисемитизму, который гнусен и непростителен со всех точек зрения. Фрейтаг насилу сдержался, так велик был соблазн перебить ее высокопарную проповедь и сказать — а я, мол, знаю очень многих людей, которым сильно не по вкусу евреи, однако антисемитами их не назовешь, некоторые из них просто обожают арабов! Но она едва ли помнит, что арабы тоже семиты, не поняла бы его шутки, да и глупо спорить, только обидишь ее и оскорбишь, а это ни к чему. С ней приятно потанцевать и порой довольно занятно наблюдать, как среди беспечной болтовни вдруг всплывает редкостное простодушие, ребяческая наивность, этакая глуповатая ограниченная добропоря-

дочность, словно мутные пузырьки на глади пруда, и поневоле начинаешь гадать, что за странная рыба плавает в глущине... или, может быть, там затонуло нечто неведомое, и со дна поднимаются пузырьки-сигналы... Мари оценила бы эту особу с одного взгляда и отделалась бы от нее одним словечком — налепила бы какой-нибудь остроумный ярлычок, быть может, не слишком точный или даже очень далекий от истины, но убийственно злой, и тут хоть сгори со стыда, что обратил внимание на такую девицу. Но Мари никогда не узнает про Дженни — чего ради ей рассказывать? Повязывая галстук, он ощутил внутри веселый холодок, все нарастающий радостный трепет, словно вот выйдет сейчас на палубу — и увидит Мари; словно корабль уже швартуется в заветной гавани и там, на пристани, ждет Мари и уже высматривает его в бинокль. Он так возликовал, так далеко занесся в воображении, что лишь под конец, торопливо приглаживая волосы двумя английскими щетками из китового уса (когда-то Мари подарила их ему ко дню рождения), вдруг услышал тишину: Хансен умолк. И Фрейтаг поспешил для приличия проявить малую толику внимания.

— Конечно, нехорошо, что тому толстяку проломили голову, — осторожно сказал он, — но я не уверен, что он уж так заслуживает сочувствия. Все-таки нормальный человек не станет скандалить на похоронах, да еще когда хоронят такого же бедняка, труженика. Мог бы проявить немного уважения к покойнику...

— Снова здорово! — простонал Хансен и на минуту даже схватился обеими руками за голову. — Вечно одно и то же: уважайте покойников, а вот живых уважать не надо!

— Пойдемте наверх, выпьем, — предложил Фрейтаг, чтобы как-то с этим покончить.

Хансен уронил руки, замотал головой.

— Не хочу я пить, — сказал он с бесцеремонной прямо-той пятилетнего ребенка.

С долгим вздохом облегчения Фрейтаг вышел из каюты, встряхнулся, будто сбросил с плеч постылый груз: наконец-то отвязался!

Миссис Тредуэл, касаясь узкой ладонью перил, спустилась по трапу в кают-компанию и критически оглядела свое отражение в широком зеркале на площадке. Из золоченых

сандалий выглядывали пальцы ног, ногти покрыты ярко-красным лаком. Фигурка очень недурна, хоть и немного плосковата, подумала она, и головка тоже ничего. Жаль только, что заметны эти черточки от крыльев носа к углам губ, особенно справа, да чуточку намечается складка под подбородком. Не будь этих намеков, можно бы еще долго ни о чем не беспокоиться; но они есть, и не исчезнут, и будут все заметней, и к ним станут прибавляться все новые черточки, и складочки, и тени, отмечая каждый шаг на долгом одиноком пути к старости. Сорок шесть тоже опасный возраст. Еще неизвестно, когда хуже — в четырнадцать, когда ты уже не ребенок и еще не женщина, или вот как сейчас — и не молода, и не стара. Ну как теперь быть, как держаться? — спрашивала она себя едва ли не с тем же недоумением, что и тогда, в четырнадцать. Я пока еще танцую не хуже прежнего, пока еще езжу верхом, плаваю, пока еще могу и люблю много такого, что могла и любила в юности... пока, пока... ужасное слово! Она так тщательно оделась — может быть, этот вечер все же чем-нибудь порадует; так захотелось немного повеселиться! Но как быть веселой, беззаботной, если тут не с кем разделить беззаботность и веселье? Наверно, один или два румяных молодых моряка степенно пройдутся с нею несколько кругов, держась на расстоянии вытянутой руки, но, когда так любишь танцевать, порой и скучный кавалер лучше чем ничего. Хоть бы один из красавчиков сутенеров меня пригласил... как бы не так. Эти негодяи по обыкновению будут танцевать и ссориться и заниматься любовью со своими потаскушками — те по крайней мере молоды, а больше ничего и не требуется... Меж бровей прорезалась морщинка — совсем новая, всего несколько дней как появилась; стоя перед зеркалом на ярко освещенной площадке, миссис Тредуэл придиричиво себя рассматривала. Да, это правда, она старая, уже много лет немолода — и не знала этого, не боялась, даже не думала об этом; а вот сейчас посмотрела на себя трезвым, беспощадным взглядом, как смотрят посторонние, — и эта горькая истина бросается в глаза, и невозможно в нее поверить. Всегда казалось: возраст — это что-то необязательное, он существует сам по себе, словно платье — захотела и скинула, словно маска намалевана и ее в любую минуту какое-то нехитрое колдовство поможет смыть с лица. О го-

споди, да если не поостеречься, пожалуй, докатишься — начнешь платить сутенерам, чтоб было с кем посидеть в ночном клубе! Скоро из моих очаровательных друзей не останется никого, кто бы посылал мне цветы, и танцевал со мной, и водил меня в театр. Буду сидеть одна где-нибудь в углу за столиком или на террасе, и какой-нибудь проныра с завитыми волосами и нечистым взглядом подойдет с усмешечкой: «Сударыня, не угодно ли потанцевать?» — и я... нет-нет, ни за что, никогда! Я буду стареть с изяществом, как меня наставляли заранее в ту пору, когда я твердо знала, что буду вечно молода... буду сохранять лживую маску неизменного достоинства. Никто не заподозрит, что я все та же несчастная девчонка, которая никак не могла повзрослеть, что в оболочке умудренной годами почтенной старушки я старательно прячу свое шестнадцатилетнее сердце. Это будет мой никому не интересный секрет. В Париже я прежде всего оденусь по-другому, под стать возрасту. Это легкое тонкое платье в мелкую складку, алое, как роза, перехваченное широким золоченым кожаным поясом, так мягко спадает с обнаженных плеч, так облегает маленькие острые груди — их форму искусно создает кружевной лифчик... все очень мило, но впервые она заметила, как все это не сочетается с ее лицом. Что же, мне надо ходить в черном? И даже если я намажу ногти на ногах зеленым лаком, разве хоть кому-то не все равно?

Тут ей стало до того грустно — впору вернуться в каюту и надеть что-нибудь самое будничное. И в эту минуту ее догнал шедший позади Дэвид Скотт, остановился и с удовольствием, с одобрением посмотрел на нее, этот блеск в мужском взгляде ей был хорошо знаком и никогда не надоедал.

— Вы замечательно выглядите, — сказал Дэвид, и это прозвучало именно так, как надо.

Вот от кого она никак не ждала ничего подобного! С обаятельной улыбкой, полной доверия, миссис Тредуэл взяла его под руку.

— Какой вы милый, что так говорите! — сказала она.

Дальше они пошли вместе. Она заметила, его черный вязаный галстук чуточку съехал набок и полотняный костюм не грех бы прогладить, но что за важность. Ее пальцы легли на его рукав, рядом настоящий привлекательный мужчина — и от этого чувствуешь себя уверенней и спокойней.

— А я думал, все мы решили держаться подальше от этого праздника, — сказал Дэвид.

— Ну, все-таки это праздник, кто бы его ни затеял, — возразила миссис Тредуэл. — Я хочу немного потанцевать, с удовольствием выпью шампанского и совсем не прочь притвориться, что мне веселей, чем на самом деле... по крайней мере сейчас. Вдруг за этот вечер случится что-то более или менее приятное или хоть забавное — понимаете? — какая-нибудь нелепость. Ведь это смешно, грязные бродячие танцоры устраивают для всех празднество! А если они и правда наворовали вещи для лотереи да еще лазили по карманам? Я им не давала ни гроша, и вы тоже. Почему бы не посмотреть, если разыграется скандал?

— Ну, они выйдут сухими из воды, — сказал Дэвид. — Им всегда все сходит с рук.

— Как я устала от строгой морали, — тихо промолвила миссис Тредуэл. — Кто такие «они»? И не все ли мне равно, чем «они» занимаются?

Это равнодушие показалось Дэвиду отвратительным, он словно закаменел, невольно отдернул локоть. Миссис Тредуэл сняла ладонь с его рукава, опустила руку.

— Для меня «они» — просто чужие, те, кто мне скучен или ведет себя со мной глупо, и все в этом роде. А эти испанцы... какое мне дело, что они натворили или могут натворить? Они хорошо танцуют, на свой дикарский неряшливый манер они красивы, так пускай хотя бы нас развлекают! На что еще они годны? Ведь и они только скуку наводят, когда всех высмеивают этими мерзкими злыми обьявлениями.

— Это особый вид шантажа, и он почти всегда удаётся, — сказал Дэвид.

Он покосился на спутницу — она не слушала. Они уже замешались в толпу, сходящую к кают-компани, и миссис Тредуэл слегка кивнула кое-кому: Фрейтагу, который ответил кивком без улыбки; молодой кубинской паре с двумя малышами; новобранным — эти улыбнулись ей в ответ; казначею — он расплылся до ушей; Дэвид понял, она кивает кому попало, но, похоже, никого по-настоящему не замечает. В сущности, она ведет себя как Дженни, только Дженни чего-то ищет, добивается какого-то отклика, и всегда это у нее получается либо чересчур напористо, либо

уж чересчур кротко, никогда он не мог понять, с какими она подходит мерками, и не мог в них поверить. Но возмутительно, что она так старается его обезоружить, любыми средствами разрушить крепость, в которой он всю свою жизнь замыкался, сопротивляясь жизни — любому окружению, любому обществу, в какое ни попадал. Нет, уж лучше миссис Тредуэл с ее непритязательным, даже не лишенным изящества равнодушием к нравственным принципам, чем беспокойная, беззаконная, вечно чего-то ищущая Дженни, которой непременно надо найти точки соприкосновения с теми, кто оказался рядом — все равно с кем. А вот ему невыносима вынужденная близость. Дэвид почти забыл, что возле него другая женщина, так вскипела в крови привычная ненависть к Дженни... и вдруг он увидел ее — стоит внизу у стены, запрокинула голову и смотрит, ждет его, такая красивая, в одном из своих простеньких белых платьев, которые утром ли, вечером всегда на ней хороши. Есть в ней строгость и простота мраморной статуэтки, вся она, с головы до ног, — спокойная гармония, не заметно ни пудры, ни помады, никакого лака на ногтях, такая она свежая и прелестная, точно сад, полный роз; она улыбнулась ему, и он улыбнулся в ответ, и так глубоко, шумно вздохнул, что миссис Тредуэл посмотрела вниз, кивнула Дженни и опять обернулась к Дэвиду. И поразились: как он бледен, как стиснуты зубы и горят глаза...

— Вот она, — сказал Дэвид.

И, едва кивнув миссис Тредуэл, кинулся вниз по трапу к Дженни, которая уже шла ему навстречу.

Рибер ни на минуту не отказывался от намерения найти способ и возможность с успехом, вполне и до конца соблазнить Лиззи. «Где-нибудь, когда-нибудь, так или иначе», — напевал он мысленно припев своей любимой модной песенки; но нет, это должно совершиться здесь, на корабле, сегодня или никогда. После прибытия в Бремерхафен у него не останется ни минуты свободной: уже на пристани его встретят несколько подчиненных. Он только и сумеет посадить Лиззи на автобус до Бремена и любезно с нею распрощаться — любезно, но, разумеется, церемонно и окончательно. С того злосчастливого вечера с бульдогом Деткой и

прочим переполохом ему только однажды удалось опять заманить Лиззи на шлюпочную палубу; но на этот раз она была воплощенная скромность и сдержанность, не позволяла даже толком до себя дотронуться, пока он не задумался до новой тактики — стал кроток и послушен, как ребенок. Положил голову ей на колени и пролепетал, что она его маленькая кисонька. Она рассеянно погладила его по лбу, словно думая о чем-то другом. Да так оно и было. Она спрашивала себя, почему за все время их бурного романа Рибер ни разу не упомянул о браке? Не то чтобы она собиралась за него замуж — отнюдь! В постоянные спутники жизни — а она твердо решила, что следующий спутник будет постоянным, закрепленным за нею не только узами законного брака, но и железными цепями заранее заключенного контракта, который обеспечит ее финансовое положение, — она присмотрит себе кого-нибудь в материальном смысле много выше Рибера. Нет, никогда и ни при каких условиях не следует уступать мужчине, кто бы он ни был; должно не просто подразумеваться, не только скрываться за намеками, угрозами, взглядами, за молчаливым взаимопониманием — нет, должно быть ясно и определенно сказано всеми словами, что она, Лиззи, — женщина из тех, на которых женятся, а любовные забавы для нее лишь вступление перед свадебным маршем. Каждый второй из мужчин, которых она знавала, уж непременно произносил волшебное слово «свадьба» даже прежде, чем лечь с нею в постель, — неважно, как оно потом получалось на самом деле. А этот о свадьбе и не заикнулся — и, пока он молчит, дудки, ничего она ему больше не позволит!

А Рибер и рад бы помянуть про свадьбу, да нельзя по очень простой причине — он женат, супруги официально живут врозь, но развода жена ему не дает, а сама ведет в смысле юридическом безупречный образ жизни, так что и он не может потребовать развода. Итак, он содержит ее и троих детей, все четверо его ненавидят, и он ненавидит их, и эта семейка будет пить из него кровь до самой его смерти. Ну за что, за что ему такая злая участь? Но так уж оно получилось, и Лиззи не должна знать, как унижительно и как безвыходно его положение, гордость его не вынесла бы такого удара. Притом она наверняка его не поймет — да и на что это ей? А она так хороша, такая высокая, и все движения

точно у породистой скаковой кобылки... эх, вот бы провести хоть один день и ночь в Бремене, в тихой гостинице с хорошей мягкой постелью, прежде чем ехать дальше! Никакой надежды. Все должно совершиться здесь, сегодня, пока эти наглые испанские прохвосты невесть зачем устраивают празднество «в честь нашего капитана». Хороша честь!

Он обошел шлюпочную палубу, присмотрел местечко и опять предался мечтам: вдоволь шампанского и ласковых слов, вальс за вальсом под нежную музыку — и, уж наверно, она смягчится, растает, как масло на поджаренном хлебе. Тогда он уговорит ее погулять, вечер такой прекрасный, теплый... вообще-то вечера становятся прохладней и ветреней прежнего... раз-два, и дело будет сделано, пока все остальные танцуют палубой ниже или сидят в баре и пьют. Им овладело такое нетерпение, что даже страх разобрал — а вдруг в решающую минуту он окажется несостоятелен как мужчина... но нет, о таком позоре даже думать невозможно. В воображении все идет легко, без помех, так блаженно, безоблачно, словно в детской сказке со счастливым концом.

Он уж до того старательно мылся и наводил на себя лоск, что и впрямь заблестел как лакированный, и в самом игривом настроении повязал на шею детский передничек-слонявку, а на лысую голову натянул детский чепчик с оборками и завязал ленты под подбородком. Распространяя запах одеколона «Мария Фарина», он напрямик, точно голубь к родной голубятне, устремился сквозь растерянную толпу, кружащую по кают-компани: за праздничным ужином всех рассаживали по-другому, и никто не знал, где искать карточку со своим именем. Официанты всех разводили по местам, и люди покорно шли за ними.

Одно было известно наверняка — испанцы в этот вечер сидят за капитанским столом, поэтому обычные застольцы близко туда не подходили. Рибер, наклонив голову, пробился в какой-то тесный кружок к Лиззи, взял ее за локоть, и она восторженно взвизгнула, увидав на нем детский чепчик. Сама она была в длинном кружевном зеленом платье, в полумаске из зеленых лент — и громко, на всю кают-компанию, спросила, как это он ухитрился ее узнать! Подталкивая ее перед собою, Рибер решительно двинулся к столику на двоих под иллюминатором.

— Что бы ни было, а мы сядем здесь! — дерзко заявил он и высоким тенорком запел: — «Где-нибудь, когда-нибудь...»

— «Так или иначе!» — фальшиво и еще на два тона выше подхватила Лиззи.

Они наклонились друг к другу так близко, что почти столкнулись носами, и дружно пропели песенку до конца, прямо друг другу в лицо.

— Давайте сейчас же шампанское! — приказал Рибер ближайшему официанту и сам отодвинул для Лиззи стул.

— Сию минуту, mein Herr, — сказал официант, который вовсе не обслуживал этот столик. Он мгновенно исчез и не вернулся.

— Шампанского, шампанского! — закричал Рибер в пространство. — Мы хотим шампанского!

— Где-нибудь, когда-нибудь! — опять визгливо пропела Лиззи.

Они оба расхохотались, в восторге от ее остроумия. И тут же заметили, что Баумгартнеры (жена одета баварской крестьянкой, муж вымазал лицо мелом под клоуна, нацепил картонный нос и фальшивую бороду) смотрят на них косо, неодобрительно, скорчили постные физиономии, осуждающе поджали губы. Кубинские студенты-медики, все в матросских рубашках, в беретах с красными помпонами, вошли гуськом, вприпрыжку, громко распевая «Кукарачу». Они ринулись к своему столу, будто брали его штурмом и осбились выдержать осаду. Новобрачные, одетые повсегдашнему просто, подошли к своему обычному столику, карточки с чужими именами переставили на соседний стол и сели, тихо улыбаясь друг другу. Открыли пакетики, положенные подле приборов, развернули колпаки из золоченой бумаги, трещотки и свистульки, и отложили в сторону. Им подали бутылку вина, и, перед тем как выпить, они чокнулись.

Поверх плеча Рибера протянулась ручища-лопата с толстыми пальцами и крепким запястьем в густой рыжей шерсти, ярко блеснувшей при свете настольной лампы, — протянулась и выдернула карточку с именем из металлической подставки.

По спине Рибера пробежали мурашки, и еще сильнее мороз подрал по коже, когда знакомый голос взревел над

ухом, отвратительно искажая на чужеземный лад немецкие слова:

— Прошу извинить, что потревожил, но это мое место!

И, обойдя столик, перед Рибером вырос Арне Хансен и помахал карточкой у него перед носом. Позади Хансена остановился Глокен, в волосы воткнуто большое одинокое ярко раскрашенное перо, на розовом галстуке красуется надпись: «За мною, девушки!» Хансен схватил вторую карточку, что стояла у прибора Лиззи, и тоже помахал ею.

— Вы что, читать не умеете? — осведомился он. — Тут же ясно сказано: «Герр Хансен», а тут — «Герр Глокен». Не понимаю, чего ради...

Лиззи легонько ударила его по руке:

— Ну, дорогой герр Хансен, попробуйте понять...

— Прошу вас, — заговорил Рибер, собираясь с духом; на лысине у него проступили крупные прозрачные капли, понемногу они начали сливаться в ручейки и потекли по лицу. — Прошу вас, фрейлейн, я сам это улажу...

— Нечего тут улаживать, — рявкнул Хансен своим громким невыразительным голосом, точно дубиной оглушил. — Подите и найдите свой стол, а мне оставьте мой!

Рибер с усилием сглотнул и выпятил нижнюю челюсть, детский чепчик запыгал у него на макушке.

— Герр Хансен, — сказал он, — вы непростительно грубы с дамой. Извольте встретиться со мной на верхней палубе.

— С чего это мне с вами где-то встречаться? — прогремел Хансен, грозно глядя на него сверху вниз. — Я прошу освободить мой стол, вы что, станете из-за этого скандалить?

И он так презрительно оглядел Лиззи, что ее кинуло в жар. Она встала, коленки у нее тряслись.

— Пойдемте, пойдемте отсюда, — взмолилась она и пошла прочь так быстро, что Риберу пришлось бегом догонять ее.

— Найдите нам столик! — крикнул он ближайшему официанту почти так же свирепо, как Хансен.

— Пожалуйста, за мной mein Herr, — мигом отозвался официант. — Уж такое у нас тут сегодня небывалое столпотворение.

Официант, видно, узнал Рибера, тотчас отыскал их сто-

лик, отодвинул для Лиззи стул и с готовностью сказал: Jawohl!¹, когда Рибер потребовал:

— Шампанского, живо!

— Он меня оскорбил! — прохныкала Лиззи и, приподняв полумаску, отерла слезу.

Рибер никогда еще не видел ее такой — и пришел в восторг, хотя причина была не из приятных.

— Не думайте про это, этот грубиян у меня еще поплатится, — храбро пообещал он, утирая платком лысину и шею под воротником. — Не позволим, чтоб такой хам испортил нам вечер!

— Он всегда спорил с вами из-за места — помните, как было в первый день с сезлонгом? Я тогда сразу поняла, что он негодяй. По-моему, он большевик, он так разговаривает...

— Ха! — сказал Рибер. — В тот-то раз я его вышвырнул. А сегодня это он в отместку. — Тут Рибер опять повеселел. — Ничего, он у меня еще пожалеет!

— А что вы ему делаете? — в восторге спросила Лиззи.

— Что-нибудь да придумаю! — заверил он и самодовольно улыбнулся.

Украдкой, исподлобья они следили, как в другой половине салона Хансен надел красный бумажный колпак, что лежал возле его прибора, угрюмо огляделся и снял колпак. Горбун Глокен ухмылялся до ушей. Он, конечно, был бы рад, начнись драка — ему-то ничто не грозит!

— Вы только поглядите на этого мерзкого карлика, — сказала Лиззи, когда им наливали шампанское. — И зачем таким чудовищам позволяют жить на свете?

— Это вопрос огромной важности, — заулыбался Рибер, приятно было оседлать едва ли не любимейшего своего конька. — Как издатель я стараюсь направить умы читателей на жизненно важные для нашего общества проблемы. И недавно я условился с одним доктором насчет первой из целой серии высоконаучных, весьма доказательных статей в пользу уничтожения всех калек и вообще неполноценных прямо при рождении или как только выяснится, что они в каком-то смысле неполноценны. Уничтожать, конечно, надо безболезненно, мы ведь и к ним хотим проявить мило-

¹ Здесь: слушаюсь (нем.).

сердце, как ко всем людям. И не только физически недоразвитых или бесполезных младенцев, но и стариков — всех старше шестидесяти или, может, шестидесяти пяти или, скажем, просто когда от них уже нет никакой пользы; больные, неработоспособные только высасывают соки из тех, кто одарен и энергичен, кто составляет молодость и силу нашей нации, — чего ради нам обременять их такой обузой? Мой доктор намерен подкрепить этот тезис весьма убедительными доводами, примерами и доказательствами из медицинской теории и практики и данными социологической статистики. Ну и конечно, туда же отправятся евреи и потом все, в ком незаконно смешана кровь двух рас, белой и какой-либо цветной — китайская, негритянская... всякое такое. А каждый белый, кого уличат в тяжком преступлении... — тут Рибер лукаво подмигнул своей даме, — если уж мы сохраним такому жизнь, то, во всяком случае, государство позаботится, чтобы он не мог наплодить других таких же.

— Замечательно! — возликовала Лиззи. — Тогда бы у нас не путался под ногами этот горбун, и тот ужасный старикашка в кресле на колесах... и эти испанцы.

— И еще очень многие. За наш новый мир! — провозгласил Рибер и чокнулся с Лиззи.

Он совсем развеселился и воспрянул духом в предвкушении столь славного будущего и почти забыл, что, сколько бы ни уничтожить разного народу, который ему не по вкусу, никак не подведешь под уничтожение того, кто неприятней всех, — Арне Хансена: этот и сам крепок, здоров, работоспособен и полон сил, такой сумеет за себя постоять, уж он-то всегда и везде отыщет стул, на котором написано его имя, и усядется на свое место — и даже не на свое, как в тот раз, когда он занял шезлонг, на котором стояло имя его, Рибера. Эта волосатая лапища, которая совладевает и со львом, и челюсть гориллы, и зубы как лопаты...

Рибера передернуло. Такие мысли, пожалуй, испортят весь вечер... отложим это до завтра. Он хлебнул шампанского, словно то был просто глоток пива. Лиззи тоже залпом осушила бокал, Рибер сейчас же налил еще и спросил вторую бутылку. Праздник наконец-то начался — и мало ли чем он может кончиться. Рибер был уверен, что ему известно — чем.

Казначей, увертываясь от плавающих в воздухе разноцветных шаров, отмахиваясь от них, точно от тучи оводов, подошел к столику миссис Тредуэл с бутылкой в одной руке и двумя бокалами для шампанского в другой.

— Gnädige Frau, — начал он внушительно, — нам, немцам, после минувшей войны не разрешается называть словом «шампанское» наше немецкое игристое вино, да мы этого и не хотим. Но я буду счастлив, если вы позволите предложить вам стаканчик нашего благородного шамвейна. Я сам, сколько ни сравнивал за многие годы, не сумею отличить его от лучшего Moët chandon или Veuve Cliquot.

— Ну разумеется, — успокоительно сказала миссис Тредуэл. — Садитесь же, я очень рада. Пожалуйста, велите принести еще стул.

Казначей мешкал с бутылкой в руке, его от природы тупые мозги шевелились с трудом, и сейчас их просквозило холодком недоверия — с чего она такая приветливая? Все же он поставил бутылку на стол и махнул официанту, чтоб тот подал стул.

Дженни и Дэвид сели за свой всегдашний столик и огляделись: кругом шум, суета, но веселья никакого не чувствуется; кое-кто не явился — доктор Шуман, Вильгельм Фрейтаг. Только что Дженни видела Фрейтага за маленьким столиком в баре, ему там подавали ужин. Он встал, поклонился и окликнул ее:

— Разрешите пригласить вас сегодня на первый танец?

— Хорошо, — ответила она на ходу и улыбнулась ему.

Сейчас она впервые почувствовала, что вечер, пожалуй, будет не вовсе уж пропащий. Радостно оживилась и, встав, легонько хлопнула по воздушному шарiku над головой.

— Ну, Дэвид, лапочка, — сказала она, — вот мой первый вклад в этот безумный, безумный вечер!

Ведь она видела, какое у Дэвида стало лицо, когда он сбежал по трапу ей навстречу, а миссис Тредуэл отстала, чтобы не мешать им, — да, конечно, он опять в нее влюблен, или уверился, что она ему не безразлична, или даже на минуту поверил, что она его любит... как бы там ни было, а счастье, что они опять помирились! Жаркая радость прихлынула к сердцу, и огромного труда стоило сдержаться и не погубить все какими-нибудь бессмысленными словами, на

которые и ответить нечего, к примеру: «Ох, Дэвид, лапочка, ну почему бы нам не... разве мы не можем... чего ради нам... ну что, что нам сделать, или сказать, или куда поехать, и почему, почему, когда у нас есть такое, непременно надо без конца мучить друг друга?» Но она промолчала и только улыбнулась ему, глаза ее влажно блестели. Дэвид наклонился к ней, коснулся руки.

— Дженни, ангел, ты прелестна, честное слово, — сказал он горячо, будто боялся, что она не поверит.

Но она поверила, поверила всем сердцем, и видела, что и он вдруг преобразился, как всегда в непостижимые минуты, когда на них нисходила любовь — необъяснимо, беспричинно, повинуюсь каким-то неведомым срокам, приливам и отливам, исчезая от малейшего дуновения... и однако всегда казалось, что она — навек...

— Ты тоже чудесно выглядишь, — сказала Дженни.

Левенталь сидел за столиком в нелепом бумажном колпаке набекрень, одинокий и хмурый, для праздничного ужина он выбрал сельдь в сметане, свеклу с маслом, отварной картофель и мюнхенское пиво. Официант подавал так небрежно, что Левенталь невольно перевел взгляд с его рук на лицо. И на миг уловил очень знакомое выражение — затаенную враждебную, оскорбительную усмешку: в ней было презрение не только к самому Левенталю, ко всему его народу и его вере, но и к этому его жалкому ужину — символу всей его жизни; ведь он — отверженный в этом свинском обществе, в мире язычников; свой ужин — еду хоть и не чистую, но не запрещенную — ему пришлось выбирать из кучи всякой дряни: жареный поросенок, свиные отбивные, ветчина, сосиски, свиные ножки, омары, крабы, устрицы, угри — бог весть какая мерзость! Как он ни изголодался, под конец его замутило от одного вида этих слов в меню.

Официант, молодой, тихий с виду парень, хотел налить ему пива; привычная, въевшаяся в плоть и кровь неприязнь к евреям стала поистине второй натурой этого малого, и он даже не подозревал, что ее можно прочесть у него на лице.

— Стойте! — почти крикнул Левенталь. — Я совсем не

то заказывал. Уберите эту бутылку и принесите мне большую кружку отцеженного мюнхенского.

— Прошу прощения, mein Herr, — сказал молодой человек. — Отцеженного пива у нас не осталось, и никакого темного пива нет. Только светлое, в бутылках.

— Так надо предупреждать, а я буду знать, что заказывать! — вспылил Левенталь. — Кто платит за пиво, вы или я? Кто его будет пить, вы? Что это за ресторан, где меняют заказ, не спросив посетителя? Вы что, хотите, чтоб я пожаловался на вас метрдотелю?

Официанта, похоже, не слишком испугала эта угроза.

— Как вам угодно, mein Herr, — сказал он почтительно, однако по его лицу опять скользнула тень той же усмешки, теперь он ее и не скрывал: чуть заметно скривил верхнюю губу, на миг отвел наглые от природы голубые глаза.

— Ну, чего вы ждете? — спросил Левенталь, охваченный новым порывом гнева. — Вылейте это, вылейте и принесите мне другое!

И он оттолкнул кружку на край стола. Официант налил другого пива, что-то на столике передвинул, помахал салфеткой, будто исполнял некий обряд профессиональной услужливости, и поспешно отошел. Тут Левенталь вспомнил, что на голове у него дурацкий колпак, сдернул его, скомкал и швырнул под стол. И стал есть свеклу и картофель, накладывая на них сельдь со сметаной, каждый кусок буквально застревал в горле, и только пиво кое-как смывало эту еду в желудок. Перед ужином Левенталь кое с кем из пассажиров прошелся по кораблю — и от вида камбуза, от запахов стряпни его замутило. Сейчас он опять с отвращением вспомнил эту грязную берлогу в недрах корабля, там все готовилось, можно сказать, в одном котле; напрасный труд — стараться сохранить чистоту и есть прилично, когда знаешь, как они там обращаются с продуктами, которые вдобавок нечисты с самого начала, сущая отравка. Нет, больше невозможно, кусок в горло не идет, а меж тем есть хочется отчаянно. Когда молодой официант принес вторую бутылку пива, Левенталь отодвинул тарелку.

— Уберите эту гадость, — сказал он. — Принесите, мне пару крутых яиц и еще бутылку пива.

Для пушего эффекта танцоры нарочно задержались и вошли в кают-компанию, когда все остальные уже уселись. Капитан Тиле не предвидел этого маневра и занял свое место в обычный час. Оглядел пустые стулья за своим столом и велел немедля подать ему ужин. Убранство стола напомнило ему, как украшают могилы на сельском кладбище. Посередине огромный ворох красных матерчатых роз вперемешку с блестящей листвой из фольги и резными бумажными цветами, каких не существует в природе. Над этой своеобразной клумбой примостилось на палочке, клювом книзу, чучело голубки, у которой уцелели далеко не все перья; на шее чучела болталась карточка, и на ней цветными карандашами выведено одно слово: «Nomenaje»¹. С долей любопытства, почти забавляясь этими ребяческими красотами, капитан наклонился поближе — и чуть не задохнулся: его обдало убийственной химической вонью духов «Роза». Он откатнулся на стуле, отвернулся, изо всех сил выдохнул эту химию, и его потянуло чихать. Он крепко прижал указательным пальцем верхнюю губу, как его учили в детстве, чтоб не расчихаться в церкви, и трижды чихнул, не открывая рта. Молчаливо скорчился от этих внутренних взрывов, казалось, вот-вот глаза вылезут на лоб или лопнут барабанные перепонки. И наконец сдался, нашарил носовой платок, напряженно выпрямился, повернулся лицом к стене и, уже всецело отдаваясь этой пытке, власть чихнул раз десять подряд, закрывая лицо платком, чтоб выходило не так громко; из глаз его катились слезы; наконец он избавился от этих ядовитых паров и с наслаждением высморкался. В голове прояснилось, зато еще туманней и сомнительней стала выгладеть в его глазах вся эта нелепая затея, ничего подобного у него на корабле никогда не бывало. Он вытянул руки и самолично отодвинул ядовитое подношение дальше, на другой конец стола. Голубка свалилась со своего насеста, но капитан этого не заметил. Он взглянул на часы — суп должны были подать ровно четверть часа назад. С тех пор как капитан Тиле стал капитаном, его еще ни разу, даже в собственном доме, не заставляли чего-либо ждать. Он нахохлился, угрюмый, насупленный, злобно сверкая глазами, и стал поразительно похож на

¹ Чествуем (*исп.*).

разобиженного попугая. Чувство собственного достоинства требовало немедля приступить к еде — это будет отпор их нахальству, и уж впредь он постарается совершенно не замечать этих подонков из Гранады или откуда они там взялись. Капитан обвел глазами кают-компанию, и наконец холодный взгляд его приметил там и сям кое-кого из его обычных застольцев. Гуттены и фрау Риттерсдорф сели за один стол и уже принялись за еду, равнодушные ко всему вокруг. Этот фрукт Рибер со своей Лиззи, как всегда, паясничают, размахивают бокалами, сущие обезьяны. Маленькая фрау Шмитт сидит с Баумгартнерами — слава богу, хоть от этих он сейчас избавлен! Не то чтобы капитану кто-то из них был нужен, но его возмущало, что они оставили его по такой дурацкой причине. У него есть полное право и преимущество: он не обязан терпеть нудную компанию, что собирается за его столом и до смерти надоедает ему в каждом рейсе, — он может удалиться на мостик, на высоты, недоступные простым смертным, и очень часто так и поступает; там, на мостике, он видит только своих подчиненных, там никто не посмеет заговорить с ним первый; там каждому его слову повинуются мгновенно, беспрекословно, это само собою разумеется. Это и есть его подлинный мир — безраздельная власть, безусловное четкое разделение по кастам и строгое распределение всех преимуществ по рангам, — и невыносимая досада берет, когда приходится считаться с порядками какого-то иного мира. Он прекрасно знает, какую мразь переправляет его корабль (да и все корабли) из порта в порт по всему свету: мошенники, воры, контрабандисты, шпионы, политические ссыльные и беженцы, тайные агенты, торговцы наркотиками — всяческое отребье кишит на нижней палубе; точно чумные крысы, полчищами перебираются они из страны в страну, все опустошают, подрывают с трудом завоеванный порядок, культуру и цивилизацию во всем мире. И даже в верхних слоях, где, казалось бы, можно ждать хоть какого-то внешнего приличия, проступает самая позорная безнравственность, дай только случай. Ему ли, капитану, не знать: почтенные отцы семейств или достойные жены и матери, если в кои веки путешествуют в одиночку, забывают о простейшей порядочности, как будто они в чужой стране и никто их не узнает, как будто корабль — просто какой-то плавучий бордель.

В желудке жгло как огнем, и капитан нехотя прихлебывал жидкий суп, еда пугала его — вдруг опять начнет раздирать и переворачивать все внутренности... Да, такими вот испанцами его не удивишь, он знал им цену еще прежде, чем услышал пересуды и сплетни за своим столом. Все это неизмеримо ниже его достоинства, ведь ясно же: они — сутенеры и проститутки, танцорами прикидываются, только чтоб получить приличные паспорта, день и ночь заняты разными темными делишками. На все способны — и вымогали деньги у пассажиров, и воровали напрапалую во всех лавках Санта-Круса... теперь понятно, почему так отчаянно выла и размахивала руками та сумасшедшая на пристани, когда «Вера» отчаливала; одно непостижимо — как они ухитрились запутать и запугать сразу столько народу, как захватили места за капитанским столом, на что у них нет ни малейшего права, и как вообще додумались до такой поистине преступной наглости? И, что всего хуже, всего непостижимей: сам-то он, капитан Тиле, о чем думал раньше? Как допустил, чтобы у него под носом процветало такое безобразие, с чего вообразил, что это пустяки, повод для бабьих сплетен, и не навел порядок.

Он чуть не вскочил и не вышел из-за стола. Но нет, надо остаться, еще понаблюдать за ними, пускай продолжают свою наглую игру, а он выберет самую подходящую минуту и на глазах у всех накажет их своим презрением. Такой народ необходимо всегда держать в узде, чтоб знали свое место. Дашь малейшее послабление, спустишь малейшую дерзость — и они, как верблюд, который сперва только нос сунул в палатку погонщика-араба, сядут на шею, шагу не дадут ступить... а тогда останется одно: усмирить их огнем и мечом.

Воображение капитана Тиле давно пленяли американские гангстерские фильмы: перестрелки, налеты на ночные клубы, полиция преследует бандитов, бешено мчатся автомобили, воют сирены, трещат пулеметы; похищают женщин, убивают случайных прохожих на тротуарах, валяются прошитые пулями тела, обагрят улицы кровью, и лишь изредка в заключительной сцене одного какого-нибудь гангстера поведут на электрический стул. И сейчас, как с ним иногда бывало, капитан замечтался: вот он, заняв, разумеется, выгодную позицию, направляет элегантный, легкий

ручной пулемет на бушующую где-то мятежную толпу и, поворачивая оружие полукругом справа налево и опять направо, косит бунтовщиков, ряд за рядом. Тут мысли его немного смешались, хоть и не настолько, чтобы испортить удовольствие от этой фантазии; конечно же, он не может вообразить себя в какой-либо иной роли, кроме сторонника законного правительства, но в фильмах ручными пулеметами почти всегда орудуют гангстеры. Непонятно почему — подобные неразумные порядки, конечно, возможны только в такой варварской стране, как Соединенные Штаты. Правда, американцы все поголовно поклоняются преступлениям и преступникам, глушат себя наркотиками и отплясывают под джаз непристойные танцы в гнусных негритянских погребках... этот разлагающийся народ погряз в пороке, а своей полиции только и предоставляет слезоточивый газ, ручные гранаты да револьверы — все это куда менее удобно, чем ручной пулемет, и толку гораздо меньше. Допустим даже, что полицейский в Америке — человек честный, хоть это и маловероятно, зачем же ставить его в такие невыгодные условия? Если бы гангстеры не воевали непрерывно между собою, шайка с шайкой, и не убивали друг друга десятками и сотнями, они бы уже много лет назад с легкостью завладели всей страной! Но всем известно: американские гангстеры и полиция — заодно, они не могут процветать друг без друга. Главари обоих лагерей делят между собой власть и добычу, они заправляют повсюду — на самых высоких правительственных постах, в профсоюзах, в самых веселых ночных клубах, даже на бирже, в сельском хозяйстве — и даже в международном судоходстве, бог свидетель! Короче говоря, вся Америка — огромный рай для гангстеров, и только мелких преступников, глупых полицейских да честных тружеников там убивают, избивают и обжуливают. Все это капитан Тиле узнал не только из кинофильмов, о том же изо дня в день твердят газеты. Всей страной правят орды гангстеров, нет там ни единого закона, который бы они с легкостью не нарушали, и нет в государстве ни одного человека, кто посмел бы им воспротивиться.

С высоты своих строго упорядоченных нравственных принципов — как человек, который движется, руководствуясь картой и компасом, и прочно занимает одну из видных

ступеней на общественной лестнице, столь беспредельно высокой, что высший из начальников ему неведом и невидим, — капитан наслаждался этим апокалипсическим видением: полнейшим хаосом, анархией и разбродом в Соединенных Штатах, стране, которой он никогда не видел, ибо ни один его корабль не заходил в какой-либо порт крупнее Хьюстона (штат Техас) — на искусственном канале, среди лугов, в глуши, где не найдешь никаких признаков цивилизации. Канал этот был еще уже и еще скучнее, чем река Везер, по которой он доходил до Бремерхафена.

Он втайне упивался этой картиной: незаконное кроваво-жадное безумие вспыхивает опять и опять, в любой час, в любом неизвестном месте — его и на карте не сыщешь, — но всегда среди людей, которых по закону можно и нужно убивать, и всегда он, капитан Тиле, в центре событий, всем командует и управляет. Ничего достойного таких надежд на применение силы еще не случалось в его жизни, даже на войне — там, он вынужден в этом себе признаться, он делал дело полезное, достойное, но незаметное и не имел ни малейшей возможности проявить свои подлинные таланты. Видно, сама судьба его преследует, он вполне способен совладать с крупнейшими беспорядками, подавить всякое неповиновение, а тут, на корабле, вынужден управляться с дурачками потасовками, разбитыми головами на нижней палубе да с шайкой жуликов и воришек, которые что-то чересчур обнаглели; все это ниже его достоинства, однако надо ими заняться.

С грустью думал он о былой, уже не существующей Германии — о Германии его детства и ранней юности, о единственной Германии, какую он в душе признавал: вот где царили порядок, гармония, простота, благопристойность, в общественных местах всюду висели надписи — это запрещено, это недозволено, они наставляли, руководили, и людям уже непростительно было ошибаться; совершил ошибку — значит, умышленно преступил правила и запреты. Вот почему вершить правосудие здесь можно было быстрее и уверенней, чем в других странах. Поместите крошечную табличку с надписью «Verboten»¹ на краю зеленой лужайки — и даже трехлетний малыш, еще не умея читать, сообразит,

¹ Воспрещается (нем.).

что за край ступать не следует. Вот он когда-то не сообразил или, может быть, не обращал должного внимания на таблички, по ребяческой беззаботности или неведению шагнул на лужайку почти рядом с табличкой — и отец, который повел его утром в парк на прогулку, тут же на месте отлупил его тростью, вся спина была исполосована, сплошь в синяках; наглядный был урок, не только виновнику прочно запомнился, но и всем очевидцам послужил примером того, как родителям надлежит воспитывать в детях уважение к порядку...

Вздрогнув всем телом, капитан очнулся от своих грез, поглядел на часы и сказал официанту:

— Налейте мне, пожалуйста, вина и принесите рыбу.

Тут в кают-компанию ворвались испанцы во всеоружии своих национальных костюмов и профессионального искусства и торжественной процессией двинулись к капитану под звуки известного марша тореадора: Тито и Маноло играли на гитарах, постукивали кастаньеты дам; ослепительно улыбающиеся женские лица — точно маски в три цвета: черный, белый и кроваво-красный. На женщинах тонкие узорчатые платья, красные с белым, длиннейшие пышные шлейфы волочатся по полу. В черных блестящих волосах — высокие черепаховые гребни, в которые воткнуты спереди матерчатые розы, а поверх накинуты короткие черные кружевные мантильи. Сверкают блестками веера, звенят и позвякивают ожерелья, серьги, браслеты и всевозможные украшения из разноцветных стекляшек и металла «под золото»; спереди юбки короткие и выставляют напоказ стройные ножки в черных кружевных чулках и красных шелковых туфельках на высоких каблуках.

Мужчины — в неизменных как форма костюмах испанских танцоров: черные штаны в обтяжку, с высокой талией, перехваченной широким красным поясом, короткая черная курточка, легкие черные туфли с плоскими бантами. Рэк — в наряде Кармен, Рик — в костюме тореадора, оба несколько взьерошенные, потому что каждый старался за одежду и за волосы оттащить другого назад и оказаться во главе шествия.

Вся эта орava обошла вокруг стола, бренча на струнах,

шелкая каблуками и кастаньетами, вертясь и раскланиваясь, истинно карнавальным шествием, на всех лицах застыла улыбка. Капитан Тиле, величественный, отчужденный, поднялся и ответил на приветствия убийственно холодным поклоном. Этот знак вежливости танцоры приняли так, словно их встретила восторженная аудитория. Наконец официанты отодвинули для дам стулья, и они уселись, возбужденно вскрикивая, точно стая ворон опустилась на пшеничное поле, — Лола по правую руку от капитана, Ампаро по левую; остальные тоже разместились за раздвинутым во всю длину столом — наконец-то, после ожесточенной борьбы, они оказались гостями капитана, этой чести они стремились добиться хотя бы раз в жизни, и не только завоевать ее, но и доказать, что имеют на нее полное право. Теперь они уже не улыбаются — со свирепым торжеством, с холодным блеском в глазах оглядывали они остальных пассажиров. Кое-кто и сейчас притворяется, что их не замечает? Ну и пусть! Победители ни на минуту не забывают, ради чего одержана победа. Они пришли высказать свое уважение капитану — и принялись его высказывать многословно и цветисто. Приготовленные для них блюда остыли, и официанты их унесли, ели только Рик и Рэк — эти никогда не теряли аппетита; а взрослые по очереди вставали с бокалами в руках и произносили речи, каждый, чуть-чуть поиному выстраивая пышные фразы, выражал ту же пылкую надежду: да сблизит этот прекрасный праздник два великих страдающих государства — Испанию и Германию, и да восстановится во всей славе блистательный былой порядок — Испанская монархия, Германская империя!

Неиссякаемо сыпались цветы красноречия, и капитан начал поеживаться; когда же прояснился политический смысл этих речей, он побледнел от бешенства. Он всегда глубоко скорбел о кайзере; всей душой он ненавидел жалкий жересубликанизм послевоенной потерпевшей поражение Германии — и его безмерно возмутило, что эти ничтожества, подонки, эта шушера смеют заявлять о каком-то родстве с ним, капитаном Тиле, объявляя себя монархистами; они провозглашают тосты во славу великого порядка, который по самой природе вещей они не вправе называть своим — они могут только покоряться ему, как рабы хлысту господина. Монархисты? Да как они смеют назы-

ваться монархистами — даже произнести это слово они недостойны! Дело этих нищих бродяг — выстроиться вдоль улиц, по которым проезжает особа королевской крови, и кричать «ура», драться из-за монет, разбросанных на паперти собора после королевской свадьбы, плясать на улицах в дни ярмарок и потом обходить зрителей с протянутой рукой.

Огромным усилием воли капитан Тиле заставил себя взять бокал — конечно же, он задохнется, если глотнет хоть каплю вина в такой гнусной компании! Он слегка приподнял бокал над тарелкой, чуть заметно повел им, чопорно кивнул, не поднимая глаз, и вновь поставил бокал. Танцоры бурно вскочили, словно бы в порыве восторга, и закричали:

— Долгих лет вашей матушке!

Капитан побагровел от злости — такая неприличная фамильярность! Его матушка уже двадцать с лишком лет как умерла, и он не очень-то ее жаловал, когда она была жива. А эти нахалы тянулись к нему через стол, придвинулись совсем близко, вот-вот в его кожу впитаются черная краска, сгустившаяся на ресницах женщин, и помада, которая чуть ли не течет с мужских причесок, и невыносимая вонь их духов, — кажется, вовек ему не отмыться... и тут он окончательно сбросил маску вынужденной признательности. Лицо его заострилось, окаменело, он откинулся в кресле, оперся на подлокотники. В тех, что прежде сидели за его столом, а теперь рассеялись по кают-компаниям, всколыхнулась жалость, они начали переглядываться, впервые между ними возникло безмолвное согласие; даже Лиззи и фрау Риттерсдорф дружно покачали головами и нахмурились, даже казначей и доктор Шуман, который пришел позже всех, обменялись неодобрительными взглядами. Молодые супруги с Кубы, пораньше накормив и уложив детей, пригласили к отведенному для них столику жену мексиканского дипломата, маленькую, хрупкую сеньору Ортега: ее обычное место было занято, а всем троим хотелось провести этот беспокойный вечер в порядочном обществе. Несколько минут они молча смотрели на представление, которое разыгрывалось за капитанским столом. Потом молодой супруг сказал:

— Это совершенно неприлично. Когда я покупал у них

лотерейные билеты, я понятия не имел, что они готовят такую дерзкую выходку!

— Просто стыдно становится, что я тоже испанка, — сказала сеньора Ортега. Она, конечно, знала, как рассуждает самый последний испанец в Испании об испанцах Мексики и Кубы, это, мол, жалкие полукровки, в их жилах течет мерзкая кровь индейцев и негров, и говорят они не на чистом испанском, а на каком-то попугайском наречии. — Они хуже индейцев, — прибавила сеньора Ортега.

— Ну, они ведь просто цыгане, — сказал молодой человек. — Цыгане из Гранады.

— А мне говорили, что они еще хуже цыган, — вставила его жена. — Они испанцы, а называют себя цыганами.

— И ко всему так себя ведут! — сказала сеньора Ортега. — Мне очень жаль бедного капитана, никогда не думала, что буду так ему сочувствовать! Мне всегда казалось, немцы ужасно неприятные. Мы знали в Мексике очень много немцев, и я часто говорила мужу — пожалуйста, будь осторожен, смотри, чтобы тебя не послали в Германию!

— Мой прадедушка был немец, коммерсант в Гаване, — сухо заметила молодая кубинка.

— О, извините! — огорченно пробормотала сеньора Ортега.

Ужин продолжался в молчании.

За капитанским столом Лола по праву взяла на себя роль распорядительницы. Яростно сверкая глазами, размахивая бокалом, точно каким-то оружием, она огляделась по сторонам и крикнула своим низким звучным голосом:

— Тише! Я хочу сказать тост! За вечную дружбу двух великих стран — Королевства испанского и Германской империи, за великих вождей, которые восстанавливают власть и порядок в наших истрадавшихся странах!

— Viva! Viva! — в один голос закричали остальные и разом выпили.

Капитан не шевельнулся, и никто, кроме танцоров, не стал пить. Тогда Лола опять закричала, голос ее зазвенел от злости:

— А всем бессовестным, бездушным упрямам, кто не захотел внести свою долю и принять участие в этом празднике и отдать дань отваге, превосходству, благородству ума и сердца и... одним словом, вам, мой капитан, — Лола с

самой своей ослепительной улыбкой наклонилась к капитану Тиле, — всем, кто старался нарушить радость и красоту сегодняшнего торжества, вечный стыд, срам и позор!

Все танцоры, даже Рик и Рэк, закричали «Viva!» и залпом осушили бокалы. У капитана шумело в ушах; уже не понимая, был это тост и хвала или же проклятие, за кого и против кого пили, он встал и отшвырнул салфетку. И тотчас повскакали с мест кубинские студенты, высоко подняли огромные кубки красного вина, весело завопили:

— Стыд! Срам! Вечный позор! Viva las Verguenzas! Viva la Cucaracha!¹

И принялись горланить все ту же песню о несчастной Тараканихе, о всевозможных ее горестях и лишениях. В разных концах кают-компания множество голосов подхватило песню — сначала заорали вразброд, но очень быстро хор сладился, многие в такт захлопали в ладоши, затопали ногами. «Cucaracha, cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque no tiene Marihuana para fumar»².

Капитан Тиле сунул пальцы за воротник, словно его душило, сказал сквозь зубы, как сплюнул: «Благодарю, благодарю!» — и, слепо пробиваясь между столиками, ринулся вон из кают-компания.

Танцоры никого и ничего не замечали, кроме главного предмета их внимания; они двинулись за капитаном, все еще выкликаая «Viva! Viva!» — но теперь их совсем заглушил буйный хор. Они вышли к трапу и остановились, тщетно озираясь по сторонам; капитан улизнул от них, скрылся у себя на мостике, точно лиса в норе, и потом целые сутки его никто не видел.

А Дженни, конечно, не выдержала (Дэвид так и знал, что не выдержит!), принялась заодно со всеми покачиваться и хлопать в ладоши и во все горло запела про Тараканиху, чем дальше, тем хуже, ведь песня с каждым куплетом становилась непристойнее, а Дженни пела все подряд, и люди за ближними столиками уже смотрели на нее с изумлением. Она единственная из женщин присоединилась к этому хору.

— О господи! — в отчаянии сказал наконец Дэвид. — Ты хоть понимаешь, что поешь?

¹ Да здравствует целомудрие! Да здравствует Тараканиха! (исп.).

² Кукарача, кукарача, нету сил ходить, нет марихуаны, нечего курить! (исп.).

Дженни продолжала притопывать ногой и отбивать ладонью такт.

— Конечно, понимаю. Если хочешь, я спою это по-английски. Пожалуйста, Дэвид, потерпи, я не могу удержаться. Я так же не вольна в себе, как ты в себе. По-моему, вся эта история — дикость, все нечестно и неправильно, мы оба это понимаем; но я другого не могу взять в толк: если ты знаешь, что все так скверно, почему ты не попробовал им помешать? Почему не дал мне позвать полицию или вовремя предупредить хоть кого-нибудь из тех лавочников? Мы же видели, что эти танцоры всюду воровали.

— Это было не наше дело, — коротко ответил Дэвид.

— А тогда почему ты сейчас такой праведный? Почему сидишь надутый? — забыв обо всякой осторожности, нетерпеливо спросила Дженни.

— Потому что этот праздник тоже не наше дело, — отрезал Дэвид.

Дженни допила вино и посмотрела, как пассажиры вслед за испанцами потянулись к выходу.

— Ладно, — сказала она. — Желаю тебе поразвлечься. А я пойду танцевать с первым, кто меня пригласит!

И оставила его одного за десертом и кофе.

Тито и Лола заранее предупредили дирижера: оркестр должен играть попеременно немецкие и испанские танцы до тех пор, пока не начнется розыгрыш лотереи. А тогда пускай играет, что хочет; дирижер любезно согласился, за что получил пять лотерейных билетов, и с вождением поглядывал на белую вышитую шелковую шаль, очень подходящую для его подружки в Висбадене. Когда танцоры и те, кто потянулся следом, вышли на палубу, дирижер с воодушевлением встретил их своими излюбленными «Сказками венского леса». При первых звуках музыки словно искра пробежала по толпе, светлячок веселья заиграл на всех лицах, и они озарились улыбками робкой надежды. Испанцы во главе шествия, едва выйдя на палубу, разделились на пары и выступали под музыку с заученной грацией, изящные, точно фарфоровые статуэтки, все одинаково стройные, по-змеиному гибкие, у всех небольшие, хорошо вылепленные головки, красивые, точеные руки и ноги. Каза-

лось, это одна семья, красивые, но злющие братья и сестры, их колючие глаза и недобрые губы никак не сочетались с беспечно веселыми движениями. За ними следовали несколько пар немцев: фрау Риттерсдорф с молодым помощником капитана, чета Баумгартнер (у обоих на лицах уныние), Эльза с отцом, Рибер с Лиззи... По сравнению с испанцами все они казались неотесанными, нескладными и плохо сочетались друг с другом — совсем разного роста и сложения, одни тощие, другие толстые, лица у всех бесцветные, невыразительные; лишь одинаковая вялость и неуклюжесть выдавала, что все они — люди одной национальности, да еще все одинаково в этой чуждой им роли участников непривычного торжества напускали на себя судорожную, неестественную веселость. Испанцы не удостоили их ни единым взглядом, а немцы глаз не могли отвести от испанцев. И понемногу у одного за другим возникало смутное подозрение, которое вскоре перешло в тягостную уверенность: эти актеры с птичьей легкостью в движениях уже не танцевали чистый, классический венский вальс — нет, вне всякого сомнения, они разыгрывали пародию, оскорбительную карикатуру на немецкую манеру вальсировать!

Миссис Тредуэл танцевала с молодым моряком, они тотчас заметили эту презабавную комедию и оба весело рассмеялись. В ту же минуту раскусили проделку испанцев и Дженни с Фрейтагом.

— Это очень смешно, но как жестоко! — сказала Дженни.

— По-моему, это так верно, что уже почти не смешно, — слегка нахмурился Фрейтаг и закружил ее под музыку.

Но едва они успели пройти круг-другой, стало ясно, что теперь испанцы передразнивают их, и еще того ясней — что они так же смешны и нелепы, как вечное всеобщее посмешище — Лиззи и Рибер. Пепе и Ампаро в точности уловили и изобразили жеманство миссис Тредуэл, ее манеру держаться на расстоянии вытянутой руки от молодого кавалера и его деревянную чопорность; Маноло с Кончей зло передразнивали воинственность Фрейтага и самозабвение Дженни, ее словно в полуобмороке запрокинутую голову. Панчо и Пастора упорно продолжали пародировать Рибера с Лиззи: Панчо подсакивал, как мяч, Пастора вертелась

вокруг собственной оси, точно оживший телеграфный столб.

Дженни резко остановилась.

— Нет, знаете, с меня хватит. Они просто невыносимы... Не хочу я больше танцевать.

— Мне тоже не хочется, — сказал Фрейтаг. — Давайте обойдем корабль. Посмотрим, как действует здешняя механика. Этот балаган мне надоел.

Миссис Тредуэл один танец протанцевала со своим моряком, отклонила приглашение Дэнни, который надеялся провести с нею время, пока не удалось перехватить Пастору, и приняла приглашение казначея; неуклюжий толстяк с неожиданной стремительностью трижды промчал ее по тесноватой площадке, отведенной для танцев, — казалось, его дама уносится из его могучих рук, точно легкий шарф, — и внезапно остановился, пыхтя и отдуваясь, весь побагровел, закрыл глаза... наконец встревоженная миссис Тредуэл спросила, не может ли она ему чем-нибудь помочь.

— Можете, — выдохнул он. — Посидите со мной, выпьем еще шаумвейна.

По счастью, подоспел ее красивый, сверкающий золотыми галунами морячок, почтительно поклонился казначею и снова повел ее танцевать. Она заметила — его белорозовое гладкое лицо ничего не выражает, ровным счетом ничего! Такой он прилизанный, чистенький, безукоризненно правильный, будто и не человек вовсе, будто отлит был в какую-то стандартную форму, да так и застыл. И танцует ровненько, гладенько, маленькими шажками, приноравливаясь к ней, и держит ее, совсем не по моде, на почтительном расстоянии, будто учился в той же школе танцев. А ведь он почти мальчик, в сыновья мне годится, невольно подумала миссис Тредуэл, а держится совсем как мой дедушка. Что ж, решила она, это не так уж плохо, и отдалась неспешному кружению вальса, и ей стала отрадна эта плавная легкость и приятная близость мужчины — не тяжесть, не обуза, просто он рядом. На минуту она закрыла глаза и кружилась в успокоительной полутьме, ощущая смутную нежность к призраку, что ведет ее, едва касаясь ее ладони и

тали, — возлюбленный, с кем она танцевала в мечтах долго до того, как впервые танцевала с мужчиной. А потом открыла глаза и поймала на себе его взгляд — странно пристальный, изучающий, и ей стало не по себе. Может, ей только почудилось, может, просто ее искусственному взгляду всюду мерещится затаившееся животное, чьи повадки давно и хорошо знакомы? Или в его глазах и впрямь блеснула похотливая алчность? Но как только глаза их встретились, его взгляд стал вежливо-отчужденным, даже чуть скучающим.

— Давайте уйдем от этих хамов. Не хотите ли пойти осмотреть корабль? По торжественным случаям это в обычае.

Миссис Тредуэл вспомнила, сколько ей приходилось плавать на очень разных кораблях к разным гаваням, — но никогда еще в самых торжественных случаях она не осматривала ни один корабль. Наверно, скука невозможная; она улыбнулась своему спутнику, взяла его под руку и пошла посмотреть на нечто новое, пусть и не увлекательное.

Когда оркестр заиграл румбу, кубинские студенты веселой гурьбой кинулись наперегонки приглашать испанок — кто до какой раньше добежит. Двое, кому танцовщиц не досталось, сразу стали оглядываться в поисках других дам; один перехватил Дженни, которая только что рассталась с Фрейтагом, а второй, улыбаясь и напевая мотив румбы, обнял за талию Эльзу, сжал другой рукой ее руку — и она, ошеломленная, встретилась взглядом с тем самым незнакомцем, с веселым красавцем, о котором столько мечтала. Да нет же, не может быть... но он все еще улыбается, чуть сдвинув брови, и тянет ее за талию, а она стоит столбом, не в силах шевельнуться.

— Полно, пойдемте, — сказал он очень учтиво, вкрадчиво, и оказалось, он разговаривает ничуть не вульгарно, безо всяких жаргонных словечек. — Пойдемте потанцуем.

Эльза будто к полу присохла.

— Я не могу, — прошептала она испуганно, как маленькая. — Нет-нет, прошу вас... я не могу.

— Конечно, можете, — небрежно возразил он. — Все, у кого есть ноги, могут танцевать! — И он ухитрился проде-

лать несколько па на одном месте, не переставая обнимать неподвижную фигуру, чересчур тяжеловесную, чтобы ее можно было сдвинуть. — Ну, видите?

— Нет, нет! — в отчаянии воскликнула Эльза. — Я не умею!

Он опустил руки, отступил на шаг, и Эльза с ужасом увидела на его лице самое настоящее отвращение.

— *Perdoneme!*¹

Он поспешно отвернулся, точно от гадости какой-то, и пошел прочь, ни разу не оглянувшись, а Эльза так и осталась стоять. О конечно, он никогда и не оглянется! Полминуты не прошло, а он уже танцует с миссис Тредуэл, которая оставила своего моряка, чтобы для разнообразия пройти круг со столь необычным кавалером — карнавал так карнавал... и Эльза почувствовала, что сердце ее разбито окончательно и бесповоротно. Убежать бы, лечь в постель и выплакаться всласть, но сперва надо пойти сказать отцу с матерью, не то они станут ее всюду искать. Родители в салоне играли в шашки.

— Нет, Эльза, — сказала мать, — нельзя ложиться так рано, будешь плохо спать. Почему ты не танцуешь?

— Не хочется, мама, — сказала она так уныло, что оба посмотрели на нее с тайным сочувствием и пониманием.

— Что ж, ты умница, что хочешь посидеть тихо, — сказала мать многозначительно, и Эльза покраснела от стыда. — Тогда побудь тут, поиграй с отцом в шашки, а я опять возьмусь за вязанье, и мы славно проведем вечер втроем после всей этой дурацкой суматохи.

Так, значит, злой рок, который она прежде лишь со страхом угадывала в грозном будущем, ее настиг... Эльза машинально улыбнулась отцу и взялась за шашки.

Арне Хансен сидел в шезлонге, ссутулив широкие плечи, сведя густые брови к переносице, рядом на полу стояла бутылка пива; он угрюмо следил за Ампаро — она танцевала сперва с Маноло, потом с одним из этих сумасшедших студентов, а на него за весь вечер и не взглянула ни разу. Когда оркестр заиграл третий танец — немецкий вальс, Арне сло-

¹ Прошу прощения! (*исп.*).

новой походкой подошел к ней — она стояла подле Маноло и обмахивалась веером. Маноло скромно удалился, а Хансен крепко взял Ампаро за локти, так ему всего привычнее было танцевать. Ампаро не тратила слов на объяснения. Она рывком высвободилась, уронила веер — Хансен этого не заметил. Ампаро нагнулась за веером и, когда он опять неуклюже двинулся на нее, изо всей силы наступила каблучком ему на ногу, тотчас резко выпрямилась и головой наподдала ему снизу в подбородок, так что он до крови прикусил язык.

— Смотри, что ты сделала, — горько упрекнул он, достал носовой платок и стал прикладывать к ранке, на платке алели все новые пятна.

— Ну и отвяжись! — свирепо крикнула Ампаро. — Не стану я сегодня таскать тебя за собой, туша вонючая! Я занята, скоро лотерею разыгрывать, поди сядь там где-нибудь, лакай свое пиво и не путайся под ногами.

— Я купил четыре билета, — напомнил Хансен, пошарил в нагрудном кармане рубашки и вынул четыре картонки.

— Ну да, четыре, жадюга паршивый, — отдельно произнесла Ампаро. — Четыре!

И плюнула так, что едва не попала ему на левый рукав.

— Ты еще возьмешь свои слова обратно, — с неожиданным достоинством сказал Хансен. — Еще пожалеешь, что так себя вела.

Он вернулся к шезлонгу, сел и спросил еще пару бутылок пива.

Едва схватив Дженни за руку и за талию, студент завертел ее, как игрушку, — бешено кружил, отбрасывал прочь на всю длину руки и вновь рывком привлекал к себе, пылко сжимал в объятиях и вновь небрежно отталкивал, ей уже казалось — вот сейчас он схватит ее за ноги и закружит вниз головой! Задыхаясь, она запротестовала.

— На ринге я за ближний бой, — сказала она весело. — Предпочитаю воевать лицом к лицу. А такая акробатика — к чему?

Это ему польстило.

— А, вам нравится? Вот так? — с восторгом заявил он,

к ее удивлению, более или менее по-английски, и завертел ее как волчок.

— Нет, нет! — Дженни вырвалась, но, конечно, со смехом. — Хватит!

Оба смеялись, и Дженни превесело помахала ему на прощанье и побежала к Фрейтагу.

Он одарил ее истинно немецкой высокомерной улыбкой.

— Скажите мне, вы, уж наверно, это знаете, неужели все женщины в глубине души предпочитают головорезов, пацегеах¹ и всяческих подонков? Что за странное у женщин пристрастие ко всему низменному? La nostalgie de la boce?²

— К низменному? К грязи? — озадаченно переспросила Дженни. — Да он просто шумливый студент-медик из мелких буржуа, довольно надоедливый, но что в нем уж такого низменного?

— Он танцевал с вами неуважительно, можно подумать, он потешается над вами, — напрямик выпалил Фрейтаг.

— Очень может быть, — просто ответила Дженни. — Это его дело, меня это мало трогает.

— Вы что же, совсем лишены гордости? — сурово спросил Фрейтаг.

Он уже устал от попыток понять эту странную особу — кажется, нет в ней ничего такого, что ему требуется в женщине, и однако она постоянно его волнует, возбуждает чисто эротическое чувство, какого он никогда еще не испытывал, — одно лишь вождление и ни тени тепла, нежности. Она ему и не нравится вовсе.

— Гордости у меня немного, — сказала Дженни. — А вы что, хотите со мной посориться? Лучше не надо. Этого у меня и без вас хватает.

Фрейтаг рассудил, что это неважное начало для вечера, на который он возлагал кое-какие надежды, и сразу переменил тон.

— Не обращайтесь внимания, — сказал он. — Наверно, я просто немножко приревновал. Давайте еще потанцуем, а уж потом пойдем бродить. Какое нам дело, что о нас думают эти мошенники-испанцы?

¹ Сутенеры (франц.).

² Неодолимая тяга к грязи (франц.).

Дэвид покончил с десертом, выпил кофе с ликером, выкурил сигарету и лениво пошел в бар; он надеялся, что Дженни заметит, какой он спокойный и довольный. Но Дженни нигде не было видно, и он подсел к стойке рядом с Уильямом Дэнни; в баре уже расположились за маленьким столиком супруги Баумгартнер, мальчика с ними не было. За другим столиком распивали бутылку вина Гуттены, у их ног лежал Детка, он, похоже, окончательно оправился после своих злоключений.

Дэвид порой удивлялся — как установились у него с Дэнни совсем особые, не слишком близкие, но устраивающие обоих отношения собутыльников. Похоже, Дэнни может пить с кем угодно или один, ему безразлично; а главная беда Дэвида — что его всерьез ни к кому не тянет, только к Дженни иногда, да и к ней день ото дня все меньше, а вот с Дэнни ему легко, потому что Дэнни как бы и не существует: не человек, а какой-то тюк пошлых вожделений и нелепых провинциальных предрассудков. Дэвид пробовал подойти к нему и так и этак — ничто ему не интересно, ничто не волнует. И вот они сидят и пьют молча, каждый сам по себе, отрешенные, далекие друг от друга, будто старые приятели, которые давно друг другу надоели.

За четвертой порцией виски Дэвид вяло пробормотал (язык уже плохо его слушался):

— Когда ни погляжу, она все с Фрейтагом ходит. Вон, опять пошла, — он неопределенно махнул рукой. — Опять пошла.

Дэнни боком наклонился к нему с высокого табурета, огромный, нескладный, сказал серьезно, с видом заговорщика:

— Не хочу навязываться, поймите в виду, я сроду в чужие дела не мешался, одно скажу: была бы эта сучка моя, я бы ей все кости переломал. Поймите в виду, это дело не мое, а только она с вами не по совести поступает.

Эта туповатая заботливость тронула Дэвида — не то чтобы сам Дэнни, но его слова пробудили ответное доброе чувство.

— Да я на вас не в обиде, — сказал он. — Я знаю, вам тоже солоно приходится. С этой Пасторой. Мы с вами оба потерпели крушение, вроде как два моряка в одной шлюпке, — прибавил он добродушно. Внутри одна за другой со

звоном лопались какие-то туго натянутые струны, и что-то отпускаяло, становилось легче, даже не досадно было самому слышать, что он как дурак разговорился с Дэнни — тот-то всегда разговаривает как дурак... нет, все это даже приятно.

— У всех у нас свои заботы, — с жаром сказал он Дэнни. — Вы еще найдете способ выйти из положения.

— Я все ищу, как бы войти! — похотливо ухмыльнулся Дэнни. — Выйти-то не хитро. Скажу прямо, она из меня вытянула больше, чем я собирался дать, ловкая bestия, а теперь хочет увильнуть, не расплатясь. Ну так вот, нынче я ее заставлю заплатить по счету, говорю вам, нынче же вечером. Я никому не доставлю неприятностей, никому. А вот ей я покажу, верьте слову, она у меня узнает!

Некоторое время Дэвид размышлял над услышанным.

— Что же, — сочувственно заключил он, — с такой женщиной... неудивительно, если вам достается шиш.

Дэнни не оскорбился, он ничего не понял.

— При чем тут шиш? — недоуменно спросил он. — Кто говорил про шиш?

Он уперся ладонью в плечо Дэвида и стал настойчиво его подталкивать куда-то вбок. Дэвид откачнулся, чтобы оказаться вне досягаемости.

— Да ну же, — сказал Дэнни. — Мужчина вы или заяц? Валяйте. Самое время. Дайте ей как следует в зубы.

— Пасторе? — удивился Дэвид. — Почему я? Это ваша забота.

— Н-ну да... — неуверенно протянул Дэнни. — Я не про то. Я малость погожу, может, одумается. Она мне нужна в полной форме, — задумчиво пояснил он. — Что толку, если девка вся в синяках, живого места нет... Я всегда говорю, чем мужчина лучше, тем больше ему с девками мороки. У меня всегда так. А вам этой Дженни хватает, будь она моя, я бы ей набил морду.

Дэвид с трудом, близоруко взгляделся в перекошенное лицо, которое маячило перед ним как в тумане, до него наконец дошло, что Дэнни очень даже мешается не в свое дело.

— Ну, знаете, она не ваша, — сказал он, и вдруг его озаарило: — Она вообще ничья, она сама себе и то не хозяйка.

Он удивился своим словам и сразу почувствовал, что не-

чаянно открыл некую новую истину и осознал, как обманчивы его былые надежды. Вспышка радостного оживления сменилась обычной мрачностью, а тут еще в бар опять хлынул народ с танцев, в этом водовороте оказались и Пастора со своим студентом, и Дженни с Фрейтагом. Дэвид постучал по стойке, пододвинул к буфетчику оба стакана.

— Еще два виски, — сказал он. — Что ж, по крайней мере, покуда они крутятся у нас на глазах, мы хоть знаем, где они есть.

— Ага, и чем занимаются, — подхватил Дэнни с такой беззащитной злобно-хитрой усмешкой, что его физиономия совсем перекосилась.

Новобрачные после ужина, как всегда, гуляли рука об руку по укрытой от ветра стороне палубы, подальше от танцующих, и посторонились, пропуская угрюмого белокурого юношу, который вез больного старика в кресле на колесах; ссохшийся изможденный старик съезжился под одеялами и пледом и дрожащими пальцами перелистывал карманную Библию. Когда кресло поравнялось с новобрачными, он поднял восторженные глаза, вскинул трясущуюся руку и хотел коснуться молодой женщины. Она вся задрожала, отпрянула и прижалась к мужу.

— Бог да благословит ваш брак и даст вам наследников, — произнес Графф.

— Спасибо, сэр, спасибо, — сказал молодой муж, он твердо помнил, что к старости надо относиться почтительно.

И оба стояли и ждали, пока юноша со свирепым лицом, не глядя на них, прокатил кресло дальше. Молодая жена, все еще вздрагивая, прижималась к мужу.

— Это прозвучало как проклятие! — сказала она. — Еще чуть-чуть, и он бы до меня дотронулся!

И молодой супруг ответил ласково-покровительно, снисходя и успокаивая, как и положено супругу (этот недавно усвоенный им тон восхищал обоих):

— Ты же прекрасно знаешь, проклятия — просто выдумка. Да и как он может нам повредить? Он просто жалкий умирающий старик — и, в конце концов, он желал нам

только хорошего. Грустно это, когда человек стар и болен...

У молодой женщины было доброе сердце, она тотчас пожалела о своем жестоком порыве и притом, честная по натуре, поняла, откуда взялась эта жестокость: так отвратительны, так пугают старость, уродство и немощь, а еще страшнее смерть — единственный выход, единственное спасенье от всех этих ужасов. Она почувствовала себя очень рассудительной и спокойной, полной радостного здоровья... бессмертной! И сказала мечтательно:

— Надеюсь, мы умрем молодыми.

На носу корабля ни души... муж обнял ее, легонько встряхнул:

— Умрем молодыми? Да мы никогда не умрем! Мы с тобой будем жить вечно, до самого светопреставления!

Они засмеялись счастливо, беззаботно, без тени иронии и насмешки, как ворюшки, поцеловались: вдруг кто-то увидит?

Иоганн сильно опоздал к ужину, кают-компания почти опустела, он уже не застал ни воздушных шаров, ни бумажных колпаков, никакого веселья, и за столом оказался один. А опоздал он потому, что дядюшка вздумал устроить приступ кашля и едва не задохся. Иоганн подал старику нюхательную соль, обмыл ему лицо холодной водой, сел рядом, обмахивая его, как веером, сложенной газетой, и надеялся, что он умрет. Но тот оправился, и даже слишком: потребовал, чтобы Иоганн его всего вымыл и передел и чтобы сидел и помогал ему управляться с ужином, а потом вывез на палубу подышать свежим воздухом... старый притвора, как будто ему свежий воздух нужен! А на самом деле ему надо смотреть на танцы и слушать музыку и разглагольствовать о том, как все это грешно. К тому времени, как Иоганн наскоро проглотил свой ужин и вышел на палубу, Конча уже танцевала. Она приветственно помахала ему поверх плеча кавалера и поглядела так, что и камень бы растаял; но Иоганн все равно знал: без денег ему к ней ближе не подойти. Когда он позднее прикатил дядю на праздничную палубу и остановился в сторонке, она уже танцевала с другим — на этот раз она поглядела на старика, перекрестилась, сделала правой рукой непристойный жест в защиту от дурного глаза и пронеслась мимо.

Понемногу в душе Иоганна зрела отчаянная решимость — он добудет денег, больше он ни дня не станет терпеть, довольно его держали в черном теле! Старый скряга! Прикидывается святым, а сам сущий дьявол! Нет, надо покончить с этим рабством, так ли, эдак ли, а он вырвется на свободу... конец, конец, мысленно твердил он, и опять и опять при этом слове его пронизывал такой страх, что едва не останавливалось сердце; и все-таки он это сделает! В последний раз он потребует — пускай дядя отдаст деньги, которые должен ему, не так уж и много, ведь платил бы он слуге! — а если старик откажет... что ж, надо обыскать всю каюту, и деньги найдутся. Скорее всего, старый скряга держит бумажник в изголовье постели, под матрасом. Надо подождать, пока он уснет, надо дать ему снотворное, отыскать деньги и забрать...

Иоганн круто развернул кресло к дверям коридора и покати́л его к каюте.

— Куда ты, племянник? — со стоном встрепенулся Графф.

— Назад в эту грязную берлогу, куда же еще. Тебе пора спать!

— Поверни назад, Иоганн. Я еще не хочу спать.

Иоганн упрямо молчал, колеса толчками прыгали вниз по ступенькам, и Графф, не дождавшись ответа, прибавил:

— Господь добр, но и справедлив. Опять скажу: вверяю тебя его воле, Иоганн.

— Ну ясно, что ж тебе еще остается, — презрительно отозвался Иоганн.

Он втолкнул кресло в каюту — и тусклый свет ночника, который не гасили круглые сутки, и ненавистная, за много дней сгустившаяся духота едва не сломили его решимость; он весь, с головы до пят, покрылся медленным потом ужаса. Не смея позволить себе хоть миг колебания, он круто повернул кресло, пригнулся, точно вот-вот прыгнет на старика, и, захлебываясь словами, выговорил:

— Ну, теперь ты мне дашь денег, или я... где они? Где ты их прячешь, старый скупердяй? В последний раз спрашиваю! Где у тебя деньги?

— Не кричи, Иоганн. Я не хочу, чтобы посторонние узнали о твоём позоре. Я этого ждал, — говорил старик спокойно, только мокрота клокотала в горле. — Ты совер-

шаешь еще один шаг по пути к преисподней. Деньги там, где им следует быть...

— Дай мне денег! — отчаянно закричал Иоганн. — Дай хоть немного, мне нужны деньги! Я сам возьму, если не дашь, я убью тебя!

И он вскинул руки со скрюченными пальцами, готовый, точно когтями, вцепиться ими дяде в горло.

Старик не отстранился, смотрел Иоганну прямо в глаза и поднял руки ладонями вперед, словно отодвигая его. И трудно, прерывисто дыша, еле слышно, почти шепотом выговорил:

— Не делай этого, мой Иоганн, дорогой мой мальчик. Тебя уличат. Тебя казнят. А потом, Иоганн, за жалким концом здесь, на земле, последует суд божий.

— К чертям суд божий! — в бешенстве крикнул Иоганн, стиснув кулаки, и все же на шаг отступил. — Хватит чужь пороть! Где деньги? Где деньги?

— Если уж не можешь иначе, Иоганн, будь вором, но не убийцей. Умоляю тебя не ради себя — неужели ты думаешь, что я боюсь смерти? — ради тебя самого, не делай этого. Не губи свою жизнь, дитя мое. Разве так трудно потерпеть еще какие-то считанные дни? Ты будешь наслаждаться жизнью еще долгие, долгие годы, когда меня не станет.

Ярость и страх взорвались в Иоганне, словно лопнула артерия. Лицо сморщилось, подбородок затрясся, слезы брызнули из глаз и заструились по щекам, рот скривился, углы губ поползли книзу, и он неистово закричал, всхлипывая и давясь словами:

— Да не хочу я тебя убивать, не хочу обкрадывать, ты сам меня довел! Почему ты меня не считаешь человеком, дядя? Что я тебе сделал плохого? Дай мне немного денег, больше мне ничего не надо! — Он безутешно зарыдал. — Не хочу я тебя убивать... я только хочу свободы!

Теперь он сидел на краешке дивана, согнувшись в три погибели, сморкался и утирал лицо нечистым платком. Дядя смотрел на него и скорбно качал головой.

— Никакой свободы на свете нет, Иоганн, — сказал он с долгим, горестным вздохом. — Нет на свете свободы. А если бы и была, неужели ты надеешься достичь ее таким путем?

— Я хочу купить бутылку вина! — горячо воскликнул

Иоганн, в нем опять пробудился мятежный дух. — Мне надо прилично одеться, ты меня держишь в отрепьях, как нищего! Я хочу танцевать, быть молодым, пока молод, я имею право жить. Ты умираешь — так что же, разве непременно надо тащить меня с собой в могилу?

— Я только хотел спасти твою душу, Иоганн, — сказал Графф. — Ты мне дорог.

И юноша почувствовал, что смягчается, уступает, проигрывает битву, застигнутый врасплох предательской атакой с незащищенного фланга, ведь в чувствах ты беззащитен, ты жаждешь любви, тебя ослепляет мучительный страх вечно оставаться в стороне от жизни, чужаком, изгнанником, когда не можешь во всем принять участие, во все внести свою лепту, стать человеком среди людей... и в душе он бился, метался в поисках самых нужных, самых верных слов: как объяснить старику, как бы его задобрить, получить свое — и не сделать ему ничего худого, не красть, не убивать, черт бы его побрал!

— Моей душе я сам хозяин, — угрюмо сказал он почти уже обычным голосом.

— Неправда, — спокойно возразил дядя. — Глупости ты говоришь. Но я больше не в силах с тобой спорить. Не стану тебя удерживать. — Он показал на свою койку. — Нащупай под матрасом, поближе к стене, мой бумажник и дай мне.

Пораженный этой внезапной победой, ощущая стыд, унижение и досаду, Иоганн неловкими руками стал рыться под одеялами. Нашарил бумажник, подал Граффу, тот не мешкая раскрыл его, достал из одного отделения солидную пачку банкнотов и, не считая, протянул Иоганну; жуткая улыбка проступила на его измученном лице.

— Пожалуй, для твоего блага мне следовало поступить иначе, — сказал он мягко, — но ни один дар не пойдет на благо, если он дается без благословения. Благословляю тебя, Иоганн, тебе следовало знать, что смерти я не боюсь. Даю тебе это не из страха, что ты отнимешь у меня жизнь. Но я боюсь, что иначе ты станешь убийцей. Это совсем не одно и то же, Иоганн. Эти деньги твои — и я больше не хранитель твой. Возьми их не задумываясь и ступай своей дорогой, дитя мое.

Иоганн стиснул пачку денег — так много! можно купить все что хочешь! — и, смущенный, сбитый с толку дядиным

убеждением, что отныне он, Иоганн — неисправимый грешник, растерянно выпалил:

— Дядя, ты со мной обращаешься как со слугой, но слугу ты бы никогда не решился оставлять без гроша, как меня, это нечестно!

— Никогда я не считал тебя слугой, Иоганн. Не старайся оправдать себя таким бессовестным способом... а теперь, пожалуйста, помоги мне лечь, я очень устал.

Иоганн сунул деньги во внутренний карман куртки и занялся своими всегдашними обязанностями, лицо его пылало.

— И дай мне, пожалуйста, снотворного, — сказал Графф.

С внезапной жалостью смотрел Иоганн, как старик пьет микстуру. Стараясь подавить в себе это новое, неожиданное чувство, он осторожно, как его давно научили, не обнажая нескромно этот маленький живой скелет, сменил на нем костюм на ночную рубашку — поднял и потом бережно опустил одну руку, затем другую, натянул подол на распухшие коленные суставы, поднял бессильное тело, как младенца, аккуратно уложил, подвернул со всех сторон одеяло.

— Ну вот, спи, — сказал он, вдруг охрипнув.

— Спасибо, — сказал дядя. — Я тебе всегда благодарен.

Иоганн постоял над ним в нерешимости, потом сказал:

— Тебе спасибо, дядя. Я исправлюсь, обещаю тебе...

— Пожалуйста, ничего не обещавай, — перебил Графф, приподнял руку и улыбнулся той же ужасной улыбкой мертвеца. — Увы, все мои нужды остались прежними. Я должен быть для тебя обузой до конца плавания. Мне надо еще раз увидеть Германию, Иоганн, до этого часа я должен дожить. Потерпи.

— Ты не будешь мне обузой, дядя, — горячо сказал Иоганн.

Впервые старик Графф увидел открытое лицо — дружеское и, что всего удивительней, полное великодушия, — оно неузнаваемо преобразилось, трудно было поверить, что это и есть бессердечный сын его, Граффа, бессердечной сестры.

— Доброй ночи, — сказал старик.

Иоганн бросился уже к двери, но приостановился, оглянулся.

— Доброй ночи, дядя. Спи спокойно.

Старик закрыл глаза, пусть благословенный наркотик проникнет в медленно текущую кровь, в наболевшие нервы... о, закрыть глаза и не дышать, заклинаниями воздвигнуть мир без света, нет, вселенную благодатной тьмы — вот безмерное счастье. О боже, затми солнце и луну, погаси планеты твои, как я задул бы свечи. Вырони из державных усталых рук твоих тьму и тишину, тишину и покой, покой праха, погребенного под прахом, тьму и тишину и покой непроглядных морских глубин. Исцели мою скорбь своей тьмой, о боже, я ослеплен светом твоим. Вспомни обо мне на единый миг, смилуйся, внемли единственной моей мольбе: ты есть жизнь вечная, да святится имя твое, да будет воля твоя ныне и присно и во веки веков, но отпусти меня... отпусти. Не лишай меня великого дара — благословенной тишины твоей, вечной тьмы твоей. О боже, дай мне умереть навеки...

Иоганн прошел почти до конца длинный полутемный коридор, сюда уже доносилась музыка, и голоса, и шум волн. Он помедлил у подножья трапа, его охватили смятение и печаль, все в нем еще дрожало от недавней встряски, глубоко внутри еще таились негодование, обида, словно пришлось пережить несправедливость, которую ничто и никогда не искупит. Он не мог не признаться себе, что прежней злобы на дядю уже нет, но и противился такой своей мягкотелости. Дядя поступил так, как должен был поступить давным-давно, не дожидаясь ни просьб, ни тем более угроз, почти с отчаянием говорил он себе. «Теперь я никогда от этого не избавлюсь... никогда...»

Он сунул руку в карман, тронул пачку денег, расправил плечи и, пересиливая опасения, от которых неприятно засало под ложечкой, пошел искать Кончу.

Долго искать не пришлось: Конча болтала с Ампаро и Тито возле пианино, там же стояла маленькая закрытая корзинка с лотерейными билетами и разложены были напказ выигрыши, рассчитанные прежде всего на женщин, — всякие кружевные скатерти, шарфы и веера и две красные нижние юбки из тонкой бумажной ткани с оборками, обшитыми по краю грубым белым кружевом. Сердце Иоганна так и подпрыгнуло, он даже остановился на миг, потом вышел на открытое место, чтобы она его увидела. Но Конча

его не заметила, она держала перед собой одну такую юбку и легонько подкидывала ее коленкой. Первым Иоганна увидела Тито. Украдкой дал знак Конче, и она тотчас отдала юбку Ампаро, приветственно помахала Иоганну и так, подняв руку, пошла к нему — лицо очень серьезное, и совсем особенная мерная походка, бедра покачиваются, словно под музыку, она ему как-то сказала, что это называется мепео. Они тогда гуляли вдвоем по палубе, и Конча взяла его руку и приложила сбоку к своей талии, как раз над косточкой.

— Чувствуешь? — сказала она. — Только у испанок такая походка. Это называется мепео. Чувствуешь? Я не цыганка, знаешь? Я настоящая испанка, это верный знак.

Он весь вспыхнул, ощутив под рукой мягкое покачиванье — вправо, влево, вправо, влево... она уверяла, что это от природы, это не в мышцах бедер, но в костях.

— Ты делаешь это нарочно! — упрекнул он.

Но Конча сказала серьезно:

— Нет, это у меня от рожденья. Слышишь, что говорят мои кости. Мепео, мепео — это они сами так говорят.

И вот он стоит и смотрит, как она идет к нему, он все еще растерян, потрясен жестокой победой над стариком — и вдруг холодеет, едва ли не с ужасом сознавая, что он сделал и что ему предстоит. Конча подходит ближе, взгляды их встретились — без улыбки они смотрят друг другу в глаза, и вот она уже перед ним, она ниже его на голову и смотрит снизу вверх, и в глазах никакого кокетства, ни тени хитрости. Кажется, в них даже тревога. Иоганна от волнения бьет дрожь, он даже не смеет заговорить — вдруг голос его выдает, но Конча не колеблется — кладет ладонь ему на грудь, прямо на сердце, и спрашивает:

— Сделал ты, как я сказала?

Иоганн хмурит брови, говорит грубо:

— Ты что, думала, я послушаюсь? Дурак я, по-твоему?

Рука ее падает.

— Valgame Dios¹, так у тебя нет...

Ее отчаяние приводит Иоганна в бешенство.

— Конечно, есть! — сердито, без малейшего стыда хватается он. — И я их вовсе не украл.

¹ Помилуй бог (*исп.*).

Конча бросается ему на грудь. И он, ухватив за талию, поднимает ее высоко в воздух, кружит, вновь опускает, и все это без улыбки.

— Давай потанцуем, — шепчет она и чуть покусывает его ухо ровными белыми зубами. — Мне все равно, что ты там сделал! И давай выпьем шампанского — помнишь, ты обещал? — прибавляет она.

Они медленно поворачиваются на месте под музыку, но это не танец. Иоганн все крепче сжимает ее в объятиях, ей уже трудно дышать.

— Мы идем в постель, — говорит он. — Прямо сейчас. Помнишь уговор? Сейчас, пока все тут, наверху. Где твоя каюта?

И он ведет ее по палубе — совсем не как влюбленный, скорее как полицейский.

— Что это ты, как настоящий немец, — говорит Конча.

— А кто же я, по-твоему? — спрашивает Иоганн, но думает явно о другом.

— Нет, слушай... — беспокоится говорит Конча, тонкая рука ее податлива, но Иоганн чувствует: она упирается, противится ему всем телом. — Слушай, раз ты так, сперва покажи мне деньги, тогда я покажу, где каюта. Почему я знаю, может, ты неправду говоришь? Маноло меня убьет... почему я знаю?

— Погоди, узнаешь, — говорит Иоганн.

Теперь он уверен в себе, можно ни о чем не беспокоиться, козыри у него в кармане. Лицо его светлеет, смягчается, на миг он порывисто сжимает рукой ее плечо — это почти похоже на нежность.

И сомнения Кончи тоже рассеялись.

— Ладно, — говорит она. — Если обманешь, я тебя убью.

И зарывается лицом ему под мышку.

— Вон как? — снисходительно, как господин и повелитель, спрашивает Иоганн. — Что ж, попробуй. — Останавливается в полутемном коридоре, быстро поворачивает ее лицом к себе и обеими руками легонько берет за горло. — Так?

Конча вздрагивает от удовольствия, с улыбкой, без тени тревоги смотрит на него снизу вверх.

— Нет, не так. По-другому. Я умею лучше.

Они смеются, глядя друг на друга, и идут дальше, Иоганн обнимает ее за плечи.

— Вот и пришли, — говорит Конча, открывает дверь, входит первая и зажигает свет.

Она ждала, что он тотчас набросится на нее, ждала грубого, неуклюжего, бестолкового насилия, слишком часто она видела такое у неопытных, изголодавшихся юнцов; а могло быть и хуже — паника, бессилие и злость на бессилие или даже убийственное отчаяние, и тогда надо будет с ним нянчиться, и льстить, и успокаивать, и осторожно от него отделаться, не подавая виду, ведь мужчины в час такого позора нередко злы, несговорчивы, а то и опасны, еще ее же во всем и обвинит и захочет отомстить ей за то, что унижена его мужская гордость. И она начеку, она готова ко всему; но Иоганн только стоит и выжидательно смотрит на нее, такой сияющий, и так золотятся его волосы. Ей всегда нравились светловолосые мужчины, а этот, оказывается, еще и пылкий, и ласковый, без затей; протянул руку, гладит ее шелковистые черные волосы и повторяет по-немецки:

— Красиво, красиво!

Она с облегчением засмеялась — славно, все будет проще, чем она думала! — и взяла его руку в свои.

— Входи, не смущайся, ты же со мной, нам будет хорошо! — Она притянула к себе его голову, поцеловала и начала развязывать на нем галстук. — И ты тоже помогай мне раздеться. Так забавней — все делать вместе. Скажи, милый, я у тебя самая-самая первая, да?

Иоганн кивнул и покраснел, но тут же овладел собой:

— А почему ты спрашиваешь?

На это Конча предпочла не отвечать.

— Скажи, ты меня любишь? Ну хоть немножко, самую капельку?

— Не знаю, — сказал он хрипло и так обхватил ее, что она с трудом стянула с него рубашку. И начал дергать перед ее платьем, стараясь открыть его на груди.

— погоди, — сказала Конча. — Ты разве не хочешь, чтобы я сама для тебя очень-очень постаралась?

Извиваясь всем своим гибким телом, она высвободилась из дешевого черного платьишка, сбросила к ногам яркую шелковую нижнюю юбчонку и остановилась перед ним обнаженная.

— Я очень нехорошая, — сказала она поддразнивая, — вот увидишь.

Но он, кажется, не слышал, и его вовсе не требовалось соблазнять и разжигать.

Рибер опять угостил весь оркестр пивом и в четвертый раз заказал «Сказки венского леса». Мелодия Штрауса, шамвейн, звездное небо, скользящая в вихре вальса Лиззи — ее кроткое настроение так много обещало, — все вместе приятно кружило ему голову, и, упиваясь сладостью настоящей минуты, он едва не позабыл о будущих наслаждениях. Детский слюнявчик съехал ему под ухо, детский чепчик сполз на затылок, ничто на свете его не заботило. Он непрестанно улыбался во весь рот и сладко причмокивал, смакуя свое удовольствие, и при этом высовывал влажный розовый кончик языка. Покрепче обхватил талию Лиззи, сжал ее руку, прижался к ней плотным брюшком и вдруг без слов, высоким тенорком затянул:

— Там, ти-та-там, ти-та-там, ти-та-та-ам!

Он пел, и резво подпрыгивал, точно козлоногий фавн, и проворно вертелся на носках, и восторженно глядел снизу вверх на Лиззи, и она, точно сама нимфа Эхо, сейчас же откликнулась:

— Ти-та-там!

Да, Рибер чувствовал себя настоящим фавном, легконогим плясуном, что скачет по лужайке посреди лесной чащи, и его острые глянцевые копытца оставляют на мягкой, усыпанной листьями земле раздвоенные отпечатки, похожие на цветы; а в вершинах деревьев стонет ветер, будто скрипка, и в ветвях перекликаются пичужки — ти-та-там — и вздыхают струны арфы, и нимфа ждет козлоногого юношу-полубога, вот сейчас он взбрыкнет копытцами и прыгнет к длинноногой красотке в зеленом наряде, которой так нравятся резвые прыжки! Тра-ля-ля, ти-та-там! — самозабвенно, восторженно распевает во все горло молодой фавн и неистово вертится на носках, на самых кончиках острых копыт, а нимфа, откинувшись торсом назад, вихрем носится вокруг него, и ее кружевные юбки развеваются сзади и неторопливо взмываются вверх, точно раскрывается веер.

Грузно осев в кресле в обнимку с бутылкой пива, Хансен из-под грозно сдвинутых бровей свирепо смотрел на эту пару. Опять и опять они проносились мимо, в последний раз так близко, что юбка Лиззи обмахнула его колени — это просто оскорбительно, решил Хансен, пусть попробует повторить такую штуку, и он подставит ей ножку, и растянутся оба на полу как миленькие. А они уже снова приближались, мчались еще неистовей прежнего — и он весь подобрался, выставил ногу. На этот раз разлетающиеся юбки Лиззи мазнули его по лицу, он замигал, сморщился, и тут башмак Рибера всей тяжестью отдал ему носок. Хансен глухо взвыл, вскочил, распрямился во весь рост и с размаху обрушил пивную бутылку на беззащитную лысину Рибера. Рибер остановился как вкопанный, на лице его выразилось безмерное изумление. Брызнули во все стороны осколки стекла, на лысине заалела яркая длинная полоса, побежали книзу быстрые ручейки.

— Понятно? — сурово спросил Хансен, будто он сейчас нечто неопровержимо доказал. — Понятно?

Удар этот еще глубже погрузил Рибера в игру воображения.

— Бэ-э! Мэ-э! — заблеял он по-козлиному и с наскока боднул Хансена в весьма чувствительное место — прямоком под ложечку, в солнечное сплетение.

Хансен согнулся вдвое, у него пресеклось дыхание. И вмиг, не успев перевести дух, на него опять с истошным воплем налетел Рибер и опять боднул изо всей силы; рубашка Хансена спереди зарябила безобразными красными пятнами.

— А ну, прекрати! — тяжело выдохнул Хансен. Опять согнулся от удара, ладонью уперся в лицо Риберу, оттолкнул его. — Прекрати, ну, я говорю, ну!

Рибер отшвырнул его руку и приготовился атаковать в третий раз. Барабанщик из оркестра сдвинул на затылок свой бумажный колпак и обхватил Рибера — тот, ошеломленный неожиданностью, не сопротивлялся. Скрипач мягко попытался удержать руку Хансена, швед стряхнул его, как котенка. Удивленные тем, что музыка вдруг смолкла, студенты (они танцевали с испанками) бросились смотреть, что случилось, и при виде разрисованной красными струйками

головы Рибера заорали: *Que vive la sangre! Viva la Barbaridad!*¹

Фрау Риттерсдорф и супруги Гуттен до сих пор сидели втроем — не столько зрители, скорее наглядный образец приличия, воплощенный укор неприличному зрелищу. Теперь они демонстративно поднялись — никто, впрочем, не обратил на это внимания — и вышли.

— Нам очень посчастливится, если мы доплывем живыми, — сказала фрау Риттерсдорф.

Замечание столь справедливое, что Гуттены сочли излишним ответить.

Потрясенная Лиззи стояла и смотрела на все расширенными глазами, зажав рот рукой, мучительно сморщив лоб. Скрипач потрепал ее по щеке и попытался утешить.

— Ничего, ничего, — сказал он.

Это сочувствие только заставило ее очнуться и понять, что разразилась катастрофа. Лицо ее сморщилось, она отвернулась и, пригнувшись, высоко вскинув руки, с пронзительными, режущими ухо, совсем павлиньими воплями, как безумная бросилась бежать. Скрипач поспешил за ней.

— Позвольте вам помочь, фрейлейн, — сказал он. — Не ходите одна.

Он хотел тронуть ее за плечо. Лиззи отшатнулась, визгливо засмеялась, заплакала. Прошла мимо Рибера, даже не взглянув на него, и он тоже не видел, как она ушла, не помнил, что она была рядом. Хансен одиноко пошел прочь, крепко прижимая руки к животу. Барабанщик все еще поддерживал Рибера, который явно ничего не соображал. Отойдя друг от друга на некоторое расстояние, Рибер и Хансен внезапно остановились и перегнулись через перила. Прошло несколько бурных минут, потом оба выпрямились, отерли физиономии и продолжали качаться вместе с ныряющим в волнах кораблем.

К этому времени скрипач уже пожалел о своем рыцарском порыве: он-то пытался помочь страдающей представительнице слабого пола, а она отвечала черной неблагодарностью и всякий раз, когда он хотел поддержать ее, взять под локоть, визжала: «Не троньте меня!» — будто ее насиловали. А меж тем ее шатало, она шла по коридору, нале-

¹ Да здравствует кровь! Да здравствует жестокость! (*исп.*)

тая то на одну стену, то на другую, — и, честное слово, никогда в жизни он не видывал такой уродины! Но скрипач был рабом своего хорошего воспитания, а быть может, и природного добродушия; он не отступился от обузы, которую сам на себя взвалил, он все-таки довел несносную бабу до нужной двери, постучал громко, насколько хватило смелости, и стал ждать.

Весь вечер Дэнни просидел в баре и сейчас впервые с трудом слез с высокого табурета.

— Есть дело, — сказал он. — Пойду займусь Пасторой. Она тут крутилась с одним кубинцем. Пускай объяснит толком свое поведение... я ей покажу!

Дэвид давно уже опьянел, но не получал от этого никакого удовольствия, в нем только все как-то притупилось... что ж, теперь он от всего отрешился и может дать разумный совет этому Дэнни, которому явно на роду написано путать и портить все, за что бы он ни взялся.

— Вам бы спохватиться раньше, — сказал Дэвид. — Сейчас самообладание не то. Вам не рассчитать расстояния и силы удара. Не забывайте, женщину куда ни ударишь — все опасно, даже когда вы трезвый. У них все места уязвимые, они взбучку плохо переносят.

— Эта перенесет, — решительно заявил Дэнни.

Он покачнулся, уцепился левой рукой за стойку, правой стукнул себя по животу и громко икнул. И, словно это вернуло ему устойчивость, прямо, уверенно зашагал к танцующим. Дэвид пошел за ним в надежде поглядеть, как этого Дэнни хорошенько отбреют. Но ничуть не бывало, студент сразу же, не прекословя, уступил свою даму. И не успела Пастора отказаться и удрать, как очутилась в объятиях Дэнни; они пошли кружить вкривь и вкось, Пастора крепко взяла его за локти, отстраняя от себя, а Дэнни в угрюмом молчании навис над нею и дышал ей в лицо ядовитым перегаром.

— Пусти, от тебя вонь, как от стервятника! — не выдержала Пастора, отвернулась и попробовала вырваться.

Дэвид с удовольствием понял, что все это сулит Дэнни мало радости. И про себя весело пожелал ему промаяться весь вечер в попытках укротить Пастору и остаться с носом.

У него, Дэвида, своих забот хватает — и, по обретенной в последнее время привычке, когда от виски словно бы проясняется в голове и не так остро мучают разные тревоги, он стал размышлять: почему он утратил уважение к себе? Почему позволяет женщине, да еще такой женщине, как Дженни, день и ночь тяготить его мысли, терзать его чувства и нарушать его планы, и тащить туда, куда он вовсе не стремится, и в спорах бессовестно загонять в угол, и при помощи слез и любовных ласк играть на его слабостях, мешать его работе, доводить до пьянства... просто счету нет ее подлостям... о чем он только думал, черт подери?! Не угодно ли, изо дня в день он напивается, лишь бы избавиться от нее и от мыслей о ней, а что из этого вышло? Что случилось с Дженни? Девушка, которую, как ему казалось, он хорошо знал, исчезла без следа, может быть, просто он сам ее выдумал, склеил из клочков и обрывков, уцелевших от того, что вообразалось и грезилось в мальчишеские годы. Хватит, пора повзрослеть. Нет и не может быть на свете такой девушки, какую в своих мечтах он видел Дженни...

Хмель едва не свалил его с ног. Он оперся на перила, обхватил голову руками, ноги подкашивались, мутило отчаянно — так с ним бывало очень часто и с меньшими основаниями, — и однако сердце и воля ожесточились, словно они жили отдельной жизнью, неподвластные прихотям алкоголя.

— Черт с тобой, Дженни, ангел, знать тебя не хочу. Не желаю больше с тобой воевать. Игра не стоит свеч. Не могу я больше так жить.

Он услышал свой голос и в отчаянии огляделся, но поблизости никого не было. И явственно зазвучал в ушах невыносимо насмешливый веселый голос Дженни:

«...и тогда, лежа на пылающих углях, отозвался император Куаутемок и спросил его: «Уж не думаешь ли ты, что я покоюсь на ложе из роз?»

Она сказала это однажды, давно, когда он еще не принимал ее всерьез; когда он давал ей понять, что страдает из-за нее и чувствует себя несчастным, она всегда ухитрялась намекнуть, что и она тоже несчастна, и виноват в этом он, но она уверена: стоит им обоим хорошенько постараться — и их ждет блаженство несказанное. Но ни разу она не поясни-

ла, как же именно надо стараться и кто должен начать первым.

Мимо пронеслась Пастора — развеваются оборчатые юбки и черная кружевная мантилья, лицо мрачнее тучи; оглянулась через плечо и юркнула в ближайшую дверь. За нею куда медленней, но упрямо и целеустремленно, качаясь и еле сохраняя равновесие, двигался Дэнни. Заметил Дэвида, подмигнул, сказал доверительно:

— Она думает — удерет от меня. — И прибавил беспечно: — Дудки, негде ей спрятаться, нет на корабле такого места. Уж я ее изловлю, будьте покойны.

— Может, вам подождать до утра, будете в лучшей форме, — посоветовал Дэвид.

Но Дэнни упрямо покачал головой.

— Нет уж. Сегодня — в самый раз.

Он заковылял дальше, шатаясь, спотыкаясь, размахивая руками, но все же добрался до двери, за которой скрылась Пастора, прислонился на секунду-другую к косяку и вошел. Дэвид начал бесцельно бродить по кораблю, случайные встречные виделись ему как в тумане — вот миссис Тредуэл со своим чопорным моряком... злосчастная Эльза под конвоем родителей — наверно, ее отправляют спать... доктор Шуман — этот, похоже, спит на ходу; все они проплывали мимо Дэвида, а с другого борта доносился все тот же нескончаемый, опостылевший вальс «Сказки венского леса». Наконец Дэвид себе признался, куда идет и кого ищет, и что думает увидеть; он уже ничего не чувствовал, все нервы словно омертвели, и однако такая убийственная одолевала тоска, такое отчаяние, что его вдруг пронзил страх, впервые в жизни он испугался — вдруг он сейчас умрет! Но что ж было делать, оставалось только идти дальше, все выше по трапам, пролет за пролетом, на верхнюю палубу, к шлюпкам, и тут осторожно, крадучись, обойти все кругом, и вот он нашел тех двоих, и они даже не прятались. Конец его поискам, жаркая волна крови бросилась в голову, как будто он не знал с самого начала, что застанет их здесь. Вот они полулежат, прислонясь к паровой трубе, — уперлись подошвами в палубу, так что коленки торчат вверх; они тесно прильнули друг к другу, головы задумчиво склонены, висок к виску. Слабо светит из-за бегущих облаков луна, и видно — у Дженни лицо бледно до голуbizны, будто

инеем подернуто, сомкнуты веки, сомкнуты губы, страдальческое лицо спящей. Фрейтаг непринужденно, уверенно обнимает ее, одной рукой сжал ее руки на сомкнутых, беспомощно повернутых к нему коленях.

У Дэвида похолодели руки и ноги, он мгновенно побелел, осунулся, даже нос заострился, только вздрагивали ноздри, — он и сам ощутил эту гримасу безмерного отвращения. Его будто оглушило, все смешалось: самая обыкновенная ревность, брезгливость, оскорбленное достоинство, леденящая ненависть к Дженни. И не понять, что всего омерзительней: самый ли смысл этой сцены, бесстыдное ли наслаждение, мучительно искажившее черты Дженни, или самообладание Фрейтага — так непринужденно, привычно он ее обнимает, так уверена его повадка опытного укротителя женщин, прирожденного сердцееда.

Вот это и в ту минуту, и потом было для Дэвида всего невыносимей; он едва не убил Фрейтага за такую спокойную снисходительность, за веселое довольство и самодовольство в его лице. Негодяй явно ждал, чтобы Дженни с его искусной помощью окончательно уступила желанию, чтобы сама пошла ему навстречу. И ничего они вокруг не замечали, поглощенные друг другом, будто в башне или на необитаемом острове. Фрейтаг поднял голову, накрыл ладонью волосы Дженни, запрокинул ее голову и несколько секунд с любопытством разглядывал ее лицо, потом неторопливо, с наслаждением знатока поцеловал в губы. Дженни зашевелилась, казалось, она хочет глубже зарыться в его объятия. Так же спокойно, умело, без спешки и без волнения он тесней прижал ее к себе, осторожно выпрямил ее ноги, растянулся с нею рядом на палубе и положил руку ей на грудь.

Все еще вглядываясь ей в лицо, он приподнялся на локте, склонился над нею и вдруг замешкался, приник щекой к ее щеке, точно прислушиваясь к дыханию. Потом отвернувшись, поудобней пристроил ее голову у себя на плече и как-то странно засмеялся коротким, еле слышным, затаенным смешком. Слегка потрянул голову Дженни, поцеловал ее, потом приподнял, посадил, попробовал поставить на ноги.

— Стыд и срам, красотка! — сказал он с полнейшим, невозмутимым благодушием. — Надо же, в такую минуту — и вдруг обморок!

Дженни тихонько застонала.

— Оставьте меня в покое. Уходите, оставьте меня.

— Вы прекрасно понимаете, что я не могу уйти и оставить вас тут, — сказал Фрейтаг чуть ли не как старший брат, которому прискучили ребяческие капризы. — Вставайте, Дженни, не упрячьтесь.

Дэвид, который все это время стоял, застыв в тени паровой трубы, повернулся и тихонько стал спускаться по трапу, он похолодел от ужаса, от безмерного унижения, в голове гудело, как в морской раковине.

Баумгартнер сидел в баре; клоунский грим его размазался, фальшивая борода валялась под стулом, он неловко потянулся за ликерной рюмкой, толкнул чашку, пролил кофе на салфетку. И молча заплакал, в растерянности утирая рот, лоб, глаза салфеткой, как платком. Жена не спускала с него глаз, жестких и темных, точно два агата, и, понизив голос, сказала сурово:

— Все очень стараются на тебя не смотреть. Тем самым, надо полагать, ты не делаешь из себя всеобщее посмешище.

Залпом, не чувствуя вкуса, он проглотил бенедиктин — лучшее дорогое угощение после праздничного ужина. Поверх стопки блюдца, выросшей между ними, дотянулся до жениной руки, легонько постучал по ней указательным пальцем. Она только и увидела за салфеткой один заплаканный унылый глаз да угол рта, дрожащий от невысказанных упреков.

— Mein Liebchen¹, — сказал он, — разве ты забыла? Сегодня ровно десять лет, как мы поженились.

— Что тут вспоминать? — беспощадно спросила она. — Что это были за десять лет? Суший ад, с самого начала — небольшой земной ад.

— Нет, — возразил Баумгартнер, — не с самого начала. Это неправда...

Жена поспешно перебила его, полная неистовой решимости все отрицать; она только и знала, что несчастлива, что все надежды ее обмануты, и не могла, не желала больше ничего помнить.

¹ Любовь моя (нем.).

— Может, по-твоему, я не знаю, что это было! Хоть бы постыдился! Во что ты превратил нашу жизнь?

Он опять закрыл лицо салфеткой и сквозь салфетку про-
стонал:

— Да-да, мне стыдно, мне всегда стыдно. Но я умираю, Гретель, ты же знаешь, я умираю, у меня язвы, а может быть, рак, откуда мы знаем? Я умираю, а тебе все равно, тебе всегда было все равно...

Жена наклонилась к нему через стол.

— Бросил бы наливать спиртным с утра до ночи, был бы здоров. Ты сам хочешь болеть, хочешь меня замучить, хочешь всех нас погубить... теперь-то я понимаю. Ты меня ненавидишь. Ты все делаешь мне назло...

Баумгартнер расправил было плечи, но опять сник, покачнулся, оперся кулаками о стол.

— Хорошо же, — сказал он. — Это последняя капля. Думай, что хочешь. Хватит с меня, я и так зажился на свете, ни часу больше не стану терпеть эту пытку. Я убью себя.

— Ну конечно! — Жена похолодела от испуга и от гнева. — Опять та же песня! Интересно, когда и как ты на этот раз намерен покончить с собой? Хотела бы я для разнообразия узнать твои планы.

— А вот возьму и сию минуту брошусь за борт! — Баумгартнер залпом выпил кофе. — Это будет... — Он с маху грохнул чашкой о стол, она разбилась вдребезги, и несколько человек оглянулись, но тотчас же отвели глаза. Он перехватил все эти мимолетные взгляды и громко, неестественно и невесело захохотал. — Это будет самый верный способ!

— О да, — съязвила жена. — Ты устроишь великий переполох, и тебя вытащат, как Детку...

— А может быть, как того баска, — напомнил муж.

— Фу! — сказала она. — До чего ты противен.

С отчаянием он увидел, что она просто-напросто злится, она воображает, будто это всего лишь очередная ссора, но он-то зашел слишком далеко, отступать некуда; надо твердить свое, пусть она поверит наконец, что это не пустые слова, пусть, как надлежит жене, помешает ему осуществить угрозу.

Фрау Баумгартнер словно прочитала его мысли. Она ви-
дела, он ждет, как она поступит дальше, и с ребяческим ко-

варством присматривается, прикидывает — долго ли она будет сопротивляться, скоро ли начнет уговаривать его, упрашивать, а он не сразу снизойдет к ее мольбам и согласится не умирать. И она скрестила руки на груди, откинулась на спинку стула, сказала устало:

— Перестань говорить глупости, никогда ты ничего подобного не сделаешь. Мне надоело, я иду спать, а ты можешь сидеть тут сколько угодно.

Баумгартнер вскочил как встрепанный, размахисто зашагал к ближайшей двери и лишь у порога оглянулся. Жена все еще сидела скрестив руки и не смотрела на него. Уже выйдя на палубу, он снова оглянулся, и оказалось — она вышла из-за стола и идет в противоположную сторону, и за спиной у нее развеваются яркие ленты крестьянского чепца.

Ошеломленный таким предательством, такой неожиданной, непостижимой изменой, он неверной походкой поплелся вдоль борта; он непрестанно озирался — неизвестно откуда, но конечно же она вот-вот появится, уж наверно, она просто хочет его наказать, помучить несколько минут и сейчас выбежит откуда-нибудь из-за угла, бросится ему наперерез, станет удерживать, умолять, урезонивать, уже сколько раз так бывало. Он внезапно остановился, облокотился на перила, обхватил голову руками, будто и вправду собирается прыгнуть за борт. Перед глазами встают, опадают, снова вздымаются крутые валы, уходит из-под ног шаткая палуба, и — о ужас! — до дрожи ясно представилось: вот он мгновение стоит на перилах, повисает над страшной бездной, наклоняется все дальше вместе с креном корабля и летит в пучину вниз головой, и в этот самый миг Гретель бежит к нему и, заломив руки, умоляет: «О нет, нет-нет, подожди, любовь моя, подожди, прости меня!»

Он в ужасе отшатнулся и едва не упал, едва не натолкнулся на миссис Тредуэл — она шла с мальчишкой, помощником капитана, Баумгартнер уже не раз видел их вместе. Морячок обнимал ее за талию, обоих кидало качкой то вправо, то влево, и они весело смеялись.

— Виноват, виноват, — сказал Баумгартнер.

Он все-таки удержался на ногах, согнулся в низком поклоне и даже попытался щелкнуть каблуками. Те двое кивнули, мельком глянули на него, небрежно ему помахали и

пошли дальше; им безразличны его мученья, им и дела нет, что он готов покончить со своим жалким существованием, еще того хуже, они и вообразить не могут такого несчастья! Нет в них ни капли жалости и человеколюбия, совсем как в его бессердечной жене. Опять он подошел к перилам, крепко за них ухватился и снова, уже спокойней, стал созерцать волны океана и свое положение. Так вот как оно получилось, вот к чему он пришел, и дурак он был, что когда-то надеялся на лучшее! Это ли не трагедия — человек в отчаянии, а его покидает жена, та, кого он любил, кому верил, кому отдавал все лучшее! А он-то не сомневался, что она оценит его преданность, будет уважать его благородные побуждения, своей верностью поддержит его мужество, будет снисходительна к его слабостям, каковы бы они ни были, — разве найдется человек без слабостей? Он-то ждал, что она предоставит ему полную свободу и при этом будет блюсти порядок, сдержанность и приличия в их повседневной жизни — ведь на то и существует жена. И вот он стоит один в сырую, холодную сентябрьскую полночь над бурными водами океана, готовый покончить с собой, а она и пальцем не пошевелила, чтобы его спасти. Она даже ехидничала, насмехалась, подстрекала его.

Да, это конец. Не может он это вынести. Не может и не хочет. Что за безумие на него нашло, как мог он хоть на минуту допустить подобную мысль — покинуть невинного ребенка, своего единственного сына, который столько обещает, оставить его сиротой, в сущности, на произвол судьбы. Бесчувственная мать, конечно, снова выйдет замуж, предоставит ребенка милостям отчима, как предоставила мужа беспощадным волнам океана. В Баумгартнере вспыхнула новая волна страха и возмущения, но и новая решимость, и в полутьме, спотыкаясь, он стал медленно пробираться к своей каюте; в голове не было ясного плана действий, но где-то глубоко внутри созрела уверенность: пора наконец свести счеты с этой женщиной, с этой змеей, которую он пригревал на груди своей десять долгих, убийственных лет.

Фрау Баумгартнер неслышно отворила дверь каюты и повернула выключатель, заслонив ладонью лампочку бра. Ганс лежал в постели, как лежал, когда она уходила. Он

открыл глаза, заморгал и улыбнулся ей. Она под села к нему на край кровати, спросила, не совладав с дрожью в голосе:

— Ты спал? Что видел во сне?

— Поспал немножко, — застенчиво ответил сын. — Я долго слушал музыку.

— А ты помолился на ночь?

— Забыл... — испуганно сказал мальчик, уверенный, что сейчас ему попадет.

Но мать погладила его по голове и поцеловала.

— Ничего, мы после помолимся. Хочешь, я расскажу тебе сказку?

Ганс порывисто сел, сна как не бывало.

— Ой, сколько мы плывем, ты мне ни одной сказки не рассказала!

— Беденький! — Мать достала свое вязанье и опять села подле сына. — Про что же тебе рассказать?

— Про Гензеля и Гретель, — не задумываясь, ответил Ганс. — Это моя любимая.

— Ну, ты уже такой большой мальчик, а это сказка для малышей, — заметила фрау Баумгартнер, стараясь унять дрожь в пальцах, и начала вязать.

— Все равно я ее люблю, — застенчиво повторил Ганс. — Это ты мне свитер вяжешь?

— Да, и я хочу его докончить, пока мы не приехали в Бремерхафен. Я просто не могу ни о чем больше беспокоиться.

Наступило короткое неловкое молчание, Ганс смотрел на мать и сиделся понять, о чем это она, но тут она улыбнулась и начала:

«Жили-были когда-то брат и сестра, жили они в Черном лесу. Брата звали Гензель — Гансик, как тебя; а сестру — Гретель, как меня; и вот однажды ходили они по лесу, собирали цветы, и вдруг идет навстречу старая колдунья...»

Голос ее уже не дрожал, звучал ровно, мягко, на одной ноте, убаюкивая Ганса, словно его качали в колыбели; когда мать заговорила о том, как братец и сестрица сунули злую колдунью в пылающую печь, которую она для них разожгла, веки Ганса затрепетали в тщетном усилии не сомкнуться, но наконец он сдался и под предсмертные вопли злосчастной колдуньи тихонько вздохнул и зарылся щекой в подушку.

Фрау Баумгартнер завесила лампу небольшим шарфом, глаза ее переполнились слезами. Она опять села и принялась вязать, ничего не видя, только считая петли. Пускай придется просидеть так всю ночь напролет, но она дождется мужа.

Он распахнул дверь, шагнул в каюту и едва поверил глазам, а между тем все было так ясно. Он не знал заранее, что скажет и как поступит, но, когда жена обратила к нему замкнутое, упрямое лицо и непроницаемый взгляд, он замахнулся. Она резко откачнулась вбок, но слезы брызнули вновь еще раньше, чем мужнина ладонь хлопнула ее по щеке, точно лопасть весла. Он шлепнул не так уж сильно, даже не больно, но жена, потеряв равновесие, слетела со стула, не удержалась на ногах, упала, ударилась скулой об умывальник. Проснулся Ганс, пугливо съежился, сжался в комок, закрыл глаза скрещенными руками и закричал. Корабль сильно качало, фрау Баумгартнер никак не могла подняться с пола, муж взял ее за руки и поднял. И при этом закричал — уже не гневно, о гневе он позабыл, но вне себя от горя:

— Вяжешь! Да как ты могла?! Сидишь и вяжешь, когда я готов покончить с собой! О господи, ну что делать с такой женщиной?!

— А мне все равно! — с ужасающим упрямством крикнула в ответ жена. — Мне все равно! Посмотри на своего несчастного ребенка, ты напугал его до смерти. Что с ним будет, если у него на глазах творится такое? Стыда у тебя нет!

Отец обернулся к сыну, взмахнул руками, готовый его обнять. Но Ганс выставил руки, словно защищаясь, и взмолился:

— Нет-нет, папа, пожалуйста, не бей меня!

Баумгартнер был потрясен. Опустился на колени у кровати, привлек плачущего мальчика к своей груди, забормотал нежно:

— Бедный мой сыночек, хорошее мое дитяtko, папа тебя и пальцем не тронет. С чего ты взял, что я могу тебя обидеть?

Ганс закаменел в его объятиях, резко отвернулся, чтобы не вдыхать отвратительный запах перегара, стиснул губы, с ужасом ощутил, как на щеках с его слезами смешиваются

липкие, теплые отцовы слезы. Молча подошла мать, она больше не плакала, на скуле у нее набухал огромный синяк. Она обняла сразу обоих, сына и мужа, и сказала с величайшей нежностью:

— Послушай, Карл... это надо прекратить. Грешно мучить его нашими огорчениями. Он заболел. Он никогда этого не забудет. Постарайся простить меня, Карл. Я виновата.

Муж сейчас же выпрямился, обернулся, привлек ее к себе, едва не придавив Ганса, который откинулся назад между ними, как мог дальше от обоих.

— Милая моя Гретель! Я тоже виноват, прости. Сердце мое разбито.

— Нет-нет! — в отчаянии запротестовала жена.

Оба размякли от слез, с удивлением ощутили, как пробуждается в них чувственное желание, и принялись ласкать не друг друга, а стиснутого между ними сына; воскресшая страсть их друг к другу волнами прокатывалась над ним, через него, взад и вперед. Ганс метнулся в сторону, пытаясь вырваться из клетки их объятий. Они опомнились и выпустили его. Он скорчился в дальнем углу кровати, старался на них не смотреть. Чепец матери упал на пол, им под ноги, и они мяли и пачкали подошвами яркие ленты. Мать нагнулась за ним, отец тоже неуклюже наклонился, хотел подать ей чепец. Оба встали, потом опять сели, обнимая друг друга.

— О, о, о, — снова и снова прерывисто шептала мать и прижималась лицом к плечу отца, будто хотела совсем задохнуться.

Потом она подняла голову, блуждающий взгляд ее остановился на сынишке — мальчик отвернулся к стене, беспомощно уронил руки. Совсем сирота, несчастный, брошенный ребенок, найденыш, далеко не уверенный, что ему рады в этом мире. Не шевелясь, чтобы не потревожить мужа (теперь уже он уткнулся ей в плечо), фрау Баумгартнер сказала обычным тоном заботливой матери:

— Вымой лицо и руки, сынок, тебе станет лучше... теплой водой, а не холодной, и поторопись. Так поздно, а ты не спишь. Нам всем пора спать, сейчас все ляжем.

Ганс встал и робко начал умываться, он неловко возился с мокрым полотенцем и не поднимал глаз, точно ему со-

вестно было стоять в ночной рубашке и умываться перед этими чужими людьми. Тихий, несчастный, горько сжав губы, он вытер лицо и руки, забрался в постель и натянул одеяло до подбородка.

Мать снова ласково подошла к нему.

— Ну, вот и хорошо, мой маленький. Теперь спи, спи... все прошло, ничего плохого не случилось. Иногда мы сильнее всего сердимся на тех, кого больше всего любим. Прочитай молитву, сынок, и спокойной ночи.

Она смутно улыбалась — не ему, не Гансу, а каким-то своим мыслям. Отец тоже подошел и влажными губами чмокнул его в щеку.

— Спокойной ночи, дружок.

Они погасили свет и начали торопливо раздеваться. Слышно, что торопятся.

Ганс неподвижно лежал в темноте, стиснув руки на груди, вытянув ноги, в животе словно застрял тяжелый ком; а в нескольких шагах в своей узкой кровати двигались, ворочались отец с матерью, он слышал — подняли, откинули одеяло, тихонько, украдкой зашептались о чем-то секретном; быстрое неровное дыхание, потом мать начинает медленно, прерывисто, размеренно постанывать. О...о...о... — как будто ей больно, и шумное дыхание отца вдруг тоже обрывается негромким протяжным стоном. Что-то ужасное творится там, в темноте, они скрывают от него что-то страшное... он всматривается изо всех сил, но перед ним стеной встает тьма, и во тьме — звуки борьбы. Даже не звуки, просто ощутима какая-то сумятица, словно они борются... а может быть, и нет? Сердце у него забилося так часто и так громко, что совсем его оглушило, а когда шум в ушах утих, больше уже ничего не было слышно. И вдруг отец неторопливо, ласково прошептал:

— Ну, как ты? Тебе хорошо?

И мать сонно пробормотала в ответ:

— Да, ах, да... да...

Все мышцы мальчика, все нервы, даже кончики пальцев и корни волос разом ослабли, его мгновенно отпустило, будто перед тем тысячи крепких тугих нитей скрутили его, связали, натянулись внутри, больно врезались в каждую клеточку — а теперь все сразу лопнули. Он протяжно зевнул, сладкая сонливость теплой волной потекла по всему те-

лу. Освобожденный, он повернулся на бок, лицом к стене, чуть не уткнулся носом в подушку; рукам, ногам, затылку стало легко и хорошо, и он уснул блаженным сном, поплыл от облака к облаку, совсем один в ласковой темноте без звуков и сновидений.

К миссис Тредуэл и ее спутнику присоединились другие молодые моряки, помощники капитана, — они совершали обход корабля, но обход превратился в пирушку. Позже миссис Тредуэл вспомнила, что ей всюду было очень весело — прежде всего в пекарне, она там помогала каким-то очень вежливым паренькам лепить булочки. Гурьбой заглянули на камбуз, в бар, в старшинскую кают-компанию, на все четыре палубы, в машинное отделение — и нигде не обошлось без подносов с выпивкой. Гости предлагали коньяк, шартрез, портвейн, горький пикон, рейнвейн и немецкое шампанское, и миссис Тредуэл ни от чего не отказывалась. Где-то по дороге им повстречался казначей — и до смерти изумился, когда миссис Тредуэл обрадовалась ему, как закадычному другу, и нежно его расцеловала. В ответ он громко чмокнул ее в щеку и понимающе заглянул в глаза.

— Та-ак, — снисходительно промолвил он и тяжело затопал дальше.

Остальные моряки двинулись за ним. А верный спутник миссис Тредуэл пожелал, чтобы она и его поцеловала. С какой стати? — поинтересовалась она. Он ответил, что в таких делах объяснять причины незачем. Миссис Тредуэл сочла более разумным подождать до завтра — а там посмотрим, какое у обоих будет настроение. Морячок откровенно возмущился такой странной логикой.

— Это просто ужасно! — сказал он сурово.

— Очень может быть, — сказала миссис Тредуэл. — Что ж, извините.

Милый молодой человек обиженно надулся; миссис Тредуэл впервые заметила у него в руке электрический фонарик. Он бросил кружок света ей под ноги, указывая, куда ступить, крепко взял ее под руку, и они молча спустились по узкому трапу.

— Мне кажется, вы не совсем трезвы, — сказал он наконец. — На мостике вы вызвались сами вести корабль. Ко-

нечно, ничего плохого не случилось... но я думаю, такого с нашим капитаном еще не бывало.

— Наверно, он, бедный, живет очень тихо и замкнуто, — сказала миссис Тредуэл.

Они прошли по главной палубе, мимо оркестра и танцующих — тут все еще носились в вальсе Лиззи и Рибер, — и дальше, на нос корабля, мимо этого жалкого Баумгартнера, он наклонился над поручнями, и его, кажется, тошнило. Он обернулся к ним — лицо отчаянное, прямо взывает о помощи... Они прошли дальше, теперь спутник поддерживал миссис Тредуэл, обняв ее за талию.

— Похоже, ему очень худо, — сказала она, — прямо как будто умирает. Он и говорит, что умирает, какая-то у него очень мучительная болезнь.

— Не верю, ерунда все это, — отрезал молодой моряк. — Просто он все время пьянствует, вот ему и худо...

— Вы что же, не верите, что люди иногда по-настоящему тяжело заболевают и умирают от этого? — совершенно трезво спросила миссис Тредуэл. — Умирают от болезни, от которой не могут вылечиться?

Только сейчас она заметила, что его белая фуражка с необычной лихостью сдвинута набекрень. Он ответил быстро, жестко:

— Ну конечно. Но с какой стати я обязан кому-то там особенно сочувствовать только потому, что он, видите ли, умирает? Все мы больны, — изрек он нравоучительно, и на миг черты его застыли, точно маска стоического терпения и жалости к самому себе. — Все мы умрем, кто раньше, кто позже... ну и что? Стоит ли из-за этого расстраиваться?

— Я ни чуточки не расстраиваюсь, — возразила миссис Тредуэл, обиженная столь несправедливым обвинением. — Похоже, это вы расстраиваетесь.

— Я никогда не расстраиваюсь, никогда! — Голос его задрожал, надо думать, от гнева. — Просто я всю жизнь соблюдаю дисциплину и порядок и терпеть не могу таких, как он, — из-за них только всюду беспорядок и дурацкая неразбериха, совсем не понимают, как надо жить.

— А вы понимаете? — мягко спросила миссис Тредуэл, остановилась и, закинув голову, посмотрела ему прямо в глаза. — Тогда объясните мне.

И сразу подумала — очень странный и неуместный раз-

говор, ведь ясно же, что сейчас будет. Конечно, он тут же крепко обнял ее, обхватил за плечи, за талию, так что она не могла шевельнуть рукой, и неистово поцеловал прямо в приоткрытые на полуслове губы. Ее передернуло, когда-то она уже испытала это отвратительное чувство укуса: точно упырь впился в рот и сосет твою кровь... она отстранилась, сколько могла, повернула голову в сторону, уклоняясь от него, защищаясь вялым равнодушием — и оно-то привело его в смятение и ярость.

Он тряхнул головой, приподнял локоть и рукавом отвел волосы, упавшие ей на лицо, и миссис Тредуэл увидела — на лбу у него проступили капли пота.

— Я так давно люблюсь вами, столько думаю о вас, а вы меня совсем не замечаете, — сказал он хрипло. — Даже когда мы с вами танцуем, не замечаете — почему? А сейчас не хотите меня поцеловать — почему? Вы что, хотите, чтобы я вас упрашивал? Чтоб говорил — я вас люблю? В жизни не понимал, зачем люди так говорят и что это значит.

— Нет уж, не надо! Слышать не могу это слово!

И опять в его лице, в настроении, во всей повадке словно что-то разом сдвинулось, эротический пыл сменился зудом уязвленного самолюбия.

— А тогда зачем вы со мной пошли? Зачем поощряли, чтоб я вас поцеловал?

Миссис Тредуэл совсем отстранилась, отступила на шаг и посмотрела ему в лицо.

— Ну, вот и первая ссора влюбленных! — оскорбительно процедила она и рассмеялась, пожалуй, уж чересчур весело.

Будто впервые она его увидела — совсем мальчишка, лицо гладкое, чистое, ни морщинки, только сердито и обиженно поджаты губы да жгучий стыд в глазах.

— Я не заслужил от вас насмешки, — сказал он с достоинством, и достоинство охладило досаду. Он опять предложил ей руку, но так, словно не имел ни малейшего желания ее коснуться. — Спасибо за чрезвычайно приятный вечер, мадам, буду счастлив проводить вас до вашей каюты.

— О, это вам спасибо, но провожать меня совершенно незачем. Пожалуйста, не беспокойтесь, я прекрасно дойду сама.

Он щелкнул каблуками, чопорно поклонился, четко повернулся налево кругом и зашагал обратно, туда, где танцевали. Минуту-другую миссис Тредуэл думала о нем с восхищением; да, в пристрастии мужчин ко всевозможной чисто внешней, осязаемой дисциплине есть свой смысл — ведь вот мальчишка, несомненно, так же пьян, как и она сама, а меж тем она не очень-то ловко, спотыкаясь и перескакивая через ступеньки, спускается по крутому трапу с главной палубы на вторую — и вот цепляется каблуком туфельки за металлический край предпоследней ступеньки. Каблук отрывается и со стуком летит дальше, а она застывает, покачиваясь на одной ноге.

Внизу как раз чистил ботинки пассажиров молодой стюард, он встал, поднял каблук, подошел к трапу и протянул руку.

— Если позволите, *meine Dame*, я почию вашу туфельку, — сказал он с безукоризненной учтивостью.

Миссис Тредуэл приветливо махнула рукой, улыбнулась, протянула ему ногу, согнув колено, и он снял туфлю, а миссис Тредуэл вприпрыжку, вприхромку заковыляла по коридору; порой она останавливалась, подбирала юбку и пыталась повыше вскинуть ногу, вытянув носок, точно балерина. До чего нелепый выдался вечер, и как приятно, что он уже позади. А у молодого стюарда очень славное, чуть сумрачное лицо и такие деликатные движения, были бы все люди такие, куда более сносно жилось бы на свете.

Лиззи наверняка еще долго будет танцевать, а потом невесть до какого часа любезничать по темным углам со своим свинтусом. Миссис Тредуэл низко наклонилась к зеркалу и задумчиво на себя поглядела, а потом для забавы принялась неузнаваемо разрисовывать себе лицо, как нередко делала раньше, собираясь на какой-нибудь бал-маскарад. Брови сделала очень черные, тонкие, длинные-предлинные, они сходились у переносицы и убегали к вискам, чуть не скрываясь под волосами. Веки покрыла серебристо-голубой краской, ресницы намазала так густо, что на них повисли крохотные черные капельки, напудрилась до белизны клоунской маски и, наконец, поверх своих довольно тонких губ намалевала другие — кроваво-красные, толстые, лоснящиеся, с изгибом невыразимо диким и чувственным. Гладко зачесала назад со лба свои черные волосы и от-

ступила на несколько шагов, чтобы удобней полюбоваться делом рук своих. Да, так было бы совсем недурно... можно было взять высокий гребень, накинуть мантилью и явиться на сегодняшшний вечер под видом испанской танцовщицы... хотя бы Ампаро. Почему она раньше об этом не подумала? Да потому, что все равно было бы скучно, и что ни выдумывай, а вечер закончился бы совершенно так же.

Сидя все там же, за туалетным столиком, миссис Тредуэл почти кончила в третий раз раскладывать пасьянс «Пустынник»; изредка она поглядывала в зеркало на свое неузнаваемо преображенное лицо — оно ее уже не забавляло, казалось, в этих чуждых чертах проступило нечто злое, что скрывалось прежде в самой глубине ее характера. Раньше она вовсе не задумывалась, есть ли у нее характер в общепринятом смысле слова, а впрочем, и не чувствовала, что характера ей не хватает. Пожалуй, поздновато открывать в себе какие-то глубины, где прячутся разные пренеприятные свойства, которые в ком угодно показались бы отвратительными, а уж в себе самой — тем более. Со вздохом она смешала карты, не докончив пасьянс, и стала искать в сумочке снотворное.

Дверь распахнулась, ввалилась Лиззи, упала на колени но тут же поднялась — лицо искаженное, вся в слезах, бормочет что-то невнятное. Позади нее стоял тощий молодой человек с навеки озабоченным лицом — опасаясь, как бы она не затащила его в дамскую каюту, он выпустил ее руку секундой раньше, чем следовало. Ему бросилось в глаза причудливо загримированное лицо миссис Тредуэл, и он не сумел скрыть изумление; он принял было ее за одну из танцовщиц-испанок, тотчас понял свою ошибку и поразился еще сильнее. Отступил на шаг, остановился в тени за дверью.

— *Meine Dame*, — начал он и вкратце объяснил миссис Тредуэл, что произошло. Лиззи, в совершенной истерике, обхватила голову руками, ее рыдания перемежались икотой, и она раскачивалась в такт этой музыке. — Прошу прощения, *meine Dame*, я вынужден оставить ее на ваше попечение, — докончил молодой человек. — Я из оркестра, мне надо сейчас же вернуться.

— Очень вам признательна, — любезно поблагодарила миссис Тредуэл, закрывая дверь.

Лиззи уже растянулась на диване и оглашала каюту долгими протяжными, нестерпимо нудными стонами.

— Ах, скотина, дикарь, негодяй! — опять и опять повторяла она.

Миссис Тредуэл едва не спросила, который именно, но подавила столь легкомысленный порыв и помогла Лиззи раздеться и натянуть ночную рубашку. Она даже подобрала и аккуратно сложила платье и прочие предметы туалета, от которых так и несло разгоряченным телом и отвратительным застарелым запахом мускуса. Потом вспомнила о снотворном и приняла две таблетки. Лиззи повернула голову, миссис Тредуэл увидела жалкое, страдальческое лицо, глаза точно у побитой собаки, лоснящийся от пота лоб, и в ней всколыхнулись сочувствие и угрызения совести.

— Вам тоже надо принять снотворное, — сказала она, подала Лиззи воду и таблетки, та молча их проглотила. — Ну вот, — сказала миссис Тредуэл просто и по-доброму, как женщина, хорошо понимающая чувства другой женщины, — хотя бы на ночь полегчает.

— Да, а что будет завтра, — горестно вздохнула Лиззи, немного успокаиваясь.

— Завтра? Утро вечера мудренее, — сказала миссис Тредуэл. — По крайней мере сегодняшний вечер останется позади.

На сердце у нее стало легко, беззаботно, чуть ли не счастливо, хотя это, конечно, вздор. С чего тут быть счастливой? Она двигалась по каюте шаткой, неуверенной походкой, не замечая, что одна нога у нее в туфле на высоком каблучке, а другая — босая. Лиззи, притихшая и усталая, вдруг забыла про свои горести и воззрилась на ее размалеванное лицо.

— Что это, зачем? — ахнула она. — Зачем... что вы с собой сделали?

— Надела маску, — вразумительно объяснила миссис Тредуэл. — Маску для праздника.

— Но вы опоздали, — протянула Лиззи и опять разразилась слезами. — Праздник кончился!

— Да, я знаю.

И миссис Тредуэл подумала, что Лиззи уже возвра-

щается к своим мерзким повадкам и скоро станет такой же несносной, как всегда. А сама она, видно, совсем пьяная, иначе почему визгливый голос Лиззи слышится ей с многократными раскатистыми отзвуками, будто эхо из колодца.

— Ох, что же я теперь буду делать? Все так переменилось... Глаза бы мои больше его не видели... Миссис Тредуэл, дорогая, ну скажите, как я могла так обмануться? Теперь-то я понимаю, вовсе я не была в него влюблена.

— Как же тут можно что-нибудь знать? Это всегда загадка, сперва кажется — чувствуешь одно, а потом совсем другое, — с любезной рассеянной улыбкой заметила миссис Тредуэл, собираясь снять халат. Должно быть, она обращалась к потолку — подняла глаза, будто надеялась прочесть там ответ на свой вопрос. — Откуда нам знать, что мы чувствуем?

Она медленно, равнодушно опустила глаза и с минуту прислушивалась: за дверью поднялся шум, топот, стук, пьяные крики. Она узнала голос Дэнни и подошла ближе.

— Слушай, Пастора,пусти меня,открой, ты, подлая...

Миссис Тредуэл покорило, но она продолжала слушать — Дэнни, еле ворочая языком, свирепо живописал все, что он намерен учинить над Пасторой, среди всего этого изнасилование — лишь невинная прелюдия.

Лиззи села на постели, зажала уши ладонями.

— Ох, нет, нет, нет! — завопила она. — Это последняя капля... нет, нет, я этого не заслужила... Нет, нет...

— Ну-ну, тише, — сдержанно сказала миссис Тредуэл. — Он не с вами говорит. Не с вами и не со мной. Он сам с собой разговаривает. Успокойтесь и лежите тихо.

Она неторопливо положила Лиззи на лоб мокрое полотенце, устроила ее в постели поудобней, ворочая, точно куклу с подвижными руками и ногами; потом вприскокку проковыляла к двери, взялась за ручку, постояла минуту. И внезапно распахнула дверь настежь. От неожиданности Дэнни отшатнулся, потом кинулся к ней, ухватился за халат спереди и скрутил как тряпку.

— Выходи, шлюха, — сказал он почти официально, будто передавал чье-то поручение. — Выходи, сейчас я тебе все кости переломаяю.

И так больно, с вывертом стиснул ей грудь, что она едва не упала.

Обеими руками миссис Тредуэл схватила его за руку, сказала серьезно:

— Вы сильно ошибаетесь. Посмотрите внимательней!

— Кто такая? — спросил он тупо. — Фу ты, что за чертовщина? — Наклонился ближе, всматриваясь в ее черты под гримом, дыша ей в лицо зловонным перегаром. — Э, нет, дудки, меня не проведешь!

Миссис Тредуэл уперлась обеими руками ему в грудь, оттолкнула и сама подивилась — откуда силы взялись. Застигнутый врасплох Дэнни зашатался, попятился, его отнесло к противоположной стене, он боком сполз по ней и, кряхтя и охая, бестолково размахивая руками, с шумом и грохотом какой-то несурзной кучей повалился на пол. Миссис Тредуэл изумленно застыла: неужели это она одним необдуман-ным движением так его сокрушила? Дэнни не шевелился. Она опустила на колени и кончиками пальцев потрогала его шею, голову — не очень-то хотелось к нему прикасаться. Как будто ничего не сломано; шея какая-то обмякшая, но, может быть, это естественно. Он шумно дышит открытым ртом, веки только наполовину опущены, и видно — вращает глазами. Провел языком по губам, похоже — силится выговорить какое-то слово. Миссис Тредуэл сжала кулак и размахнулась — раз, раз, по губам, по щеке, по носу, еще и еще. Руке стало больно, а Дэнни, кажется, и не почувствовал ударов. Зашевелился, точно собираясь подняться. Миссис Тредуэл нащупала рукой свою туфлю, сняла ее, ухватила за подметку и начала лупить Дэнни каблуком по голове, по лицу; тяжело дыша, привстала на коленях, придвинулась к нему ближе, верхняя губа ее вздернулась, обнажая стиснутые, оскаленные зубы. Она избивала пьяного с наслаждением, так яростно, что острая боль пронзила ей руку от запястья до плеча и отдалась в затылке. При каждом ударе тонкий каблук с металлической подковкой врезал в кожу Дэнни крохотный полумесяц, следы эти все гуще покрывали его лоб, щеки, подбородок, губы и постепенно багровели. Миссис Тредуэл похолодела от страха, глядя на дело рук своих, и все равно, хоть убейте, не могла остановиться. Дэнни заворочался, тужко застонал, на миг открыл глаза, потом ошалело их вытаращил, с великим трудом приподнялся и сел, опять повалился на пол и закричал в ужасе, точно его душил кошмар:

— Пастора! Пастора!

Миссис Тредуэл поднялась на ноги с отчетливым чувством, что не его, а ее чудом миновала трагическая развязка. Она совсем выдохлась, вконец опьянела, ее шатало; кое-как удерживаясь на одной ноге, она надела туфлю — и вовремя: в конце коридора появился стюард. Она тревожно замахала ему, и он бросился к ней, точно это ей досталось, хотя сразу издали увидел скорчившееся тело на полу.

— Вы не пострадали, *meine Dame*? — с неподдельной тревогой спросил он. — Этот джентльмен... он не?..

— Нет-нет, ничего такого, — туманно ответила миссис Тредуэл.

Юноша опустился на колени возле пьяного, тот уже снова впал в оцепенение. Теперь миссис Тредуэл узнала стюарда — тот самый, которому она отдала вторую туфлю.

— Я была у себя в каюте, и вдруг слышу крики, слышу, кто-то упал, — чистосердечно, как на духу, призналась она. — Кажется, он кого-то звал, я не разобрала... Вышла, думала, может быть, можно помочь... — теперь она лепетала тоненько, растерянно, как ребенок, у нее дрожали губы. — Я испугалась, — закончила она громко, искренне, и это была чистая правда.

— Не расстраивайтесь, *meine Dame*, — сказал юноша. — Я все сделаю, что надо. Это не опасно. — Он внимательно разглядывал кровотокающие полукруглые ранки, усеявшие лицо Дэнни. — Просто этот джентльмен немного... пожалуй... не совсем...

— Да, конечно, — подтвердила миссис Тредуэл, неодобрительно улыбнулась, изящным округлым движением, словно что-то от себя отстраняя, провела рукой по лбу. — Я очень вам благодарна, жаль, что вам достается столько хлопот. Спокойной ночи.

Лиззи укрылась с головой и лишь из щелки поглядывала на миссис Тредуэл, как пугливый звереныш из норки. Тень прежней улыбки еще дрожала на губах миссис Тредуэл, хотя глаза больше не улыбались.

— Он ушел, ничего страшного не случилось, — решительно заверила она. — Просто он ошибся, постучал не в ту дверь, только и всего. Теперь он это понял.

— Все равно, лучше бы мне умереть, — захныкала Лиззи. — Жизнь такая невыносимая, ведь правда?

Миссис Тредуэл расхохоталась.

— Чепуха! — сказала она и дала Лиззи стакан воды и третью таблетку снотворного. — По-моему, жизнь великолепная штука!

Она и сама приняла еще таблетку, с восхищением улыбнулась отвратительному, злобному отражению в зеркале. В порыве неистовой радости сорвала с ноги запачканную кровью туфлю и поцеловала ее. Над диваном, с которого Лиззи сонно спросила — что это вы делаете? — потянулась к иллюминатору и швырнула туфлю за борт.

— *Bon voyage*¹, дружок, — сказала она и властно командовала Лиззи: — Спите сейчас же, а то я заставлю вас проглотить еще двадцать таблеток.

И угрожающе к ней наклонилась. Лиззи, уже одурманенная снотворным, была польщена таким вниманием, приписала его доброте, какой вовсе не ожидала от своей высокомерной соседки, и тихонько захрапела.

Миссис Тредуэл долго, старательно умывала свое обезображенное лицо теплой водой, накладывала и втирала крем, похлопывала, массировала и наконец восстановила обычный свой облик и узнала себя в зеркале. От полноты счастья неслышно, одним дыханием что-то напевая, она перевязала волосы лентой, точно Алиса в стране чудес, и облачилась в белую шелковую ночную сорочку с широчайшими рукавами. И только свернулась калачиком в постели, словно пай-девочка, которая уже помолилась на ночь, как осторожный стук в дверь заставил ее опять подняться. За дверью стоял навытяжку молодой стюард; он поклонился и подал ей туфлю с аккуратно прибитым каблучком.

— С вашего позволения, *meine Dame*, вот ваша туфелька, — сказал он в высшей степени почтительно, однако в лице его сквозило нечто весьма похожее на пронизательную усмешку, не очень-то она сочеталась с его тоном и словами.

Миссис Тредуэл и эту туфлю крепко взяла за подметку, точно оружие. И тихо, скромно поблагодарила стюарда, ничуть не смущаясь тем, что стоит перед ним в ночной рубаш-

¹ Счастливого пути (*франц.*).

ке. Он окинул ее всю, с головы до ног, беглым взглядом и молчаливо озлился. Для нее он всего лишь слуга, ничтожество, обязанное являться, когда зовут, и делать, что велят. И он торопливо зашагал прочь... эх, если бы как-нибудь с ней сквитаться, чтоб хлебнула горя... стоит и усмехается, хитрая бестия, будто он не понимает, откуда у этого осла Дэнни на морде синяки от каблука. Так ему и надо! Стюард брезгливо дернул губами, но не сплюнул — самому же пришлось бы подтирать.

Миссис Тредуэл опять потянулась через разметавшуюся во сне Лиззи и швырнула вторую золоченую туфлю вслед за первой в океан. С минуту постояла так, наклонясь к иллюминатору, блаженно вдыхая влажный свежий ветер, и слушала, как шумят волны, как мерно катятся исполинские водяные горы под иссиня-черным небом, усеянным огромными звездами. И вспомнилось: когда-то в высоченном старом доме неподалеку от авеню Монтень один молодой художник писал ее портрет; вечерело, и он бегом спустился по лестнице, со всех этих бесконечных этажей, принес в свою мансарду хлеба, сыру, холодной говядины, бутылку вина, и они поужинали. А потом художник держал скрипучую приставную лесенку, а она взобралась под самую стеклянную крышу, высунула голову в крохотное слуховое окошко — и смотрела, как понемногу загораются и мерцают огни Парижа, а в вышине все гуще синеет ясное небо и одна за другой вспыхивают звезды. Была середина мая.

Вечер близился к концу, и доктор Шуман вышел на палубу пройтись и осмотреться, но скоро его утомили возникающие опять и опять, волна за волной, беспорядок и всяческое безобразие, и одна и та же варварская музыка, и все неизбежные следствия разыгрывающегося на борту веселья. Он отметил про себя, что танцоры-испанцы по-прежнему совершенно трезвы и деловиты. Дело им еще предстояло, хотя возможные зрители и слушатели уже разбрелись кто куда. Двое или трое молодых моряков все еще порой приглашали потанцевать кого-нибудь из испанок, и студенты-кубинцы, как всегда по-спортивному неутомимые, отплясывали веселую пародию на мужской народный танец басков; но кое-кто из мужчин был безнадежно пьян, в том

числе Дэнни — этот о чем-то ожесточенно спорил с испанкой по имени Пастора. Доктор Шуман всерьез призадумался, какими способами можно обуздать таких вот субъектов или хотя бы заставить их прилично разговаривать и вести себя на людях; не следовало бы позволять молодчику так выражаться на палубе, даже и в разговоре с такой особой; а впрочем, слава богу, его, Шумана, это не касается. Немногие женщины еще оставались на палубе, и видно было — почти каждая либо недавно плакала, либо злилась, а нередко и то и другое вместе, и некоторые вдобавок тоже явно захмелели. Доктор Шуман ушел к себе, если понадобится, его разыщут... и почти сразу прибежал стюард: доктора просят зайти в каюту герра Рибера. Он сейчас же пошел туда, пересиливая гнетущую усталость; в каюте сонный, сердитый Левенталь, от которого несло пивом, мочил в холодной воде полотенца, выкручивал их и, часто сменяя, прикладывал к голове Рибера.

— Дрались бутылками, — сказал он. — Как в последнем кабаке. Входите, доктор. И скажите на милость, кто бы указал мне на вашем корабле уголок, куда мне деваться от этого типа? Каждый день от него одни неприятности, за что мне такое наказание? День перемучаешься, до смерти хочется спать, а тут он навязался на мою шею.

И Левенталь окунул в таз полотенце, выжал и шлепнул на лысину Рибера.

— Неужели мне никак нельзя от него избавиться?

— Подождите, сейчас я его осмотрю, — сказал доктор Шуман. — Очень жаль, но, боюсь, мне некуда его положить. Я пришлю стюарда ухаживать за ним.

— Ухаживать? — охнул Левенталь. — С ним так плохо?

При свете фонарика доктор Шуман наскоро оглядел рану, обтер голову Рибера спиртом, сделал укол в лоб и наложил на рану семь аккуратных швов. Связал черные шелковые нитки, подрезал кончики, и стало казаться, что Рибер отрастил на лысине какие-то совсем лишние ресницы. Во время этой операции Рибер крепко зажмурился, а впрочем, лежал смирно, не шелохнулся. Доктор Шуман сделал ему еще укол и послал за стюардом, чтобы тот раздел раненого и уложил в постель. Левенталь вконец расстроился.

— Боже мой, боже мой! — опять и опять бормотал он себе под нос.

— Он проспит долго, — пообещал ему Шуман. — Думаю, он вам больше не доставит хлопот. Но если я вам понадобится, позовите меня.

Он и сам услышал, как хрипло от изнеможения прозвучали эти обязательные слова.

Только он лег и приготовился уснуть, в дверь опять постучали. На этот раз вызывали к молодому техасцу Дэнни; он столкнулся с какими-то неведомыми силами, которые обратили все его лицо, от лба до подбородка, в бугристое месиво непонятного цвета, сплошь иссеченное маленькими, но прескверного вида порезами и ссадинами — они полны были запекшейся крови и уже вспухали.

Глокен, его сосед по каюте, беспомощно трепыхался и дрожал от страха.

— Я послал за вами, доктор, ума не приложу, что с ним стряслось? Его принесли два моряка и сказали, что нашли его в таком состоянии, и один сказал — он знает, отчего это, он и прежде такое видал, это следы от каблука, от женской туфли.

Он сутился и скулил за плечом у доктора, а тот первым делом взял шприц и ввел пациенту сыворотку против столбняка. Потом осторожно обмыл избитое лицо спиртом.

— И еще это можно было сделать сапожным молотком, — сказал он. — Или на каблуках были металлические набойки.

Доктор Шуман тоже не впервые видел такие ранки и сразу решил, что острые каблочки испанских танцовщиц придутся как раз впору любому из этих следов.

— Что же это случилось, доктор? — бормотал Глокен. По его лицу было видно, ему отчаянно жаль себя. «Почему меня всегда преследуют такие напасти? Что мне делать, кто мне теперь поможет?» — было ясно написано на этом лице. — Доктор, вы же знаете, я больной человек. Не оставляйте меня тут с ним одного! Между нами говоря, милый доктор, он чудовище какое-то, а не человек, я ведь видел и слышал, что он такое. Как же мне быть?

Доктор Шуман от души улыбнулся ему.

— Вы один из немногих пассажиров, кто нынче вечером

остался трезв. Почему бы вам не поискать Дэвида Скотта? Приведите его сюда, и он поможет. Но я думаю, помощь вам не понадобится. Не волнуйтесь, герр Дэнни будет спать крепким сном. Спокойной вам ночи.

Глокен вышел за ним из каюты, но дальше, на палубу, поплелся в унылом одиночестве, а доктор поспешил к себе, он боялся, что вот-вот упадет, что ему уже не добраться до своей каюты, до иллюминатора, не успеет он глотнуть свежего воздуха и выпить спасительные прозрачные капли. В эти минуты он ждал смерти и во всех этих навязчивых чужаках видел заклятых врагов. Нет, он не приемлет их, все они ему отвратительны, все до единого, он отказывается признавать, что и они тоже люди, отказывается даже от своего врачебного долга, разве что надо сохранять какую-то видимость. Что бы там с кем из них ни стряслось, ему все равно. Пусть живут своей гнусной жизнью и умирают своей гнусной смертью, как угодно и когда угодно, все они — падаль, туда им и дорога... Доктор Шуман перекрестился, сложил руки на груди и вытянулся на постели; он дышал очень осторожно, медленно, поворачивал голову то вправо, то влево, отгоняя горькие мысли, а они опять и опять всплывали и пронизывали болью все его существо, будто самая кровь его оцетинилась шипами. Но благословенное лекарство еще раз сотворило чудо. Его заморозил сон наяву, и привиделась *condesa* — одно лишь ее лицо всплыло перед ним, ближе, ближе, заглянуло ему прямо в глаза, и отступило, и вновь подплыло, глядя в упор, — безмолвный призрак. Вот голова ее отпрянула куда-то вдаль, стала крохотная, как яблочко, и опять метнулась к нему, белая, раздувшаяся, точно детский воздушный шар, подброшенный невидимой рукой, точно голова покойницы пляшет в воздухе и улыбается. Доктору Шуману привиделось: он поднялся, протянул руку и поймал эту пляшущую голову, а она все улыбается, но из глаз текут слезы. «Что же ты сделал? — спрашивает она, но это не упрек, не жалоба, только недоумение. — Зачем, зачем?» А он ласково сжимает эту голову в ладонях и целует в губы, чтобы замолчала; и снова он ложится в постель, а ее голова невесомо покоится у него на груди, безмолвная, без слез и без улыбки... сон его стал еще глубже, и он не знал, что все это ему приснилось.

В одиннадцать часов оркестр сыграл «Auf Wiedersehen¹», и все музыканты скрылись, кроме пианиста — у него был лотерейный билет. Испанская труппа начала свое представление под оружий во всю мочь патефон. Первым номером танцевали болеро с участием Рика и Рэк; всякий раз, оказываясь лицом к лицу, они обменивались свирепыми взглядами, точно вот-вот перервут друг другу глотки. Студенты-медики уселись поблизости в тесный круг, хлопали в ладоши и по ходу танца, когда надо, кричали: «Olé!» Но предполагаемые зрители почти все разбрелись, а те, что оставались на местах или подходили и опять отходили, лотерейными билетами не обзавелись. Арне Хансен после расправы над Рибером сменил запачканную кровью рубашку, вернулся на палубу и теперь опять сидел в своем шезлонге, а рядом стояла бутылка пива. Казалось, он вполне спокоен, глаза закрыты, можно было даже подумать, что он уснул, но время от времени он протягивал руку к бутылке и основательно к ней прикладывался. А порой выпрямлялся, взмахом руки подзывал палубного стюарда и коротко распоряжался:

— Еще одну!

Ампаро несколько преждевременно решила, что в этот вечер можно больше его не опасаться.

Фрау Шмитт, зажав в руке лотерейный билет, робко сидела на краешке складного стула почти рядом с эстрадой.

— Спокойной ночи, желаю удачи! — бросила ей, проходя мимо, фрау Риттерсдорф.

И эти слова укололи маленькую фрау Шмитт больнее, чем если бы та вонзила ей в тело дюжину булавок.

Левенталь первую половину вечера провел в маленькой гостиной — курил, пил пиво, писал родным, друзьям и деловым знакомым открытки, чтобы отправить их авиапочтой из Саутгемптона, уж очень противно было возвращаться в четыре стены, где никуда не денешься от Рибера; наконец он сдался, устало спустился в каюту, и ему тут же пришлось заботиться об избитом Рибере. Теперь он снова вышел на палубу и намерен был тут оставаться, пока не погаснут последние огни. Мелькнула даже мысль — не прикорнуть ли на кожаном диване в гостиной. Его и так отчаянно мутит, не

¹ До свиданья (нем.).

в силах он отравляться зловонным дыханием этого борова. Никто его не заставит, лучше уж спать прямо на палубе. Или он спустится в третий класс, там теперь места вдоволь, по крайней мере на палубе... И он стоял в невеселом раздумье, прислонясь спиной к борту, хмуро курил, затягиваясь сигарой так, что по ветру летели искры, и неодобрительно смотрел, как Ампаро искусно исполняет танец под названием «качуча» — никогда прежде он не видел этого танца, вовсе не жаждет еще раз его увидеть и хотел бы понять — чем может соблазниться в такой женщине, что бы она там ни вытворяла, какой бы то ни было мужчина, если он в здравом уме?! Сколько раз приходилось слышать, будто христианки очень недурны в постели, надо только разумно к ним относиться, вовсе незачем считать их такими же людьми, как еврейки, просто пользоваться их телом, — но нет, его эти разговоры никогда не убеждали... Левенталь пошел в бар, спросил кружку пива и кусок сыру, вернулся в гостиную и с наслаждением подкрепился. Погасил свет, вытянулся на кожаном диване. Ой-ой-ой, как стало спокойно, как тихо, впервые за все плаванье!

...Его назойливо дергали за рукав. Было уже совсем светло, над ним стоял стюард.

— Вы тут, наверно, заснули, сэр, — сказал он Левенталью холодно, безнадежно, не впадать же в отчаяние оттого, что надо прибираться еще в одном углу, когда вечный, неустрашимый хаос царит везде и всюду.

Левенталь мгновенно очнулся от сна, сел, крепко потер лицо ладонью, спустил ноги на пол и спросил язвительно:

— А вы как думали?

Стюард сердито передернул плечами и пошел к дверям.

— Эй, послушайте! — крикнул ему вдогонку Левенталь.

Он хотел спросить кофе, притом так приятно потребовать услуги от всякого подчиненного, которому вовсе не хочется тебе услужить. К удовольствию Левенталья, услышав окрик, стюард привычно, как автомат, приостановился, но тотчас человек в нем взял верх над слугой — и он выбежал из гостиной, словно за ним гнались все дьяволы преисподней.

Чувствуя себя со сна несвежим и помятым, Левенталь пошел в каюту умыться и переодеться. Что ж, так он будет поступать и дальше, но спать в этой каюте его больше ника-

кими силами не заставят. А меж тем оказалось, там уже хлопочут вокруг Рибера доктор Шуман и другой стюард: уложили его на нижнюю койку, не спросясь Левенталья, ее законного владельца; он с одного взгляда все понял и вспыхнул от гнева, но ничем себя не выдал, только чуть дрогнувшим голосом сказал Шуману:

— Что ж, раз он уже занял мою койку, доктор, пусть лежит, милости просим. Мне она больше не нужна.

Рибер, эта свинья, не открывает глаз, но веки дрожат — ясное дело, притворяется, что спит, или не слышит, или плохо ему, так или эдак, а притворяется, одно это может свести порядочного человека с ума. Как будто, если тебя немножко стукнули бутылкой по голове, это уж так страшно. Доктор Шуман меняет ему повязку, от йодоформа вонь такая — дышать нельзя; кивнул, говорит рассеянно:

— Да, я думаю, вам не обязательно нужна эта койка. Ведь есть еще диван.

Беззвучный вопль, медленно нарастая, поднялся в душе Левенталья, из самых ее глубин, поднялся — и снова заглох. Это был и вопль, и песнь, полная горьких слов: «Отнимите у меня ложе, возьмите мою кровь, раздробите мои кости — да будут они прокляты, о господи, что им еще от меня нужно?» И в ярости он закричал над ухом Шумана так, что доктор сильно вздрогнул и едва не уронил бинт, которым обматывал лоб Рибера.

— Поосторожнее, вы! — резко сказал доктор Шуман.

Но его слова потонули в крике Левенталья:

— А может быть, моя постель нужна мне самому, доктор? Может быть, раз в жизни я хотел бы вернуться куда-то и чтобы меня не выталкивали обратно? По какому закону мне не дают пользоваться тем, за что я заплатил? С какой стати вы явились сюда, будто он один тут хозяин, и отдаете ему мою постель только потому, что он пьян, а я нет? Доктор, — теперь он говорил тише, с искренним волнением праведника, взывающего к сочувствию и справедливости, каких естественно ждать от другого праведника. — Доктор, я хочу это понять, объясните мне!

Доктор Шуман возмутился: экий эгоизм, экий дурной характер! Мало того, что мучаешься с мерзким пациентом, так еще изволь выслушивать какие-то попреки! И он спросил холодно:

— Разве это уж такое тяжелое испытание — отдать свою постель тому, кто в ней нуждается, да еще когда у вас есть другая, ничуть не хуже? Если хотите, я велю переложить его на диван, но качка усиливается, и ему безопаснее на койке, чтобы не упал.

А я могу падать до скончания века, до тех пор, пока все евреи не возвратятся в Иерусалим, — кому какое дело? Голова разбита у меня, но кого это волнует? Вслух Левенталь сказал, давая волю презрению:

— Пускай остается один в этой вонючей каюте, мне она не нужна!

— Благодарю вас, — надменно и устало уронил доктор Шуман.

Левенталь надул губы, громко, пренебрежительно отфыркнулся и вышел в коридор, не высказав вслух всего, что он думает о такого рода благодарности.

Капитан пригласил доктора Шумана выпить на мостике чашку утреннего кофе и стал отводить душу.

— Я выслушал доклады разных моих подчиненных, — начал он, вытянув шею так, что дряблые складки вылезли из воротничка, и опять заправил их на место. — Не говорю уже о неслыханной дерзости всей этой затее, о том, что эти безобразные плясуны просто не представляют, как вести себя в приличном обществе. Но вдобавок ко всему они, оказывается, самые обыкновенные уголовники, мелкие воры и мошенники. На редкость беспокойный выдался рейс...

— Да, просто бедствие, — сказал доктор Шуман, даже не пытаясь скрыть, как он устал и как опостытело ему нынешнее мерзкое плаванье.

— Ну, это слово мы на море попусту не употребляем. Вот когда корабль идет ко дну, это и вправду бедствие, — наставительно заметил капитан, смягчая суровость своих слов тусклой улыбкой. — Старый морской волк хорошо знает, что такое опасность и бедствие, и не станет принимать всерьез хулиганство каких-то там пассажиров, — продолжал он, предоставляя доктору самому заключить, что за старый морской волк тут подразумевается. — Они просто не умеют надлежащим образом вести себя на корабле...

— Некоторые и на суше тоже не умеют себя вести. Но

все же у нас на борту есть несколько вполне порядочных людей.

Капитан чуть не фыркнул, ему как на блюдечке поднесли столь удобный повод посмеяться.

— Буду вам чрезвычайно обязан, если вы мне покажете среди пассажиров хоть одного порядочного человека, — с наслаждением любезно съехидничал он.

Доктор Шуман тоже сделал вид, будто его это забавляет.

— Задача не из легких, — согласился он, — при том, что знакомство наше недолгое, а обстоятельства сложные и непривычные. Почти все показали себя отнюдь не лучшим образом.

На это отвечать было нечего.

— Мне доложили о краже, *condesa* лишилась своего жемчуга... несчастная женщина! Все-таки я начинаю думать, что ее рассудок не совсем... — и он указательным пальцем коснулся лба.

— Возможно, — коротко сказал доктор Шуман, чтобы сразу покончить с этой темой. — А украден жемчуг или нет, мы не знаем. *Condesa* сказала, что дети сорвали с нее ожерелье. По словам горничной, которая за ней ухаживала, она в тот день его не надевала. Дети что-то бросили за борт. При этом были двое свидетелей, супруги Лутц, но, к сожалению, их показания не сходятся. Стало быть, ничего не доказано.

Молодой стюард, стоявший поодаль, подошел налить им еще кофе, и капитан предостерегающе поднял руку, призывая к молчанию.

— В таких случаях плохо вот что, — сказал он, когда стюард отошел и уже не мог услышать, — плохо, что человека, всякого человека, не только морского офицера, — прибавил он великодушно, — вовлекают в женские пересуды. Это унижительно. Поневоле чувствуешь себя оскорбленным, когда вынужден заниматься такими вот недостойными мелочами. Мне говорили, что в Санта-Крусэ эти испанцы ходили по магазинам и воровали на глазах у многих ваших «порядочных» пассажиров. Так что же, никто из свидетелей не вмешался, даже не попробовал как-то остановить негодяев?

— Некоторые пассажиры, как раз не пассажирки, — подчеркнул доктор Шуман, — сегодня утром в беседе

пришли к такому заключению: то, чему они были свидетелями, выглядело сомнительно, и у них возникли весьма серьезные подозрения, однако доказательств нет. Никто не считал своим долгом вмешаться или хотя бы присмотреться повнимательней.

— Весьма благоразумно с их стороны, — сухо сказал капитан. — Скажите, а как ваши раненые? Что-то я не помню фамилию молодца, которого отделали каким-то необычным оружием, то ли сапожным молотком, то ли женской туфлей. — (Тут доктор Шуман подметил в белесых глазах капитана Тиле искорку блудливого любопытства). — Как я подозреваю, у нас и в этом рейсе хватает скоротечных романов, неизбежных разочарований и бурных сцен, — со смаком продолжал капитан. — Так что же, этому молодому человеку лучше?

— Он выживет, и остальные тоже, — сказал доктор Шуман. — Опять-таки возникает вопрос, кто учинил над ним такую варварскую расправу. Сам он уверяет, что это была некая Пастора из испанской труппы. Но один стюард заступает за нее, уверяет, будто она ни в чем не повинна — странно слышать это в применении к кому-либо из их компании, — а виновата, как он утверждает, некая женщина в маске, поэтому он не мог ее узнать. Больше ему ничего не известно.

— Ну а случай на палубе, когда герра Рибера стукнули по голове?

— Вот это единственный случай, когда все ясно и понятно. Этот Хансен с самого начала плавания проявлял себя как человек вспыльчивый и чудаковатый, со странными взглядами, и по какой-то прихоти он пивной бутылкой ударил Рибера по голове, хотя тот не сделал ему ничего худого, просто танцевал с дамой...

— С дамой... — задумчиво повторил капитан Тиле, и это слово повисло между собеседниками, точно облачко.

— Это всем известно, и, кажется, это единственное, что всем известно, — без запинки продолжал доктор Шуман. — А все остальное просто дрянненькая буря в стакане воды... очень пошлая загадка.

— Condesa — вот что для меня загадка, — сказал капитан. — Красивая женщина, не следовало ее оставлять одну на острове у дикарей. Какова бы ни была ее вина — не сле-

довало. Ни одна благородная дама не способна нанести в политике такой ущерб, чтобы заслужить столь суровый приговор. Кстати, вы ведь не только ее лечили, но и пользовались ее доверием, так что же именно она сделала?

— Не знаю, — довольно резко ответил доктор Шуман.

Капитан Тиле дернул головой, набычился, лицо его медленно багровело.

— Так я и думал с самого начала, — злобно процедил он. — Очень жаль, что ваше лечение ей не помогло. Как я понимаю, под вашим присмотром ей стало много хуже... что ж, доктор Шуман, всякая плоть — трава, как сказал пророк Исайя. Врачу не следует унывать от неудач.

Посреди этой речи доктор Шуман порывисто встал, а едва дослушав, коротко кивнул и удалился; он видел, что капитан взбешен и расстроен, но и сам кипел от еле сдерживаемого гнева и лишь много спустя мельком подумал, что у капитана, похоже, сильно подскочило кровяное давление.

После укола, который ему сделал доктор Шуман, Дэнни уже не стонал в полный голос и не грозился страшно отомстить Пасторе, но его распухшие губы и кончик носа, едва видные из-под повязки, превратившей его голову в огромный, как тыква, шар, всю ночь источали храп, бульканье, хриплое бормотанье. Дэвид вошел и остановился, его шатало и качало, он широко расставил ноги и, с трудом сохраняя равновесие, пытался понять, почему в каюте такой безобразный разгром. Глокен, жалкий и несчастный, чуть не со слезами начал умолять, чтобы Дэвид не спал ночь и ему, Глокену, тоже не давал уснуть. На этом корабле боишься за свою жизнь, никто не может считать себя в безопасности, все под угрозой — и невинные и виновные, невинные прежде всего...

— Не всегда невинные, — возразил Дэвид и с пьяной важностью широким жестом указал на Дэнни.

— Всегда, — в свой черед упрямо возразил Глокен.

— Ну, как угодно.

Дэвид дотащился до своей койки, рухнул лицом в подушку и отдался во власть опьянения. Сквозь волны тошноты он погружался все глубже в бездонные пучины забвения — и все же никак не мог потонуть. Его одолевал кош-

мар, все тесней смыкались вокруг пляшущие языки пламени, оранжевыми молниями вспыхивали какие-то мерзкие перекошенные рожи, безумные глаза, распяленные в беззвучном вопле рты. Дэвид перевернулся на спину, открыл глаза, вновь увидел нелепое убожество окружающего и услышал собственный громкий голос:

— Я уже дозрел до сумасшедшего дома!

— Что? Что такое? — тотчас откликнулся Глокен. — Не гасите лампу! Не спите!

— Ладно, не буду, — сказал Дэвид. — А вы спите. Все уже кончилось. Больше ничего не может случиться.

— Ох, откуда мы знаем? — простонал Глокен.

Но через несколько минут Дэвид понял, что горбун спит. Наконец он и сам уснул и через час проснулся с чудовищной головной болью, череп раскалывался на части, мучила отрыжка, жгла отчаянная жажда, а бунтующий желудок отказывался принимать единственных своих друзей — аспирина и холодную воду.

Дэнни тоже проснулся, но лишь изредка стонал; попросил пить, но не мог ни поднять, ни повернуть голову, чтобы выпить воды.

— Лежите вы тихо, черт возьми, да раскройте рот пошире, — сказал Дэвид. — Я волью вам немного воды, и вы проглотите!

Так и сделали, причем немало было бестолковой суеты, немало пролито воды, Дэнни давился и захлебывался, а Глокен умоляюще твердил:

— Bitte, bitte, bitte, дайте мне лекарство, герр Скотт, пожалуйста, мое лекарство, я опоздал его принять, bitte...

Дэвид подал ему лекарство, проглотил еще аспирин, пошел к умывальнику сполоснуться и, переодеваясь, спросил Дэнни, что с ним стряслось. Трудно шевеля разбитыми губами, Дэнни медленно поведал о своих злключениях, как они ему представлялись, и такими словами, что Дэвид изумился: он-то полагал, что знает все слова и почти все их значения. Зачарованно вслушиваясь в богатую лексику Дэнни, он перестал было понимать ход событий, но тут из глубин бурного повествования выплыло имя Пасторы.

— А вы уверены? — переспросил Дэвид. — В последний раз, когда я ее видел, она удирала от вас со всех ног и порядком вас опередила.

— Я добрался до ее каюты, — прохрипел Дэнни, — а она выскочила и набросилась на меня со штукой, которой колют лед. Провалиться мне, это ее хахаль настропалил. Провалиться мне, он там был у нее за спиной. — Губы Дэнни задрожали и покривились. — Деньги-то она из меня вытянула, прорву деньжищ. Они всё обдумали, играли на-верняка, жулики, сволочи...

Дэвид решил, что с него хватит, и вышел, будто и не слышал, как Глокен умоляет не покидать его. Пускай Глокен сам вылезает на палубу, а он, Дэвид, сыт по горло. Ссутулясь, ощущая слабость и тошноту, он уселся за свой столик. Кажется, впервые не хотелось есть, онпил кофе и с тоской ждал — хоть бы скорей пришла Дженни... а вдруг она не придет? — и против воли поминутно оглядывался, когда кто-нибудь входил в кают-компанию; противно было даже думать, что сейчас он ее увидит, но и ждать невыносимо, скорей бы она пришла! Наконец-то он придумал, что ей сказать такое, чтобы ей нечего было ответить. Пускай посмеет опять заявить: «Это была не любовь, Дэвид...» Баста, на сей раз ему плевать, что это было. Крышка, он со всем этим покончил, в Виго он высадится с этой посудыны.

Он опять оглянулся — и вот она, Дженни, идет к нему. Он ослеп от волнения и, лишь когда она подошла совсем близко, разглядел, что она бледна, измучена и глаза опухшие, но при этом вся свежая, умытая, пахнет от нее розами, и улыбается она открыто, дружески, хотя и немного смущенно. Села, встряхнула салфетку.

— Господи, ну и вечерок вчера выдался, правда? В жизни я так не напивалась. Интересно, чем кончилась лотерея? И все остальное? Дэвид, лапочка, у тебя ужасно несчастный вид. Что с тобой случилось?

Хоть она и улыбалась, но в глаза ему не смотрела; заказала официанту апельсиновый сок, кофе с молоком, джем и поджаренный хлеб, потом сказала:

— Что значит привычка. Заказываю, а ведь просто не в силах ничего есть! А ты тоже, кроме кофе, ничего не хочешь?

— Слушай, Дженни, ты что? — срывающимся голосом заговорил Дэвид. — Очки мне втираешь? Прикидываешься, будто ничего не помнишь? Ну нет, ты мне никогда не верила, когда я говорил, что не помню, а теперь я не верю тебе.

— Что ж, справедливо, — сказала Джени. — Но теперь как раз я тебе верю, потому что я начисто все забыла, помню только, что много танцевала с Фрейтагом, и мы гоняли по кораблю, и много пили, а потом вдруг я просыпаюсь, и уже утро, я лежу в своей узенькой девичьей кровати, голова у меня трещит, а Эльза лежит в другом конце каюты и тарашится на меня. Не успела я открыть глаза, она спрашивает — ну, мол, как вы теперь себя чувствуете? Я с восторгом сообщила ей, что чувствую себя премерзко, хуже некуда, и это ее, кажется, очень утешило,

Так она болтала, но ей явно было не по себе, а Дэвид не спускал с нее холодных испытующих глаз и наконец перебил:

— И ты ничего не помнишь?

— Я же изо всех сил стараюсь тебе объяснить: впервые за всю свою беспутную жизнь я с какой-то минуты ровно ничего не могу припомнить. Одно время мы ходили по всему кораблю вместе с миссис Тредуэл и ее надутым красавчиком и пили все, что попадалось под руку, но я совершенно не помню, как попала к себе в каюту.

Она охнула, болезненно поморщилась и, облокотясь на стол, закрыла лицо руками.

— А ты уверена, что попала именно в свою каюту? — едко усмехнулся Дэвид.

— Ну, проснулась я у себя, может быть, это все-таки доказательство. А что? — спросила Джени, но ее обдало холодом: Дэвид явно сейчас скажет ей нечто такое, чего лучше бы не слышать, и втайне она уже предчувствует, что это будет.

— Да ничего, — сказал Дэвид. — Это очень удобно — спьяну ничего не помнить, правда?

— Совсем нет, — мрачно сказала Джени. — Что тут удобного, если ты опять выслеживал меня и подглядывал. Так в чем дело? Что я натворила?

На секунду он отвернулся, сбоку она видела его недобрую затаенную усмешку.

— Спроси Фрейтага, — сказал он и посмотрел на нее в упор.

Джени и так была бледна, теперь бледность стала зеленоватой. Слишком хорошо знакома эта его усмешка, возмутительная, обидная...

— Что ж, после спрошу, — сказала она. — Мне не к спеху.

Голос прозвучал гневно, но не в лад ему глаза медленно наполнились слезами. Ну конечно, опять она плачет, слезы она может проливать когда вздумается, но на сей раз они не подействуют. И Дэвид сказал:

— Не плачь, Дженни, по крайней мере не на людях. Подумают, что я тебя поколотил. У тебя это очень мило получается, но для слез уже поздновато. Мы перешли некую грань, все кончено, давай посмотрим правде в глаза и разорвем все это.

— Мы только тем и занимались — каждый день понемножку рвали, — сказала Дженни, слезы ее разом высохли, лицо залилось гневным румянцем. — Что еще надо — пустить в ход топор? Переломать друг другу кости? Я думала, можно подождать, чтобы все это отмерло само собой, когда мы будем по-настоящему готовы к разрыву... когда будет не так больно! Мы бы постепенно привыкли...

Теперь вспылал Дэвид:

— К чему, собственно, я должен привыкнуть? Смотреть, как ты непристойно валяешься в самом людном месте, на шлюпочной палубе? Если ты осталась более или менее верна мне, так только потому, что была уж слишком пьяная и твой соблазнитель потерял к тебе всякий интерес. — Он налил себе еще кофе. — Давай кончим этот разговор. Мне уже осточертело.

Дженни отхлебнула глоток чересчур горячего кофе и с трудом перевела дух.

— Ты чудовище, понимаешь? Чудовище!

— Ты что, все еще пьяна? — спросил Дэвид почти с торжеством. — Со мной иногда так бывало: кажется, что уже протрезвел и можешь опять встретиться с мелкими гадостями обыденной жизни, а выпьешь горячего кофе и опять валишься в канаву, и опять надо выкарабкиваться из грязи и всякого бурьяна...

— Ты очень доволен собой, да? — тоном обвинителя сказала Дженни. — Ты рад и счастлив, что так получилось, да? Ты все время надеялся на что-нибудь в этом роде, верно? Дорого бы я дала, чтобы знать правду, — что у тебя все время было на уме... а впрочем, это меня не касается.

— Раньше это тебя очень даже касалось, — сказал Дэ-

вид совсем другим, светски любезным тоном, будто постороннему человеку. — Но ты права. Теперь это тебя не касается.

Дженни спокойно встала, на лице ее застыла маска невозмутимости, но Дэвид видел — руки дрожат.

— Прошу извинить, — сказала она, — я спешу. Мне надо кое-кого кое о чем спросить.

— Я тебе уже все сказал, — чуть возвысил голос Дэвид, но даже не посмотрел ей вслед. Налил себе еще кофе и обратился к официанту: — Теперь я съем яичницу с ветчиной.

Миссис Тредуэл и Фрейтаг встретились на палубе во время утренней прогулки, любезно поздоровались и решили позавтракать вдвоем на свежем воздухе, это прекрасный способ до конца рассеять зловерное веяние вчерашнего бурного вечера. Глаза у обоих были ясные, настроение отменное, и они дружески обменивались понимающей улыбкой всякий раз, как мимо брел очередной гуляка, слишком явно вымотанный вчерашним кутежом. Они поведали друг другу две-три бесспорные, хоть и не столь важные истины — к примеру, что удовольствия нередко бывают утомительней самого тяжелого труда; оба отметили, что у людей, ведущих разгульную жизнь, очень часто лица изможденные, страдальчески одухотворенные, точно у аскетов, черты же подлинного аскета почти никогда не отмечены этой печатью.

— И разврат, и аскетизм одинаково обезображивают, — сказал Фрейтаг. — А ведь это преступление против самой жизни — пренебрегать красотой, разрушать ее, даже свою красоту... свою — это, пожалуй, особенно преступно, ведь она нам доверена от рождения и мы обязаны ее хранить и лелеять...

Миссис Тредуэл не без удивления подняла на него синие глаза.

— Никогда об этом не думала, — сказала она. — Мне казалось, красота — это просто такая полоса в жизни, со временем она пройдет, как все в жизни проходит...

— Очень может быть, — согласился Фрейтаг, — но зачем же торопиться и убивать ее раньше срока?

— Пожалуй, вы правы, — сказала миссис Тредуэл.

Она увидела Дженни Браун — та медленно шла в их сторону, скрестив руки на груди и задумчиво глядя куда-то в океанский простор. Бледная, печальная, она прошла мимо, не заметив их.

— Бедная девушка, — довольно небрежно проронила миссис Тредуэл и обернулась к Фрейтагу.

Он так вздрогнул, что на подносе задрезжал его кофейный прибор; он напряженно смотрел вслед Дженни, зрачки его стали огромными, и серые глаза запылали черным огнем. Миссис Тредуэл вдруг бросило в жар, как будто Фрейтаг сказал какую-то ужасную непристойность: оказывается, он попросту лишен всякой сдержанности, всякого достоинства! Что бы там ни происходило между ним и этой девушкой, какая слабость — так выставлять напоказ свои чувства. Теперь она старательно избегала смотреть на него. Так было и в то утро, когда зашел разговор о его жене, и в тот раз, когда он затеял памятную ссору в гостиной. Миссис Тредуэл аккуратно поставила свой поднос на палубу между их шезлонгами, осторожно спустила ноги и встала, будто вышла из машины.

— Почему вы уходите? — просто, по-детски спросил Фрейтаг.

— Моя соседка по каюте не совсем здорова, я обещала ей помочь.

— Это та крикливая ведьма, которая вчера подняла такой переполох? — кривя губы, осведомился Фрейтаг.

Миссис Тредуэл не обернулась. Фрейтаг встал и пошел в другую сторону на поиски Дженни. Искал ее добрых полчасика, но не нашел.

Миссис Тредуэл уже подошла к своей каюте, и тут отворилась соседняя дверь и вышло семейство Баумгартнер, впереди — мальчик, как всегда пришибленный. Папаша Баумгартнер придержал дверь и посторонился, лицо его, с безвольным ртом, с вечной виноватой и обиженной гримасой несчастенького, изображало сейчас величайшую почтительность. Жена прошла мимо него, как мимо чужого, но ее неизменно скорбная физиономия казалась еще и пристыженной, и все трое молчали, точно храня какой-то общий тягостный секрет. Миссис Тредуэл отворила свою

дверь, уже скрываясь в каюте, поспешно поздоровалась и закрыла дверь. Лиззи сдвинула со лба пузырь со льдом, спросила плаксиво:

— Господи, что там еще?

— Ничего, — сказала миссис Тредуэл. — Могу я вам чем-нибудь помочь?

— Хорошо бы еще таблетку снотворного, — уныло попросила Лиззи. — Скажите, что слышно нового? Чем кончился праздник?

Миссис Тредуэл дала ей таблетку и стакан воды.

— Ходят разные слухи, — сказала она. — Ничего особенно интересного. Когда разыгрывалась лотерея, народу почти не было, кто-то из близнецов вынимал билеты из открытой корзинки, и почти все выигрыши достались самим актерам, только пианист получил маленький белый шарфик, а один студент-кубинец — кастаньеты... но я просто случайно услышала, как об этом говорили немцы — Гуттены и еще кто-то. А мне самой никто ничего не рассказывал. Ну как, поспите еще? — дружелюбно спросила она в заключение.

— Да, наверно, — почти уже спокойно сказала Лиззи. — А про герра Рибера вы ничего не слыхали?

— Он отдыхает, — сказала миссис Тредуэл, — надеюсь, и вы отдохнете.

Она вышла из каюты почти в отчаянии, но до маленькой гостиной, которая в эти дни почти все время пустовала, умудрилась дойти, ни на кого не глядя и ни с кем не здороваясь. Здесь она сидела в одиночестве, листая старые журналы, пока горн не позвал к столу. Перед глазами у нее неотступно стояли лица Баумгартнеров. Ну конечно, им тоже пришлось в эту ночь пережить какую-то скверность. Ей вовсе не хотелось гадать, что бы это могло быть. Наверняка вели себя друг с другом недостойно, а теперь жалко и уныло пыжатася, шеголяют своей воспитанностью, сиюсь доказать друг другу и ребенку, что они не такие уж плохие, хотя каждый по вине другого и предстал в самом неприглядном виде. Этот отвратительный маленький спектакль с открыванием дверей и учтивым поклоном должен означать: смотри, в другое время, в другом месте или в ином окружении я и сам был бы лучше, совсем не такой, каким ты меня всегда видишь. Миссис Тредуэл откинулась на спинку стула,

закрыла глаза. На самом деле они твердят друг другу только одно: *люби меня, люби, несмотря ни на что! Люблю ли я тебя, нет ли, стою любви или не стою, умеешь ты любить или не умеешь, даже если на свете вовсе нет никакой любви и это просто выдумка — все равно любви меня!*

И вместе с этими отрывочными мыслями где-то на дне души зашевелилась брезгливость, отвращение к себе. Словно во сне вспомнилось давнее-давнее отчаяние, долгие слезы, неисцелимое горе несчастной любви или того, что ей называли любовью, крушение всех надежд... а на что она, собственно, надеялась? Уже не вспомнить... и, конечно, то было просто ребячество, нежелание как-то примириться с правдой жизни, признать, что надежды — одно, а самые обыкновенные законы человеческого существования — совсем другое. Она была больно ранена, а потом оправилась — что ж, всему виной глупая романтическая неосторожность, не так ли? Миссис Тредуэл встала, глубоко вздохнула и принялась ходить взад и вперед по душной комнате. Все утро она подсознательно пыталась шаг за шагом восстановить в памяти — что же случилось с ней накануне вечером и что она сделала? Сценка с молодым моряком вспомнилась довольно ясно. И как повис на перилах борта Баумгартнер, кажется, его одолела морская болезнь. Потом ей передали на попечение Лиззи, тогда она забавы ради раскрашивала себе лицо; а потом...

Что толку с этим тянуть. С утра, убирая свою одежду, она так и не нашла золоченые туфельки. Ночная рубашка спереди понизу забрызгана кровью. И сейчас, бродя по гостиной, она все вспомнила и остановилась, схватилась за спинку стула, чуть в обморок не упала. Походила еще немного из угла в угол, потом пошла разыскивать Джени Браун. Вот кому, наверно, все известно, она ведь «подружка» того нелюдимого молодого человека, соседа Дэнни по каюте... Теперь в памяти миссис Тредуэл отчетливо вырисовалось все, что произошло, что она сделала; надо бы только узнать кое-какие подробности: сильно ли она изувечила врага и — самое главное — узнал ли он ее.

Джени Браун стояла у доски объявлений. Листок с неровными краями — подделка под старинную прокламацию — гласил:

«Жертвы вчерашнего насилия и кровопролития мирно отдыхают. Предполагаемые преступники находятся под наблюдением, они еще не задержаны, но в ближайшее время предстоят весьма неожиданные разоблачения». Подпись: Les Camelots de la Cucaracha.

Кроме того, тут были вести с далекой суши: в каких странах бастуют докеры, в скольких портах прекращены работы, число забастовщиков, каковы потери в заработной плате, сколько миллионов убытку уже потерпели судовладельцы, а конца всему этому не предвидится; на Кубе положение по-прежнему напряженное, все попытки примирить враждующие группировки провалились; безработица охватила весь мир и все обостряется, спокойствие и порядок всюду под угрозой; вчера на корабле главный карточный выигрыш в таком-то размере достался герру Левенталю; сегодня в два часа состоится «бега»; потерявшего самопишущую ручку с золотым ободком и выгравированной буквой «Р» просят обратиться к казначею.

— Но тут ничего не сообщают о здоровье тех, кто пострадал во время вчерашних развлечений, — обратилась к Дженни миссис Тредуэл. — Интересно, как они себя чувствуют.

— Кажется, получилась веселенькая история, — сказала Дженни. — Говорят, танцовщица, которую зовут Пастора, напала на Уильяма Дэнни с кухонным ледорубом. А тот долговязый швед стукнул Рибера пивной бутылкой по голове. Я все это мельком слышала сейчас, когда гуляла по палубе.

И вдруг, ни с того ни с сего, миссис Тредуэл рассмеялась — не громко и не то чтобы легкомысленно, нет, искренне, весело, с истинным наслаждением, да так заразительно, что тихонько, неуверенно засмеялась и Дженни; вообще-то при ее настроении ей было вовсе не до смеха, и она даже не понимала, почему смеется.

— Значит, та маленькая плясунья его все-таки поколотила?

— Так он сам говорит, уж наверно, ему виднее, — сказала Дженни.

И они еще посмеялись блаженным, безжалостным смехом, откровенно радуясь, что несносный малый получил по заслугам.

— После этого я почти готова заново поверить, что есть на свете справедливость, — сказала Дженни.

И вдруг побледнела, лицо опять стало тоскливое, напряженное. Миссис Тредуэл увидела, что к ним приближается Фрейтаг, и непринужденно, без малейшего смущения пошла прочь своей удивительно плавной походкой, будто ее несли не самые обыкновенные мышцы, как у всех людей. А Дженни осталась и ждала, пока Фрейтаг не подошел к ней и не заговорил. Он близко наклонился к ней, сказал мягко:

— Я о вас беспокоился.

— Пожалуйста, не беспокойтесь, — сказала Дженни.

— Я вас разыскивал по всему кораблю. Где вы были?

— Да в разных местах, — сдержанно ответила Дженни. — Тут на корабле при всем желании надолго не потеряешься... Ох, как мне надоело! Как бы я хотела сойти в Виго! Но у меня нет испанской визы.

— Не надо охать, — успокоительно произнес Фрейтаг. — Не так уж все плохо. Вам совершенно не из-за чего расстраиваться.

— Ну, что вы об этом знаете? Скажите мне, скажите, что случилось?..

— Посмотрели бы вы на себя! — сказал Фрейтаг. — Вы очень странная девушка, Дженни. У вас сейчас такое лицо, будто вам только что вынесли смертный приговор. Послушайте-ка, — продолжал он запросто, по-братски, и таким же спокойным движением, как старший брат, легонько взял ее за локоть, повернул, вывел на середину палубы и зашагал с нею рядом. — Может быть, вы мне не поверите, но ничего не случилось, ничего, ровным счетом ничего. Очень об этом жалею, но оба мы слишком много выпили; я никуда не годился, а вы... вы были вовсе не в себе, так сказать, витали в облаках; Дженни, все это получилось, пожалуй, скучновато, безусловно нелепо, нам обоим тут не о чем думать, и не стоит об этом вспоминать. Вы меня слушаете? — он наклонился и внимательно заглянул ей в лицо.

Дженни остановилась как вкопанная и, к его изумлению, весело, от души рассмеялась.

— Вот глупость! — сказала она. — Стало быть, ничего. Из-за вас я попала в такой переплет — и все зря! Хоть было бы ради чего! Вы-то можете про это больше не думать, а вот Дэвид будет думать до конца жизни. Вчера вечером он

нас видел... видел что-то такое, что его совсем подкосило, по-моему...

— Ну, если он за вами шпионит и подглядывает, так очень жаль, что не увидел чего-нибудь похуже, — дерзко сказал Фрейтаг.

Дженни долго молчала, потом медленно отошла от него на несколько шагов.

— Так мне и надо, — скучно, ровным голосом сказала она. — Всего хорошего.

По лицу ее отнюдь не видно, чтобы она раскаивалась, и простилась она, мягко говоря, без тени смирения, с кривой усмешкой отметил про себя Фрейтаг. Не вдруг удалось ему отделаться от самолюбивой досады и странной обиды, вызванных этим ее неожиданным высокомерием. В который раз он напомнил себе, что в этой девчонке нет ничего хорошего — подумаешь, ничтожество, смотреть не на что, просто капризная, пустая, дерганая американка, только пыжится, воображает себя художницей, хочет придать себе важности... но как он ни старался ее принизить, ничто не успокаивало уязвленного самолюбия и не утоляло жажду хоть какой-нибудь да мести. Он совсем уже перестал злиться на миссис Тредуэл за то, что она прежде некстати наболтала Лиззи... в сущности, он теперь был немного зол на нее за другое: ни разу она не пыталась сделать еще хоть малый шагок вперед в их двусмысленных полуприятельских отношениях, а недурно было бы ее поддразнивать, давать щелчок за щелчком (у него есть для этого множество уловок!) — не слишком сильно, чтоб не охладить вовсе, а как раз настолько, чтобы подогреть в ней охоту его покорить. Он был очень доволен, когда она с легкостью согласилась еще раз с ним позавтракать, словно после того первого завтрака между ними уже установилась какая-то близость, а кончилось тем, что она просто ушла, отвернулась от него так же грубо, как Дженни, хотя, казалось бы, она — женщина более воспитанная; что ж, возможно, все американки грубы. Фрейтаг помотал головой, будто хотел вытряхнуть из нее неудобные мысли... лучше думать о Мари, но вот что странно: чем ближе встреча с нею, тем туманней и мимолетней возникает перед ним ее образ. О чем тут, собственно, думать? Мари есть Мари, она его ждет, они возобновят свою жизнь с того самого места, на котором ее прервали...

да нет же, ничего они не прерывали, эта их разлука не в счет, просто получился перерыв в обиходе, в привычной доброй, теплой повседневности их супружества — но разве в супружеской жизни что-то может перемениться или пострадать, если на время люди поневоле расстались? Фрейтаг глубоко вздохнул, шумно перевел дух.

В баре сгорбился над кружкой пива Хансен и смотрел в нее, точно в разверстую могилу. Испанцы за столом пили кофе, Рик и Рэк поминутно запускали лапы в сахарницу; все они, молчаливые, угрюмые, поглощены были только собой. О корабле и пассажирах они и думать забыли, со всеми делами на борту покончено, больше незачем как-то выказывать свою ненависть и презрение. В своей угрюмости все они как-то отупели и погрустнели, словно победа обошлась им слишком дорого и вымотала все силы. Фрейтаг мельком оглядел посетителей и прошел через бар, не останавливаясь: среди этой публики и пиво пить не стоит, не будет в нем никакого вкуса.

Возвратясь в каюту, Дженни застала Эльзу на диване с книгой. От нечего делать пошла к умывальнику вымыть руки, спросила:

— Что вы читаете?

— Библию, — отрешенно сказала Эльза, не поднимая глаз.

— Вы уже завтракали?

— Да, — ответила Эльза. — Там были испанцы, и, когда мы проходили мимо них, мама сказала довольно громко: «Осторожно, берегите кошельки!» — но они притворились, что не слышат. А папа, бедный, так мне его жалко стало, наверно, хотел пошутить и зашептал, что, если мама будет так разговаривать с такими иностранцами, они всадят ему нож в спину, а мама возьми и скажи в полный голос по-испански, что ворами их мало назвать, они-то всех называли гораздо хуже. Я чуть не умерла, — неожиданно закончила Эльза.

Она вдруг захлопнула Библию, повалилась боком на диван, потом опрокинулась на спину и зарыдала, слезы ручьями потекли по вискам ей на волосы.

— Бесполезно... — всхлипывала она. — Ничего не по-

могает. В Библии тоже нигде не сказано, как мне жить, если я такая уродина и такая дура и никто ко мне даже не подходит, никто не хочет со мной танцевать! Когда-то мама заставляла меня играть на рояле, я сколько лет училась и все равно играю хуже всех, никто не хочет меня слушать...

Дженни протянула ей чистый носовой платок, сказала беспомощно:

— Ну-ну, Эльза, не так уж все плохо! Вот вам платок. Давайте-ка умоемся и пойдем на палубу. Скоро уже Виго, мы все сойдем на берег, погуляем, а эти мерзкие танцоры там и останутся, и тогда на корабле станет гораздо лучше, приятнее.

— Нет-нет, — сказала Эльза. — Никуда я не пойду. Идите без меня.

Иоганн спал недолго, но крепко и проснулся с ощущением блаженного довольства, разлитого во всем теле; потянулся, зевнул, по-кошачьи перекатился с боку на бок и даже как-то гортанно заурчал от удовольствия. Он вернулся к себе в каюту перед самым рассветом, вполне пристойно, без шума, но и без лишней осторожности, вовсе не как виноватый; дядя не спал, но не задавал никаких вопросов, только попросил стакан воды. А сейчас он тихо спит глубоким сном, лицо спокойное, умиротворенное, морщины разгладились, кожа, отливающая восковой желтизной, кажется совсем холодной. Охваченный внезапным испугом, Иоганн приложил ладонь к губам старика, к ноздрям — дышит ли? — потом к груди — не остановилось ли сердце? — Рука его дрожала.

— Дядя! — громко позвал он. — Проснись!

Старик открыл глаза, жалостно охнул.

— Ну зачем ты меня будишь? Я так долго не мог заснуть.

Иоганн отдернул руку, смущенно забормотал какие-то извинения. Дядя ничего не ответил, опять закрыл глаза. Иоганн неуверенно ждал новых признаков жизни, силился вспомнить свои обещания, подавить досаду, нетерпение, страх перед этим полутрупом... ну что бы ему испустить дух — и кончилась бы эта гнусная история!

— Дядя! — Против его воли это прозвучало слишком

резко. — Тебя сейчас умыть и накормить завтраком? Или после?

Старик открыл глаза.

— Да, Иоганн, заботы у тебя те же, что вчера. Делай по-прежнему все, что надо. Но сначала преклони колена вот тут, рядом со мной, и вместе помолимся.

Иоганн опустил на колени, наклонил голову, он кипел немым возмущением и не стал повторять за дядей «Отче наш». Конча будет его ждать, она обещала, что они после обеда останутся вдвоем. Он стиснул кулаки, прижал их к губам, его ослепила и оглушила неистовая, жгучая похоть — обрушилась, как внезапный удар неведомо откуда, удар такой силы, словно это и не наслаждение, а смертельный недуг или иное какое-то бедствие, раньше он и не подозревал, что так бывает, и никто его не предостерег.

— ...и избави нас от лукавого, — сказал дядя. — Аминь.

Иоганн кое-как поднялся на ноги и молча стал готовить губку, таз, все, что надо для утреннего омовения; он не оборачивался к старику, весь горел от ярости и страха, от того, что мятежное тело едва его не опозорило: уж конечно, благочестивый старый лицемер прикинулся бы возмущенным, а сам отдал бы все на свете, чтоб еще хоть раз, хоть на миг ощутить такое... Иоганн делал свое дело и постепенно успокоился, даже немного устыдился столь грубых мыслей о своей злосчастной обузе и, наконец, когда старику принесли завтрак, даже довольно правдоподобно притворился, будто вовсе не спешит уйти. Но, едва шагнув за порог, он пустился чуть не вскачь, как жеребец, и засвистал песенку «Das gibt's nur einmal, das kommt's nicht wieder...».

В конце концов Лиззи встала и решила выйти на палубу. Она лежала в шезлонге, под шалью, укутанная, точно после тяжелой болезни, и прихлебывала горячий бульон. Теперь она ни с кем не разговаривала и до конца плавания сидела или ходила в одиночестве; еду ей носили в каюту, лицо у нее все время оставалось печальным и растерянным, будто она стала плохо видеть или только что получила какое-то недоброе известие. Миссис Тредуэл с ней не заговаривала, и они вполне естественно стали держаться как чужие, каждая замкнулась, точно шелковичный червь в своем

коконе, — обеих это вполне устраивало. Однако бог весть почему, по какой-то злой прихоти, миссис Тредуэл после завтрака принесла апельсин и протянула Лиззи со словами:

— Герр Рибер сегодня уже на ногах. Похоже, он чувствует себя гораздо лучше.

Лиззи подцепила ногтем кожуру апельсина и оторвала кусок, будто заживо сдирала с кого-то кожу.

— Ну и пусть его, — сказала она и впилась зубами в апельсин.

Гавань Виго полна была судов, которые праздно стояли на якоре носами к выходу. Прежде всего, как и в прошлый раз, выпустили на верхнюю палубу и спровадили по трапу на пристань оставшихся пассажиров третьего класса. Рука об руку сошли на берег и скрылись навсегда молодожены, ни словом ни с кем не простясь. Ушла кубинская чета с крохой дочкой и сынишкой; на ходу муж поклонился кое-кому из молодых помощников капитана, и жена им кивнула на прощанье. Дэвид и Дженни отправились вдвоем получать французские визы — наконец-то они на этом порешили. Они спустились по трапу следом за испанской труппой; танцоры ни разу не взглянули на своих недавних сообщников — студентов с Кубы, даже бровью не повели в их сторону; они стремительно уходили, унося узлы и свертки, которые пополнились добычей, награбленной на Тенерифе, трещали языками и вообще выглядели и вели себя в точности так же, как при посадке на корабль в Веракрусе. День выдался на диво теплый, погожий, и вся компания сразу же расположилась в тенистом скверике неподалеку от пристани; тут они расселись на пяти или шести скамейках и, казалось, впервые за все время почувствовали себя легко и беззаботно.

Дженни и Дэвид, радуясь минутам перемирия, пошли к французскому консулу; этот весьма серьезный бородатый молодой человек был преисполнен важности и только руками развел: он крайне сожалеет, но у него нет права предоставлять визы транзитным пассажирам. Он проводил их до дверей, самым суровым, непреклонным тоном повторяя изъявления сочувствия. Дэвид взял Дженни за локоть, и они ушли ни с чем; пока спускались с крыльца, Дженни стара-

лась не выдать разочарования, потом спросила убитым голосом:

— Что ж, едем в Испанию?

— Нет, — сказал Дэвид. — Знаешь, куда мы сначала поедем?

Они опять шли по тому скверу, танцоры все еще сидели здесь, необычно тихие, словно чего-то ждали. Дженни с Дэвидом сели на скамью поодаль, и Дэвид ни с того ни с сего достал бумажник, раскрыл свой паспорт, взглянул на билет.

— В Бремерхафен поедем, вот куда, — сказал он.

И тут оказалось, что на билете стоит «Саутгемптон».

— О господи! — вырвалось у Дэвида. — Пошли...

Они помчались на корабль и кинулись к казначею, тот уже готов был переправить Дэвида в Саутгемптоне на английский катер — от одной мысли об этом Дэвид пришел в ужас. Казначей немного поворчал в усы насчет людей, которые посреди океана по пять раз передумывают, куда им плыть, — что ошибка вышла не по вине пассажира, он, конечно, не верил. Дженни хотела его переубедить, но Дэвид решительно вывел ее за дверь; впрочем, он не успел помешать ей на ходу чересчур горячо поблагодарить казначея.

— Наш капитан — вот кто сам не знает, куда плывет, — сказала Дженни.

И они снова вспомнили о толках, что передавались по кораблю: кто-то слышал, будто капитан не раз клятвенно заявлял, что после Виго, где он избавится от постылого быдла с нижней палубы, следующая стоянка будет только в Бремерхафене. Он не зайдет ни в Хихон, ни в Булонь, а не захочет, так не остановится и в Саутгемптоне. Если верить слухам, капитан полагал, что плавает по вражеским водам и его долг — в целостности и сохранности привести немецкий корабль в родной немецкий порт без каких-либо международных осложнений. Вильгельм Фрейтаг с нетерпением ждал Булони — хоть бы скорей высадились эти студенты, и век бы их больше не видеть, не говоря уже о миссис Тредуэл. Но и сейчас корабль, казалось, почти обезлюдел. Кроме Дэвида Скотта и Дженни, никто не сходил на берег — пассажиров предупредили, что, если у них нет в Виго неотложных дел, следует оставаться на борту, так как «Вера» должна до темноты снова выйти в море; что тому причиной:

портовые правила, погода или забастовка докеров — им не объяснили. От казначея Дэвид узнал, что дальше от Виго до любого порта билетам одна цена и что теперь капитан вправе высадить пассажиров, где пожелает, или всех скопом отвезти в Бремерхафен.

— Если уж наш добрый капитан отдал приказ, он не потерпит, чтоб ему кто-то там возражал, — благодушно прибавил казначей. — Но уж в Саутгемптон-то, я так считаю, мы наверняка не зайдем.

— Что ж, я все равно собираюсь в Бремерхафен, — сказал Дэвид.

И Дженни мигом подхватила:

— Да, а там мы сможем получить испанские визы.

Дэвид промолчал. Они вышли на палубу, оба внутренне как-то странно смягчились, будто они незнакомы, встретились впервые и каждый сразу открыл в лице другого что-то очень милое. Недавняя вспышка ярости довела до белого каления все привычные мысли, взгляды и чувства, какие вызывала в Дэвиде Дженни, все это расплавилось, смешалось и теперь отливало в какие-то совсем иные формы, до того новые, до того неожиданные, что он и сам себе показался другим, незнакомым; и та прежняя Дженни, которую он, как ему казалось, знал, вдруг исчезла. Молча он следил, как у него на глазах она превращается в совсем другое, неведомое существо — эту женщину он прежде не знал, быть может, он ее и не узнает никогда, и однако перед ним — та, кого он сам создал для себя, как раньше создал ту, прежнюю: из клочков и обрывков всего, о чем так сбивчиво, так бестолково мечталось. Они оперлись рядом на борт, руки их скользнули по перилам, нашли и тихо сжали одна другую.

— Как же мы решаемся вступить в этот недобрый мир без хранителей? — сказала Дженни. — Право, не знаю, кого на этот раз клясть, кто виноват — паршивенький мошенник-агент в Мехико говорил, что я могу получить французскую визу в любом порту, а этот старый враль казначей в Веракрусе, когда было еще не поздно, уверял, что мы не зайдем в Булонь, но не беда, мол, вы только поговорите в Виго с французским консулом...

— А я ничуть не огорчаюсь, — сказал Дэвид. — Мне все равно, где нас высадят, лишь бы рано или поздно

нам с тобой где-нибудь высадиться вместе. Мне только этого и надо, Дженни, ангел, и ты ни о чем не беспокойся.

— А может, я сама виновата, — с притворно покаянным видом сказала Дженни и на минуту блаженно прижалась щекой к его рукаву. — Дэвид, лапочка, когда ты такой, я готова забраться на исконное место и опять сделаться твоим ребром!

— Ты мне больше нравишься такая, как есть, — сказал Дэвид.

Хоть я и не могу помешать тебе забираться в темные углы с другими мужчинами, прибавил он мысленно. Но когда-нибудь и это станет неважно, только поможет со всем покончить... А пока переменим тему.

— Да, тут мы явно не задержимся, — сказал он. — И здешний лоцман пойдет с нами до самого Хихона.

— Интересно, а тот лоцман благополучно вернулся на Генерифе? — сказала Дженни.

— Лоцманы всегда возвращаются благополучно, — сказал Дэвид.

Между Виго и Хихоном, как оно здесь и положено, разыгралась непогода. Огромные валы вздымались, круто изгибались, громоздились гневными зелеными горами, внезапно рушились, за ними разверзались новые бездны. Еще не дойдя до Бискайского залива, «Вера» едва не сбилась с курса. Дженни не могла уснуть, почти до утра она просидела у иллюминатора, смотрела, как вспыхивают, кружатся и снова вспыхивают яркие огни огромных маяков на побережье. Да, Испания прекрасна, ей и во сне не снилась такая красота: суровый скалистый мыс, потом встает из вод огромное плоскогорье, дальше невысокие горы, словно зеленые-зеленые мшистые кочки, потом опять гневно вздымаются скалы, будто чьи-то яростные кулаки, но окрашены они мягко, отливают агатом, яшмой, кораллом, и над ними насупились громадные сердитые тучи.

Что же это прежде на меня нашло? — с недоумением спросила себя Дженни. Конечно, надо было ехать не куда-нибудь, а в Испанию. Мы едем прямо в Испанию, твердо пообещала она себе и все смотрела, как там, над бурными волнами, кружатся и вспыхивают огни маяков... хорошо бы запомнить их навсегда. А «Вера» вскинется на дыбы, словно

заартачился конь-великан, взревет всеми своими моторами, так что кровь стынет в жилах, и опять очертя голову бросается вперед.

Когда они входили в Хихонскую гавань, за бортом раздались отрывистые вопли, и Фрейтаг высунулся в иллюминатор поглядеть, что происходит. «Вера» медленно, лениво поворачивалась. Вокруг вертелось с полдюжины лодчонок, а в них полно каких-то восторженных личностей — вопят, размахивают пестрыми шарфами, почти все повскакали с мест, того гляди опрокинут свои утлые скорлупки и пойдут ко дну. А вдоль причалов снова тянется аккуратный ряд неподвижных испанских судов, будто машины на автомобильной стоянке. После Фрейтаг прочитал на доске объявлений, что здесь к всеобщей забастовке присоединились портовые рабочие и никто не разгружает прибывающие суда, с чем бы они ни пришли. Все выглядит уныло, гнетуще, и от крикунов, которые, раскачиваясь в лодках, шумно приветствуют корабль, никакого веселья, одна суматоха. Еще не успев толком выйти из гавани, «Вера» опять начала с маху зарываться носом, и доктор Шуман объяснил профессору Гуттену, что предстоит поистине классический переход, придется давать всем огромное количество снотворных и успокоительных — хорошо хоть, уже высадили весь народ с нижней палубы, это немалое облегчение. Профессор Гуттен воспользовался случаем и попросил каких-нибудь таблеток для жены, она страдает бессонницей.

В конце концов они все-таки остановились на рейде перед Булонью; была полночь, редела в тумане сирена маяка, на полупустом корабле горели все огни, торопливо сновали матросы. Дженни накинула поверх халата длиннополое пальто, надела туфли на босу ногу и побежала к борту. В эту минуту к трапу нижней палубы мягко подошел французский лоцманский бот — маленькое, почти неосвещенное суденышко, на нем чуть позванивал небольшой колокол; Дженни перегнулась через перила и смотрела: в молчании — впервые за все время — соскочили на тесную палубу шестеро кубинских студентов. За ними спустилась миссис

Тредуэл, протянув для надежности руку одному из моряков на боте, и, не оглядываясь, села спиной к кораблю, который покидала. Следом сошли жена мексиканского дипломата и няня-индианка с младенцем. Моряк взял ребенка у нее из рук, индианка ступила на скользкие, мокрые доски суденышка, мелькнули узкие босые ступни. Так приятно было слышать быструю, отрывистую, в нос, французскую речь, и так страстно, чуть не до тоски Дженни захотелось тоже оказаться на этом суденышке, а оно, позванивая колокольчиком, медленно вышло из круга света, отброшенного кораблем, и, чуть мерцая собственными скудными огнями, направилось к благословенным берегам Франции, к возлюбленному Городу Света... когда же она туда попадет? Дженни припала лбом к перилам и залилась слезами, потом бегом бросилась к себе в каюту. Эльза стояла у иллюминатора, она тотчас обернулась, спросила участливо:

— Что с вами, что случилось?

Дженни повесила пальто, достала из кармана платок.

— Ничего, — сказала она, — не беспокойтесь... просто настал мой черед!

В Саутгемптоне их встретил не пассажирский катер, а просто таможенный катерок с официальными лицами. Ни один новый пассажир не поднялся на борт «Веры», и никто не сошел. Дженни едва не расхохоталась, ей вдруг ясно представилось потрясающее зрелище: Дэвид с напускной бодростью и с бешеными глазами на борту этого суденышка, которое уносит его к берегам Англии, а ведь они оба вовсе туда не собирались... На палубу «Веры» поднялся встрепанный, чумазый мальчонка с охапкой газет, но Дэвиду и Дженни не удалось купить у него газету: они не могли у него понять ни одного слова, а мальчик не понимал их. У них были только немецкие деньги, и Дэвид вложил в руку мальчонки шесть марок, тот на них посмотрел хмуро, недоверчиво, но назад не отдал, однако и газету им не дал.

— На каком языке говорит этот мальчик? — спросил Дэвид шедшего мимо молодого моряка.

— На английском, — на ходу бросил тот, не оборачиваясь.

— Чепуха! — сказала Дженни ему вслед.

По приглашению капитана британские пограничные офицеры и таможенники расположились за столом на солнечной стороне временно закрытого бара. Дженни зашла туда же и умышленно села неподалеку, чтобы слышать их разговор; Дэвид с ней пойти не пожелал. Но англичане, к ее разочарованию, довольно долго молчали, только раскладывали и просматривали какие-то бумаги, передавали их друг другу, подписывали. Один из них спросил капитана, не будет ли он столь любезен разъяснить непонятную запись, и довольно сердито ткнул пальцем в какое-то место на раскрытой странице. Потом оглянувшись, заметил Дженни, понизил голос, полдюжины голов ближе склонились одна к другой, и, к огорчению Дженни, теперь уже только по лицам и жестам видно было, что все недовольны друг другом и никак не сговорятся. Капитан Тиле весь побагровел, растерянный, озадаченный, он так раскипятился, что даже дряблая шея вздулась и вылезла из-за воротника, глаза налились кровью. Молодые англичане сохраняли полное самообладание; теперь они откинулись на спинки стульев, вскинув головы, хладнокровно положив руки на край стола, и свысоказирали на немца — пускай выставляет себя распоследним дураком, они уже самой своей праведной невозмутимостью заставляли его лишь острее почувствовать, что он кругом виноват. Дженни с удовольствием на все это смотрела: британцы и вправду оказались такие, какими их рисуют газеты и романы. Они держались словно на светском приеме, куда по недоразумению проникло некое незваное ничтожество и докучает порядочным людям.

Тут капитан возвысил голос:

— Ну конечно, французам, американцам, англичанам хорошо, у вас все есть, вы можете что угодно себе позволить, только немцам нечего ждать справедливости или хоть сколько-нибудь приличного отношения.

— Не я выдумал такой порядок, — ледяным тоном сказал один из англичан. — Я только обязан следить за тем, чтобы он соблюдался.

Он сурово нахмурил брови, и Дженни заметила — чем суровой он хмурится, тем беспомощней краснеет от какого-то затаенного смущения.

— Ну конечно, — обиженно проворчал капитан. — Мы все — мученики своего долга, кто же этого не знает! Но не-

ужели положение таково, что мы даже обжаловать его не можем?

Настало тягостное молчание. Один из англичан протянул руку к бумагам.

— Что ж, давайте с этим кончать, — сказал он остальным.

После этого они говорили только между собой и ни разу не обратились к капитану.

— Дорого бы я дала, чтобы узнать, о чем они спорили, — сказала после Дженни Дэвиду.

— Уж наверно, о чем-нибудь очень скучном, — сказал Дэвид.

— Хотела бы я знать, что пытался нам сказать тот малыш.

— Он пытался продать нам газету, — сказал Дэвид.

— А, ладно, — сказала Дженни. — Ладно, ладно.

Последние дни плавания, по общему мнению немногих оставшихся пассажиров, проходили тихо и довольно приятно; даже Левенталь, заметив, сколько в кают-компании стало свободных мест, подсказал официанту, что, пожалуй, герр Фрейтаг мог бы теперь получить отдельный столик. Официант с радостью сообщил герру Левенталю, что герр Фрейтаг уже и сам об этом подумал и соответствующие распоряжения уже сделаны. Уильям Дэнни встал с постели и, не спросив доктора Шумана, снял с головы повязку; доктор поспешил снова перебинтовать его, но разрешил выходить к столу. Одно непрестанно жгло Уильяма Дэнни: досада, что Пасторе все сошло с рук (сошло, и хоть бы что!), а ведь она его чуть не убила.

— Такие вот мелкие ранения головы — штука очень коварная, — сказал доктор Шуман. — Вы думаете, почему я вам ввел сыворотку против столбняка? Так что уж разрешите мне довести лечение до конца.

— Пастору эту надо было засадить в каталажку до конца жизни, — сказал Дэнни, — а сперва еще отдубасить за милую душу.

Доктор Шуман, глубоко оскорбленный неискоренимой грубостью этой хамской натуры, холодно возразил:

— Пастора ни при чем. Это была миссис Тредуэл,

скромная и кроткая дама, которую вы каким-то образом умудрились вывести из себя.

Ошеломленный Дэнни только протяжно свистнул, не сразу он вновь обрел дар речи:

— Ч-черт побери! Неужто она? Откуда вы знаете?

— Мне сказал один юноша, стюард.

— Который? — допытывался Дэнни, он даже сел на постели.

— Этого я вам сказать не могу. Случай этот уже в прошлом, и вам следует вписать его в актив своего жизненного опыта. До свидания, до завтра.

Он закрыл свой черный саквояж и вышел, ощущая приятную смесь злорадства и высокого нравственного удовлетворения: в кои-то веки справедливость восторжествовала, и хоть избрала она для этого самый окольный и, несомненно, отнюдь не похвальный путь, но доктор Шуман от души радовался ее торжеству.

Корабль проходил мимо острова Уайт, и Дженни как зачарованная смотрела на сказочный замок, что поднялся среди кудрявых рощ на изумрудно-зеленом лугу; ровный ковер подстриженной травы спускался к самой воде. До берега было рукой подать, и Дженни показалось, что ее вновь обманывает обоняние, ей нередко чудились в воздухе престранные дуновения. Вот и сейчас будто потянуло свежескошенной травой и теплым запахом пасущихся коров.

— Да-да, это правда! — почти весело подтвердила Эльза. — Я мимо этого острова плыву уже в четвертый раз, и тут всегда так славно пахнет! Когда я была маленькая, я думала — наверно, так будет в раю.

Пассажиры становились все беспокойнее, и в то же время на них напала какая-то вялость; ежедневные игры и развлечения прекратились, некоторые фильмы показывали уже второй раз, и почти все, не зная, куда себя девать, слонялись по палубе, сидели в шезлонгах или по каютам, принимались укладывать и перекладывать багаж, который был под рукой, и тревожиться о вещах, погруженных в трюм. «Вера» уже миновала шлюз и вошла в узкое устье реки Ве-

зер, а Лиззи, узнав, что Рибер снова занял свое место за капитанским столом, все еще отказывалась вернуться в кают-компанию. Угнетало ее и воспоминание о том, как миссис Тредуэл вышла из каюты, словно на очередную прогулку по палубе, и так и ушла, не простясь, хоть бы сказала самое обычное «Grüss Gott», это ведь не стоит труда. Когда же Лиззи сидела на палубе в шезлонге (она велела переставить его подальше от Риберова) и Рибер семенил мимо, она закрывала глаза и притворялась спящей... ну и свинья же он все-таки, да еще эта огромная нашлепка из марли и пластыря на лысине... до чего отвратительна жизнь!

Капитан Тиле, Рибер, фрау Риттерсдорф, профессор Гуттен с женой, фрау Шмитт и доктор Шуман за столом почти не нарушали молчания, все чувствовали: заговори они на любую тему, которая занимала бы всех, это кончится какой-нибудь неловкостью или вульгарной сплетней. И никого из них больше не интересовало, что скажут остальные; каждый замкнулся в себе, поглощен был своими заботами, только одно у них оставалось общее — всем хотелось поскорей покончить с этим плаваньем, сойти с корабля и вернуться к своей подлинной, отдельной жизни. А все же, когда они в последний раз сошлись к ужину, они выпили за здоровье друг друга, обменялись дружжелюбными взглядами, и профессор Гуттен с чувством произнес:

— Наконец-то мы уже почти дома, и как-никак все мы — истинные немцы. Так возблагодарим же господа бога за его милости.

И вот наконец перед ними еще один портовый город, по берегу теснятся верфи и склады, спускаются к самой воде — замусоренная всяческими плавучими отбросами, она омывает празднично стоящие в ряд безлюдные корабли — привычное зрелище, так же тянутся они рядами во всех гаванях мира и ждут, чтобы хоть как-нибудь кончилась забастовка. И опять весело вертится чуть не под носом и мешает идти какое-то суденышко, люди в нем размахивают платками и шарфами и выкрикивают приветствия.

Бремерхафен! Вот старушка «Вера» и прибыла благополучно в гавань и присоединилась к таким же помятым, ржавым, усталым ветеранам, что кружными путями сходятся со

всех морей и океанов, изрубцованные шрамами и отметинами после долгих трудных странствий с неопрятными грузами и второсортными пассажирами, которые ведут беспокойную второсортную жизнь и странствуют отнюдь не для собственного удовольствия. И однако, входя в гавань, каждый корабль салютует ей и всем, кто в ней есть, приспуская и вновь поднимая флаг, у каждого на палубе весело играет маленький оркестр, матросы и начальство на посту, все свеженькие, чистенькие, вышколенные, в полном порядке и готовности. Пассажиры «Веры» растянулись цепочкой вдоль борта, но не слишком близко к сходням, чтобы не получилось беспорядка и давки. Как-никак все они — немцы, все заодно, только трое американцев остались поодаль, немного на отшибе. Опять, как в начале пути, с ними почти не встречались глазами, словно не узнавали, не говорили им больше ни слова. Опять на них смотрели как на чужаков, хотя и не так подозрительно и враждебно, как вначале. Просто это было блаженное равнодушие ко всему, кроме счастливой минуты, когда возвращаешься к обычной жизни. Все вскинули головы, всматриваясь в город, в его кровли, все глаза увлажнились, взгляды смягчились от избытка чувств... сильно бились сердца, все внутри дрожало от призрачной радости; непостижимый восторг охватил их, будто они приближались к сияющему алтарю: ведь они готовились вновь ступить на священную землю фатерланда.

День был хмурый, холодный, падал редкий снег. Каждая семья сошлась теснее, особо от остальных; высокий золотоволосый Иоганн стоял подле умирающего дяди, а тот поник в кресле на колесах и лишь изредка открывал глаза и поглядывал по сторонам; маленький Ганс Баумгартнер в своем оранжевом кожаном костюмчике теперь уже не обливался потом, а дрожал от холода; Эльза в белом шерстяном пальто, в белом берете, натянутом на уши так, что не видно было волос, прижимала к себе дорожную сумочку и терпеливо повторяла «Да, мама» или «Нет, мама» на каждый вопрос, который задавала ей мать, иногда по два раза кряду.

— Эльза, а ты собрала все свои шпильки и английские булавки? Ты не забыла носовые платки? Ты все свои чулки собрала? Не потеряла маникюрные ножницы и пилку? Когда мы выехали, у тебя всякого нижнего белья было по шесть штук, надеюсь, до дому все довезешь в целости, ни-

чего не растеряешь... да, еще свитеры...

— Ты не сказала точно, сколько должно быть шпилек, Эльза, — пошутил папаша Лутц. — Может быть, двадцать семь?

— Ой, папа, я уверена, что ничего не забыла, — благодарно сказала Эльза.

— Ну конечно, деточка. А теперь надо радоваться, скоро мы будем дома.

— Да уж, слава богу! — сказала фрау Лутц, с облегчением меняя тему, поскольку прежняя оказалась для нее невыигрышной. — Остальную часть пути мы проделаем по суше, в отдельном купе, в нормальном европейском поезде, как полагается семье, больше не надо жить бок о бок с кем попало, с какими-то вульгарными личностями, от которых никуда не денешься. Ха! — закончила она с мрачным торжеством. — Это мое последнее плаванье. Там, где мы будем жить, Эльза, нет никаких морей и океанов.

— Да, Эльза, — подхватил отец. — И никаких пароходов нет. И йода, и соли. Соль с йодом надо покупать в аптеке. Иначе у тебя появится зуб.

— Постыдился бы! — воскликнула фрау Лутц. — Что ты такое говоришь? Эльза, отец по обыкновению шутит...

— А сколько твоих родичей в Санкт-Галлене страдают зубом? — рассудительно возразил папаша Лутц. — У тети Фике зуб, и у тети Вильгельмины, и у дяди Вольфганга, и у двоюродного брата Августа, и у твоей родной сестрицы Лотты, и у твоего дедушки по материнской линии...

— Хватит! — вне себя воскликнула фрау Лутц. — Можешь клеветать на свою родню, а на мою не смей!

— Это никакая не клевета, — сказал Лутц. — Эльза, что ты там высматриваешь? Кого ты увидела?

Он заметил, что, пока они с женой препираются, дочь из-под ресниц украдкой упорно, испытующе оглядывает все вокруг, тихонько поворачивая голову, и никогда еще он не видел у нее на лице такого странного выражения. Он встревожился, он ведь отец и никак не может одобрять такое. Эльза багрово покраснела, прижала руку к губам.

— Ничего... никого...

Она пробормотала это в таком явном смятении, что отец больше ничего не сказал. И тут мимо прошагал Хансен, хмурый, насупленный, мельком равнодушно глянул на Эль-

зу, и этот беглый нечаянный взгляд ударил больней, чем намеренное оскорбление. Всегда он вот так смотрел на нее, не видя, точно на стену или на пустое место. Эльза болезненно съежилась, и отец сказал:

— Ты достойна лучшего, милочка, конечно же, он тебе не пара.

И мать, тоже возмущенная, его поддержала.

— Вот глупости! — усмехнулась она. — Кому бы это хоть на минуту пришло в голову?

Да, Хансен Эльзе ненавистен, но ведь сходил же он с ума по этой мерзкой Ампаро, и он исколотил отвратного Рибера, уж наверно, за дело, значит, способен на сильное чувство, а вот в ней никогда не видел человека, живую женщину... ну и не все ли равно? И однако ей далеко не все равно. В сущности, ничего она от него не хотела, даже взгляда. Вот того студента ей до самой смерти не забыть, как он обнял ее на палубе, когда играла музыка, не забыть, как он вопросительно смотрел на нее, и улыбался, и ласково ее уговаривал... и все же она не могла танцевать. У Эльзы вырвался такой глубокий вздох, что пришлось как-то объяснить.

— Это ничего, мама, — сказала она. — Просто я устала.

Фрейтаг отошел от остальных немцев и направился к Дженни с Дэвидом, они стояли рука об руку, рядом Дэнни молча дергал кусочки марли и пластыря, наклеенные по всей его физиономии поверх ранок от каблука. Фрейтаг остановился и протянул Дженни руку; она высвободила свою из руки Дэвида и обменялась дружеским рукопожатием с Фрейтагом. Она улыбнулась, но Фрейтаг видел — глаза ее потемнели от волнения.

— Прощайте, — сказал он, его серые глаза смотрели спокойно, приветливо. — Надеюсь, вам тут понравится.

Дэвид тоже подал ему руку, и Фрейтаг крепко, по-мужски ее тряхнул. Глаза их встретились, и, хоть лица оставались бесстрастными, какая-то искорка пробежала между ними, что-то странное во взгляде, словно легчайший мимолетный отсвет на воде... но Дженни вся похолодела. Это было безмолвное подтверждение: они сообщники, они отлично понимают друг друга, эти два самца, в каждом глу-

боко сидит врожденная самоуверенность, которой не грозят внешние передражки и путаница событий; их объединяет некая общность, неизменность мужского естества, тайный союз, куда ей нет доступа, — таков закон природы... Дженни затрясло.

— Ты замерзла, Дженни, ангел? — спросил Дэвид. — Дай я тебе помогу.

Он взял у нее перекинутое через руку пальто и помог надеть. Заодно кивнул на прощанье Фрейтагу, тот уже двинулся к сходимям.

— Счастливо, — сказал вдогонку Дэвид.

И Фрейтаг в ответ махнул рукой.

— Подумай, вот и кончилось это плаванье, — сказала Дженни. — Скоро станет казаться, что это был только сон. И почему я сюда приехала?

— Потому, что тебе хотелось во Францию, а мне в Испанию, верно?

— Я лунатик, — сказала Дженни, — и мне снится сон.

— Сны тоже реальность, — сказал Дэвид, — И кошмары тоже.

— Дэвид, мы ведь не будем вместе до конца жизни, так зачем нам все это тянуть?

— Разве ты забыла? Мы еще не готовы расстаться.

Стоя рядом с Дженни, он опять взял ее за руку, спокойный, уверенный, он хорошо знал, чего хочет. Заметил, как влажно заблестели ее глаза, и это его тронуло, он стал ласков, как бывало иногда, если ей случалось из-за него плакать. Видеть ее слабой, побежденной — что может быть приятнее!

— А знаешь, — солгал он, — может быть, нам вовсе не зачем расставаться. Куда мы теперь двинемся?

— Что-нибудь придумаем, — сказала Дженни. — Подождем немножко.

— Опять пойдут пустые разговоры, — сказал Дэвид. — Давай придумаем что-нибудь хорошее.

— Придумай ты, Дэвид, лапочка, — сказала Дженни. — Что-нибудь замечательное.

Дэвид наклонился к ней, ничто не дрогнуло в его лице, и тихо, скромно он прошептал:

— Сегодня в Бремене мы для разнообразия будем спать в одной постели.

Дженни что-то без слов промурлыкала и вся просияла под его пристальным взглядом.

Наконец оркестр грянул «Tannenbaum» и уже не переставал играть, пока спускали сходни и пассажиры молча, торопливо двинулись с корабля. Тогда музыканты стали вытирать мундштуки своих инструментов, закрывать чехлами барабаны и укладывать скрипки в футляры; они расплывались в улыбках, все лица обратились к тому клочку причала, у которого ошвартовалась и стала на якорь «Вера». Среди музыкантов был трубач, долговязый нескладный юнец, казалось, он ни разу в жизни не ел досыта, ни от кого не слышал доброго слова и не знает, что станет делать дальше, но слезы радости застилали ему глаза, губы дрожали, и, вытряхивая слюну из трубы, он еле слышно, почти шепотом повторял по-немецки: «Здравствуй, здравствуй!» — словно перед ним был не город, а живой человек, верный, задушевный друг, который пришел издалека, чтобы радужно его встретить.

Бухта Йеддо, август 1941
Пиджин-Коув, август 1961

Кэтрин Энн Портер
КОРАБЛЬ ДУРАКОВ

Роман

ИБ № 4588
Редактор И. П. Архангельская
Художник А. П. Платонов
Художественный редактор С. Е. Барабаш
Технический редактор О. Ю. Коган
Корректор В. Ф. Пестова

Сдано в набор 27.07.88. Подписано в печать 03.02.89. Формат 84x108^{1/32}. Бумага
офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Условн. печ. л. 33,6.

Усл. кр.-отт. 67,2. Уч.-изд. л. 35,4. Тираж 100 000 экз. Заказ № 2371.

Цена 4 р. Изд. № 5397.

Издательство «Радуга» В/О «Совэксспорткнига»
Государственного комитета СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли,
119859, Москва, ГСП-3, Zubовский бульвар, 17
Ордена Трудового Красного Знамени Калининский полиграфический комбинат
Государственного комитета СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли, г. Калинин, пр. Ленина, 5.